

Александр Малиновский

**ПОД
ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ**

История одной жизни

В двух томах

Том первый

Москва
2007

Малиновский А. С.

М19 Под открытым небом: Проза. В 2-х т. Т. 1. — М.: Издательский дом «Российский писатель», 2007. — 534 с.

ISBN 5-902262-42-9

В настоящий двухтомник известного русского писателя Александра Малиновского вошли пять книг, объединённых одним главным героем Александром Ковальским и попыткой осмыслить русскую жизнь, какой она сложилась во второй половине XX века.

Послевоенное село, село и город второй половины прошлого века, индустриализация и химизация народного хозяйства. Взлёты и падения. Перестройка. Всё это нашло своё отражение в двух томах, охватывающих сорок лет (1957-1997 гг.) жизни героев повествования. Писались эти книги в течение десяти лет. Так сложилось это эпическое полотно.

Книги, составляющие 1-й том, выходили прежде как в журнальных вариантах, так и отдельными изданиями.

Книги 2-го тома публикуются впервые.

Выход в свет уже первых повестей А. Малиновского показал, что в русскую литературу пришёл серьёзный реалистический писатель. Автор является лауреатом двух всероссийских литературных премий: «Русская повесть» (2000 г.) и премии им. Э. Володина «Имперская культура» (2004 г.).

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

У писателя Александра Малиновского не было ученического периода. В то время, когда его ровесники печатали свои первые слабозрелые произведения, он был уже одним из ведущих спецов народного хозяйства, отвечал за организацию производства в сложнейшей химической отрасли.

Но получилось так, что, когда на рубеже XX-XXI веков литература и жизнь разминулись, когда их вечного связного — «массового» читателя — не стало, появились повести А. Малиновского, в которых жизнь, такая, какая она есть, вдруг сама напомнила о себе. И сначала эти повести были восприняты критикой как исповедь человека, которому есть что сказать. Но вскоре стало ясно, что повестями А. Малиновского сама литература вернулась в своё естественное русло. И теперь уже невозможно представить современную литературу без этих повестей. Они помогают полнее и глубже понять то, что в нашей жизни случилось во второй половине XX века.

Всё дело в том, что Александр Малиновский, не учившийся в альма-матер писательского мира — Литературном институте им. А. М. Горького, не участвовавший в литературных тусовках, не переболел и всеми теми литературными болезнями, всеми теми новейшими «измами», которые литературу с жизнью разлучили. И получилось так, что в его лице к нам пришёл писатель, традиционно исповедующий вот эти высокие и до сих пор самые животворные принципы русской классики: художественное произведение не может быть вещью в себе; для его появления на свет нужен глубокий личностный, правомерный и общественно значимый повод; мастерство писателя оценивается его способностью отражать жизнь в её реальном историко-культурном значении, в её чувственной и духовной полноте, в психологической и событийной достоверности. Потому-то мы все и узнаём себя и в Гринёве, и в Андрее Болконском, и в Наташе Ростовой... А повести Александра Малиновского для нас ценны ещё и тем, что их автор — наш современник. И, значит, в них мы узнаём свою эпоху, значит, вместе

с героями А. Малиновского мы заново переживаем всё, что на протяжении второй половины прошлого столетия являлось также и нашей личной болью, нашей личной судьбой.

Вряд ли писатель изначально ставил перед собой задачу сложить из своих очень разных по изобразительным и жанровым свойствам произведений единое художественное полотно. Ему просто хотелось не оставить не запечатлённым ни одно из тех личных жизненных пространств, каждое из которых когда-то казалось бесконечным, самодостаточным, требующим максимального напряжения душевных сил. Послевоенная деревня, где свет и печаль едины, где тревоги и надежды одинаково уютны и велики, где старики похожи на детей, а дети – на стариков. Стремление сельских подростков найти применение своей неуёмной энергии, их уход из обречённой на умирание деревни в стремительно развивающуюся индустрию, в осваивающую высокие технологии армию, в науку... Далее – перестройка, криминализация всех сфер жизни, когда бывшие селяне, по сути внуки самого трагического героя русской литературы первой половины XX века — шолоховского Григория Мелехова, отдав стране всё, что было в них лучшего, оказываются лишними людьми. И, как и в «Тихом Доне» М. Шолохова, высокие, достойные античных героев житейские смыслы вместе со вновь порушенными основами самой жизни превращаются в ничто.

Поскольку же писатель А.Малиновский ничего не придумывал, писал только о том, что сам пережил, – то и всё, им написанное, само сложилось в единое эпическое полотно, стало восприниматься как обстоятельнейшая, с разных ракурсов запечатлённая «История одной жизни» (жизни его главного героя Ковальского и шире – жизни всего его поколения). И даже название этой «Истории...», родившееся вроде бы совершенно случайно для одной из самых ранних и самых светлых повестей, вдруг обрело обций для всей «Истории...» философский смысл. Началась-то жизнь писателя и его героя под небом, открытым для вертикального взлёта, открытым для самой смелой мечты, открытым для взгляда, устремлённого к горным далям. А затем, когда у писателя и его героя сложилась большая, в полной мере соответствующая этому открытому небу судьба, открытое небо стало символизировать незащищённость каждой человеческой жизни, полное отсутствие тех ценностей, которые только и дают ощущение мироздания как большого родного дома.

Вот это трагическое расстояние между двумя диаметрально противоположными смыслами открытого неба и предстоит преодолеть читателю собранных в двухтомник произведений писателя.

И ещё хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Главный герой А. Малиновского, в отличие от шолоховского Григория Мелехова, не покоряется вызовам нового времени, продолжает свою жизненную стезю. И, основываясь на этом, можно было бы полагать, что автор поручает самой жизни довершить историю нынешней русской драмы. Но в том-то и дело, что многие другие его ключевые герои обречены заканчивать свой век в той непонятной жизни, которой живёт их некогда великая страна. Так в чём же больше правды? В писательской надежде, всегда таинственной, всегда не поддающейся простой логике, или в той жуткой картине умирания России, которую сам же писатель с такою пронзительной болью изобразил?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо признать, что в истории последнее слово остаётся именно за человеческой болью. Из болевого шока на руинах Римской империи возникла наша христианская цивилизация. Из боли, ставшей нестерпимой, на Куликовом поле проросло могучее дерево Российской империи...

Из нашей общей боли, которую так глубоко чувствует А. Малиновский и которая зазвучала со страниц его книг, из нашего читательского сопереживания именно его непридуманному герою, а не медийным призракам, будет, как из чистейшего родника, брать своё начало и будущая Россия.

Хватит ли нам нашей боли? Вот вопрос, с которым сегодня литература должна обратиться, и в лице Александра Малиновского уже обращается, к читателю.

Николай ДОРОШЕНКО,
директор издательства «Российский писатель»,
секретарь правления Союза писателей России

Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? А между тем наши страдания – почка, из которой разовьётся их счастье...

А. И. Герцен

Спутали нас учёные люди.

Григорий Мелехов
(М. Шолохов. «Тихий Дон»)

Книга первая

**ПОД
ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ**

*И, палочкой белой
взмахнув на прощанье,
ушло моё детство опять.*

М. Исаковский

Госпиталь на Молодогвардейской

Шурка живёт в доме своего деда Ивана Дмитриевича Головачёва давно, с той поры, когда он ещё не ходил в школу.

Его родной отец пропал без вести в войну, а неродной Василий Фёдорович лежит в военном госпитале в Куйбышеве. Вот и получается, что у Шурки как бы два отца.

У Шурки два отца и два дома.

Один дом — бревенчатый с резными наличниками, построенный задолго до войны, после того, как Головачёвы вернулись из Сибири, куда они бежали от голода в Поволжье. В Сибири Шуркин дед шорничал, плотничал, скорняжил — вот и скопил деньжат. Девятерых детей родила Агриппина Фёдоровна — жена Головачёва, а выжили трое: Екатерина — мать Шурки, Алексей и Серёжа.

Другой Шуркин дом — без потолка, саманный, крытый соломой. Пол не глиняный, а деревянный. Скрипучий, некрашенный, но крепкий. Когда Екатерина его моет, то обязательно скоблит косырём. От этого он становится золотистым, а изба нарядной. В этом доме у Шурки мама, брат и две сестрёлки.

Оба дома стоят в одном ряду на улице Центральной, поросшей травой-муравой.

Последнюю неделю в доме деда разговоры чаще всего связаны с приездом из госпиталя отца Шурки.

Слова «госпиталь», «Молодогвардейская» преследуют Шурку всю сознательную жизнь. От них веет на него мрачной недоброй силой, в которой сошлись воедино скрежет металла, свист пуль, вой снарядов, запах огромного пожарища, поглотившего родного отца, а вот теперь не отпуская и неродного.

Госпиталь на Молодогвардейской улице для него казался похожим на пасть огромной раскалённой печи, только прикрытой заслонкой. В ней бушует ещё не усмирённая стихия. В её огненной пасти метались, корёжились, ломались, полыхая, как сухой хворост, судьбы молодогвардейцев, красноармейцев и многих-многих людей в военной и невоенной форме. Чудовище, чудовище — другого названия этому дому не могло быть.

...В прошлом году Шурка впервые приехал со своей бабушкой в госпиталь и удивился увиденному: стоял обычный дом, почти как все, двухэтажный, с большими окнами. Таких в Утёвке нет, но — не страшный и не грозный, а совсем наоборот: приветливый.

Когда их пустили к отцу, он удивился ещё больше. Ему дали, как взрослому, белый халат, который был велик и весь в каких-то ржавых пятнах, но Шурке было не до этого. Поразила чистота и обилие белого. Отец лежал на белой простыне, прикрытый одеялом с белым пододеяльником. У них в доме такого постельного белья не было.

Отец лежал на спине, ровно вытянувшись.

Шевелить он мог только головой и руками. Ноги были в гипсе, а спина — в корсете.

Название болезни — туберкулёз костей — звучало как приговор.

— Садись рядышком, — сказал отец и улыбнулся.

Шурка сел, пожимая протянутую отцовскую неожиданно белую руку.

Он боялся расплакаться. Кто-то из ходячих больных подошёл к нему и надел на голову сделанную из обычной газеты пилотку. Шурка тут же снял её, повертел в руках, к общему одобрению, решительно надел и почувствовал, что комок в горле исчез. Предательские слёзы пропали.

...Когда вышли на улицу, Шурка не сразу оторвался от этого непривычного дома. Напоследок попробовал обойти его, заглянул во двор. И там ничего ужасного. Всё обыденно и спокойно. И улица Молодогвардейская не широкая, а та, которая пересекает её, Ульяновская — совсем неказистая. Когда Шурка свернул на неё, открылась Волга. Внизу, слева, справа ютились в беспорядке небольшие кирпичные и деревянные домики. Беспорядок этот смутил Шурку. Он жил в селе, где избы сто-

яли ровно, как по линейке, не выступая и не западая на зады. Смотрели окнами на улицу. В них жили такие же правильные люди: дедушка, бабушка, мама — сосредоточенные и уравновешенные.

Напоследок он измерил шагами поперёк, напротив госпиталя, улицу Молодогвардейскую. Было сорок шесть его больших шагов.

«Саженой пятнадцать, наверное», — деловито прикинул он. Если бы его спросили, зачем делает измерения, он бы не смог сразу объяснить. То ли готовился к разговору с дедом, то ли к рассказам в школе о своей поездке.

Пока бабушка в коридоре госпиталя «калякала» со своим знакомым с Чёрновки, Шурка измерил и длину госпитального здания. Было шестьдесят шагов. «Наша деревянная школа длиннее», — удовлетворённо подвёл он итог.

Жажда знать и видеть как можно больше подталкивала его постоянно. Это отмечали и взрослые. А он неосознанно впитывал в себя всё, что видел, слышал, словно знал заранее: в его жизни многое из того, что происходило в детстве, будет иметь самое, может быть, главное значение...

Пока Шуркина жизнь текла обыкновенно. События и переживания случались вроде бы сами по себе, и ложились сразу набело в его сознании. И накрепко...

...На улицу вышла баба Груня и они подались на Кряж, надо было засветло найти попутку до Утёвки.

* * *

Теперь Шурка, прислушиваясь к разговорам взрослых о приезде отца, вспоминает, как долго по бездорожью в снегопад добирались домой, и ему становится боязно за отца. А вдруг у него кости ещё не так крепко срослись, как надо? Тогда опять беда.

Юрьева гора

Замечательная это штука — Юрьева гора. Она начинается на задах, за избой Головачёвых. Гора бывает разной. Если на дворе мороз крепкий, то, политая водой, она превращается в такой ледяной жёлоб, что с ветром в ушах мчишься с неё в сторону стадиона и упираешься в памятник Проживину и Пу-

довкину — первым утёвским большевиком. Их расстрелял карательный отряд белых. Шурка сидит в классе рядом с Зинкой, дальней родственницей Проживина. Она самая тихая девчонка в классе. Даже как-то удивительно это.

Если много снега, то на горе хорошо играть в городки. Она становится неприятельской крепостью, её надо брать у противника в кулачном бою. Те, кто вверху и кто внизу, попеременно меняются местами. Выигрывает тот, кто дольше всех продержится наверху.

Если с горы съезжать сразу вбок — в огороды, то там уклон крутой и с трамплином. Редко кто может удержаться, на лыжах лучше и не пробовать — гиблое дело. Салазки — совсем иное.

И ещё есть одна особенность у Юрьевой горы. Бабушка Груня Шурке так рассказывала:

— На последнем месяце я уже была, иду себе потихоньку с базара, он был недалеко, около школы, и слышу: шум стоит в Зубаревом переулке, а на Юрьевой горе — какие-то чужие военные. Привели наших бедненьких, все избитые. Не успела понять, что готовится, как затрещали выстрелы. Оба и упали в пыль. Я побежала к себе во двор. Не помню дальше ничего. Когда опомнилась — начались роды, хорошо, что Иван дома был.

Только разродилась, военные к нам: большевиков и сочувствующих ловили. На деда твоего кто-то указал. Он ведь убёг из царской армии под Царицыном, дезертир. Деваться некуда. Едва щеколда хлопнула, Иван — раз под кровать — и притаился.

Не знаю, как у меня сердце не разорвалось. Один молоденький стоял в задней избе, а в передней проверял средних лет солдат. Когда он приподнял подозорник у кровати, под которой лежал Иван, я обмерла. Но солдат этот быстро опустил подозор и развёл руками, что-то сказал своему, тот махнул рукой и они выбежали во двор.

Там, на памятнике, год и число: «21 августа 1918» — это день расстрела Проживина и Пудовкина. Но это ещё и день рождения твоей матери, Шурка.

«Завтра попрошу Зинку показать мне фотографию Проживина. Интересно, какой он? Если они герои, значит про них и про нашу Юрьеву гору и Утёвку когда-нибудь снимут кино», — так думает Шурка и ему становится радостно, как если бы сам был участником героических дел, прославивших его село.

Кошка Акулина

«Ночь была жуткая: выл ветер, дождь барабанил в окна. И вдруг среди грохота бури раздался дикий вопль. То кричала моя сестра. Я спрыгнула с кровати и, накинув большой платок, выскочила в коридор. Когда открыла дверь, мне показалось, что я слышу тихий свист, вроде того, о котором мне рассказывала сестра, а затем что-то звякнуло, словно на землю упал тяжёлый металлический предмет... О, я никогда не забуду её страшного голоса!

— Боже мой, Элен? — кричала она. — Лента! Пёстрая лента!»

Мяукнула кошка в сенях за дверью, просясь в дом. Шурка покосился и передёрнул плечами. Жутковато. Ходики показывали час ночи. Он и не заметил, как зачитался записками о Шерлоке Холмсе. Открыв дверь, впустил кису Акулину, недавно взятую его матушкой у дряхлой старухи Акулины Мерлушкиной.

— Шурка, будет колготиться, ложись спать.

Голос матери доносился из передней, и он на цыпочках шмыгнул к двери, ведущей в горницу, подsunул полотенце, прикрыв дверь плотнее, чтобы свет не мешал спящим. Налил кружку молока, взял горбушку хлеба и вновь уселся за стол, да так, чтобы подальше от тёмного широкого окна, пугающего своей мрачной глубиной.

Глаза побежали по строчке:

«Сестра была без сознания, когда она приблизилась к ней...»

Странная возня на шестке отвлекла от чтения. Он поднял голову и увидел неотрывно глядящие прямо на него из темноты жёлтые глаза кошки. Чёрное тело её почти не было видно, оно сливалось с тёмным зевом печки. Такая добродушная днём, а теперь ставшая враждебной печь и два устремлённых беспокойных взгляда пугали его. Правой передней лапой кошка начала царапать по кирпичу.

— Тихо, Акулина, — зашептал Шурка, — маму разбудишь. Я не дочитаю рассказ, а завтра с утра в школу, потом с дедом ехать за соломой.

Он углубился в чтение. Но не тут-то было. Кошка одним прыжком перескочила с шестка на стол и стала драть когтями

клеёнку. Шурке показалось, что она приняла снегирей, изображённых на клеёнке, за живых, и рассмеялся.

— Вот дурёха, — сказал голосом, похожим на дедушкин, когда тот разговаривает, запрягая лошадей, — нету у тебя нюха, что ли, ведь не пахнут они мясом. Клеёнкой пахнут.

Кошка прыгнула со стола, стрелой, с невидящими, дикими, как у пантеры, глазами проскочила мимо Шурки. По отвесной стене взбежала до потолка, там, ухватившись за торчащий крюк, повисла, как обезьянка, и глазами, страшными и большими, стала осматривать комнату сверху.

Шурке стало жутковато. Упруго оттолкнувшись, Акулина прыгнула на пол, сделала два прыжка и оказалась на противоположной стене вновь под потолком. В следующие минуты Шурка уже не успевал фиксировать взглядом стремительное перемещение чёрной молнии с двумя жёлтыми светящимися точками-глазами.

Кошка взбегала не только на отвесную стену, она перемещалась по потолку. Временами падала, вскакивала и вновь, как заведённая дьявольская игрушка, металась по стенам, по потолку...

Шурке стало не по себе. «Взбесилась, — подумал он. — Хорошо, что все спят, а то могла покусать».

Распахнул дверь в сени. Акулина, казалось, только этого и ждала — чёрной лентой скользнула в раскрывшееся тёмное пространство и растворилась в нём...

Шурка, не дочитав книгу, приоткрыл дверь в большую комнату и шмыгнул в свою кровать. Необъяснимое волнение охватило его. Чёрное с жёлтым всё стояло перед глазами, наваливалось, став громадиной, пугало. Но вскоре усталость взяла своё и он заснул.

...А утром пришла на сепаратор Нюра Сисямкина и принесла новость: этой ночью умерла бабка Акулина — бывшая хозяйка кошки. Преставилась, бедная, на девяностом году.

— Вот это да, — только и произнёс Шурка. Он не знал, кому и как рассказать о ночном происшествии.

Стал искать кошку Акулину, но её нигде не было.

«Эй, Баргузин...»

— Бабушка, Баргузин — он кто?

— Как — кто? Ты-то что думаешь? И что это вдруг?

Шурка сидит на пороге, отделяющем горницу от кухни, зажав между колен корзинку из ивовых прутьев. Из неё набирает в кружку ягоды шиповника для чая.

Бабушка Груня чистит карасей — дед утром ходил проверять сети. Замороженные караси ожили и из тазика, стоящего на столе, когда бабушка вынимала очередного, летели водяные брызги.

— Я не вдруг. В воскресенье, когда Веньке Сухову Варьку сватали, дедушка пел про Баргузина.

Шурка помнил тот замечательный день, деда своего, сидящего среди гостей, и песню, которую услышал впервые. Там было новое для него слово: «баргузин». Песня лилась широко, вольно и пел её уверенно и ладно Шуркин дед. Захватывали бескрайность и безбрежность, разлитые в песне: «Славное море священный Байкал...».

«Священный Байкал» — это он сразу отметил. Баргузин представился ему крепким белозубым загорелым парнем с обнажённым по пояс телом. И обязательно кудрявым.

— Так это ж ветер такой на Байкале.

— Да-а-а?.. — разочарованно протянул Шурка. — Вот дела!.. Бабушка, а про отца моего, — он запнулся, подбирая и обдумывая слова, — про настоящего, поляка, скажи что-нибудь, какой он был?

— Красивый был. Когда на базар с товарищами приходил, все девки на него оглядывались. Волосы светлые, кудрявые и голубые глаза. Смотрел прямо и приветливо.

— А как оказался в Утёвке?

— Кто ж его знает? Война разметала многих по свету, вот и очутился у нас. Ему нравилось имя Саша. Тебя наказал, если будет мальчик, назвать Сашкой.

— Бабушка, а что он говорил, когда его забирали в армию?

— Просил нас с дедом помочь воспитать ребёнка, который родится, Катерина тогда на пятом месяце была. Обещал вернуться.

— И не вернулся? — выдохнул Шурка.

— Время такое. Он поляк — могли не пустить после войны в Россию. Может, грех на него какой положили.

— Но он жив? Так ведь?! — почти выкрикнул Шурка.

— Откуда ты знаешь?

Она помолчала, потом продолжила:

— Раза два, после войны уже, приходили к нам незнакомые люди, выспрашивали о твоей матери Катерине и о Василии. Я помню, как зорко на тебя смотрели, спрашивали, ты ли сын Стаса, и уходили, ничего не сказав. А я вот чувствую своим бабьим сердцем: от него эти люди приходили, узнавали про тебя.

Вздохнув, задумчиво добавила:

— Может, пожалел и Катерину, и Василия: ведь он уже один раз ломал их жизнь. Станислав и Катерина сошлись, когда она уже замужем была за Василием, только от него ни слуху-ни духу, от Василия-то! А когда Василий вернулся в сорок шестом и тебя усыновил по-хорошему, не поднялась у Стаса рука — не захотел, видимо, мешать. У твоей матери один за одним от Василия родились трое. Как всё поделить? Вот и получилось у тебя два отца. Один ещё живой, а другой — может, и живой, да не знай где.

«Как всё поделить? Как всё поделить?» — стучало в висках у Шурки. Он не заметил, как выпустил из рук корзинку. Она опрокинулась, весь шиповник оказался на полу. Горстями собрав ягоды, поставил корзину на порог. Быстро ушёл в горницу к окошку, чтобы бабушка Груня не увидела заплаканного лица.

Договор

Только Шурка поравнялся с чайной, как вот он, Мишка Лашманкин, с уздечкой в руках. Он из Заколюковки — самой дальней утёвской улицы. И не один — со своим дружкой Каром. Правой рукой Шурка быстренько нащупал в сумке большую белую чернильницу-непроливашку.

Мишка подошёл поближе и вдруг, словно включив некую пружинку, пустился вприсядку около Шурки:

Помнят псы-атаманы,

Помнят польские паны

Конармейские наши клинки.

Кровь ударила в лицо. Шурка рванулся вперед и враз ока-

зался перед непреодолимой преградой. Мишка крутил перед собой уздечку. Она со свистом и металлическим лязгом вращалась перед самым лицом. Кончик ремешка больно хлестнул Шурку по щеке.

— Слабо, да? Слабо?.. Конечно, слабо!

— Тебе слабо самому — один на один, — у Шурки нервно тряслись руки. Он уже ничего не боялся.

— Нужно больно, нам сегодня некогда, давай до следующего раза, согласен? — предложил Кар.

— А Мишка согласен? — спросил Шурка.

— А чего там, конечно, согласен. Договор дороже денег. — Мишка с напускным спокойствием перебирал в руках удила. И, уже удаляясь, совсем как маленькому, а оттого ещё обиднее, скорчил рожу и пропищал:

*Поляк, поляк, с печки бряк —
Растянулся, как червяк!
И не русский, и не немец,
Гутен морген, гутен таг.*

«Семиклассник, а такой дурень», — подумал с досадой Шурка.

Молодая пряжа

*В низенькой светёлке
Огонёк горит.
Молодая пряжа
У окна сидит.*

Ровный и красивый голос деда завораживает Шурку. Сейчас дед сидит в горнице, на облитом солнцем полу на маленьком чурбачке и вяжет сетку, вернее — бредень, закрепив верёвочки за дужку железной кровати.

— Если два выходных ещё повяжу, Шурка, то, глядишь, в апреле отводом поедем рыбачить новым бреднем.

— А как это — отводом?

— Долго рассказывать. Сам увидишь, — отозвался дед Иван и вновь вспомнил о молодой пряже:

*Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.*

Шуркин дед всегда пел негромко и неторопливо. Как бы для себя, будто вокруг никого нет. Ему не нужны большие компании. Вечный единоличник, никогда не был в колхозе. А зачем ему колхоз: его постоянная должность — конюх. В больнице, в нарсуде, в райсобесе есть лошади, значит нужен и Иван Дмитриевич.

Шурка любил, когда дед пел в дороге, в степи, в лесу... Когда дорога впереди длинная, а вокруг ни души.

В прошлом году на маёвку приезжал Волжский народный хор. Артисты выступали на самодельной сцене около Осинового озера. Там ровная площадка и от неё круто поднимается косогор. Он и служил одной большой трибуной. Вокруг луговая трава, озеро Подстепное — слева, справа — Осиновое и Лещевое. Дальше, где синева ложится большим широким пологом с белыми кудряшками на зелёную необозримо широкую ленту леса, прячется Самарка. От неё всегда исходит особый свет.

Когда объявили «Липу вековую», Шурка даже вздрогнул: «Дедова песня!».

Вышел бодрым шагом красивый артист и запел. Это была другая песня. Слова были те же, мелодия почти та же, но — другая. Певец был напорист и резок, будто бы с кем-то спорил, доказывал что-то. А дед никогда этого не делал. Он пел спокойно, ровно, чаще всего под мерный бег лошадей, сидя на телеге или рыдване. От этого песня удобно ложилась в монотонный топот конских копыт. Дорога чаще всего знакома, лошади свои, цель впереди ясна. Тревоги не было. Было уверенное, установившееся приятие всего, что есть в пути и что ещё будет.

Певец кончил петь, все захлопали. Захлопал и Шурка, но негромко. В красивых нарядах танцоров, певцов, в громких восклицаниях и припевках ему показалось что-то неестественное. Он не стал больше слушать. Сел на свой велосипед и, направив его почти по прямой с откоса, вихрем независимо промчался мимо самодельной сцены и большой старой ветлы в сторону Лещевого озера. Там у него стояли пять раколовок. Надо до вечера их проверить и вернуться домой.

Отец приехал

Два последних дня Шурка ждал приезда отца. Баба Груня и деда Ваня отправились за ним на Карем, уложив в сани валенки, старую бекешу и огромный тулуп.

В Самару поехали через Кряж, а обратно планировали — через Кинель, чтобы при необходимости заночевать у лесников: в Мало-Мальшевке у Репкова, в Крепости — у Янина, дорога дальняя — под сто километров.

— Всё, Шура, — говорила мать, — начинается у тебя новая жизнь. Ты уж будь умным, соображай, что к чему.

— А что, мам?

— Ну хотя бы жить тебе надо теперь в своём доме, не у деда, а то нехорошо как-то.

— Но деда с бабой на меня обидятся?

— Нет, не обидятся. Можно у них бывать, а ночевать лучше домой, ладно?

— Ладно, — соглашается Шурка, а сам знает, как будет непривычно. У деда всегда интересно: рыбалка, охота, разговоры разные, люди из соседних деревень, чтение вслух книг. Дядья Алексей и Серёга — с ними всегда здорово.

— Я уж и не знаю, к лучшему это или нет, что Василия поехали забирать? Бабка твоя скомандовала: «Хватит — и всё, уморят там мужика. Раз вставать стал — заберём домой, скорее прилепится к жизни».

Мать пристально посмотрела на Шурку:

— Будешь его отцом звать?

— Буду. Я уже звал в госпитале.

Он ждал, как об этом она ему скажет. Вышло не обидно. Это Шурке понравилось. Ему стало радостно за мать: всё чувствует, понимает, только не всегда всё говорит вслух. Он это давно видит. Также заметил, что, в отличие от многих и особенно от его бабушки, старается даже из грустного сделать весёлое. Вот, например, если бы его бабушка и мама в отдельных комнатах рассказывали один и тот же случай, то в той, где бабушка, люди загрустили бы и задумались. А там, где мама, — обязательно бы засмеялись. Такая особенность у Шуркиной мамы.

— Мам, ты когда-нибудь расскажешь, как так получилось?

— Что, сынок?

— Что мы с ним неродные?

— Расскажу, Шура, только немного тудылича, попозже, ладно?

— Ладно, — опять соглашается Шурка.

«Странно, — думал он чуть позже, — мы с ним неродные, а на фотографиях похожи».

* * *

Привезли отца поздно ночью.

— Хорошо, Стёпка Синегубый, его дружок, встретился под Крепостью, а то уже чуть не плутать начали. Пурга такая! — говорила бабушка, помогая деду Ване ввести отца в избу.

С отца сняли в сених тулуп. При свете коптюшки перед Шуркой стоял невысокий человек, которого до этого Шурка помнил только лежащим на больничной кровати в казённом халате. Сейчас он был одет в бекешу. Костыли под мышками делали его похожим на большую раненую птицу. Левую ногу он волочил.

— Принимай гостечка, хозяйка! — заодно сказал отец.

Мать широко раскрыла дверь, чтоб не мешать костылям, и он, поддерживаемый дедом, вошёл в дом.

— Ну вот, а говорили: волки съедят! Подавятся, верно, Шурка?

Шурке стало радостно от такого вопроса, от морозного воздуха, от того, что все теперь вместе. Он помогал матери снимать с отца бекешу. Отец, проведя пятернёй по Шуркиной голове, добавил:

— С такими помощниками нас не возьмёшь.

Шурка опять порадовался тому, как отец просто и ясно всё говорит и делает. Под бекешей у него оказались гимнастёрка и галифе. Гимнастёрка задралась на поясе и Шурка увидел глянцевую упругую кожу корсета. «Ещё не сняли? А как же...»

Когда укладывали отца на кровать, чтобы поменять бинты, Шурка заметил гипс на левой ноге, выше колени до ступни. Пока мать с бабушкой занимались бинтами, Шурка с дедом вышли и внук спросил:

— Деда, а как же его такого отпустили?

— Василий настоял: выписывайте — и всё тут! Железный человек, одно слово. Да и бабка Груня твоя чего стоит!

Пожар в школе

Спалось Шурке плохо. Снились какие-то люди в тулупах, лошади.

Под утро случился большой переполох. Часто захлопали калиткой, дверью в задней избе. Шурка, продирая заспанные глаза, встал и пошёл на бабкин голос на кухне. Пол был холодный и он старался наступать одними пятками.

— Шурка, почему носки не надел? Иди скорее назад или коты вон возьми.

— А что случилось, баб?

— Школа горит, мужики помчались тушить.

Бабушка уже растапливала печку. На шестке лежали сухие полешки, а на полу — несколько котяков. В глубине печи горел маленький, как игрушечный, костерок. Пахло морозом, прорывавшимся временами через дверь, керосином и котяками.

Баба Груня взяла увесистую полешку, покапала на неё из бутылки керосином и ловко швырнула в затухающий костерок — печка обрадованно враз засветилась, загудела одобрительно.

— Кому сказала, чего стоишь? Иди досыпай!

— Значит, в школу сегодня не идти! — обрадованно выскочило у Шурки и он сам удивился этому.

Бабка Груня выпрямилась, взглянула в упор своими чёрными большущими глазами:

— Разве так можно? Это ж беда какая, а?! — И укоризненно покачала головой.

Стало стыдно, и уже не на пятках, а быстро шлёпая всеми ступнями, он засеменял в свой укромный уголок.

...Утром, ступив на школьный двор, Шурка ужаснулся: левого крыла деревянного дома, где находился его класс и мастерская по труду, не было. Была куча хлама, гора каких-то неузнаваемых предметов и горелый запах, от которого щекотало в ноздрях.

Учитель по труду Николай Кузьмич строгим голосом, по-военному, отдавал команды старшеклассникам, которые толпились кто с вилами, кто с лопатой на пепелище.

Всё было и своё, и какое-то чужое, как в кино или во сне.

«Хорошо, что только одна бабка знает, как я обрадовался со

сна пожару». Шурка не мог представить, что стало бы, если б все узнали.

...Подошла умная красивая физичка Мария Ильинична и сказала спокойно:

— Ничего, Саша, осилим.

— А где же будем учиться?

— Пока в нашей библиотеке, а с лета директор в Борск хочет ехать с десятиклассниками готовить сосновые брёвна. Поставим новый сруб. Всем работы хватит. Вашему классу — тоже.

— Да, — торопливо согласился Шурка.

Он словно боялся дальнейшего разговора. И, как бы оправдываясь, сказал то, что составляло только часть правды, но было всё-таки правдой:

— Там была моя парта, которую мы с Николаем Кузьмичом отремонтировали. Я её сам красил в этом году. Жалко как!

Новая Шуркина жизнь

С приездом отца жизнь в доме Любаевых потекла по-особому. Ничего, казалось, не ускользало от отцовских глаз. Как он всё быстро замечал и успевал! Дня через три после приезда утром спросил Шурку:

— У нас во дворе есть глина?

— Не знаю, пап, — растерялся Шурка.

— Вот те раз, голова, кто же знает?

— Есть, Василий, за нужником, летось привозили, теперь под снегом, — вмешалась мать.

— Надо наковырять в тазик и навозу из мазанки принести.

— Хорошо, Вася, — мать догадалась, для чего. — Наверно, тряпки какие нужны?

— Нужны.

После завтрака Шурка расчистил снег, поработал ломом и принёс два ведра мёрзлой глины. Мать залила её горячей водой. Пока глина отходила, отец, не дожидаясь, начал забивать тряпками трещину в стене у печки, через которую дул морозный ветер. Он делал всё, стоя. Садиться или наклоняться было нельзя, поэтому тряпки Шурка положил на приступок у печки, откуда их отец и брал. Руками работал очень ловко. Но каждый раз, когда отец выпускал оба костыля и стоял на одной,

которая покрепче, правой ногой, прислонившись плечом к стене, Шурка боялся, что он упадёт. Так и случилось. Отец опрокинулся на рукомоиник, висевший в углу, и вместе с ним с грохотом повалился на пол.

— Боже мой, Василий!

Катерина бросилась к мужу. Он тяжело, опираясь на костыль, встал. Мать с Шуркой повели его к кровати. Ложился он медленно, осторожно устраивал негнущуюся в корсете спину.

Мать подняла левую ногу отца и, как чужую, не его, положила рядом с правой.

— Ну, вот, отдыхай, мы с Шуркой доделаем.

— Да вот и беда, что вы, а не я, — досадовал отец.

...Через две недели гипс сняли, а ещё через месяц Шуркин отец освобоёлся и от корсета. Пугающе красивый, из толстой тёмно-коричневой кожи, схваченный вдоль и поперёк светлыми металлическими полосками, лежал он теперь в сенях без надобности.

— Кать, убери его, к лешему, подальше, — сказал Василий. — За цельный год он мне опротивел.

— Уберу, — с готовностью и радостно сказала мать. — Сейчас, Васенька, поедим, и я выкину.

После завтрака отец взялся ремонтировать костыли. Снял резиновые наконечники и в каждый костыль для верной опоры вбил по толстому гвоздю без шляпки, пояснив:

— Так надёжней, мне ведь не прогулки совершать с костылями. Работать надо, значит, держава, крепость нужна особая.

Теперь, когда он встал и пошёл по комнате, от гвоздей оставались отметины в жёлтом полу, маленькие, как конопушки.

...А вечером приехал старый друг детства отца, Стёпка Соношкин, Синегубый — так его звали оттого, что всё лицо и губы у него от контузии на фронте были в синих точках. Он привёз две седелки, уздечки и просил за недельку подремонтировать. Обещая ставить за это трудовни.

— Знаю я твои трудовни, Степан, ещё до войны. Ты мне лошадь, когда надо, дашь?

— Дам, конечно, дам, — говорил Степан, глядя плохо видящими от ожогов глазами, тускло и покорно. — А ты сделай. У меня ещё хомутишко один есть потрёпанный, возьмёшь?

— А потник-то есть?

— А как же! — с готовностью ответил дядька Степан. — Есть, неважнецкий, правда, но есть.

Когда ушёл Синегубый, отец сказал:

— Шурка, а знаешь, я ведь ловко так валенки до войны подшивал. Если взяться за это дело, не пропадём, точно говорю.

Мать радостно слушала эти разговоры и украдкой вздыхала.

Художественный руководитель

Перед уроком истории классная руководительница Лидия Петровна объявила:

— Александр Ковальский, я тебя освобождаю по просьбе Валентины Яковлевны от уроков. Ты ей нужен в постановке.

Шурка встал и под завистливые взгляды одноклассников вышел.

Ничего не поделаешь, Шурка — артист.

По дороге в клуб он вспомнил, как впервые появилась Валентина Яковлевна в школе два года назад.

...В тот день вначале ему не везло. На перемене у туалета к нему привязался Толик Юнгов и они подрались. Так, не зло. Как бы проверяя друг друга, обменялись тумаками. Но Шурка поскользнулся и припал на одно колено, прямо в грязную лужу. Зазвенел звонок и Толик убежал, а он остался очищать грязную штанину. Когда вошёл в класс, хмурый учитель географии Василий Иванович Норкин уставил в него, не мигая, свои карие, под навесом чёрных больших бровей, глаза:

— Опять дрался? Оттого и опоздал?

— Нет, — ответил Шурка, свято веря, что они с Юнговым и не дрались. Так себе... И опоздал он не из-за драки, просто случайность — поскользнулся и попал в лужу.

— Лгать нельзя, — обидно, как маленькому, сказал учитель географии, — я всё видел в окно. В наказание будешь стоять, пока не скажешь правду.

— Где? — с горечью выскочило у Шурки. «Неужели поставят в угол?» — подумал он.

— А вот, где находишься сейчас, там и стой.

«Если видел всё, то чего ему от меня надо? Должен понять, что всё получилось случайно».

Шурка остался у двери. Незаметно продвигаясь, оказался у подоконника. Стал смотреть на улицу. Правая рука, вернее, указательный её палец ковырял потихоньку извѣстку у оконного проѐма.

Было обидно и неинтересно. Из окна сквозило, Шурка два раза шмыгнул носом.

— Ты что, герой, плачешь? Так знай, коммунисты не плачут! В классе хихикнули.

— Не смей! — грозно выкрикнул Норкин. — Не смей смеяться!

«Если я что-нибудь скажу сейчас такого, то все рассмеются и нас потащат в учительскую, надо молчать», — подумал Шурка и повернулся к стене лицом.

Разрядило ситуацию удивительное событие. Открылась дверь за спиной Шурки, вошли Лидия Петровна и незнакомая женщина. Классная руководительница извинилась перед Норкиным и представила незнакомку:

— Ребята, сегодня у нас в гостях Валентина Яковлевна Плотникова — художественный руководитель районного Дома культуры. Пожалуйста, мы вас просим, — она, как конферансье, развела руками.

Шурка смотрел с удивлением на гостью. Он её узнал, видел несколько раз, но так близко — никогда. У доски стояла осанистая, крепкая женщина в светлом костюме, ярко-красной кофте с большим отложным воротником.

Шурке эта необычная женщина давно запомнилась, хотя она даже, наверное, и не знала о его существовании.

— Ребята, кто хочет стать настоящим артистом, а? — с ходу спросила она.

В классе воцарилась гробовая тишина. Всех, очевидно, сразила внешность этой женщины. Тряхнув крупной головой с короткими чёрными кудрявыми волосами, сказала совсем непривычное в устах взрослых в классе:

— Слабо? Да?

— А что нужно уметь? — спросила находчивая Ниночка Иванова.

— Желательно всё, — опять энергично ответила гостья. — Но для начала надо просто записаться и в пятницу после занятий придти для просмотра. Мне нужны артисты в драмколлектив,

танцоры в ансамбль, хористы. Наш хор — народный. Мы уже записались на пластинку в Москве, приходите слушать.

Она пристально посмотрела на притихших ребят.

— Талант рождается в детстве, а может, конечно, и раньше, понятно?

Она свободно и заразительно засмеялась. Так в школе никто не смеялся.

— А я, как бабка-повитуха, помогу, как могу, если будете слушаться. Не теряйте момента!

— Вот у нас готовый артист есть, Валентина Яковлевна, — вдруг сказал учитель Норкин, присевший на первом ряду за парту. Он показал жирным коротким пальцем на Шурку.

— А ты чего в углу? — удивилась Плотникова.

— У стенки, — поправил Шурка.

— Петь любишь?

— Не знаю. Не очень.

— А что любишь?

— Кино!

Все засмеялись.

— Приходи, попробуем в постановках. На роль Ваньки Жукова тебя попробую. Как твоя фамилия?

— Ковальский.

— А имя?

— Александр.

— Александр Ковальский! — воскликнула она, подняв левую руку над головой. — Неплохо звучит для сцены.

...Шурка пришёл в ту пятницу в клуб и с тех пор уже не представлял себя без завораживающего общения с этой удивительной женщиной, без того волнения, которое теперь всегда испытывал, входя в клуб.

«Придёт времечко-то...»

— Смотрю на тебя, Шурка, и думаю: какое же это перемещение народов всяких должно было быть, Вторая мировая война случится, чтобы твой отец — песчинка в море — оказался здесь, в Утёвке, и встретился с твоей матерью. И чтобы ты родился. Чудеса да и только. Как будто кому-то это надо?

Бабушка Груня сидит перед открытым большим сундуком.

Крышка его изнутри оклеена кусками картины Репина «Бурлаки на Волге». Третий слева в толпе бурлак, высокий и в шляпе, очень похож на Большака, который приходит часто к Головачёвым в гости. Только у Большака нет трубки.

Шурка, продолжая разглядывать картину, просит:

— Баб, расскажи что-нибудь ещё об отце.

— О каком, Василии?

— Нет, — глуховато отзывается Шурка.

Бабушка вынимает наконец-то нужный ей клубок пряжи. Не поднимая головы, не торопясь, отвечает:

— Мать пусть расскажет.

Шуркина мать сидит у окна, там посветлее. Сучит пряжу.

— Что тебе рассказать? — вздыхает она.

Потом ловко поправляет веретено, струны вытягиваются, прялка оживает.

— Я расскажу, чтобы ты наперёд знал. Когда твой отец Станислав пропал, перестал писать, я взяла тебя, совсем ещё крошечного, и пошла погадать в Смоляновку к одному старичку.

— Он колдун был? — Шурка сомневается, что мать верит в колдовство.

— Колдун не колдун, а людям много кой-чего угадывал. Забыла, звать как его, эвакуированный. Он появился, как лётная школа у нас стала в селе. Издалека откуда-то.

— Лётная школа?! — Шурка удивлён.

— Да, в ней учили летать молодых ребят. Её тоже откуда-то эвакуировали, где бои были. Некоторые при учёбе-то и погибли, лежат у нас на кладбище.

— А нам в школе не говорили... — Шурка озадачен.

— Мало ли чего вам не говорят!

— Ладно, мам, а что дальше?

— А что дальше? Заходим в избёнку. Ты у меня на руках. На кровати сидит весь белый, как лунь, старик, слепой. В руках бобы. Так перебирает их без останова и говорит с ходу: «Гадать пришла?» — «Да, — говорю, — погадать про его вот отца, пропал, писем нет» — «А ведь ты, дочка, не на того собираешься гадать». — «Как так, — говорю, — не на того?». Помолчал он, помолчал, руками поиграл в бобы и продолжил: «Придёт, вернётся к тебе твой первый муж, которого не ждёшь. Жив он, но далеко». — «Василий? — ахнула я. — Как же так, от него ведь

четыре года с фронта не было писем. Я вышла за другого — поляка» — «Не было, а вот придёт. И родишь от него много детей. Жить будете долго вместе и согласно. Судьбе не противься». — «А как же его отец?» — спрашиваю про тебя, Шурка. «И второй твой муж объявится, но только, когда тебе будет не надо, в старости. Придёт времечко-то, да».

Шурка стоит у голландки, прислонившись к горячему железу, чувствуя жгучий рубец у себя на спине, и чуть не плачет. Хочется расспросить подробности, но боится не справиться с голосом. Наконец решается:

— Мам, а первый сын от Василия, что с ним получилось?

— Умер, — односложно ответила мать. — Грудного мы его ещё не уберегли, простудили. Он был Шурка и тебя я потом назвала Шуркой — ты брат ему.

— А дальше что?

— А что дальше? — переспросила бабушка. И сама же ответила: — Пришёл в сорок шестом Василий, весь израненный, был в плену долго. Заходит в калитку, а ему уже кто-то сказал, пока шёл дорогой, что твоя мать от другого родила, а его-то сына нет в живых. Остановился в калитке-то, когда Катерина с тобой на руках вышла и встала на крыльце. Метнулась я на зады со двора, чтобы не видеть всего этого. Хорошо, что и деда не было. А вернулась когда, они сидят за столом и потихоньку так разговаривают, и ты при них. Она Василия-то молоком поит.

— Ни в какую я не хотела сызнова всё начинать. Но он упрямый всегда был, сладу нет. Все вещи заставил собрать и повёл меня за руку к себе домой, к свекрови, где мы до войны жили. — Мать Шурки, остановив рукой колесо прялки, стала смотреть в окно.

Шурка заметил на глазах у неё слёзы.

— Всё сошлось, что говорил слепой старик. Теперь вот, чуёт моё сердце: и отец твой может вернуться когда-нибудь. Придёт времечко-то... Так он ведь сказал, старик-то. — Бабка посмотрела своими жгучими чёрными глазами на притихшую Катерину и совсем спокойно добавила: — А ты не хлюпай носом. Живи, куда солнышко светит. — И продолжила: — В последнем письме твой польский отец просил прислать фотокарточку новорождённого. Очень хотел, чтобы ты был на ней голеньким, чтобы всего было видно. Катерина так и сделала. Письмо получил перед ос-

вобождением своего родного города Варшавы. Сообщал, что бои страшные и его двое товарищей, которые с ним вместе прибыли из России, погибли. Писал, что, когда получил фотографию, несколько раз останавливался на дороге и смотрел на тебя, не мог поверить, привыкнуть, что он — отец. «Где мой сын — там и моя родина», — так заканчивалось его последнее письмо. Верил, что вернётся к тебе, поэтому мы фамилию не стали тебе менять, хотя Василий несколько раз об этом заговаривал.

Осечка

У Мазилина, который живёт около чайной на Центральной улице, есть страсть, о которой все знают и которая дала ему эту вторую, уличную, фамилию. Он любит ружья и охоту, а вернее, любит быть, присутствовать там, где охота и где пахнет палёным пыжом. Стрелять хорошо не умеет, но врёт о своей меткости отменно. Сегодня охотники на задах стреляли в калитку огорода: пробовали одностволку Веньки Сухова. Мазилин так «раздухарился», что заявил, будто на лету однажды сбил сразу трёх витютней.

— Они стаями и не летают, — сказал веско Венька. — Уймись.

— Что уймись, что уймись, я настоящую правду говорю! Их ветром в стаю сбило над жнивьём в Ревунах.

— Ага, — продолжал Веня, — иду полем — ни одного деревца и вдруг — волки. Я — раз, не мешкая, на огромный дуб, да? — Так Веня вспомнил кусочек рассказа Мазилина о своих подвигах.

Эту историю все уже знают, поэтому и засмеялись.

— Ты зря надсмеаешься, я натренировался на той неделе с ружьёмом-то, могу аккурат пальнуть как надо!

— Можешь? — переспросил Веня и озорно посмотрел на всех.

— Могу, — подтвердил Саня. И для надёжности добавил: — Я, это, гагарок влёт бил, когда у брата на Севере был, а летось в Одеяле дудака завалил.

— Говоришь, гагарок стрелял? А на лемуров в тропиках не охотился? — поинтересовался Веня.

— Чегой-то? — переспросил Мазилин.

— Давай так, — весело сказал Сухов, — на тебе моё ружьё. На, на!

Мазилин неуверенно взял одностволку.

Веня окинул взглядом ровную, заснеженную порошей дорогу вдоль ограды и начал отмеривать крупными шагами расстояние. Единственная его правая рука чётко работала под строевой шаг.

— Вот, ровно тридцать метров. Так?

— Ты что задумал, Веня? — спросил Шуркин дед.

— Так, Саня? — вновь спросил Сухов.

— Ну, так, так, — беспокойно ответил Мазилин.

— Слушай условия дуэли. Стреляешь мне в задницу. Если хотя бы одной дробиной попадёшь — ружьё твоё!

— А если нет?! — крикнул подошедший Стёпка Синегубый. И его испещрённое мелкими тёмно-синими точками лицо, освещённое обычно тусклым светом потерявших остроту после контузии глаз, неожиданно преобразилось. Он вдруг стал таким же весёлым, как Венька. Это удивило Шурку.

— А если не попадёт, тогда посмотрим, что с ним делать.

Венька, широко и плавно разводя руками, театрально изобразил реверанс. Повернулся спиной к толпе и, задрвав фуфайку, наклонился, почти доставая рукой снег:

— Давай, Лександр! Не бойсь! Пали!

«Может, ружьё не заряжено?», — почему-то обрадованно подумал Шурка, глядя на крепкие Венькины галифе.

— Венька, убери казённую часть, не дури, — сказал, похихатывая, дед Шурки.

— А если я попаду? — подал голос сам Мазилин. — Глазунья ведь получится, а? Аховый ты мужик, Веня!

— Да не тяни, там бекасинник в патроне. Я устал буквой «Г» стоять. Ты знаешь, где курок?

Шурка смотрел на Мазилина и лихорадочно искал выход из казавшейся ему тупиковой ситуации. «Венька, ясно, не струсит, будет ждать выстрела, а Мазилин в тупике — надо стрелять, на него все смотрят и ждут. А вдруг сдуру да попадёт?»

Но уже в следующий момент заметил, что неуверенные движения Мазилина получают какую-то твёрдость. Тот перебрёл одностволку с правой руки на левую, как какой-то краснокожий индеец, взметнул её над головой и издал негромкий, но дикий и непонятный воинственный клич:

— И-и-и-ха-ха-у-у!

Все оторопели. Никто такой выходки не ждал. В следующий миг лицо и вся фигура Мазилина обрели уверенное спокойствие и деловитость, что вновь всех изумило.

Он потоптался на месте, делая себе площадку в снегу, и медленно стал поднимать ружьё. Теперь уже он не обращал никакого внимания на присутствующих. Видно было, что действовал осознанно и по плану.

Мазилин начал основательно целиться. Но враз опустил ружьё:

— Венька, стой ещё чуток, передохну. Знаешь, руки дрожат после вчерашнего: солому возили, ну и немножко того, для сугреву приняли. Теперь вот вместо опохмелки ты попался.

— Эх, ты, колбаса! — совсем, как пацан, обозвал Синегубый Мазилина. — Трусишь?

Но Мазилина голыми руками не возьмёшь. Он быстро отозвался:

— Коли колбасе приставить крылья, лучшей бы птицы не было.

Умел Мазилин вот так: не вдруг под гору, а с поноровочкой.

Шурка потихоньку начал понимать, что хозяином положения становится Мазилин, а не Венька. «Неужели Мазилин опять всех перехитрил? — думал Шурка, глядя на Сухова. — Так уж не раз бывало, ведь он — известный пройдоха».

У соседки Пупчихи закричала коза, потом у самого плетня под навесом смешно начал кашлять баран.

— Вот ведь чёртова скотина... правда, Вень? Я её терпеть не могу, потому и не держу. А ты, Вень?

— Стрельнёшь или нет? — подталкивал настойчиво Сухов.

— Стрельну, конечно, стрельну, погоду чуток-то.

Мазилин поднял ружьё и с непонятно отчего радостным лицом, почти не целясь, нажал курок. Прозвучал сухой щелчок, выстрела не последовало.

— Осечка, — сказал бодро Мазилин. — Не судьба, значитца!

— Чего городишь, дай мне, — Венька принял ружьё и, ловко пальцами одной руки скользнув по цевью и ложе, переломил одностволку. Лицо его вытянулось в изумлении:

— Ну, ты даёшь, ловкач!

Он внимательно посмотрел на стрелявшего. Тот развёл руками:

— Ловкость рук и никакого мошенства.

Сухов одобрительно, что было совсем непонятно Шурке, хмыкнул и, шутя, боднул Мазилина головой. Тот громко хохотнул и объявил:

— Господа хорошие, спектакля сегодня больше не будет. Потихоньку все разошлись.

Шурка вынул перочинный ножичек с двумя лезвиями и начал выковыривать дробины из деревянной калитки. Некоторые засели глубоко. Старые трухлявые доски внутри оказались крепкими, а дробь, расплющившись, трудно поддавалась тонкому лезвию. Мерзли руки, хотя и было солнечно. Снег искрился, как будто тысячи серебряных мелких дробинок кто-то рассыпал по чьей-то непонятной прихоти.

— Зачем тебе это? — спросил Сухов.

— Да на грузило к удочкам, на лето.

— Приходи, дам свинца, раздобыл недавно.

— Ладно, приду.

Веня Сухов — ловкий, стройный и добрый, уже уходил, и Шурка поинтересовался:

— А как Мазилин придумал фокус с осечкой?

— Да не было осечки. Пока он нас потешал, успел потихоньку патрон из ствола вытряхнуть и валенком в снег втоптать. Находчивый, чёрт!

— Эх, вот это да! — только и сказал Шурка.

На душе было празднично. Стояла ещё только первая половина зимнего солнечного дня. Почти целый день впереди. Рядом были дед, бабушка, все свои. Веня... Такие все разные. И даже пройдошистый Мазилин воспринимался как что-то чудное, но такое, без чего вроде бы и жизнь не совсем та, какая может быть.

Рождество

В сенях зашумели, затопали чьи-то торопливые валенки, дверь распахнулась и в избу ввалились трое ребят: Толик Беспёрстов, Димка Таганин и Мусай Резяпов.

Едва переступив порог, ещё не закрыв как следует заиндевевшую дверь, нестройно, но громко и, главное, решительно запели молитву:

*Рождество Твоё, Христе Боже наш,
возсия миру свет разума,
в нём бо звёздам служащими звездою учахуся,
Тебе кланяются, Солнцу правды,
и Тебе ведети с высоты востока,
Господи, слава Тебе!*

Молитву Шурка знал давно, много раз славил, когда был поменьше. И теперь, лёжа в кровати, ревностно и радостно слушал пение.

Слова молитвы местами непонятны, но жила в них, исходила от них какая-то неизъяснимая благодать. Неясные созвучия были знакомы, на слуху и поэтому, может быть, несли в душу не осознанную до конца радость и веру в жизнь.

Так наступило утро седьмого января, праздника Рождества Христова.

Когда ребята смолкли, братишка Петя вскочил на кровати, переступил, балансируя, через Шурку и в трусах, босиком пошлёпал к порогу, издавая какие-то невнятные звуки.

Мать Шурки раздавала припасённые заранее конфеты-пудшечки:

— Слава Богу! Слава Богу!

Когда славильщики ушли, Петя, стоя на одной ноге, поджав другую от холода, заскочившего через только что с шумом закрывшуюся дверь, закричал горестно:

— Опять ты, мамка, опоздала меня разбудить. Уже ходят! Беспёрстов меня обогнал.

— Не торопись ты, темень ещё на дворе. Они самые первые. Посмотри в окно, — отвечала мать.

Шурка, споткнувшись о тыкву, выкатившуюся из-под кровати, подошёл к окну. Отодвинул занавеску. Палисадник, широкая улица — всё завалено сугробами. Ночью шёл сильный снег. Несколько стаяк ребят, по двое, по трое пробивались, увязая по колени, к подворьям.

— Зачем тебе, Петь, в такую рань-то?

— Дак я должен был ещё зайти к Перовым, за Ванькой!

— Петь, да ты в своём уме? — всплеснула руками мать. — Он ведь на самом краю села живёт, пусть за тобой забегает. Хватит колдыбашить-то.

— Нет, — упрямится Петя, — он чуть не каждый день за мной заходит, когда в школу идёт.

— Но ему же по пути.

— Я ему обещал вчера, честное слово дал, — говорит Петька, натягивая на босу ногу валенок. — Мы решили в этом году славить в Золотом конце, — приводит он свой последний и веский довод.

— Петро, не выкобенивайся, — как взрослому, говорит вошедший со двора отец, — надень носки, без них не пойдёшь.

Петька послушно идёт искать пропавшие носки. Приподняв подзорник, лезет под кровать.

— Мать, никак меж славильщиков и татарчонок Мусай был? — спрашивает Василий.

— Был, а что?

— Ну, как, что...

— Да ладно тебе, радостный праздник для всех же, а для ребятни — тем более. Знаешь, какой у него голос? Красивый! Чудо!

Одевшись, Петька быстренько, пока про него забыли, прощмыгнул к двери и пропал в сених.

— Ну, а ты, Шурка, что же не с ними? — спрашивает отец.

— Большой стал, в шестом классе, стесняется, — ответила за него мать.

Она отставила ухват к двери, обернулась к ним. И Шурка поразился, какая у них мать молодая и красивая! Чёрные, как смоль, волосы и карие глаза, смуглость лица и живость движений делали её сгустком энергии и заразной веселости.

Он хотел было возразить маме, но не успел, она, улыбаясь, сказала:

— Знаете, как мы бывалыча девчонками с Надей Чураевой пели на Рождество! Нас все любили. А колядовали как! Наши колядки всем так нравились! Самый мой отрадный праздник был Рождество Христово. И все дни до самого Крещенья! Была бы помоложе, убежала с ними, с этими ребяташками, ей-богу!

Поединок

По Зубареву переулку в розвальнях на буланой кобылке промчался Мишка. Снежная пыль клубилась за возком. Мишка не умел ездить медленно.

«На общий двор погнал, — отметил про себя Шурка. — Ну, хорошо, посмотрим, кто слабак!» Нырнул в сельницу и вышел оттуда с уздечкой. «Будем биться на равных, по справедливости».

Мишку встретил у стадиона, когда тот уже возвращался домой. Странно, но противник не испугался и не удивился:

— Ждёшь? — спросил он и встал метрах в двух от Шурки, застёгивая на все пуговицы старенькую бекешку.

— Жду, — подтвердил Шурка, подвигаясь к неприятелю.

— Знал, что ты когда-нибудь меня подкараулишь, но я тренировался и...

— И я — тоже, — перебил Шурка и так ловко стал крутить уздечкой круги над головой, перед собой, слева и справа от себя, что Мишка невольно попятился.

— Тебя кто-то учил из взрослых! — выкрикнул он, невольно озираясь: то ли готовился занять хорошее местечко на дороге, то ли оробев.

— Сам! Тебе сейчас придётся попрыгать, а то пятки отшибу, понял? Не будешь больше кобениться.

— Да ладно, отшибу... Сам получишь по сусалам. Вот послушай.

И пропел жидким, ужасно мерзким голосом:

Шурка-пупурка. Турецкий барабан.

Как заиграет на пузе таракан!

Он ничего, оказывается не боялся, этот узкоплечий, веснучатый и дерзкий Мишка Лашманкин.

— Стишки твои глупые, для первоклашек.

— А у тебя какие есть? — спросил Мишка.

Стихов у Шурки таких не было. И это его немножко озадачило. Он задумался. И потерял инициативу. А противник не дремал, кочетом бросился на Шурку и, обхватив со спины его же уздечкой, стянул её впереди, захлестнув концы.

— Ах, ты так?.. — запоздало спохватился Шурка и резко метнулся в левый бок, быстро сообразив, что в падении мо-

жет освободить из плена руки. Так и оказалось. Противник не ожидал при всей своей коварности такого манёвра и они повалились на дорогу. Изловчившись, нырком выскочил Шурка из-под неприятеля и оказался вмиг верхом на нём. Мишка извивался под седоком, а тот, не помня себя, схватил горсть грязного дорожного снега и стал размазывать по потному лицу противника.

— Ах, ты так, так, ты так... — взвился Мишка.

Но Шурка его не слышал. Он уже ничего не сознавал...

И вдруг прозвучал властный голос:

— Отставить! По стойке «смирно» становись!

У обочины, опершись на костыль, в жёлтой фуфайке стоял Шуркин отец. Руки под военной командой ослабли вмиг. Противники поднялись.

И тут последовала новая команда, которая вновь заставила их подчиниться:

— По разным сторонам дороги разойдись! По домам «шагом марш»!

Дома, весело глядя на Шурку, отец сказал:

— Молодец, такого крепкого парня свалил. Это хорошо. Но кто же лежачего бьёт? Несправедливо. Так нельзя.

— Да я... — Шурка хотел объяснить, что они разом повалились.

Но отец опередил:

— А грязью зачем ты ему лицо мазал?

— Я не помнил, что делал, совсем...

— Ну, брат, — отец покачал головой. — Драться надо уметь так, чтобы не терять над собой власть. Иначе до беды недалеко. И ещё надо знать, за что дерёшься.

Он внимательно посмотрел на Шурку:

— Причина для драки была серьёзная?

— Была, — потупившись, ответил Шурка.

— Ну, раз была, то всё нормально. Веселей гляди. Бери вёдра, пошли скотину поить.

Через несколько минут вёдра весело загремели в руках Шурки. А чуть позже призывно на калде замычала Жданка.

Полонез Огинского

Шурка давно уже знал, что дядя Гриша Кочетков в войну работал в утёвской сапожной мастерской с его польским отцом.

На прошлой неделе он, как взрослый, подошёл к Кочетку прямо на улице, когда тот проходил мимо их двора, спросил:

— Дядя Гриша, расскажи что-нибудь про моего польского отца.

Тот не удивился просьбе, как будто давно об этом уже говорили.

— Приходи завтра днём.

...Едва Шурка щёлкнул щеколдой, залаяла собака. Вышел хозяин. Подойдя ближе, положил легонько руку на плечо Шурки и они, как старые знакомые, пошли в дом.

Оставив Шурку, хозяин скрылся в сенях. Вышел оттуда, держа в руках мандолину и потрёпанную ученическую тетрадь.

— Дядя Гриша, у вас фотографии отца есть?

— Одна групповая была, да жалко, запропастилась куда-то.

Шурка понурил голову.

— Ладно, не грусти. В Куйбышеве у меня друг живёт, он на той фотокарточке стоял около твоего отца, может, у него сохранилась...

Полистав тетрадку, нашёл нужную страницу, помятую и исписанную карандашом.

— Вот:

*Когда пролётных птиц несутся вереницы
От зимних бурь и вьюг и стонут в вышине,
Не осуждай их, друг! Весной вернутся птицы
Знакомым им путём к желанной стороне.
Но, слыши голос их печальный, вспомни друга!
Едва надежда вновь блеснёт моей судьбе,
На крыльях радости помчусь я быстро с юга
Опять на север — вновь к тебе!*

— Знаешь, кто написал? — спросил Кочеток.

— Нет. Может, Пушкин?

— Пушкин, только польский — Адам Мицкевич, вот! Один раз, в войну, у твоей матери был день рождения. Ну, мы собрались... Даже пиво было.

Отец твой прочитал это стихотворение по-польски, пересказал по-русски. Назвал автора — Адам Мицкевич. Мы признались, что не знаем такого. Он тогда очень расстроился и даже, кажется, обиделся на нас. Говорил по-русски плохо, а тут совсем смутился, когда объяснял нам, что у них Мицкевич, как у нас — Пушкин. Его каждый поляк знает. Мицкевич и Пушкин, видишь ли, навроде друзей были меж собой. Я это стихотворение о перелётных птицах запомнил хорошо. Потом дочь моя, учительница в Куйбышевe, нашла книжку Мицкевича, переписала и прислала.

— Дядя Гриша, мой отец — шляхтич?

— Кто тебе такую глупость сказал?

— Да меня дураки наши в школе контрой зовут, когда разозлить хотят.

— Послушай, он отличные женские туфли шил и меня научил. Может контра сапоги да башмаки шить, а? Он красивый был. Среднего роста, смуглый, кудрявый, а глаза голубые. Хорошо танцевал, и девчат наших учил. Польку, мазурку, кадрили... Всё умел. Ходил в толстовке коричневого цвета. У тебя вот глаза зелёные, у матери твоей — карие. Ты, значит, посерединке у них. Шляхтич не шляхтич, но немецкий и французский знал, это верно. Уважительный, вежливый был, но за своё стоял. Когда я ему сказал, что вот освободят Польшу от немцев, организуют у них колхозы и будет страна, как наша, стал мне говорить, что у них никогда колхозов не будет. Колхозы им не нужны. Так его и не убедил. А с матерью твоей я его познакомил у Чураевых на вечёрках. Не сразу они сошлись. Хоть и четыре года твоя мать не получала писем от первого мужа, а всё равно — жена законная. Мы все были уверены, что Василия нет в живых. А тут ещё Минька Леток раненый вернулся, сказал, что видел Василия Фёдоровича вроде бы на Карельском фронте, на Финской ещё, попавшим под такой обстрел, что все погибли. Такая вот история с Любаевым получилась. Как тут разобраться?

Он взял мандолину, как маленького ребёнка, погладил ладонью, вытряхнул из отверстия посередине большой зуб от сломанной расчёски и тронул струны.

Полилась удивительно красивая, грустная, незнакомая мелодия. Мандолина — это маленькое существо, даже не гитара,

незаметное и невнушительное, хранила в себе и издавала такие звуки, которые могли существовать только где-то на просторе, в поле, между небом и землёй. Как песня жаворонка под открытым небом. В вышине, в огромном свободном пространстве, вечном и манящем...

Дядя Гриша кончил играть, Шурка не сразу пришёл в себя.

— Подарок тебе — любимая музыка твоего отца, полонез Огинского. Он любил его напевать, ну я и подобрал на мандолине. Ему очень нравилось, часто просил сыграть. Говорил, что эта музыка — бессмертная. На все века! Бери мандолину, она — твоя.

— Как так? — опешил Шурка.

— Я её подарил твоему отцу — Стасу. Но, когда его срочно забирали на фронт, он забыл её взять впопыхах. Она у нас потом долго в сапожной мастерской висела — на память.

— А где была сапожная мастерская?

— В промкомбинате, напротив школы. Во время войны, в начале, его собрали из чернолесья. Потом твой дед с бригадой работал в Борске, заготавливали сосновые брёвна. Я тоже с ними, плотами пригнали в Утёвку, сделали пристрой. В нём овчины готовили. Шили для фронта полушубки из них.

— Плотами в Утёвку по Самарке?! — удивился Шурка.

— Ну, да!

Шурка погладил осторожно, как живое существо, мандолину и протянул Григорию.

— Нет, спасибо. Можно, она будет у вас? Я буду приходить, слушать, как вы играете?

— Смотрю вот на тебя и удивляюсь — так похож на отца, может, не внешностью, а характером больше. Он тоже, когда возражал, говорил очень мягко, как бы просил. Совестьливый был.

— А кто такой Огинский? Шляхтич?

— Дался тебе этот шляхтич. Композитор, поляк. Мне о нём Стас рассказывал, он много всего знал и любил рассказывать. Но я всё уже перезабыл. По-моему, граф был, а звали Михаилом или Николаем. Такое русское имя... да вот.

— А в чём мой отец провинился, дядя Гриш?

— Точно не знаю. Тут их несколько человек было по селам. Сельсоветские наши частенько спрашивали о нём. Не спустили глаз.

— А как забрали на фронт? — допытывался Шурка.

— Просто. Польскую часть формировали и его призвали, кажется, в Рязань, вроде бы в дивизию Костюшко.

— А русских любил?

— Кто? — не понял дядька Гриша.

— Отец мой.

— О чём разговор! Мы были все приятелями. Песни наши любил. Послушай, мы с ним часто её пели:

*Среди долины ровныя
На гладкой высоте
Цветёт, растёт высокий дуб
В могучей красоте.
Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах;
Один, один, бедняжка,
Как рекрут на часах.*

В избу вошла Наташа Лучезарная — жена Григория. Тут же подседа рядышком и стала подпевать.

Не зря утёвский народ такое прозвище ей дал. От неё веяло жаром, как от протопленной печки, какие-то тёплые иголки выскакивали из её весёлых улыбочивых глаз и покалывали всех, кто был рядом. Грустная песня оставалась грустной, но всё превратилось в некую забаву, и грусть стала как бы понарошку, временной.

Она обняла Григория за шею сзади одной рукой, наклонилась, кофточка белая на груди расстегнулась на две пуговички и два бронзовых полновесных слитка заиграли перед лицом Шурки, в такт движениям их шаловливой хозяйки то прячась, то выглядывая и целясь прямо в Шурку тёмными пухлыми сосками. Ему стало не по себе. Смутное, необычное волнение нашло на него.

А песня лилась в два голоса:

*Взойдёт ли красно солнышко —
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка —
Кто будет защищать?*

Вдруг Лучезарная всплеснула лёгкими и ласковыми руками:

— Гришенька, песне-то этой конца нет, а у меня баня протопилась, голубок, давно.

— Наташа, ну, обожди, допою парню ещё один куплет. Когда ещё так посидим?

Наташа ушла в сенцы и дядя Гриша озорно подмигнул:

— Вишь, моя полячка какая нетерпеливая!

— Разве ж она — полячка? — откликнулся Шурка.

— Это я к слову. Похожа на полячку, верно?

И, не дожидаясь ответа, вновь запел:

Возьмите же всё золото,

Все почести назад:

Мне родину, мне милую,

Мне милой дайте взгляд.

Он замолк.

— Вот такие дела. Тосковал твой отец о своей прежней жизни. Это видно было. Не мог здесь прижиться. Другой был, не как мы.

— А как кто?

— Не знаю. В мастерскую сапожную приходил в светлой рубаше с галстуком. Так вот.

Григорий встал, отнёс в сени мандолину. Оттуда выпорхнула Лучезарная с тазиком в руках и в полушалке:

— Гриш, ну ты и копуха, собирайся, а то я одна уйду.

Поляков из Покровки

Шурка, подперев левой рукой подбородок, сидит у деда в горнице за столом. Рисует самолётики, фигуры разные на обратной стороне обрезков обоев. Скучно. Должен был прийти Андрей, но его всё нет. Книжка «Одиссея капитана Блада» прочитана, больше ничего нет. Все взрослые на базаре, сегодня — воскресенье. Он рассеянно смотрит на стену перед собой, упирается взглядом в картину с цветами и непонятым названием «Пионы» и ему делается ещё скучнее. Потом берёт попавший под руку жёлтый карандаш и перед непонятым словом ставит большую, но не жирную (чтобы бабушка не заругала) букву «Ш». Вслух произносит: «Шпионы». Становится как-то понятнее, но какая связь между цветами и этим словом, никак не улавливает, и опять ему становится скучно. Зачёркивает буквы «и» и «ы», получается: «шпон». Скучно. Зачёркивает букву «ш», восстанавливает «и» и вместо «ы» дописывает «ер», становится

веселее: «пионер». Когда же убирает «п» и «ер» и дописывает «ыч», совсем хорошо: «Ионыч». Вернувшись к слову «шпон», убирает букву «ш» и в конце добавляет «т». Вот теперь, когда надпись под цветами становится свалкой букв, как у деда на верстаке, где завитушки золотистых сосновых стружек кудрявятся и шевелятся, как живые, ему становится интересней.

Взгляд падает на ружьё, висящее (а скорее, лежащее) под потолком на двух больших гвоздях. Оно не заряжено. Мысли сами собой почему-то начинают вращаться вокруг вопроса: «Если все говорят, что ружьё и незаряженное один раз стреляет, то когда это случится? Завтра, через год, два, десять? Нет, интересно всё-таки, ведь не зря говорят? Стрельнуть должно ружьё».

В сенях послышалось, как кто-то обметает валенки веником от снега. Шурка радостно бросился встречать деда с бабушкой. Но ошибся. В избу шагнул с мороза высокий человек и весело сказал:

— Здорово, брат!

— Здравьте, — неуверенно отозвался Шурка, а про себя подумал: «Вот и брательник у меня объявился».

— Один, что ли?

— Один.

— Все на базаре?

— Нет, дядя Лёша на охоту ушёл.

— Эх, мать честная, я ведь к нему. Охотничий билет продлить надо и заплатить взносы.

Он, не спрашивая разрешения и не снимая валенки, прошёл и по-хозяйски уверенно сел на табуретку около печки. Расстегнул шубняк. Это Шурке не очень понравилось.

Гость пристально посмотрел на Шурку и спросил, глядя в упор своими диковатыми глазами из-под рыжих бровей:

— Ты Катькин сын, что ли, будешь, так?

— Ну, так.

— Полячок, значит, — то ли спросил, то ли ответил себе, довольный.

Шурка промолчал.

На это молчание гость отреагировал странно. Он хлопнул себя ладонями с растопыренными пальцами с обеих сторон по ляжкам и с каким-то только ему понятным восторгом подтвер-

дил: «Полячок!». Затем встал и направился к выходу. За ним потянулись следы от мокрых, оттаявших в избе валенок.

— Ждать некогда, да и не дождёшься быстро с охоты. Ты вот что, скажи ему, был, мол, Поляков Михаил, на базар приезжал с Покровки, в следующее воскресенье утром снова будем — пусть подождёт. Ладно? Без билета нельзя. И привет большой ему от Полякова, вместе служили.

— Ладно, — неопределённо отвечает Шурка.

Ему вдруг стало казаться, что этот уверенный сильный человек смеялся над ним, дразнил. Специально придумал фамилию — Поляков. Он намекает, что отец Шурки и сам Шурка немножко не такие, а как бы с порчей какой.

— Что такой задумчивый, рона¹ большой? Веселись, пока время твоё!

Неожиданный знакомый хлопнул ладонью по косяку, резко открыл дверь и вышел.

«Вдруг он всё-таки смеялся надо мной? Фамилию назвал такую. Как же я скажу, кто к нам приходил, — пытается разобрататься Шурка. — Если говорить, то надо называть эту фамилию. Вдруг дядья смеяться будут? Ведь это похоже на розыгрыш. Или нет?»

Пусть поплачет

— Ты что такой смурной сегодня? — встретила Шурку вопросом бабушка.

— Я видел сегодня: мама украдкой плакала.

— Не замай, пусть поплачет. Полегчает.

— Как же так? — Шурка недоуменно смотрел на бабушку. — Надо что-то сделать!

— А вот иди ко мне за стол, посиди, а я расскажу. Тебе пора, видеть, понимать.

Шурка сел в угол на лавку, как раз под иконой, напротив бабки, чтобы видеть огонек в печи и не мешать ей работать ухватом и сковородником.

Бабушка отставила в сторону ухват:

— Не серчай ни на кого из нас и не обижайся, ладно?

— Ладно, — сказал Шурка почти машинально и ему стало

¹ Рона — будто, словно

не по себе. Получалось с этим его «ладно», что он здесь главнее всех и может свысока позволить кому-то какую-то вольность. Он опустил глаза в стол.

— Третьего дня Кочеток, когда тебя не было, принёс две фотографии твоего отца Станислава. Сказал, что в Зуевке нашёл у знакомого — для тебя старался. Вроде бы обещал. Ну, мы с матерью, от греха подальше, вставили их в портрет у вас в передней, но только с обратной стороны, чтоб не видно. А сегодня утром Василий случайно их увидел. Не стал слушать Катерину, порвал и выкинул. Не знал, что Кочеток тебе их принёс. Думал, хранит ото всех. Мать в слёзы, говорит ему: надо, чтобы ты в лицо отца знал, а он вскипел весь: «Раз мы договорились, что отцом ему буду я, значит точка. Не морочьте парню и мне голову». Он — кремень, и раньше был очень горячий и твёрдый. Его не переубедишь. И по-своему ведь прав, понимаешь, голова садовая?

Шурка молчал. Он всех любил. Василий, которого звал отцом и хотел, чтобы он был отцом, удивлял его своим характером. Поражали поступки и манера говорить: коротко и односложно. Но зато какая сила и уверенность были во всём, что он делал. Всё воспринималось как маленькая часть чего-то огромного, правильного, настоящего, что только и имеет право на жизнь. Шурке иногда казалось, что его отец Василий связан, это порой ощущалось физически, с некоей огромной умной силой, с которой тот встретился и обручился то ли на войне, то ли в плену, то ли ещё где.

Она его отметила, и теперь он с этой отметиной живёт.

«Почему он порвал фотографии отца? — недоумевал Шурка. — Ведь это же не измена, мне просто надо знать, что и как было. И какой был отец Станислав. Неужели отец Василий не понимает?» Досада угнетала Шурку ещё и потому, что напрямую ему он об этом не мог сказать.

— Ну, вот, совсем я тебя расстроила, — бабушка старалась быть весёлой, — не горюнься. Ты ещё не вырос, может, и не надо бы мне говорить тебе, но ты об этом думаешь. Тогда пойми: он порвал карточки только потому, что Катерину ревнует, вот и всё. А к тебе очень хорошо относится. Я знаю, Катерина отдала своей какой-то подруге сберечь последние письма Станислава из-под Варшавы — перед её освобождением. Три или четыре...

— Но мама плачет..

— Плачет потому, что всех вас жалеет: и тебя, и Василия, и Станислава. Вот ведь война что наделала. А мне вас всех жалко.

Она обняла внука за плечи:

— Ты правильно пойми. Когда перестали приходиться письма с фронта, мать начала кое-что пытаться у разных людей узнавать. И один разок зашёл к нам Мишка-милиционер и мне одной сказал, чтобы забыли о твоём отце и не искали — может это бедой обернуться для нас всех. Так и сказал. Он был поляк, а к ним строго относились. Вырастешь, сам разберёшься, а пока побереги себя и нас.

«Где и кто мой отец? — горестно думал Шурка. — Приехал бы, забрал меня в свою Варшаву — всем было бы легче. Но как же мои дед, мама, бабушка, Самарка, Карий... Как я без них? Нет, не надо меня никуда забирать».

— Иди, позови на завтрак деда, он у погребницы сети разбирает, — она легко подтолкнула его, — будем лапшатник с молоком есть.

Шурка направился к двери и вдруг у порога, обернувшись, сказал совсем неожиданное для себя, вернее, то, о чём много думал, но вовсе не собирался сейчас спрашивать, да и вообще вряд ли решился бы когда:

— Баб, я кто?

— Не поняла я? — бабушка внимательно, так, как только она умела, посмотрела сразу на всего Шурку, отчего Шурке некуда было спрятаться. Стало не по себе: то ли от того, что спросил, или потому, что вот бабушка сейчас ответит и её слова могут создать непреодолимую преграду между ним и всеми, кого он так любит.

— Ты меня о чём спрашиваешь?

Шурке уж некуда было деваться и он уточнил:

— Баб, я кто? Русский или кто?

— А, вот ты о чём.

И спокойно сказала:

— А сам ответь себе... Раз мы все вокруг тебя русские, мама твоя русская, то кто ты? А?

Шурка не ответил, пнув ногой дверь, выскочил во двор. Сходу попав в окружение Цыгана и Верного, цыкнул по-хозяйски на них и побежал к погребнице, где всегда пахло рыбой, мокры-

ми сетками и где Шуркин дедушка мог внезапно сказать что-то вроде такого: «А что, внук, не махнуть ли нам с тобой за зайцами, а заодно и сетки проверим в Подстепном, а?».

Когда садились за стол, пришла мать, а чуть позже — дядя Алексей.

Шурка любил, когда за столом много людей. Это у него, наверное, от бабушки, у которой, все знали, была слабость: зазвать в дом и чем-нибудь попотчевать. Она любила летом сказывать: «Ну, что, мужики, на вольном воздухе будем обедать, под открытым небом?». И все сразу соглашались, и Шурка первым брал стулья и шёл к старой ранетке. Следом взрослые несли стол.

Под скрипучей ранеткой Шурка особенно любил есть окрошку. Баба Груня делала её из своего кваса, нащипывая туда сушёную крепко соленую густеру или сапу. Было остро и очень вкусно.

...Только вчера зарезали барана. Тушка его сейчас висела в сенях на большом крюке, а гольё — приготовленная к дублинию шкура — в мазанке.

Баба Груня сварила щи.

Ели из общей высокой глиняной миски, поставленной на середину стола. Щи были наваристые и горячие. Ели молча и сосредоточенно. Жирные капли щей, падая из Шуркиной деревянной ложки на клеёнку, тут же застывали маленькими восковыми кругляшками. Шурка щёлкал по ним пальцем и они легко отлетали на пол.

— Шурк, чать не маленький, — спокойно сказал дед, — прекрати!

Шурка быстро наелся щей и стал ждать лапшатник. Он положил свою ложку на край миски, уперев её черенком в стол. Ложка держалась, это его забавляло.

— Убери, — сказал дед.

— Она так интересно стоит.

Но дед сразил все доводы сразу и под корень:

— Чего ж интересного? Как собака через забор заглядывает, того и гляди гавкнет. Неприятно.

Шурка молча убрал ложку.

Бабушка долила щей, все продолжали работать ложками, не трогая мяса.

— Таскайте, — как обычно, будто между прочим, сказал дед.

Это была команда вылавливать куски мяса. Не было скаредности. Во всём необходим порядок, и эту негласную установку все уважали.

Шурка краем глаза смотрел на мать. Она была спокойна, ни малейшего признака того, что утром плакала. Он знал, и так было уже не раз, если она сейчас что-нибудь скажет весёлое, все, включая и дедушку, засмеются (мать так умеет говорить), и эта сдержанность за столом и сосредоточенность не от какого-то недопонимания или горя, а от уважения к еде, к хлебу, ко всему тому, что даётся нелегко и не вдруг.

«А я ещё со своими вопросами выскакиваю, — думал Шурка, — всем и без них несладко».

Письмо Жукову

— Пойми ты, голова садовая: пенсия колхозника и пенсия инвалида войны — разные вещи.

Это говорил красивый дядька в чёрном кителе с двумя орденами и медалями на груди.

Когда Шурка пришёл из школы, отец и его новый знакомый сидели в избе и разговаривали. Перед ними стояла наполовину опорожненная бутылка водки, что сильно удивило Шурку.

Гость действительно был необычный: большая кудрявая голова его, цепкие колючие глаза и уверенный тон — всё говорило о том, что человек у них непростой.

Шурке незнакомец сразу понравился. Он потихоньку прошмыгнул мимо к подоконнику, где обычно делал уроки. Мать сидела рядом, разбирала шерсть.

— Мам, кто это?

— Зуев, дядя Костя.

— А кто он такой?

— На фронте майором был, а теперь инвалид, безногий.

— Как? — оторопел Шурка.

Ему не поверилось: такой сильный, уверенный, говорит громко, бодро, заразительно.

— У него обеих ног нету, — сказала мать, — мы ему с Василием помогли забраться за стол — выше колен обрубки.

— А как он к нам попал?

— Узнал, что Василий на все руки мастер, приехал на своей трехколяске какие-то тяги ремонтировать.

— А где ж она, трехколяска?

— Да за сеньями стоит, разве не видел?

— Василий, ты в райсобесе объяснял свои дела или нет? — говорил в это время бывший майор.

— А что я буду объяснять или так не видно? Разберутся. Получим и мы своё.

— Жди! Хрен да маленько, вот что получишь. Я их знаю, тыловых крыс, сталкивался не раз.

Он стукнул кулаком так, что его медали и ордена звякнули звонко и убедительно.

— У тебя когда раны открылись? — он направил на Шуркиного отца указательный палец, похожий на дуло пистолета.

— Примерно через полгода.

— Вот теперь слушай, мать твоя — кочерыжка... Значит, если в течение года после демобилизации у участника войны возникает инвалидность, то он считается инвалидом войны. Пенсия-то у тебя должна быть раза в два больше, а не двенадцать рублей. Так жить нельзя. Я пробью ваших районных крыс! А ты делай мне мой тарантас, договорились?

Он широким жестом разлил по стаканам водку.

— Давай, рядовой Василий Любаев, грохнем за наши победы. Чёрт бы всех побрал!

— Подожди, — Шуркин отец взял стакан, подвинул ближе к себе, но пить не торопился.

— Я был в плену, — сказал он.

— Каким образом? — как-то очень строго спросил майор, так что Шурке стало страшновато за отца.

— В тридцать восьмом забрали на срочную в Тоцкие лагеря. И закрутило. Уже в сорок втором попал в армию к Власову.

— Во вторую ударную?

— Так точно. В плен попал, ещё не получив оружия, не успел.

— А ранило где?

— Это от побоев, неудачно бежал. Правда, контузило под Выборгом, ещё на Финской.

— А как освободился?

— Американцы в Германии, когда соседний барак с пленными уже сторел.

— Да, дела... — почесал затылок майор. — Власова не знал, а вот маршала Мерецкова видел, боевой.

— Мам, он откуда взялся, всё знает? — удивился Шурка.

— В Москве жил до войны, приехал теперь в Куйбышев к родственникам. Говорят — Герой.

— Василий! Слушай мой совет: Жукову надо писать, Георгию Константиновичу, — твёрдо сказал Зуев.

— Что ты говоришь, товарищ майор, об этом страшно подумать. Кто я такой? — отец Шурки безнадежно махнул рукой. — У них просить — это всё равно как требовать у попа сдачи.

— Разговорчики в строю, рядовой Любаев! — грозно сверкнул глазами майор. И уже тише и примирительно добавил: — И потом — гвардии майор, разницу улавливаешь? Гвардии...

— Не дури, Константин, я был в плену — в этом весь гвоздь, меня и так органы без конца разговорами манежат — работа идёт. Нас четверо всего в живых осталось.

— Ну так не тебя же обвиняют, ты чист. В чём дело? И потом — четыре года уже нет Иосифа Виссарионовича.

— Его нет, другие остались. Покоя хочу, устал. Забыть бы всё, — отозвался отец.

— Лезь тогда на печку к своей трещине. Там спокойно сиди, через дырку на небушко поглядывай.

Он помолчал, глядя в стол, ладонью левой руки потёр о край стола несколько раз, поднял голову:

— Подписываемся оба: рядом с твоей фамилией будет моя. Текст я сам напишу.

...Письмо отправили недели через две. Дядя Костя как-то хитро свернул его конвертом и заклеил. Потом вложил в настоящий конверт и послал своему другу-однополчанину в Москву с просьбой вынуть главное письмо и бросить в московский почтовый ящик.

Маслянка

В Утёвке много больших красивых улиц: Крестьянская, Льва Толстого, Фрунзе. Но почему-то самые интересные события происходили всё больше на маленьких и дальних: в Заколюковке, Золотом конце, Тягаловке, в Исаках, Смоляновке, Лопатиновке.

На носу Масленица — дни, наполненные весельем, снежными забавами. Все как бы неосознанно прощались со снегом, хоронили зиму, балуясь напоследок в преддверии весны. Родовались почти язычески солнцу, весеннему свету. Пекли блины и особенно дети радовались им, совсем не пугаясь приближающегося поста. Его мало кто соблюдал, больше было разговоров о нём.

Взрослые ребята во главе с Шуркиным дядей Серёжей, недавно вернувшись со срочной службы, решили сладить на самой большой, центральной улице, около Ракчеева двора, маслянку. Будет и на Шуркиной улице праздник.

Непростое это дело — соорудить хорошую маслянку. Перво-наперво надо одним концом вертикально вморозить большой лом в вырытую посередине улицы лунку. На другой конец надевалось тележное колесо. Земля промёрзшая, неподатливая. Пока сделали яму в полметра глубиной, умаялись. Когда таскали воду для заливки, у деда Проняя Васяева выпросили хороший такой толстый лом, его и установили, не торопясь поливая водой. За ночь мороз сделал своё дело. Наутро лом торчал посреди улицы напротив дома Ракчеевых уверенно и требовательно. Тележное колесо нашлось у Ракчеевых, оно ещё с прошлого года было припрятано за сеньницей. Его надели на лом, который теперь служил осью, и осталось дело за небольшим: к колесу надо было привязать длинную жердь, а на конец жерди — хорошие крепкие салазки. Две жерди метров по пять длиной принёс сам Ракчеев Кузьма:

— Стышные будут, но ничего, сбейте гвоздями и свяжите проволокой. Только верните потом.

Так и сделали. Забава, но помогали и взрослые, артельно всё ладилось быстро. Когда же вставили колья сверху в спицы и трое добровольцев с их помощью крутанули колесо, жердь, немного провисая в середине и поднимая снежную пыль, пошла так быстро, как циркуль, описывая пристроенными на конце салазками окружность, что уже через несколько минут образовались две четкие колеи.

— Андрюха, садись! — озорно прикрикнул Кузьма.

Давний Шуркин приятель Андрей Плаксин словно этого только и ждал. Он лёг животом вниз, руками как можно крепче зацепился за жердину и затаился.

— Пошла, — скомандовал Серёга.

Толпа собравшихся взрослых и ребятишек отхлынула от вычерченного снежного круга. Шурка еле успел отступить, как санки с его дружкой, набрав за полкруга удивительно быстро скорость, пронеслись, поднимая снежную пыль.

Через три-четыре круга колесо так раскрутилось, что вращавшие его еле за ним успевали, поддавая скорость напором на колья, вставленные в спицы.

«Разматывается Андрюха, как гирька на верёвочке», — только подумал Шурка, как Андрея сорвало с круга и он бесформенным комом влетел в толпу зевак.

— Чуры не знают, крутят по-бешеному, не удержишься! — сказал он, отряхиваясь.

Когда слетели ещё двое тягловских, пришедших попробовать, Шурка пошёл за своей удачей. Он уже сообразил, как надо сопротивляться той силе, которая выбрасывала смельчаков. Эта сила шла от колеса по прямой и навывлет, за круг. «Значит надо, — думал он, — лечь спиной к центру, ухватившись руками не за сани, а за жердь, обеими ногами упереться в дальний угол саней». Шурка так и сделал. И, казалось, через два круга поймал удачу, но ребята там, около колеса, поднажали на свои рычаги и он не стал различать опоясывающих маслянку людей — всё слилось в сплошную чёрную массу. Понял, что не выдержит, огромная сила стала отрывать его от жердины, руки слабели и вдруг обожгла мысль: зря так сел. Важно не удержаться на круге, главное — вовремя упасть, ничего себе не сломав. Шурка почувствовал, что скорость возросла, тормозов нет и может случиться беда с ногами. Его уже и на самом деле отрывало и переворачивало слева направо на спину. Он сжался в комок, поджав колени, и тут же неудержимая сила выбросила его сквозь толпу в сугроб.

— Ты — молодец, — сказал Андрей, — продержался десять кругов, столько, может, из наших никто не продержится.

— Тут никто не удержится, — ответил Шурка, выгребая снег из валенка, — силища здоровенная, очень жердь длинная — рычаг, поэтому результат.

— Гришка Варивон на любой удержится, проверено.

— А кто это?

— Знакомый один, с ремеслухи, в гости приезжает из Са-

мары. В воскресенье увидишь, — сказал, немножко важничая, Андрей.

— Здоровый?

— Ловкий, как зверь, во всё. Все коленки в рубцах.

— Почему? — не понял Шурка.

— Дерётся здорово, от ножей ногами обороняться умеет.

— Ну, ты даёшь!

— Увидишь сам, я познакомлю.

Подошёл дядька Сергей и попросил:

— Как расходиться будем, надо бы полить круг водой, за ночь закостенеет. Поможете?

— Конечно, — с готовностью ответил за обоих Андрей.

— Вот уж тогда-то и твой Варивон не удержится на ледяной дорожке-то, — сказал Шурка.

— Поживём — увидим, — уклончиво ответил приятель.

Картина

Эта картина Шурке понравилась сразу. Её повесил дед Иван в передней на самом видном месте, над столом. В центре изображён скачущий на гривастом огромном коне могучий всадник, такой же могучий, как каждый из трёх богатырей на картине над Шуркиной кроватью в спальне.

Шурка заметил, что все в доме любят этого всадника с таким непривычным именем — Тарас Бульба.

Он уже знал историю про Тараса. Знал, что догоняющие его поляки, жёлтым пятном светлеющие в углу картины, схватят этого великана и он погибнет. Схватят, когда он остановится, чтобы поднять свою люльку. «Зачем он остановился, зачем он, такой громадный, погиб из-за какой-то неприметной трубки?» Незаметно, наперекор всему, Шурка начинал верить, что Тарас так и будет скакать, не останавливаясь, а то, что говорят взрослые о его гибели, — неправда. «Просто они не знают всего. Вот он поскачет-поскачет, подумает и не остановится, а соберёт своих казаков, и тогда они покажут этим ляхам!»

Привязанность Тараса к своей люльке была для Шурки мучительно непонятна.

Непонятно и другое. Шурка давно знал, что отец его — поляк, а все в доме матери и в доме деда — русские. «Но ведь Та-

раса Бульбу, которого все так любят в наших домах и которого я сильно люблю, погубят поляки. Так почему же все меня любят — я ведь тоже поляк? — недоумевал Шурка, рассматривая картину. — Они не должны меня любить!» И, когда он подолгу глядел на скачущих всадников, начинало казаться, что самый первый на коне, догоняющий Тараса — его родной отец. Становилось жалко и Тараса, и отца, который почему-то оказался поляком, когда все вокруг русские, и себя.

«Нет, меня не любят, а только делают вид, что любят». И он стал с болезненной подозрительностью присматриваться к своим домашним, стараясь обнаружить под их дружелюбием неприязнь. Но её не было. И он мучился: «Как же с Тарасом, ведь его сожгли, сожгли...».

И вдруг однажды нашёл отгадку: «Если по-прежнему меня любят, значит, всё-таки поляки не догнали Тараса, значит, он и теперь гуляет где-нибудь со своим войском по такой загадочной земле — Украине».

Речка Утёвочка

Утёвочка — особенная речка. Она есть и её нет. Когда весенние воды получают вольную волю там, далеко в степи, где глазу не видно конца и края равнине, где только слева далеко-далеко угадываются на горизонте под светлыми тучками летнего неба домики и церковь села Покровка, объявляется речка Утёвочка.

Собравшись в один могучий поток, утробно картавя, пенясь, эти воды устремляются к селу. Подойдя к околице и резко взяв в сторону Самары, поток всё-таки не минует Утёвку, а, как острым ножом, отрежет от общей краяхи села несколько улиц и прорвётся к стадиону, где, благоразумно вильнув влево, войдёт в озеро Шамино, а там уж и рукой подать до озера Приказного. И напитает речка на своём пути всё не только водой, но и оставит в подарок жирных карасей и всякую другую живность. Запертые в озере Приказном караси соберут толпы рыбаков и рыбачек. И будут рыбаки и рыбачки, пойманные на кукан собственного азарта, топтать берега Приказного.

— Варька, долго ещё рыбалить будешь?

— Нет, Нюра, парочку ещё поймаю, чтоб уж на полную сковородку было.

Такие вот практичные рыбачки, не то что мужчины. Женщин частенько бывает больше в такие весенние дни у озера, до двух-трёх десятков.

Весёлым и многолюдным становится озеро Приказное весной благодаря Утёвочке. Весёлыми становятся женщины-рыбачки благодаря речке.

Огород Головачёвых упирается в Утёвочку и от неё не отгорожен. Шуркин дед не любит шумливой рыбацкой толпы на берегу озера. Да и к чему ему это? Если он свой вентерь или кубарь всегда поставит у себя в огороде в эту пору между делом. Между делом и опорожнит, вывалив в тазик чумазые золотистые слитки, к восторгу Шурки. Он и зимой не пойдёт облавой на зайца, а добудет его здесь же, в своём огороде, деловито и с лёгкой усмешкой над бедолагами из охотничьей артели.

В русле Утёвочки растут раскидистые вётлы и высокие тополя. Есть и осанистый дуб. В огороде деда Ивана стоит старая ранетка, такая древняя, что кажется Шурке, будто она бабушка всем деревьям, всему подлеску, который скор здесь на рост. Шурка поставил опыт: вырезал полуметровый тополиный черенок и воткнул прямо под ногами, как рука взяла. Теперь из него за два года поднялось деревце выше Шурки. Прёт здесь всё из земли, что ни посади. Оно и понятно: вокруг чернозём да вода. Хотя летом Утёвочки как бы нет, но копни, где пониже, лопатой на три штыка, и вот она — живительная влага. Разве что в самый засушливый год уйдёт поглубже, но знает всё живое окрест: весна впереди, прихлынет талая вода из Курней, да так напитает землицу, что с лихвой хватит всем и на всё.

От Ветлянки, из Курней, через степные просторы, рытвины, огороды, через озеро Шамино прорывается Утёвочка частью воды своей в озеро Приказное, а другой частью — в обрамлённую жёлтыми песчаными берегами Самарку, чуть выше притягательного местечка, любимого всеми рыбаками, — Платово.

Один разок, весной в водоволье, Шурка рискнул проверить этот путь и больше с тех пор не решается повторить его.

Оттолкнувшись на дедовом огороде веслом от старой ранетки, он направил плоскодонку в русло Утёвочки и, подхваченный потоком, совсем быстро, миновав десяток огородов, оставшихся без изгороди, оказался на озере Шамино. Всё, что слева, — залитые водой улицы края села, протока из Шамино

в Приказное — ему было известно. Вот то, что бурлило и пенилось справа, — манило непреодолимо. И он поддался собственному порыву. Загребая вправо крепким веслом, Шурка устремился пока ещё по довольно спокойной водной глади к Искровской рытвине — в русло Прыгалки.

Как только лодка оказалась на гребне потока, рвущегося через Прыгалку на простор к Самарке, неистово желавшего, очевидно, соединиться с другим, основным — самарским и, обнявшись с ним неразрывно, прорваться к матушке Волге, чтобы там, где-то далеко-далеко, выплеснуться в Каспий, Шурка понял: сопротивляться этому желанию невозможно и губельно.

Грозный и мощный водяной вал, похоже, мог утихомириться, только попав в Волгу.

Пенящаяся, рвущаяся масса воды несла доски, брёвна, очевидно, сорванные с мостов в верховье. Вывороченные с корнем дубы, осокори и всякая другая мелочь и совсем не мелочь — вот что представляла собой Самарка. Надо было суметь не попасть под встающие на дыбы в воде деревья, торпедами мчащиеся брёвна, не налететь на угрюмый многопудовый топляк. Вокруг всё картавило, бурлило и угрожало.

Шурке всё-таки удалось уйти с ревущего потока на обочину в осинник на Платово. Там, отдышавшись, он устремился через огромное водное пространство назад, в Утёвку.

Уже смеркалось, когда его, обессиленного, подобрал бывалый Митяга Коршунов, который испытывал в тот день свою самодельную моторку.

— Чудеса, паря, — удивился, скорее, сам себе Митяга, — я ведь вчера хотел опробовать мотор-то, да бензина не было. Сегодня, вот, получилось, едрёнте.

Шурка смотрел на Митягу и молчал. У него не было сил даже говорить. Руки жгло от мозолей: вода и отсутствие варежек сделали своё дело.

Шурка впервые видел моторку. Звук мотора, Митяга, привязывающий его плоскодонку к своей лодке, голос его, глуховатый и, как у деда, ласковый — всё было как во сне...

«Чего он суетится, ведь я же доплыл», — усмехнулся Шурка и начал терять сознание.

— Чудеса, паря... ёк-макарёк!

Чуть позже он вновь услышал ворчание Митяги и вяло удивился: «Где это я и почему кругом вода?».

...Такая вот речка Утёвочка.

Сейчас зима и речки как бы нет. Есть маленькие островочки льда. Но это пока...

В дебрях Уссурийского края

Шурка лежит в темноте на деревянной кровати в закутке за голландкой и лицо его всё в слезах. Жуткие грабители: Морган, Флинт, его бывший соратник отвратительный одноногий моряк Джон Сильвер со своим попугаем из «Острова сокровищ» — все они забылись, стали неинтересны. Бедный наивный дикарь из уссурийских дебрей гольд Узала, дитя природы, далёкой и красивой — он стоял перед глазами. Уже вторую неделю вечерами в дедовой избе читали эту чудесную книгу — «Дерсу Узала».

Шурка убежал ночевать к деду и мама на него сердилась. Но он не мог пропустить эти чтения вслух, когда все в избе, затаив дыхание, ловили каждое слово, боясь пошевелиться.

С первых страниц удивительной книги он растворился в ней, как растворился в дебрях Уссурийского края Арсеньев и Дерсу Узала, органично слившись с его обитателями. Этот край манил бесчисленным множеством людей, рек, зверей и птиц. Ошеломляли новые слова: изюбр, росомаха, хунхузы, вепрь, кабарга... Одних названий рек Шурка насчитал около десятка и сбился: река Кумуху, река Витухе, Улэнгоу, Дунгоу, Лефу, Сакхома, Алчан, Кулумбе, Амагу, Пия, Кусун...

Летом он прочитал «Всадника без головы», с начала зимы чуть не всего Майна Рида, озадачив темпом чтения библиотекаршу тётю Любу Богатырёву. Но такое с ним впервые. Амба! Уссурийский тигр! Вызывало восхищение отношение гольда к властному хозяину тайги. Поражал мир, незнакомый и манящий, в котором растворены все люди, изображённые в книге, и в который влекло и манило Шурку. «Дебри Уссурийского края». Он и раньше слышал это слово «дебри», оно всегда будоражило его воображение: «и в дебрях бури бушевали» — так часто пели в песне о Ермаке. Было в этом слове что-то необузданное и холодное. А Дерсу Узала был с Арсеньевым в дебрях, как дома. Чудесно! Мощь и величие Уссурийского края покоряли.

И вдруг такой конец: «Часа через полтора могила была готова. Рабочие подошли к Дерсу и сняли с него рогожку. Прорвавшийся сквозь густую хвою солнечный луч упал на землю и озарил лицо покойного. Оно почти не изменилось. Раскрытые глаза смотрели в небо. Выражение их было такое, как будто Дерсу что-то забыл и теперь силился вспомнить. Рабочие перенесли его в могилу и стали засыпать землёй.

— Прощай, Дерсу! — сказал я тихо. — В лесу ты родился, в лесу и покончил счёты с жизнью».

Первой пришла в себя баба Груня, всхлипнула, по-детски кинула и промолвила:

— Вот ведь везде бандиты найдутся на хорошего человека.

А Николай Большак, который приехал из Покровки за овчинами, да так и застрял из-за книги у Головачёвых, заключил философски:

— Важнее человека и природы в жизни ничего нет. Писатель всё правильно рассказал.

Шурка ничего не мог сказать, у него в горле ком и он боялся разрыдаться. Хорошо, что закуток отгорожен от общей комнаты цветастой занавеской и его никто не видел.

«Ведь неверно, что Дерсу покончил счёты с жизнью. Не он покончил. Его убили. За это кто-то должен отвечать», — эта мысль не давала спокойно лежать. «И как же так в жизни получается? Людей убивают и никто за это не наказан. Пушкина убил Дантес, все знают и он не наказан. Дерсу убили, сколько лет прошло — никто не знает, кто его убил».

Душа у Шурки разрывалась от несправедливости, и он не знал, что с этим делать.

— Я вам другое чтение привёз, тоже очень интересное, как обещал. Но это толстая книга, — громко сказал Большаков.

Он шумно поднялся с пола и пошёл в сени. Оттуда возвратился быстро, читая на ходу:

— Александр Дюма. «Граф Монте Кристо». Эх и история!

— Нам твоя Элиза Ожешко понравилась, хоть и полька.

— А это француз, баб Грунь!

Шурка продолжает лежать молча. Ему кажется странным: как можно так быстро переключаться и разговаривать совсем о другом. Только что все узнали, что убили Дерсу, о котором, правда, ещё недели две назад никто ничего не знал, но теперь-

то совсем другое дело. Ему страшно жалко Дерсу, обидно за поведение своих, которые говорят уже не об этой удивительной книге.

Дядька Серёжа и Большаков берут стоявшую у стены огромную, в два метра, картину и кладут на специально поставленные столы. Шурке не утерпеть, он встаёт и идёт к ним. На картине развесёлые и разухабистые казаки пищут письмо турецкому султану.

Два Шуркиных дядьки, Алексей и Сергей, вместе с Большаком рисуют её масляными красками по клеточкам. Рядом лежит то, с чего копируют: репродукция, вырезанная из какого-то журнала. Прощлый раз дорисовали голого по пояс казака, развалившегося в центре картины, огромного и мускулистого, похожего на тигра Амбу. Чудно: теперь, когда Шурка смотрел на него, он казался совсем иным, чем в последний раз, ещё не просохший, зависимый от движения кисточки. Чужой и необузданный, жил своей жизнью и она ему была важнее всего.

«Он мог бы убить Дерсу? — задал себе вопрос Шурка и вначале засомневался с ответом, а потом успокоился. — Нет, конечно же, нет: в книжке тигр Амба и Дерсу разошлись мирно, они уважали друг друга».

Изба Горюновых

Совсем маленькие сестрёнки Любка и Надюха ещё спят, а Шурка и Петя уже сидят за столом. Шурка помогает маме раскатывать большую лепёшку из теста, а Петя, испачкавший лицо мукой, готовится выдавливать из неё стаканом кругляшки. Они пекут пышки.

— Мам, а изба Горюновых, она почему так называется? Она ведь наша. Потому что горюнились часто, горюшко было, да? — спрашивает Шурка.

— Всё было, да прошло. Избу эту нам дед и баба Головачёвы купили. Когда вернувшийся с войны Василий увёл за руку меня в дом к своей матери Прасковье, не понравилось ей это. Много девок было на селе, а он меня с тобой, с чужим ребёнком, привёл. Выговаривала часто мне свекровь. Я плакала, Василий терпел. Просил не обращать внимания. Не выдержал сам: в один день взял тебя на руки, хлопнул дверью и ушёл от матери

своей. Я за ним еле успевала бежать. Шли, сами не знали, куда. Опомнились, когда оказались на Самарке, у воды.

— Ну, что, топиться будем? — спрашиваю Васю, а сама сквозь слёзы смеюсь.

И смех, и грех.

— Умру, а к матери не вернусь, — отвечает Василий.

Сели мы на жёлтенький песочек. Я плачу. Чудно теперь вспоминать. Смеркаться начало. Под лодкой какой, что ли, думаю, будем ночевать, больше нигде. А тут ты плачешь, маленький совсем ещё. Вдруг мать моя выходит из кустов:

— Вот они где! А я обыскалась везде, обезножила. — И ско-мандовала: — Пошли к нам!

— Не пойду, — заерепенился Василий.

— Почему это? — не сдаётся твоя бабка, — я Ивана успокою.

Приходим в дом, отец во дворе. Увидал нас с Василием, тебя на руках, взорвался:

— Ах, туды-растуды, знал ведь, что ничего не получится!

— Получится, Иван, получится.

Баба Груня выступила вперёд и ещё увереннее заявила:

— Уже получилось!

— Что? — не понял дед Иван.

— А вот то и получилось, что у мужа и жены должно получиться. Беременная она.

— Ну, дела с вами, — удивился дед.

— Я уже Петенькой ходила, — пояснила Катерина, отнимая у Пети стакан, в который он успел зачерпнуть муки и пытался на коленках насыпать маленькие беленькие горки. — Тогда ночью дед Ваня и баба Груня посоветовались, и наутро поехали в Кинель к недавно покинувшему Утёвку Горюновым. Их изба пустовала. Сговорились. Купили у них дом и год за него расплачивались. Так вот мы и зажили в горюновой избе.

Аксюта Васяева

С тех пор, как Василий Фёдорович стал сам ходить на костылях, в избу к Любаевым зачастили. Одному надо ножницы поточить, другому — сепаратор или пахтонку отремонтировать, валенки подшить. На всё хватает времени у Карася, так по-уличному зовут отца Шурки.

— Ты бы, Вася, хоть говорил, сколько стоит чего. А то меня одолевают, — жаловалась Катерина.

— Сами сообразят.

И вправду, за работу приносили яички, молоко, а то и просто обещали «подмогнуть, когда надо».

— И как это он всё умеет? — удивлялась Аксюта Васяева. — Мою пахтонку три мужика смотрели, а он сделал.

Аксюта забежала за углями для утюга, да невольно задержалась — поговорить охота.

— Руки соскучились по делам, вот и вся разгадка. Его теперь не остановить, я знаю. Семь лет в госпиталях — не фунт изюма, — отвечала мать Шурки.

— Неужто прямо все семь лет? — ахнула Аксюта.

Она приехала жить из соседней Покровки и многого не знала.

— Семь лет, но с перерывами, — поправилась Катерина. — За всё время года три пожил дома, приезжал, а как раны открывались — снова в госпиталь. В пятидесятом, помню, чуть не год пробыл.

— Приезжал... — протяжно повторила она, — а то бы откуда моим ребятишкам взяться. Вон они — свидетели мои.

— Туберкулёз костей, а вы такое, — округлила глаза Аксюта, — настрогали с Василием.

Отца нет в избе, он, позавтракав, ушёл в свой сарайчик и от туда уже слышен стук его неутомимого молотка о жестянку.

Шурка смотрел на Надюху с Петьюкой, которые были заняты своим делом: отвоёвывали друг у друга место в углу за столом — там лавка шире и рядом окошко, и думал: «Они свидетели, а я — кто? Свидетель чего?».

Эта мысль возникла случайно и он не знал, что с ней делать. Она крутилась и не уходила из головы. Ему стало стыдно. Неужто мама догадается, что он так может думать? «Только бы Аксютка, только бы она так не подумала и не спросила маму, ведь не глупая же совсем». Он поднял голову и увидел розовое, молодое Аксютино лицо, её озорные глаза.

— Ох, и ребятишки у тебя молодцы! Все такие разные! Эти белаявые, а Шурка — чернявый и волосы вьются. Вот погоди годков десять: все девки твои будут, ей-богу, — говорит она заразительно, — вишь какие у тебя губы толстые!

Шурка, не зная, как себя вести, сидел молча.

— Аксютка, уйди, а то я тебя сейчас ухватом охажу, глупости разводишь, — весело шумнула Шуркина мать.

— Всё-всё, всётышки, и так угли мои тухнут!

Подхватила с шестка свой чумазый чутунок и через секунду была в сенях. А чуть позже её голос уже доносился со двора — она разговаривала с Василием Фёдоровичем. И чему-то опять громко смеялась.

Зимним вечером

У Головачёвых играли в лото. Шурка был рад, что остался ночевать у деда. Ему нравилось смотреть, как играют, а иногда случалось и самому участвовать. Играли спокойно и дружелюбно. За окном синел февральский поздний вечер. Замёрзшие окна и подвывание ветра делали особенно уютной большую переднюю, где шла игра. Игроки сидели за столом посредине комнаты, а Шурка лежал на кровати и наблюдал за взрослой забавой.

Сегодня пришёл Сашка Мазилин и всё стало немножко по-другому. Смешливый и необидчивый, он всегда в центре внимания. Мешочек с бочонками у Мазилина.

— Козьи ноги! — зычно провозглашает Сашка.

— Говори по-людски, — сердится Пупчиха, соседка Головачёвых.

— Одиннадцать, — подсказал дядька Серёжа, оставивший свои учебники ради игры.

— Сашка, ты какой-то неправильный, — паникует Пупчиха, — брось люсить!

— Салазки! — продолжает «кричать» Мазилин.

— А это у нас что? — вновь переспросила суматошно Пупчиха.

— Шестьдесят шесть, — поправился Мазилин и продолжил: — Тудыль-судыль, что означает для неграмотных обнаковенные шестьдесят девять.

— Кончила, кончила низом! — радостно взметнула пухлые белые руки Пупчиха, — кончила, как ты ни хитрил-мудрил, Сашка!

У неё при небольшом росте розовые, массивные, крепкие руки. Когда она сидит за столом, видны только голова, не та-

кая, как у всех, — с кудряшками светлых, льняных волос и эти чудные здоровенные руки-клешни. Во время её работы в пивном киоске на площади у продмага в окошечке видны лишь руки и пивные кружки.

— Плакали ваши денежки. — Она по-детски причмокнула ярко-красными губами и ладонью смахнула медяки в кружку. — Ну, вот, пришла за закваской, Груня, а ухожу с пятаками, раз кислого молока нет.

— Э-э-э... Так нечестно, — вмешался Мазилин. — Объявляю ультиматум тебе, Нюра!

— Чевой-то? Ультиматом? Я и так этих матюгов-матов за день слышу — голова болит, пожалей!

— Вот ведь женщина какая ты, Нюра, некулюторная, — оседлав своего любимого конька — подурочить публику, сказал наставительно Мазилин. — Я говорю что? Или ты продолжаешь играть до последнева, или возвертай деньги на стол.

— Щас тебе! — лаконично, но непонятно сказала Нюра. И добавила: — Играйте без меня, вас народу здесь... курочке клюнуть негде.

— Да уж! — удивился Мазилин, — чураться ты нас.

— Не замай, Сашка, — обронил Шуркин дед.

— Вот-вот, мне ещё закваску найти надо, к Микляевым сбегаю.

И Пупчиха выкатилась сначала из-за стола, потом из передней и пропала в задней избе.

«Как лотошный бочонок, — подумал Шурка, — всегда бодрая, раздутая от удовольствия, свежая и выкрашенная лаком».

Игра в лото продолжалась. Позвали и Шурку. Он сел за стол около бабы Груни, пододвинувшей ему десять копеек. Три монетки по три копейки и одну погнутую копеечку, рядом насыпала горсть тыквенных семечек, чтобы закрывать цифры на картах.

— Поиграй вместо меня, — сказала она, — а я пока паголенки надвяжу да пельмени с мороза принесу.

Семечки пахли очень вкусно и Шурка сразу же забеспокоился: выдержит ли соблазн?

«Кричать» пришла очередь дядьке Серёже. Он умел так быстро из горсти то громко, то тихо называть числа, что трудно было угнаться, пока не наступал по правилам момент, когда надо было доставать по одному бочоночку.

Возобновившаяся игра прервалась неожиданно. Хлопнула в сенях дверь и со сбившимся на голове платком, с краснощёким от мороза лицом вкатилась Пупчиха.

— А-а!.. — воскликнул Мазилин, — совесть заела, возвратилась!

Но Пупчиха его не слышала и, кажется, не видела.

— Ванечка, — подкатилась она к Шуркиному деду, сидящему за столом спиной к голландке, и заморгала часто своими круглыми глазами, — Ванечка, у меня в доме вор.

— Что городишь-то?

— Правду говорю. Я пришла, а замок на сенцах открыт. Я, это, ну, думала, что забыла закрыть сама, и прошла в сени-то, а дверь в избу приоткрыта. Чую, что-то не то, не могла я дверь-то зимой открытой оставить, верно ведь? А потом вдруг слышу: кто-то дышит там. Я на цыпочках, перепугалась: убить ведь могут... на улицу — и к вам.

— Ну, что, Сашка, — сказал Головачёв очень спокойно, будто это привычное какое дело, — пойдём посмотрим?

Мазилин вначале как-то нервно дёрнулся, а потом чересчур, как показалось Шурке, воинственно выкрикнул:

— Знамо дело, пойдём, ружьецо у тебя где, дядь Вань?

Он обвёл избу решительным взглядом, увидел у себя за спиной высоко на стене висевшее на двух гвоздях ружьё и полез доставать.

— Хошь у меня и ладанка на груди, а так надежнее!

— Да не чуди, хватит и лопаты, — усмехнулся Головачёв.

— Вань, — сказала бабушка, — боюсь я.

И кротко посмотрела на мужа.

— Ничего, будьте дома. И ты, Серёжа, пойдём на всякий случай.

И они ушли.

Вернулись быстро. В плетне, отделявшем двор Головачёвых от Пупковых, была калитка.

— Вот ведь холера какая, сиганул так, чуть кубанку с головы не сшиб, — говорил возбуждённо Мазилин.

— Чего же не стрелял? — насмешливо спросил Шуркин дед.

— Да ведь я хотел, а потом он меня в снег смахнул, в сугроб, пока то да сё, темнотица такая...

Из разговоров выяснилось, что, когда деда Ваня вошёл в

сени с лопатой, вор выскользнул в открытую дверь за его спиной — и был таков.

Сели снова играть. Не прошло и полчаса, как неожиданно явился гость — Борька Жабин, новый приятель Серёжи. Он недавно приехал из Зуевки с родителями и начал работать на стройке подсобным.

Раскрасневшийся Борька шумно разулся и подсел к играющим. Это был крепкий парень, широколицый, с тёмными цыганскими глазами. Волосы его, длинные и очень подвижные, лежали на голове ровно. Когда он низко наклонялся, они спадали вниз и закрывали лицо до подбородка. Жабин в такие моменты, привычно и не спеша мотнув, как лошадь, головой, одним движением укладывал их на место.

— Давно играете? — спросил Борька, взмахнув головой, и задержал её в неестественно поднятом положении, стараясь оставить волосы дольше обычного закинутыми назад. Так он выглядел несколько горделивым.

— С семи часов, — ответил дядька Серёжа.

— А сейчас уже девять, — подытожил зачем-то Жабин.

Игра шла своим чередом, а Жабина почему-то тянуло на разговор.

— Мороз-то на дворе какой, — ни к кому не обращаясь конкретно, сказал он.

У Шурки семечки закрыли сразу почти всю карту, близились развязка и он не отрывал глаз от стола, перестав наблюдать за Жабиным.

Вдруг Мазилин встал и что-то сказал Шуркиному деду шёпотом в ухо, важно изобразив из левой ладони подобие рупора.

Иван Дмитриевич, ни на кого не глядя, кивнул головой. И Мазилин тут же вышел из избы.

Жабин быстро встал и направился к выходу.

— Сядь, — веско, не глядя на Борьку, сказал дед. — Ты никуда не выйдешь, дверь снаружи закрыта на замок.

— С чего это? — нервно спросил Борька.

— Придёт Мазилин, тогда скажем.

...Мазилин вернулся быстро.

— Он это, дядя Вань, он, вот стервец, явился не запылился глаза отводить, дураков нашёл, — зачастил Веня. — Чилижным веником отходить вражину, что ли?

Выдвинув стул на середину избы, поставил на него валенок.

— Аккурат всё подходит, его следы, всё промерил до самых ворот. Твой валенок? — он ткнул указательным пальцем почти в лицо Жабину.

— Ну, мой, — затравленно огрызнулся тот.

— А мне и не надо было вещественных доказательств, я так сразу всё понял, когда явился нас пощупать: узнаем мы тебя или нет. Я в спину твою чуть не пальнул, по ней тебя и узнал.

— Как оказался в доме у Пупчихи? — буднично спросил дед Шурки.

— Да просто, у неё замок никудышный.

— Зачем залез?

Шурка смотрел на вора и ему странно было видеть обычного человека, похожего на всех, но переступившего какую-то очень важную черту, которая враз разделяет людей.

— Дядя Вань, честное слово, я хотел взять только конфеты.

Борис опустил голову, спрятав лицо под свои причудливые волосы. И, чуть помолчав, добавил:

— Шоколадные.

— Вот дурак-то, прости Господи, — выдохнула Шуркина бабушка, — а я ещё дивовалась: чтой-то он нервничает, окаянный. Закалякать хотел нас. Явился, басурман.

— Дядь Вань, отпустите, — совсем по-детски вырвалось у Жабина, — ей-богу, больше не буду.

— Что будем делать, Сашка? — обратился Иван Дмитриевич к Мазилину.

— Утро вечера мудренее, пускай завтра с Пупчихой договариваются полюбовно. Если простит — одно дело, нет — совсем иное, — предложил Мазилин, осанившись и поигрывая плечами.

— Слышал, Борька, пусть будет так. А теперь ступай, — согласился дед.

Жабин вскочил и бросился к выходу.

— Стой, гражданин Жабин! — усмехнулся Мазилин.

— А? — невнятно и растерянно откликнулся Борька.

— Валенки заберу, он нам здесь мешает. Зачем нам твои бебехи?

Все засмеялись.

Когда хлопнула дверь в сенях, бабушка осторожно сказала:

— Верно ли сделали, что отпустили на ночь, вдруг спалит нас?

— Это ж надо додуматься — нас всех спалить? — возразил Головачёв. — Будет городить-то!

Королевский суп

У дядьки Серёжи созрела идея попробовать царского, или королевского супа. Как вернулся из армии, всё придумывает чудное.

— Шур, вон видишь на сельнице стаю воробьёв?

Шурка давно заметил: последнее время воробьи тучей стали залетать к ним во двор, сидели и чулюкали на солнышке.

— Давай пальнём разок мелкой дробью.

— Зачем?

— Птица чем мельче, тем вкуснее. Все короли это знали, поэтому ели колибри, бекасов, куликов разных... Смекаешь?

— Не очень.

— Режь свинец, катай самую мелкую дробь. Ясно? На два патрона.

— Что, охоту на воробьёв откроем?

— Так точно, может, они вкуснее голубей.

— Деда не заругает? — засомневался Шурка. — Во дворе палить? Скотина кругом.

— Нет, мы ему объясним потом. А летом черепашьего супа хочу попробовать.

— Чего? — опешил Шурка.

— Ну, в Подстёпном пошарить, а лучше в Ревунах. Найти черепаху и суп сварить.

— Разве у нас живут черепахи? Они же в тёплых странах.

— Глупости, я уже одну находил!

— Может, кто купленную, базарскую потерял или сама сбегала?

— Да нет, люди, как ты, ничего не знают. Живут у нас они. А нынешним летом я, знаешь, что видел?

Шурке давно хотелось увидеть змею-медянку, о ней ходили легенды. Но Серёга удивил ещё больше:

— Я видел птичку колибри, вот! — Он значительно посмотрел на Шурку, как если бы открыл новый Монблан или Эверест.

— Как? Она же в тёплых...

Серёга не дал договорить Шурке.

— Вот-вот, а что мне делать, если я свидетель, как подлетела к цветку, сунула туда клювик и начала пить нектар?

— А может, это большой шмель?

— Нет, какой у шмеля клюв! Ты такое видел?

— Нет, — растерялся Шурка. — Колибри... Но она же маленькая?

— Да, раза в два больше шмеля.

«Ох, и чудной мой дядька, — думал Шурка. — Никогда не знаешь, правду говорит или дурачится, а ещё в институт готовится поступать».

Ответ от Жукова

В начале апреля Василия Любаева вызвали в райвоенкомат, потом в райсобес — и закрутилось колесо! Оказывается, пришла бумага из Москвы и ему срочно надо было явиться на перекomisсию. Он явился, не тянул, и оказалось, что Любаев — инвалид не третьей группы, а второй. И ему положена пенсия участника войны. Это совсем другое дело, не то, что раньше, как колхознику. А ещё через неделю в райсобесе сообщили о компенсации того, что раньше не выплатили.

Шуркин отец получил сразу больше двух тысяч рублей. Было решено строить новый дом!

— Вот и нас Бог вспомнил, — радовалась Катерина, — спасибо Ему!

— Спасибо Зуеву Косте, я бы сроду не решился, — признавался Шуркин отец. — До следующей зимы изба не простояла бы: стена совсем повалилась. Но ничего, будем зимовать в новой!

— Вася, а надо всего сколько — ужас! Где мы чего наберём?

— Я всё продумал. Весной сделаем саман, за лето сложим стены артельно. В лесничестве меня включили в список на вырубку делянки: наберём каких-никаких брёвен на доски для пола и потолка. Там осина и осокорь, я знаю — это за Зимней старицей — сойдёт. На делянке придётся работать тебе, Катерина, и Шурке. Согласны?

— Согласны, — загорелся Шурка.

— Я поговорю, должны же принять в артель замену вместо меня, коли я не могу.

— Согласятся, согласятся, — заторопилась мать. — Отец может, правильно?

— С отцом твоим вроде бы мы уже стакались, он во всём обещал подмогу. С начала лета лесины заготовим, высушим, в августе распилим на пилораме, а к этому времени должны убрать развалюху и выложить стены, иначе к зиме не вселимся.

— Убрать? — выдохнул Шурка.

Как ни плоха была стена за печкой, пусть оттуда «сытило», как говорила мама, холодом, но это была изба — оплот всего. И вдруг этого не будет?

— А где же мы будем жить? — спросил Шурка.

— Шурка, да ты что? Мы и под открытым небом не пропадём, чего испугался, лето же, — рассмеялся отец.

«Но всё равно? Печка, варить как? И всё прочее...» — соображал на ходу Шурка.

Отец вел свою линию крепко:

— Корову пустим в стадо, освободится мазанка — почистим, поставим примус, и живи хоть до белых мух, верно?

Шурка редко его видел таким. Он и сейчас не был развесёлым, но глаза и лицо светились какой-то особой радостью, не соглашаться с ним нельзя. Шурка давно понял: сопротивляться бесполезно. Отец всё делал по-своему, ибо всегда верил, что прав.

— Ох, развоевались мы что-то, давайте ужинать, а то совсем темнеет, — забеспокоилась Катерина.

— Начнём! Только начать надо, — задумчиво сказал отец, — а там война план покажет. Живы будем — не помрём. Так, Шурка, или нет?

— Так, пац, — подтвердил тот.

— Ну, вот, мать, мы и договорились обо всём, считай, полдела сделали.

— Помоги нам, Пресвятая Богородица, — сказала мать.

И это очень удивило Шурку.

Она так никогда не говорила.

Жаворонки

Шурка проснулся рано. Он не мог долго спать в такой день. Его мама гремит печной заслонкой, собирается печь «жаворонков» — птичек из теста. Бывает это всегда в середине марта и по-разному: можно раскатать тесто, свернув валик, этот валик завязать узлом — получится ловкая завитушка. Точным движением ножа делается с одного конца птичий клювик, с противоположного — хвостик. Глазками служат головки спичек или просяные зернышки. А можно витое тельце не делать, а просто слепить птичку с клювиком и хвостиком.

Таковыми птичками заманивают весну и встречают перелётных птиц с юга:

*Жаворонки, прилетите к нам,
Тёпло леточко принесите нам,
Нам зима надоела —
Хлеб-соль у нас поела.*

Эти слова надо пропеть, обязательно забравшись на конёк сарая — так всегда казалось Шурке. Он и сейчас устремился наверх.

Любка стоит в отцовских валенках посередине двора и лепечет приветливые слова. А самая маленькая Шуркина сестрёнка, Надюха, вообще ещё спит.

— Сами вы — мои жаворонушки звонкие, — радуется мама. — Шурка, не бери Петю, упадёт карапуз.

После песенки про жаворонков, пропетой на крыше сарая, слегка промёрзнув, хорошо сидеть за столом и есть, запивая топлёным молоком, горячие пышки. Их мама делает из того же теста, выдавливая на столе стаканом из большой раскатанной лепешки. Это вам не затируха!

— Мамака, мы зовём, зовём жаворонков, а я не видел ни рачок их, они где живут? — спрашивает Петя.

— Мам, и я не видал ни разу, — спохватывается Шурка.

— А когда ходили к деду на бахчи, помните, слушали, — подсказывает мать.

— Помню, помню, — лепечет Петя, — но мы их не разглядели, они высоко в небе. Вон, ласточки у нас в сарае живут, но не поют. Папа их касатками называет.

Шурка вспомнил про стрижей, живущих в обрывистом бе-

регу Самарки в норах. Там же гнездятся и щурки. Прошлым летом он обнаружил, что залиvistый соловей — на самом деле маленькая серенькая птичка — устроил себе гнездо в куче котяков на задах, за сараем.

— Мам, мы увидим в это лето жаворонков? — не унимается Петя.

— Увидите, увидите, — успокаивает Катерина, — какие ещё ваши годы. Вот подрастёте, побольше будете под открытым небом, на вольном воздухе — и увидите. Жаворонки любят простор, широкое хлебное поле, где много воздуха. Они там от радости звонко и неутомимо поют.

Любка громко и горестно заплакала:

— Моя птичка ко мне не прилетит!

— Почему? — спросила от печки мать.

— Я голову у неё съела, одна тулбище осталась.

Петя, глядя на сестрёнку, захохотал. Перестав смеяться, очень серьёзно заверил:

— Вырастем мы и летом вырвемся на простор! Там жаворонков встретим! Колокольчики послушаем!

Транспорт

— Мать, а мать? — Василий выжидательно замолкает.

Катерина, сидя напротив за столом, весело посмотрела на него:

— Придумал опять что-нибудь?

— Придумал, — не спеша отозвался тот и отчего-то ядрёно крякнул.

— Баню строить?

— Нет, не баню.

— А что?

— Хочу сделать сбрую для нашей коровёнки Жданки — транспорт нужен в хозяйстве, понимаешь? А я только лёжа могу ехать, значит нужен рыдван.

— Если что, можно лошадь взять в колхозе, у отца — Карего, председатель Шульга поможет, — робко возразила Катерина.

— Шульга теперь не поможет, — махнул рукой Василий.

— Почему же?

— Сняли его, другой будет.

— А другие что, не люди? — не сдавалась Катерина.

— Да нет, это не то. Просить надо, а они всегда заняты — лошади. Приноравливаться нужно. А тут сам себе хозяин. Уедем на целый день.

— Жданку жалко, — всхлипнула вдруг, как девочка, Катерина.

Шурка притих, наклонив голову над чашкой.

— Да не горюньтесь вы! Всю сбрую сделаю сам. Вместо хомута будет шорка, правда, потника нет, но можно из мешковины. Рыдван раза в полтора будет меньше, колёса лёгкие, металлические. Мне Григорий Зуев обещал раздобыть. Сено и дрова будем возить понемножку. Только в хорошую погоду.

— А вдруг молоко пропадёт? — Шуркина мама горестно вздохнула.

— Будет раньше времени жалковать, не враги же мы себе.

— Мне и тебя, Василий, жалко!

— А что меня жалеть? Гляди!

Он встал из-за стола. Не тронув костыль, вышел на середину комнаты. Повторил:

— Смотрите!

Прошёлся по всей комнате, сильно припадая и держа прямыми левую ногу и спину. Подошёл к подоконнику, зацепился за него правой рукой. Весело оглянулся. У Шурки перехватило дыхание.

— Вот вам!

Отец, держа прямо спину и оттопырив резко в сторону левую ногу, медленно начал поджимать правую, пока она не согнулась наполовину. Большим пальцем победно ткнул в пол.

— Видели?

И, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Теперь любой гвоздь, любой инструмент могу поднять сам с пола!

Мать подошла и ладонью вытерла выступившие на лбу отца капли пота.

— Если потренируюсь ещё, через пару недель смогу на правое колено вставать. А ходить без костылей — с бадиком. А это знаете, что значит? — И сам же ответил: — Это значит, я смогу пилить дрова, вообще работать на земле, на полу, а не только за верстаком, стоя.

Он помолчал, потом обратился к сыну:

— Шурка, мы скоро будем косить. Я уже продумал, как сделать косу для таких, как я, прямых. Это несложно!

— Несложно, — эхом отозвалась Катерина, — а косить-то как?

— А как все, так и мы!

Он с утра говорил обо всём решительно.

Такой день у Василия Любаева.

Было море

Шуркин школьный учитель по труду Николай Кузьмич утверждает, что там, где расположено село Утёвка, тысячи лет назад было огромное море.

И верно, село лежит в низине, со всех сторон — возвышенности. Шурка верит своему учителю, ему нравится, что живёт он на дне давно исчезнувшего моря. Всё становится намного интереснее, значительнее, когда представишь бескрайнюю морскую гладь и одинокий парус в тумане. Получается, что не обделено историей село. Здесь, наверное, раньше происходили какие-нибудь исторические события. Или хотя бы пираты обитали...

И название села вроде произошло от слова «утки», которых, по преданию, было тьма. Шурка часто думал об этом и у него получилось стихотворение, которое будто он и не писал, а так, само собой вышло:

*Кишели утки, было море —
Так к нам в преданиях дошло.
Моря исчезли, на просторе
Моё раскинулось село.
Но и опять же было море
Людских страданий и невгод:
С людьми сроднившееся горе
Стояло вечно у ворот.*

Шурка показал строчки дядьке Серёже. Тот, прочитав, прищурил левый глаз, словно приготовился выстрелить:

— Послушай, ты это не у Некрасова стянул, а?

— Да ты что, там же Утёвка наша!

— Неужели сам?

— Сам.

— Ну, ты, племяш, даёшь! Я тоже стихи сочинял. Помню до сих пор:

*Первый луч, пробиваясь сквозь дымку,
Побежал по воде, по кустам.
Осветил на Лещёвом тропинку
И взметнулся опять к небесам.
Серебрится росой прохлада,
Полыхнула заря над водой,
И пастух деревенское стадо,
Матеряся, повёл за собой.*

Называется «Утро в Утёвке». Написал на второй день, как с армии пришёл. Нравится?

Он очень серьёзно посмотрел на Шурку.

— Здорово, только матерные слова мешаются.

— Вот, все чудачки и ты — тоже. Их здесь нет. Это же правда, всё как на самом деле. В жизни матюги есть? Есть. А в стихах моих нет!

— Как же нет, они сразу вспоминаются, когда строчку произносишь.

Серёга обрадовался:

— В этом и фокус, понимаешь? Зато образ сразу встаёт, правда? Я об этом уже думал и читал — образ нужен. Валентина Яковлевна, когда я ей в клубе показал на репетиции ихней стихи, хохотала громко. А потом сказала, что во мне крепкий разбойник сидит и впереди у меня большая дорога. Только учиться надо.

Он доверительно посмотрел на Шурку:

— У меня в армии накопилось стихов целая общая тетрадь. Я не ведаю, что с ними делать. А знаешь, матом легче писать, как по маслу идёт. Легко и даже красиво. И всё на своём месте. У меня столько частушек таких... Если бы со сцены пропел, околели бы все враз. Я их храню ото всех, как динамит, вдруг пригодятся шарахнуть от души по скукотице!

Шурка в смятении. Душа в искусстве искала высокое, а тут Серёжкины рассуждения! Его горячее дыхание, озорство, которое само по себе имело какую-то необъяснимую прелесть. Оно часто сопровождало дядьку.

Серёжа был красив. Красив в любой одежде: грязной, но-

вой, старой. В телогрейке на голое тело выглядел так, что люди, оборачиваясь, смотрели и любовались.

Шурке вспомнилась странная фраза, сказанная дедом Иваном, как это умел делать только он один — вроде бы самому себе, но чтобы и окружающие слышали: «Дьявол, красивый! Но — мой сын».

Шурка не понимал слова деда, но от этого не было беспокойства, наоборот: раз он всё видит, значит всему свой черёд. Подобное уже не раз было. Всё встанет на свои места.

Верочка Рогожинская

Её привела на репетицию сама Валентина Яковлевна.

— Вот вам пани Рогожинская, — сказала она.

Потом энергично трянула своей кудрявой головой:

— А то у нас пан Ковальский есть, а пани не было. Теперь будет, — сказала, словно поставила точку.

Шурка узнал новенькую, она из параллельного шестого «б» класса. Родители — врачи, недавно приехали работать в районную больницу из города. Он её видел два раза в школе и один раз в библиотеке. Его поразило в ней всё. Но самое главное то, как на него посмотрела: в упор открытыми глазами, доверчиво, как будто они хорошо знакомы.

— Всё! Я давно хотела поставить «Барышню-крестьянку», но некому было играть Лизу, вот теперь, слава Богу, есть! Молодого Берестова, Алексея, будешь играть ты, Ковальский, Муромского отдадим Игольникову, Ивана Петровича Берестова — Петьке Дёмину. С остальными разберёмся.

— Я никогда не играла в драмкружке, — простодушно сказала Верочка, — вовсе и не смогу, тем более классику.

Она зажмурила свои глаза и как-то очень долго подержала их закрытыми, потом распахнула ресницы и будто увидела всех впервые:

— И вообще боюсь, — без всякого кривляния просто сказала она.

Петька Дёмин хохотнул, но, увидев строгий взгляд Валентины Яковлевны, спрятался за спину Лёшки Игольникова.

— А вот и хорошо, что боишься. Наши-то уже ничего не боятся, в этом всё и дело! Вот вам слова, быстренько переписы-

вайте и учите, на следующей неделе начнём репетицию. Возьмите повесть Пушкина — почитайте. Я проверю.

Вышли на улицу и получилось так, что Шурке и Верочке по пути — обоим надо в библиотеку.

— А что вы берёте читать? — спросила Шуркина спутница.

— А что дадут.

— Как это?

— Всё, что положено, я уже прочитал, теперь — что положено старшеклассникам.

— А «Королеву Марго» читали? У вас тут есть такие книги?

Шурка давно уже прочёл всего Дюма, но не стал говорить об этом, не хотелось, чтобы она подумала, будто он хвастлив.

— Да.

— А можно нескромный вопрос?

— Можно, — охотно согласился он.

— А почему у тебя фамилия нездешняя?

Она легко перешла на «ты».

— И у тебя — тоже.

— Я — это другое дело.

— Какое другое?

— Я приезжая, а ты?

— Я здесь родился, разве это плохо?

— Нет, — сказала она и немножко помолчала, — я — о другом. Ну, не хочешь об этом, не говори.

Ещё раз посмотрела на него в упор, внезапно засмеялась и произнесла, скорее, видимо, для того, чтобы только не молчать, так ему показалось:

— Мне сказали, что ты — круглый отличник, да?

— Да.

— Но отличников везде не любят, так ведь и у вас в школе?

— У нас по-всякому, я тоже отличников не люблю.

— А сам?

— У меня просто так получается, я не умею зубрить.

Она взглянула на него внимательно:

— Воображаешь?

— Нет, — сказал Шурка и ему стало неловко.

Получалось всё-таки, что он хвастался для чего-то, а ему этого и не надо было. Просто хотелось с ней говорить. Нравилось, как она смотрела, не стесняясь, и как улыбалась сама себе.

Когда пришли в библиотеку, он намеренно отошёл от Верочки к дальней полке. Ему не хотелось, чтобы кто-то видел, как она на него смотрит. Был уверен: так смотрит она только на него.

Чужаки

В окрестностях Утёвки, Зуевки, Кулешовки обнаружили нефть. Заработали скважины. Поползли слухи, что на месте Утёвки или вблизи будут строить город нефтяников.

— Беда-то какая, — крестилась Шуркина бабушка на образа.

— Будет тебе, никакой беды, — успокаивал её Фёдор Остроухов.

— Народу нагонят, вот и беда. Где в одном месте народу много, тесно, там завсегда беспорядок, — не сдавалась та. — Избу не закрывала на замок, теперь придётся.

...Она оказалась и на этот раз права.

Расположившиеся в посёлке Ветлянка молодые бойкие нефтяники стали наезжать в Утёвку по вечерам на танцы. Часто это кончалось дракой. Свидетелем одной такой схватки оказался и Шурка.

Выходя после репетиции из клуба, он увидел, как красивый, спортивного вида парень спокойно стоит у крыльца и курит. Чужак миролюбиво поглядывал на проходивших и весь его вид показывал, что он не желает никому зла. И тут невесть откуда появился маленький вёрткий Гнедьш и, резко подпрыгнув, сорвал с незнакомца модную фуражку. Ловко держа её за козырёк, сильно запустил над головой, и она, описав большую дугу, улетела за дровяной сарай. Чужак не побежал за ней. Резко шагнул в сторону налётчика и наступил ему на ступню. Тот, пытаясь вывернуться, тащил ногу к себе.

— Принесёшь кепку — отпущу, — сказал чужак.

— Больно, пусти! — неестественно громко закричал Гнедьш.

И это прозвучало как сигнал. Из-за дровяного склада вышли больше двух десятков сельских ребят, вооружённых кольями. Выстроились узким коридором, куда должны были попасть все выходившие из клуба. В подготовленном сценарии было всё предусмотрено.

Танцы закончились, народ хлынул, и приезжие оказались

встреченными во всеоружии. Но не тут-то было. Чужаки были опытными бойцами. Прямо у входа начинался деревянный забор из штакетника длиной метров тридцать. Через считанные минуты забор исчез. Мгновенно оценив ситуацию, чужаки метнулись к нему — штакетинны попали в ловкие и крепкие руки. Рукопашная, сопровождаемая треском деревянного оружия и резкими криками, развернулась вначале у клуба, затем нефтяники стали отступать по улице к своему автобусу, но без паники и как-то, удивительно для Шурки, организовано. Похоже, что они оборонялись так не впервые...

Три последующих дня утрюмый Коныч со своим родственником восстанавливали ограду.

— Они девок делят, а я без работы не останусь, — говорил он.

Эта история имела своё продолжение. Мать послала Шурку за постным маслом в магазин. На дворе стояла теплынь. Была Пасха. В проулке, около Ваньковых, взрослые ребята играли в орлянку, туда Шурка не стал заходить. Посмотрел со стороны на нарядную пёструю толпу и пошёл дальше. Не то чтобы ему было неинтересно, просто торопился. Но вот мимо двора Ракчеевых пройти не мог. Этот двор, весь освещенный солнцем, сухой и приветливый, встретил Шурку разноголосицей большой ватаги ребятишек и парней.

Около старой травокоски, вросшей колёсами в землю, на ровной площадке стояли три гири. Валерка Салтыня, сняв белую рубашку, подошёл к самой большой — в два пуда. Поплевал на ладони. Не спеша поиграв растопыренными пальцами, резко рванул железное чудовище на себя и гиря оказалась у него на плече. И тут произошло самое главное: выбросив левую руку горизонтально вбок, правой Салтыня не спеша, монотонно и спокойно, как какая-то очень крепкая машина, выжал вес подряд пять раз. Все ахнули.

Шурке захотелось подойти и попробовать поднять полупудовую гирю, но почему-то медлил. Его опередил Мишка Лапманкин. Взял «полпудник», подкинул вверх и, ловко крутанув, на лету поймал за ручку.

Шурка опешил. Он не ожидал от Мишки такой ловкости и уверенности.

На другом краю двора — свой интерес. Здесь чокались: крашеными луковой шелухой или чернилами пасхальными яйцами

играли в азартную игру. Били тупым или острым, как сговорились, концом яйцо соперника. Если твоё целое — ты выиграл.

Тут-то Шурка и пожалел, что не захватил с собой из дома писанку — крашеное на особинку яйцо. На него бы точно выменял три, а может, и больше, яйца, на выбор. И сыграл бы.

У всех обычные пасхальные яйца: крашенки. А писанки готовили по-иному: прежде, чем яйцо опустить в чернильный или луковый раствор, его причудливо расписывали воском на свой вкус и лад. Для этого пользовались гусиным пером. Обрезав самый кончик, набирали туда плавленый горячий воск и быстро выдавливали на яйцо. Воск застывал. Яйцо с рисунком бросали в красящий раствор, когда воск исчезал, на его месте на скорлупе возникал рисунок. Такое пасхальное яйцо ценилось вдвойне.

Только Шурка решился раздобыть яйцо, чтобы попробовать сыграть, как во двор вошёл Валька Рязанов. Шурка тронул его за рукав:

— Валь, ты что так вырядился? — и показал пальцем на тёмно-синие галифе приятеля. — Помереть же можно со смеху, все в шароварах уже, тепло как!

— Пойдём в огород, за сарай, объясню.

За укрытием Валька запустил руку в штанину и вынул огромный старинный револьвер.

— Во, смотри!

— Вот это да! — только и выдохнул Шурка, — откуда это у тебя?

— Понимаешь, дед умер в прошлом году. Он когда-то богатым был. Пряжи делал, всякие вещи из дерева, даже деревянный велосипед. В этом году стали печь ломать, разобрали когда, смотрю — тайник в подполье. Ткнулся: ящик со старыми деньгами и вот он.

— Что теперь с ним делать?

— Не знаю, поносить охота с собой. У него пружина очень тугая или заржавела. Не осиливаю курок одним пальцем спускать. Надо разбирать и смазывать.

Шурка смотрел на покрашенный светлой краской с костяной ручкой револьвер и не мог отвести глаз. Вид настоящего, возможно, уже побывавшего когда-то в деле оружия завораживал.

- Сань, может, из такого в Пушкина стрелял Дантес, а?
- Отец знает про пистолет? — побеспокоился Шурка.
- Нет, я только деньги всем показал.
- А патроны?
- Вот! — Валька протянул на ладони пять штук.

Шурка взял один. Гильза длиной сантиметра два, сама пуля, неприятно тупорылая, оказалась короткой — примерно в один сантиметр.

— Тяжёлое всё какое, — подытожил Шурка.

— Вот поэтому я в галифе. Шаровары спадают от него. Резинка не держит. У меня Генка Афанасьев очень его просит.

— Зачем? — удивился Шурка.

— Да, говорит, поугатать, когда надо, чужаков с Ветлянки, а то везде свои порядки устраивают.

— Эх, — спохватился Шурка, — меня же мама в магазин послала.

— Ну, иди, — деловито сказал Валька, — потом обсудим, как быть.

За воротами, около палисадника, Шурка увидел Димку Чураева. Вывернув оба кармана брюк, он стоял на солнышке, похожий в этой позе на странную птицу.

— Дим, ты чего? — удивился Шурка.

— Да, дурак Антон со своими дружками, я их обыграл: на-кокал больше десятка, все их крашенки у меня по карманам, а они догнали, когда уходил, и хлопнули по ним, а там — всмятку какие были, одно — яйцо-болтун. Кишмиш устроили, сохну теперь.

Он шмыгнул носом и безбоязненно пообещал:

— Я им казнь придумал. Попомнят у меня!

...Шурка уже купил масло, когда вошли в магазин трое приезжих ребят. В первом он узнал того красивого спортивного чужака, на которого налетел Гнедьш.

— Толик, — обращаясь к нему, сказал тот, что шёл за ним, — давай побыстрее, а то нас тут заловят. По-моему, я одного видел из тех.

— Сейчас «Беломор» купим и поедем. Ладно гиль нести.

Направляясь в книжный магазин, Шурка увидел Генку Афанасьева, в стычке у клуба возглавлявшего нападающих. Тот метнулся в сторону мастерских.

«Засёк, — отметил Шурка. — Что же будет? Этот Генка настырный».

...Когда Шурка вышел из книжного, всё уже свершилось. Генка Афанасьев лежал на весенней земле. Из левого виска сочилась кровь. Он был мёртв.

Стоящая у пивного киоска Пупчиха, всхлипывая, говорила:

— Наши-то, дураки, впятером окружили их и давай воротники на рубахах им рвать, а Толик-то ихний, мне всё слышать из окошка, и говорит: «Что, слабо один на один? Впятером либо всей деревней только смелые, да?». Так, вот, они подёргались и решили по-честному. Один на один. Толик и Афанасьев, значит. Афанасьев первый ударил, да так, что энтот самый Толик загнулся крючком весь. А потом вдруг и непонятно мне, как, красавчик этот мотнул рукой — и наш — на карачках, то ли споткнулся, то ли как? В горячках Толик ударил его ногой и попал сапогом прямо в висок. Нет Генки теперь.

Прибежал милиционер Вася Берлин, за ним появились ещё два молодых незнакомых сержанта. Никто из участников стычки и не собирався убегать. Всех потрясла неожиданная смерть.

Толик сидел на пороге магазина, обхватив голову руками. Пальцы рук его вцепились в лихой чёрный чуб.

Пупчиха плакала. Не стирая слёз с красных пухлых щёк, проговорила нараспев, глотая слова:

— Обо-иих ведь жа-ал-ка, оба ду-раки. Одно-му-у-то всё едина теперича, а эттому Толику вся жизнь, как в про-оо-пасть, а... а... тюрьма...

...Вскоре в Утёвке начали поговаривать, что первый секретарь райкома Бурцев сильно против того, чтобы город нефтяников строили около села. Он опасался и за село, и за Самарку, поэтому вроде бы идут споры. А потом разнеслась новая весть: знаменитый начальник нефтяников Муравленко, которого никто в селе никогда не видел, поддержал Бурцева. Решено город, названный Нефтегорском, строить в степи, около посёлка Ветлянка, далеко от Утёвки.

— Слава тебе, Господи, — отозвалась на это бабка Груня. — Бог миловал!

И перекрестилась.

В Лаптаевом переулке

Только-только Шурка пришёл из школы, хлопнула калитка и вошёл Андрей Плаксин:

— Шурк, в лапту пойдём играть?

— Ага, а кто будет?

— Да Чугунок, Микляй, Валька Беспёрстова, ещё там пацаны наши. Всех соберём, кого надо.

Едва появлялись долгожданные подсыхающие поляны, ребятню неудержимо тянуло в Лаптаев переулок играть в разные игры.

Хозяев крайнего дома в переулке Климановых давно уже зовут по-уличному — Лаптаевы. Их пятистенник, открытый окошками с резными ставнями на большую поляну, — давний свидетель ребячьих забав. Частенько стайка ребятшек прибывалась к Лаптаеву палисаднику и гомонила там в своих заботах. В такие моменты дядя Коля степенно выходил из дома, неспешно и незлобно кшикал, как на кур, отгоняя их вновь на поляну.

— А я сегодня хотел доделать свою клюшку, — спохватился Шурка.

— Новую чекмару? — спросил Андрей.

Ему больше нравилось такое название клюшки.

— Конечно, вчера с дедом были на Подстёпном, там, знаешь, где большая поляна чилиги, их полно. Я и вырезал две чекмары.

— Вязовые? — деловито переспросил Андрей.

— Нет, из неклённика.

— Покажи, а?

Шурка пошёл в сени и вынес полутораметровой длины палку, прихотливо изогнутую снизу. Такая палка и была всегда предметом зависти всякого игрока. Она служила для того, чтобы гонять по траве или по льду шашку — кусок крепкого дерева или другого материала. Часто — консервную банку.

У Андрея загорелись глаза:

— Эх, ты, а я ещё не успел сделать. Давай завтра сходим вместе?

— На, это тебе, — Шурка протянул клюшку Андрею.

— Ты что, Шурк? — выдохнул тот, — да у меня такой сроду не было! Такой удобной чекмары я ни разу не видел ни у кого.

Он ошалело крутил в руках подарок.

— Ты же себе это смастерил?

Шурка молча пошёл вновь в сени и вернулся с палкой, похожей на ту, что отдал приятелю.

— Это будет моя.

Андрей был сражён.

— Эх, ты! — сказал он. Эта короткая фраза вобрала в себя всё: и восхищение, и благодарность, и многое-многое другое, что Андрей, очевидно, чувствовал, но не имел понятия, как всё называть. И зачем ему это знать?

Вот есть друг, есть тёплый весенний воздух, пахнущий талой водой. Подогрета ласковым солнцем земля, кое-где уже пробитая зеленью. И есть ещё после школы целая половина дня. Что ещё надо?

На Андрея напала жажда деятельности.

— Давай всё для чекмары сделаем, а завтра сыграем.

— Давай, — согласился Шурка, — и начнём с шашек.

Шурка сбегал на зады. Принёс крепкий, толщиной в руку, обрубок татарского клёна, и они поперечной пилой отпилили три шашки. Андрей тут же во дворе попробовал шашку и клюшку в деле, погоняв по земле, а затем, с силой запустив шашкой в деревянные ворота. И остался очень довольным. Яркий, с вельможной походкой соседский петух после удара Андрея панически, растеряв всю свою величавость, совсем подворовому перескочил через плетень — и был таков.

— Правильно, нечего на чужом дворе делать, совсем задолбил нашего, — подытожил Шурка.

Вооружившись лопатой, они пошли на Лаптаеву поляну. Поляна была уже почти сухая. Только у плетней, у кучи берёзовых брёвен лежал ноздреватый снег, покрытый сверху слоем грязи.

Быстро отыскали ровное местечко. Андрей начал копать котёл — центровую лунку величиной не более обычного ведра. Затем надо было ровно по кругу расположить пять-шесть лунок.

Андрей присел на корточки в котле и, выставив перед собой на вытянутых руках чекмару, скомандовал:

— Крути!

Придерживая конец клюшки, Шурка прошёлся по кругу, оставляя за собой протоптанную дорожку в прогретой майским солнцем земле.

По этой окружности и выкопали лунки размером немного поменьше центральной.

Игра состояла в следующем. Игроков должно быть на одного больше, нежели количество лунок, не считая котла. Цель игрока, остающегося после того, как поконаются, без лунки, занять её. Он начинал «маяться»: пытался клюшкой послать шашку в котёл. Если она достигала цели, то игроки обязаны мгновенно меняться местами (конец клюшки-чекмары должен торчать в лунке). При этом захвате мест тот, кто «маялся», мог занять любую лунку, естественно, кто-то оставался без неё и оказывался в роли «мающегося». Сложность в том, что стоявшие по кругу отбивали шашку как можно дальше, не подпуская к котлу, и за ней приходилось бегать. К тому же, ловкий игрок, который «маялся», мог просто, без попадания шашкой в котёл, занять лунку. Это случалось тогда, когда он, лавируя корпусом и ведя шашку к центру, вынуждал одного из игроков замахиваться клюшкой. В это время оставшуюся без хозяина лунку мгновенно занимал сам, ткнув туда свою чекмару.

Андрей, приплясывая, утоптал игровой круг. Взял клюшку, ловко пульнул шашку в котёл и остался доволен:

— Чугунка до слёз замаем завтра!

Шурка представил, как будет «маяться» хитрый, находчивый Чугунок, которого с четвёртого класса зовут так потому, что он в тетрадке нарочно, для смеха, написал вместо «чугун» — «чгун», а вместо «кастрюля» — «кастура», и ему стало заранее весело.

«Чугунок ведь не заплачет, а, наоборот, всех насмешит только», — хотел сказать Шурка, но почему-то промолчал. Наверное, оттого, что не хотелось возражать деловому Андрею.

«Под синей юбочкой»

Саман для новой избы решили делать на выгоне, за колхозным общим двором. Дядя Федя Остроухов, копнув лопатой, долго и серьёзно рассматривал серенькие кусочки земли на ладони, а Шуркин дед сказал:

— Чего её изучать-то, вон сколько вокрут изб уж который год стоят. Мерекаешь попусту.

— Оно, конечно, может, и так, но всё-таки... — держал свой фасон Остроухов.

Едва вскрыли круг, приехал верхом на колхозном знакомом мерине дядька Сергей и привёл с собой ещё одну буланую кобылу. Их пустили мять эту большую лепёшку.

Воду возили из Приказного.

На трёх подводах Шурка, Андрей и Валька Рязанов с грохотом порожняком мчались к озеру и лихо въезжали в воду, а там весёлая Аксютка и ещё незнакомая одна девка, войдя по колено в воду прямо в платьях, под июньским ласковым солнцем наливали её в бочки. Перед тем, как выезжать на берег, Шурка накрывал мокрой мешковиной горловину бочки, чтобы вода не плескалась. И каждый раз чудно было глядеть, как в бочке глупо смотрели на него крупные головастики.

А на выгоне своя работа. Как только Шурка подъезжал, мужики, сунув вагу в горловину бочки, разворачивали её и через несколько минут можно было опять мчаться к озеру.

В одну из ездов с Шуркой случилась авария. На самом конце улицы, когда он гнал рысью Карего, около палисадника из-под лавочки ветром выдуло газету, которая, разворачиваясь, поползла к дороге. Шурка стоял сзади бочки, левой рукой держась за отверстие в ней, чтобы она, пустая, не играла на дрожках.

В следующее мгновение, скосив дико правым глазом на газету, большим белым чудищем, похожим на черепаху, двигавшуюся на него, Карий резко прыгнул влево. Шурку вместе с бочкой снесло на землю. Бочка, громыхая, покатилась к палисаднику, а Шурка упал рядом со злополучной газетой. Какое-то мгновение был провал в сознании. Когда же вскочил, ног будто не было. Он вновь оказался на земле. «Отнялись», — со страхом пронеслось в голове. Карий стоял метрах в двадцати и смотрел на него. Левая рука лежала на газете. Шурка провёл ею по странице, она выпрямилась и он прочёл: «Волжская коммуна». «Деда всегда её читает», — подумал Ковальский и вяло перевернулся с живота на бок.

А к нему уже бежали люди. Помогли подняться, посадили на лавку. Пока подводили Карего, водружали бочку на дрожки, у Шурки боль прошла. Он встал с лавки, оттолкнулся от ограды и пошёл к повозке.

— Матери скажи, что ушибся, ездук, — сказала вслед хозяйка дома.

— Ладно, — неопределённо отозвался Шурка, погоняя Карего. Въезжая в воду, к ожидавшим его девкам, он уже не думал о случившемся.

Саман смяли и начали выкладывать чуть поодаль на ровном месте. На жести заполняли им большие формовочные станки, уминали ногами. Волоком их тащили в сторону. Затем поднимали, а кирпичи оставляли сохнуть.

...На второй день помочей, вечером, помогавшие гуляли у Любаевых во дворе. Шурку посадили наравне со всеми за стол на лавку, вернее — на доску, положенную концами на табуретки. Мать суетилась с закуской.

Пили «Под синей юбочкой» — так называли денатурат за его цвет. Его жаловали и женщины. Самогонки не было — боялись гнать. Остроухову принесли гармонь, а у Василия Любаева — балалайка. Они сели в торце длинного стола, на виду у всех.

После того, как выпили, заиграли подгорную. Задвигали лавками-досками. Дошла очередь и до Аксюты Васяевой. Она выплыла в круг и неожиданно красивым, сильным голосом озорно пропела:

*Повели меня на суд,
А я вся трясуся.
Присудили сто яиц,
А я не несуся!*

— Вот баба, — восхищённо сказал захмелевший дед Проняй, — кого хочешь в косые лапти обует.

— Да, ладно, она, по-моему, ещё не перебабилась, — непонятно возразил его сосед.

Шурка невольно слышит разговор.

— Ловко про яйца, — тянул своё Проняй, — моя тоже ещё только двадцать штук сдала, молока тридцать литров ещё надо отнести. А где брать-то? Дела...

— Где-где, — возражал сосед — дальний родственник Синегубого, — вон Шуркина мать выкручивается, Василий подшивает валенки, а она покупает масло, молоко и сдаёт. От налога куда?.. Шурка, тебе мать когда-нибудь масло мазала на хлеб?

— Нет, — сказал Шурка, — у нас масла не бывает, хлеб с молоком едим.

— Вот видишь, откель масло брать, с моими глазами только валенки и подшивать, — не сдавался Проняй.

Шурка, глядя на пляшущих в кругу, думал: «И почему все люди делятся на русских, украинцев, поляков, турок и других? Нельзя ли так, чтобы все были одинаковой национальности? Все были бы равными. И веселились, как сейчас». Об этом он сказал дядьке Серёже.

— Ага, — подхватил Серёга, — и все одного цвета бы: негры, цыгане, папуасы, англичане — все белые, нет, все чёрненькие, ага? И все на одно лицо. Мировая скукота.

— Да ну тебя, я серьёзно.

Запели «Катюшу». Шурке подумалось, что эта песня про его мать. Только в жизни всё сложнее и тяжелее, чем в этой красивой песне. Для того и песня, чтобы легче жилось.

Шуркина мать, Катерина, когда пели эту песню, никогда не подпевала, всегда только слушала, глядя кротко и ясно перед собой.

...На Шурку навалилась вялость. До этого зазвенело в голове, хотя, разумеется, спиртного не пил. Он встал и пошёл спать к деду в мазанку. Мать только и успела сказать вслед:

— Шура, ночевать приходи домой.

— Ладно, мам.

А Аксюта всё веселилась: «За мной мальчик не гонись — у меня есть другой», — слышался её разудалый говорок.

...Шурка проснулся и сразу понял, что уже поздно: в маленьком оконце света не было. Вспомнил, что обещал ночевать дома и заторопился. В избе деда все уже спали. Со стороны клуба, который находился метрах в двухстах, доносилась музыка. «Раз танцы не кончились, значит двенадцати нет», — определил Шурка. Легонько стукнув калиткой, пошёл по задам — так короче, метров триста. Шурка не прошёл и половину пути, ноги подкосились, как тогда, днём, после падения с дрожек.

Вначале он ничего не понял, сторяча попытался вскочить, но вновь оказался на пыльной дорожке. Обожгла мысль: «Кто-нибудь поедет и задавит, как кутёнка. Надо отползти в сторону». Отполз ближе к плетню и тогда только ужаснулся: а если это навсегда? Мать умрёт с горя, ей и с отцом нелегко: она его каждый день обувает и брюки помогает надеть. Правда, в последнее время брюки он научился надевать сам: бросает на пол,

бадиком подшвыривает штанину на прямую левую ногу, крючком за пояс подтягивает вверх. Правая нога у него действует, как у всех.

«Карий, Карий, какой же ты дурак!» — с горечью подумал Шурка. Под локтем оказалась кучка травы. Он подмял её под себя, стало удобнее. Боли почти не было, жгло ушибленный локоть, где слезла кожа. И саднило в пояснице, но терпимо. Повернулся на спину. Широко распахнувшись, на него смотрело небо. Звёзды, крупные и мелкие, рассыпавшись во все стороны, светились ясно. Под этим бездонным взглядом он не почувствовал себя маленьким и убогим, а принял чистый тёплый взгляд и удивился тому, как стало вдруг спокойно, а возросшая уверенность в себе уже толкала делать что-то энергичное и нужное.

«Неужели там, над нами, действительно кто-то есть, раз происходит во мне такое, о чём никому не расскажешь?..»

Шурка лежал под открытым небом. Большая Медведица, чудно наклонив свой ковш, висела, как на большом гвозде.

Он почувствовал, как сильно всех любит: маму, бабушку, деда... обоих своих отцов, который есть и которого никогда не видел. Вообще всё вокруг любит..

Замелькали летучие мыши. Пролетела, таинственно прошестев крыльями, сова.

«Танцы кончатся, ребята направятся домой. Может, кто пойдёт задами и меня заметят».

В куче брёвен, когда он заглянул за большой берёзовый комель, замерцало расплывчатое пятно. «Гнилушки светятся», — отметил про себя Шурка. Он знал, что, как ни катай гнилушку на ладони, в кулаке, она светит, но не греет. Но сейчас ему казалось, что это светлое пятно из гнилушек, так же, как и далёкие звёзды, гонит к нему тёплый и ласковый поток. Шурка ещё больше успокоился. Он вспомнил, как однажды бабушка Груня сказала ему: «Все мы под Богом ходим. За твоей спиной ангел большекрылый. Если будешь стараться делать добрые дела, он тебя не оставит в беде. Он — твоя опора».

Шурка тогда не удивился словам бабушки. Он и вправду иногда очень сильно чувствовал огромную добрую силу, идущую издалека к нему. Чаще всего это случалось, когда оставался один под открытым небом: в поле, в небольшом лесу, на

Самарке у воды. Но это шло, как ему казалось, не от неба, это было земное. Сила шла, как он однажды подумал и удивился своей догадке, — от отца Станислава, из его далёкого далёка. Свет поддержки и надежды шёл незримо, но властно и побеждающе. Он так себя заставил думать или это так и было — уже нельзя определить. Но то не был самообман. Может быть, врождённая жажда жизни? Ему сейчас показалось, что этот луч поддержки накрепко соединил его с отцом. «Но ведь земля круглая, значит луч от Варшавы до Утёвки, до меня, должен быть в виде дуги, — подумал он и спохватился. — Почему я думаю так, это же, наверное, бред у меня, теряю сознание. Так ведь не думают».

Музыка прекратилась. Через некоторое время послышались громкие голоса на улице, но все проходили мимо. По задкам никто не шёл. Кричать, звать о помощи Шурка стыдился и, перевалившись через левый бок на живот, пополз. Оставалось до дома метров тридцать, когда впереди замелькал слабый огонёк. «Кто-то с фонариком», — догадался Шурка.

— Эй, — негромко позвал он.

Невысокого роста человек остановился.

— Кто там?

Перед Шуркой стоял Мишка Лашманкин, его давний неприятель.

— Коваль, что с тобой? Ты пьяный, что ли? — хохотнул было Мишка.

— С ногами что-то.

Лашманкин подошёл ближе.

— Ты же весь в пыли, ты что?

— Говорю: ноги отнялись.

Мишка перевернул Шурку на спину, взял под мышки и подтянул к плетню.

— Ты как на задах в эту пору оказался? — спросил Шурка.

— Да это, лампочка увеличителя перегорела. Мы с братаном фотки печатаем, ну, я бегал к дядьке, на обратном пути, дай, думаю, срежу. Попробую тебя понести. Вот шалыга какая!

Кое-как приподняв Шурку у плетня, он подлез под него и, взвалив на спину, покачиваясь, понёс.

— Давай в наш сарай, — попросил Шурка.

— Ты что? Мать заругает тебя?

— Нет, — проговорил Шурка, — она думает, что я у деда.

— А может, в больницу?

— Не надо, днём так же было. Потом отпустило. Это от падения. Отосплюсь — всё пройдёт.

— Эх ты, а вдруг нет? — засомневался Мишка.

— Давай в сарай!

Когда Шурка улёгся на спину на кучке свежей травы, он сказал:

— Мать встанет корову сгонять в стадо в четыре утра, она меня и обнаружит. Если всё нормально, то — порядок. Если не обнаружит, придёшь в шесть часов ко мне. Проснёшься?

— Проснусь, — заверил Мишка.

Шурка спал глубоко, без сновидений и проснулся в восемь часов. Едва открыл глаза, увидел Мишку сидящим около на старом тазике.

— Ты чего сидишь?

— Будить тебя жалко.

Шурка поднялся и, как будто ничего не было, спокойно прошёлся.

— Молодец, — обрадовался Мишка, — а то я вчера испугался.

— Я — тоже, — признался Шурка.

У Лопушного озера

— Завтра Жданку не гоняй в стадо, — сказал вечером Катерине Василий, — поедем в Угол косить траву.

— Ладно, — покорно согласилась мать.

Она уже поняла: спорить бесполезно. Прошёл месяц после того, первого разговора, когда было решено делать упряжь для коровы. И вот всё готово: лёгонькая рыдванка с железными колесами, с проволочными реденькими рёбрами вместо деревянных стоит посреди двора. Готова и шорка вместо хомута, лёгкая оброть и всё остальное.

Отец вывел с денника Жданку и стал подводить к рыдвану. Корова долго не понимала, чего от неё хотят. Смотрела своими большими тёмными красивыми глазами и недоумевала.

Наконец-то шорка — на шее, тонкая самодельная верёвка вместо вожжей, привязана.

— Ну-ка, Шурка, отвори ворота.

И уж было совсем всё пошло, как надо, да мать Шурки немало подпортила момент:

— Вась, а если обидится и перестанет молоко давать?

— А куда она денется?

— Ну, пропадёт молоко, так бывает!

— Опять ты за своё!

Катерина отошла в сторону. Потом вновь приблизилась и виновато попросила:

— Вась, ты на неё не кричи, если что не так.

— Катя, я ж обещал тебе, — отец повёл Жданку со двора.

Он явно бодрился.

Рыдванка на удивление пошла ходко. Выезд на улицу был под горку. Лицо Василия светилось радостной улыбкой. Смазанные обильно дёгтем новенькие оси и колёса хотя и поскрипывали, но как-то в лад и бодро. Шурка немного успокоился и за Жданку, и за мать.

У ворот отец положил в рыдванку старую фуфайку, чтобы можно было лежать, привязал косу и они отправились в путь. Лагунок с дёгтем, как маятник, закачался на задке рыдвана. Договорились, что садиться никто не будет, только отец, когда совсем устанет, ляжет в рыдван — сидеть ему никак нельзя.

Мать даже сумку с едой не положила:

— Вась, сама понесу, ей-богу, не тяжело.

Шурка приготовился подталкивать повозку сзади так, чтобы не увидел отец.

Он знал дорогу на Лопушное до каждого поворота, до каждой кочки. Шагая за повозкой, Шурка пояснял:

— Мам, нам надо проехать туда почти три километра. Не бойся — половина дороги жёсткая и под уклон, и только у старницы начнётся песок.

— Я и не боюсь.

— А можно не по дороге, не по песку ехать, а по траве, вдоль, — говорил Шурка.

— Так и сделаем, но я опасуюсь другого.

— Чего, мам?

— Корова страшно боится шершней. Слепни ещё так-сяк, а шершни... С ней сразу могут случиться бызыки, бзик. Что тогда делать? Бздырит, не остановишь.

— А что? — не поняв, переспросил Шурка.

— Может либо рыдванку с отцом разнести, либо себе что поломать.

...Повозка двигалась медленно, отцу было трудно идти, но он не ложился. Прямая нога его почти волочилась. А Шурка шёл легко. На босых ногах — сандайки, которые ему сделал дед прямо при нём три дня назад. Он взял Шуркину ногу, приставил к ступне колодку, померил и тут же сапожным ножом на пороге вырезал из куска толстой кожи две подошвы.

По шаблону выкроил верх из кожи потоньше и прошил сыромятным узким ремешком. Получилась жёлтая ровная окантовка. Потом пошарил в своём удивительном ящичке, где всегда находилось всё, что нужно, и извлёк оттуда, как волшебник, две красивые металлические застёжки.

— Тебе берёт, нравятся?

— Конечно, лучше не бывает, — радовался Шурка.

Дед хотел ещё натереть сандайки ваксой, но Шурка отказался: «Потом, деда!». Обувка получилась лёгкая, мягкая, и теперь, шагая по нагретой летним солнцем дороге, увязая по щиколотки в горячей серой пыли, он не знал забот. Дедовыми умными руками вверху сандалий и по бокам были сделаны дырочки и пыль не задерживалась в них.

За мостом съехали благополучно с горы. Отец лёг в рыдван. На удивление, Жданка не воспротивилась. Только вначале не поняла, как идти: Василий стал управлять вожжами.

Мать, взяв за оброть, всё поправила и пошла рядом.

Шурка шёл сзади один. Они приблизились к Самарке, и песчаная дорога утяжелила ход повозки. Металлические колёса, за которыми ревностно следил Шурка, когда рыдван съезжал с обочины на песок, вязли. Шурка, упираясь в заднюю стойку, что есть мочи толкал повозку.

Остро пахло прокалённым солнцем песком, в воздухе, казалось, не было ни единого движения, которое хоть как-нибудь пригнало бы прохладу. И только знакомые осины, стоявшие на обочине, шевелили чуткими листочками.

Шурка знал, что надо потерпеть: ещё один поворот — и дорога изменится. Это случится сразу за сухим вязом, в дупле которого обитает, об этом знает только Шурка, удод, а по-простому — петушок. Такой смешной, забавный и неторопливый лесной житель. А напротив вяза, на полянке — большой ров-

ный круг зарослей шиповника. Здесь Шурка иногда прячет всякую всячину, чтобы лишний раз не таскать домой: удочки, банки с червями, весло. Никому и в голову не придёт лезть в такую чащобу.

...Наконец-то дорога нырнула в заросли черёмухи, крушины и неклённого. Стало прохладно. Недалеко было Лопушное. В который раз остановились на отдых, и тут же Шурка острым ножичком срезал прямо у дороги полуметровый пустотельный зелёный стебель и сделал из этой быстылины дудку. Раза два со свистом дунув в неё, разудало заиграл, переваливаясь с ноги на ногу. А Шуркина мама, весело выскочив на поляночку, пошла в пляс, припевая:

Дударь мой, дударь молодой!

Самодударь мой, дударь молодой!

Её маленькие загорелые и ловкие ноги, обутые в чупяки, задорно мелькали в ромашковом и васильковом разнотравье придорожной полянки. И вся она, в косыночке с голубыми горошками, стала вдруг весёлой и озорной. Шурке тоже стало радостно, и оттого он заиграл ещё азартнее и громче.

Когда кончил, отец одобрительно спросил:

— Где так научился выкомаривать?

— Дед его подучил, — сказала мать.

Жданка тем временем не плошала и, увидев сочную густую траву в кустах, дёрнулась туда. Рыдванка встала поперёк дороги, передними колёсами подмяв кустики бересклета.

— Но... балуй у меня, — совсем как на лошадь, грозно шумнул отец, но, спохватившись, вылез через проволочные боковины из рыдвана и вывел Жданку на дорогу.

Лесные дороги там, где ходит гужевой транспорт, особые. как бы в три колеи. Две колеи от колёс и тропа меж ними от лошадиных копыт.

Запах лесных дорог особый. Меж колеями изумрудная зелень не теряет своей свежести и яркости всё лето. Под нависшими низко ветвями ей благодатно. Влажность, исходящая от озера, питает буйство и разнообразие трав по обочинам дороги. На самой дороге обычно растёт самоотверженный подорожник. Шуркина мать называет его семижилником, и Шурка несколько раз уже пользовался им, прикладывая к ранкам или опухоли.

Из двух десятков озёр, которые он знает, Лопушное одно из самых интересных. Ни на Лещевом, ни в Подстёпном, ни на Осиновом нет того, что есть здесь. Тут с Шуркой всегда что-нибудь происходит.

В дальнем заросшем конце впервые позапрошлым летом подстрелил он крякву. А на подходе к озеру среди черёмухи растёт единственная на этом берегу Самарки берёза. И никто никогда — ни взрослые, ни мальчишки — не брали сок у неё, настолько она дорога всем. Однажды они с дедом вдоль озера набрали целую телегу груздей, и на обратном пути негде было сидеть в ней. Шли пешком.

...Когда добрались до Лопушного и отец начал распрягать Жданку, подошедшая помогать Катерина ахнула:

— Васенька, что же это делается, а?

Шурка увидел, как из передних сосков Жданки, словно из неплотного рукомойника, стекало большими каплями молоко.

— Ты её доила утром? — спросил тусклым голосом отец.

— А как же, доила, — поспешно ответила мать. — А если она надорвалась?

— Надо подоить ещё, — будто не слыша, сказал отец, — а ты, Шурка, сготовь костёр, сварим молочный суп с лапшой. Вот вам задание. Я пойду траву попробую посшибаю.

Шурка взял топорик и пошёл высматривать рогульки для костра. Вскоре зазвучали за его спиной непривычные такие в лесу удары молочных струй о гулкое дно ведра. И он услышал, как мать сквозь слёзы почти запричитала:

— Миленькая ты наша кормилица, прости нас...

За старицей

Много всего надо для строительства дома. После самана брёвна для тёса необходимы в первую очередь. В этом году Любаевым повезло: по ордеру сельсовета сено должны были косить в лесу. Кварталы достались тощие, трава — никудышная. Однако сенокос оказался недалеко от делянок, отведённых под вырубку осин и осокорей. Можно работать на два фронта. Так и сделали: попеременно то косили, то пилили. Кто как мог.

Рассортировали калек и — за работу. Венька Сухов без руки, так ему, например, проще пилить, чем косить. Он и пилит. А вот

у дядя Коли Тумбы нет левой ноги почти совсем, он и косит, и пилит.

Любаев разводит и точит пилы. И потихоньку пробует косу, насаженную на черенок так, чтобы можно было работать, совсем не нагибаясь. Шурка видел, как отец пробовал косить за кустами, ближе к воде. Размеренные, выверенные движения Василия, волочившего за собой ногу при совершенно прямой спине и прерывистое перемещение его вдоль валка напоминали действие какой-то машины. Но эта кажущаяся надёжность могла враз рухнуть, если не соблюдать равновесие и равномерность перемещения.

Валить громадные осокори тоже надо уметь.

— Ты сначала определяй, куда дерево глядит, куда наклонено, — учит Венька Шурку. — Как определил, пили с той стороны, куда глядит, на глубину полотна пилы. А затем уж заходи с противоположной — на четверть выше снова пили. Само упадёт куда задумано.

— А если дерево не «глядит» и нужно чуть в сторону свалить его? — уточнял Шурка.

— Тогда берёшь топор и, как сделаешь первый надпил, сразу руби, чтоб не было зажима — можно руками или вагами толкать, куда надо.

— Берегись! — зычно крикнул Тумба. И осокорь, могучий и красивый, сокрушая молодняк, не теряя величавости и осанки, повалился на траву. Земля вздрогнула, когда он упал. На поляне стало светлее.

— Молодец, Тумба! Удачно положил! — обрадовался Шурка.

— Прошлом лето вот так же валили и один рухнул на сухостой — приличную осину, а она возьми да и упади, где бабёнки кружком стояли. Одну из них, Таню Чемоданову, будто выбрала — скончалась на месте, — сказал Веня.

Первый осокорь, который подпилили Венька с Шуркой, падать вначале не хотел. Он чуть повернулся слева направо в комле, зажав пилу так, что Шурка с большим трудом, торопясь, выхватил полотно и замер.

— Ко мне! — властно скомандовал Веня и привлёк его к себе. — Надо в сторону уходить, а то сыграет и комлем долбанёт.

Вагами мужики помогли великану. Он рухнул, обломав при ударе о землю толстые сучья. Накрыл большой муравейник.

Объявили перерыв. Шурка сладил удочку. Крючки у него всегда были с собой в фуражке, а леску захватил специально. Только пристроил удочку на рогульке, у коряжки, как поплавок — в мизинец сухая куга — медленно пошёл под воду. Шурка привычно дёрнул: на крючке болтался величиной в ладошку карась. Забросил вновь — то же самое. После пятого карасика насадки — безголового слепня — не стало.

— Сейчас я тебе добуду насадку, — сказал подошедший Венька. — Дай картуз!

Пока Шурка ловил слепня, пришёл Венька и протянул фуражку:

— Попробуй на муравьиные личинки.

Шурка попробовал: такая же поклёвка — и как отмеренный, в ладошку, карасик затрепыхался на траве.

— Тут кто-то хорошо приманивает, — догадался Шурка, — нормальная рыбалка.

— Это разве рыбалка... вот в Сибири — это да! — отозвался Венька.

— А откуда ты знаешь?

— Дядька мой пишет.

— Он в Сибири?

— Да, с сорок первого года. Теперь уже давно освободился.

— Сидел?

— Да. Теперь женился, там и живёт.

— А за что сидел? — допытывался Шурка, вспомнив, как Жабин забрался в дом к Пупчихе.

— Ерунда, в поле, когда со стана шёл, снял с трактора магнето — поковыряться для интереса. Оно ему и не нужно было. По дурусти.

— Ничего себе!

Много всякого увидел и узнал Шурка на делянках. Поразил один разговор, который он нечаянно услышал. По разным причинам не все уходили ночевать в село. Многие оставались. Спали в шалашах из веток и травы, под огромной, толщиной в четыре Шуркиных обхвата, ветлой. В один из вечеров Шурка пошёл в дальний конец озера посмотреть на уток, слетевшихся туда на зорьке. Ему нравилось за ними наблюдать. Уток поче-

му-то не было, и он решил подождать, присев метрах в пяти от берега у небольшой копны.

Солнце уже опустилось ниже могучих вязов, росших на той стороне, близко у воды. Его лучи, пробиваясь сквозь листву, освещали задумчивую гладь озера, Шурку вместе с копной и весь берег, томно и разнеженно притихший после жаркого дня. Противоположный берег и гладь воды там, под вязами, были сумрачны и таинственны.

Слева от Шурки послышались шаги, а потом и голоса. Он узнал говоривших: Аксюта Васяева и Ганя Лужкова! Выглянул было и обомлел: они раздевались, намереваясь, очевидно, купаться.

— Ох, и красивая ты, Ганя, внаготку, — сказала восхищённо Аксюта.

— Красивая-то красивая... — задумчиво ответила Ганя. — Красота меня и ухоркала.

— Как так? — удивилась Аксюта.

Шурка вновь выглянул и поразился: на берегу стояли две совершенно голые молодые женщины. У него странно закружилась голова.

Молодая пышущая здоровьем Аксюта стояла ближе к Шурке. Белое её тело, освещённое закатным солнцем, вызывало невольный восторг. Казалось, каждая рыжая волосинка на нём обласкана вечерним светом. Груды её, круглые и большие, вмиг начали исполнять какие-то свои замысловатые движения, когда она, подняв руки к небу, дурачась, встряхнулась и заиграла кистями рук.

— Как может красота ухоркать? — переспросила она, семеня на одном месте ногами.

Ганю всю теперь Шурка не видел. Её закрывала мощным корпусом Аксюта, но он отметил, как разительно они отличаются друг от друга. У Гани узенькие плечи и крепкие, шире плеч, округлые бёдра. Смуглая кожа делала её похожей на статую богини. Нездешняя красота Гани была таинственна и холодновата.

— Может, — отозвалась Ганя. — У меня жених уже намечался, и вдруг Николай появился. Инструктором райкома партии начал у нас работать, а я — секретарем райкома комсомола. Красивый был, ладный такой. Ухажёров у меня было! Он всех отбил.

Ганя вошла по грудь в воду и, ойкнув, притихла.

Шурка прижался к копне, боясь, что его заметят. Не знал, как лучше поступить: встать и уйти, тогда его увидят, или остаться? Разговор продолжался.

— Я и раньше отмечала: странно ходит как-то, легко и в то же время на левую ногу припадает. Но ничего не говорил, скрывал до времени. Оказалось, ранение у него было, в колено. Потом началось... Отрезали ногу чуть не всю. И закатилось моё счастье-то. Жена инвалида. Он ещё и запил потом.

— А мне хоть хроменького, но молоденького бы муженька, — вздохнула Аксюта.

— У тебя всё впереди.

— Ага, — с готовностью вроде бы согласилась Аксюта. А потом добавила: — А позади-то уже чуть не тридцать годков.

— Угробила я сама себя, за него вышла. Как помутилась голова. Какие вокруг меня парнины были! Дура я, — продолжала Ганя.

— Что ты говоришь, — ахнула Аксюта, — разве можно так? Он тебя любит?

— А куда ему деваться-то с культей, — зло сказала Ганя и саженками, по-мужски, поплыла на середину озера.

Аксюта сложила рупором ладони и прокричала как бы украдкой (боялась, наверное, что их кто-нибудь обнаружит голыми), как мальчишка, обращаясь к кому-то на противоположном берегу:

— Кто украл хомуты?

И эхо тут же ответило:

— Ты, ты, ты...

Аксюта хихикнула довольно и не спеша пошла к воде.

Вечерние лучи солнца ласкали её крупное тело. И казалось, что это большая домашняя птица или огромный жаворонок, один из тех, что они лепили с мамой из белотурошной муки весной, сейчас взмахнёт руками-крыльями и попробует взлететь. На плечи её упали золотистые волосы, а там, в самом низу живота, у Аксюты огоньком горел небольшой островок растительности.

«Разве такое бывает? — удивился Шурка, — рыжая везде вся!»

Его ошеломила красота и притягательность обнажённых

женских тел. Такого с ним ещё не было. С Аксютой и Ганей встречался в день по несколько раз, но там они были в одежде, все в хлопотах. Здесь, оголившись, вдруг обнажили перед Шуркой целую бездну ощущений. Он то проваливался куда-то, то вдруг видел, как органично они дополняли собой всё вокруг, и начинал недоумевать: как могла природа ещё каких-то пять минут назад обходиться без них. То совершенно понятных и земных существ, то вдруг непостижимых, обескураживающих, заставляющих тихо сидеть, окунувшись лицом в тёплый парной воздух над вечерней озёрной с мраморными лилиями водой.

Греховных мыслей не было. Их просто не могло ещё быть.

...Аксюта тем временем зашла чуть выше колен в воду и со смехом плюхнулась, подняв крупные брызги. «Не перебабилась ещё», — вспомнил он загадочное для него слово, которое услышал за столом после помочей.

Шурка встал и, не скрываясь, пошёл на стан. «Моя мама другая, у неё язык не повернётся так об отце моём Василии сказать, как красивая Ганя. Даже подумать не сможет», — для чего-то убеждал он себя.

Два Василия

— На-ка вот.. Варька-почтальониха опять обмишурилась.

Шурка берёт в руки серый с пятнами конверт. Вслух читает: село Утёвка, Василию Фёдоровичу Любаеву.

— Это нам, мам, всё-таки!

— Да нет, грамотей, там указана улица Садовая. Пойдёшь за хлебом в магазин — занесёшь.

— Ладно.

Василий Фёдорович, который живёт на Садовой, и его полный тёзка — Шуркин отец, живущий на Центральной, — родные братья. Оттого и путаница.

В гражданскую, когда молодой ещё дядька Василий воевал у Чапаева, ранило его в лёгкое. Помирать приехал домой к матери своей Прасковье. Плохой был, и все решили, что уже не жилец на этом свете. А тут у Прасковьи и Фёдора родился ещё сын, решили его назвать Василием — в память о старшем, умирающем. Но он выжил. Выжил и младший. Так у Любаевых

стало два Василия. Отец Фёдор, поехав в Уральск за солью, умер в степи.

Когда Шурка пришёл с письмом, хозяин дома сидел на пороге у сений и разбирал мокрую рыбацкую сетку. Сын Сергей тесал срубовину посредине двора. Щепки, освещённые майским ласковым солнцем, излучая тёплый свет, отлетали в сторону гостя. Одна щепка упала лодочкой к Шуркиным ногам. Как утица, закачалась сбоку набок и затихла. Коричневенький сучочек, как глаз, уставился на Шурку внимательно и таинственно.

— Гость пришёл! — зорко глянув на Шурку, крикнул дядя Василий. — Мать, давай нам аряны.

Вышла тётка Машурка с бидончиком кислого молока, разведённого холодной водой, который у неё летом всегда стоял в тёмных сенцах.

— Держи, — она вручила Шурке пол-литровую белую кружку с помятым краем и, помешав в бидончике большой деревянной ложкой, налила.

Шустрая оса села на край бидона, Шурка замахнулся.

— Не тронь, улетит. Незлые они сейчас, — сказал дядька Василий. Принял посудину из рук жены и аппетитно заработал кадыком.

— Ну, придудонился... Так нельзя, Вась, горло перехватит.

— Ничего, мать, не бойся, хороша больно, — он ответил не сразу, а после того, как напился и поставил подчёркнуто деловито бидончик на траву около своих ног.

— Лепота-то какая, а?!

— А что это такое, дядя Вася? — спросил Шурка.

— Что?

— Ну — лепота?

— Красотища, значит, что же ещё? Непонятно, что ли? Чему вас только в школе учат, аль сам не чувствуешь?

— А почему обязательно сруб колодезный делают из ветлы? — перевёл Шурка разговор в деловое русло.

— Не обязательно, — возразил дядька Василий, — желательно из ветлы. Видишь ли, берёза в земле не лежит. Осина даёт горький привкус воде. Ветла и в земле лежит долго, и воды не портит, и вкус от неё лучше.

— А сруб куда?

— Как — куда? Вам.

— Нам?

— Ну да. Брательник сказал: колодец в огороде будет делять.

— Вот здорово! — обрадовался Шурка.

Он смотрел на щуплую фигуру хозяина двора, на его прокуренные усы, неровные плечи, дырявые галоши на босу ногу и ему не верилось, что перед ним участник героических дел.

— Дядя Вась, а какой был Чапаев?

— Обнаковенный, какой... — сказал тот с ходу.

— Ну, не может так быть!

— Заряжённый был, понимаешь, — спохватился Василий, — заряд в нём большой сидел, крупного калибра. Пороху больше, чем у остальных, в нём обнаружилось. Везде хотел быть главным, начальство сверху не любил.

— А сильный был?

— Были здоровее мужики. — Помолчал, потом добавил: — Страху не ведал, али жизнь не ценил свою, а значит и чужие, не знаю. Сразу не скажешь о нём точно. Я в артиллерии служил. Нечасто его видел, но знал. В артиллерии попроще. А вот в кавалерии, брат, цельная наука. Жестокая наука.

— Почему — жестокая?

— Конь обучен должен быть специально для кавалерийской атаки. Мой дружок Арсений из Осинок толк знал в этом деле. Рубака был зверский. Но и он не сразу привык к резне.

— Разве бой — это резня?

— Надо уметь шашкой работать. Если казару развалить от ключицы до пояса — это одно, а если шашкой рубануть по голове — другое... Мозги ажник с кровью вылетают с такой силой, что вся рука от кисти до плеча ими замазана. Арсений первоначально есть не мог после рубки несколько часов, а потом пообвыкся: даже руки не мыл — садился и за кусок хлеба. Все попережку: и кровь, и хлеб.

Шурка стоял, прислонившись к завалинке, ошеломлённый.

— Так было?

— А как иначе? Степи, дожди, смерть, вши, слякоть — это тебе не кино показать. Война — это пакость одна!

— А герои как же?

— Какие?

— Ну, в книгах, в кино опять?

Дядька Василий посмотрел на Шурку, непонятно улыбнулся, как бы сам себе. Ответил тоже вроде бы сам себе:

— Я про жизнь, а не про кино.

— Дядя Вася, а где тебя ранило?

— Чудно ранило. Шальная навроде пуля, когда брали Белебей, в общей колготне. Когда Арсений привёз меня в Утёвку, почти загибался. Но я жив, а он где-то в уральских степях лежит.

— И всё?

— А что ещё? Разыскал я семью Арсения чуть попозже. Беднота, она и есть беднота. Смотреть было больно. Ну, ладно об этом балакать. Одна надежда на вас, вы у нас вырастаете грамотными — глядишь, вылезем из грязи...

Возвращаясь из магазина с двумя буханками хлеба в сумке из кирзы, Шурка думал о последних словах дядьки Василия.

Сколько он себя помнил, всегда окружающие говорили: «Учитесь, а то всю жизнь, как мы, в грязи провозитесь...». Это стало каким-то всеобщим девизом и в школе, и дома. Будто всё Шуркино село враз с его поколением заразилось идеей вырваться из привычной жизни. Прорваться на другой её уровень: грамотный, чистый, достойный. Но, когда он начинал вспоминать, сколько сильных красивых ребят, выучившись в школе, ушли в город и не возвратились, его охватывала досада. Для образованных, способных людей, получается, настоящая жизнь на стороне, не в селе. Из него надо было убежать и не вернуться. И это поощрялось родителями в открытую. Тогда как же с домом? С колодцем, со всем, что делается в селе? Для кого это? Всё временно выходит, не навсегда? За что же воевали дядька Василий, Арсений?

Шурка чувствовал в себе огромную жажду учиться, безудержно влекло к театру, литературе. Росло понимание, что должна где-то быть жизнь без пьянства, матюгов, непролазной грязи на улице. Убогость быта уже начала осознаваться, но она наталкивалась внутри Шурки на крепкую силу, название которой было пока ему недоступно. Но жила в ней, несомненно, обида и горечь за окружающее, кровное и родное, державшее так цепко в своих объятиях, что порой доходило до физического ощущения близости, кровной связи со всем, что дышит вокруг, говорит, поёт, молчит, глядя большими глазами озёр снизу,

а сверху — бездонным летним небом, усыпанным пригоршнями хрустальных звёзд, покойно внимающих с высоты.

Он часто видел себя как бы со стороны в ватажке ребят, у рыбацкого костра на Самарке, то с восхищением, то с досадой наблюдающих в ночи за вдруг ворвавшимся в ночное небо над головой реактивным самолётом — ещё одним зримым доказательством того, что есть какая-то иная, с заботами, не похожими на сельские, жизнь. Пугающая и в то же время странно манящая. Где-то в Шурке, вонне ли его, он это чувствовал, работала неодолимо другая сила, близившая неминуемо прощание его со всем родным и близким. Было от этого тревожно и больно.

Сухопутный пушкар

На сенокосе всегда что-нибудь происходит. Два года назад убило бастрыком Федьку — старшего сына Петянихи. Они перевозили с Митягой сено на полуторке. Оставалась последняя ездка. В рытвине на ухабах заднее колесо попало в глубокую сырую яму, мотор заглох. Митяга и Федька стали помогать как могли — совали сено, бурьян в колею. Мотор натужно упирался. Когда грузовик выскочил на твердь, весь воз с сеном тряхануло так, что схваченный верёвками бастрык не выдержал и лопнул посередине, выстрелив взад и вперёд двумя осиновыми обломками. Стоявший сзади Федька получил удар по голове и скончался тут же.

Об этом забыли уже. Или просто молчат. Прошлым летом сенокосный стан разбили на том же месте, где косили с Федей и где они с Шуркой часто вечером после изнуряющего жаркого дня около плёса сидели на вечерней зорьке на чирков... Шурка помнил прошлогодний сенокос, как будто это было вчера: у костра что-то смешное рассказывал дядька Серёжа из своей армейской жизни. Шурка лежал около припасённой дедом для него чашки. Когда дед снимал ведро с готовой «польской» сливной кашей, Шурка вскочил, намереваясь расправить завернувшийся угол одеяла, служившего скатертью, и, неловко повернувшись, угодил прямо под ведро. Оно в руках Ивана Дмитриевича сильно качнулось и жидкая часть варева выплеснулась. Одурающая боль обожгла спину. Дед снял с внука

рубаху и теперь Шурка лежал на животе полуголый. Крепился, хотя волдырь чуть ли не во всю спину.

И начались непривычные хлопоты. Дед по несколько раз в день смазывал спину подсолнечным маслом. Подсолнечное масло — лекарство. Бутылку с ним Иван Дмитриевич отложил под рыдван, около логунка с дёгтем, строго-настрого запретив использовать масло для еды.

— Хотя бы сам ел масло, а то как верблюд — в свой горб, то бишь в волдырь откладывает, — выражает своё недовольство дядька Серёга.

— И как обидно! Ему ведь тоже в рот не попадает, через кожу приходится впитывать — никакого удовольствия, — вторит дядька Лёша.

Шурка с мольбой смотрит на деда. Острижки умолкают. Но чуть позже, растянувшись после еды на разнотравье, дядька Серёжа тянул:

— А знаете, если бы мне такой волдырь, я бы держался на воде как бог. Такой пузырь как спасательный круг! Красотища!

— Врите больше, — отмахивался Шурка.

Однако ему обидно, что самому нельзя посмотреть, какой величины волдырь. Ведь намного же легче плавать с накачанной камерой? Может, завтра попробовать? Его отрезвил голос деда:

— Шурка, ты уже большой. Неужели всерьёз слушаешь этих шалопаев? Не смей вообще купаться! Заразу занесёшь — беда будет.

— Правильно, Шурка, не плавай, живи сухопутным пушкарём, — вставляет своё дядька Серёга.

— Кем? Каким пушкарём? — спрашивает потерпевший.

— Сухопутным, что непонятного-то?

— А что это такое? — удивился Шурка.

— Читать больше надо, — поучал Сергей.

— И плавать, — дополнил дядька Лёня.

— Да ну вас...

— Что на вас нашло, какая муха укусила? — Иван Дмитриевич сердито смотрит на сыновей. — Он больше вас обоих читает. Я уже давно за глаза его боюсь. «Тихий Дон» проглотил за две недели.

Шурка благодарен деду. Ему очень не хочется, чтобы эта кличка прилепилась к нему. Зовут же Женьку Чугунова «пожарником» с того дня, когда он в тесно набитом клубе, забравшись на лестницу у стены (негде было стоять) во время фильма «Тарзан», свалил нечаянно висевший огнетушитель и тот, сработав, стал поливать ближние ряды зрителей. Под истошный бабий крик: «Пожар!» — в темноте зала началась невыразимая давка. Напрасно завклубом успокаивал и призывал не паниковать. Могучей волной он был сметён и вынесен из зала, который вмиг опустел. Только через некоторое время, когда выяснилась причина, зрители, нервно похохатывая, пошли досматривать кино. Но Генка с тех пор так и стал с чьей-то лёгкой руки «пожарником». Хоть застрелись!

У Кунаева ключа

Шуркины приятели заболели игрой в лянду. Вырезали из овчины кусок в виде пятака и пришили к нему плоскую круглую свинчатку. Если у этого пятака шерсть длинная — лучше лянды нет. Играть просто: надо подбросить лянду и, стоя на одной ноге, другой, обутой в валенок, бить по оперённой овечьей шерстью свинчатке. Ей положено летать: вверх-вниз, вниз-вверх. Задача: набрать наибольшее число ударов.

У Мишки получалось до двадцати. Он — чемпион улицы.

На прошлой неделе, когда играли вечером у Лашманкиных, Мишка попросил Шурку показать, как рыбачат на подуста:

— Мне просто интересно, наши никто не умеют с лодки, а у тебя наука от Головачёвых. Про дядьку твоего Алексея, знаешь, как говорят?

— Нет.

— Толкуют, что он рыбу в колодце, если надо, наловит.

...Три дня назад они пригнали из-под Платова, с Коровьих ям, плоскодонку. Её оставил там дядька Алексей, когда в последний раз рыбачил. Приковали её цепью чуть выше Ледянки.

И вот настало утро, когда они отправились на рыбалку. До Самарки добрались вовремя, было ещё только четыре часа. Остро пахло прохладным песком и мокрыми лопухами. Не торопясь, Шурка откопал из песка весло и два осиновых кола, которые он заранее припас. На реке — никого. Это понрави-

лось. Было ещё темновато, но Шурка знал, как быстро светает, и поэтому торопился; надо вовремя определить место.

— Ну, что, Миш, давай с этой стороны, на перекате встанем?

— А может, с той, под обрывом? Там спокойнее, — предложил приятель.

— Нет, там мелкая плотва замучает, нам подуст нужен, верно? На перекате наверняка будет.

— Ага, — охотно согласился Мишка.

На быстрой воде кол для перетяга поставит не каждый, Шурка всё исполнил молча сам. Мишка только смотрел.

Направив лодку носом строго против течения, Шурка быстро опустил кол и, нащупав им песчаное дно, упирая, стал расшатывать его из стороны в сторону. Течение успело повернуть нос лодки поперёк реки, но кол уже засосало.

Скупые и размеренные движения Ковальского Мишка оценил. Смотрел зорко — учился.

То же проделал Шурка и со вторым колом. Привязать бечеву между кольями и установить лодку ровно поперёк реки, чтобы удобнее было пускать поплавки, уже проще.

— Миш, ты где сядешь, на носу или на лавке?

— На лавке лучше!

— Верно! На носу без конца будешь греметь цепью, а подуст очень пугливый, ведь глубина всего метра полтора, — согласился Шурка. — На, разматывай удочки, а я быстренько разберусь с приманным мешочком.

Мишка с готовностью подчинился. Ковальский ловко намочил отруби прямо на дне лодки, скупно поливая из консервной банки воду, чтобы не разводил лишней грязи. Набил вязанный в мелкую ячею приманный мешочек. Когда опускал за борт, на дно, муть от отрубей белым ручейком пошла от плоскодонки по течению. Это Шурке понравилось.

Светало, но солнечных лучей пока не было. Их скрывал большой лес с правой стороны, на круче.

— Всё, Мишка, теперь вот мерником, — он протянул гайку с петелькой из ниток, — точно надо замерить дно, выставить поплавки — и всё. Только тихо, грузилом по лодке не стучать — распугаешь рыбу.

Насадив дождевого червя, Шурка левой рукой неслышно опустил грузило в воду, чуть левее бечёвки, на которой привя-

зан приманный мешочек. Поплавок, на миг задержавшись под бортом лодки, пошёл быстро по течению.

У Мишки клюнуло, едва его поплавок достиг половины пути, отпущенного длиной лески. Он дёрнул прямо на себя: подуст, вылетевший из воды, ударился о борт и сорвался. На крючке осталась часть губы.

— Ты не так дёргай, Мишка, — проговорил вполголоса Шурка. — А то всем губы тут пообрываешь, сейчас крупнее пойдёт.

— А как?

— Вначале, когда поплавок в воде, дёргай нормально, а потом сразу вбок веди, когда зацепил. По воде подтаскивай к борту, потом левой рукой, около грузила, хватай леску — и в лодку.

Сноровистый Мишка всё понял. Вскоре у его ног лежали три подуста, каждый с карандаш длиной.

— Шурк, а верно, подуст похож больше всего на голавля, только будто кто ему каким молоточком в морду дал. У него губа ровно от этого сплющилась, а?

Шуркин поплавок бодро ушёл под воду. Он дёрнул и в его руке притих серебристый подуст.

— Твой крупнее, — позавидовал Мишка.

— Сейчас пойдут, как отмеренные, ровные. Хорошо сели мы с тобой. Бросай ближе к приманке.

В азарте рыбаки и не заметили, как дно лодки покрылось белью. Лучи солнца пробились через тёмный лес, но под кручей ещё была прохлада.

Было тихо и покойно вокруг. Лишь кукушка в осиннике на левом берегу, два раза перелетев с места на место, напомнила о себе. Тишину нарушил сразу и на всю Самарку Семён Топорков. Он внезапно появился с удочкой на левом берегу, чуть ниже рыбаков, и начал быстро раздеваться. Видно было, что намеревается перебраться на другой берег и там порыбачить. Он — язятник.

Раздевшись догола, Семен вошёл в воду по пояс и сразу окунулся с головой. Когда вынырнул, крикнул так, что раздалось на всю полусонную округу. Держа в левой руке одежду над головой, он поплыл.

— Ох, ох, хороша, ну, хороша! Послушай: хороша, а! — говорил то ли себе, то ли обращаясь напрямую к Самарке.

— Ну, молодчина, а... ох... охо-хо... чудо, спасибо!

Переплыл Самарку, положил одежду и вновь начал плескаться в воде на отмели.

Радовался и разговаривал, как ребёнок:

— Послушай, всё дно золотое видно... а? Такая ласковая, ну, спасибо, ну, молодчина!

Рыбачка закрывала большая ветловая коряжина на воде, Топорков их не видел. Наслаждался ещё и тем, что был один при такой красоте.

— Расхулиганился наш милиционер, — усмехнулся Мишка, — такая верста, а как пацан.

Топорков тем временем вышел по пояс из воды и его мощное загорелое тело заиграло под утренними лучами солнца. Он был такой же, как Самарка, расцвеченная на отмели золотистыми песчаными берегами и коричневым дном. Они дополняли друг друга.

Топорков постоял под солнцем и опять с брызгами уронил себя в воду.

— Разворковался, как с девкой, — густым басом неожиданно донеслось из кустов напротив Топоркова.

— Ага, как с девкой, точно! — согласился Семён. — Ты, Сарайкин, откуда взялся?

— Бахчи караулю у Кривой ветлы. Услыхал тебя, пойду, думаю, стрельну курева. У меня кончилось.

— Подожди малость, я сейчас!

Сарайкин продолжал:

— Ты скажи про братана моего: из Чапаевска что есть нового?

— Судить скоро будут его, понял?

— Чего же не понять. Как думаешь, много дадут? — спросил Сарайкин.

— Ещё бы, судью на улице избить — десяток лет схлопочет, это точно.

Топорков вышел на берег и запрыгал на одной ноге.

— Бры... ры... бры... ыы, хорошо как!

Поднял одежду и стал в ней копошиться, искал папиросы.

Солнце показалось из-за леса. Лучи его упали и на рыбаков. Стало жарко. Поклёвки пошли реже и Шурка предложил позавтракать.

Сидя на носу с огромным надкушенным помидором и горбушкой хлеба, Мишка поинтересовался:

- Я знаю, вы с дедом отводом рыбачите на щук, да?
 - Да, но не на щук, а вообще. Правда, их попадает больше.
 - После раздополя?
 - Нет, наоборот, когда только начнётся ледоход. Большой воды ещё нет, рыба вся жмётся к берегу, вот бреднем её и бери.
 - А как, вода же холодная?
 - Дед к кляче¹, идущей в глуби, прибывает брусок с гнездом, в него вставляют большой, метров шесть, тонкий шест. Этим шестом один человек отталкивает клячу от берега, а другой, который рядом впереди, тянет по течению за привязанную к ней верёвку.
 - А вторая кляча? — допытывался Мишка.
 - А что — вторая? Её тащишь около берега в сапогах.
 - Ловко! — оценил Мишка, — это твой дед придумал?
 - Он говорит, что ещё со своим дедом так рыбачил.
- Перегнувшись через борт, смешно вытянув губы трубочкой, Мишка попытался напиться.

Шурка помог: чуть качнул лодку, и лицо приятеля по уши ушло в воду.

Едва откашлявшись, Мишка громко и задорно засмеялся. Когда кончил, спросил:

- Шурк, отводом рыбачить пригласишь?
- Это ж весной, в апреле, когда зажоры на Самарке пройдут, потом...
- Ну и что? Я подожду, — сказал бодро приятель.
- Ладно, — немножко важничая, пообещал Шурка.

Вороняжка

Это — ягода не ягода, сорняк не сорняк. Растёт сама по себе. Только взойдёт картошка, она тут как тут. И, начиная первую прополку, иногда можно спутать её с молодой лебедой, когда торчит из тёплой благодатно пахнущей огородной земли всего лишь двумя-тремя листочками. Но не тут-то было, матушка Шурки зорко её высмотрит и после прополки она на равных остаётся рядышком с листочками картошки. Цветёт вороняжка так же неярко, как и картошка. Ягоды её, если с чем-то

¹ Клячи — здесь, обычно два небольших кола, с помощью которых тянут бредень

сравнивать по внешнему виду, когда спелые, может быть, похожи на смородину: такой же величины, тёмно-синие, но мягче и легко в руках мнутся.

В знойный летний день, когда ещё ни одной ягоды, готовой к употреблению, нет ни в огороде, ни в лесу, вот она вам — мальчишеская утеха и радость: вороняжка. Правда, её зовут часто по-другому: «бзника». Шурка всегда конфузится, когда слышит это слово. Он его не говорит. Недоумевает, почему взрослые: женщины, учителя — все зовут её так.

А бывает ещё удивительнее: попадают ягоды вроде бы неспелые, не черные, но белесые. Изнутри светящиеся теплом и зрелостью — они вкуснее самых черных и броских на вид.

Приятно, прибежав на огород, упасть меж кустов вороняжки и, срывая налившиеся соком ягоды, отправлять в рот. Но ягоды её, висящие гроздьями близко от земли, всегда в огороде мягкой и лёгкой, часто в пыли, поэтому есть приходится не каждую. Другое дело, когда Шуркина матушка, быстрая и ловкая, проворно насобирав миску, ставит вороняжку, помытую холодной водой и посыпанную сахаром, на стол! Не оттащишь за уши! Но самое прекрасное то, что можно приготовить из неё вареники. Вареники с вороняжкой! Они разные: когда горячие, их обжигающий аромат, соединённый с холодным молоком, возбуждал и дразнил. Холодные становились так вкусны и аппетитны, что Шурка их ел с большей охотой, чем всё то, что Екатерина Ивановна могла только с присущей ей расторопностью приготовить и с радостью угостить...

Шуркины друзья, когда у него бывали, с нетерпением ждали таких вареников.

...Лето в разгаре. Когда Шурка прибежал в огород, с разных уголков выглядывали неяркие, но светлые вороняжкины глазки. Они высматривали его...

Шуркин колодец

— Раз уж мы затеяли дела с домом, то надо и остальное подтягивать, — рассуждает вслух Шуркин отец.

— Что остальное-то? Поберегись немного, — Катерина говорит твёрдым голосом, а в глазах радость и одобрение.

— А я на вас с Шуркой рассчитываю. — Василий Фёдорович

отложил шило в сторону. Оставив зажатым валенок между коленями, ловко намылил дратву и весело подмигнул: — Колодец надо копать! И пить нужно, и огород поливать. Без воды — никуда. А будет колодец — разведём сад: вишню, яблони, смородину... Мать, что примолкла? А то во всём селе яблони только у Светика и Карпуна. Увидите, как все подхватят затею.

— Не примолкла я. Вспомнила, какие тут на задах до войны вишни были, всё белым-бело. А сейчас ничего, — вздохнула она, смахивая гусиным крылом сор с шестка.

— Шурка, ты почему молчишь? Неужто не веришь, что сад вырастим?

— Пап, я не знаю, как будем копать колодец, — сказал Шурка и покраснел, ему очень не хотелось, чтобы отец подумал, что он трусит. Просто дело-то необычное.

Но отец не отступал:

— Во-первых, схитрим: будем копать внизу огорода, там до воды метра четыре, чует моё сердце. Во-вторых, я Федыча попросил какой-никакой сруб приготовить. Он половину уже набрал.

— Сговорились уже, — покачала головой Шуркина мать.

...Василий Фёдорович отбил и наточил лопаты: две штыковых и одну совковую, приготовил три жерди, выдернув их из городьбы за сараем.

— Пап, а это зачем? — удивился Шурка.

— А как же ты землю будешь с глубины выкидывать? Настилим полати, сначала на них, а потом с них уже наружу. Через метр глина пойдёт.

...Работа вначале пошла споро. Мать всегда умела работать шустро и весело.

— Василий, а вдруг хлобыстнёт струя, ты нас и не спасёшь, готовь верёвку — вытаскивать будешь. Аль не будешь?

— Хлобыстнёт... жди... Больно горячая, глубины-то ещё воробью по пупок.

Шурке от таких шуток родителей было легче копать. Ему нравилась манера отца сказать, как все, но немножко поправить по-своему, чтобы становилось интереснее. Ведь любой бы сказал: воробью по колено, а его отец — по пупок. Он подумал так и невольно хихикнул.

— Что, Шурка, боишься на Америку выскочить?

— Нет, пап.

— А что?

— Боюсь мимо проскочить.

— Ты вот что, — сказал Василий Фёдорович, — не бери так помногу. Это земля, надорваться можно, понял? Понемногу и размеренней.

— Ничего, пап, не будет.

— Я тебе сказал, а то кишка вылезет — будешь знать.

...Дело пошло более ходко, когда вечером на третий день пришёл дядька Серёжа. Он высокий, поэтому выкидывает глину сразу наверх, не на полати, а потом с них наружу — двойной труд! Шурке нравилось всё в дяде Серёже: и как он работает, и как дурачится для настроения.

— Вон Левый рассказывал: когда поисковые работы были около Кулешовки... Ну, искали нефть. Пробурили разок в одном месте, а потом на второй день стали поднимать трубы. — Серёга для передышки завёл историю, — ну и вынули!

— Что вынули-то? — не выдерживает Шурка.

— А то вынули, — отвечает неспешно Сергей, — непонятное что-то. Похожее на какие-то рога, привязанные на цветную бечёвку. Всё открылось, когда бабка Настя в поисках своей козы зашла на буровую.

— И что?

— А то. Оказалось, бур споткнулся о скалу в земле, повернул и вышел в Настином огороде на метр в высоту. Буровики как раз дело до завтра оставили. А бабка увидела и подумала, что это дед такой хороший кол вбил для Маньки. И привязала сослепу свою козу.

— И что дальше?

— Буровики стали вынимать бур... И вытащили вместе с рогами. Крепко бабка привязала, видать, свою Маньку. Только по цветной бабкиной привязи и опознали Манькины рога.

— Будет тебе врать-то, — сказала Шуркина мать, засмеявшись. — Ты вот скажи, брательник, откуда в тебе этих всяких историй на каждый случай жизни, а?

— А зачем тебе это? — удивился Серёжа.

— А вот любопытно мне. Со всеми случается разное, а с тобой чаще всех.

— Очень даже просто!

— Ну, откуда?

— Просто самое интересное чаще всего происходит там, где почему-то нахожусь я.

— А ещё потому, что любишь бодяжничать, — добавила Катерина. — Рубаху-то сними, а то всю загваздал глиной, я потом простирну.

На следующий день, после того как приходил помогать дядька Серёжа, Екатерина Ивановна и вправду чуть не утонула. Она ударила в очередной раз в углу в твёрдую глину ломом и оттуда хлынула вода. Быстро сбежали за стариком Остроуховым. Мужики начали устанавливать сруб. И тут пробился родник в самом центре.

— Катерина, ты напала на жилу, удачливая какая, — сказал Остроухов. — Сколько колодцев вырыл на своём веку, а этот будет лучшим, помани моё слово. Все будут ходить за водой, надоедать.

— А мы для того и рыли, чтобы, кому надо, ходили за водой. Правда, Шурка?

Шурка посмотрел на мать. Лицо её светилось. Маленькая, ниже его ростом, в сереньком платье и измазанных глиной га-лошах, она была живее и красивее всех. И — главнее всех.

— Отец, а отец... назовём давай наш колодец Шуркиным, а то Зинин колодец есть, Нестеркин колодец есть...

— Ну, мам... — собрался возразить Шурка.

Но Василий Фёдорович опередил:

— Мне нравится, так и назовём!

Шурка заметил, как обрадовалась своей придумке мать. И как она благодарно посмотрела на отца. Оба заулыбались чему-то своему, общему и дорогому для них.

За плетнём, со стороны Лаптаевых, появился Мишка. Он знал, что нравится отцу Шурки, поэтому уверенно пробасил:

— Дядь Вась, кулешата приехали, футбольная команда, а Чугунок Вовка заболел, без Шурки никак.

— Правда, что ли? Это они на стадионе шумят? — повернулся отец к Шурке.

— Да, пап, первенство района среди школьников.

— Ну, давай, раз так.

Не сговариваясь, друзья припустили рысцей, шутя лавируя меж коровьих лепёшек. По пути Шурка заскочил во двор деда.

На чердаке мазанки набил полные карманы сушёной мелкой густерой, сорожкой, плотвой — это было, как семечки. Когда вышел за ворота, кроме Мишки, его ожидали ещё двое посыльных. На ходу теребя сушёную рыбёшку, ребята заторопились на стадион.

Ночной разговор

Ночь. Летняя, душная. Повозка запряжена парой. На возу в летнем разнотравье Шуркин дед, Шурка и дядька Михаил — низкорослый, удивительно сильный, отчаянно резкий и смелый человек — отец Петьки Стрепетка.

Вспоминали Гражданскую войну. Михаил рассказывал, как он, то ли в девятнадцатом, то ли в двадцатом году удрал с курсов красных командиров.

— Дядя Миша, — вмешался Шурка, — это дезертирство?!

— Ага, — беззаботно согласился тот.

Шурка решил до конца прояснить вопрос. Ведь вот сидят с ним на возу два очень своих, хороших человека. И оба — дезертиры. Только один убежал от белых, другой — от красных.

— Дядя Миша, но ты мог бы стать командиром, как Чапаев?!

Дядя Миша повернул своё скуластое с рысьими глазами лицо к Шурке и тот почувствовал остроту его взгляда в темноте.

— Ага, мог бы, а потом рубил бы таким мужикам, как твой дед-единоличник, шеи. И в конце концов моя голова улетела бы вон в те кусты. А сейчас как-никак сено кошу, на звёзды смотрю. Кому от этого вред, а?! Никому жизнь не коверкаю.

— Михайло, стоп машина, — вмешался Иван Дмитриевич не сразу понятной для внука фразой, — больно ты разговорился, ни к чему это.

— Мы же в лесу...

— Всё равно. Слепая сила, но слух у неё отменный...

— Тогда петь начну, едрён корень. Это разрешено?

Шурке неясен лаконичный диалог взрослых его спутников. Какая сила? Где она? Он хмурится от непонимания происходящего. «Как же так? — думал он, — мой любимый дедушка почему-то единоличник, не колхозник. Дядя Миша — и того хуже: от красных сбежал». Мир распадался на части от таких вопросов. Шурке становилось не по себе. Но так длилось недолго.

го. Уже через несколько минут он забыл непонятный разговор, замороженный чистым и красивым голосом дяди Миши, вдруг оказавшимся в песне грустным и даже печальным... И если что и волновало под звуки песни в ночи, когда смотрел в широкое ночное звёздное небо, так это то, как они будут съезжать с крутой горы у посёлка Красная Самарка на мост через реку.

Из-за крутизны берега обычно в этом месте лошадь брали под уздцы, в спицы задних колёс рыдвана вставляли черенок от вил и юзом, не спеша, оставляя глубокие следы в жёлтом сыром песке, пытались попасть на узкий скрипучий мост. Шурка озирался на возу, смотрел: вил не было. Тёмная ночь, да ещё мерин Карий, ослепший недавно на один глаз, постоянно забирал влево так настойчиво, что правую вожжу приходилось держать натянутой, отчего быстро уставала рука. Меренок Цыган, семенивший в паре, слабосильный. Но вожжи в руках дяди Миши. Такого уверенного и умелого.

И всё-таки жутковато: а вдруг рванёт дремучая лошадиная сила Карего сослепу в сторону... и пошло-поехало...

Тягомотина

То, что колодец вырыт, не значит конец всем делам. Сердце у Шурки ёкнуло, он только начал собираться на рыбалку в компании с Мишкой и Венькой Ресновым, а тут голос отца за спиной:

— Шурка, прекращай шалберничать, нужно те три лесины, которые лежат на задах, ошкурить.

Большущие осокори вчера притащил волоком на тракторе Володька Коршунов, вспоров по пути в переулке на гати залежи золы и мусора. Стволы надо ещё «расхетать», как говорит отец, то есть распилить на брёвна, обрубить сучки. Василий Фёдорович торопится. Ведь перед тем, как везти на пилораму, дерево должно подсохнуть. Обычное дело: как собрался на рыбалку — так возникает отцовское задание, словно нарочно. Неудобно перед ребятами — Шурка их подводил уже, ведь он главный в рыбацких затеях. Александр пошёл в мастерскую, взял остро наточенный отцом топор и, грустный, зашагал на зады к осокорям. Сел на прохладный с матовым свинцовым оттенком большой сучок.

Невольно вспомнились стихи, сочинённые совсем недавно. После такой же примерно истории. Их он ещё никому не показывал, даже дядьке Сергею:

Жарко

*Переكاتи-поле по пыли
Катится вприпрыжку,
Дремлет стая сизарей
На пожарной вышке.
Не шумаркнет, тихо всё.
Льётся зной тягучий,
Пар клубится целый день
Над навозной кучей.
Но смотри, смотри — растёт
Тучка над детсадом.
Эх, на речку бы сейчас!
Да работать надо.*

С некоторых пор, особенно после разговора с дядей Серёжей, стихи стали получаться у Шурки часто. Он иногда даже не знал, что с этим делать. В самый неподходящий момент: на прополке, на стадионе, на рыбалке — везде, где нужна сноровка, на Шурку находило состояние, когда он отвлекался от всего и уходил в себя.

— Ты какой-то рахманный стал, Шурка, — сказала однажды мать.

— Влюбился, поди, — высказала догадку баба Груня и засмеялась. — Пройдёт, это такой возраст.

«Такой возраст, — повторил про себя Шурка. — Какой возраст? Я ведь и не влюбился вовсе!» И вдруг обожгла другая мысль: «Значит уже положено влюбиться! И в этом нет ничего плохого, хотя ещё не взрослый».

Пришли Мишка с Венькой с Приказного озера, где копали червей.

— Во! — сказал Мишка, — с ночевой хватит.

— С ночевой, — повторил Шурка, — а вот этого, — он показал на дерево под собой, — до завтра мне хватит.

— Что, как всегда, боевое задание, — скорее подтвердил, чем спросил Венька.

— Угу, — мотнул головой Шурка.

— Вот это тягомотина! — выдохнул Мишка.

— Ерунда, — сказал Венька и, поставив ногу на сучок, полководчески оглядел район действий. — Три дерева всего? — спросил он, ни к кому не обращаясь. — Три, — подтвердил он сам себе, — значит по одному на нос. Будем тянуть тройной тягой!

— Чего? — спросил Мишка.

— Ну, ты же говоришь — тяга Мотина? А я говорю — тяга наша, троих, а не одного Мотина.

Шурка вспомнил дядьку Мотина, жившего на дальнем краю села и развозившего на дрожках горячее по полевым станам. Вспомнил его вечно понурюю лошаде́нку, похожую на слепую Карюху, которая крутит колесо на ческе шерсти в промкомбинате, и ему стало весело.

«Тяга Мотина, — придумал же Венька в очередной раз штуковину какую. Откуда у него это?»

— Шурк, давай ещё топоры, до обеда сделаем и мотнём с ночевой. Чё раскис? А лучше тащи лопаты, ими хорошо шкурить, я знаю.

— Сейчас! — обрадованный таким поворотом дела, Ковалевский метнулся во двор. «Только бы Коршунов сегодня не приволок ещё таких же. Тогда никакая тройная тяга не поможет, — подумал Шурка на бегу, — а так быстро управимся и вечером будем на Ледянке. Может, на сомят посидим».

В грозу

— Смотри-ка, рона, бороньим зубом махнуло, — не то восхищённо, не то опасливо сказал дед Иван, показывая на огромный росчерк молнии над головой.

Не успел Шурка что-либо сказать, как вслед за ярким светом грохнуло так, что вздрогнула земля, а на небо стало страшно смотреть. На противоположном берегу Самарки полыхнуло пламя — одиноко стоящий вяз надломился пополам и загорелся.

— Во дела, а я думал, стороной пройдёт. Сергей, мерекаешь? Беги к Ракчевым на стан. Они у Кривой ветлы чилигу режут, веники вяжут. Попроси бредень, если они сами не будут рыбачить. Красота в грозу-то водить, непременно с уловом будем.

Серёгу не надо просить дважды. Толкнул лодку — и на той стороне.

— В грозу, как и в ледоход, вся рыба к берегу жмётся.

— А почему так? — Шурка удивлённо смотрел, как после каждого удара грома мелкая рыба выпрыгивает над водой.

— Ну, Илья-пророк разошёлся, — взглянув на небо, произнёс дедушка.

— Какой Илья?

— Как — какой? Заведующий небесными делами.

— Деда, ты веришь в Бога? — Шурка спросил и сам испугался своего вопроса.

— Верь не верь, а вокруг нас есть такое, чего нам не дано понять.

— А что?

— Все, кто умер, — просто и с какой-то лёгкой решительностью сказал Иван Дмитриевич, — души их вокруг нас всех, и мучаются. Вдруг это так?

— От того, что в аду? — выдохнул Шурка.

— Я о другом. Они не могут нам сказать, что загробная жизнь есть. Не могут доказать, а мы не верим. Вот так и живём. Как бы на разных берегах: они нас видят, хотят помочь, неразумность нашу поправить, подсказать задним умом, как надо правильнее жить, а не могут. Они видят, а мы слепы. В этом наша беда, может.

Ну-ка, Шурка, давай уйдем подальше от стана, а то тут железа много: коса, телега... Не быть бы беде, видишь, как молния-то бьёт!

Они ушли по отмели к красноталу. Отсюда, сверху, реку можно было видеть всю в ширину. Напротив, в темноте густого леса, еле-еле угадывался Кунаев ключ, летом пересыхавший, но хранивший в себе сумрачность, заболоченность и великое множество комаров. Но это Шурка не воспринимал как враждебность ключа к людям. В нём было много и щедрот — чёрной смородины, ежевики, черёмухи...

— Летось, вот в такую же пору, Авдей шёл с вилами вечером. Ахнуло по железным вилам — и нет Авдея. Бабёнкам хоть бы хны, а он лежит почерневший весь. Одногодок мой, вместе в Царицыне служили в царской ещё армии, вместе ушли домой.

— Деда, зря, выходит, старались с перетягами-то, сом уж точно сегодня на охоту не выйдет, а?

— Наверняка так. Не повезло нам.

Два дня назад они перегородили перетягами Самарку так, что яма, из которой выходил на плёс сом, оказалась между ними. Сом заметил Серёга и подбил отца, пока сенокос здесь, рядом, попробовать счастья. У Ивана Дмитриевича в погребнице всегда висели плетёные из суровых ниток, толстые в карандаш и длиной в метр, поводки. Крючки были самодельные, из пружин от сиденья велосипеда, откованные покровским кузнецом. Вчера ещё засветло в намеченном месте воткнули колья, и два перетяга заняли своё место, шумно хлопая бечевой по речной глади. Чуть позже, уже в сумерках, Серёга ненадолго отлучился и принёс в ведре с водой живцов: сорожку, карасей. Оказывается, в старице заблаговременно была поставлена сетка. Наживку поехали ставить втроём, и Шурка, сидя на носу лодки, видел всё таинство действия.

Бечеву пропустили через нос и корму. Лодку потоком влекло вниз, перетяг поднялся над водой и, натянувшись, как тетива, держал лодку поперёк течения реки.

Не спеша, прямо в лодке дед ловкими движениями привязывал поводок к перетягу. Получилось по пятнадцать поводков на каждом перетяге. Серёжка насаживал живца, бережно и одновременно решительно прокалывал крючком чуть ниже спинного плавника. Четырёх самых больших карасей, по полкило каждый, два на каждый перетяг поставили в самом глубоком месте — в десятке метров от противоположного берега. Уже ночью Серёга поджарил на углях ворону и тоже нацепил на поводок.

— Для запаха, и вообще, — он щёлкнул языком, — только ленивый чудак не возьмёт нашу наживу.

Но сом не брал. Он вообще лишь в первый вечер дал о себе знать один раз: так ухнул меж двумя перетягами, что мелочь шарахнулась в разные стороны. И всё. Будто засвидетельствовал своё присутствие, а там как хотите. Вторые сутки нажива не тронута.

— Теперь понятно, почему сом не гуляет, — нарушил тишину дедушка.

— Почему? — торопливо спросил Шурка.

— Ты же видишь, какая погода разгулялась. Не по его натуре. Напрасны наши труды. Он не выйдет на охоту. Ему нужна светлая, спокойная ночь. Обычно сома ждут три ночи. Если не появится, на то обязательно своя причина.

Бороний зуб, про который говорил дедушка, так сильно снова царапнул по небу, что оно как будто всё загорелось от этой спички. Враз содержимое большого и необъятного пространства расколосось с грохотом и обрушилось вниз на землю: на Самарку, рыдван, Карего, который дёрнулся с места и, стреноженный, громко заржал. И из этого ада, из невероятной череды яркого света и густой тьмы появился с бреднем на плече Серёга.

— Живы?! — выкрикнул он.

— Как Ракчевы там? — спокойно отозвался Иван Дмитриевич.

— Хотели сами рыбачить, да тётя Мариша не разрешила, боится за них. Пошли? А то уйдёт гроза.

— Мне кажется, что уже уходит в сторону Кротовки, — сказал дед.

Шурке и хотелось попробовать порыбачить, и не верилось, что он решится.

— Держи, Шурка, мешок, будешь рыбу собирать, а ты, Сергей, в глуби пойдёшь.

— А чего мне, пойду, — Сергей шагнул к воде.

Быстро размотали бредень, расправили мотню и вниз по течению потащили клячу. Дед брёл по колено в воде, намеренно далеко отставая от Серёги. Удивительно для Шурки: чуткий и быстрый подуст, которого обычно ловили с лодки днём со всеми мерами предосторожности, сейчас сам шёл стаями в бредень на мелководье. Вода от него, казалось, кипела. Три раза вывели бредень, и Шуркин мешок отяжелел от бели. Было там и несколько раков, оказавшихся совсем некстати: кололись — нельзя мешок взгромоздить на спину. Но Шурка их не выбрасывал, уже представляя себе, как, едва взойдёт солнце, будет варить их в котелке, пока Иван Дмитриевич точит косу.

— Никак, зацепился? — крикнул приглушённо дед и Шурка побежал поближе к рыбакам.

— Наверно, топляк здоровенный, — сказал вяло Сергей.

Подтащив клячу к берегу, воткнул её и направился к мотне. И в тот же момент — там, где ожидалась коряга, в самой мотне что-то взбурлило, зашевелилось большущим пугающим комом. Серёга закричал:

— Сом, сом-голубчик, вот он!

Когда сверкнула молния, Шурка отчётливо увидел Серёгу и под ним огромное чёрно-белое чудище. В следующий момент подоспевший дед Иван схватил вместе обе клячи бредня, стараясь свести крылья воедино, чтобы преградить выход сому, но споткнулся и упал в воду. Сергей метнулся на берег, увидев белеющий в высверках молнии воткнутый на песчаной отмели осиновый кол. Это и решило исход схватки.

Шурка подошёл совсем близко. Серёга выволакивал по мели спутавшийся напрочь бредень, спеленавший огромную рыбину.

...Около костра Шурка лёг рядом с сомом. Рыбина оказалась намного длиннее его тела — на целую вытянутую руку.

— А как думаете, это тот, которого мы хотели поймать? — спросил Шурка.

— Здорово было бы, если это его младший брат! — засмеялся Серёга.

— Я днём отвезу его, а вы понаблюдайте, и всё станет ясно. Перетяги пока не снимайте, — распорядился Иван Дмитриевич.

И только он это сказал, на реке знакомо ухнуло так, что Сергей даже вскочил.

— Мать честная, и правда, их два. Дела!

— Вот ведь какой коленкор, — сдержанно обронил Шуркин дед и почесал затылок.

На пилораме

Стены избы Любаевых поднимались с радостной быстротой. Народ собрался дружный. На помочах это самое главное! Командовал, конечно, Василий Фёдорович, который не указывал пальцем, не махал руками. Он просто и спокойно говорил, как и что нужно делать. Все с охотой подчинялись, удивляясь его смекалке.

— Василий, тебе бы в командармы или председателем нашего колхоза, а ты таишь в себе эту жилу, — сказал не умевший долго молчать шкодливый Андрей Беспёрстов.

— Не балабонь и не мучай кирпич. Смахни под ним на четверть штыка горбушку-то земляную с левого краю, он и ляжет, — отвечал Василий Фёдорович.

— Я ещё только примеряюсь, — оправдывался Андрей, укладывавший с напарником в траншею первый ряд самана.

Шурка с отцом только вчера наметили размеры дома. Он по команде Василия Фёдоровича вбил кольшки по всему периметру, отметив, где копать траншеи под стены. Сегодня утром дружная команда всё быстро сделала. Прямоугольник из траншей был готов: девять метров в длину и шесть в ширину. И теперь изба росла прямо из него. Раствор для кладки делали тут же, внутри будущего дома из той же самой земли, которая должна остаться под полом, добавив немного глины.

У Шурки своя обязанность: подтаскивать с задов и распределять по периметру кладки хворост, который использовали для связи.

...Прошла неделя, как стены стоят, а вот прорваться на пилораму всё не получается: то сломана, то лесхоз своим работникам пилит. Наконец дошла очередь и до Любаевых.

Ошкуренные и подсушенные осокори привезли на распиловку за поллитровку водки. Отец сходил к чайной и подрядил одного бойкого парня на грузовике.

Пилорама — первая серьёзная машина в жизни Шурки. Правда, он бывал на чёске шерсти в промкомбинате, где по кругу ходит флегматичная буланая лошаде́нка, приводя в движение механизмы. Бывал он и на паровой мельнице. Но это же не сравнить с тем, что он увидел. В огромном деревянном сарае, стены которого сбиты из широченных досок, стояла загадочная машина, очень похожая на большого кузнечика. Механизмы машины, затягивающие в себя брёвна, похожи на ноги этого кузнечика с высоко поднятыми коленками. И визг, и скрежет пилы тоже чем-то, казалось, напоминали этих сельских обитателей.

На пилораме царил запах дерева. Ворохи опилок, весь воздух в сарае пропитаны лесом, Самаркой. Шуркины осокори лежали уже под навесом справа от тележек, катающихся по рельсовой дороге. Команда из Василия Фёдоровича, Степана Синегубого и Ковальского ждала своей очереди. «Всё, как на паровой мельнице: очередь и опилки вокруг, как мука, лезут за шиворот», — подумал Шурка и улыбнулся.

— Ты чего, Шурк, развеселился? — спросил отец.

— Да, так, вспомнил, как мы с дедом на мельнице ждали, сидя в телеге на мешке с пшеницей-белотуркой. Впереди нас лошадь у дядьки сорвала шапку с головы. Он перепугался, еле

отобрал — завязка между зубов зацепилась узлами. Он просил животину отдать, а хозяин лошади матерился.

— А чего ж он матерился? — лениво переспросил Синегубый.

— А чтоб завязки нормальные были у шапки, — пояснил Шурка.

— Хорош мужик. Его б к нам на фронте старшиной, цены б не было, — констатировал Синегубый и, чуть помолчав, снова спросил: — Ну, как, это братское кладбище нравится?

— Какое? — не понял Шурка.

— Ну, пилорама? Жили-были деревья. Раз — и нет их, есть опилки и доски. Доски постоят два десятка лет и сгниют. Всё прахом полетит. А были деревья: зелёные, птицы в них пели.

— Чего ты, Степан, голову дуришь парню, делать нечего? — строго произнёс Василий Фёдорович.

Шурка опешил от рассуждений Синегубого. У него тоже такая мысль появилась. Обожгла ещё там, на делянке, когда пилили с Веней эти самые осокори. Но тогда, глядя на жизнерадостного Веньку, он отогнал эту мысль, как глупость, подумав, что такое может прийти в голову только случайно и не взрослому, а Шурка хотел быть взрослым. Но вот и Синегубый, воевавший, раненый, контуженный, закалённый, тоже думает об этом?

— На, Шура, будешь подсоблять класть брёвна на катки и подавать к распилу, — отец протянул толстый с кольцом вверху лом. — А ты, Стёпа, близко к машине не подходи. От греха подальше. Здесь твоим глазам видней, тут будешь.

Василий решил все осокори прогнать на «двадцатку» для тёса на крышу.

Без рукавиц работать тяжёлым ломом было непривычно. Шурка при каждой загрузке старался делать всё ловко и ритмично. Ему нравились отточенность и определённости движений. Но он быстро понял, что надолго его не хватит — выдохнется.

— Дядя Вась, у вас дома беда, — с ходу выпалил Колька Зинин, появившийся в широком проёме ворот, там, где начинались рельсы узкоколейки.

— Говори, — властно сказал Любаев.

— Ваша Надюха объелась белены, её всю колотит. Я спотыкошки прямо к вам. Тетя Катя послала.

«То куриной слепоты наберёт, то вот теперь белена... Эх, Надюха, Надюха», — только и успел подумать Шурка.

— Бесамыга такая, — обронил Василий. — Степан! Тут без меня с Шуркой продолжите? Мне идти надо.

— Отчего ж не продолжить? Продолжим... — отозвался тот. Любаев, поменяв лом на бадик, ушёл.

В Ревунах

Головачёв этой осенью подрядился на пару с Гришей Ваньковым сторожить бахчи в Ревунах. Ревуны — это цепь озёр за посёлком Красная Самарка в сторону Малой Малышевки.

Говорят, Ревуны — бывшее русло отступившей от этих мест влево Самарки. Разбухающие весной от полой шальной воды, сливаясь воедино, они шумят и ревут, неся мутные потоки до тех пор, пока там, в речных верховьях, на чистом степном просторе, не иссякнет запас водной лавины.

И станут озёра на лето тихим убежищем для уток, выпи, лысух и всякой мелочи, летающей, порхающей и бегающей. И будут глядеть они из-под крутых берегов через заросли на небо своими тихими сузившимися зрачками.

...Больше всего нравилась Шурке дорога на бахчи в Ревунах. Чаще всего в гости к деду он добирался на велосипеде. Путешествие недлинное, но не из лёгких.

За Самаркой особенно тяжело, колеса вязнут в песке и часто приходилось останавливаться. Но зато какими подарками щедро оделял этот путь! После моста, когда Шурка ехал из Утёвки, едва взобравшись на крутой берег Самарки и ещё как следует не успев насладиться простором, избытком синевы неба и воды, нырял в глубокий овраг. Дорога пересекала его строго поперёк, обрамлённая слева старым лесом, а справа — талами, скрывающими ответвление на лесной кордон в Моховое.

На одном дыхании одолеть Шурке овраг не удавалось. Каждый раз пересекал его пешком. После прохладного оврага вновь подарок — большущий песчаный плешивый курган. Здесь, на подъезде к нему, Шуркина душа каждый раз вздрагивала. Он начинал невольно озираться, как бы пытаясь найти опору, за которую, зацепившись, удержался бы и не упал в пропасть, так или иначе связанную у Александра в сознании со словом «веч-

ность». Эта опора сама собой появлялась лишь только тогда, когда он вплотную подъезжал к кургану и переставал его видеть издали. Вблизи курган закрывали деревья, дедов шалаш на бахче, предметы быта, омет, заботы разные... Только здесь уходило ощущение, что завис он на каком-то ненадёжном канате над бездной и она его готова проглотить.

...Совсем другое дело — дорога назад с бахчей в Утёвку. Шурка любил, миновав овраг, выбратья на ровное место, где намеренно брал резко влево к Баринову дому. Возникало удивительное зрелище: внизу, недалеко от Покровки, правее Утёвки, уютно лежала, как дымчатая кошка, река Самарка, поросшая по берегам чаще всего осинником и талами. Подсвеченные золотистым песком, воды её излучали радостный свет.

Село Покровка — прямо внизу. С высоты птичьего полёта можно смотреть на красивую, облитую лучами закатного солнца церковь. Утёвка — там, за Самаркой, за полоской леса, за редкими прямыми столбами дыма рыбацких костров. До неё километров пять, но церковь её хорошо видна. В отличие от Покровской, купол её — светлый, кряжистый — излучал такую светоносную волну, что захватывало дух и верилось в добрую сказку.

Когда Шурка стоял здесь, наверху, и видел манящую даль, коршуна, реющего в свободном полёте над Самаркой, ему иногда казалось, что стоит только неосторожно шевельнуть руками, и он тоже воспарит над этим простором. Что чудо заложено где-то здесь. Оно во всем, что его окружает, и есть только совсем незаметная грань, которая вот-вот нарушится, и тогда все, признав это чудо, начнут ликовать, как ликовало Шуркино сердце...

Было ещё одно диво в этих Шуркиных местах: не подававшийся самым лютым холодам незамерзающий родник, выходящий из-под кручи вниз к Самарке.

В Утёвке и около неё мало берёз, считанные единицы. Здесь, начиная с Баринова дома, стояли вначале колки берёз, а затем они переходили в сплошной березовый лес! К этому Шурка привыкнуть не мог.

...Шурка на бахче второй день один — взрослые уехали. Дядя Гриша — на какую-то комиссию, дед — за продуктами. Он почему-то задержался.

Шурка решил сварить суп из добытой накануне кряквы. Сев на пенёк и поставив у ног тазик, начал оципывать задревеневшую тушку.

Залаял Цыган. Шурка обернулся: со стороны оврага из зарослей выходили двое с ружьями. У одного, смуглого — ружьё в руках. Шурка метнул взгляд на шалаш — там лежала его одностолка. «Не успеть, — мелькнула мысль, — рядом уже... Что же ты, Цыган, прозевал, подвел?» Незваные гости подошли к Шурке и он враз успокоился. По всему видно, что это серьёзные охотники. У обоих были рюкзаки, каждый опоясан набитым богато патронташем.

— Что, один? — спросил чернявый и огляделся вокруг.

— Один, — ответил Шурка и насторожился вопросу.

— Тогда примешь, хозяин, гостей? — вновь сказал чернявый.

— С ночевой?

— Нет, парень, перекусить да чайку попить, — ответил уже тот, что постарше и посветлее.

И хотя Шурка больше не успел ничего сказать, чернявый по-хозяйски притулил ружьё к двери шалаша и, сняв рюкзак, повалился на землю:

— Весь день прошлялись и ни фига, это надо же, а пацан кряквой забавляется. Андрей?

Шурку кольнуло, каким тоном было сказано о нём, и он буркнул:

— Сейчас ветер дверь тронет, и ваше ружьё будет на земле, в пыли.

Тот, которого назвали Андреем, вдруг весело рассмеялся:

— Алик, получил?

— Да... — протянул Алик, — уважай мастера.

Он встал и повесил ружьё вверх стволами на сучок дверной дубовой сохи.

Потом они рылись в рюкзаках и переговаривались.

— И всё-таки, чтобы закончить нашу тему... Андрей, она талантливая актриса, но нельзя же так... — он помолчал, очевидно, подбирая нужное слово. — Нельзя же делать такие, понимаешь, чики-брики, хоть ты и нравишься многим, включая и главного режиссера.

— Да-да, понимаешь, в этом есть что-то возрастное, переходное... Пройдёт. Но главная роль всё равно как будто только

для неё написана. Да? А ты почувствовал, какая она партнёрша на сцене?

Шурку прошиб пот. Перед ним были артисты и не какие-нибудь, Шурка сразу понял по манерам, по тому, о чём они говорили и как, а настоящие, из серьёзного театра. Видеть живых артистов так близко, с ружьями, на бахчах! Разговаривать с ними! Это было, как сон. Он ступешевался, не зная, как себя вести.

— Можно на столике разложить, зачем на земле, — сказал он нерешительно.

— Ах, да, конечно, спасибо.

Андрей положил на стол завернутый в марлю кружок чёрного городского хлеба.

«Ну, охотники-то из них не ахти какие, должно быть», — немного приходя в себя, подумал Шурка.

— А мы вот без пера, — живо сказал Андрей, — может, ещё на вечерней зорьке душу отведём.

— Как же — на вечерней, если вы ночевать не собираетесь?

— Собираемся. Тебя как звать? — откликнулся Алик.

— Александром, — ответил деревянным голосом Шурка.

— Ну, вот, Александр, у нас на кордоне у Репкова машина, а сами мы из Куйбышева. На кордоне и ночуем. Ты нас не бойся.

— С чего вы взяли, что я боюсь? Я вот думаю: почему вы до сих пор арбуза не просите, — осмелев, сказанул Шурка.

Алик так громко захохотал, разинув широкий рот и сверкая белыми, безукоризненно ровными зубами, что Шурке показалось: это не очень нормально. Будто он так сделал специально, чтобы ослепить Шурку белизной своих зубов или прорепетировал смех на всякий случай.

— Если угостишь, покажу и научу, как есть арбуз. Пойдёт?

«Вот нахал, научит есть арбуз... Тоже учитель!» — подумал Шурка. Ноги сами его подняли и понесли на арбузные ряды.

А в спину летел гортанный голос Алика:

— Александр, для всех надо два арбуза!

Шурка вернулся к столу с парой «победителей». Гости уже разложили свои запасы на столе. Непривычно крепко пахло копчёной колбасой; о такой Шурка только слышал, но никогда не пробовал. Он вообще не мог вспомнить, когда ел обычную колбасу в последний раз.

Андрей, взглянув на Шурку, отрезал солидный кусок колбасы и положил перед ним:

— Мы отведаем твоих арбузов, а ты — нашу еду.

Шурка смотрел на его руки и думал: «Как у деревенского мужика, только очень чистые. Интересно, откуда родом, может, родители, как у меня, — деревенские?».

— Я суп хотел варить, — опомнился Шурка.

— Да, ладно, не надо — это долго, — сказал Алик, — мы хотим на вечерней зорьке посидеть.

Колбаса лежала рядом, Шурка смущался, начиная сомневаться: а вдруг она почищенная уже? Не видно кожурки-то? Начнёшь чистить, они засмеются. Выждал, когда Андрей занялся одним из кусков, и только тогда потянулся за своим.

— И часто ты крякву бьёшь? — спросил Алик.

— Каждый раз, — сказал Шурка.

Гости многозначительно переглянулись.

— А как ты охотишься? — поинтересовался Алик.

— Просто, — успокоившись, отвечал Шурка, — в одежде и обуви, чтобы не порезаться, захожу в озеро и иду из конца в конец. Они днём в камышах прячутся. На взлёте, когда крылья вразмах, а скорости нет, — только и бить. Так надёжнее, не спутаешь с лысухой — заряд сбережёшь. Обычно беру с собой один, ну, два от силы патрона, чтобы не жунять без толку заряды. Тут, в Ревунах, их много, но надо спугнуть из зарослей.

— Молодец, — сказал Алик, — ты нам свою науку преподавал, а мы тебе — свою за это.

«Вот бы нечаянно заговорили про театр», — со слабой надеждой подумал Шурка. Алик взял нож и разрезал арбуз пополам. Положил одну половину перед Шуркой, ножом почикал несколько раз ярко-красную мякоть.

— Деревянная ложка есть? Бери и ложкой с хлебом ешь, как из чашки.

Шурка попробовал. Было вкусно, удобно и необычно.

Они доели свои порции быстрее, чем Шурка — свою. И случилось то, чего он так не хотел: гости стали быстро собираться на дальний конец Ревунов.

— А чай? — растерянно спросил Александр.

— Хозяин, ну какой чай после арбузов? — Алик уже стоял

на тропе. — Спасибо за хлеб-соль. Привет от солнечного Азербайджана.

— На, возьми, тебе надо, — сказал Андрей и положил на похолодевшую ладонь Шурки три новеньких бумажных патрона. И артисты скрылись в зарослях боярышника.

Чивер и голуби

Мать Шурки через день готовила поросёнку болтушку: смесь отрубей, остатков еды и трава заливается в баке горячей водой, потом хорошо размешивается скалкой.

— Шурка, нарви тазик жирнухи, я сделаю Борьке болтушку.

Шурка покорно взял в сельнице выдавший виды тазик и пошёл мимо поросёнка Борьки, умиротворённо хрюкающего в пыли за сеньями.

В проулке, за гатью, поставив тазик в самую гущу лебеды, Шурка рвал отяжелевшие макушки запылённой, со свинцовым оттенком травы и целыми пригоршнями бросал в тазик. Неожиданно, как из-под земли, вырос перед ним Мишка Лапманкин.

— Подкараулил? — первое, что пришло в голову, сказал Шурка.

— Не бойся, Коваль, — миролюбиво ответил Мишка, — нужна твоя помощь. Неужели, думаешь, буду драться?

— Чего ещё, — не понял Шурка, — я тебя никогда не боялся.

Мишка сел около тазика и с не свойственной ему растерянностью в лице, пошарив в карманах, вынул пачку «Севера». Щёлкнув пальцем по ней, протянул Шурке выскочившую наполовину папиросу.

— Я не курю.

— Ну, ладно, как хочешь.

— Говори, что надо.

Ковальский все ещё осторожничал и поглядывал поверх травы: нет ли где спрятавшихся Мишкиных друзей, готовых врасплох напасть. Одно дело, что тот помог ему, когда была беда с ногами, другое — сейчас.

— Дай ружьё на один только вечер. У тебя есть, я знаю.

— Зачем?

— Вернулся Илья Бедуар, ну, отсидел два года. Знаешь такого?

— Ещё бы! Только он — Будуар, а не Бедуар.

— Какая мне разница, — сплюнул смачно Мишка. — Он подсылает ко мне Чивера.

— А кто такой Чивер?

— Есть такой. Генка Горбунов, в том приходе шурует со своей гоп-компанией, они на побегушках у Бедуара. Я должен был три дня назад отдать им Гривуна, которого купил в Покровке, — они же голубятники заядлые. Не отдал, а спрятал. Теперь сегодня придут домой вечером — всех заберут.

— А родители?

— Они в Бариновке, на свадьбу поехали.

— Ружьё не дам, — твёрдо сказал Шурка, — нельзя на людей с ружьём.

— Они — грабители, а ты — «нельзя». Ты просто боишься, да? Выручи! Я только пугну, а за это должок будет за мной. Этих гавриков нельзя пускать в наш конец, всех потом подомнут, понял? Стоит один раз струсить, и потом... Я ведь тебе помог тогда, на задах.

Шурка задумался.

— Когда придут?

— Наверняка перед танцами в клубе, часов в восемь.

— Хорошо, я сам приду с ружьём.

— Не обманешь?

— Слово даю.

Весь его опыт общения с охотниками, взрослыми, которые, не сговариваясь, доверяли ему иметь своё ружьё, говорил, что нельзя делать то, о чём просил Мишка. И он нашёл, как показалось, выход.

Придя домой, взял два заряженных патрона. Удалив бумажные пыжи и вытряхнув дробь, пошёл на кухню. Насыпал на ладонь из стеклянной поллитровой банки соли, внимательно осмотрел серый бугорок на свету и остался недоволен: соль мелкая, не верилось, что может заменить дробь в патроне. Высыпая соль обратно в банку, споткнулся взглядом о мешочек с пшеном. Это было то, что нужно. «Конечно, стрелять не буду, — успокаивал себя Шурка, — если уж на самую крайность, то в воздух».

...Он подошёл к дому Лашманкиных в половине восьмого.

— Вот здорово, — ликовал Мишка, — я всегда тебя считал мировым парнем!

— Я стрелять в людей не буду, — возбуждённо сказал Александр.

— Да и не надо, пальнём поверх голов — и то хорошо.

Трое подростков появились с дальнего порядка улицы. Шли уверенно, не прячась.

— Они, — возбуждённо сказал Мишка, — я прятаться не буду, нельзя, а ты встань за плетень и пригнись.

Шурка зашёл за плетень, отделявший двор от огорода, потоптался и присел за кустом сирени.

Во двор гости вошли с форсом. Чивер, его Шурка сразу определил по нагловатой ухмылке и по тому, как заискивали перед ним остальные, с ходу поддел консервную банку у входа и она, сделав полукруг, опустилась едва ли не на голову Шурки.

— Конец тебе, Мишка, — сказал тот, что был ближе к сирени, — сейчас козлиную смерть тебе будем делать. Не принес Гривуна, пеняй на себя.

Шурка видел, как побледнел его приятель, но остался стоять на месте. Страшная это штука — козлиная смерть. Её делали обычно так: двое держали провинившегося, а третий указательными пальцами с двух сторон начинал, как шилом, давить за ушами прямо за мочкой, в углублении. Чем сильнее жмут, тем нестерпимее боль.

— Неси Гривуна — и делу конец, — по-хозяйски сказал Чивер. — Некогда нам рассусоливать, колготу разводить. Он это не любит.

Чивер сказал «он», и все поняли, о ком это.

— Гривуна нет, — твёрдо сказал Мишка.

— Где, говори! — почти по-военному, властно сказал Чивер и в один ловкий прыжок оказался вплотную с Мишкой, мгновенно заломив ему правую руку за спину.

— Ребя, вали его саманную голубятню, чего цацкаться, хватит ему люсить!

Шурка поднялся из-за сирени, положил одностволку на плетень и скомандовал:

— Отпусти Мишку!

— Ещё чего? А хо-хо не хе-хе? Откуда ты такой?

— Стрелять буду, — возбуждённо выкрикнул Шурка.

— Кишка тонка стрелять, — сказал Чивер и выставил впереди себя Мишку.

— По ногам жажну, — подтвердил Шурка и, взведя курок, направил ружьё на обещавшего козлиную смерть. Глаза их встретились.

— Чивер, он пальнёт — это точно! — взвизгнул тот, затравленно оглядываясь на калитку,

— Ладно, кина не будет, — оттолкнув от себя Мишку, сказал Чивер, — но не попадайтесь теперь на глаза!

Когда они скрылись за калиткой, подошедший к плетню Мишка сказал, кивнув в сторону Чивера:

— Отошла коту масленица, ёкорный бабай!

— А что это такое?

— Что? — не понял тот.

— Ну, ёкорный бабай.

— А я откуда знаю? Так Бедуар говорит, — ответил Мишка и оба расхохотались.

Когда смех прошёл, Шурка спросил:

— А что это за голубь — Гривун?

— Ты не знаешь? — удивился Мишка.

— Нет.

— Гривун — это чисто белый голубь. Такую породу вывел граф Орлов. Очень красивый, на загривке треугольник коричневого либо красного цвета. У моего — коричневый.

— Ты это всё не придумал? — засомневался Шурка.

— Да ты что? Обижаеть, я тебе его покажу, только чуть позже. Ладно?

— Ладно, — согласился Шурка.

...Они понимали, что на этом дело не кончится. Быть им битьями и жестоко. Но всё обошлось как-то по-странному просто.

Через неделю, собравшись на рыбалку, ребята отправились на Приказное озеро за червями. На Приказное можно идти мимо школы либо вдоль магазинов, где слева от продмага стоит пивнушка. Вот этой дорогой они и двинули. Когда до пивного ларька оставалось метров пять, от него отделились три фигуры.

— Что делать, Коваль? — заволновался Мишка.

— Поздно, иди спокойно.

— Стоп, команда! — сказал неожиданно звонким голосом Бедуар.

Они продолжали путь. Шурка бросил взгляд на ларёк. Стоявшие у него парни заинтересованно смотрели на происходящее.

Остановившись, Шурка краем глаза заметил, как Мишка отстегнул с пояса широкий ремень с тяжёлой бляхой. «Ни к чему это, — успел подумать он, — даже смешно».

Чивер выскочил вперёд, но его остановил Будуар.

— Погодь, — отстранив его рукой, сказал он. — Кто был с ружьём?

— Ну, я, — сказал Шурка и почувствовал, как задрожали руки.

— Стрельнул бы тогда?

— Не знаю, — овладев собой, ответил Шурка. — Как бы дело пошло, так и сделал бы.

— Ишь ты какой, не ожидал, — сказал Будуар, покосившись на толпу у пивнушки, куда подошёл бойкий Петька Стрепеток в окружении трёх рослых парней из Золотого конца. Со Стрепетком Шурка в прошлом году был на сенокосе в одной артели. Тот зорко глянул на Шурку, потом на Будуара и вмиг всё понял.

— Коваль, привет, пиво пьём?

— Нет, — неуверенно ответил Шурка.

— Правильно делаешь, а мы вот жажнем по парочке кружек. А ты, Будуар? Пошалберничаем? Стервецы, — обратился он к своим приятелям, — занимаем очередь!

И пошёл к самому её началу, «стервецы» последовали за ним.

— Будуар, пиво у Пупчихи киснет, не тяни.

«Вот где талант пропадает, — подумалось Шурке, — его бы к нам в драмкружок к Валентине Яковлевне. Как он ласково пугает этих дуrolомов!»

— Чивер! — властно, по-хозяйски, произнёс вожачок Будуар.

— Я, — откликнулся на всё готовый его подручный.

Будуар выдержал глубокомысленную паузу и изрёк:

— Ты этих ребят не трожь и своим скажи.

Он ещё раз осмотрел с ног до головы подростков и сказал с особым значением, чтобы слышали у пивнушки:

— Это — наша смена!

И отошёл, довольный собой. За ним игриво зашагал Чивер, припевая: «Он вошёл в ресторанчик, чекулдыкнул стаканчик и велел всех ребят напоить».

— Ничего себе оценили нас, — хихикнул неуверенно Мишка, когда они уже копали червей. — Кто мы теперь с тобой?

— Будуарчики! — ответил Шурка, не задумываясь.

Им почему-то вдруг стало весело. Мишка притворно упал на зелёную кочку и дурашливо завопил:

— Ой, держите меня, а то упаду. О кочкарник ушибусь!

Он умел шумно радоваться. Шурке это нравилось.

В клубе

С тех пор, как Шуркина мать устроилась уборщицей в клуб, а вернее, в РДК — районный Дом культуры, забот прибавилось. Помещение большое и хлопот с ним немало.

На его долю выпало помогать матери: поздно вечером, после сеансов, подметать полы в большом зале, перед тем, как она их будет мыть. В слякотную погоду грязи на полу под сиденьями невпроворот и её трудно выметать, так как все ряды кресел крепко прибиты.

Ещё досаднее Шурке выметать шелуху от семечек, которой иногда набирается почти полное ведро. Особенно, если два сеанса в 19-00 и 21-00. Шурка не понимал, как можно во время кино грызть семечки? И не от того, что ему приходилось убирать шелуху или он считал это некультурным. Просто, когда сидел в зале, ни о чём не думал, кроме действия на экране. Для него неинтересного кино не существовало. Кино для Шурки — чудо, к которому он привыкнуть не мог.

Вчера вечером демонстрировали двухсерийный фильм. И теперь с утра у Шурки работы достаточно. В фойе, как обычно, было несколько человек: кто играл на баяне, кто листал подшивки журнала «Сельская жизнь», кто не знал, куда себя деть. Шурка помнил, что назначена репетиция духового оркестра, поэтому решил быстренько выполнить свои обязанности и послушать музыку. Он взял ведро с веником и вошёл в сумрачный зал.

Зрительный зал и сцена волновали его всегда. Здесь чувствовалось присутствие тайны. На полуосвещённой сцене стояло пианино. Живое, элегантное, божественное существо. Оно манило и пугало Шурку. В отличие от своих сверстников, он не мог запросто подойти к нему и пытаться извлекать звуки. Его охватывал трепет перед этим существом, представлявшим собой часть того таинственного и завораживающего мира, который зовётся музыкой.

Ему, как никому, представлялась возможность потрогать клавиши, ведь он иногда приходил совсем один, открывал клуб и подметал пол. Но Александр этого не делал. Это не было робостью. Не робел же он играть на сцене в постановках перед целым залом, вмещавшим триста человек. Его публика выделяла. Он не терялся на сцене, что даже для него самого было удивительным. Заряжало присутствие народа, и что-то подталкивало делать так, как казалось необходимым. Когда он забывал текст (это было редко), с ходу вставлял свои слова и так же ловко помогал выпутываться партнёру, которого внезапная фраза выбивала из строя. Ковальский видел всю пьесу, всю её продумывал. Герой ему был понятен, поэтому Шурка часто догадывался, что тот мог бы ещё сказать, но не сказал.

Однажды после такой игры Валентина Яковлевна подошла к нему, прижала к груди, отчего Шурка чуть не задохнулся, и, театрально воздев руки вверх, сверкая своими красивыми цыганскими глазами, громыхнула:

— Посмотрите на него, это не просто Шурка Ковальский — это будущий великий артист!

И поцеловала смачно в губы.

Всем известно, их худрук полумер не знала. У неё всё либо гениально, либо: «не то, не то, не то, дьяволы, черти такие». Но всё же Шурка и сам чувствовал, что в нём на сцене горит какой-то непонятный ему огонь. Он в это время соприкасался с чем-то большим и магическим. То ли это правда, которую надо донести до сидящих в зале? То ли истина, без которой все в округе, если её не поймут, окажутся обездоленными? Или это кусок чьей-то жизни, о которой обязательно следует поведать другим людям, иначе человек, в кого он перевоплощается, будет обделён — его не услышат, о нём не узнают. Зачем же тогда он жил?

Так часто думал Шурка. Ему было неясно, почему становился на сцене таким отчаянным, не похожим на себя в обычной жизни. И кто же он и какой на самом деле? И как другие люди сами к себе относятся?

То, что совсем недавно стало случаться по ночам и чему он много позже, уже студентом, узнал научное название: «поллюции» — обескураживало. Он не знал, как к этому относиться. Урод он или так у всех? Было как бы два Шурки: один неосоз-

нанно стремился к чистому и красивому, и другой — пугающий и не знающий, что с ним творится.

Похожее с ним бывало и раньше. Вспомнив об этом, он теперь только улыбался: в первом классе Шурка испытал потрясение, увидев свою первую учительницу, красивую и справедливую Нину Николаевну, выходящей из обычного школьного туалета. Это его тогда убило. И он долго не мог этого принять.

...Шелухи от семечек в этот раз оказалось много. Шурка заполнил четверть ведра, а всего-то прошёлся по половине зала. Решив передохнуть, сел в кресло и грустно повёл глазами. Зал был большой. По бокам сцены висели огромные из красного материала плакаты с ленинскими изречениями. Слева было написано: «Самым важнейшим из всех искусств для нас является кино». Справа: «Искусство принадлежит народу — оно уходит своими глубочайшими корнями в самую толщу широких народных масс...». Шурка уже хотел встать, как вдруг на сцену легко выпорхнула Верочка Рогожинская. По-домашнему, запросто села к пианино. И не успел Шурка опомниться, как зазвучала мелодия, звуки которой сначала заполнили сцену, затем перескочили через оркестровую яму и полились на него одного, сидевшего в полуосвещённом зале. Конечно, Верочка не знала, что кто-то сидит там. Тем более не ожидала увидеть здесь его. А ему это как раз было не надо.

Он забыл обо всем. Видел и слышал только её.

Лёгкие белые руки Верочки, вся она, освещенная ярким светом, исторгала такие прекрасные и нежные звуки, которых он никогда не слышал. Он забыл обо всем. И невольно задел стоявшее около ног ведро с шелухой. Оно чуть звякнуло. Это привело Шурку в ужас. Но на сцене всё было по-прежнему. И вдруг на мгновение музыка прекратилась, Верочка откинулась на спинку стула, опустила руки вниз и так забылась на некоторое время. Она была красива, прекрасна! Это Шурка понял. Такого лица, таких рук, такой музыки Шурка никогда не видел и не слышал. Такого в его селе не было. Это оттуда, из той, далёкой жизни, которую он пока не знал и которая была недосягаемой и чужой.

Верочка вскинула руки, легко и плавно опустила их на клавиши. Шурка не сразу понял, что случилось. В следующую секунду он оказался во власти чарующей, завораживающе-свет-

лой, но грустной до слёз мелодии. Тревожно-торжественные звуки будоражили. Верочка играла полонез Огинского. Как и тогда, во дворе у Кочетковых, Шурка вновь почувствовал неизъяснимую тоску, недостижимость мечты, неизбежность утраты. Музыка лилась и лилась. Пустой зал вбирал её и обрушивал на одного-единственного слушателя — Шурку...

Музыка поглотила его. Он видел, как в тумане, красивую девочку на сцене, вернее — силуэт её, тонул в звуках необъяснимо прекрасной мелодии, и всё это было недосыгаемо и сказочно, и всё проходило мимо — мимо его жизни. Он это почувствовал. И заплакал. Слёзы сначала не давали отчётливо видеть, потом стало трудно дышать. Он не понимал, почему плачет. Да ему было и не до того. Вновь задел ведро, которое, звякнув дужкой, опрокинулось и покатило вокруг Шуркиных ног, просыпав содержимое. Шурка, спохватившись, поймал его, но было уже поздно.

Верочка перестала играть, встала и подошла к оркестровой яме. Близоруко оглядела затемнённый зал, их взгляды встретились.

— Александр, ты?

— Я, — непонятно, почему, виновато сказал Шурка.

— А что ты здесь делаешь один в зале? У нас репетиция вечером.

Шурка молчал. «Чудовищно глупо говорить ей, умеющей так играть, что я подметаю здесь пол», — с горечью подумал он. Только бы Рогожинская не спустилась со сцены, иначе всё увидит!

Но Верочка осталась на месте. Взмахнула своей лёгкой ручкой и попрощалась:

— Ну, пока! До репетиции!

И засмеялась. В её смехе Шурке не послышалось ни превосходства над ним, ни насмешки.

Веня Сухов застрелился

Эту печальную весть, вернувшись с базара, принёс Шуркин дед. У Вени была новенькая одностволка «тулка». В отцовском амбаре он выстрелил из неё картечью себе в рот.

— Ваня, что же он, глупый, думал, когда делал это, а? — бабка Груня стоит у печки, доставая ухватом закопчённый казанок.

— Отец не отпускал его в Сибирь жить, да и женёнка его, Варька, тоже не хотела. А у него с детства мечта такая.

— Шурка, ты будешь зайчатину, с вчерашнего осталась?

— Ага, буду, — только и ответил Шурка машинально. Перед глазами стоял красивый кудрявый светловолосый Венька, который ещё на прошлой неделе, когда приходил за барклайем¹, показывал ему, как привязывать к леске из конского волоса крючок замысловатым узлом с восьмёркой.

— Вот дядю его родного насильно сослали, а Венька добровольно не смог уехать, — задумчиво проговорил Иван Дмитриевич.

— Они, может, и правы, Ваня, всё-таки с одной рукой в чужих краях тяжело. Зря втемяшилось ему.

— Вот это его и стубило, все без конца говорили, что инвалид. А он не инвалид. Любой мужик на охоте против него ничего не стоил. Все со своими ижевками двенадцатого калибра ничто против его шестнадцатикалиберной одностволки. Он же артист от природы. А чутьё у него какое? Как у собаки. Его и на фронте спасла охотничья жилка. Он рассказывал мне.

Шурка лежал на печке, где у него своя библиотечка. Щёки его все в слезах. «Как непонятно? — думал он. — Жил весёлый шутник Веня. Ничего такого горького внешне в нём не было и вдруг — застрелился. Выходит, в каждом из окружающих, кроме видимого, есть такое, о чём можно не знать, но именно оно управляет поступками и судьбой человека».

Ему вспомнилось, как Веня работал на делянке за старичей, когда валили осокори для досок на крышу и полы для дома, как наловили вместе на яички муравьев почти полное ведро карасей, а потом наварили ухи на всю артель. Тогда ещё Шурка опростоволосился. Когда собрались есть в круг на разостланый большой брезентовый плащ, Шурка в приподнятом настроении от того, что именно он сегодня кормилец, наловил столько карасей, сказанул:

— Чего вы все, как татары, в шапках сидите за столом?

После его слов воцарилась мёртвая тишина. Потом лесную поляну огласил дружный хохот, потому что единственный татарин, всеми уважаемый степенный Равиль, сидел и ужинал без головного убора, а все русские — в фуражках.

¹ Барклай — приспособление для снаряжения охотничьих патронов.

Равиль только сверкнул по-молодому озорно одним своим карим глазом, второй у него был завязан белой тряпкой.

— Эх, голова садовая, — сказал Венька чуть позже, — сначала думай, потом говори, а то ведь вляпался.

И вот теперь Веньки нет.

Чирки

Пришедшая за пахталкой Нюра Сисямкина сказала:

— Сейчас, с утречка, ходила в Тяголовку к Машурке за овечьими ножницами, там в рытвине так много уток диких. Сроду такого не было.

— Дак вчера охоту открывали в Ильмене, городские канонаду устроили, — откликнулся отец Шурки, выходя из своей шорни, — вот они и попрятались по укромным местам.

— Я тоже разок видела, они хитрые, садятся ближе к дворским, чтобы не выделяться, — подтвердила Катерина.

— Что, Шурка, слабо тебе со своей тулкой?

— Отец, будет тебе. Зачем парня будоражишь? — возразила Екатерина Ивановна.

Но Шурка уже загорелся: «Мать честная, у меня один патрон всего заряженный, заряжать некогда, успеют распугать. Рискну!».

Через минуту он вышел из сарая с велосипедом. Поехал «на рамке», с седла не доставал до педалей.

— Поосторожней, кругом там люди, скотина, — беспокоилась Катерина.

— Ладно, мам, маленький, что ли?

Доехал он быстро. Уток заметил сразу. Их было десятка три. «Чирки, — определил с досадой Шурка, — хотя бы одна кряква была».

Он решил подъехать как можно ближе.

Утки не взлетали, а потихоньку, несколькими табунками, спешили уплыть за изгиб рытвины — прятались. Не поднимались на крыло, напуганные, очевидно, пальбой в Ильмене.

Шурка положил велосипед и хотел разломить одностволку, чтобы вложить патрон. Однако запал боёк и, высунувшись маленьким язычком, стопорил ствол. Погнувшись, он заклинил намертво.

Наставив отвёртку на упрямый язычок, Шурка ударом ладони по рукоятке пытался выпрямить боёк. Это удалось, но он, неловко повернувшись, ткнул стволом о велосипедную раму. Металл звякнул — этого было достаточно, чтобы утки шумно взлетели и нестройно подались к Ильмену.

Шурка отбросил отвёртку. Положил ружьё на траву и лёг рядом. Решил, что потерпел неудачу и принял её спокойно. Но странное дело: утки вернулись. Прошелестев огромной стаей над Шуркой, сели метрах в сорока от прежнего места, под обрывом.

Он встал, зарядил ружьё и пошёл, пригнувшись, к обрыву. Уток было много, это он видел, когда они летели. Но то, что он обнаружил, подкравшись к обрыву, изумило! Такого скопления чирков в одном месте Ковальский никогда не встречал.

Он спокойно улёгся на краю обрыва. До уток метров тридцать. Выбрал тщательно место для локтя, примяв стебельки пырея. Взвёл потихоньку курок, без щелчка.

Под Шуркин резкий свист утки суматошно поднялись с воды и он выстрелил, не целясь. Не в какую-то одну, а — в кучу.

Стрелок разочарованно смотрел на добычу: на воде неподвижно лежали всего три утки. Один подранок-нырок скрылся под водой. Невесть откуда взявшийся сарыч, не снижаясь, закружил над ними.

— Классный выстрел, — совсем неожиданно прозвучало над ухом у Шурки.

Он оглянулся. За его спиной сидел Андрей Плаксин.

— Хуже не бывает. Дробь мелкая, только прошелестела по крыльям, не взяла. И далековато, — уныло отозвался Шурка, — думал, что не менее десятка будет — их же туча сидела.

— А я давно за тобой следил. Но, чтобы не мешать, молчал. Хотел посмотреть, как стреляешь, — отчего-то радостно докладывал Андрей.

— А как оказался здесь?

— Я за Гнедым пришёл, вон он, спутанный, отец послал.

— Эх ты, — удивился Шурка, — а я Гнедого и не видел.

— Не видел? — ещё больше удивился Андрей. — Уток видел, а Гнедого — нет?

— Нет, — подтвердил Шурка, — одни утки были в голове.

— Ну, ты, Дерсу Узала, даёшь! А вдруг это был бы не Гнедой, а Амба?

Пиковая дама

Два дня дядька Серёжа самозабвенно трудился над портретом Пушкина. В сенцах на сундуке, обшитом цветастой клеёнкой, разложены кисти и краски. На стуле лежит уже законченное изображение. Шурка сел в сенях на порог и восторженно наблюдает.

— Зачем тебе второй портрет?

— Попросила бабка Дарья нарисовать. Сегодня обещала прийти. Вон уже идёт.

...Большими потрескавшимися и тёмными, как корневище, руками бабка взяла на колени портрет в голубой рамке. По-детски вслух удивилась:

— Как это... несколько чёрточек, линий и — вот он, Пушкин!

Серое лицо её сделалось строгим и печальным:

— Серёжа, а это он написал про пиковую даму? Очень хочется почитать, ты достань мне книжицу, а? Мне Германа жалко, а старуху — нет. Достань. Я несколько раз слыхала по радио, как он поёт, а вот почитать хочется про него самой, бедняжка.

Сняла с головы белый в горошек платок, осторожно вернула портрет.

— Спасибо тебе, Серёженька, за подарок.

Направилась к калитке. Остановилась, задумчивая, вернулась к порогу:

— Ты, Серёженька, береги свои способности, это редкость редкостная. За мои восемьдесят у нас только два таланта случились: Коля и Ванечка Озёровы. Теперь музыканты, в Москве али в Ленинграде, Евдокия сказывала, живут. Может, и у тебя талант. Редкость редкостная.

— Кто такие Озёровы? — спросил Шурка у Серёжи.

— Уже дядьки пожилые. Я их видел в позапрошлом году, с филармонией к нам приезжали. Интересные. Когда все чужие артисты уехали, остались на побывку. Жить негде, родных уже нет никого. Первую ночь ночевали в клубе, потом мама к себе позвала. Они с отцом потом сидели, выпивали и так здорово играли на балалайке и баяне, что страх. А на другой день сильно были грустными и оба плакали.

— Почему?

— Ходили на могилки и не нашли, где мать лежит. Всё изменилось. Ни креста, ни какой приметины.

...Дядька Серёжа быстренько собрал краски и понёс в погребницу. Он в последнее время всё делал быстро. И тому есть причина. Наступавшая осень несла перемены. Алексей женился на приехавшей учительнице. У неё казенная квартира от школы, он собирался перебраться туда. А Сергей неожиданно для всех успешно сдал экзамены в строительный институт и через неделю уезжал на учёбу в Куйбышев.

Шурка грустил. Что-то менялось в его жизни, уходило безвозвратно.

Из избы вышла баба Груня:

— Ты что пригорюнился, а?

— Да так.

— Приходи вечером, будем читать книжку про Мюнхгаузена, чудная такая.

— Хорошо, приду, баб!

Разговор двух мужчин

С приездом Верочки Шурка на некоторые вещи стал смотреть по-иному. С лёгкой руки Валентины Яковлевны его в прошлом году записали в танцевальный кружок и там он стал солистом. Теперь танцевал национальные танцы. Всё шло хорошо. Правились костюмы, дотошное изучение разных движений незнакомых танцев, радостный всплеск аплодисментов, которыми всегда награждали танцоров. Он уже гостролировал в Покровке, Кулешовке. Выступали под открытым небом на полевых станах.

Но однажды радость от всего этого померкла. В большом школьном классе на генеральной репетиции исполняли молдавский танец. В самой середине танца он вдруг увидел Верочку, сидевшую у окошка. Смуглое лицо было освещено наполовину ласковым сентябрьским солнцем, она щурилась и прятала голову, прикрывшись тетрадкой. Когда их взгляды встретились, отвела глаза, губы её приоткрылись: как будто хотела что-то сказать, но не сказала, только подумала и ироническая улыбка тенью скользнула по лицу. У Шурки что-то оборвалось внутри.

Он хотел подойти к ней, когда репетиция кончилась, но не успел. Рогожинская вместе с другими убежала в спортзал. «Я понял, я всё понял, — твердил он про себя, — ей смешно было смотреть, как танцую. Я выглядел смешно. Все девчата меня переросли. За этот год вымахали на голову выше, а я, чудаки, всё танцую». Шурка и раньше ревностно ловил взгляды ребят: не смеются ли, что он меньше всех. Но всё вроде бы нормально. А не оттого ли так хлопают зрители, что он просто маленький и это всех забавляет? Но то было раньше, а теперь всё видит Верочка Рогожинская. «Не буду больше танцевать», — решил он.

Но всё оказалось намного сложнее. Когда классная руководительница, сухая и подозрительная Лидия Николаевна узнала об этом, она ударилась в панику.

— Нет, Ковальский, ты просто зазнался. С тобой везде носят, как с писаной торбой, вот ты и возомнил... Это надо же — вся программа рухнет. Там пять танцев с твоим участием.

— Не рухнет, возьмите Женьку Рязанова. Он вам что хотите станцует. И лучше меня.

— Ты что, смеешься надо мной? Он же вечерник, ему семнадцать.

— Ну и что?

— А честь класса? Ты же представляешь — на торжественном концерте весь наш класс.

— Ну и что?

— Как ты не понимаешь? Это же праздничный концерт, посвящённый дню Великой революции!

— Ну и что, Лидия Николаевна? Не буду я выступать!

— Скажи причину.

— Мне разонравились танцы, — упирался Шурка.

— Ты не можешь так говорить. Ты не один и не вправе подводить коллектив.

Уговоры ни к чему не привели. На следующий день с утра Лидия Николаевна объявила Ковальскому, что его вызывает директор школы после первого урока. Шурку это не очень сильно напугало. Он уже понял, что так просто его не оставят в покое. Очень не хотелось ему, чтобы вызывали в школу родителей: отец всё равно не пойдёт, а маму жалко, никто ничего не поймёт.

...Когда он вошёл в кабинет директора, Николай Никола-

евич — большой, грузный, со смешными длинными бровями, которые, как усы, торчали в разные стороны, — говорил по телефону. Когда закончил, сказал:

— Ну, как дела, народный артист?

Ковальский молчал.

— Ну, да, брат, — примирительно сказал директор, — я того, не остыл, не то говорю, не обижайся. Что молчишь, садись вот на стул.

Шурка сел и подумал: «Он что, со всеми так? Тогда что же его все боятся? Он же умный и, по-моему, обо мне всё знает, и про Верочку — тоже».

Зазвонил телефон, но Николай Николаевич трубку не взял.

— Не дадут поговорить, понимаешь. Вот дела.

Ковальский следил краем глаза за всеми движениями хозяина кабинета. То, что тот не взял трубку, ему понравилось.

— Видишь ли, ты ещё молодой, — он сказал «молодой», а не «маленький» — это Шурка отметил. — Может, поймаешь попозже — нельзя так пренебрегать коллективом, только свой каприз лелеять. Это тебе будет в жизни мешать, понимаешь? Ты что, вообще не будешь танцевать больше?

— Буду, — ответил, не задумываясь, Шурка.

— Тогда в чём же дело?

Шурка помолчал и решил:

— Если вырасту нормально, хотя бы среднего роста — буду.

Николай Николаевич всё понял. Это Шурка увидел по его глазам. Они не улыбались. Они были задумчивыми.

— Для тебя это важно сейчас? — спросил он медленно.

— Очень! — сказал Ковальский, нисколько не робея.

— Да, это причина уважительная, брат. Но только ведь, скажу тебе прямо, рост — не самое главное для мужчины. В истории очень много было мужчин маленького роста, но великих — Наполеон, например, Пушкин! Понимаешь?

— Понимаю. Вырасту с Наполеона, потом посмотрим, что делать, — ответил Шурка.

Того, что случилось дальше, развязки такой, он не ожидал. Николай Николаевич икнул после Шуркиных слов, завалился на стол всей своей громадиной и неожиданно тонким голосом заливисто начал смеяться.

Потом воскликнул:

— Ну, завидую я Лидии Николаевне, у неё такие ученики! А она всё ноет. Вот баба проклятая. Вырасту с Наполеона... Неплохо! Неплохо!

Ковальский от этих слов несколько растерялся. Из уст директора такого он не ожидал.

— Александр, давай мировую с тобой заключим, а?

— Смотря какую, — неуверенно сказал Шурка.

— Я уважаю твою причину, но и ты пойми — ведь сорвётся праздничный концерт. Выступи последний раз, а там — как хочешь. Сам себе голова! Я скажу Лидии Николаевне... По рукам?

Он протянул Шурке свою огромную руку. Ковальский встал и подал свою.

— Вот и порешили, понимаешь ли, вот и весь вопрос, — громыхал директор.

Выйдя из кабинета, Шурка никак не мог сообразить, кто из них двоих оказался победителем. «А что, если бы Верочка слышала весь наш разговор, как бы она отреагировала? — подумал он. — Слабак я или нет?»

Краснотал

В новый дом Любаевы перебрались из мазанки только в конце октября. И не успели отпраздновать новоселье, как в начале ноября перед праздниками случился пожар. У соседей Сисямкиных ягнилась первеньким овца, и тётка Маня, забегая посмотреть, обронила коптюшку.

Кроме дома, сгорело всё дотла. От Любаевой мазанки остались только глиняные стены, она стояла впритык с сараями Сисямкиных.

Прибежавшая из клуба с танцев молодёжь не смогла ничего путного гольми руками сделать. Больше мешалась. Отчаяннее всех действовала баба Груня — стояла на новой тесовой крыше Любаевых и принимала вёдра с водой от всё-таки организованной из молодёжи цепочки. Выручал Шуркин колодец. Бабушка Шурки поливала накалившиеся доски водой, чтобы не вспыхнули. Крыша со стороны бушующего пламени парила, но не загоралась. Наконец приехали деловые пожарные. Василий Любаев действовал с мужиками в самом пекле, у сельницы. У него на спине загорелась было гимнастерка, на него

тут же выплеснули два ведра воды из живой цепочки и огонь затушили.

Когда у сельницы обрубили топорами на крыше жерди и растащили часть соломенной крыши, соединённой с соседской, пламя остановилось. Сельницу спасли, а с ней и весь двор. У отца Шурки сгорел бадик.

...Впереди были праздники. После торжественного собрания шестого ноября в районном Доме культуры состоялся концерт.

Шурка танцевал и читал «Стихи о советском паспорте». Его выступление очень понравилось районному начальству. После концерта за кулисы пришла строгая нарядная дама. Ковальский видел её раньше в райсобесе, когда был там с отцом. Она от имени зрителей вручила ему подарок — пятнадцать рублей. Оказывается, их она собирала у сидевших на первом ряду. Он видел... Дама крепко пожала руку и ушла.

— Гордись, артист! — сказала Валентина Яковлевна, — сам Безуглов Иван Иванович, первый секретарь райкома, всё организовал. — И больно потрепала за чуб.

Шурка держал деньги и не знал, что делать. Он никого не видел вокруг, не решался пошевелиться. Не глядя в сторону Верочки, силился понять, что она думает обо всём этом. Вокруг суетились другие артисты, Ковальскому было неловко, что его так отметили.

— Вот чудак, у тебя есть что-нибудь с собой? — спросила Валентина Яковлевна.

— Нет, — отозвался Шурка.

— Тогда вот так, — сказала она. И, забрав мятые бумажки, сунула ему в карман. Затем крепко прижала его к своей груди и он, попав лицом в глубокую душную впадину между двух тугих живых холмов, почувствовал, что задыхается. Отбросив далеко от себя назад правую ногу, обмякнув, повис на руках и груди своего худрука, изобразив ласточку.

— Комедиант несчастный, — театрально воскликнула Валентина Яковлевна и легонько оттолкнула его от себя.

— Не комедианты мы! Мы — артисты! — гордо и громко подхватил Шурка.

Кругом одобрительно засмеялись.

— Ну, раз артисты, то ваше место в бунфете, — величествен-

но проговорила Валентина Яковлевна и, увидев подходившую заведующую районо, пожаловалась: — Вот ведь никудышное дело, играют, как взрослые, даже талантливее, а выпить с ними нельзя — пион-нэ... ры!

У заведующей, жеманной Лилии Григорьевны, глаза круглые, как пуговицы. Теперь они вообще, кажется, готовы были выкатиться из глазниц, повиснув на ниточках.

Валентина Яковлевна расхохоталась.

«Это мне на мою бедность или действительно я заслужил как артист?» — размышлял, выходя из клуба, Шурка.

— Саша, подожди, нам по пути?

Он обернулся. На пороге стояла Верочка. На ней было светлое пальто и лёгкий голубенький шарфик, каких он никогда не видел раньше.

— Стал богачом и зазнался.

Шурка не обиделся. Верочка умела говорить так, что обычные слова приобретали для Шурки иной оттенок, иной смысл. Сейчас это звучало так: «Подожди, не убегай, мне приятно погулять с тобой!».

— Вы все про одно: зазнался, зазнался. Хочешь, я эти деньги отдам первому встречному?! — почему-то неожиданно для самого себя заявил он.

— Нет, что ты? Я, может, неудачно сказала так.

Они пошли по улице, вдоль домов.

— Саша, знаешь, ты вправду очень хорошо танцуешь. Как-то очень радостно от этого.

— Спасибо.

— Ну, вот, ты, кажется, на что-то обижаешься?

— Нет, — сказал торопливо Шурка.

До дома оставалось метров пятьдесят и Шурка с ужасом думал, что вот сейчас окажется у него и всё будет кончено. Рогожинская уйдёт, а он останется. В этом была прямо-таки чудовищная для него несправедливость. Ковальский решил:

— Вера, пойдем завтра вместе в кино?

— А какое? — спокойно, не удивившись, спросила она.

— Не знаю, — признался Шурка. Он действительно не видел афиши.

— Ты, Саша, немножко чудной, — сказала Верочка тоном взрослого человека.

— Почему? — спросил он, лишь бы не молчать.

— Станный иногда и очень нетерпеливый.

— Ты тоже не такая, как все, — упав духом и потеряв контроль над собой, сказал Шурка.

Вера остановилась. Внимательно посмотрела и засмеялась, опять сама себе. Но он заметил: по лицу её пробежала какая-то тень, широко раскрытые светло-серые глаза были печальны. Она чего-то как бы недоговаривала.

— Вот и твой дом, — сказала Рогожинская.

И Шурке показалось, что она даже немножко обрадовалась этому. Про кино второй раз не стал спрашивать, а Верочка сама ничего не сказала. «Не могла забыть, специально не ответила», — подумал он.

— А вдруг твой отец настоящий объявится и заберёт тебя в Варшаву? — неожиданно спросила Верочка, — поедешь?

— Нет, — ответил Шурка, удивившись тому, что та знает про его отца.

— Не поедешь?

— Не появится пока, нельзя ему.

— Почему так, ведь он — твой законный отец?

Шурка ответил не сразу, решая про себя: надо ли дальше говорить на эту тему. Сказал не спеша:

— Нельзя, тогда же вся наша семья переломается пополам. Так уже было: сначала один отец, потом другой. Он так не делает. Маму пожалеет.

— Да?! — удивилась Верочка. И замолчала, глядя внимательно на Шурку так, что тот смутился. Помолчали некоторое время. Он не решался заговорить.

— Если твой отец живой, то у тебя могут быть где-то братья, сёстры. Так ведь?

— Не знаю, — огорошенно ответил Шурка, — я об этом даже ни разу не подумал.

— Эх, ты, голова садовая!

Шурка видел, что говорит Верочка одно, а думает о другом. И он говорил не о том, что думал. А о чём думал, говорить не мог. Это нельзя выразить несколькими словами, вдруг, сразу.

— Ну, что ж, до свидания, — попрощалась Верочка, когда они поравнялись с Шуркиным домом.

— Я смогу проводить дальше, — запинаясь, произнёс, и ему

стало ещё более неловко. Словно просил одолжения, заранее зная отказ.

— Нет, здесь же рядом, — неестественно бодро проговорила Верочка и улыбнулась: — До свидания, Саша! Ты очень хороший.

— Да, — выдохнул Шурка, — до свидания.

И только уже во дворе опомнился: репетиция-то у них через три дня, но она сказала «до свидания»... Ошиблась или согласилась завтра пойти с ним в кино?

Дома его ждал сюрприз. Во дворе около крыльца лежал целый ворох краснотала, того самого, что растёт вдоль Самарки и который ещё зовут вербой. Он был разный, Шурка это заметил. Маленькая часть покрупнее в комельке, толщиной сантиметра полтора, остальные — в карандаш. Шурке припомнилась приписка, связанная с красноталом:

*Вербa хлёт, бей до слёз,
вставай рано, бей барана, бей до слёз.*

Или:

Вербa бела — бьёт за дело.

Считалось, что, если весной на вербохлёт побьют рано утром кого-то вербой, тому суждено быстро расти и быть здоровым. Поэтому никто не обижался, когда под смех домашних утром засоню поднимали с постели таким способом. Но обязательно необходим краснотал, набухший красным соком и облепленный почками, похожими на мышьиные глаза. Так бывало в Вербное воскресенье. В Утёвке церковь не работала. Освятить вербу можно только в Мало-Мальшевке.

— Вот, Шурка, — сказала, встречая его, мать, — работёнка тебе нашлась, будешь кошёлки плести.

Шурка призадумался, для него это было неожиданно.

— Вишь какое дело, в колхоз на общий двор кошёлки нужны. Я и говорю Карпычу: вези материал, мы с Александром сделаем, — пояснил отец.

— Пап, а я ведь ни разу не пробовал...

— Попробуешь, невелика хитрость. Я всё покажу. Тут на полу, видишь ли, надо работать. Я долго не могу, а ты сможешь.

— Василий, ты хоть договорился, как платить-то будут?

— Дело будет — заплатят.

— Как за хомуты? Ты его слушай, он говорить-то — Москва!

— И за хомуты заплатят. Ты как, Шурка, думаешь? Осилим?

— Конечно, осилим, — ответил Шурка. Мать радостно улыбнулась.

Он вспомнил о своей премии.

— Мам, вот у меня что есть, — и протянул деньги.

— Откуда? — удивилась Екатерина Ивановна.

Шурка рассказал всё, как было.

— Вот те ну, — сказал Василий Фёдорович с расстановкой, — кормилец растёт, а, мать? Скоро мы не угонимся за ним. За такие деньги надо целую неделю валенки подшивать!

...Вечером Шурка не мог долго заснуть. Вспоминались встречи с Верой. Почему-то мысли кружились всё больше вокруг одного разговора, случившегося на большой перемене. Он стоял в коридоре у окна. Рогожинская подошла и запросто спросила, как будто это для неё было самое важное:

— Саша, а ты когда-нибудь коров или овец пас?

— Конечно, — не понимая её, ответил он.

— И гусей? — засмеялась она.

— И гусей, — машинально проговорил Шурка, — гонял на озеро Приказное, а что?

Ковальский вдруг испугался, что она над ним смеётся, причём, напрямую.

— Да так, — улыбнулась Верочка, — не похоже на тебя это.

— Как? — он все ещё пытался сообразить, чего она хочет. Обидеть или что понять?

— Разве не смешно это — гусей пасти?

— Это ты серьёзно?

— А если бы да?

Шурка почувствовал, что летит куда-то в пропасть. Он никто для этой горожанки. И неожиданно для самого себя дурашливо протянул:

— А я ещё и барана заколоть могу, шкуру снять. — Ему показалось, что в сказанном недостаточно дерзости. Чикнул себя по горлу ребром ладони: — Р-раз вот так — и нет бедненького!

Она сделала большим и указательным пальчиками своей беленькой ручки колечко, посмотрела, вроде бы шутя, сквозь него, как через увеличительное стекло, на Шурку и серьёзно произнесла:

— Зачем ты кривляешься?

«Не знаю, не знаю. Я, наоборот, желаю давно сказать что-то хорошее и важное, но не решаюсь и не знаю, что», — так хотелось ответить Шурке, но он молчал. Что-то мешало. Какая-то невидимая преграда вдруг встала между ними. Шурка ворочался на кровати и гадал: «Забыла она мои глупости или нет?».

Мелодия

— Ну, что, свет наш барин молодой, Алексей Иванович, ускакала наша Лизочка!? — так встретила Валентина Яковлевна появление Ковальского на репетиции в клубе.

Шурка ничего не мог понять:

— Кто ускакал?

— Ну, Верочка Рогожинская. Уехала учиться в Куйбышев. Плакала наша «Барышня-крестьянка». Другой такой Лизочки, как наша пани Рогожинская, у нас не будет. Такая постановка! Разбойница, а не Верочка! К Новому году теперь спектакль не выпустить.

У Шурки внутри всё оборвалось: «Как — уехала? А как же я? Разве так бывает?». И тут же находился ответ: бывает, бывает. Сколько уехали из Утёвки. Никто ещё не вернулся. Но она так просто не могла, она же всё видела, так всё понимала без слов. Так всегда смеялась сама себе в его присутствии. И он верил этому смеху, чего-то ждал.

— Её отец, ну, настоящий Муромский, русский барин. Говорит, что учиться надо в городе, в селе не тот уровень. Каково, Шурка?! Мы с тобой, значит, не тот уровень для них, вот черти!

Валентина Яковлевна шумно возмущалась. Шурка видел, что это она играет, жалея его.

— Вырастешь, станешь великим артистом. Все о тебе заговорят, вот поверь мне — она тогда пожалеет о молодом Берестове. Везде будут говорить о тебе, а ей нечего будет сказать в своё оправдание. Так вот!

— Валентина Яковлевна, не надо так.

— А как? — переспросила она. — А, ну, да ладно! Непедагогично? Да-да, конечно. Бог с ним, то есть с ней.

Помолчала, глянула чёрными глазищами, в которые Шурка не мог пристально смотреть:

— Думаешь, дурачусь, да? Может, великим артистом не станешь?.. Допускаю. Но только, думаешь, успокаиваю? Нетушки! Никому бы не сказала, тебе скажу. В тебе что-то сидит такое, чего я сама не знаю. Ты себя цени! Береги, на тебе отметина есть. И все мы за тебя ещё порадуемся. Я очень хотела бы увидеть тебя взрослым. Дожить, удивиться, что не ошиблась. Ну, иди, иди куда-нибудь, на тебе лица нет.

Она легонько подтолкнула Шурку и он, открыв дверь, оказался в зале. Вяло подошёл к тому креслу, в котором сидел, когда Верочка играла полонез Огинского. Сел. В зале обычный полумрак, а на сцене всё тот же яркий свет. Элегантное чёрное пианино поблёскивало холодновато и враждебно. Всё на своём месте. Нет только лёгкого, почти воздушного загадочного существа, которое теперь, так ему казалось, и не должно было быть здесь. Или оно попало сюда совсем случайно. И этого больше не будет. Никогда!

Казалось, зал этот не имел права вообще на всё то, что здесь произошло совсем недавно. И звуки полонеза Огинского тут оказались так случайно и некстати. Будто только на время нарушили обычный ход вещей и отлетели далеко-далеко. В те края, которые называются родиной этой волшебной мелодии и которой и дела нет до Шуркиной незаметной никому жизни...

Зрительный зал ощущался пустым и холодным. Шурка грустными глазами смотрел на освещённую сцену, на две громадные голландки. Всё виделось мрачным и равнодушным. Когда же повернулся и взглянул на противоположную сцене стену, то, будто получив толчок в грудь, ощутил уверенную силу. Она исходила от трёх богатырей с огромной картины Васнецова, расположившейся почти под потолком. Такая же картина, но намного меньше, нарисованная дядькой Серёжей, у него над кроватью. И ничего в ней особенного вроде бы и нет. Шурка к ней привык. В избе картина висела с большим наклоном вниз. Ложась спать, Шурка всегда чувствовал на себе взгляд богатырей. Здесь картина была высоко и всадники смотрели непривычно мимо, поверх головы, словно и они силились понять: что же там, в иной жизни, за горами, за долами. И им не до Александра.

Только один, крайний справа, Алёша Попович глядел на него как-то очень похоже на то, как это делал дядька Серёжа,

подмигивал и, кажется, говорил словами бабушки Груни: «Ничего, Шурка, твоё всё с тобой. Придёт и наше времечко». Да и лошадь у Поповича, как показалось сейчас Шурке, не такая, как у других богатей: похожа больше на конягу с общего колхозного двора. Смирная и надёжная. Своя. Ему от таких наблюдений стало немного спокойнее. Александр встал и пошёл в малый зал, где начиналась репетиция. Он всегда боялся опоздать.

Когда вошёл в фойе, из висевшего слева от косяка старенького динамика послышались тихие звуки. Вначале Шурка не обратил на них внимания, но вдруг его будто что-то подтолкнуло. Ещё не понимая, чего хочет, он резко добавил громкости, и всю полились волшебные звуки полонеза Огинского. Все почти враз повернули головы в сторону Шурки. На лицах восторг, восхищение, удивление. Равнодушных не было. Шуркино сердце наполнилось радостью и благодарностью ко всему окружающему, спокойной уверенностью, что всё ещё впереди! Всё и вправду только ещё начинается.

И обязательно будут когда-нибудь эти две ослепительные встречи: с отцом Станиславом и Верочкой Рогожинской.

...А удивительная музыка, заполнившая весь зал, лилась властно и всепобеждающе, не признавая границ ни в пространстве, ни во времени.

Книга вторая

**ЗЕЛЁНЫЙ
ЧЕМОДАН**

*Мы спешим,
мы ищем лучшей доли...*

И. Бунин

*Да, какая дорога была
перед нами!*

А. Сафонов

1

Первые дни зимних каникул в десятом классе для Шурки Ковальского начались с неожиданной потери. Уезжала из Утёвки в Кинель художественный руководитель районного Дома культуры Валентина Яковлевна Плотникова. Это был удар. Только что начали репетировать «Гамлета», Шурка уже почти все слова знал наизусть. «Но что ей Гамлет? — уныло думал он, — и что ей я — Шурка Ковальский?» Быть или не быть? — чудной вопрос. Быть! Но кем? Он кисло улыбнулся, вспомнив её обещание «сделать» из него артиста.

Слухи о том, что Плотникова долго не задержится в Утёвке, поползли давно. На то были основания. Художественный руководитель начала... пить. Постепенно шепоток о её «художествах» перерос в сплетни. И уже непонятно, где выдумки, а где правда. Многие говорили, что она зазналась после поездки в Москву, но Шурка чувствовал, что это не так. По его разумению, была причина серьезнее.

Разлад с начальством у Валентины Яковлевны, как заметил Шурка, возник после того, когда Утёвский хор занял первое место на областном смотре художественной самодеятельности. И закрутились местный и областной маховики властей. К объявленному на апрель Всесоюзному конкурсу в Москве решили образовать на основе Утёвского хора сводный областной из всех лучших самодеятельных районных хористов. На деле утёвских стали быстренько менять на про-

фессионалов. Из Волжского народного хора определили несколько артистов.

Однажды, до репетиции, в фойе Шурка оказался свидетелем разговора Плотниковой с величавой дамой из райкома, которую часто видел вместе с Лилией Григорьевной, заведующей районо.

— Понимаешь, чурки мы осиновые! Володька Пудовкин — парень очень чувствительный, он сломается. И у меня потом не будет лучшего гармониста. Не хочу!

— Ну, какая вы, честное слово, Валя, максималистка, всё равно ведь сопротивляться бесполезно. И потом, сам руководитель Волжского хора Милославов тоже одобрил: Григорий Пономаренко — баянист что надо! А ваш Пудовкин, хоть и хорош, но ведь молоденький ещё и растеряться может. Десятиклассник всего-то.

— Да идите вы все к чёрту, — не сдавалась Валентина Яковлевна. — Я ему говорить не буду, что не поедет, устраивайте своих подставных сами. Футбол какой-то. Марионетки! — почти как на сцене перед зрителями, гневно и красиво сказала Плотникова.

— Ну, Валечка, — как-то даже жалобно возразила дама из райкома, — какая же я — марионетка? — она, похоже, даже всхлипнула или у неё был насморк. — Мы же давние подруги с тобой!

Она посмотрела на Валентину Яковлевну, словно фиксируя, какую реакцию произведут последние слова.

Плотникова стояла, набычив косматую голову. Смотрела на неё молча, как на насекомое.

— Меня же выпрут из отдела, — вдруг то ли догадавшись, то ли испугавшись, а может, и то, и другое вместе, вполголоса сказала дама из райкома.

— А я вам что тогда говорила? Он же кровожадный... Теперь не успеет слово сказать, а вы все зададали. Ясно же: кто в кресло лисой прорвётся, тот волком потом там будет — не слушали!

— Валя, ну, что поделаешь теперь... У нас везде так.

— ... На вот, тебе Яковлевна записку передала.

Шурка удивлённо взглянул на мать.

— Вчера, когда вечером убиралась в фойе, она пришла малость пьяненькая. Села в зале в первом ряду и долго так молча сидела, смотрела, как вроде впервые всё видела. Стала рядышком около неё мыть пол, на меня уставилась своими глазницами красивыми и говорит: «Зверюги мы!...». Я не поняла, говорю с перепугу: «Кто — мы?» — «Мы все, — отвечает, — топчемся, грызём друг друга. Аморалку мне пришили. Выродки». Ничего не поняла из её слов. Она не хотела говорить. Но вдруг тебя вспомнила и очень хорошо про тебя сказала. Я не повторю сама. И вот — передала записочку.

Шурка развернул сложенный вдвое листочек из календаря. В нём размашистым почерком было написано совсем мало: «Шурка Ковальский! Будь собой, из тебя выйдет толк. А меня прости».

...Рано утром следующего дня Плотникова уехала из Утёвки. Увёз её на грузовике сосед Костя Зинин. Всё так просто. Об этом Шурка узнал уже днём, в школе.

...Позже доходили слухи, что в Кинеле она стала пить всё больше и больше. Он не верил, а, если точнее, не хотел верить...

После отъезда Верочки Рогожинской это — вторая страшная потеря в Шуркиной жизни. Подрезались корни, но странно: случившееся давало некую иную волну, непонятным образом усиливавшую желание узнать жизнь ещё больше и безогляднее там, за селом, в иных краях.

2

Не только уезжали замечательные люди из Утёвки — появлялись совсем неожиданно такие, которые надолго запомнились сельчанам. Особенно — учителя и врачи.

Залитая вешним светом чистенькая школьная учительская. В ней двое.

— Валентина Дмитриевна, хочу вас попросить: поговорите с мужем. Я Николая Николаевича никак не отловлю.

— О чём? Я готова, — завуч Валентина Дмитриевна, сидя

напротив нового директора, слегка улыбнулась. — Сама его не каждый день вижу.

— Да вот о чём: развернулся он крепко с садом-то яблоневым, — не то спрашивая, не то размышляя, проговорил директор. И уже прямо деловито спросил: — Большой сад-то будет? И где? Мне, приедем, всего пока враз не охватить. Тут столько событий у вас, не ожидал...

— Затеял на четыреста гектар под Ветлянкой.

— Четыреста? — переспросил директор. — Вот это размах!

— Да. Ему хочется, как и первому директору здешнего Утёвского гослесопитомника Василию Петровичу Бочарову, приложить руки к озеленению Утёвского района. Сад-то уже весь почти посадили.

— А что, разве Василий Петрович здесь начинал? Я его не знал близко, видел в райкоме пару раз.

— Да, здесь. А сверху ему помогал наш земляк Николай Ильич Росляков — управляющий трестом плодopитомнических совхозов, один из первых комсомольцев у нас. Часто наезжал в Утёвку, у него много здесь было друзей. Они по-комсомольски и начали действовать в пятьдесят четвёртом. Добились, чтобы всех жителей обязали заводить около домов палисадники. Начали закладывать парки. На Центральной улице, напротив райкома партии — это всё они. А руководил посадкой бригадир питомника Павел Егорович Сорокин. Сельчане, наши ребята с удовольствием помогали. Питомник еле успевал доставлять посадочный материал.

— Где озеро Лещевое, от него на взгорье с правой стороны, у Осинового озера, он всегда там был?

— Да, с самого начала. Вы меня разволновали. Конечно, неслыханное дело: в полустепном Заволжье такой оазис. Я уже попривыкла, сначала очень гордилась работой мужа. Но забот потом у него столько оказалось... Днюет и ночует там. Зато все, кто не ленивый да повеселей душой, сады разводят. Всё село в яблонях!

— Так Сорокин же, по-моему, и сейчас там работает?

— Да! Кстати, его идея и он её внедрил: лесополосы от Утёвки до Покровки.

— Замечательно, Валя, — сбился со сдержанного тона Михаил Дмитриевич. — Я человек новый тут, помоги мне при-

влечь старшекласников к разбивке сада. Весна же на дворе!
Понимаешь, исторический момент:

Я верю: город будет,

Я знаю: саду цвeсть!

Это же Маяковский сказал и про нас с вами. Какой воспитательный урок! Понимаешь, ребята сажают сад. Не садик, а сад в четырёхста гектар. А рядом растёт, поднимается город нефтяников. Через пять-десять лет ребята вернутся и глазам не поверят: новый город и рядом — огромный цветущий сад! Ты понимаешь, о чём я говорю? Это как кино. Нарочно не придумаешь! И начальник управления Макк — молодец. Он в Нефтегорске и Ветлянке тополиные аллеи высадил.

— Михаил Дмитриевич, вы — поэт?! — с удивлением спросила завуч.

— Да нет же, нет, Валя, не то: мы воспитатели, педагоги, понимаешь. Твой муж Полянский — мудрец, уловил то, что сейчас самое важное.

— Что?

— Надо суметь не уйти от земли, надо о ней помнить. Индустриализация нарастает. Это неизбежно.

— А раз неизбежно, зачем сопротивляться?

— Да не сопротивляться, о чём речь? Быть терпеливее и бережливее. Вон мне рассказывали: до войны арестовали и посадили ученика вашей школы Петра Гриднева, он был поэт, а Петра Ковалёва, он читал Есенина — еле спасли.

Он замолчал, молчала и Валентина Дмитриевна.

— Слепы мы порой отчего-то, затмение находит.

— Михаил Дмитриевич, вы любите Есенина?

— Да... Но вопрос не в этом, а в том, что крестьянство — как бы некая Атлантида, некая цивилизация, но она за себя никогда не умела сказать так, как это чувствовала. И вот появились её глашатаи, её сыны, которые за всех пытались сказать: Николай Клюев, Сергей Есенин, Клычков, Пётр Орешин и многие другие. А их всех потихонечку... Не стало их. Духовность крестьянства исчезает — и умелость, и основательность. А тут вдруг среди наших ребятшек вновь возникнет Есенин, а?

— Вы как будто не математик вовсе, — задумчиво произнесла завуч. — Всё очень здорово, конечно, и... неожиданно.

— Да-да, — проговорил директор. — В сущности, мне хотелось, чтобы ребята поработали на посадке яблоневого сада.

Он встал и подошёл к окну.

— Вы — деревенский? — спросила завуч неожиданно для самой себя.

— Нет и да. Я со станции «Тихорецкая». Отец был железнодорожником, дед с Кубани, казак.

«Вот ведь, уже чуть не год у нас новый директор, и думать не думала, что он такой. Очки и лысина делают его похожим на какого-то немца-арийца, а тут столько эмоций, правда, сумбурных и странных для такого сухаря, но отличного математика!»

— На работу надо ездить километров за десять от Утёвки, а у мужа в питомнике, я знаю, только одна машина «ГАЗ-51».

— Ну, я с властями попробую договориться, найдём выход.

— Приходите сегодня к нам, вдруг муж приедет ночевать, вот и поговорите, а нет — я вас завтра с шофёром Александром Ивановичем Шулеповым отправлю. Он-то обязательно вечером возвращается.

...Получилось, что директор питомника дома не появился.

Рано утром следующего дня, ещё не было и семи, директор школы и Шулепов уже пропылили на стареньком «газике» мимо школы и выехали за село.

После моста, на выезде из Утёвки, три дороги. Крайняя слева — к Самарке, крайняя справа, прямая и широкая, ведёт к старинному селу Покровка, а вот средняя, которая вдоль старицы, она-то и идёт к глубоким родниковым озёрам Осинное и Лещевое. Здесь и расположилось хозяйство Полянского.

Директор школы был молод. Хотелось значительного и нужного дела.

«Как это замечательно и грандиозно, — думал он, — четырёх гектаров сада! Как она так сдержанно может относиться к тому, что намечается», — удивился он, вспомнив, как завуч сказала о муже: «Да у него энергии избыток, вот и размахивается так широко, а психология — это дело, очевидно, наше с вами, мы — порченые люди, всё у нас, у педагогов, с большим смыслом. Жить надо. Нормально жить. А он со своим садом дома не бывает. — И продолжал размышлять: — Поймут после. Осмыслим много позже. Где мы были, какие и куда придём».

С Полянским он обо всём договорился. Домой из питомника шёл пешком один. Так решил. Хотел подольше побыть на весеннем тёплом ласковом воздухе.

«Интересно, на земном шарике столько народу, у каждого — сердце, голова, душа: кто и что думает? Думает ли и чувствует кто-то сейчас то, что я? Не я же один мечтаю о саде, о будущем? Кто-то где-то среди миллионов думает и испытывает подобное? Конечно, я чудак. Я непрактичный человек вовсе, за всю жизнь не посадил ни одного дерева, так получалось. Я в долгу у многих, если не у всех. Но хочу быть полезным. Молодцы Любаевы и Головачёвы. Они уже на своих огородах посадили яблони».

...Он пришёл в село в сумерках, не заходя в школу, направился домой.

Ночью спал крепко, что бывало в последнее время крайне редко. Проснулся вовремя и пошёл в школу в приподнятом настроении, радостно встретив взглядом у входа стайку первоклашек.

3

Были и другие пришлые люди...

Появившиеся около Утёвки бригады буровиков взбудоражили окрест устоявшуюся размеренную сельскую жизнь.

Майские праздничные дни украсились не цветами, а грязными брызгами рвущегося и беснующегося потока. За околицей села, ближе к посёлку Чапаевский, вырвался этот чёрный бес из скважины и которые день и ночь поливал всё вокруг. Оплошали рабочие, и газ с нефтью заявили о себе непредсказуемо и дико.

Многометровый фонтан за несколько суток превратил весёлые дома посёлка, лес со стороны Самарки, саму землю в нечто тёмно-серое, мрачное и неживое. И даже то, что, к счастью, не возник пожар, как-то не очень успокаивало. Всё, что было посёлком, превратилось в ничто.

...Шурка и Мишка Лашманкин примчались за околицу на велосипедах.

Они не узнали ни посёлка, ни леса, ни ильменька.

Словно наяву оказались в дурном сне.

Стайка крупных кряковых уток, вернувшихся к себе на

гнездовье, два раза прошелестела над головами ребят, над кругленьким ильменьком и, не решаясь сесть на бурую со свинцовыми проблесками гладь, потянула к Самарке, в сторону Лебязьего.

В прошлом году Шурка с отцом здесь, вокруг ильменя, заготавливали сено. Разная тут была трава. Но чаще всего и гуще эти пойменные луговины зарастали лисохвостом. Шурке он нравился, высокий, около метра, серовато-зелёный, украшенный султанчиками. И косить лисохвост легко, и скотина его любит. В мае он уже цветёт. Если скосить пораньше, то скоро вновь отрастает и набирает цвет. Можно косить заново.

...От не успевших ещё распуститься верхушек и до ползучих корневищ лисохвост теперь забрызган бурой непривычной влагой, как и всё остальное вокруг.

Отыскал взглядом Шурка и чистюлю рогозу, небольшими кулижками поднимающуюся в воде вдоль берега. И она поникла.

Они часто приезжали сюда с братом Петром, чтобы нарвать её коричневых и плотных початков. Выживет ли теперь всё тут?

Когда шли назад к велосипедам, Лашманкин всё смотрел вверх на фонтан. А Шурка не мог отвести глаз от загаженной земли и травы.

Подорожник, непременный помощник при порезах и ссадинах, сам теперь выглядел ушибленным. Его время цветения — середина мая — ещё не пришло, но теперь уже трудно было поверить, что в этом году появятся его бледно-розовые венчики...

Лишь осот, от которого не отобьёшься и косой, с длинными горизонтальными корнями сорняк, колючими зубчатыми своими листочками щетинился, вгрызаясь в землю.

...Татарник, непокорный обычно и жизнестойкий, лёг вдоль земли, надломившись под корень. На него наступил тяжёлым ботинком у Шурки на глазах высокий и грузный начальник в новенькой плащпалатке, прибывший на аварию из областного центра.

Жизнь, связанная с нефтью, начиналась для Утёвки не просто.

Бьющую нефтью и газом скважину в конце концов уладили. Жителей посёлка переселили кого куда; остались мёртвые дома, четыре дерева да мутно и угрюмо сверкающие на солнце огромные нефтяные лужи... Дыхание новой жизни, принесённой техническим прогрессом, химизацией, о которых так часто теперь говорили, писали в газетах, резко и неожиданным образом коснулось и Шуркиной жизни. Пока ещё вроде по касательной, вроде бы не напрямую. И была в ней, в этой новой жизни, некая неотразимая... притягательность. Она захватывала, звала к себе... Несмотря на свою безжалостность.

...Подъехали на подводе Синегубый и незнакомый седой старичок.

— Новая жизнь, она не сразу в руки даётся, вишь, её объезжать надо, как молодую кобылу, — сказал незнакомый. — Но зато — прогресс!

— Ага, — отозвался Синегубый, — один прогресс мы еле пережили.

— Какой?

— А у нас колхоз назывался «Новая жизнь» — тоже красиво. Сначала хотели назвать «Прогресс».

— Второе Баку у нас под боком. Мы на нефти с тобой живём, понимаешь? Это ж богатство какое! Весь край Утёвский оживёт. Утёвка, поверь мне, через десяток лет превратится в город. Непременно. Я читал в «Ленинском луче»: громаднейшие запасы нефти. Загудит здесь скоро новая жизнь, — седой старичок говорил уверенно.

— Посмотрим, коль не помрём, — отозвался Синегубый и часто заморгал подслеповатыми глазами, обратив рябое лицо своё к тёплому утреннему солнышку: — Я к брату ездил в Чапаевск на той неделе. Дак они давно уже там зачервивели...

— Ты знаешь, из чего нефть состоит? — спросил Мишка.

— Из разложившихся останков животных, — неуверенно ответил Шурка.

— Во-во, точно, хотя и другая теория есть, мне мой дядька рассказывал.

— Он кто? — поинтересовался Шурка.

— Строитель. Сейчас строит нефтеперерабатывающий комбинат в Новокуйбышевске. Начинал с кольшкков. Он много кой-чего знает. Работал со знатным строителем Иваном Мироновым в одном тресте. Когда он погиб, взорвался в подвале, дядька был с ним, только уцелел.

— Ты не прав, — обращаясь к Синегубому, сказал попутчик. — Первый колхоз в Утёвке образовался под названием «Гигант», попервоначально в него вошло почти всё село.

— Добровольно, что ли? — уточнил Синегубый.

Наступила пауза. Старичок неспешно достал из левого кармана тёмного опрятного своего пиджака пачку папирос «Беломорканал», щёлкнул по её тыльной стороне, из двух выскочивших папиросин губами ухватил одну и попросил у Синегубого огня.

— Кто это такой ладненький? — спросил Шурка своего дружка.

— Кузьма Емельяныч Данилов, бывший директор нашей школы. Давно на пенсии, лет уже пятнадцать. Он — историк-краевед, мужики зовут его Дотошным.

— Иль ты не знаешь, как было добровольно-то? — сминая мундштук папиросы, проговорил старичок. — В 1928 году из Самары прибыли первые уполномоченные для организации колхозов, а с ними и представители ОГПУ. И закрутилось: при сельском совете организовали штаб, имевший право раскулачивать кого надо. Амбары с хлебом у зажиточных крестьян опечатали, их самих вызвали в штаб для агитации. Не все сразу поддавались добровольно. Твою родственницу, Степан, Евдокию Сонюшкину, активист Мишка Власов крепко ударил, когда она отказалась отдать корову.

— Так всё и отдали в колхозы? — не утерпев, спросил Шурка.

— Нет, — повернувшись к нему и глядя зоркими, колючими глазами из-под мохнатых бровей, отозвался Данилов. — Видишь ли, многие зажиточные успели уехать до колхозов, на ихних дворах и разместили общественный скот. Раскулачивание началось в двадцать девятом году и саботажников начали выселять.

Порывы весеннего ветра усилились и брызги нефтяного фонтана стали долетать до велосипедов. Крупные капли буро-

ватой жидкости упали прямо под ноги Шурки в весенний, прогретый уже майским солнцем песок. Не успели они с Мишкой попятиться, как большое рыжее пятно враз село на Шуркину голубую футболку и стало расплываться, превращаясь в своеобразный орден, чуть ниже ключицы с левой стороны груди.

— Во, гляди, Ковальский, тебя одного отметило. Это неспроста, это судьба, ребята, — заволновался Кузьма Емельянович. — Это знак! Помяните моё слово, новое пришло в наши края. Плохо это или хорошо, время покажет. Я — историк, и скажу: этот фонтан, нефть — лишь начало чего-то такого, что определит надолго многие судьбы, а уж утёвцев-то — само собой.

Шурка снял майку с бурым пятном, попробовал отжать влажное место. Маслянистая жидкость отдавала в нос запахом керосина.

Они вчетвером, отступив от дороги, стояли на обочине. Смирная кобыла спокойно выщипывала траву, обнажая жёлтые крупные зубы. Позвякивали свободные удила.

— Про колхоз-то доскажи, Емельяныч!

— А что досказывать? Развалился, как и должно было быть. Колхозники первоначально коллективно хозяйство вести не умели. Село разделили на бригады, бригадирами назначили коммунистов, комсомольцев. Закрепили ответственных за скот. С кормами-то осечка получилась, их старые хозяева уничтожили, а новые запастись не сумели. Пошёл падеж. Коров вернули колхозникам, кто остался. А «Гигант» разделили в тридцать втором году на три колхоза, потом раздробили уже на семь. Колхоз «Новая жизнь» возглавлял Дмитрий Лобачев, твой, Ковальский, родственник, брат твоей бабки Груни, слышал?

— Нет, — признался Шурка. — Откуда так всё знаете? — Шурка посмотрел на Данилова и вновь встретился с его колючим и каким-то дремуче-далёким взглядом.

— А вот живу долго, интересуюсь всем...

— Он книжку об Утёвке пишет, «На крутом повороте» называется, переписывается с писателями. К нему из Свердловска даже известный журналист Девиков приезжал, интересовался нашим Григорием Журавлёвым, безруким художником, — вмешался Мишка.

— Ты-то откуда всё знаешь? — в который раз удивился Шурка.

— А слышал, что сказал Данилов: живу, расспрашиваю...

— Да, ладно, — хлопнул Шурка друга по плечу. — Тоже мне историк нашёлся.

А между Синегубым и Даниловым шёл свой разговор:

— Был один у нас, ещё до войны, в коллективизацию, Минька Гришаев, шалапут, громче Мазилина. Такой же, токма белявый, а не чёрненький. Он за обчими лошадьми приглядывал и заодно им всем клички выдал. Была у него Бомба, Кусачка, нашу, помню, Карюху переименовал в Матрёну, отец мой тогда ругался на него. А одна была под названьем Индустрия.

— Что-то больно серьёзное название, — отозвался Данилов.

— Дак у него жена ещё серьёзнее прозывалась: Интервенция, ага! — Синегубый помолчал, пожевал губами и продолжал: — Вот эта лошадка — Индустрия — крепкая была, вроде б надёжная, а так одна ему в пах лягнула, что он, Минька-то, валялся. Когда отошёл, они малость вроде бы подружились и ничего бы, опять работёнка у него пошла, но ещё разок она ему чуть выше виска саданула, помню, рассекла кожу, черепок целым остался, а под глазом образовался огромный синяк, страшный. Долго ходил так с ним. Ушёл он с конюхов-то. Не поладили они.

— Ты это к чему? — старик Данилов, улыбнувшись, посмотрел на Синегубого.

— Да уж больно случай похож на нонешний. Уж Миньки нет, лошадки той нет, а история продолжается. Обратом Индустрия лягнула и вон, смотри, всё иссиня-коричневое вокруг стало. Лица нет. Это только у нас, здесь...

— Да, брат, крепок ты на аллегии, даже не ожидал, — загадочно проговорил Кузьма Емельянович.

— Чего? — не понял Синегубый.

Но старик его не слышал или не торопился отвечать. Он думал свою думу, и она сейчас была для него важнее разговора с Синегубым.

...Старик Данилов, конечно, был прав, когда говорил об огромной роли добычи нефти для преобразования Утёвского района. Но мог ли он предполагать, что нефть и газ скоро глобально определяют судьбу всей страны? А через сорок с небольшим лет вокруг чёрного золота и голубого топлива в стране и в мире будет много крови, стрельбы, возникнут настоящие войны.

Не догадывался и Синегубый, какая судьба ждёт его первого внука, ставшего для него непонятно кем — топ-менеджером одной из нефтяных фирм. С простреленной головой привезут его в морозный день перед самым новым девяносто пятым годом из Москвы хоронить.

Он не увидит это по простой причине. Контузия, полученная под Курском, довершит дело: Степан Сонюшкин к тому времени совсем ослепнет.

* * *

...Старик Данилов немножко опаздывал, когда, наблюдая нефтяной фонтан у посёлка Чапаевский, говорил о рождении новой жизни в майский день шестидесятого года.

Ещё в пятидесятые годы было открыто Кулешовское месторождение нефти. Оно положило начало развитию Южно-Куйбышевского нефтегазоносного района.

Именно в 1958 году буровики разведочной конторы № 4 треста «Куйбышевнефтееразведка» заложили скважину под номером пятьдесят, а двадцать девятого апреля пятьдесят девятого года с глубины 1817 метров скважина, пробуренная нефтяниками Абросимовым и Филипповым, дала фонтанный приток нефти с суточным дебитом 100 тонн.

И начал раскручиваться маховик индустриализации степного края. Его машинное дыхание чувствовалось всё сильнее.

В сентябре пятьдесят девятого создали участок по добыче нефти и нефтепромысловое управление. Из Сызрани привезли первые домики (вагончики), расширялась материально-техническая база посёлка Ветлянка, появилась первая улица нефтяников.

Уже недалёк был тот день, десятого июня шестидесятого года, когда облисполком выделит землю под строительство посёлка нефтяников нового типа — Нефтегорска, которому позже суждено стать городом и центром всего района.

То ли годы несли взрослому Шурку в водоворот событий, то ли сами события неминуемо должны были задеть, но он чувствовал — судьба его скоро резко изменится, и мощный поток стремительно меняющейся жизни увлечёт его.

Много необычного, непривычного шло из Нефтегорска. Жизнь и работа, которая текла там, удивительным образом

задевали и преображали его село, само Шуркино существование. Туда, где только-только начинали складываться нормальные условия труда и быта, строиться хорошие дома, двинулись люди, и не только из Утёвского района.

Промышленные объекты были разбросаны по необъятной, казалось, степи. Дороги как таковые отсутствовали. Не было асфальтированных до города Куйбышева, до станции «Богатое», откуда шли грузы для нефтяников.

Новая жизнь рождалась в бездорожье, в весенней и осенней распутице, в зимних морозах. Но люди не сдавались. На тракторах, телегах, пешком добирались до буровых. Над головами Шурки и его односельчан зашумели самолёты и вертолёты, здорово выручавшие нефтяников.

Строительство дорог становилось первостепенной задачей. Формировался новый промышленный район. Зазвучали фамилии руководителей. Во главе промышленно-производственного комитета стоял Виталий Андреевич Железняков, его заместители Александр Васильевич Постников, Алексей Михайлович Ильин и другие. И хотя Утёвский район входил в состав Кинельского, затем Волжского, всё же сама жизнь определила, что быть ему самостоятельным — Нефтегорским.

4

Апрель 1961 года. Полупустой зальчик автовокзала в Куйбышеве. К окошку справочного бюро пробирается крепко сбитый парень, смуглое лицо его украшают щеголеватые чёрные жёсткие усы.

— Красивая, скажи, как добраться до Кулешовки?

— Если повезёт с попуткой, сначала до Осинок, потом на «кукурузнике», — ответила «красивая» и, изучающе посмотрев на парня, спросила: — На работу, после Сызранского нефтяного техникума?

— Так точно, — удивился парень. — Откуда знаешь?

— Ваших вчера трое было, никак не могли уехать. Но куда-то делись.

— Какой тебе «кукурузник» сейчас, — пробасил стоявший рядом парень. — От снега одни клочки остались — кругом грязища, какой тебе самолёт?

Евгений обернулся. На него в упор смотрел парень, очень похожий на артиста Бориса Андреева.

— Дуй до Кряжа, потом попуткой до Дмитриевки, а там – как повезёт..

...Евгению действительно повезло с попутками. До посёлка Ветлянка добрался на тракторной тележке с оборудованием. Городок из вагончиков и нескольких щитовых бараков встретил Евгения Разлацкого непролазной грязью. Позади — армия, учёба в техникуме. Совсем недавно в Астрахани, где жила семья, умерла мать. Ничто не удерживало его в Сызрани, а что ждало в этой необъятной степи, он не ведал.

Прошла первая ночь, а наутро радость — встреча сразу с четырьмя такими же молодыми специалистами, жаль, правда, что не сызранскими однокашниками.

Разместили вновь прибывших в «офицерском» бараке, где уже жили инженерно-технические работники бурения и промысловики. Появившийся чуть позже приветливый и основательный начальник НПУ Иван Макк пообещал вначале кровати, а когда будет построен город Нефтегорск — квартиры.

— «Когда будет построен город» — это звучит! — улыбались ребята-буровики.

А уже на следующий день оператор по добыче нефти Евгений Разлацкий был назначен в первую бригаду к мастеру Рэму Ивановичу Вяхиреву, лично инструктировавшему всех новичков.

В посёлке Ветлянка уже были столовая, клуб, конторы разведочного бурения и транспортная, нефтепромысловое управление с двенадцатью скважинами.

...На голом степном месте, где начинал расти Нефтегорск, уже стояли теперь четыре дома. Сами строители жили в селе Семёновка.

Единственным бревенчатым помещением был «Универмаг», основной транспорт для доставки на работу весной и осенью — тракторы. В Нефтегорск курсировал от плотины до огромного водохранилища «Ветлянское» трактор и прицеп к нему с бортами из досок.

Непростое это дело — обслуживать закреплённые за тобой скважины. Оператору Разлацкому приходилось, водрузив на плечо противогаз, сумку с ключами и сальниковой набивкой, мерить расстояния между ними собственными ногами.

События неслись стремительно. Вскоре заработала механическая мастерская. Нефтекачка начала откачивать нефть дизельными насосами. Уже в шестьдесят первом году буровики отмечали миллионную тонну добытой нефти.

Пройдёт совсем немного времени, её поступление возрастет, построят нефтестабилизационный завод, и первым директором его станет тот самый улыбчивый мастер Рэм Иванович Вяхи-рев, будущий глава российского «Газпрома».

...Евгений же вскоре начнёт трудиться оператором-инженером отдела капитального строительства. Штаты всех контор располагались в Ветлянке, от которой пошло асфальтирование дороги до Нефтегорска. Тогда жители Нефтегорска и Ветлянки почти каждый знали друг друга. Радость и горе были общими.

Новый город, как магнит, притягивал людей. Много предстояло встреч Евгению впереди, будет и встреча с Шуркой Ковальским...

...И поселится он временно на одной улице с ним, рядышком с его нарядным домом.

* * *

Приближаются майские праздники. Катерина Любаева сегодня с утра, как только растеплилось, моет окна. Василий ещё вчера, после дежурства в клубе, выставил внутренние рамы. С одними оконными рамами в избе стало намного светлее.

Вторые рамы обычно ставили на зиму где-то в сентябре. Между ними Катерина прокладывала бугорки из ваты, предварительно заклеив все щели бумагой или ленточками из белых тряпок. Вместо клея — мыльный раствор. На ватные бугорки между рамами хозяйка насыпала мелко нарезанные кусочки цветной бумаги и блески от новогодней клубной елки. Красиво. Шесть окошек — четыре на улицу и два во двор — украшали избу Любаевых. Окна ещё и оттого были нарядны, что Василий сам сделал резные наличники и выкрасил их в белый цвет.

На крайнее окошко со двора и на одно уличное, где всегда почти шумно работал радиоприёмник, Катерина поставила по большому горшку с цветами. И теперь эти окошки постоянно встречали и провожали Шурку, когда он приходил и уходил из

дома, нежными огоньками приветливого взгляда приблудившейся дочери Южной Африки — комнатной герани.

И не одного Шурку, но и брата Петра, и двух их сестёр Любку и Надюху, от которых всегда было шумно, радовала герань.

Ловкие руки Любаева умели из ничего сделать конфетку.

Дом Любаевых — их саманная изба — всегда приветлива. В неё каждому хотелось войти. Все окна имели распашные рамы, их сделал сам Василий Фёдорович. Каждое окно всегда готово было распахнуться, а весёлая хозяйка или забавные девочки — позвать в гости.

Дом не походил на саманный. Василий набрал дощечек, обрезков ото всего разного деревянного, остатков тарных ящичков из магазинов и, провозившись кропотливо всю зиму в своей мастерской, к весне, в прошлом ещё году, заготовил материал для обшивки. И вместе с Шуркой и Петром обшили избу деревом быстро. Ножовка у отца всегда была разведена и наточена отменно, материал — лёгкий и удобный, гвозди заранее выпрямлены и подобраны по размеру: пятидесятки — для досок, сотки — для прожилин. Отчего не работать слаженно и весело?

Дощечки набирали не торопясь: ёлочкой на стене, а углы обрамили и заключили, как бы в деревянный корсет из горизонтальных досочек, чуть покрупнее тех, что на стенах. Получилось солидно.

Оказалось, что на глухую полную стену от соседки Мани Сисямкиной обшивки не хватает, и Любаев решил оставить её отделку до следующего года.

Мать два раза старательно, в лад отцу, прошлась по этой стене хорошим слоем глины, намешанной с порциями конского навоза и песка. Глину с Шуркой привезла специально от моста за домом Пашеньки безумной, на Саратовской улице.

Просохшая стена сразу всех порадовала. Ровная, нарядная, светло-рыжего цвета, оттенявшего дом с улицы. Потом Василий с Петром выкрасили её светло-голубой краской.

И это ещё не все — той же весной появился ровненький аккуратный палисадник. Изгородь его, хотя и была из тонких осиновых штакетин, нарезанных Василием на пилораме на свой манер, но стояла ровно и достойно.

Осенью Шурка посадил в палисаднике справа под окном сирень и клён, которые принёс в мокрой рубахе с озера Лещево-

го. Слева уже росли два больших карагача, с той поры, когда закладывали большой парк на Центральной улице от столовой до Лаптаева переулка. И над всем этим широкое утёвское небо, которое Ковальский всегда чувствовал. Его глаза всегда отдыхали и наполнялись светом, когда он смотрел в него.

...А во дворе отец подсказал посадить две яблони: китайку и московскую грушовку. Александр так и сделал, съездив на велосипеде за саженцами в питомник.

— Пап, у нас не дом, а резиденция! — сказал Петро, когда они подкрашивали наличники.

— Это что такое будет? — поинтересовался Любаев.

— Ну, красивый дом такой.

— Откуда эдакие слова знаешь?

— Да вон, — он махнул в сторону брата, — у Шурки в слове прочитал, у него — толстый такой.

...Они любили свой дом.

Чуть ли не метровые стены из самана держали температуру отменно, тому способствовал и плотный завалинок, словно скатанный полушалок, охвативший все три стены дома. А четвертую сторону защищали сени из широких деревянных плах, толщиной сантиметров в пятнадцать.

Зимой в доме было тепло. Печь стояла на кухне — её Катерина топила не каждый день. Выручала голландка, что слева на входе в горницу — эlegantное сооружение из кирпича и жести, выкрашенное в чёрный цвет. Большая, от пола до потолка, круглая тумба, когда топилась, приветливо гудела. И яркие красные огоньки высвечивались через неплотности чугунной дверцы — манили к себе.

Катерина любила в зимние вечера, вбежав с морозного двора, постоять около топившейся голландки, осторожно приблизившись к её тёмному круглому телу, и что-нибудь рассказывать. Отец обычно ложился на кровать с краю, а ребятишки располагались, кто где: Шурка с Петром на самодельном, обтянутом дерматином диване, девочки — в закутке спальни.

Катерина часто начинала с ходу. Обжигая руки о голландку, держала их за спиной, смотрела в окошко и произносила чуть ли не строго:

— А вот ещё разок мы с бабой Груней...

У ребятишек сразу были «ушки на макушке», они знали,

что расстояние от того, когда их мама серьёзная, и до хохота со слезами очень маленькое...

...А летом дом выручал своей прохладой. Если выгнать мух и завесить окна чем-нибудь плотным — лучшего места для отдыха не найти. Палящее летнее солнце, раскалённый воздух и знойная пыль — всё это оставалось где-то там, кажется даже, совсем-совсем далеко. Так изба старательно защищала своих жильцов, так благодарила за любовь к ней...

С тех пор, как отец получал пенсию, связанную с фронтовой инвалидностью, и завершилось строительство новой избы, жизнь Любаевых растеплилась. А вскоре Катерина и Василий стали работать вместе в клубе. Любаева приняли туда ночным сторожем. Полегчало. А то жили постоянно под нуждой.

* * *

Катерина Любаева хлопочет у печки. Василий объявился во дворе и она готовит обед.

— Петро, а, Петро?

— Чё, мам? — брат Александра, семиклассник, только что пришёл из школы, раздевается.

— Ты не зови Шурку-то поляком, нехорошо.

— А я и не зову, мамань, — быстро говорит Петро.

Катерина выпрямилась, посмотрела на сына, снимавшего валенки и одновременно махавшего рукой, пытаюсь попасть шапкой на крючок вешалки.

— Ты когда-нибудь будешь хоть что-нибудь нормально делать? — сказала она больше для порядка. — Зовёшь ведь. Вчера, когда калду от навоза чистили, назвал.

— Мамк, ну. Его ж все в школе так зовут, и ничего.

— Пусть зовут, а ты не надо, дома, тем более...

Петро задумался на секунду.

— Я уж придумал, как мне звать братана, — уверенно доложил он, наконец сняв и второй валенок и водрузив шапку на вешалку: — Коляк!

— Чего ещё придумал? — мать даже присела к столу.

— Ну, это, мам, ничего, даже красиво. Понимаешь, Ковальский и поляк. Если взять немножко и оттуда, и отсюда — получится Коляк. Тудыль-судыль.

— И зачем тебе это надо?

— Да всех как-нибудь зовут.

— А зачем ты Мишку Лашманкина зовёшь Вшивиком? Не-хорошо-то как.

— Ну, он, мам, это, правда, как вшивый, дёргается и дёргается. Вот поэтому.

— Он уши тебе оболтает, будешь знать. Это тебе не брат Шурка.

— Ага, правда, — соглашается придумщик Петро. — Наш Шурка и не дерётся в школе, и матом не ругается. Как не свой. Коляк!

— Петък, эх, ты и бестолочь неумная: а Перова почему кличешь Перпухом?

— Ну, Перов пух, он как одуванчик, белый же и лёгкий такой, как второклашка...

Мать, покачав головой, скомандовала:

— Иди отца крикни на обед, обязательно чёботы одень, а не галоши.

Только Петька выходит — дверь открыл, сестра Надя тут как тут:

— Анна Ильинична вздумала собрание проводить — вот и держали.

Когда сын вышел, Катерина спросила:

— Они Шурку там, в школе, поляком так и зовут, дураки?

— Да нет, мам, малышня да Петька иногда, а так — нет. Его любят.

— Что так?

— Да с ним интересно, водится со всяким. Он такой правильный. У нас в пятом тоже есть, как он, Витька Зенин, только он заболел. Мамак, ты не слышала? — она осторожно взглянула на мать. — Протащили его.

— Как это?

— Ну, в газете, в стенной.

— За что?

— Да он, Шурка, понимаешь, в футбол гонять любит. Там у них как-то получилось, то ли нарочно, то ли ошибся: увёл целый класс на стадион, а учитель-то истории, оказывается, выздоровел, пришёл на урок, а никого нет. Пошли за ними на стадион.

— Беда-то невеликая, — сказала Катерина. — Этот учитель больно уж часто болеет.

— Ага, — согласилась дочь. — А Шурку нарисовали во всю газету, как он меняет комсомольский значок на футбольный мяч. Цветными красками, мам.

— Ну, куда они пропали? — вспомнила Катерина про сына с мужем, глядя в окно.

— Мамака, а Шурка с Любой? Я их не видела по дороге в школу, вторая смена уже прошла.

— Да они у бабы Груни, она их перед школой просила зайти, чего-то помочь. — Вспомнив рассказанное про сына, спросила: — Не отберут значок-то? А то, как тогда, осенью.

— Да нет, мам, там всё утихло уже.

Катерина вспомнила, как осенью четверо десятиклассников съездили в посёлок Ветлянский и постриглись под модную «кандуку». Это была дерзкая выходка. И хотя никто ребят не ругал, не прорабатывал, но смотрели преподаватели на это косо. А ребятам будто шлея под хвост попала. Взбрыкнули: взяли и постриглись, опять вчетвером, наголо. Это перед самым-то приёмом в комсомол! Их тогда не приняли — отложили. И оставили в покое, чтобы не спровоцировать ещё на что-то трудно поправимое.

Родителей вызывали в школу, но Любаевы не пошли.

— Не маленькие, сами разберутся, — отреагировал Василий. — На то они и учителя.

— Мы только хотели сказать вам, Катерина Ивановна, — говорила вежливо, нестрого чуть позже встретившаяся у клуба химичка Валентина Сергеевна, — что, если будут себя так вести, могут не получить комсомольского билета, а без него, знаете, трудно поступить в институт.

— Чать они не ошалапутили, ребята ведь хорошие, — сказала Любаева.

Учительница вздрогнула вся. Не поняла, кто это «не ошалапутили». На том всё и закончилось.

— Мам, папка у Росляковых, — объявил вернувшийся Петя, потирая замёрзшие руки.

— А чего он там забыл?

— Поросёнка зарезали, а паяльная лампа у них не работает, его позвали посмотреть.

— Садитесь тогда. Его вечно не дождёшься.

...Головачёвы тоже обедали.

— Иван, Шурка-то какой взрослый стал, — доставая из печи бывший когда-то зелёным закопчённый чайник, сказала баба Груня и вздохнула.

— Растёт, чай, вот и взрослый, — ответил Головачёв, ломая хлеб на мелкие кусочки и бросая в суп.

Совсем стало плохо с зубами у Ивана Дмитриевича. То глаукома напала на левый глаз, то теперь вот другое наказание.

Он не любил, когда она так вздыхала: начнёт потом своё...

Баба Груня знала это, но продолжала:

— Ты ещё веришь, что Станислав-то вернётся? — спросила она осторожно, а сама всё думала и про сына Сергея, второй месяц от него письма нет — как пропал.

Они жили уже третий год одни, без сыновей, и тосковали. Каждый по-своему. Иван Дмитриевич старался не показывать этого. Ему проще — у него рыбалка. Уехал на озера и думай там свою думу, а ей...

— А помнишь, как Станислав тогда нам сказал: «Жив буду — вернусь к сыну». Он так верил, что сын будет. По его получилось ведь.

— Уж больно годов-то сколько прошло.

— Теперь бы хоть одним глазком посмотрел на Шурку — вылитый отец, и кудрявый, правда, немножко, не как он. Ещё глаза серо-зелёные, а у отца были голубые. Катькины карие примешались... — И совсем неожиданно: — Иван, ну, давай я поеду к Сергею-то денька на два, хоть знать будем, что да как, город ведь, как никак? Яичек прихвачу с собой.

— Делай, как хочешь, — сдался Головачёв, — а я думаю, Сергей сам скоро приедет. Чую.

— Может, оно и так, — согласилась баба Груня, — но ноне ночью, когда я ходила телёночка посмотреть, куры с насести слетали — беды бы не было какой, знак нехороший.

— Да ладно наговаривать-то.

— Ей-богу, — продолжала своё баба Груня, — инно кто их палкой сшиб с жёрдочек-то. У меня сердце ажник упало.

Дед Иван ребром ладони левой руки провёл несколько раз

по столу, собирая хлебные крошки в кучку, и постарался перевести разговор в другое русло:

— Ты лучше скажи, куда зипун мой делся, хотел поправить немножко у него спинку, растрепалась.

— За мазанкой, где оглобельник, видела вчера, там и есть, наверно. — Бабе Груне не до зипуна, куда он денется? — Ни одна так не было у нас с курами-то. А у Макарычихи было, ночью вот так же куры слетели, а днём хлебнула горяюшка-то со своим Феденькой: ему бензопилой, когда дрова пилили, бра-тельник ширкнул по ноге.

И она опять вздохнула. Хотела удержаться и не смогла.

5

— А хошь, я расскажу тебе, как я первый раз ходил со своей будущей женой Зинулей в городе в кино? Я тогда после училища только начал работать на стройке. Парень был хоть куда. На Куйбышевской в кинотеатр «Ленинский комсомол» взял два билета — и мы в фойе. Всё было в порядке, если бы черт не дернул меня угостить даму сердца сладким. Я попросил в буфете двести грамм конфет. Крашенная дамочка заявила, что конфет нет. Меня аж взорвало: «Как нет, все витрины ломаются от конфет» — «Это же бутафория», — отвечает. Смотрю на этикетки, названия не разобрать, а цена четыре с полтиной. Ну, нет, думаю, мы не слабаки, нас ценой не напугаешь, тем более такое название красивое. А дамочка так испытующе на меня смотрит. Был я парень фасонистый. Девчонка рядом. Ну, думаю, знай наших. Отвечаю небрежно: «Ну и что, коли бутафория, у нас деньги имеются. Пожалуйста, быстренько полкило бутафории отпустите...». Думаю, крепко нам повезло, что зазвенел звонок и под обший шумок моя Зинуля живо меня за рукав утащила в зал.

— Дядя Петя, расскажи лучше о своих нынешних городских делах, — просит Мишка.

Шурка стоит рядом около огромного вязового, изуродованного несколькими попытками его расколоть, чурбака. Он забежал на минутку к Мишке за резиновым клеем.

— Садись, Шурк, — сказал приветливо его друг, — это мой родной дядька, — заважничав, доложил он. — Строитель, да ещё известный, с Мироновым работал, геройским человеком.

— А, Ковальский, садись, брат, я тебя помню и отца твоего немного знал.

Шурка устроился на шершавом массивном пеньке, обхватил впереди обеими руками ручку увязшего в сучках колуна, торчавшую, как ружьё.

Он во все глаза смотрел на гостя. Плотный, широкоплечий, с красивыми залысинами на крупной голове, тот вовсе и не походил на своего родного брата, отца Мишки, Григория. Его будто кто подчистил, поскоблил, будто поправил на каком-то станке. И фигура его, и манеры, и цвет лица другие — городские.

На левой стороне лица от уха до самой ключицы, выглядывавшей из расстегнувшейся на две пуговики сверху рубахи, огромное пятно грязно-коричневого цвета с множеством рубцов — след, очевидно, давнего ожога.

— Ты, Петро, скажи, с Василием Марфиным-то что получается? — Григорий пыхнул беломориной и выжидательно посмотрел на брата.

— А ни хрена, ничего не получается, братишка. Трудное это дело оказалось — доброе имя восстановить.

— Но ведь были же свидетели, кроме тебя.

— Были, но что вышло: теперь и улица Миронова в городе есть, и улица Сафразьяна, а он как преступник только оттого, что именно он зажёл спичку тогда в подвале бытовки. Он забыт напрочь. Не только забыт, он — основной виновник. Но ведь спичку мог зажечь и я, был рядом тогда.

— Как же всё-таки он умудрился, зачем, а? Ведь бывалый человек, — удивился Григорий.

— У него — насморк и температура около тридцати девяти; ему бы дома лежать, но Сафразьян, видишь ли, бывший военный, член коллегии министерства нефтяной промышленности, приехал с инспекцией из Москвы. Осмотр объектов начался около шести утра. Попёр он в эту бытовку, и нужды-то в этом никакой... Василий с января пятьдесят первого года руководил строительством нефтеперерабатывающего завода близ станции «Липяги» — крупнейшего в Европе. Все вопросы к нему. Они все вместе и были, в том числе начальник Марфина Пётр Игнатьевич Миронов. Хотя они с Василием не очень ладили. Независимым был очень Марфин. Щепетильным, я уважал его за это. Это другой разговор.

— Закурили? — не выдержал Мишка.

— Нет, — горько махнул рукой дядька Петро и на лице его была такая боль, как будто это только что случилось, а не 11 августа 1954 года, около шести лет назад. — Не закурили...

Помолчал, посмотрел чистыми синими глазами на Мишку и продолжил:

— В подвале бытовки темно, спустились, сгрудились, я был повыше, поближе к выходу. Слышу, Сафразьян приказывает: «Зажигай спички!». Кто-то в ответ: «Здесь газ!». Сафразьян вновь Марфину: «Зажигай! Или испугался?». Многие чувствовали газ, простуженный Василий — нет. Под окрик он и зажёг. Произошёл взрыв. До машин мы дошли сами. Некому и помогать-то. Время раннее. У медсанчасти вышли из машин — вереница почти голых людей. У Василия было девяносто пять процентов ожога. Ему не было и пятидесяти. Он держался. Первыми умерли Сафразьян, Миронов, затем Вдовин — главный инженер. Самоотверженные все люди. Но вот так случилось. Газеты сделали тогда, после взрыва, своё дело — в памяти всех осталась причина трагедии: «зажёг спичку». А ведь Василий Марфин был одним из первостроителей промышленности СССР, строил заводы в Грозном, Майкопе, Ярославле, Москве, Уфе, Орске и вот последний — в Новокуйбышевске. Мы с ним многое вместе пережили. И институт один в Москве кончали, только я на пять лет позже. Потом судьба в Ярославле соединила.

Шурка смотрел на говорившего и не верил сам себе: перед ним сидел, казалось бы, простой человек, утёвский, брат Мишкиного отца, колхозного конюха, и вдруг такие события, города, имена незнакомых, но героических людей. Его внимание не споткнулось на той острой боли, которую испытывал Пётр от несправедливости по отношению к незнакомому ему Марфину. Это как бы часть большого целого, а целое нечто такое, что можно назвать: геройский труд, самоотверженность — всё то, что было в конце концов победоносным и значительным. Ещё не пришло его время, когда он задумается об этом так же мучительно, как этот красивый, спокойный и уверенный в себе, но придавленный несправедливостью человек. Задумается над ценой, которую порой приходится платить за героические и самоотверженные дела.

— Мне через три года шестьдесят, — проговорил задумчиво Пётр. — Пока ещё кое-что значу, пока я не только заслуженный строитель СССР, но и просто строитель, мне надо реабилитировать Василия. А стану через три года пенсионером, никто слушать не захочет. У меня есть выписка из заключения по несчастному случаю, там указан в виновных и член комиссии Сафразьян, приказавший зажечь спичку.

— Дядь Петь, нам с другом интересно, что сегодня делается, — напирал Мишка.

— Нынче? — переспросил старший Лашманкин. Зорко посмотрел поочерёдно на обоих и, помолчав, сказал: — Я, браточки, нынче, где ворочается пока в пелёнках огромный младенец, который скоро окрепнет и заявит о себе.

— С какой загогулиной говоришь, — усмехнулся Григорий.

— Точно, брат, — быстроотреагировал Петро. — Когда нефтеперерабатывающие заводы строил, так не думал, то ли моложе был, общий порыв, то ли крепко нефть, бензин, керосин стране нужны были — не рассуждал. А вот нефтехимия пошла — задумался. Больно круто бежим в искусственное, синтетическое. Так ли надо? Ну, да ладно, это для меня вопрос пришёл, а вам... каждому свой срок...

— Сейчас-то чего строишь? — переспросил Григорий.

— В марте прошлого года сдали в эксплуатацию цехи фенола и ацетона, альфа-метилстирола на заводе синтетического спирта, заканчиваем строительство производства полиэтилена. Это будет огромный завод и интересный. Ступенью выше нефтепереработки. Здесь посёлок Нефтегорск — центр местной нефтедобычи, там Новокуйбышевск — будущая столица нефтехимии области. Первая очередь спирта освоена в пятьдесят седьмом году, в пятьдесят девятом директору завода, женщине, присвоили звание Героя Социалистического Труда. Федотова Анна Сергеевна её звать. Замечательный человек.

— Мужики, вы так ладненько сидите, калякаете, а я всё жду: цербу разливать или нет? — Мишкина мать выглянула из сеней.

— Разливай, разливай, — закивал головой Мишкин отец. — Заговорились.

— В избе есть будем или во дворе?

— Давай, брат, в избе, солнце печёт, — поёжился знатный гость.

— А, может, вон под карагач стол поставить, там тень? — предложил Мишка.

— Ага, вот это будет здорово, — подхватил Григорий. Гость не возражал.

Когда все встали, Шурка и Мишка пошли в мастерскую искать клей.

— Может, останешься, мамка сказала, на уху?

— Не, Миш, я так давно ушёл, там велосипедная камера зачищенная осталась на пороге. Куры теперь затоптали.

...Шурка быстро шёл вдоль переулка, а перед глазами стоял гость из Новокуйбышевска. Будоражили слова его: фенол, альфа-метилстирол, ацетон. Размах и масштаб деятельности удивляли. Рядом совсем ворочалась огромная машина: в Нефтегорске, Новокуйбышевске, Ставрополе. Вершилось небывалое и захватывающее. И в этом небывалом участвовали бывшие утёвцы.

Ему вспомнились снова слова дядьки Петра: «...А я многих к себе тогда перетянул строить Новокуйбышевск, строителями сделал. Если б твой, Александр, отец не был инвалидом — и его бы забрал. Я отца его хорошо помню, Фёдора, крепкий и смекалистый, ему образование получить и он как минимум мог бы управлять трестом. Дюже мужик самостоятельный. Азоркин, Берлин, Кувшинов, Чураев — они все в город подались».

«Если б не инвалид! Если б да кабы! Отец мой и здесь не пропадёт. С тех пор, как он стал сторожем в клубе, все кресла отремонтировал — в зале, столы, стулья — в фойе. Даже вешалку в гардеробе и ту сделал по-своему. Ему постоянно не хватает работы. Он её ищет! За ночь помогает матери: подметает пол во всём клубе, заправляет дровами большущие голландки. Когда надо, выгребает и выносит золу. Его в клубе зовут кто ночным директором, кто домовым».

Любаев удивлял хваткой в работе. Казалось, торопился утолить свой аппетит, помня то, что не доделал, пролежав с несколькими перерывами около семи лет в госпитале. У него были во всём свои мерки. В паре с Катериной они и работали в клубе: сторожили и отапливали очаг районной культуры, потихоньку став как бы неотъемлемой частью его. Менялись директора, художественные руководители, а Любаевы оставались при исполнении своих обязанностей. Такая вот работён-

ка да скотина во дворе помогали им растить своих ребятишек. «Не тот богат, у кого много, а тот — кому хватает», — говорил, бывало, бодрясь, Василий Любаев.

Но, по правде говоря, чтобы «хватало», надо было крутиться безостановочно. А что делать?

Всё это напряжение матери и отца, их стремление, не жалея себя, одеть и обуть детей, накормить и непременно дать десятилетнее образование приводило Шуру Ковальского к трепетному и безоговорочному уважению своих родителей... Он давно выработал установку: подчиняться и не возражать даже там, где они порой, казалось, были и неправы.

Всю физическую работу, которая выпадала на его долю и которую сам успевал находить, исполнял как обязательную. Александр был старший из детей и постоянно об этом помнил.

Мать часто помахивала опущенными руками — ломили кости от вёдер с водой, от тяжёлых дров, от мытья полов в клубе, но она не унывала. Когда заходила в магазин, где был народ, либо в другое место, большинство приветствовали её и тут же завязывался какой-нибудь шуточный разговор, сопровождавшийся смехом. Этому он всегда поражался. Удивлялся тому, как Катерина с ходу начинала разговор, который почему-то враз превращался в такой необходимый для большинства. И его тема будто только и ждала вмешательства Катерины Любаевой...

Он уважал своих родителей безмерно. Кто заложил в него это? Школа? Но там главенствовал менторский тон учителей, который больше отталкивал. Кино, книги? Да, отчасти, может быть. И только. Сами родители? Но им некогда было воспитывать, им надо было работать. Да и образование у них — на двоих три класса...

...А Мишкин дядя Петя этим вечерком пошёл посидеть на Шум, сомят пощупать, как он сказал. И мольберт захватил: «Вдруг настроение будет: местечко с берёзкой, которое облюбовал в тот раз, зацепить».

Большой груз свалился с его плеч. Производство полиэтилена, которое они строили в Новокуйбышевске, комиссия приняла. Уже шли пусконаладочные работы и можно было отдохнуть, что он и делал, вырвавшись к брату Григорию в деревню. Такая возможность выпадала очень редко. Он порой просто тосковал по Самарке. «Старею, — признавался сам себе. — К

земле потянуло, у городских это позже приходит, если вообще приходит, а тут корешки-то дают знать».

Последний год Пётр Сергеевич стал задумываться над самыми, казалось бы, простыми вещами.

— Вот полиэтилен, — говорил он своему заместителю, — всё прекрасно, но ведь это не только прогресс, рывок вперёд, но и отрыв от натурального. Всё скоро подчинится тому, что отделяет, уносит нас дальше и дальше от природного к синтетическому. Будет скоро и язык синтетический, вернее, на эсперанто начнём говорить. Вон немцы, которые вели шеф-монтаж на полиэтилене, они же за это. А что им — лишь бы технологии свои у нас внедрить, на нас заработать, а там хоть на каком языке, деньги, по-ихнему, всё оправдают.

Пётр Сергеевич вспомнил, как рассмеялась директор завода Анна Федотова, когда он ей после одной из строительных планёрок сказал о своих думах.

— Да ты, Сергеич, оппортунист чистой воды, ей-богу. И мне с тобой строить, когда ты не веришь в то, что делаешь?

«Не зря она ещё в девятнадцатом вступила в партию, а в двадцатом служила в ЧК. Стойко уверена в себе и в своём деле, но я ведь тоже...» — подумал он и хотел было уточнить свою мысль, но ему на помощь пришёл начитанный умница, его заместитель Роцупкин.

— Я помню, кто-то из великих сказал: когда кто-то идёт не в ногу, не спешит осуждать его, возможно, он слышит звук другого марша!

— Что? — удивилась Анна Сергеевна. — Нам надо вкалывать, а ты предлагаешь чужую музыку слушать! — наигранно-грозно чуть не вскрикнула она. — Ну, вы и демагоги, у вас же у обоих рабоче-крестьянское происхождение?! А вы чужую музыку слушать, какую?

Она вскинула голову и её коса дёрнулась на груди... Рассмеялась, показывая, что и она включилась с пониманием в эту игру-розыгрыш и продолжила:

— Слышите марш инквизиторов? Которые сжигали учёных, не позволяя науке двигаться вперёд, а раз — науке, значит, и обществу в целом?

— Мы о чём-то говорим не очень ясном, по-моему, — улыбнулся Роцупкин. — Попробую сформулировать то, куда мы

попали в своём невольном разговоре. Мы начали искать смысл, ну, вы, Пётр Сергеевич. Если говорить о смысле нашей конкретной деятельности, строительстве производства полиэтилена, то тут всё ясно — не построим, то получим, кроме всего, по партийной линии. И крепко! Это определённо. — Он хихикнул совсем по-мальчишески. Пётр Сергеевич, глядя на него, подумал, что наверняка его заместитель в молодости был большой философ и спорщик. — А вот в плане общего смысла... Поиск общего смысла тянет человека, извините, в болото, ибо в конце концов можно уверовать в бессмысленность всего вообще. Остановитесь, не ищите смысла. Его не найдёшь. Его поиск так же нелеп, как и поиски сухой воды.

— Ты, брат, увёл разговор в заоблачную высь, воспарил, а я конкретно о технизации, не погибнем ли в ней? — уточнил свою позицию Пётр Сергеевич.

— Мужики, я боюсь, глядя на вас, вы так задумались, что вообще ничего с вами не построишь, — расхохоталась директор. — Дурите меня, старую, что ли?!

...«А вот построили, да ещё досрочно, и областные газеты уже раструбили об этом», — улыбаясь, подумал Пётр Сергеевич, пристраивая длинное удилице между двумя ивовыми прутьями, как раз напротив омутка, который быстро нашёл намётанным глазом опытного рыбака.

6

У Мишки Лашманкина дядька — известный строитель, а у Ковальского его двоюродный брат Володя Пудовкин — лётчик. Пока, правда, неизвестный и молодой.

— Послушай, что я тебе скажу: будущее за образованными людьми, понимаешь? Рабочий и колхозница хороши, но надо, чтобы в стране была интеллектуальная сила. Её всегда, эту силу, давили, но за ней будущее. Понял, голова?

Александр слушал Владимира, но не вдумывался крепко в его слова. И так вроде всё понятно: надо учиться, и всё тут.

Они сидят вдвоём на мыске Ледянки на Самарке, где случайно встретились — Ковальский ехал домой с сенокосного стана за продуктами — и разговаривают. На круче сверкают в закатных лучах два велосипеда. За их спинами, за Полоузным

ключом, ближе к Кунаеву, пошумливают приглушённо голоса. Наверное, рыбаки с ночёвкой.

— Родители только ради нас живут, ты видишь?

Да, самоотверженность родителей не давала Александру быть бездеятельным. Он всегда чувствовал себя так, будто что-то где-то не всё сделал, что мог. Не так помог. Поэтому ему нечего возразить, он только согласно кивнул головой своему случайному наставнику. Не так уж часто они виделись, а тут приехавший на два дня лётчик сидит с удочкой, как самый простой мужик, в простой фуфайке, говорит тихим голосом и постоянно улыбается.

Александр мысленно порадовался тому, что Владимир сказал о том, о чём он в последнее время часто думал и сам. «Значит, и Пудовкин ищет объяснения». Это было важно, но он ни с кем эту тему ещё не обсуждал. Да и с кем?

«Откуда у моих родителей, — думал он сейчас, — да и у большинства живущих на селе, кого знаю, но особенно у тех, кто работает на земле, такое неистребимое стремление сохранить и вывести в люди своих детей? Заложено на биологическом уровне? И только сельский тяжёлый быт так резко высвечивает это? Или война определила цену жизни? То, самое главное, что было и есть жизнь и благополучие детей — продолжателей того, что не смогли, не успели родители?

Или — сам уклад деревенской жизни, всей вообще жизни, требует продвижения вперёд к лучшему, светлому, более достойному, а это может свершить только новое поколение? И помогать — долг родителей?

Все родственники мои по материнской линии прожили свою жизнь в фуфайках. В неграмотности и косноязычии. В вечной возне с хомутами, навозом, кизьяками... Всё, как должно... Но ведь есть и что-то ещё, что делает жизнь привлекательнее и достойнее...

И кто виноват, что это не так?..

Каким чудом всегда для деда, бабы Груни, мамы, отца становятся новая картина, новая книга! Но книги, картины и всё, что связано с культурой, знаниями, должно быть более доступно, должно стать нормой! И не должно же быть так в жизни, что всё благосостояние и надёжность жизни определяется тем, есть ли дрова, сено для буренки и картошка в погребе на

зиму? Даст ли завтра лесник покосить сено в доступном месте или нет и выделит ли председатель колхоза лошадь привезти сено? Хорошо, если Синегубый, по дружбе, выкроит на полдня своего, закреплённого за ним, задёрганного мерина.

А одежда для школьников? Фуфайка спасает всех. Стеганка на вате обновляется только соразмерно выросту. «Куфайка» достойна того, чтобы ей поставить памятник.

Хорошо, если есть у тебя зимой валенки, пусть подшитые, латанные-перелатанные, но — валенки! А весной: взрослым — чёсанки с галошами, ребятам — литые резиновые сапоги. Если так обстоят дела — это верх всего. Надёжно.

А мама моя? Я не знаю, когда она спит. Днём спит редко. А утром каждый день встаёт в четвёртом часу, чтобы подоить и выгнать Жданку в стадо под утренний пастуший рожок. Как выдерживает?»

Задумчиво глядел он на бурлящий речной поток, омывающий каменистый мыс Ледянки, на шумевший осинник на той стороне.

«Сколько видела Самарка всякого на своём веку? Если бы она имела память!»

Он смотрел на серебристое течение Самарки до Ледянки и после неё — спокойнее и ровнее, и ему подумалось, что река похожа на магнитофонную ленту, вращающуюся на огромном диске, и диск этот — Земля. И возникла совсем детская мысль: найти бы способ озвучить, снять звук с этой ленты, какие бы ожили голоса!

Александр видел на той неделе у Романа Лихоносова, приехавшего из Москвы, магнитофон и теперь часто вспоминал об этом. Завораживающая штука.

— Где учиться? — неожиданно для самого себя спросил Александр. — Я не знаю сейчас, чего хочу. Уже одиннадцатый на носу класс, а я не знаю. Ребята в классе как-то определились, а я всё хочу, мне всё интересно, понимаешь? А надо втиснуться во что-то одно. Но знаю, лётчиком не буду, вон Виктор Ночуйкин будет, военным хочет.

— Почему? — удивился такой определённости Пудовкин.

— Зрение посадил на книжках, очки прописали.

— А-а... — неопределённо произнёс Владимир. — Это бывает.

— А ты что кончал?

— Училище в Бугуруслане, мы из Утёвки двое там учились, ещё Виктор Скудаев.

— Мать всегда радостно смотрит, как ты на своём У-2-«кукурузнике» круги нарезаешь над Утёвкой, тебя мы сразу узнаём. Ты каждый раз круги даёшь?

— Каждый раз, по три. Ни разу не нарушил.

— Но иногда кругов нет? — возразил Александр.

— Значит не я прилетел, нас часто по области гоняют, летаю ещё и на Ан-2.

Не знал Александр, что была ещё причина, кроме непреодолимой привязанности к своему селу, по которой Пудовкин давал круги над Утёвкой. Виной тому была Валентина Сергеевна Асекретова — учительница химии. Учительница чаще всего в школе, где ей ещё быть, а школа — посередине села. Вот и получался такой циркуль, и остриё этого циркуля было направлено в сердечко молоденькой химички. А в Володькиной горячей груди клокотали бури, которые пока ему удавалось удерживать...

Александр испытующе посмотрел на собеседника, тот не особо интересовался своей удочкой. Ему было радостно оттого, что он просто сидит у воды. Это было видно по всему. Александр решил с вопросом:

— Вот, ты говоришь, интеллектуалы нужны, высшее заведение надо кончать, а у самого училище только. Почту возишь, бабулек в город, и это — всё?

Послышался шум, они огляделись. Прямо посередине Самарки три плоскодонки. В каждой по два-три человека. Когда первая поравнялась с мысом, на котором сидели рыбаки, Александр узнал Митягу и его драчливых детей.

— Володя, здорово! Надолго приземлился?

— Нет, дядь Митя, на два дня всего.

— Не женился ещё?

— Нет, дядь Мить.

— Молодец, а то быстро тебе крылья обкарнают, как мне вот — кузнечиком сделают. Ага.

— Будет тебе болтать, обкарнаешь вас, — наигранно возразила его жена, сидевшая на носу, свесив руку за борт в воду.

— Дядь Мить, это у вас столько рыбы? — удивился Александр, когда лодка уже проплывала мимо.

— Нет, — он показал рукой на белую кучу в середине лодки. — Это очищенные ракушки, мясо для свиней, на отмели набирали весь день да чилигу жали.

Лодки уплыли.

— Говоришь, почту вожу, — продолжил Владимир разговор с Александром. — А давай договор заключим: я обязуюсь поступить в Ульяновское училище, переучиться на Ту-154, а ты в институт прямиком, лады?

— Ладно, согласен, — невольно поддался его напористости Александр. — Я чувствую сейчас себя около какого-то большого потока, он уходит мимо, как вот Самарка, унося на моих глазах многих, а я в заводи сижу, — задумчиво произнёс Александр. — Никто не знает свою судьбу заранее, и я — тоже.

— Ну, ты, как старичок-философ какой, прямо. Поток, рок, судьба, — рассмеялся Владимир. — Надо смелее действовать. Слушай, ты прав в одном: свой встречный поток надо угадать, понял, голова садовая. А разгон, рывок за тобой — тогда и взлетишь. Проверено.

— Владимир, можно спросить?

— Конечно.

— А как с баяном дела, тебя так всегда хвалила Валентина Яковлевна. У тебя же талант был, она говорила.

— Играю — для себя, для ребят в отряде в Смьшляевке, всем нравится, — сматывая удочку, легко ответил тот.

— И всё?

— А что ещё?

— Нет, я так, — задумчиво произнёс Александр, явно решая про себя какую-то важную задачу.

«Талант был и вдруг как бы нет — разве такое бывает?» — этот вопрос кружил в голове у Александра. Но он промолчал.

...Вечером после дойки мать послала отнести бидончик с вёчерошником через улицу Зотовым:

— Я им должна за сепаратор, — пояснила она.

Когда Ковальский вошёл в низкие сени Зотовых, столкнулся с только что приехавшим Андреем, учившимся в городе в речном техникуме. Разбитной, удалой парень. Торопливо причёсываясь на ходу, торопился на улицу.

— Андрей, — нерешительно обратился Александр, — у меня один вопрос есть, можно?

— Валяй, только быстрее, мне в центр надо.

— Да, я... — смешался Ковальский. — Вот сейчас, отдам мо-
локо.

...Когда вышел во двор, Андрея не было, тот сидел на лавоч-
ке у ворот.

«На низком старте уже, — подумал Александр. — Разговор
не получится».

Но в ответ на вопросительный взгляд Андрея сел на лавочку
у палисадника, рядом с будущим речником.

— Я в город хочу уехать, буду поступать в институт. Как там,
в городе, жить?

— А, — протянул тот, — ты вот о чём? — свистнул пару раз в
свистульку, только что сделанную из стручка акации, и быстро
спросил: — Твой отец сколько пенсии получает?

— Сейчас двадцать семь рублей, — ответил Ковальский.

— А маво давно нет уже, — как на счётах щёлкнув, сказал
Андрей и вновь спросил: — А мать в клубе сколько получает?

— Двадцать пять, она ещё там кое-что убирает, — пояснил
Александр.

— А моя — двадцать, — вновь щёлкнул костяшками счётов
Андрей. И продолжил: — Вас четыре, пацанвы. И нас — четве-
ро. Вот и вся жизнь — и в селе, и в городе.

— Я вот.. — начал было Александр.

— Как все, так и ты будешь в городе вертеться, а куда де-
ться? А?.. Помогать нам некому. — Он покосился на открытое
окно, выходящее в палисадник, и сказал скороговоркой, будто
мурлыча себе под нос: — Я, извиняюсь, идёшь к б..., ну, да, к
бабе, не для этого дела, — он привстал, будто кучер на дрож-
ках, с вытянутыми руками, дёргаясь взад-вперёд, а — поесть
как следует. Вот моя жизнь в городе. Примеряй на себя. Нельзя
быть рохлым.

Он хлопнул Александра по плечу и, соскочив со своих «дро-
жек», скрылся за палисадником.

Около своего дома Александр присел на лавочку. Над го-
ловой такая же акация, как у Зотовых. Такой же почти клён,
склонившись над изгородью, прислушивался в сумерках к
тому, что было вокруг, к тому, что думал и решал Ковальский,
пытая Володю Пудовкина, лётчика, и этого шалопутного, брыз-
жущего здоровьем и энергией Андрея.

«Почти ровесники, с соседних улиц, а совсем разные. Откуда у Володи его интеллигентность? От кого? Она передаётся или её обретают? Или надо просто иметь такой ум? В любой одежде, и в фуфайке, Володька красивый, — отметил невольно Ковальский. — Как дядька Сергей».

7

Последние дни августа всегда приносили Александру лёгкую досаду.

Лето пролетало быстро, в заботах, отец, если даже успевали дров заготовить и сена, сколько надо, всё равно обязательно находил неотложные дела, съедавшие остаток летних каникул. Желание порыбачить вдоволь, для души, всегда оставалось неутолённым. А тут ещё скучная уборка картошки! Не до рыбалки. Александр пробовал приспособиться к жёсткому отцовскому режиму. Коли некогда рыбачить днём, так ставил на ночь подпуск, чаще всего два, и рано утром снимал улов. Снасть нехитрая: на бечеве метров в тридцать длиной через каждые два метра он привязывал поводки сантиметров по пятьдесят с хорошим крючком, чтобы выдержал солидную добычу. Один конец бечевы привязывал к колу, воткнутому прямо у берега в воду. Растягивал против течения свою снасть и насаживал прямо на мокром песке наживу: мелкую рыбёшку, лягушат или личинок майского жука.

Особую сноровку надо иметь при забросе снасти в воду. Лучше него этого никто не делал. Надо натянуть вдоль берега, приподняв левой рукой за груз, привязанный на противоположном конце, всю снасть, чтобы почти не было слабины и все поводки с насадкой повисли, не путаясь в воздухе. Затем, полубернувшись лицом к реке, точно бросить на расстояние чуть меньше длины бечевы, чтобы снасть не оборвалась и поводки не закрутились на натянутой бечеве. Если же бросок будет значительно меньше, поводки, запутавшись ещё в воздухе, на дне мешают друг другу.

Важно, чтобы груз падал в воду от рыбака по прямой, близкой к перпендикуляру, для большего охвата водного пространства.

Александр вначале учился бросать без поводков, потом с поводками. Не раз менял длину подпуска! Но слишком длин-

ная бечева давала много неудачных забросов и он определил для себя длину снасти в тридцать метров.

Можно было бросать и правой рукой, но тогда необходимо от кола с привязью тянуть снасть вниз по течению и кидать сильнее, ибо, пока груз шёл на дно, бечева ослабевала больше.

Ставить снасть лучше в сумерках, чтобы никто не видел, иначе обязательно украдут, а проверять нужно ранним утром.

...Александр поставил два подпуска. Оба, как показалось, очень удачно и, поднявшись на песчаную кручу по холодно-ватому для босых ног песку, присел около своего велосипеда. Снасти были уже в воде, кольца притоплены, и он спокоен — никто до утра их не обнаружит.

Ковальский сидел на крутом берегу и смотрел на Самарку. Это место между Полоузным ключом и Ледянкой, он любил особенно. Здесь Самарка, как подкова, изгибалась в сторону Утёвки и этим завораживала.

«Это же не подкова, это натянутая тетива, — подумал Шурка. — Вот-вот стрельнёт в сторону села своим осинником, вплотную подступившим по песчаной отмели к воде». Он любил прислушиваться к реке, особенно вечером. Казалось, так много видала, так много слышала она на своих берегах, плёсах и в заводях.

— Сидишь, рыбачок, — раздалось за спиной. Александр, невольно вздрогнув, обернулся.

— Дядя Коля?

— Так точно, по-уличному Кочеток. Что сидишь-то, поехали домой. Никто твои подпуски не снимет, ты что, в ночь караулить хочешь остаться?

— Нет, — протянул Александр, — вы видели, как я ставил их?

— Конечно, шумел на всю Ледянку, я чуть выше сидел на язя, за кусточком, где коряжина в воде.

— И как? — спросил Ковальский.

— Да плоховато, одного вот взял.

Александр подошёл, заглянул в сумку, висевшую на руле велосипеда.

— С килограмм будет?

— Да, наверно. А мы пацанами подпуски всегда заплывали и опускали в воду. Груз точно, как надо, ложился.

— Нет, заплывать хуже, — мотнул головой Ковальский.

— Почему — хуже, нормально, только в воду лезть, но вечером вода тёплая.

— С братом Петром один раз так ставил и он попался на крючок, хорошо, что за трусы, не за тело, иначе бы худо было...

— И как же, отцепил?

— Нет, пришлось трусы снять и оставить до утра. У него красные были такие, из ситца. Мать берёт старые плакаты в клубе, транспаранты, смывает лозунги и шьёт из них. Самое чудное: наутро поехали, на крайнем, около трусов, крючке килограмма на три сомёнок попался.

— Да ну? — удивился Николай. — Схвастал, поди...

— Нет.

— Да это он на лозунг какой-нибудь попался. Ага!

— Так трусы были уже без лозунгов, — засмеялся Александр. — Значит, на цвет. Поехали, ладно, а то уже поздно.

И они отправились в путь. Кочеток впереди, Ковальский за ним. Когда на подъёме слезли с велосипедов и пошли рядышком, Кочеток сказал:

— А мы делали это проще. После последнего поводка до Грузии было ещё метра три просто верёвки без крючков для безопасности — и плыви спокойно.

— Просто. А мы как-то не додумались, — удивился Александр.

— Учись, пока я жив, — засмеялся Кочеток, а потом — уже серьёзно: — Шурк, я что к тебе подошёл-то, знаешь?

Ковальский притормозил и приотставший Кочеток ткнулся колесом велосипеда в ногу Александра.

— Прости, — уважительным тоном произнёс Кочеток. — Я вот что: разговорились мы с Кузьмой Даниловым о тебе, ну, о твоём родном отце, и у него какая-то мыслишка есть, как его поискать. Он сказал, что хорошо, если бы ты зашёл к нему. Ты сходи, он краевед, историк. Дотошный такой, авось, а? — сказал Кочеток, обрадовавшись чему-то при последних словах. — Сходишь? А то мне обидно, не могу ничем тебе помочь. Живой я, вот он — а дела нет по твоей части.

— А когда можно?

— Да хоть завтра. Он всегда дома. Десять лет уже на пенсии.

Они вышли на ровную песчаную дорогу и, когда сели на велосипеды, то поехали почти бесшумно, только еле слышное

шипенье из-под колес да во встречной тишине раздавался редкий глухой кашель едущего впереди Николая. Это напоминало Ковальскому то время, когда рыбачил или охотился вместе со своими дядьями. Ему недоставало теперь на рыбалке или охоте компании. Он привык с детства к артельному труду во всём. Промышлять одному было интересно, в этом своя прелесть. Но долго в одиночку, как тот же Сашка Мазилин, в последнее время Ковальский не мог.

А Мазилин Сашка целыми днями пропадал на рыбалке. Его лодка с высокой широкой кормой постоянно теперь маячила чуть пониже Ледянки, он даже шалашик себе в осиннике соорудил от солнца. Большой. Если бы не дежурства, он и ночевал бы, наверное, в этом шалаше.

* * *

...К Кузьме Емельяновичу Данилову Александр решил обязательно сходить до начала учебного года.

...Он тронул слегка крепенькую калиточку и она, лишённая какого-либо запора, охотно подалась и впустила Александра в уютный узенький дворик.

Не успел Ковальский сообразить: постучаться ли в дом или пройти в огород, где через редкий дощатый забор просматривались две женщины, собирающие картошку в вёдра, как из крохотной мазанки вышел сам Данилов в жёстком фартуке поверх фланелевой рубашки и с большим ножом в левой руке.

«Похож на моего деда, когда тот собирается резать барана, а вовсе не на бывшего директора школы, — подумалось Александру. — Только дед крупнее фигурой и тоньше лицом. И брови не такие мохнатые...»

— Давай, заходи, я вот в погребе клетушку под картофель поправлял — сейчас поговорим.

Он толкнул дверь, та со скрипом поддалась и Александр вошёл в мазанку Кузьмы Емельяновича. Сразу бросились в глаза большие сундуки, стоявшие друг за другом вдоль стены. Никаких ларей, ящиков с зерном, дроблёнкой. В свободном углу справа радовала глаз горка полосатых арбузов. На стенах — полки, на полках — книги и папки с тесёмочками. Похоже на кабинет.

— Это всё мои архивные дела, в доме не помещаются. Моя сноха сюда меня спровадила. Садись вот на скамеечку.

Ковальский сел, продолжая оглядываться.

— Я ведь обнадёжил и тебя, и себя, с Кочетком-то поговорив. Не нашёл адрес я, вот беда в чём!

— Какой? Отца? — выдохнул Ковальский.

— Нет, что ты! До адреса отца, увы, далековато ещё.

— А кого же?! — не терпелось узнать Александру.

— Расскажу, потерпи, тут дело неспешное.

— Кузьма Емельянович, а вы сами моего отца видели, тогда, в сорок третьем? — поспешил спросить Ковальский.

— Нет, — как показалось, слишком торопливо ответил Данилов. — Меня тогда не было в Утёвке.

— А потом? Ведь какой-то слух должен был ходить. Он не один жил? — добавил Александр.

— Нет, польская тема меня тогда не трогала, вот так и получилось, что всё сбочь меня. — Помолчав, без всякого перехода спросил: — У меня был адрес Петра Котова, не знаешь такого? — Сам ответил: — Конечно, не знаешь. Я ещё пошвыряюсь в сундуках, а ты посиди, посмотри вот хотя бы это.

Он протянул пачку листков. Ковальский принял её и стал рассматривать первый сверху, где было от руки написано чётким крупным почерком стихотворение.

— А ты прочти вслух, — заглядывая через плечо, сказал Данилов. — Стихи вслух надобно читать.

Ковальский, подчиняясь, негромко прочёл:

Домашка

Забывшая давно свои истоки,

Начало потерявшая своё,

Она к Самаре подползла широкой,

Самара к Волге вынесла её.

А Волга, непокорная по нраву,

Крутой волною к Каспию летит...

И потому сказать имею право:

Мой тихий дом на Каспии стоит!

— Как стихотворение?

— Хорошее. Красиво автор хотел сказать. Я бы так не стал.

— Как? — старик Данилов замер, выпрямившись во весь рост, это ему вполне можно было сделать в приземистой мазанке.

— Ну, он подравнивается, что ли, в одну линию со всеми. У нас на Волге и Самарке — своё, на Каспии — своё. Наши истоки забыты. Хорошо ли это?

Старик зорко посмотрел из-под пугающих диковатых бровей и крикнул, а потом засмеялся:

— Ну, брат, не ожидал. Пишешь стихи?

— Иногда, когда сами рождаются.

— Ты меня обрадовал. Может, у нас в Утёвке свой поэт будет. В Домашке вот родился.

Ковальский вновь взглянул на листок, под стихотворением стояло: Пётр Гриднев.

— Он из Домашки?

— Да, а ты не слышал такого имени? Я эти стихи в библиотеке переписал из «Волжского комсомольца». — Он продолжал перебирать листки в крайнем от Александра сундуке, присев на низенький чурбачок. — Сейчас, по-моему, работает ответственным секретарём газеты в Новокуйбышевске. А забирали его из нашей, утёвской школы — в Домашке десятилетки не было.

— Из школы — сразу на фронт?

— Ага, из школы, только не на фронт, а из десятого класса напрямиком в исправительно-трудовую колонию. Где у меня папка его? — сам себя спросил старик. — Ага, вот!

Он взял с полки над самой головой Ковальского голубую папку, перевязанную шпагатом. Раскрыл её, перевернул несколько листков.

— Вот: ученик десятого класса Утёвской школы Гриднев Пётр Яковлевич был арестован 19 марта, а 28-29 июля 1941 года осуждён военным трибуналом по статье пятьдесят восемь пункты десятый и одиннадцатый на пять лет лишения свободы с лишением избирательных прав на два года. Отбывал он свой срок, бедолага, в Колтубанской исправительно-трудовой колонии Бузулукского района Оренбургской области.

— У вас, как в каком учреждении, всё точно и аккуратно, — удивился Ковальский. — А за что посадили?

— А ни за что, — спокойно ответил старик Данилов.

— Неужели? Из школы, в начале войны, надо на фронт, а его — в лагерь? Ни за что?

— Потом реабилитировали, вот сейчас... Ага... Года три назад... «реабилитирован в декабре 1957 года», — прочитал он,

перебирая пожелтевшие листочки. — У него вышла книжка стихов «В путь» в 1958 году. У меня её нет. По печати знаю.

Данилов захлопнул крышку сундука и сел сверху.

— Всё, не знаю, где ту книжечку больше искать, в том уже всё перерыл, и в этом её нет. Куда ж она делась? Сколько раз говорил, что надо все переписывать в отдельные папки, нет тебе. Память уже не та. Я был в прошлом году в Самаре и случайно встретил Михаила Макридина, он мне свой адресок-то и дал. Я возьми да и запиши его на книжке о садоводстве, которую купил в ту поездку на Ленинградской. На задней обложке, с тыльной стороны записал. Помню только, что улица Фрунзе.

В мазанке враз стало темно. Ковальский обернулся, в дверном проёме стояла крепкая на вид старуха в белом платке, с раскрасневшимися отвислыми щеками.

— Отец, мы ссыпать картошку готовы.

— Мать, давай перерыв сделаем на обед, пока ты готовишь, мы договорим с Александром, нам важно это, когда он ещё придёт. А картошка пусть ещё посушится, день больно хороший ноне.

— Тебе видней, дай-ка вон ту арбузиху, которая поодаль, я помою и порежу вам.

— С удовольствием!

Ладный их разговор, неспешные движения нравились Ковальскому. Домовитость была в стариках и основательность — качества, которые он всегда ценил.

Когда Данилова ушла, Александр спросил:

— А зачем вам адрес Макридина?

— Видишь ли, в чём дело, может, нас выручит и Гриднев, если его разыскать, но Михаил — важней.

Кузьма Емельянович в задумчивости провёл ладонью по коричневой крышке сундука и продолжил:

— Мне восьмой десяток, мало ли чего, сам в своём архиве не найду, что надо, а вдруг меня не будет? Всё перепутают и развеется всё. Давай, расскажу то, что может тебе помочь в поисках отца. У тебя жизнь большая, не сразу, а вдруг и разыщешь. Сейчас только пороюсь в бумагах ещё. Да вот они. Человек недолговечен, а бумаги, они могут пережить всех нас по нескольку раз. Тут вот мои записки. Ага, вот. Иван Макридин и Пётр Котов учились в своё время вместе в Абдулинском

педучилище. А Иван Макридин и Пётр Гриднев — друзья с детства, земляки. Жили в Домашке. А вот Пётр Котов и Пётр Гриднев никогда знакомы не были вообще. Ни очно, ни заочно. До суда, который состоялся 28 июля сорок первого года. Дело называлось громко: «О троцкистско-бухаринской группировке под руководством Ивана Макридина и Петра Клыкова».

Ковальский смотрел на учителя, уже совсем старика, на убогую обстановку в мазанке и удивлялся её несообразности тому, о чём говорилось. Стены раздвинулись: начало войны, аресты школьников, «троцкистско-бухаринские группировки» — у нас тут, в Утёвке, Домашке? А школьники Краснодона из «Молодой гвардии»? Какое несоответствие! Какая дикая пропасть! Разве возможно так: там — ребята-герои, а здесь — группа предателей, в самом начале войны, далеко от фронта, от всего, что грозило сломить дух советского человека?

— Кузьма Емельянович, неужели такое было, что могли быть предатели?

— Нет, ну, что ты! Если кратко: все они пострадали за излишнюю любознательность. А остальное — манипуляции органов, дело шито белыми нитками. Первые аресты были в Оренбургской области, кажется, 4 декабря 1940 года. Арестовали Павла Пушкарского, уроженца села Домашка, учащегося третьего курса Абдулинского педучилища и школьного учителя Петра Клыкова. В Эстонии, в армии, арестовали 29 января 1941 года двадцатилетнего Ивана Макридина, в марте — Петра Котова, на Украине. Василия Куликова арестовали в Риге — все они когда-то были товарищами по педучилищу, а Василий Куликов и Иван Макридин — земляки.

— А Пётр Котов откуда?

— Да с села Покровка Абдулинского района Оренбургской области. Из крестьян. Родился — вот есть, сейчас... Ну, да — в 1919 году, 25 сентября.

— Сколько же их было? — спросил Ковальский и в который уже раз встал и, не находя места, чтобы пройтись, сел, словно прочно привязанный к старику, сидящему на сундуке.

— Пять человек из Оренбуржья и пять — из Домашки. Многие из них даже не были знакомы. Такая вот подпольная конспиративная сеть. Сплошная выдумка — и всё! Но... Пётр Клыков умер в тюремной больнице до суда. Ивана Макридина

приговорили к высшей мере — расстрелу. Павел Пушкарский, Пётр Котов и Яков Ягодкин осуждены на десять лет заключения в исправительно-трудовых лагерях каждый. Михаил Турков, Василий Куликов — на 7 лет. Иван Кротков, Михаил Макридин и Пётр Гриднев — на пять лет.

— А мой отец?

— Что — твой отец? — переспросил Данилов, потом спохватился. — Ну, да, я всё клоню к твоему отцу, но хочу, чтобы знал, в какую цепочку имён и событий я тебя подключаю, чтобы потом меня не корил.

Он отложил папку на угол сундука, обвёл взглядом убогую мазанку, почему-то поднял глаза под крышу, где спокойно ворковали голуби, и произнёс:

— Можно было бы всего этого тебе и не рассказывать... По крупицам собирал... Хоть и реабилитированы, а лишнего никто не говорит... Так вот, я про Котова. Многие из них писали стихи. И Гриднев, и Котов, и Макридин Иван. У Ивана Макридина в Домашке дома при аресте было изъято тридцать тетрадей стихов и прозы. Петра Харлампиевича Котова после окончания срока в начале пятидесят первого года выслали на вечное поселение в Сибирь, в Красноярский край. Там он познакомился с интернированной полькой Анной. Женился. У них родились две девочки. После реабилитации уехали в Польшу. Понимаешь, какая возможность открывается, если с ними связаться? Михаил-то Макридин с Котовым переписывается. Он сейчас учится в Варшавском университете на факультете русской филологии. Через наших чиновников тебе трудно будет разыскивать отца. А вот ему написать, Котову. Так он сам в Варшаве смекнёт, что да зачем.

— Нате, вот вам.

Жена Данилова, вновь заслонила собой свет, вошла, вернее, протиснулась в мазанку и подала Александру большую чашку с ноздреватыми ломтями арбуза.

— Переспелый? — сказал хозяин.

— Да, немножко, но сладкий ужась.

— Александр, а ты носи на вольный воздух, там и попробуем арбуз, и договорим.

Ковальский послушно вынес чашку во двор и поставил на широкую лавку около крыльца. Старуха ушла в избу.

— Вот у тебя какие пути-дороги, — с пол-оборота завёлся Кузьма Емельянович, сплёвывая большие семечки в пригоршню, — первый, или один из них: все официальные каналы, ведь отец твой ничего противоправного не сделал, раз призвали в Войско Польское и он освобождал Варшаву, так?

— Так, — согласился Александр.

— И второй, — продолжал Данилов, — поступишь в институт, будешь в Куйбышеве, разыщи либо Гриднева, либо Михаила Макридина, возьми адрес или через них пошли письмо Петру Котову. У него судьба, как у твоего отца, только наоборот: он, русский, прибился в Польше, а твой — поляк, но жил в России. Такой человек, как Котов, должен помочь. Русский, поэт. Он там пишет стихи и печатается.

Когда Ковальский уходил, Данилов, прощаясь у калитки, поднял многозначительно указательный палец:

— Я — краевед, понимаешь, по опыту знаю: иногда маленькая зацепка даёт результат больше, чем усилия десятков людей. Ну, ладно, ты понял, да?

— Понял, — подтвердил Ковальский и, чуть поколебавшись, спросил: — Все говорят о каком-то солевом тракте в наших местах, вы знаете о нём что-нибудь?

— Ну как же, Александр, обижаешь меня, я собирал матерьял... подожди — сейчас!

Он вернулся быстро.

— На вот. Я никому не даю свой экземпляр. Но тебе — дам. Перепиши, если надо, и верни. Три листочка всего, а собирал по разным источникам очень долго. — Помолчал, посмотрев зорко, и сказал, будто сам себе: — Можно ведь чуть не в кустарник изродиться в житейских заботах-то. Стоять в чащобе со всеми, как все, в общем табуна, и хиреть... А можно стать кремлевым деревом, крепким и деловым... Это как сам поведёшь себя. Те ребята, о которых я тебе рассказал, могли стать такими.

«Кремлевым деревом, крепким и деловым», — эти слова старика глубоко запали в душу Ковальскому. О кремлевом дереве он услышал впервые. И ему показалось, что старик Данилов сам такой породы.

Расставаясь, пожали друг другу руки. Старик первым протянул свою. Ладонь жёсткая и крепкая. Не стариковская.

«Когда давал бумаги, да и раньше ещё, выглядел так, будто

в чём-то виноват передо мной. Может, что скрывает старик», — невольно подумал Александр.

...Придя домой, он с жадностью прочёл то, что было на пожелтевших страницах.

Оказалось, соляная дорога, о которой давно хотел узнать подробно, имеет свою непростую историю. Она пролегла от города Самары, через Струков мост и дальше — до села Домашки, на Бариновку через сырт между Утёвкой и Трофимовкой, потом между Кулешовкой и Зуевкой на Андреевку, Гаршино, затем вдоль верхнего течения реки Бузулук до Илецка. Этот городок вырос из небольшой крепости Илецкая защита, охранявшей соляной промысел, налаженный в XVIII веке в Оренбургской степи на реке Илек. Впервые в Самару этим соляным путём, проложенным в 1811 году полковником Струковым, доставил соль управляющий промыслом Пётр Рычков во второй половине XVIII века. Расстояние от Самары до Илецка было 360 верст.

Предполагалось вывозить каждое лето до трёх миллионов пудов соли. Два миллиона — до Самарской пристани, один — до села Домашки, а далее — по Самарке на Волгу и выше по Волге до Рыбинска. Село Бариновка основано в 1822-1825 годах солевозами из Тамбовской и Курской губерний. В то время их приглашали со стороны. Было учреждено сословие пришлых крестьян-солевозов в десять тысяч человек. Соляная дорога перестала окончательно существовать где-то около 70-х годов XIX века, когда усилился подвоз более дешёвой чипчанской и баскунчакской соли по Волге и по железной дороге.

Александр не только прочитал несколько раз текст Данилова, но и переписал его в толстую тетрадь, куда постоянно заносил свои наблюдения. Пряча её на верх этажерки, подумал: «Надо химичке предложить сделать доклад или пусть сама в классе прочтёт ребятам — эти сведения исключительные. А Кузьма Емельянович — наше общее утёвское достояние. Как этого не понимают окружающие?!».

Он внёс в ту же тетрадь, пока помнил, три фамилии — Пётр Гриднев, Иван Котов, Михаил Макридин — и сделал небольшие к ним пояснения, дав себе слово: как только станет студентом и попадёт в город, сразу начнёт поиски. Но это ведь ещё когда будет? И будет ли? В любом случае — не раньше, чем через два года.

На другой день сходил в библиотеку. Там на стене, за стеллажами книг, висела географическая карта. Он давно её приметил. На ней и выверил сведения Данилова о соляной дороге. Почти все названные сёла нашёл. Обнаружил и село Гаршино. То самое село, откуда, по рассказам бабы Груни, отец Василия Любаева Фёдор Любаев выехал по солевой дороге в город Илецк с мужиками из Бариновки и помер в башкирской степи. Там его и закопали.

С радостью отыскал исток Самарки на карте недалеко от села Кариновка на Меловом сырте. И насчитал несколько её притоков: Бузулук, Ток, Боровка, Съезжая, Большой Кинель. И другие, ещё более мелкие, без названий.

...Утром следующего дня, когда Василий Любаев пришёл из клуба с дежурства, Александр сказал ему про село Гаршино.

— Ты его нашёл? — удивился отец.

— Точно, пап, чего же проще, оказывается, дед наш по старинному солевому пути поехал. Он давно заброшен, но когда-то бариновские мужики занимались перевозом соли, они были при царе приписные солевозы, кто-то помнил из потомков и ездил этим путем.

— Ну, ты — голова, давай сходим сегодня в библиотеку, на карте посмотрим, мне тоже интересно. А то ведь вообще всё как в воду кануло, а тут..

Когда отец ушёл в свою мастерскую, Александру вдруг безо всякой связи, казалось, пришла неожиданная мысль.

Он вспомнил, что отец, обнаружив фотографию отца Александра — Станислава и четыре письма, не раздумывая, порвал их на мелкие куски и выбросил.

Все думали, что Василий Любаев сделал это из-за ревности к настоящему польскому отцу Ковальского.

«Нет же, нет, — шептал Александр, вспоминая рассказ Данилова об «антисоветских заговорах» домашкинских и покоровских ребят. — Нет, просто отец опытнее всех. Он так сделал, чтобы не получилось глупости какой и беды нам с матерью из-за поляка, мало ли, кто ещё что подумает...»

Вспомнились слова Пудовкина, сказанные совсем недавно на Самарке: «...надо, чтобы в стране была интеллектуальная сила...».

«Надо ли? Кому надо? — кружились в Шуркиной голове воп-

росы. — Если эту силу, по рассказу старика Данилова, секут под корень. Десять молодых парней, поэтов и комсомольцев, пострадали, непонятно за что? Они бы на фронтегодились, эти парни! И после войны, если б уцелели? Они же не Мазилины? Они как раз и были или могли стать нужной всем интеллектуальной силой...»

Александр у многого хотел разобраться.

«При следующей встрече, — решил он, — надо обязательно поговорить на эту тему с Даниловым, это ж его поколение косило таких парней, как Макридин».

Ковальский полагал, что принадлежность к своему поколению даёт ключ к пониманию причины свершившегося...

И начинал догадываться, что о многом надо думать как-то по-другому... Нужны либо опыт, либо большие знания. Либо нечто такое, что приходит невесть откуда... Как прозрение... Им двигала страсть познавать и понимать как можно больше. Откуда, отчего рождалось это стремление, Ковальский и сам бы не сказал. Он и не задумывался пока над этим. Но, кто знает, может, такие люди, как Данилов, и разжигали потихоньку эту страсть, которая потом приведёт Ковальского в институт, заставит заниматься наукой. И то, что он станет через тридцать пять лет доктором наук и профессором, будет по-своему закономерным. Может быть...

8

У соседки Любаевых Мани Сисямкиной появился постоялец. Александр обратил на него внимание в клубе. Трудно было не заметить рослого смуглого парня со щёгольскими усиками и причёской «канадка». Так стригли только в одной-единственной парикмахерской — в посёлке Ветлянка. Парень этот, как казалось Ковальскому, сильно смахивал на Гришку Мелехова из «Тихого Дона».

Странное дело, но он совсем не боялся местных ребят, ходил вечером один и, что совсем непонятно, от своих приезжих нефтегорских держался на танцах особнячком. Он и с утёвскими особенно не сблизился, вёл себя ровно и независимо — был как бы между теми и другими, сам по себе. Александр у показалось — он недосыгаем и невовлекаем в любые разборки, час-

то случавшихся в клубе потому, что щёгольская внешность и спортивная фигура разительно отличают его ото всех. И вот теперь он живёт по соседству с ним.

— Шило есть? — спросил в первый же вечер этот симпатичный парень, свесив крепкие руки через низенький дощатый забор. Его словно литая грудь, загорелые руки и чубатая голова были на Любаевой стороне, остальное всё — на Сисямкиной.

— Зачем тебе шило? — спросил Александр, удивлённо всматриваясь в красавчика.

— Штаны, боюсь, упадут. Дырку в ремне сделать надо. Купил у вас тут, велик оказался, — будничным голосом объяснил постоялец.

Александр принёс из отцовской мастерской шило.

— Меня звать Женя, Евгений Разлацкий, а тебя как? — улыбаясь просто так, от избытка силы и хорошего настроения, спросил постоялец тёти Мани.

— Шурка, — назвался Ковальский.

— Александр Любаев, да?

— Да, — не стал уточнять Александр.

Евгений отошёл от забора, у которого теперь уже был Александр, и, стоя посреди двора, ловко на себе сделал две дырочки в ремне. Заправил ремень, довольно хмыкнул. Пружинистой походкой вернулся. Бронзовая его грудь, обтянутая белой майкой, закрыла собой перед Ковальским весь двор Сисямкиных. Протянул шило.

— Спасибо. На танцы идёшь? — как равного, запросто спросил Разлацкий.

— Нет, — почему-то сказал растерянно Ковальский, не понимая, оттого ли это, что так запросто ведёт себя с ним уже взрослый, хлебнувший жизни на стороне парень, или потому, что не может ему составить компанию.

Александр стеснялся ходить на танцы, и причина была в том, что его отец Василий Фёдорович часто приходил раньше дежурства в клуб, постоянно там что-нибудь делал, у него все на виду. И Александру от этого было неловко. Он понимал, что это странно, но переломить себя не мог.

— Ну, как хочешь, дело твоё, а я иду.

В этих словах Ковальский не почувствовал ни снисходительности, ни усмешки. Ему нравилось, что теперь рядом живёт та-

кой человек. «Но почему он в Утёвке, ведь буровики почти все устроились либо в Кулешовке, либо на Ветлянке? Оттуда ездить ближе на работу, а здесь хоть и пустили вахтовый автобус, но далеко же?» — думал Александр и не находил пока ответа.

Ответ пришёл, совсем простой, через несколько дней. Александр вечером делал уроки на диванчике у окна. Отец дремал на кровати перед ночным дежурством.

— Вась, а, Вась, — проговорила Катерина, трогая Василия за плечо, — а ты знаешь про Нину Свечникову?

— Ты о чём? — спросил Любаев спросонья.

— Ну, ведь она же с этим Женькой, нашим соседом, встречается. Он поэтому и жить перебрался в Утёвку.

— Я знаю, в клубе все, как на ладони.

— Знаешь? — удивилась мать. — И молчишь?

— А что я должен делать?

— Ну, как — что? Беды бы не было. Сергей, брат, ещё, видать, не знает, — прерывисто проговорила Катерина.

— Узнает — разберутся, дело молодое. Раз она сама — кто её приневолит к нему вернуться?

— Но ведь он, Серёжка-то, жениться вроде собирался, — чуть не всхлинула мать. — А этот поиграет и уйдёт. Чужой...

— Раз-бе-рутся, — протяжно повторил Василий Фёдорович, — кому на ком жениться.

Александр всё слышит, он сидит тут же, в этой комнате. И не знает, что делать. Как же так, ведь Нинка — невеста Серёги. У них, вроде, всё договорено. Сергей учится на четвёртом курсе. Как только закончит институт, они поженятся и уедут в Сибирь, так Сергей говорил. И семьи обо всём знают. Её родители любят Сергея.

...Развязка наступила с катастрофической быстротой и без особых перипетий, так казалось...

В одно из воскресений Александр шёл по Центральной улице и в Ваньковом переулке увидел толпу взрослых парней. Часть была из Нефтегорска. Среди них Евгений Разлацкий. Он деловито вытряхивал пыль из коричневого ботинка. В этом переулке обычно играли в орлянку. И шустрый Стрепеток часенько разгонял уже взрослых ребят хворостиной. Удержу не знал. Никто не решался связываться со взрослым мужиком.

Но когда это было. Что же сейчас? Он вдруг вспомнил, как

убили случайно Генку Афанасьева, и почуял недоброе. Когда от толпы отделилась щуплая фигура Сашки Мазилина, спросил тревожно:

— Дрались?

— Да нет, боролись. Такой уговор был.

— Кто?

— Вот тот, что ботинок трясёт, смазливый и Сергей Головачёв.

— Ну и что? — подался к нему Ковальский.

— Да что? — досадливо сморщился Мазилин. — Деревня мы и есть деревня, сила неуёмная, а всё без толку. У этого же всё чин-чинарём. Два раза схватились и оба раза городской верх взял. Он обученный, понимаешь. Науку в нём видно. Как циркач. Раз-раз — и Серёга на земле. Ихние говорят, что он какой-то чемпион в городе у них. Жуть досадно как. Самба — против неё не попрёшь, — изрёк деловито Мазилин, не преминув похвастать: — Я сам несколько приёмчиков знаю.

— А где Сергей?

— Пожали, как американские дипломаты, друг дружке руки и он ушёл. По-моему, домой. Эти, с посёлка, предлагали в чайную пойти, мировую закрепить. Сергей отказался, шибко распеживался.

«Ещё бы, это ведь не просто борьба, это дуэль, знают ли они об этом?» — думал Александр, обожжённый волной горечи и обиды за своего дядьку.

Он огляделся. Посмотрел, непонятно зачем для Мазилина, во двор Ваньковых, боясь увидеть Нинку Свечникову. Александр так не хотел, чтобы она была свидетельницей произошедшего. Спросил:

— А никого больше здесь не было, из девчат, ребят?

— Нет, — не улавливая подоплёки вопроса, отвечал тот. — Кто тебе ещё нужен?

— Да так...

Он запомнил Нинку после того, как она начала ходить в клуб на спевки. Жила она где-то у церкви. Крупная, с плавной походкой, даже величавая в костюме для пения в хоре, Свечникова ему не приглянулась. Очень уж сонный и с поволокой был у неё взгляд. Казалась похожей на большую куклу.

Александр уже было собрался уходить, как услышал об-

рывки разговора Разлацкого с подошедшими к нему двумя парнями с папиросами.

— Ну, и зачем мне эти подвиги нужны? — спросил Евгений.

— Но ведь ты и уклониться не мог, мы бы дураками выглядели.

— Да идите вы к лешему, я вам что, игрушка?

— Ты, как с Нинкой этой встретился, другим стал...

...Сергея Ковальский ни вечером, ни на следующий день не видел. Баба Груня сказала, что он встал рано утром, около шести и ушёл на большак ловить попутку.

Уехал в Куйбышев. Даже ружьё своё, тулку, не забрал у Любаевых. Накануне ходил в Ильмень на охоту, зашёл, повесил в сенах и забыл. Такого с ним никогда не случалось.

...В Утёвке почти одновременно с Разлацким появились ещё три новых человека. Художественный руководитель Владимир Антохин вместо Валентины Яковлевны Плотниковой и две культмассовички, как бы довески к молодому худруку: чёрненькая, шустренькая Галина и вальжная стройная блондинка Марина. Обеим лет по двадцать.

И пошла самодеятельность по новому руслу. Владимир тут же организовал духовой оркестр, в котором сам играл на трубе. Девчата начали ставить злободневные интермедии. Про хор и драмкружок будто забыли.

Галина с Мариной временно поселились у Головачёвых.

— Как жалко, что у сына мово, Сергея, — как-то призналась баба Груня сразу обеим, — уже есть невеста, а то ему нравятся чёрненькие-то.

Кульмассовички переглянулись и весело засмеялись. Улыбалась и баба Груня. Она ещё не знала этих новеньких.

Чёрненькая вскоре «связалась» с разведённым гулякой Саниным.

Хора не стало слышно, а шума от оркестра Антохина и «самодеятельности» массовичек было предостаточно. Танцы под духовой оркестр манили в клуб.

Но «недолго музыка играла».

Та дама, которую видел перед отъездом Плотниковой Александр в клубе, проявила власть. И будто бы приутихло пока...

— Кшу... Кшу... Кшу!

По широкой Центральной улице со стороны Золотого конца бежит растрёпанная женщина. Кричит, подняв вверх руки:

— Кшу... Кшу... Кшу!

Высоко в небе огромный коршун плавно, не спеша летит вдоль порядка домов. Там, в вышине, он недоступен. Он хозяин положения, потому так и свободен его полёт.

— Цыплёнок утащил, гад, второго, — причитает женщина. — Это ж куда годится — второго, батюшки мои...

Возвращавшийся из школы Александр рванулся к дому. «Картечь, забыл, где лежит картечь», — вспоминал он лихорадочно.

Но опередил брат Петро. Выскочил из калитки, прислонился к столбу для крепости и, когда коршун оказался почти над головой, выстрелил без суеты, деловито. Коршун упал посередине Лаптаева переулка, сбочь дороги на траву. Когда женщина, ею оказалась Клавка Подлипнова, первой подбежала к хищнику, тот ещё шевелил головой, это Александр видел. Потом птица затихла.

— Хорошо, что ружьё Сергея у нас оказалось, из нашей одностволки не достал бы, старенькая, — Петро потрогал коршуна ногой и деловито констатировал: — Конец — летать не будет!

— Подстрелил и его, — определила Клавка, — в когтях был ведь.

Дотронулась рукой до жёлтого комочка. И — чудо! Маленький жёлтенький цыплёнок высвободился из когтей хищника и замер рядом. Потом смешно, кособоко побежал. Она ловко и осторожно схватила его сразу обеими руками и начала рассматривать. Цыплёнок был невредим.

— Здорово, парашютист, — поприветствовал его Петро.

Но «парашютист» не реагировал на слова своего спасителя, будто тот здесь, в этой ситуации, совсем посторонний. И спокойно глядел мимо всех.

— Важная персона, — предположил Александр.

— Не отудобил ещё, в себя не пришёл, — пробовал ставить диагноз Пётр.

— Это ж надо, Петро, как ты ловко, а? — удивился подошедший муж Клавы.

— Не привыкать, — ответил Пётр и почему-то заливисто засмеялся.

— Всё равно отцу расскажу, — в ответ на его смех погрозил рослый и белобрысый мужик лет сорока, Леонтий — «Клавкин муж» — так его звали в Золотом конце улицы.

Они все прошагали к лавочке у дома Любаевых. Клава неслла на ладошке цыплёнка, Пётр, небрежно, за одно крыло — свою добычу.

Из ворот вышел Василий Любаев.

— Ну, ты поняешь, прощаю я твоего архаровца.

Любаев, далеко отставив бадик, ответил:

— Ему спасибо надо говорить, а ты прощаешь?

— Ага, — живо отозвался Леонтий. — Спасибо? Скажу, но ты послушай сюда. — Его словно прорвало, он быстро заговорил: — Твой-то, его Соколиным глазом зовут пацаны, этот вот, размахай-расстреляй, из поджига чуть меня не утробил.

— Как так? — не спеша удивился Любаев и, увидев, что сын пытается бочком улизнуть в калитку, загородил проход бадиком. — Обожди!

Пётр встал поближе к воротному столбу и принялся усердно рассматривать перья на хвосте птицы.

— Как? А по причине моего полного присутствия в сортире, — продолжал Леонтий.

— Чего? — не понял Любаев.

— Ну, по причине моих законных естественных потребностей я... на заднем дворе...

— Что он говорит? — недоумевал Любаев вслух.

— Спроси его, — Клавкин муж махнул рукой на Петра, — опуриться можно.

Любаев вопросительно взглянул на сына и бесстрастно согласился:

— Ну, докладывай, не занекивай.

— Ну, это, ну...

— Не запряг, чать, нукать-то, говори, как в школе. Коршуна не сбердил, сшиб, а тут!..

Петро попробовал говорить, «как в школе»:

— Пальнул я из поджига в нужник на задах. Генка пристал: пробыёт жечь или нет?.. Там у них толстая висит.

— Пробыл? — даже с интересом спросил Любаев.

— Поняешь, не только пробил, — бестолково горячился Леонтий, — дырища в жести, как от снаряда, разбабахал. Такая, поняешь, история с географией...

— Чем стрелял, гвоздями? — допытывался старший Любаев.

— Нет, пап, пулями от мелкашки, — деловито начал отвечать Пётр, — но баллистика не та...

— Баллистика? — переспросил отец, пытаюсь понять смысл.

— Баллистика? — как эхо, повторил Леонтий, глядя бессмысленно на свою удаляющуюся в переулочек жену.

Обернувшись, она командно прокричала:

— Нечего рассусоливать-то там, домой давай!

— Да, я, вот, Клав... Ага, сейчас, — продирался её кубовастый муж до осмысленного ответа. — Чин-чином.

— Смотри у меня, по дворам не шастай! — строго наказала Клавдия. — Натявкались и хватит.

Леонтий в ответ чуть слышно, только для себя, произнёс какое-то одно короткое слово.

— Пуля кособоко полетела — пробоина большая получилась, — пояснял Петро.

— Вась, ты представляешь, про-бо-ина! Я пулю-то из кармана фуфайки вынул!

— Эх, я и дам тебе, Петька, когда-нибудь такую баллистику! Вон, Витька Левый прострелил себе правый глаз и руку поджигом, тебе тоже хочется? — Василий мотнул бадиком и чуть не задел Леонтия.

Тот боязливо попятился.

— Где прячешь свою пукалку? — спросил Любаев.

— Не поджигом, пап, а пугачём, — уходил сын от прямого ответа.

— Тебе не одна фарья, Петро. Кумекаешь?

— Ничего себе — пукалка! Цельна мортира. Кумекает он, Василий, ещё как, я своего Генку допросил как следоват: Петро-то твой чудеса вытворяет. Такие пистолеты делает, что с десяти метров в спичечный коробок на спор попадает. — Все ещё удивлялся Леонтий. Из увальня, насколько его хватило, превратился в непохожего на себя, оскорблённого, гневного пострадавшего. Щёки его напряжённо зарделись.

— Петро, так? — спросил отец.

— Да, ну... вот так, — согласился Пётр и, продвигаясь вдоль ворот, закрыл собой несколько сквозных пулевых отверстий в досках: вчера вместе с проболтавшимся Генкой пристреливал новую конструкцию.

— С пяти метров в коробок три раза подряд без промаха могу, — добавил он, очевидно, очень важные для него как конструктора обстоятельства. Конкретный человек.

— Патроны-то где берёшь? — присев на лавочку, допытывался Василий Любаев.

— Ну, пап, их же свободно можно купить в ДОСААФ, у Доны.

— И тебе, и Доне уши бы оболтать хорошенько.

— Я пошёл, — сказал Леонтий, — цыплёнок — цыплёнком. Но, Василий, отбери у него все эти причиндалы, ага?

— Ладно, — обещает Василий и, помолчав, добавляет: — А ты цыплят береги. Хватит пигать.

Леонтий важно пообещал:

— Само собой, я Клавке инструкцию сделаю.

Петро с Александром, переглянувшись, улыбаются. Александр берёт тулку, Петро — птицу. Отец встаёт, идёт во двор и на ходу через плечо нехотя бросает:

— Черти, пошли арсенал показывать. Мужика в сортире чуть не угрохали, ну разве это дело? Как маленькие!

9

Школа, в которую ходили утёвские ребята, теперь стала «средней школой с производственным обучением». Ввели в ней одиннадцатый класс. Одиннадцатилетку решились заканчивать немногие. Когда объявили о реформе, классы начали рассыпаться. Уходили после девятого в десятый вечерний, чтобы не терять в одиннадцатом целый год. В девятом классе было двадцать восемь учеников, в десятом дневном остались двенадцать. А первого сентября в одиннадцатый пришли восемь человек: четыре парня и четыре девочки. Вот это класс! Уже в десятом дали слабину. Похоже было, что его программу поделили на половины и обе разбавили уроками растениеводства для девочек и машиноведения для ребят, полностью посвятив им понеделньники. Началась полоса невнятных школьных нов-

шеств, которые скажутся и на судьбе Александра Ковальского. Он ещё думал и выбирал для себя возможные варианты, а жизнь так всё выстраивала, что активный и любознательный, тянувшийся к конкретике, он невольно оказался вовлечён в развивающиеся вокруг события.

Всё производственное обучение свелось к изучению трактора. Преподаватель машиноведения имел слабость: любил настольный теннис. Поэтому понедельник для ребят были приятными днями: частенько занятия плавно переходили в тот класс, где стоял теннисный стол.

Из четырех парней-одинадцатиклассников только Сашка Чапайкин знал, что устройство трактора ему надо освоить досконально — он твёрдо собирался поступать в сельскохозяйственный институт в городе Кинеле. Остальным зачем это?

Виктор Ночуйкин хотел быть лётчиком, а Ковальский пока был уверен в одном: навряд ли будет трактористом.

Девочки все собирались стать учителями.

Чтобы как-то оживить производственную программу, химичка Валентина Сергеевна повезла ребят смотреть «большую химию» в Новокуйбышевск. Совхоз выделил автобус, и в десятом часу они уже оказались на заводе.

Поехали не только занимавшиеся в дневном одинадцатом, но и из десятого вечернего и десятого дневного классов. Были и те, кто уже работал, завершив вечернее обучение. Такие, как Олечка Козырева. Всем было интересно.

Увиденное не могло не заворожить!

Их быстро через проходную проводили к цеху полиэтилена, вернее, к трём цехам. Оказалось, что производство закуплено в Западной Германии. В Советском Союзе такой технологии ещё нет. Огромное, около ста метров длиной и более тридцати метров высотой, здание вмещало блок полимеризации этилена и обработку получаемого полиэтилена. Сотни аппаратов, хитросплетения бесчисленных трубопроводов и кабелей: силовых, телевизионных, всяких — поражали воображение. И везде — надписи на немецком языке. Передовая техника!

В цехе шли полным ходом монтажные работы.

— В основном осталось смонтировать несколько центрифуг, реакторов, а там и до пусконаладочных работ рукой подать, — давал пояснения ребятам заместитель начальника цеха Яков

Розенберг — невысокий, худенький, кареглазый, нервно подёргивающий левым плечом человек.

Их провели почти по всем основным этажам строящегося цеха.

— Приезжайте через полгода — заработаем, будем давать стране наш полиэтилен, — весело прощался с ними молодой зам.

— Яков, вы уже освободились? — прозвучал спокойный уверенный женский голос.

Ковальский оглянулся. К ним подходили двое мужчин и женщина. Женщина была невысокого роста, с прямыми волосами, приветливо и свободно улыбающаяся.

— Это директор завода Анна Сергеевна Федотова, — успела сказать негромко Валентина Сергеевна, но все услышали.

— Да, Анна Сергеевна, освободился и, как договаривались, готов вам всё показать.

— Хорошо, — одобрила энергично Федотова.

— Здравствуйте, Анна Сергеевна! — радостно произнесла химичка.

Директор приветливо оглядела пёструю стайку ребятишек и ответила на приветствие:

— Здравствуйте! Рады таким гостям.

— Анна Сергеевна, — загорелась вдруг Валентина Сергеевна, — мы столько слышали о заводе, о вас, приехали из района, может, с ребятами поговорите. Случай такой! Это им так надо сейчас, — привела, как она понимала, очень веский аргумент.

— Надо? — переспросила Федотова. Посмотрела на стайку ребятишек и с ходу решила: — Я сейчас минут сорок буду занята, а вы, — она обратилась к инженеру отдела кадров, сопровождавшему ребят, — вы, Галина Васильевна, ведите их ко мне в приёмную, ждите там. Расскажите пошире им дорогой о нашем с вами заводе.

* * *

Директор сдержала слово. Лёгкой походкой, уже одна, вошла в приёмную. На ходу весело удивилась:

— Вас, по-моему, теперь больше, или это моя приёмная не рассчитана на столько! — и пригласила в кабинет.

В кабинете стояли два стола. Один небольшой, за который села Федотова, и другой, обставленный с обеих сторон стульями, длинный и узкий. За него она посадила ребят.

Олечке Козыревой место досталось прямо около директора, рядом с Козыревой расположилась и учительница. Ковальскому — самое дальнее, но, наверное, как он думал, удобное место, в конце стола, в самом торце его. Он видел сразу всех вместе и каждого в отдельности.

Директор была далековато, но ведь кабинет небольшой и голос у неё оказался звучный.

— О том, ребята, какое огромное значение для нашего общества имеет нефтехимия, можно судить хотя бы по одному факту, — начала она с ходу. — Пленум ЦК КПСС в мае 1958 года принял Постановление об ускорении развития химической промышленности и производства синтетических материалов и изделий из них. Вы все знаете нынешний лозунг: «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация и химизация всей страны». В августе, через три месяца после Пленума, мы встречали в Новокуйбышевске дорогих гостей. К нам приезжали первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв, секретари ЦК КПСС, члены Президиума Центрального Комитета партии товарищи Леонид Ильич Брежнев, Михаил Андреевич Суслов. Они побывали и у нас на заводе. Эта встреча окрылила коллектив. К осени 1959 года, намного раньше намеченного срока, завод освоил проектную мощность. На сегодняшний день у нас вступили в строй цехи получения фенола, ацетона и альфаметалстирола. В следующем году готовимся к пуску производства полиэтилена, которое закупили в ФРГ. Через год завод станет крупнейшим в стране производителем полиэтилена низкого давления. Вот так!

Шурка смотрел на худощавую пожилую женщину и ему не верилось, что она, такая неброская, руководит заводской машиной. Он мысленно поставил её рядом с огромной Валентиной Яковлевной Плотниковой. И удивился разнице. Федотова говорит, будто читает газету, сухо и официально, Валентина Яковлевна всегда говорила отрывисто, часто сумбурно, но это как раз и действовало. «Значит, здесь что-то другое, — думал Александр. — Но что? Знание дела? Грамотность? Наверное, ведь не зря же она Герой Соцтруда. Дела какие, масшта-

бы! Одно название продукции: полиэтилен, спирт для каучука и ракетного топлива!»

Ещё недавно, до десятого класса, ему нравилась сдержанная манера высказывания, академизм. Он этим восхищался. Дед его в последнее время работал конюхом в народном суде и Александр взял в привычку ходить на заседания. Его завораживала речь судьи. Официальная, ровная, аргументированная — своим не похожим на повседневные разговоры слогом она заставляла быть собранным. Но так продолжалось недолго. До тех пор, пока вдруг он внутренне не ужаснулся: ведь за каждым выразительным, выверенным словом судьи стоит судьба осуждённого. И как только он так подумал, вся красота и привлекательность «судейской речи» рассыпались в пух и прах. Жизнь, получалось, зависела от красивых и выверенных слов, опиравшихся на какие-то сложные законы. А если законы не верны, ведь их писали люди? Или, если не те законы применяют? А если вообще человек невиновен, так бывает? А судья так правильно говорит, так уверенно.

Шурка перестал посещать суд. И стал с тех пор подозрительно относиться к людям, гладко, как по-писаному говорящим. «Кто говорит гладко, у того мысли не свои, чужие», — такую он вывел для себя формулу и многократно проверил её справедливость на себе. Получалось, как только забирался мысленно куда-нибудь в глубину того или иного вопроса, то начинал говорить косноязычно и — наоборот.

...Ковальский глядел на женщину с несколько раскосыми глазами, с незажжённой папиросой в руке, и невольно вспоминал услышанное в приёмной: «Она у нас казачка, с Дона, из бедняцкой семьи, это её третий завод после Академии народного хозяйства».

«В чём сила таких людей?» Но такой вопрос здесь был неуместен. И всё-таки, думая о своём, он спросил, когда директор замолчала.

— Анна Сергеевна, а вы Марфина и Миронова знали лично?

— Да, конечно, мы были знакомы. Миронов был крупная фигура!

— А Марфин? — уточнил Ковальский, перебирая в памяти рассказ родственника Михаила Лашманкина.

Строгая женщина удивлённо посмотрела на Александра и проговорила подчёркнуто уверенно:

— Хороший был работник.

Александр показалось, что Федотова поняла, почему он так настойчив. Ещё несколько вопросов — и Анна Сергеевна вдруг рассмеялась совсем неожиданным для директора простодушным смехом, став похожей на мать Александра, и провозгласила:

— А теперь: марш в столовую! Соловья баснями не кормят, час дня уже. Я сейчас распоряжусь.

...На обратном пути Александр не переставал обдумывать увиденное. Всё казалось необычным: огромность завода, новые слова и названия, люди и среди них — эта удивительная женщина, умеющая быть и официальной, и такой простой.

Когда уже подъезжали к селу, Володька Орешин вполголоса сказал Александру:

— А я читал о приезде Хрущёва в нашей библиотеке в подшивках «Волжской коммуны». Его забросали тогда помидорами на главной площади Куйбышева. Об этом, конечно, в газете не было, но мне старший брат говорил. Он учился в то время там. Хрущёв не только на этот завод приезжал, сначала приехал на нефтеперерабатывающий.

Одноклассник Ковальского отчасти был прав: Никита Сергеевич прибыл в Куйбышевскую область в первую очередь на открытие Волжской ГЭС. Доставил его поезд «Москва — Новокузнецк», к которому прицепили три специальных вагона. Встречал его на областной границе первый секретарь обкома партии Михаил Ефремов. В тех же вагонах высокий гость отправился в Жигулёвск. На машине ехать отказался, опасаясь, видимо, покушения. В Жигулёвске перерезал ленточку, символизируя пуск ГЭС, и выступил на митинге, где заявил, что тепловые станции лучше гидравлических, чем, конечно, обидел строителей.

...Митинг на площади в областном центре был сорван. Желающих посмотреть живого Хрущёва собралось слишком много. Случилась давка, некоторые начали падать в обморок. Из толпы полетели в сторону трибуны помидоры. На что глава государства среагировал по-своему: «Как горчишниками были, так и остались». Горчишниками до революции в Самаре называли хулиганов.

* * *

После поездки в Новокуйбышевск Александр начал усердно следить по газетам за развитием нефтехимии и нефтепереработки.

А следить было за чем! Возросшие потребности страны в синтетическом каучуке, сырьевая база дали возможность в 1962 году приступить к строительству Новокуйбышевского нефтехимического комбината, в будущем одного из самых крупных предприятий не только страны, но и Европы.

...А в степи под Утёвкой расширилось «второе Баку». В пятидесятые годы разведчики глубинных недр открыли Кулешовское месторождение нефти, положив начало Южно-Куйбышевскому нефтегазоносному району.

10 июня 1960 года был произведён отвод земли для домов посёлка нефтяников нового типа — не временок, а четырёх- и пятиэтажных, с изолированными квартирами.

Нефтяники жили в посёлке Ветлянка или снимали квартиры у колхозников в сёлах и постепенно переселялись на новое место — в будущий город.

Об этом Александр читал, роясь в подшивках местной газеты «Ленинский луч». Библиотекарь Любовь Николаевна Богатырёва уже привыкла к своему постоянному посетителю. Ей нравился Ковальский. Она любила смотреть, как он играет на сцене, даже частенько приглашала участвовать в утренниках, которые организовывала в своей библиотеке. Она знала интересы Александра и готовила ему информацию.

...Под Утёвкой росла нефтедобыча, рождался новый город, будущий райцентр Нефтегорск, а у станции «Липяги», в двух десятках километров от областной столицы Куйбышева, закладывались основы нефтехимии. И город Новокуйбышевск становился её центром. С пуском новой очереди завода синтетического спирта родилась большая химия Средней Волги.

* * *

...Когда ребята ушли из кабинета, Анна Сергеевна, вспомнив утренний телефонный разговор с одним из работников отдела промышленности, покачала головой: «Пусть эти чинуши, как хотят, так и думают. Они договорились до того, что, мол, я и

Героя Социалистического Труда получила только потому, что приехавший в область, а потом и на завод Никита Сергеевич Хрущёв вдруг вспомнил, что мы вместе учились в одной Промышленной академии, и это сыграло главную роль. Но я ведь построила завод, таких всего три в Союзе. И он имеет огромное народнохозяйственное значение. Досрочно пустили. Такой коллектив. Чудо люди! И где это видано: мы делаем спирт, который дешевле газировки... Долго мне здесь работать не дадут, слишком я независимая. Это многим не нравится. Придётся возвращаться в Москву, а так не хочется от живой работы, от моих заводчан. Они-то без меня сдюжат, молодые. Я без них, без завода — никто. Как это мои шестьдесят быстро подкатили?.. Мужа у меня по-настоящему нет. Любовника не завела. Странная я для некоторых баба. Непонятная».

Анна Сергеевна подошла к окну. «Давно ли здесь были ещё курятники, там вон, за пожаркой — пивнушка, странно даже вспоминать. Сейчас стоят махины — колонны, как огромные свечи... — Она усмехнулась: — Надо думать, кого вместо меня? Если, конечно, спросят об этом директора. — Закурила «Беломор». — Зинин — начальник цеха? Он крепок. Его можно, пожалуй. Надо подумать».

Федотова сознавала, что своей масштабностью не вписывается в карликовые рамки требований местных бюрократов.

Она вернулась к столу, стряхнула по-мужски пепел в чёрную круглую пепельницу, села в кресло.

«Эти белобрысые пацаны, приехавшие из дальней, за сто верст, деревни, как её там — Утёвки, хорошие, видать, ребята. Раз интересуются — будут новые поколения крепких нефтехимиков. Такие масштабы». Федотова была молода духом. В ней ещё не угас задор отличницы-рабфаковки, которая в 1925 году была секретарём агитпропа ячейки ВКП (б) на московском заводе «Клейтек», а пятью годами позже стала директором предприятия.

Ей невольно вновь вспомнилось первое это назначение в тридцать лет. При её всего-то десятиклассном образовании. Не столько пугали трудности совершенно неведомой работы, сколько огорчала, даже удручала необходимость оставить партийную стезю. Казалось, что выдвигают в директора только потому, что она, вероятно, оказалась недостойной для партработы. Вот ведь как...

«А как всё обернулось. Оказалось-то, что вот оно, моё главное дело — завод. Пыхтящее, гудящее, сопящее и удивительно родное, как ребёнок, существо».

Она без ложной скромности понимала и отдавала себе отчёт, что отныне и очень надолго только что родившийся и заявивший о себе на всю страну завод будут связывать с её именем. Ведь столько всего здесь преодолено на пути. И какой ценой?

Домашние не очень понимали её. Для многих такие объёмы, передовые стройки на периферии были своеобразным трамплином, возможностью получить приглашение в столицу. Она же, четверть века прожившая и проработавшая там на руководящих должностях, без сожаления уехала в голую степь. Она любила братья за новое дело, её азартная натура не поддавалась старению и ей нужна была независимость, которая двигала, была стимулом.

Муж, Михаил Матвеевич, работавший в Министерстве лёгкой промышленности на весьма высоком посту, так и не привык к её бесконечным длительным командировкам. Повязанная своими директорскими обязанностями, жена редко бывала в семье. Ни таланта, ни времени обустроить свою личную жизнь, домашний быт, увы, — это она теперь понимала — у неё никогда не было. Муж уже давно проживал отдельно от семьи. Дочка Майя не походила на мать. Не понимала партийного фанатизма матери, её преданности порученному делу.

Со смешанным чувством смотрела Анна Сергеевна, когда приезжала в Москву, на внука и внучку. «Ох, ребяташки мои, какими же вы будете, неужто равнодушными, как многие сейчас... не может быть, ведь в вас же кровь моя, казацкая...»

* * *

...Вспоминалось детство. Их бедняцкая крестьянская семья ещё как-то перебивалась в станице Урюпинской Хопёрского округа Донской области, пока не утонул отец. Ей тогда не было и года. Вспомнилась мать. Вечная труженица, она скончалась в 1936 году. Много мелькнуло перед глазами. «Да, сладкого тогда было мало».

Но вот какое дело, все нелегкие перипетии детства и юности не подавили, а, наоборот, укрепили твёрдость и решительность.

Этим она отличалась везде, где бы ни работала. А испугать её, казалось, действительно было нечем. В тридцать седьмом, когда Федотова была директором на одном из московских заводов, у неё арестовали четырнадцать руководящих работников. Очевидно, им грозила гибель. Предприятие захромало. Федотовой удалось попасть к Сталину на приём. Тогда арестованных не освободили, но они продолжали трудиться под охраной. Жизни людей были сохранены.

В нефтехимии, которая только зарождалась, подобное случалось нередко.

Будущие авторы единственного тогда в мире кумольного способа получения фенола-ацетона Удрис, Кружалов, Сергеев были арестованы и несколько лет провели на нарах. В заключении, в «шарашке», они и разработали этот процесс, внедрённый теперь на заводе у Федотовой в многотоннажном варианте.

«Откуда у этого человека столько энергии и уверенности?» — часто думала Анна Федотова, наблюдая за главным инженером Иваном Андреевичем Валушко, забывая, очевидно, о своём характере. Отчасти удивлялась неосознанно по той простой причине, что знала: Валушко около двадцати лет провёл в ГУЛАГе, а ей повезло. Её не тронули.

На заводской площадке под Куйбышевым Валушко появился в октябре 1956 года. Плотный, подвижный, среднего роста. Говорил с украинским акцентом. Украинец Валушко вырос в Донбассе, в шахтёрской семье. После школы поступил в институт в Харькове, но вскоре понадобились кадры для промышленности синтетического каучука. Он — из рабочих, тогда это очень ценилось, и его командировали на переподготовку в Ленинград. А дальше — совсем просто. Направили на Ярославский завод синтетического каучука. Рос как специалист быстро. Ему не было и тридцати, когда стал главным инженером. Предшественника обвинили как врага народа во всех заводских авариях. Он успел поработать всего около трёх месяцев. «За сколько и когда втянул тебя во вредительство твой бывший начальник?» — таков был первый вопрос следователя. Так оказался Валушко на Кольме. Два года махал, как каторжный, обушком, но выжил. Началась война и его отправили на завод, назначили начальником технического отдела. У него работали лучшие специалисты страны. После войны расконвоировали,

он женился. А уже после XX съезда КПСС его бывшие подчинённые, занимавшие теперь высокие посты в нефтехимии, потребовали пересмотра дела. Так Валущко реабилитировали. Он прилетел самолётом в Москву. И выбрал строящийся в Новокуйбышевске завод. Интеллигентный и деликатный, имеющий огромные знания, он дополнял этими качествами Федотову как руководителя.

«Конечно же, директором можно и надо бы ставить Ивана Андреевича Валущко, но его уже нет на заводе, — рассуждала мысленно Анна Сергеевна. — Да, Зинин. Михаил Васильевич должен стать директором, ведь он во главе самого важного цеха на заводе, а главным инженером — Смирнова Антонина Андреевна, начальник цеха. Да-да, — обрадовалась она своей находке — теперешний главный, Зорислав Николаевич Поляков, не удержится, уйдёт в науку, а вот Смирнова — и светлый ум, и волевые качества. И тонкая душевная настроенность. Всё есть для специалиста нового времени. Мы-то погрубее».

Приняв окончательное решение, она невольно успокоилась. Завод был для неё, как ребёнок, и передать его надо было в надёжные руки.

Да, ей довелось учиться когда-то, в 1932 году, вместе с Н. С. Хрущевым в Промышленной академии. Она училась на химическом факультете. Он тогда ещё был секретарём парторганизации. Учились там и жёны Сталина, Молотова. Она была с ними знакома. Федотова окончила академию в 1937 году. Развернувшийся в стране террор выкашивал и укладывал не на земельку, а глубже порой самых лучших специалистов. Стране требовались новые люди, руководящие кадры. Она получает сразу две должности: директора завода «Пластик» и руководителя Московского научно-исследовательского института резиновой промышленности. Федотова проработала в Москве на ответственных постах до самого 20 февраля 1950 года, до своего пятидесятилетия, когда была направлена на строящийся в Новокуйбышевске завод синтетического спирта.

...Если бы сейчас Александр Ковальский вернулся и вошёл в кабинет, скорее всего, не узнал бы Анну Сергеевну. Воспоминания размягли Федотову. За столом спокойно сидела раздумчивая сидящая женщина с серыми усталыми глазами.

Одетая в привычный свой серый костюм, с зачёсанными назад волосами, собранными в косу...

И сейчас она вовсе не походила на директора первого в Среднем Поволжье завода нефтехимии. Скорее всего, её можно было принять за учительницу или врача. Но это была она — Анна Сергеевна Федотова, ставшая легендой в нефтехимической отрасли страны.

Знать бы Александру, как сложится его судьба через пять-семь лет, он, с его дотошностью, на многое бы посмотрел на заводе по-иному. Но откуда он мог предположить, что будет работать здесь, и немалое количество лет. Знать бы ему наперёд! А, может, и хорошо, что не знал. Так жить интереснее.

...Зазвонила «вертушка»¹. Анна Сергеевна, слегка усмехнувшись, подняла трубку. Когда положила её на аппарат, закончив короткий разговор, провела зачем-то в задумчивости ладонью правой руки по столу, словно раздвигая кипы залежалых бумаг, и вновь улыбка пробежала по лицу. Её приглашали к заведующему промышленным отделом обкома партии.

— Раз приглашают — поедем, — произнесла Анна Сергеевна. — Мы люди дисциплинированные.

...Под открытым небом Средней Волги раскручивался маховик химизации земель волжского левобережья, и Анна Сергеевна Федотова была одним из тех «винтиков» огромной российской индустриализации, которые давали движение этой огромной машине.

* * *

...Утёвские ехали назад весело. Обнаружилось, что химичка Валентина Сергеевна знает много песен. И русских народных, и студенческих. Пели почти всю дорогу, а подъезжая к Бариновке, Сашка и Лашманкин Мишка, осмелев, вдвоём запели «Там, вдали, за рекой...». Остальные вполголоса подпевали, не мешая им. И всем очень понравилось.

Ковальский сидел рядом с Олечкой Козыревой. В темноте она два раза «со значением» пожала Ковальскому руку. И хотя он уже догадывался, что Олечке по природе досталось коварное и сильное оружие — кокетство, всё-таки удивлялся: откуда

¹ «Вертушка» — специальная телефонная связь

у неё это, ведь ещё совсем девчонка. А порой, по её поступкам, казалось, что она знает и умеет страшно много. «Будто — опытная, как Элен Курагина из «Войны и мира».

Он даже не делал попыток ухаживать за ней. Но постоянно попадал в её ловушки, выстроенные то из слов, то из нечаянных прикосновений и взгляда тёмных красивых и умных глаз. В таких случаях летел куда-то в пропасть. А она — то легонько приближала его к себе, то отталкивала. Александр догадывался, что это может быть просто игра. А вдруг нет? То при встрече в клубном коридоре одними глазами говорила, что будет не против его откровенных ухаживаний и пусть знают об этом все! То слышал: «Как ты на меня смотришь, увидят же!» — и убегала. Оставляла за собой право вроде бы на что-то, а на что, он и сам не знал. Олечка Козырева владела мощным оружием воздействия. После таких встреч Ковальский чувствовал, что его будто ведут в какой-то капкан. И он сам совсем порой не сопротивлялся, а наоборот, готовенький быть одураченным, верил: «А вдруг она действительно во мне что-то видит такое... что я сам не могу знать. И с нами может произойти то, чего мы оба не можем предположить... но нам этого не миновать».

В неопытной душе его не было места лукавству и хитрости. Ему казалось, что их и не должно быть. Но, когда чувствовал игру Олечки, да ещё такую тонкую, её лукавство и томительные недомолвки начинали завораживать. Игра манила своим таинством и открывающимися смутными возможностями. Он уже давно обнаружил, что влюбчив, и очень. И относил это к своим недостаткам.

10

В юности всегда найдутся две-три молодки, которым без тебя — тоска, да и всё тут — жизни нет. Ковальский не был готов к этому, но чувствовал, что приходит время, когда оказываешься в перекрестье девичьего внимания. Он видел, как Мишка Лапшманкин, который всего на год старше его, совершает «подвиги» на любовном фронте. А сам не торопился. Достаточно было решиться сделать всего лишь небольшое движение... чуть притвориться... Порой и этого не требовалось, чтобы встать в один ряд с теми, кто хвастался своими победами.

То, что они первые одиннадцатикласники, и по прежним меркам, вроде, уже и не школьники, к чему-то, казалось бы, обязывало...

— Один раз только и всего, а потом стесняться не будешь, — поучал шустрый Лашманкин. И даже как-то при этом застенчиво улыбался. Но потом, не выдержав роль, начинал ржать, как молоденький жеребчик.

Олечка Козырева с той поездки в Новокуйбышевск на завод периодически напоминала о себе. Она заканчивала вечерний десятый класс и готовилась в плановый институт. Работала в Ветлянке в какой-то гаражной бухгалтерии.

И, хотя они учились не вместе, так получалось, что часто попадали в ситуации, когда не общаться было просто невозможно.

В мае на одной вечеринке Олечка напилась. Как-то так все решили, что именно Ковальский должен проводить её домой. Александр согласился, тем более, она висла на нём и, икая, согласно кивала головой. Он еле довёл её...

Когда присели на лавочку около дома, Олечка вначале уронила головку ему на плечо, потом, сказав что-то невнятное, выпрямилась и, подняв голову к небу, с закрытыми глазами продолжала сидеть. Ковальский терпеливо ждал, когда ей станет лучше.

Резко повернувшись, он взглянул на неё и... встретился с совершенно трезвым взглядом левого, косящего на него, глаза.

Оказывается, Козырева была не такой уж и пьяной! Притворялась, провоцировала его!

Александр засмеялся. Он был изумлён её выходкой и поддержкой в своих проделках. Он дал ей доиграть роль до конца.

Покачивающуюся, подтолкнул в калитку, помог подняться на крыльцо, держа обеими руками за талию, испытывая при этом невольное волнение.

...Ещё в десятом классе он по очереди увлекался своими одноклассницами. Влюбляясь, внешне никаких признаков своего «великого» чувства не выказывал. Всё было внутри. Проходил месяц, второй, и Ковальский разочаровывался в своей привязанности. Через некоторое время всё повторялось...

В конце концов решил, что в Утёвке нет той, в которую он мог бы влюбиться по-настоящему. Приняв это, успокоился. Поверил: его женщина его ждёт. Откуда это взялось, Александр

не понимал, но твёрдо знал: настоящая его женщина уже есть. Они обязательно встретятся. Встретятся, когда будут готовы к этому. Тогда и узнают друг друга.

А то, что случится до того, до неё, не в счёт, это как бы черновой вариант личной интимной жизни.

* * *

...Яблоневый сад в степи сажали дружно.

Часто появлялся директор школы. Худой, высокий, в соломенной шляпе и всегда весёлый, он выделялся, как подсолнух среди картофельного поля.

Он, оказывается, ловок был в работе, этот учитель-очкарик. Школьники это сразу заметили. И потом, много говорил неожиданно смешного.

Бригадир Аксюта Васяева была под стать ему — в карман за словом не лезла.

— Я тебя, Аксюта, взял бы завхозом, больно ты ловкая какая, — восхищённо говорил директор, не ожидая подвоха.

— Я б не пошла.

— Почему так?

— Больно парней много у вас там симпатичных — дисциплину расшатаю.

— Не надорвалась бы? — спрашивал он невинным тоном.

Закладка сада велась не первый сезон. Большая часть яблонь уже посажена. И весной, и сейчас, осенью, три класса — девятый, десятый и одиннадцатый — трудились наравне со взрослыми.

Жители Утёвки, Покровки и Красной Самарки с удовольствием работали в питомнике. По первому разряду выплачивали 9 рублей 83 копейки, а за третий и четвёртый разряды — 14 рублей и 16 рублей за норму. Таких денег нигде в округе не платили. И был заведён порядок: на видном месте вывешивать ведомости, чтобы видели, кто сколько заработал.

Уже после первой весенней посадки ребята хорошо заработали. И в школе появилась штанга для кружка тяжелоатлетов и теннисный стол. Всё впервые, к общей радости.

Аксюта Васяева оказалась властной начальницей. И толковой. Все у неё по распорядку. Всем успевала разъяснить, что и

как. А что ей оставалось делать при бестолковом-то муже... При посадке кумачовый платок Аксюты мелькал то там, то здесь...

— Веселей, друзья-комсомольцы! Представьте, что строим коммунизм и каждая яблонька в нём — кирпичик большого здания.

И комсомольцы старались. Даже старый дед Проняй, доставлявший в бочке воду для работающих, и тот пыхтел — тоже возводил будущее. Ему Аксютка нравилась давно. Он старался с ней при любой возможности заговорить.

Сажали и верили: будет огромный сад. Без веры нельзя! И дед Проняй верил. Только один раз засомневался малость, в короткий перерыв, пока подвозили саженцы:

— Ветрицы поднимутся, степь гольная. Ломать ведь будет всё. Разгуляй-поле.

— Ты, дед, не гундось, — уверенно сказала бригадирша, — ты уже отработанный матерьял — ещё при капитализме родился, а туда же.

Даже директор Михаил Дмитриевич не ожидал от неё такой прыти. Он закашлялся и чуть не обжёгся папиросой, но не засмеялся, как и Проняй.

Засмеялись остальные. И Аксютка вместе со всеми.

Проняй посмотрел на неё вяло и махнул, было, неопределённо рукой, чуть не выронив незажжённую папироску, которую только что «стрельнул» у директора. Помолчал. Но, поправив, не торопясь, папироску между пальцами левой рукой, всё же решился выправить заодно и свою пошатнувшуюся репутацию:

— Отработанный матерьял, говоришь? А сама боишься со мной ехать за водой. Неспроста чать...

Он усмехнулся незлобиво и, расслабившись, прислонился к своей бочке на дрожках. Старик не ожидал ответного удара, решив, что дело он своё сделал: поставил Аксюту на место — знай наших.

— Дак не тебя же боюсь, а твоего рысака, — быстро нашлась Васяева.

— Чевой-то так? — вежливо спросил Проняй.

— Разнесёт: куда какие моталыжки полетят и все остальные части. Не срамись, дедуля! У ты чертежи какие есть? — деловито, сделав строгое лицо, спросила Аксютка.

— Какие такие чертежи? — не понял Проняй.

Ребята затаились в молчании, смекая, в чём дело, а Аксюта вполне поучительным тоном продолжила:

— Вот, видишь, дед, не охватываешь ты всю сложность момента. Нас потом без чертежей собирать как будут? И перепутать запросто могут. А зачем мне, к примеру, твои износившиеся части, а?

Никто не ожидал такого ответа.

— Во шельма, вот окаянная, — забуркал удивлённо дед Проняй.

Но его не было слышно: взрыв хохота опередил старика.

Александр удивлённо смотрел на Аксюту. А она, как ни в чём не бывало, вальяжно поправляла крепкими загорелыми руками свою красную косынку. И смотрела голубыми большими глазами сразу на всех, не мигая. Яркие губы её едва шевелились в улыбке.

— Вот мастерица, девка, обшиновала старого, нечего лезть! — шумно восхищался водитель автобуса Виктор, крепкий коренастый парень.

Проняй посмотрел на него, на директора школы и усмехнулся себе в усы. Он подумал и оценил её выходку по-своему: «Все вы тут мастера голой задницей гвозди дёргать». Подумать-подумал, но не сказал. Стеснялся говорить такое вслух при учителях и учениках. «Это ж никуда не годится. Поживите с моё. Аксюте что? Она от молодого задора. А мне с чего?».

Не знал из них, смеющихся, никто, что когда-то в посёлке Лебязьем без его разудалых песенок-частушек не обходилась ни одна вечерка. Что весельчак Пронька был в таких делах заводилой. И у девок всегда на примете. А когда перебрался в Утёвку и женился — и тут были молодки, которые его высматривали. Похлеще Аксюты! Ревновала его Спиридоновна жуть как, а всё сходило с рук. Такой шустрый был и весёлый. И не хвастался, а про себя гордился, что знает женскую породу.

«Вишь она какая, — щурясь на Аксюту, обстоятельно кумекал про себя дед, — как кобыла. Всё становится задом — норovit лягнуть. И мужичка-то нет у нас ей вровень».

Дед задумался, наконец, раскурив папиросу и скользнув локтем по мокрой бочке, чуть не упал, но вовремя ухватился рукой и устоял. Надо было держать свой фасон любым макаротом.

Проняй всегда хотел иметь много детей, но Бог дал одного.

Синенького такого сначала, лет до семи, мальчика. Назвали его красиво, всем на удивление — Аркадий. И вот штука какая: из него, как говаривал сам Проняй, «случилась большая даже шишка» — главный инженер огромного авиационного завода. У Проняя чуть не у самого первого появился в избе телевизор. Сын подарил. Этим дед про себя очень гордился. И старался поведением своим соответствовать удачливому сыну.

Проняй для Ковальского был свой — доводился дальним родственникам Головачёвым.

...Александру нравилась чёткая организация дел в питомнике. Много не как в колхозе. Оказывается, можно без мата, под шуточки и песни делать трудную, но радостную работу. Да и не так тяжела посадка. Лунки готовили накануне. Для этого был «Беларусь» с буром. Красивые ядрёные саженцы привозили перед самой посадкой. Всё без суеты, спешки. Стройные «многоточия» пустых лунок встречали ребят с утра, а вечером глаз радовали стройные ряды «антоновки», «аниса», «китайки золотистой ранней», «московской грушовки». Сад рос и ширился. И каждый думал, что когда-нибудь он придёт под эти яблони.

— Ребята, а давайте договоримся встретиться здесь лет через двадцать пять, а? — предложила во время общего перерыва Тамара Заречнова.

— Девочки! Вы все старухами будете тогда, — отреагировала с ходу Аксюта.

— Да, ну, что вы, Аксюта, ради бога! Прекрасная идея! — загорелся Михаил Дмитриевич. — Как я не догадался!

Он даже встал, чтобы его все видели.

— Ребята, через двадцать пять лет, в 1986 году, увидимся. Понимаете, будет новый город Нефтегорск и наш с вами сад. Прекрасно, а?

— Ура! — закричал Сашка Чапайкин. — Кто за встречу? Поднимите руки! — Он оглядел присутствующих. — Ковальский, руку поднимаем без помидор. — Повернувшись к директору, доложил: — Единогласно!

— Ребята, это превосходно, — Михаил Дмитриевич говорил негромко, мягким голосом, — не каждому дано: заложить сад в юности, да потом в зрелом возрасте вернуться в него. Ведь ясное дело: большая половина из вас уедет из своих сёл, вы молодые. А память? Вот она!

— А я ещё придумала, — как-то даже виновато проговорила Тамара Заречнова. — Можно?

— Давай, — разрешил, опередив директора, Чапайкин.

— Надо ещё встретиться здесь, в саду, осенью 2000 года.

— Какого? — удивилась смуглая и шумная девятиклассница Ниночка Таганина.

— Ну, понимаете, — пояснила Тамара, — рубеж: конец второго тысячелетия и начало третьего — это исторический момент! Мы с вами шагнём в третье тысячелетие.

Воцарилась тишина. Видимо, тысячелетия как-то придавили ребят, никто такого не ожидал, тем более от Тамары.

— А мы жить тогда будем? — робко решила прояснить ситуацию Маня Останкина, пышногрудая и голенастая девка с большим родимым пятном на левой щеке.

— А куды ж ты денешься, приспичит и будешь жить, — нарушил вязкую тишину водитель «ГАЗ-51», на котором возили саженьцы.

Все разом охотно засмеялись.

Решили собраться и осенью 2000 года. После перерыва Ковальский и Тамара несколько раз во время работы встречались взглядами. У них затеялся разговор глазами с той вечеринки, после которой он провожал Ольгу Козыреву. В тот вечер Ковальский дважды танцевал с Заречной.

Глаза у неё были спокойные и внимательные. Как у его мамы. Тогда она сказала всего несколько слов. Но ему казалось, что проговорили весь вечер. Он постоянно ощущал присутствие Тамары и будто вёл с ней некий неспешный диалог. Ему казалось, что она о нём всё знает. Заречная не пригласила его, когда объявили дамский танец. И он это оценил. Не хотел, чтобы на них смотрели, когда они вместе. То хрупкое и ломкое, что образовалось между ними, они не желали выставлять напоказ. Тамара и на посадке яблонь сама не подходила к нему. И Александр не подходил. У них как будто был заговор. Это его необычно волновало.

Ко многим мучившим его вопросам добавился теперь и этот: как быть? Он не знал, что делать, и поэтому решил не торопиться.

Ковальский чувствовал, что она доверчива. И это обезоруживало, нечего было преодолевать. Он догадывался, что, воз-

можно, Тамара его себе придумала. Он не такой, каким Заречная его себе представляет, и, когда это обнаружится, невольно окажется виноватым. Александр не хотел для себя такой роли, был не готов к ней.

Но Ковальский понял: это не Олечка Козырева. Что-то цельное и настоящее встало у него на пути. Такое, с чем нельзя просто так играть. И он опасался сделать неверный шаг..

11

Валентина Сергеевна упорно вела профориентацию своих питомцев и это у неё неплохо получалось. Объявленная встреча с буровиками два раза откладывалась почему-то, но сегодня перед началом занятий вновь объявили, что нефтяники будут после пятого урока второй смены.

Приехали спокойный, основательный старший инженер Николай Степанович Денисов, щеголеватый Евгений Разлацкий и инженер-строитель Агафонов.

Было тесно. Собрались ученики других классов, некоторые учителя и даже школьный сторож Мазилин. Он сел около Шурки Ковальского. Оказывается, многим было интересно услышать «первопроходцев второго Баку» — так назвала гостей учительница.

Гости отличались от утёвцев, даже от преподавателей. Все чисто одеты, в светлых рубашках и галстуках. Говорили убедительно, но не назидательно. Душевно, не как школьные учителя. Шли легко на диалоги. Хотя, по правде сказать, вопросы возникали неуверенные и, видно было, лёгкие для гостей. Им приятно рассказывать и тут же отвечать по ходу и на те, которые иногда аккуратненько задавала химичка.

Но всё коряво переиначил Сашка Мазилин своим первым же вопросом:

— Все калякают: второе Баку, второе Баку! А не получится, как с первой?

— А что с первой, то есть с первым? — переспросил Разлацкий.

— А вы, извиняюсь я, были там? — прищурился Мазилин.

— Нет, — несколько растерялся Разлацкий.

— Значит ты не видел, как утыкали их Баку вышками, аж-

ник у некоторых во дворах. У меня дружок там — вместе воевали, два раза у него был. Повидал.

— А что там? — недоуменно спросил тот, что постарше. — Я был в Баку.

— Это не парней наших бороть самбой. Туточки мозги нужны. Аж... — Мазилин запнулся, — государственного масштабу. Вон был посёлок Чапаевский, и — нет его. А у мово брательника там, окромя дома, огорода, был такой колодец и самый лучший погреб, яблоки до весны в нём лежали. Красивейший посёлок был! Таньку свою я там сосватал. Свою тропинку протоптал от Утёвки до Чапаевского.

— Ну и что?

— Что? — удивлённо переспросил Мазилин. — Где сейчас всё это? Всё нефтью залито. До сих пор не пройдёшь.

— Ну, случайно получилось.

— Случайно? — удивился Сашка. — Нет, это не так. У мово дружка-то отец в Баку грузчиком в порту до войны работал, дак они, двое пацанов, ложками из бочки на кухне икру чёрную ели. Другого ничего не было, а икры сколько хошь! А потом что стало? Столько нефти пошло в море, что пляж из города перевели. Я ездил, смотрел. Рыбки не стало. И икры — тоже. Случайность. Да? Нашу Самарку или зальют, или выкачают.

— Вы за что же агитируете, товарищ? — подал голос коренастый, в клетчатом пиджаке, Денисов.

— А мне что агитировать? Вон агитнули уже — Ковальский на химию учиться хочет.

Шурка вздрогнул: «Откуда этот чудила всё знает?».

— Это же газ в дома, дрова не нужны будут. Лес вдоль вашей Самарки останется цел, — вновь попробовал привести здравые доводы для непонятливого Мазилина назвавшийся Денисовым.

— Кумекаешь, дорогой человек, — продолжал он, обращаясь прямо к Мазилину, который даже привстал из-за парты, очевидно, понимая важность диалога или от простого азарта, который вот-вот толкнёт на какую-нибудь ещё выходку.

«С него станется, — думал Ковальский, наблюдая, как тот улыбочиво, с ехидцей смотрит на говорившего. — Он такое может выдать — всем за школу будет стыдно!»

— Видишь ли, в прошлом, шестьдесят первом году, мы дали стране уже миллион тонн нефти. Через пару лет дадим десять

миллионов, ещё через два — может, уже пятьдесят. Такая машина раскручивается! Будут здесь нефтестабилизационный завод, наконец, фильтрационная насосная станция.

— Да, ладно, — почему-то упорствовал Мазилин, даже не обращая внимания на вошедшего и присевшего тихонечко на первой парте директора. — Фильтрационная насосная. Может, не бурить надо землю-то, а, как наш Полянский, сады на ней разводить, а? Яблони скоро в степи зацветут под Ветлянкой, а вы — ковырять.

— Александр Иванович, — директор школы строго повернул голову к говорившему за его спиной сторожу и уверенным голосом человека, чей долг ставить всё на свои положенные места, обронил: — Опять философствуете, а тут — жизнь! Мы же с вами условились: в споре победителей не бывает. Давай, если уж высказываться, то по жизни.

— Дак я не спорю! И я про жизнь. Вот навтыкаем вышек, начнем, понимаешь, план давать по нефти на всю страну, а она и провалится враз!

— Кто? — спросила химичка Валентина Сергеевна.

На задних партах ребята сдавленно хихикнули.

— Кто-о? — переспросил Мазилин и сделал паузу так, как он умел, чтобы враз стать центром внимания, и уж не на учительницу смотрели все, а на Мазилина. — Земля не провалится? Такие тонны из неё выкачивать будем, если? — с ударением на последнем слове сказал Мазилин и, невзирая на, казалось бы, нелепый вопрос, уверенно развернул плечи и прямо посмотрел на Разлацкого.

— Да, ну, о чём мы говорим? — досадливо махнул рукой Евгений под утвердительный кивок Денисова, как бы разрешающего вести диалог именно ему, Разлацкому. — Не провалится, мы же закачиваем воду.

— А кто проверил, сколько ты нефти выкачал, а сколько воды закачал? Моя хата не рухнет? Брательник-то в посёлке Чапаевском лишился своей. Смотрите, вы ребята молодые, задорные...

Валентина Сергеевна, Шурка это хорошо видел, разволновалась не на шутку. Не будь в классе директора, она, очевидно, взяла бы на себя обязанность вывести разговор на прямую и правильную дорогу. А директор молчал, посапывая. Теперь уже

всем корпусом развернувшись с первой парты, смотрел, пожевывая губами, на Мазилина, по каким-то своим непонятным меркам определив допустимость такого странного разговора и роль в нём всего-то-навсего школьного сторожа и истопника, инвалида войны Мазилина.

— А вы откуда воду берёте для закачки? — вдруг встрепенулся Мазилин и вновь привстал из-за парты, выволакивая свою не совсем послушную, неудачно после ранения сросшуюся правую ногу. — Из Самарки? — И его бойкая головушка на тонкой прямой шее зашаталась, как скворечник на худой жердине.

— А откуда же? — спокойно согласился Разлацкий.

— Да вы что? Она же иссохнет вся?! Милльон выкачать нефти и милльон качнуть воды! Вы что, рехнулись?

Дело принимало такой оборот, когда необходимо вмешательство начальства, иначе Мазилин не остановится. И начальство вмешалось, но как-то странно, это заметили многие.

— Саша, — будто позабыв вовсе о присутствующих, как если бы они были одни, обронил Михаил Дмитриевич, — мы поговорим с тобой как-нибудь обо всём этом, но потом.

— Дак, на нефть все загляделись, а мы — люди — побоку?

Кто это «мы», Мазилин не уточнил, но получалось, будто это не только он один. В установившейся тишине внятно и веско прозвучал голос Разлацкого:

— Нас пригласили, по сути дела, рассказать, а тут диспут устроили: бурить — не бурить. Дичь какая-то.

На некоторое время установилась тишина и этим не преминул воспользоваться неугомонный Мазилин. Не обращая ни к кому конкретно, он внятно произнёс:

— Женщину обманешь — она родит ребёнка, а землю обманешь — она тебе ничего не родит. Просто ведь всё. Главное — проверено уже.

У химички в который раз уже вспыхнули румянцем щёки. Вдохнув воздух в молодую грудь, она решила прямо взглянуть в лицо Разлацкому и проговорила, стараясь держать официальный тон:

— Евгений Викторович, вы нас простите, ваш рассказ и то, что поведали... (Валентина Сергеевна почувствовала, что надо бы употребить какое-то другое слово, но запнулась, не нашла и продолжала) что поведали ваши коллеги, это очень интересно, мы...

«Интересно, есть у неё кто? Такая хорошенькая и совсем ещё, видно, глупенькая», — у Разлацкого мелькнула шальная мысль и он сам себе усмехнулся.

Учительница поймала усмешку и потерялась было, но собралась внутренне и вновь подхватила увядшую фразу:

— Мы, мы рады очень...

— И мы, — сказал, вставая Денисов, — мы тоже были рады, — он открыто и доверчиво улыбнулся.

— Ну, вот и хорошо, — пробасил директор. — Спасибо вам, спасибо от ребят, от нас, не часто ведь такие встречи. И дорога ещё, по темноте...

Когда уже шли по коридору к выходу, Сашка Мазилин сзади в ухо Ковальскому пульнул напоследок:

— Шурк, твой дед сейчас ловит карасей у себя в огороде, а после этих, — он кивнул на гостей, — и воды не будет, Утёвочка убежит, её вместе с карасями в скважины ульют. Ага, такая уха будет! Глядишь, воды не дольют в скважины сколько надо, и провалимся мы в ад кромешный. Этот Разлацкий там, в классе, сказанул, как в золу пукнул: «Закачаем, сколько надо воды». Вот чудило ветлянский! Я б сказал ему там, да педагогика не позволила.

...Когда Александр пришёл домой и рассказал своему деду о вечере и странных высказываниях Мазилина, Головачёв не удивился:

— Сашке только бы какую загогулину в мозгах у народа сделать, это он любит, а больше ему ничего не надо. Городит, почём зря. Учёные люди, чать, этим всем заведуют. Они знают, что делают.

— А он говорит, что у него чутьё, и он опасается неладного, — вспомнил Александр один из последних доводов Мазилина.

— Какое такое чутьё? — махнул дед Иван рукой, — глядишь, жизнёнка в наших местах будет полегче, вот где резон.

Ковальскому понравилось, как ловко Разлацкий сказал: «по сути дела», — и ему, как и деду Ивану, тоже показалось, что всё продумано где-то там, далеко, в учёных верхах. Всё там понятно. Только не все доводы известны, даже это «по сути дела» разве может уступить мазилинскому: «а может, они наобум там пальцем макают»? Конечно, нет!

...За ужином Мазилин поведал жене о школьных гостях, о разговоре про нефть. Он любил ей рассказывать о себе.

— Да ты что, Сашка! — ахнула полногрудая, источающая, как всегда, крепкий потный дух, шустрая кареглазая Татьяна.

— А что я? — удивился Мазилин. — Они думают, что я шалопай? Но я не всегда им бываю.

— И вислоусый был? — думая о своём, спросила жена.

— Кто это?

— Ну, учитель физкультуры? Захар Селедков?

— Нет.

— Всё равно узнает, — обронила Татьяна.

— Ну и что?

— А ты забыл или не знаешь, в какой он милиции служил? — пронзительно стрельнула глазами жена.

— Нет, — задумчиво протянул Мазилин, — не забыл. Турнули его за дебош оттуда. А что, с работы загремлю?

— А может, и не только. У него дружков много везде.

— Да, ладно тебе, времена не те уже.

— Нечего ладить. Прямо голова заболела.

— Ладно тебе. Голова болит — заду легче, — как умел, пощупил Сашка.

Когда он уже ушёл на «вахту», Татьяна села за стол к окошку. Раздумчиво, невидящими глазами смотрела в окно. «Ведь клещ какой, этот Селедков! Проходу не даёт со своими приставаниями, кобель. Ноги все оттоптал, паразит. И вправду говорят: человек в страсти пуще зверя. И Саша ещё дома ночами не бывает. Всё к одному».

Она встала и начала убирать посуду со стола.

«Неужто твой хроменький нам всегда мешать будет? — вспомнились слова Селедкова и его наглая ухмылка. — Я бы его в своё время упёк так далеко...»

12

Выйдя из школы, гости направились в разные стороны. Николай Степанович — пешком к своим родственникам, жившим недалеко, сразу слева за мостом. Он решил заночевать у них, а утром с вахтовым автобусом уехать в Ветлянку. Старший ин-

женер производственного управления НПУ когда-то три последних класса школы заканчивал в Утёвке, приехав из соседней Зуевки, где не было десятилетки. А жил у своей тетки Ани, у которой своих сыновей было трое. Она теперь одна — все сыновья в городах.

Агафонов на «газике» поехал на Ветлянку.

Разлацкий отправился по Центральной улице на квартиру к Мане Сисямкиной. Размышлял на ходу: «Странно всё как. Вот Агафонова взять. Закончил московский институт. Мог остаться в Москве. Отслужил в Белоруссии, работал там. Всё равно вернулся, как он говорит, на «родимую сторонущку». А сторонущка-то? Деревянные сараи снесли. Новые жилые дома только закладываем. Степь голая кругом. Лесопосадки и то кое-где, вдоль дорог пока что и есть. Рэм Вяхирев тоже тутошний, из Кулешовки. Денисова взять... Получается, лишь некоторые издалека, сами местные строят свою жизнь, да ещё как. В прошлом году уже при мне пущена механическая мастерская, откачиваем нефть дизельными насосами. Тоже кругом местные мужики работают. Сашка Безухов — мастер, Николай Мочальников, много других».

Его порой захватывали масштабы разворачивающихся событий. Казалось, весь степной край стал громадной строительной площадкой. Все знали: нефти здесь надолго, значит, нужен город. И строили город для себя. По ходу преобразались и сёла вокруг. Выдвинули лозунг: «К каждому селу дорогу с твёрдым покрытием». А пока что только на картах значились кварталы города: «А», «Б», «Г». Там, где должен был появиться красивый проспект нефтяников, ходили в резиновых сапогах.

Разлацкий и сам быстро рос. После месячной стажировки Николай Денисов содействовал назначению его оператором-инженером отдела капитального строительства, взяв с него твёрдое обещание, что он, Разлацкий, обязательно начнёт готовиться к поступлению в институт. Евгений раньше и сам подумывал об этом, да как теперь всё свяжется!

Ребята хорошо к нему относятся. Упросили организовать секцию борьбы. Он согласился. Понимал, им молодым, силушку девать некуда. Даже тяжёлая работа, грязь непролазная и прочие бытовые неудобства не гасили избытка энергии. Его навыки перворазрядника очень дажегодились. И не только ему.

Евгению всё интересно. Родители его — астраханские и родители родителей — тоже оттуда. Почти все речники. Особой связи с деревней не было. А тут, что ни шаг, — своё, своеобразное. Вот хотя бы этот Мазилин. Ведь не дурак, а дурачится. И школьный директор не прервал, почему? Всё как-то на особинку, не поймёшь сразу. Сколько ребят — ведь хорошее дело делать съехались, а в клуб утёвский зайти небезопасно — поколотят.

Когда он дошёл до дома Зининых, внезапно выросли в полутьме две фигуры.

«Нарисовались», — усмехнулся он про себя.

— Слышь, — сказала фигура повыше, — закурить дашь?

«Ну, начинается, — досадливо подумал Евгений. — Лишь бы ножа или ломика какого не было, а так грязи накушуются сейчас...»

Он оглянулся, соображая, далеко ли до штакетника (обязательно ломать будут). Дуроломы деревенские.

— Кончилось курево, — сказал он твёрдым голосом, — и притом у тебя папироса в руке горит, видно.

— А?! — то ли вопросительно, то ли радостно сказала фигура поменьше, и Евгений узнал Саньку Конюхова, дежурного зачинщика многих драк. — Это же Разлацкий — мировецкий мужик, свой.

— Ну, свой так свой, — колыхнулась в сторону из-под кустов акации фигура. Евгений увидел скуластое рысье лицо и смелый наглый взгляд крупноголового парня.

И они разошлись.

Евгений уже давно, в отличие от остальных приезжих, позволял себе ходить в одиночку по селу в любое время, без вызова, без оглядки. Как положено нормальному человеку. Его не трогали. Был он заразительно ладный и бесконфликтный. Угадывались в нём сила и ловкость, но он их особо не показывал. Когда же способности побороть любого вдруг обнаружились, Разлацкого вовсе зауважали. Всё это быстро разошлось по округе. На него будто легла метка — не трогали.

...Деревня для Евгения во многом была противоречива и порой непонятна. Когда он предложил хозяйке тётке Мане купить и поставить в горнице телевизор, та замахала руками:

— Вместо икон в передней избе — ящик с чертями, нечистой силой поставить хочешь, ни за что! Помни, не к добру это.

Он опешил: «Бойтся, что много электричества сожгу? Так я заплачу же ей?».

Но этот вопрос так и остался неразрешённым, тётка Маня телевидение в дом не пустила.

— А ты как относишься к телевизору? — спросил Евгений Шурку Ковальского, когда они встретились с ведрами у колодца.

— Как? — переспросил Ковальский, не понимая вопроса.

— «За» или «против»? — продолжал Разлацкий.

— Я — «за», — повеселев, ответил Шурка. — Нам с мамой легче.

— Как это? — удивился сосед.

— Ну, меньше народу в клуб стало ходить. Все, кто где: в парткабинете смотрят телевизор, в школе, по домам. Меньше в клубе народу — меньше после кино шелухи от семечек и мусора выметаем. Прямая пропорциональная зависимость. Культура выше стала в клубе, — усмехнулся Ковальский.

«Опять дичь какая, — удивился тогда Разлацкий. — Но почему этот вдумчивый парень, так порой непохожий на своих односельчан, всегда внимательно на меня смотрит, безо всякой враждебности. Я ведь вломился между Ниной Свечниковой и его дядькой Сергеем. По сути, расстроил женитьбу, а он сдержан так. И ведь не боится меня, очень самостоятелен. В нём есть какая-то убедительность. Отчего? Он моложе меня и ни шиша ещё ничего не видел, одну деревню свою. И дед его — Головачёв, больше молчит, но будто разговаривает порой сразу со всеми, «одними глазами».

Он вспомнил обрывки разговора между Головачёвым и его женой бабой Груней и усмехнулся.

— Вань, ты куда пошёл-то? — бабка Груня через низенький забор смотрела в спину удаляющемуся Головачёву.

— Да, телевизор пойду посмотрю, давно не ходил к Лексею.

— Ты, Вань, получше там посмотри Куйбышев, может, Серёжу увидишь где там. Мало ли! Не едет и не едет. Что же это за забота у него в городе такая?

— Ладно, буду смотреть, — покладисто согласился Головачёв.

«Как дети, ей-богу, порой, а часто — мудрее людей нет. Натё вам, специально вашего Сергея покажут! По областному телевидению. Чудеса!» — улыбался в темноте Евгений.

Уже засыпая в маленькой каморке на цветной подушке тётки Мани, он пришёл к главному своему неудобному вопросу: что же делать? «Нину я отбил, вернее, она сама ко мне ушла. Я потерял голову — в этом надо сознаться, на виду у всего села. И эта глупая, дешёвая борьба в пыльном переулке... Лицо Сергея, парень-то стоящий... Крепкий и не злой...

Но нам-то что делать? Жениться? Но рано же... — Жениться он не собирался. — Но тут не город... Смотрят, все на виду...»

Сон обволакивал. Мысли уже не цеплялись друг за друга, дремота парализовала волю. Промелькнуло красивое лицо школьной химички и внезапно стало тревожно...

«Потом, потом, не всё сразу», — вынырнула спасительная мысль в одиночку ото всех остальных и Евгений, делая усилие над собой, чтобы не наткнуться на другую какую мысль до утра, потянулся весь к ней с надеждой заснуть, не замечая страшной духоты, стоявшей в избе, от которой не спасала одна-единственная форточка на кухне, занавешенная хозяйкой серой марлей.

...А сорокалетняя «тётка» Маня ворочалась за занавеской на кухне. «Почему он так на меня смотрел, когда сегодня пришёл вечером? Я ему кто, девочка, что ли?» — думала она, вспомнив, как под пристальным взглядом постояльца у неё загорелись щёки и она непроизвольно прикрыла полами лёгкого халатика свои с крепкими лодыжками ноги.

...Евгений всё-таки наткнулся на новую мысль, безопасную для сна: «Надо посмотреть оконные рамы в избе и поменять, какие надо». С этой уютной мыслью он и уснул.

* * *

Февраль. Лютые морозные дни. Похоже, небесная канцелярия наметила потепление на март.

А у школьной канцелярии свои порядки: расписание выдерживается строго. Если занятия по практическому вождению трактора запланированы на двадцатые числа месяца, будьте добры, товарищи одиннадцатиклассники, вы уже взрослые люди: выполняйте, несмотря на мороз.

Четверо выпускников учатся водить трактор. Через день по двое. Ковальский попал в пару с Александром Чапайкиным. Два Александра. Метода простая: за околицей от общего двора

в сторону Ветлянки тракт, вот по этому тракту можно гонять, как хочешь! Набивай руку.

Тракторист Митька Проживин, к которому прикреплены два Александра, жмётся с сигаркой от ветра и мороза к сараю, но старается глаз с ездоков не спускать: мало ли чего?

...Ковальскому уже надоела езда. Он всё попробовал: взад, вперёд, разворот налево, направо, резкая остановка, разворот на одном месте по часовой, против часовой стрелки. Всё, что смог придумать, выполнил по нескольку раз. Специально глушил двигатель. Вновь запускал. Старенький ДТ-54 не подвёл Ковальского.

— На, — сказал Александр нетерпеливому тёжке и остановил трактор, — с меня хватит. — Он пересел, уступив место товарищу. Попросил: — Отвези меня к Митьке, там теплее.

До Митьки было метров триста. Чапайкин вроде бы вначале погнался прямо. Но потом, как и Ковальский, начал делать разные разности. Нового ничего, а расстояние до Митьки не уменьшилось, даже наоборот — выросло.

— Всё, Коваль, всё, — успокоил Чапайкин, поймав вопрошительный взгляд товарища.

Они поехали по прямой, и Ковальский, откинувшись на спинку, закрыл глаза.

...Страшной силы толчок сорвал его с сиденья. Он не успел открыть глаза, как почувствовал сильный удар. Трактор стоял мёртво на месте. Голова Ковальского оказалась просунутой в пробитое отверстие лобового стекла наружу, напротив выхлопной трубы. Резкая боль вокруг рта и одеревенел, ничего не чувствовал нос.

Когда он вынул осторожно голову из пробоины и спрыгнул на снег, всё вокруг заалело. Кровь шла из разрезанной в двух местах стеклом верхней губы и носа. Не спеша, Александр начал вынимать мелкие осколки.

— Коваль, что случилось-то? Я решил попробовать на полном ходу выжать оба фрикциона, и левый, и правый. Ручные и ножные. Хотел посмотреть, что будет?

— Дура!

Звериная ярость волной поднялась в Ковальском, толкнула к Чапайкину. Он резко замахнулся и... увидел беспомощное, бледное лицо с часто моргающими глазами. Чапайкин даже не закрыл его рукой. Александр опустил кулак. Кровь из носа и

губы потекла под рубаху. Ковальский почувствовал, что майка липнет уже на животе.

Он лёг на спину возле трактора и попробовал прикладывать к разбитому лицу снег. Не помогло.

— Давай в больницу, живо, — скомандовал он Чапайкину.

— Ага, — с готовностью отозвался тот.

Когда ехали, Ковальский заметил: Проживина у сарая не было. «Замёрз и удрал в мастерскую», — отметил он.

Раны оказались неопасными. Врач Михаил Семёнович не стал их даже зашивать.

— Не хочу тебе на всю жизнь губу портить, попробую заклеить, раз такой везучий. Мог глаза изуродовать.

Он обработал раны. Потом долго шарил за тумбочкой — искал клей. Наконец, достал тёмную поллитровку без этикетки.

— Вот она, родимая, — ласково проговорил доктор. Александру показалось, что он успокаивает его, Ковальского, чтобы поверил в эту пыльную бутылку.

Михаил Семёнович лечил жителей Утёвки самоотверженно. Авторитет у него в селе высочайший. Ковальского совсем не удивило, когда тот, взяв чилижный веник у порога, выдернул из него чилижинку, подрезал кончик ножом, распушил и получил, таким образом, первоклассную в данных условиях кисточку.

— Не пройдёт и недели, всё будет ровненько, — успокаивал он, нацупывая этой своей кисточкой в бутылке клей. — А уж до свадьбы-то, что и говорить...

...Вскоре они уже ехали на тракторе домой. Обида за нелепость случившегося была сильнее, чем всё остальное. Нос болел и смотрел вбок. Большая часть удара прищлась на него.

Три дня Ковальский не ходил в школу. А в начале марта четверым одиннадцатиклассникам вручили удостоверения трактористов-механизаторов широкого профиля третьего разряда. Александру это удостоверение досталось дороже всех.

13

По словам Валентины Сергеевны получалось, что в дореволюционный период Самарская губерния славилась запасами сланцев и серы, была чуть ли не единственным поставщиком отечественной серы, которую интенсивнее всего добывали при

Петре I, делая из неё порох. Но монополия «сицилийской серы» сдерживала разработки новых месторождений. Такие, как Водинское и Алексеевское, были не тронуты.

Александра это заинтересовало, что не ускользнуло на уроке от Валентины Сергеевны и она поручила ему подготовить доклад, пообещав снабдить соответствующей литературой. Это был первый такой доклад Ковальского и он постарался. Сам материал оказался настолько любопытным, что он ушёл в него с головой. Просиживал на кухне, когда все спали, до полуночи.

Что же получалось? Самыми первыми химическими предприятиями были два завода, построенные ещё до Первой мировой войны при разъезде Иващенково, между станциями «Томылово» и «Безенчук». Один завод вырабатывал серную кислоту и им владел какой-то Ушков, а второй, выпускавший взрывчатые вещества, был приписан к Казённому ведомству.

Серная кислота была «хлебом» всех химических производств. Командовал строительством завода генерал Иващенко, оттого и посёлок позже получил его имя. Оказывается, во время нэпа в Самарской губернии был «Союз химиков» и он располагался в выросшем из Иващенково городе Троицке (ныне Чапаевск), потому что больше нигде в губернии «химии» не было, если не считать производство спичек, свечек, мыловарения, изготовление колесной мази, чернил и всякой такой мелочи. В «Союзе химиков» на 1925 год были зарегистрированы 3629 человек. Город Чапаевск, выходит, был центром химии. О нефтехимии нигде и речи не могло быть, ибо не было главного для этого — нефти.

XIV съезд ВКП(б), состоявшийся в декабре 1925 года, определил генеральную установку на неуклонную индустриализацию страны. Но полномасштабная индустриализация Средне-Волжской области была немыслима из-за отсутствия топливной и энергетической базы. Были брошены силы на геолого-разведочные работы.

Углубившись в материал, Александр начал теряться. Столько будоражащей мысли информации! Как всё спокойно и ёмко изложить? Ему показалось, что это будет даже потруднее, чем написать сочинение на свободную тему. Начиная с десятого класса, Леонид Григорьевич Лобачёв, учитель литературы, терзал их такими упражнениями, но у Ковальского всё вышло с сочинениями успешно, а тут эмоций возникло намного

больше. Они не давали сосредоточиться. Видимо, он всё же был, в силу своей дотошной привязанности к конкретному факту, больше «технар», чем гуманитарий. Но он заметил в себе и другое. Оказывается, чем больше эмоций, тем мысль работает лучше. Вначале это ему показалось неожиданностью, но, поразмыслив, он согласился, что так и должно быть. Очевидно, только в известных рамках.

Основной сырьевой базой, как понял Александр, для химической промышленности тогда были горючие сланцы, позволявшие производить креолин, парафин, ихтиол, фенол и другие вещества. Предполагалось, что сланцы помогут решить и энергетическую проблему, а значит, и обеспечить индустриализацию края. Тем более, к 1929 году стало ясно, что запасы горючих сланцев в Среднем Поволжье достигают 11 миллиардов тонн — 90% всех имеющих промышленное значение сланцев СССР.

Разработка горючих сланцев в области началась давно, ещё с 1919 года, в селе Кашпир. Но многое решила одним махом добыча нефти в районе «второго Баку». Какие проблемы принесёт с собой это направление индустриального развития края, особо никто не обсуждал. Слишком велика, грандиозна была поступь нефтедобычи и захватывали перспективы роста химии и нефтехимии на её основе. И велико было желание строить новую, достойную жизнь.

Может, этот доклад и подготовил окончательное решение Ковальского стать химиком? Ему страстно захотелось окунуться в новую жизнь.

А где страсть, там почти всегда решительные действия. Александр начал искать информацию о химических факультетах страны.

* * *

...Последнее время Валентина Сергеевна ловила себя на том, что думает о Ковальском чаще, чем о ком-либо другом из своих подопечных. Его спокойные манеры, улыбка, чаще всего возникающая как бы не вовремя, заставляли задумываться. Кто перед ней: ученик или её сверстник, не по годам, конечно, по восприятию жизни и окружающих? Иногда ей казалось, что он опытнее, успел уже что-то понять такое, до чего ей ещё дол-

го идти, оттого и эта его улыбка. Валентина Сергеевна любила как бы подталкивать своих учеников к мысли, к поступкам, а потом с радостью и удивлением наблюдать, как пошедшая от неё волна, задевая других, возвращается к ней, иногда обнаруживая совсем неожиданное...

...Она заметила, как между Ковальским и Олечкой Козыревой прихотливо и капризно выстраивались отношения и не удержалась, спросила напрямую:

— Саша, у тебя от Козыревой голова кружится?

«Боже мой, так ли я спросила и вообще надо ли затевать разговор. Но он уже в одиннадцатом классе, взрослый парень, — оправдывалась она сама перед собой. И почувствовала, что щёки у неё начинают гореть. — Уж не влюбилась ли я в него?»

На удивление, Александр не смутился вопросу. Они шли из школы, им было по пути. Так когда-то по пути ему было с Верочкой Рогожинской. И это совпадение сейчас больше удивило, чем вопрос молоденькой учительницы. Он впервые вдруг подумал, что учительница химии — это выросшая Верочка. Та же лёгкость походки, неопределенная улыбка, те же глаза: то серые, то голубые, меняющие свой цвет то ли от погоды, то ли от того, на кого они смотрят.

— Временами кружится, но я знаю, что у Олечки всё неискренне.

— Молодец, — невольно вырвалось у Валентины Сергеевны. — Ты, Сашенька... не надо с ней, она кокетливая и лживая, она тебе голову заморочит. Она из тех, кто своею любовью будет мучить до гроба. А ты для чего-то серьёзного создан...

«Боже, может быть, так говорить педагог не должен?» — спохватилась она.

— Я не женюсь до тридцати, это точно, — сказал Александр, глядя прямо и улыбочиво на свою учительницу.

— Так определённо знаешь? — удивилась Валентина Сергеевна и подумала: «Он на меня сейчас смотрит, как тот щёголь Разлацкий в школе, откуда у него это?.. Или так кажется, я теряюсь...».

— Я учиться хочу много и долго. Насмотрелся на женатиков. Каторга!

— Может, ты и прав, — нараспев согласилась Валентина Сергеевна, больше думая о чём-то своём, — скорее всего, прав...

«Как похож на Алексея, — догадалась она. — Только не блондин, а говорит так же. Уверенность, несмотря на отсутствие опыта, та же. Та же, казалось бы, невесть на чём основанная уравновешенность, когда всё ещё призрачно, неопределённо. Порода, что ли, такая есть? Или это особый духовный опыт, не зависящий от возраста?»

Они продолжали идти рядышком по протоптанной тропинке вдоль порядка домов.

— Тебе надо быть химиком. Когда доклад готовил, осознал перспективы?

— Да, — согласился Александр, — очевидно, следующие десятилетия крепко изменят всё вокруг. В стране изменят.

— Я тебе, если захочешь, помогу по химии подготовиться. И специальные сборники задач для поступающих в вузы есть. С решениями...

— Меня Плотникова собиралась артистом сделать, причём очень известным, теперь вы — Ломоносовым? — вырвалось у Александра и он пожалел, что так сказал. Смутился.

Когда подошли к дому Ковальских, учительница, точь-в-точь, как когда-то Верочка Рогожинская, легонько коснулась его плеча одним пальчиком, словно боясь обжечься, и обронила:

— Думай. За тебя этого делать некому.

— До свидания, Валентина Сергеевна, будем думать на переменах, вы так нас всех загрузили. Продыху нет.

— Неужто так?

Она взглянула на Александра, он на мгновение увидел в её зрачках себя, так они близко оказались друг к другу, невольно первым перевёл взгляд чуть правее, мимо розовой мочки аккуратного, будто воскового, уха и отступил в волнении.

Валентина Сергеевна, кажется, не заметила лёгкого замешательства, думая о своём следующем вопросе. И не замедлила:

— Ты охладел к самостоятельности? Я вижу, давно не ходишь в клуб.

— Драмкружка не стало, вот и не хожу.

— Но там же ставят разные интермедии.

— А как они играют? Вы обратили внимание?

— Да, обратила. На злобу дня сценки гонят.

— Халтуру гонят, — с досадой сказал Ковальский. — Те, кто

раньше ни за что не попал бы на сцену, сейчас взалхлеб с неё шумят в зал.

— Да, новый хударук — это не наша Валентина Яковлевна Плотникова, далеко до неё.

— Не хочет всерьёз работать.

Она чувствовала, что их диалог затянулся, нехорошо перед окнами парочкой так вот стоять долго, но всё равно решила выяснить важное для себя:

— Александр, а ты вообще разочаровался в театре или в нашем драмкружке только?

Он понял, что она имеет в виду.

— Да, Валентина Сергеевна, — деловито ответил Ковальский, — в актеры я теперь не пойду.

— Почему? Без Плотниковой не решишься?

Ковальский, прижавшись спиной к палисаднику, ответил раздумчиво:

— Ещё не сформулировал причину... Но смущает то, что артисты должны быть циниками и нахалами.

— Как? — растерялась учительница.

— Просто! Закончил трагедию и пошёл в буфет пить пиво, а человека, которого играл, оставил — как хочешь. Чтобы воплотить другой образ, надо прежнего забыть совсем, иначе не сыграешь хорошо. И играть совсем другую роль.

— Что ты говоришь?! — не понимая, воскликнула Валентина Сергеевна. — Это же роли, персонажи пьесы, а не живые люди!

— Всё равно. И ещё. Перевоплощаясь в других, надо забыть о себе самом. Отказаться от своего «Я», перетекать, как вода из сосуда в сосуд, принимая только ту форму, которую тебе предлагают, а где моё «Я»? Я ведь тоже человек. У меня своя судьба. Её мне не сыграть, а прожить надо. А когда?

«В голове-то у него ералаш какой-то, — с удивлением подумала учительница. — Но сам продирается на свет. Это уже хорошо».

Вслух предположила:

— Ну, так рассуждать можно, если ты, твоё «Я» больше твоего героя.

— А если меньше, то его и не сыграешь таким, каков он есть, — неспешно возразил Александр.

— Ты говоришь о таких вещах, я никогда об этом не думала. Ты с кем-нибудь обсуждал это?

— А с кем? Когда была в Утёвке Плотникова, я об этом не думал, а теперь... Если судьба героя придумана, зачем на неё тратить себя, нужна правда, понимаете?

— Понимаю, — смутившись, согласилась Валентина Сергеевна.

«Боже мой, я побита, мы, преподаватели, привыкли вдалбливать ученикам в головы свои мысли, а у них в голове такие, до которых мы и не дотягиваемся...»

— Оставим эту тему на потом? — предложила Валентина Сергеевна.

— Конечно, — согласился Александр, будто знал, что та не готова к разговору.

И они разошлись.

Александр бодро щёлкнул щеколдой калитки, а красивая Валентина Сергеевна зашагала вдоль порядка по сухой утоптанной дорожке чуть не на самый конец улицы. На какое-то время забыла, что идёт мимо окон домов, что её многие видят, многие уже привыкли к её спортивной фигуре, элегантному серому костюму. Привыкли, что она всегда на виду.

Встреча с Ковальским и попутный их разговор разворошил в памяти то, что она дала себе слово не тревожить. Это было для неё неожиданностью.

Ковальский сказал так же, как её Алексей два года назад: «Я до тридцати не женюсь, это для меня гибель».

Она тогда оскорбилась и несколько дней не разговаривала с ним, хотя жадно ждала встречи. А, когда встретились, оказалось, что всё порвалось. Он показался ей чудовищным эгоистом.

«Мечтала стать его музой. А стала лишь обузой», — уныло срифмовала она.

Его рассказы, которые печатали потом в «Волжской коммуне», Валентина Сергеевна собирала, передачи областного радио о нём слушала, но понимала, что всё у неё с ним в прошлом. Они не переписывались. И не виделись. Она уже смирилась, что ей суждено быть сельской учительницей, здесь, наверное, всё-таки выйдет замуж, а там дальше: скотина — без этого в селе не проживёшь, деревенские заботы, огороды, картошка... А ему? Совсем недавно узнала, что её бывший однокашник

поступил на Высшие литературные курсы в Москве. Вышла, но она пока не видела, кинокартина по его первой повести, сюжет которой когда-то горячо обсуждала с ним в общежитии пединститута в Куйбышеве.

«Какой уравновешенный, даже бесстрашный мальчик, — подумала она о Ковальском. — Это хорошо, что бесстрашный? А может, уже умеет скрывать чувства. А это разве плохо? Страсть чаще всего пагубна. У Алексея его писательство сейчас — страсть. Это, наверное, нормально. Книги будут. Слава будет! А где сама жизнь? Ничто даром не проходит и не даётся. За всё потом приходится расплачиваться. Он не понимает, мой и теперь уже давно не мой Алёша. А свою голову ему не приставишь».

Валентина Сергеевна в задумчивости приближалась к дому, где снимала квартиру.

«Он меня разыгрывал, — размышляла учительница о Ковальском, а не об Алексее, подходя к тёмной калитке. — Или он искренен? Конечно, искренне говорил», — соглашалась с собой она, вновь забывая на время про Алексея. Александр Ковальский совсем мальчик ещё, не похожий на самоуверенного, с размашистыми манерами успешно начинающего куйбышевского прозаика, такой обособленно самостоятельный Ковальский всё стоял у неё перед глазами.

...Она бодро нажала на щеколду, калитка резко скрипнула. Едва успела перешагнуть через порог, пружина потянула назад — щеколда вновь чётко прозвякнула, точно так, как у калитки, в которую вошёл Ковальский.

Немудрено. Обе, и не только эти, щеколды делал один умелец, отец Александра — Василий Фёдорович Любаев.

* * *

Приехав по распределению в Утёвку, Валентина Сергеевна невольно стала и свидетельницей, и участницей преобразований в этом крае. Кое-что уже знала из его истории, знала о людях, ясно улавливала их настроения. Но, конечно же, ей не дано было в полной мере осознать ту роль, которую сыграют изменения, происходившие здесь.

Она преподавала химию. Всё, что связано с добычей и переработкой нефти, ей было интересно. Подталкивая Ковальско-

го к нефтехимии, поражавшей её своими возможностями, она, возможно, неосознанно желала утолить свою любознательность, — попасть туда, где ей не привелось оказаться, хотя бы через восприятие ученика.

...Валентине Сергеевне нравились поездки на посадку яблоневого сада. А идея встретиться там в будущем привела в восторг. Но подумала, что хорошо бы собираться через каждые пять лет. Она об этом не сказала тогда. Не хотела глушить самостоятельности ребят.

* * *

...Почему именно тогда, в степи, под сентябрьским уютным ласковым небом, молчаливая десятиклассница Тамара Заречнова вдруг определила две даты для встречи ребят в поднимающемся яблоневом саду, в утёвской степи под растущим новым городом Нефтегорском? Тогда никто по-настоящему не мог предвидеть тех судьбоносных событий, которые захлестнут огромную и, казалось бы, непоколебимо сильную державу в восьмидесятых годах, а потом и на меже тысячелетий.

* * *

...При директоре Николае Николаевиче Полянском рабочих в питомнике не хватало, их привозили даже из Мордовии. Построили восемнадцатиквартирный дом и пять одноквартирных, коровник, телятник. Развели сто самых высокоудойных во всём Утёвском районе коров. Молоко сдавали нефтяникам.

На двадцати гектарах выращивали арбузы и возили в город. По тем временам зажили богато. Заложили вишнёвый сад...

В неуютной суховеистой степи люди создали оазис. Такого в этих краях не было. Они будто делали эксперимент и верили в успех. Но непонятные силы и обстоятельства, сплотившись и соединившись, так распорядились потом, чуть позже, что недолго шумел сад, недолго яблони цвели...

В 1964 году совхоз «Ветлянский», в который уже входили питомник и сад, объединили с совхозом «Нефтегорский», занимавшимся зерновыми и животноводством. Укрупнили, погнавшись за масштабностью.

Так питомник и сад оказались на правах пасынков. А в

1968 году исчез совхоз «Ветлянский», не стало и второго отделения его, находившегося в Утёвке. Не до садов было. Всё дальше уходило от земли. Бурно рос город нефтяников Нефтегорск. Дело рук Полянского и ребят окрестных деревень, увы, оказалось беспризорным...

...Участники его закладки потом, в конце восьмидесятых, встретятся в саду своей юности. Но что это будет за встреча...

*Я знаю — город будет
Я знаю — саду цвести,
Когда такие люди
В стране Советской есть!*

Город будет, но сад одичает.

Даже старик Головачёв не почуял опасности, исходившей от накатившей индустриализации. Не предвидели её и высокие чины, где-то там, наверху...

Чуял опасность для земли Сашка Мазилин. Но кто такой Мазилин? Кто ему поверит? От него всякого можно ожидать. Таких чудачков «мазилиных» в каждой деревне можно сыскать добрый десяток...

* * *

...Город Нефтегорск привнесёт исключительно много доброго и славного в развитие района. Чего стоила хотя бы только массовая газификация сёл! А воплощённый в жизнь лозунг: «К каждому селу дорогу с твёрдым покрытием!». Это был рывок!

Целое поколение родилось и выросло на нефтегорской земле, связав свою судьбу с нефтедобычей. Нашло своё счастье. Район из сельскохозяйственного быстро превратился в промышленный.

Буровики работали сплочённым коллективом. Станки вначале были примитивные, раствор готовили вручную. Часто самым главным инструментом была кувалда. Но дело ладилось! Люди выполняли и перевыполняли планы, возводили своё светлое будущее.

И плодотворно сотрудничали с сельскохозяйственными предприятиями. Помогали строить и ремонтировать животноводческие помещения, организовывать уборочно-транспортные звенья и бригады.

В 1963 году, когда Ковальский уже будет учиться в институте, страна получит десять миллионов тонн нефтегорской нефти, через два года — пятьдесят, а в 1969 году — рекордные сто миллионов.

...Но пройдёт виток взлёта и наступит... обвал!

Это случится много позже. Станет очевидным, что выручка огромной страны в целом от экспорта нефти и газа составляет три четверти доходной части бюджета.

Государство начнёт жить с середины семидесятых годов на средства от реализации углеводородного сырья за рубежом. Мыслимо ли это, если для Советского Союза-России нефть и газ с учётом их масштабов и сурового климата — основа собственного жизнеобеспечения.

...Экономика страны, зависящая напрямую от продаж за границу, от неблагоприятной внешней конъюнктуры, от колебаний и скачков мировых цен на нефть и другое сырьё, обречена на нестабильность, угрожающую быстрой сменой финансовых взлётов и падений.

Случится то, что трудно было, казалось, представить: падение мировых цен на углеводородное сырьё явится одной из основных экономических причин начала развала СССР.

На устах и на слуху возникнут имена людей, чья деятельность тесно связана с топливно-энергетическим комплексом. Среди них и бывший первый бригадир буровиков в посёлке Ветлянка Рэм Вяхирев, у которого начинал когда-то работать оператором по добыче нефти Евгений Разлацкий. Директор нефтестабилизационного завода под Нефтегорском Рэм Иванович Вяхирев, родители которого будут похоронены на нефтегорской земле, впоследствии станет главой российского «Газпрома».

...Придёт время, и ТЭК — топливно-энергетический комплекс, локомотив, тащивший всю промышленность страны, начнёт давать сбои. Локомотиву потребуется самому огромная помощь...

...Первые тревожные сигналы о накапливающихся там проблемах и негативных возможных последствиях поступят в середине семидесятых годов. Но наши специалисты «не пророки в своём отечестве».

«Гролом среди ясного неба» прозвучит некоторое время спус-

тя прогноз ЦРУ США о том, что советская нефтяная отрасль находится на пике своих возможностей, и в середине восьмидесятых годов начнётся необратимое снижение добычи нефти.

В середине восьмидесятых, когда прогноз ЦРУ практически подтвердился и добыча нефти в стране впервые сократилась, на короткий срок удалось приостановить долговременный спад. Но в конце восьмидесятых это делать было уже не по силам. А впереди были структурные преобразования российской экономики. Они ещё более усугубят положение в топливно-энергетическом комплексе!

...Да, это будет потом, далеко в будущем, в тех сроках, которые определила случайно Тамара Заречнова, а сейчас... сейчас, в самом начале шестидесятых годов, страна, не осознавая грядущих бед, бодро, не замечая того, пышущим, крепким ещё телом, увы, садилась на нефтегазовую «иглу»...

14

Экзамены Ковальский сдал легко. Сказалось и усердие, с которым он занимался в зимние каникулы, штудировав ответы на вопросы по выданным билетам.

Неожиданней всего получился у него экзамен по литературе. Он часто писал сочинения на свободную тему, ему нравилось это. И получал, как правило, «хорошо» или «отлично». Когда на выпускном экзамене на доске появились темы сочинений и среди них свободная: «Коммунизм — это молодость мира и его возводить молодым», Ковальский вначале не обратил на неё особого внимания. Казалось, нет конкретного материала, цитат. Он сидел, не торопясь раздумывая. Взгляд его упал на газеты, которыми застелили все парты. Учителям казалось, что так парты выглядели наряднее. Областные «Волжская коммуна» и «Волжский комсомолец», районная «Ленинский луч» пестрели заметками о передовиках производства и в городе, и на селе. Цитаты из них просто просились в сочинение. И не надо опасаться, что допустишь ошибку, — бери прямо из первоисточника. Он зашуршал газетами, на него стали посматривать учителя и Александр подумал, что они поймут сейчас его затею и уберут их. Ковальский притих. Не переворачивал газет. Решил ограничиться только тем материалом, который доступен.

Он отметил всё, что можно было использовать в сочинении. Получалось солидно: тут тебе и удои, и цифры по посевным делам, промышленности, и успехи областной нефтехимии. Комсомольские стройки страны. Вспомнил про Разлацкого, Денисова, строящийся Нефтегорск и выходило, что, если начать с Павки Корчагина, Алексея Мересьева и после них выстроить ряд имен, фамилий областного масштаба, районного, тех, кто рядом, Разлацкого и остальных, то получится, что дела их и жизнь — это и есть то самое, что двигает всех вместе к светлому будущему. Александр наметил план сочинения, выписал в черновик всё необходимое. Улучив момент, сделал равнодушное лицо и перевернул поочередно каждую газету другой стороной.

В какой-то момент убоялся, что ему поставят в вину этот прием написания сочинения и получится казус. Но решил рисковать.

За три часа Ковальский написал и сдал свой труд.

...Он получил «отлично» и его ставили в пример. Говорили, что при хорошем слоге у него удивительно обширные знания местного материала. Отметили это и в районо. Будто трудно догадаться, откуда у него эта осведомлённость. Но школе тоже нужны были свои легенды... Это Ковальский понимал.

Заминка получилась на экзамене по английскому языку. Конечно, на «отлично» Ковальский не знал предмет. Но не это подвело. Когда он рассказывал «эбаут май фэмили» — «о моей семье», не смог по-английски пояснить, почему у него два отца. А только про одного, любого, он не хотел говорить.

«Инглиш хоз» — так все звали высокую доходягу-англичанку, стала, не совсем удачно, ему подсказывать. Всё осложнилось и Александр замолчал.

— Инаф, инаф, — доброжелательно реагировала Нина Ивановна, а он и не возражал. Хотел скорее закончить этот бестолковый разговор. Так Ковальский получил единственную на выпускных экзаменах четвёрку.

Заскочили к нему в аттестат ещё три четвёрки и все, как он полагал, случайно. Вот хотя бы по астрономии. В школе никогда не было преподавателей по этому предмету. И вдруг появилась пухленькая такая, с блестящими глазками, круглолицая.

Провела первый урок, выдала задание на следующий и на этом, на втором уроке, отвечал один-единственный, он — Ко-

вальский. Ему понравился этот удивительный предмет. Он с удовольствием готовился. Преподавательница поставила ему четвёрку.

Других желающих отвечать не было. Она не настаивала. Третий урок уже не состоялся. «Звёздочка» уехала из Утёвки, ей не очень понравилось в селе. Так у Ковальского, одного из класса, оказалась законная четвёрка по астрономии. Когда заполняли выпускные документы, каждому вывели такую отметку, которая как бы соответствовала общему среднему баллу. Ему менять оценку не стали — она была, её исправлять вроде бы не положено. Медаль Ковальскому «не светила», он и не волновался на этот счёт.

* * *

После выпускного вечера в школе веселились ещё в доме у Ивановых. Танцевали, пели, вспоминали школьные истории. Пробовали то ликёр, то водку. Потом гуляли по селу всю ночь. Вновь пели, ходили по улицам. Притихшие, сидели на берегу озера Приказного, там, где ивы склонились на крутом берегу, со стороны Самарки. Александр пришёл домой в пять часов утра.

А в семь вернулся из клуба отец и разбудил его. По планам Василия выходило, что надо обязательно сегодня начать крыть дом шифером. Старую тесовую крышу они разобрали ещё на майские праздники и доски давно лежали около сельницы.

Перечить отцу Александр не мог. Молча повиновался. Когда вышел на залитый утренним солнцем двор, его пошатывало. Есть не хотелось. Хотелось пить.

Влез на крышу и ему показалось, что долго на ней он не пробудет — упадёт. Вяло подумал, что случится это очень даже некстати.

Но мало-помалу расшевелился и дело не ходко, но пошло. Отец будто ничего не замечал. Или делал вид, что не видит его состояния. У него были свои непоколебимые установки. Он им сам подчинялся, сам был во власти того, что задумал. Любаев с годами не менялся.

...Когда Катерина вышла из кухни во двор и поглядела на Шурку, тут же объявила перерыв, предлог нашла быстро.

— Вась, ведь Николай Степанов два раза уже приходил за

овечьими ножницами. А ты так и не наточишь; они сегодня стричь своих будут — сделай, мне уж неудобно. Танька его вчера в магазине мне выговаривала...

Она знала, как уговорить отца. Когда Любаев включил точильный станок, Шурка был вновь в сельнице.

Вскоре резкие визжащие звуки, доносящиеся из мастерской, отодвинулись куда-то далеко-далеко, будто за село, в Ильмень, стали похожи на шипенье домашних гусей. Потом эти гуси почему-то сделались большими. Александр видел с закрытыми глазами, как они увеличиваются до размеров крупной белой лошади, на которой ездил лесник Николай Степанов. Шипящие гуси росли на глазах, как тогда, когда они с матерью прошлой осенью ходили в поле за семечками и их застал туман. Этот туман сильно удивил Ковальского: всё росло в размерах и искажалось. Марево окружило их со всех сторон и они, ощутив себя маленькими, тонули в окружающем. Гуси огромными белыми драконами высились, маячили рядом, спереди, сзади, вокруг...

Катерина тогда напугалась, а Шурка, поняв, в чём дело, смеялся тихонько, чтобы не обидеть мать. Оптический обман.

Проваливаясь в сон, он увидел и лицо отца в мастерской, ему показалось, что тот тоже потихонечку, чтобы Шурка не обиделся, улыбается. Отец всегда видит многое, но не торопится вмешиваться.

«Сейчас придёт Степанов и они, наверное, будут говорить о предстоящем сенокосе. Интересно: где будем косить? Косить начнут, наверно, уже без меня. У меня институт на носу...»

...Шурка проспал до вечера.

Разбудил его брат Петька. Сказал, что за ним приходили одноклассники, звали в школу. С их слов Петька узнал, что повеселились выпускники неплохо. Отличился Сашка Чапайкин по причине полного отсутствия меры и опыта в выпивке.

А хозяйка дома, где они были после школьного вечера, мать Маши Ивановой, приходила и рассказывала Катерине:

— Вчера я Чапайкина всё выталкивала на улицу. А он — ни в какую. Всё мотался, бедный, как подсолнух, в задней и в сенях... Ну, в ларь в сенях и... вырвало его. Молоденький ещё. Я утром обнаружила такое дело. Пышница в ларе сверху вся в винегрете. Что делать? Сгребла и во двор выкинула. А потом смотрю, куры наши пьяные ходят. Наклевались. Солнце под-

нялось, их разморило. А соседский петух, который нашего всё забывает, важно так смотрит на всех, но никак колоду с водой не обойдёт. Всё поперёк неё лезет. И смех, и грех! Чуть не утонул в ней. Как у людей, у курей-то. Пьяный петух очень похож на Мазилина, он такой бывает.

Петька говорил, что мать очень смеялась, а отец не слышал, ушёл куда-то с лесником Степановым.

...На следующий день Александр взял у отца в мастерской две метровых доски и смастерил в сельнице на врытых в землю ножках стол. Отыскал и крепкую широкую табуретку. Надо было готовиться к вступительным экзаменам в институт. В избе не дадут — бывает много народу. А тут свободнее, хотя кругом живность всякая: пыхтит, квохчет, хрюкает, мычит под боком. Зато свежий воздух и разговоры не отвлекают разные...

15

Самарка — река по весне взбалмошная. Рвёт полой водой с высоких песчаных круч и около Утёвки, и в верховьях по ходу своему дерева. Несёт их по течению. Многие оседают в песчаном дне и годами торчат коряжинами из воды, смущая купальщиков и рыбаков, путая сетки и бредни. Если застревает в воде дуб, то становится со временем чёрным, как уголь. Василий Любаев зовёт такие дубы морёными.

Несколько таких дубов он обнаружил около Полоузного ключа и решил их расхатать, как он говорит, на дрова.

— Чтобы не ездить в дальнее Моховое, на ту сторону Самарки, — махнул рукой в сердцах Любаев на возню в сельсовете с затянувшимся выделением делянок для инвалидов войны. Взял у Стёпки Синегубого меренка, запряжённого в дрожки, и без всякого предупреждения, как всегда, скомандовал:

— Шурка, едем ноне пилить дрова, а то и так задержка получилась, скоро уедешь поступать в институт, с кем я тогда?

У Александра были совсем другие планы, но как перечить?

— Пап, а давай соседа Евгения позовём с собой?

— Чтой-то вдруг?

— Он мне раза два говорил, что хотел бы с нами куда-нибудь съездить по делу. Ему интересно. Ничего парень. Говорит, село ему нравится.

— Ничего? — переспросил Любаев и пристально посмотрел на Александра.

«Сейчас что-нибудь скажет про его борьбу с Сергеем в проулке и про их дела», — промелькнула мысль.

Но отец сказал другое:

— Я инструмент приготовлю, а ты посмотри: там мать поесть собрать должна. И зови соседа, коли ему хочется.

— А Петьку возьмём?

— Ни к чему, у него ещё болячка на ноге не сошла. Не трогай его.

...Евгений проснулся рано. Было воскресенье и торопиться вроде бы некуда, но не спалось. Натянув фланелевую рубашку на голое тело, вышел во двор. У Любаевых была уже звонкая жизнь. Василий Фёдорович что-то точил в приземистой мастерской. «Когда он вообще отдыхает, этот хромой крепьш?»

Евгений через реденький забор не раз видел, как тот, голый по пояс, бодро фыркая, мылся около дребезжащего рукомытника, прикрепленного к сохе у забора. И каждый раз опытным глазом спортсмена отмечал крепость коренастого инвалида. Сила этого человека чувствовалась на расстоянии.

Когда Александр вышел из избы, Разлацкий уже разминался с двухпудовой гирей. Ковальский подошёл к забору.

— Привет! — Шурка подумал, что поздоровался суховато. Ему хотелось, чтобы Евгений не отказался от поездки, и он добавил уже мягче: — Мы сегодня едем пилить дрова на Самарку, давай с нами!

— Когда? — спросил сосед, забыв ответить на приветствие.

— Да, вот, лошадь у ворот стоит, отец уже собирает, что надо.

— А не возражает?

— Нет, я спросил.

— Надолго это?

— Может, и надолго. Как отец, как дело пойдёт.

— Тогда надо что-нибудь поесть взять.

— Да не надо, я маме уже сказал, она ещё бутылку молока налила. Яички, помидоры положила.

— Ага, тогда я мигом.

Перед самым отъездом Надя, как маленькая, стала хныкать:

— Пап, возьмите с собой, я так давно на Самарке не была.

Отец отмахивался. И Надюха упростила бы, все знают, что Василий Любаев, когда его по-хорошему просят, тем более кто-нибудь из дочерей, редко отказывает. Сестра уже было победно посматривала на Александра, но всё враз определила вышедшая на крыльцо мать, слышавшая разговор.

— Куда тебе, у них же мужицкая артель, не выдумывай у меня. Пойдёшь со мной полоть в огород.

Лицо Надюхи сделалось тяжелокаменным. Она встала и пробежала мимо брата в избу. Он видел, что сестра боялась расплакаться. Ему стало жалко её.

...На дрожках ехать удобнее, чем в телеге или фургоне, свесить ноги легче. И Любаеву на дрожках проще. За последние два года нога и позвоночник окрепли. Хотя не сгибаются, но и не болят, как раньше, — и он на дрожках уже ездит, если дорога песчаная. Раза три-четыре до Самарки останавливался и шёл подолгу, не спеша, держа лошадь в поводу. И это, как он говорит, «мировой прогресс».

— Я смотрю, вчера ты с дружкой своим в сумерках гирую, по-моему, задами со двора вашей англичанки тащили. Сбондили, что ли, украли? — весело спросил Евгений, мотая поджатыми ногами.

Отец, услышав сказанное, искоса посмотрел на сына.

— Люди добрые, ну, ответьте мне, — потряхнув головой, с закрытыми глазами, проговорил Александр, — зачем красивой учительнице английского двухпудовая ржавая гиря, а?

Василий Любаев и Евгений дружно засмеялись.

— У её хозяйки сын гирьку тягал, но ещё весной уехал в Кинель учиться, — добавил Александр.

— Тебе бы тренера, Александр, с твоими отличными природными данными мог бы хорошие показатели иметь в тяжёлой атлетике, ты крепкий.

— Сейчас приедем на место, я вам покажу, где проявить себя. Вот там вам тяжёлая атлетика и будет. Погляжу на вас обоих, — весело пообещал Любаев.

— У нас есть штанга в школе. В десятом классе купили, когда работали в питомнике, — сообщил Ковальский.

— Ну и что? — заинтересовался Евгений.

— Я третий разряд в полулётком весе уже сделал.

— Да ну! — удивился сосед. — Это же здорово!

— Отцова тренировка, он нам с Петром такие нагрузки даёт, что я по жиму уже на второй тяну.

— Ладно, — проговорил Евгений, — специально штангой я не занимался. Но вот в борьбе я тебе кое-что покажу и боксировать поучу малость...

Они двинулись не спеша. Евгений и Александр больше шли, чем ехали.

— Как жизнёнка-то там у вас, на Ветлянке? — спросил Любаев Евгения, усаживаясь после очередной своей «проходки» на фуфайку и трогая меринка.

— Да ничего, обустройстваемся.

— Нефти-то много обнаружили?

— Очень много. На десятилетия!

— Дела, — неопределённо произнёс Любаев. — А ты скажи, Евгений, в Африке нефть есть или в Бразилии какой?

— Не знаю, — ответил тот. — Вот сахар в Бразилии есть, кофе — тоже.

— Как так — не знаю? — удивился Любаев. — Может, они лучше нас её добывать умеют?

— Ну, нет, у нас — техника! — неуверенно возразил Разлацкий.

— Эка! — удивился Любаев. — А они что? Пальцем делают дырки в земле?

— Нет, — резонно возразил Евгений и добродушно рассмеялся.

— Смейся, смейся, голова садовая, — поучительно сказал Любаев. — Но раз ты учёный, то должен соответствовать, правильно?

Он обернулся, посмотрел на своих спутников и тоже весело засмеялся.

— Сдаюсь, — сказал миролюбиво Разлацкий, — положил на лопатки. Но только я ведь всего-то техник.

— Техник не техник, а мотай на ус. Техник — это мастер, — уверенно произнёс Любаев. — Надо многое знать, голова.

— Знать всё нельзя, Василий. Не осилить.

— Всё в своём деле, я так понимаю, — уточнил, не оборачиваясь, Василий Фёдорович.

— В селе, наверное, можно всё знать, в сельском деле, — неосторожно порассуждал вслух Разлацкий.

— Э-э-э, — тут же отозвался Любаев, — вот это общая ошибка у нас в России.

Александр слушал полушутливый разговор и не торопился вмешиваться. Никак не ожидал, что его отец и Разлацкий так быстро найдут, о чём поговорить.

— Сдаюсь и здесь, наверное, не прав. Я — городской, и отец, и дед горожане — многого не знаю. Но вопрос, Фёдрыч, можно?

— Отчего нельзя, давай, — сбивая ловко вожжём надоедливового слепня с потной спины меринка, согласился «Фёдрыч».

— Вот соловей, какой он на вид, а?

— Что вдруг про соловья-то?

— А у нас, у хозяйки, да и у вас на задах стоят, ну, эти, как пирамиды, кучи кизяка.

— Стоят, — великодушно согласился Василий.

— Там по утрам соловей поёт. Я долго караулил его — посмотреть.

— Это когда от Таньки-то возвращаешься?

— Ну, допустим, — мотнул головой Разлацкий. — Но всё же, какой он на вид?

— Серенькая такая птичка, поменьше воробья.

— Верно, — обрадовался Евгений. — Маленькая и серая. Совсем неприметная. — Помолчал и добавил: — Как поёт! А живёт в навозе.

— Не в навозе, — попытался поправить Александр, — в кизяках, которые из навоза.

— Всё равно.

Александр никак не ожидал такого от Разлацкого. Спортивный парень. Ловкий. Жёсткий с виду и неприступный — вблизи оказался таким простым. Или это присутствие Василия Любаева так на него подействовало?

...Они уже подъезжали к Самарке. Летом запахи на реке особенные. У Полоузного ключа намешанные на калёном жёлтеньком песочке, лопухах и осиннике. Такие, когда ты на рыбалке или просто приехал быстренько искупаться. Если же работаешь на Самарке в артели — дело другое. Запах пота и мат гуляют вокруг. Работа случается больно тяжёлая, вот и матерок не легонький, а как вага, с помощью которой любое бревно поднять легче. Когда Александр работает с отцом или дедом, такого не бывает. И без мата ловко всё получается.

Александр удивлялся: с Иваном Дмитриевичем всё делалось красивее и неспешно. С отцом — азартно и результативней. У него на всё своя придумка, своя линия. И всегда эта линия выводит, куда надо.

... — Ну, вот и работенка, — сказал Любаев, указывая на два огромных бревна, торчавших из воды, едва они подъехали к обрыву метрах в пятидесяти ниже Ледянки. — А с десяток ещё в воде. Их пригнало, наверно, этой весной. Не было раньше. Или вылезли, смотри обрыв куда ушёл.

Втроём они спустились к воде. Разлацкий и Александр, раздевшись до трусов, начали обследовать дубы. Они оказались на удивление ровными, почти одинаковыми по толщине, сантиметров по семьдесят. Комли крепко заилились на дне.

— Саш, ты иди распряги лошадь. Расхомутай, но не пускай, а привяжи к кустам пока.

Поперечная пила была загодя наточена и разведена. Но уж больно тверды дубы, невесть сколько пролежавшие в воде. Пилить тяжело, да и зажимало пилу часто, приходилось подкапывать лопатой песчаное дно под деревом.

Пилили кряжинами длиной примерно по метру-полтора. Когда сделали восьмой рез и восьмой кряж, как чугунная литая чушка, плюхнулся глухо в песок, Любаев скомандовал отбой.

— Я такой работы никогда не видел, — отдуваясь, устало выдохнул Разлацкий и сел повыше на горячий песок, грея пятки. Достал часы из кармана висевших на осинке брюк. — Час времени.

— Эх, мать, давайте тогда перекусим, а? — предложил Любаев.

— Мы — за, — сразу за обоих ответил Александр.

Решили обедать у воды, не поднимаясь на кручу. Александр расстелил мешок и достал из сумки провизию. Вскоре Ковальский и Евгений, держа в руках по бутылке молока, восседали над кучкой яичек и помидоров. Любаев лежал на старенькой куртке. Сидеть на земле он не мог.

Хотя и был конец августа, солнце палило крепко. Александр накрыл майкой голову, отец — в стареньком выцветшем картузе.

— Может, запасмурит на денёк, марит очень, — предположил Любаев.

У обрывистого песчаного берега сновали в воздухе юркие нарядные щурки. У них в норах гнёзда, оттого берег весь похож со стороны воды на пчелиные соты. А над разноцветной полянкой, поросшей по краям дикой вишней и чилигой, совсем рядом в летнем мареве повисла, словно на невидимой длинной нитке, как заводная игрушка, пустельга. «Странная птица, — думал, глядя на хищного ястребка, Евгений. — Умеет подолгу висеть в воздухе на одном месте, почти не шевеля крылами, и высматривать свою жертву на земле. Почему она так создана и для чего? — И чуть позже лениво подумал: — Каждый выслеживает свою добычу. Так всё устроено».

Было светло и спокойно. И только он хотел сказать Александру о пустельге, как сонный воздух прорезал бодрый разудалый голос:

*Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны...*

Сашка Мазилин на своей плоскодонке, вынырнув из-за мыса Ледянки, мчал прямо по стремнине, по урчащим утробно и угрюмо воронкам.

— Кого я вижу, Василий!

— Давай, ушкуйник, гребки к нам, — деловито сказал Любаев.

— А я сюда и греблю, то ись — гребу, — объявил весёлый Сашка. — Вы, чё же, лешие, дубьё попилили, а я хотел их тоже разделить.

— Опоздал, значит, — констатировал Любаев. — Хотя один остался ещё. Как раз для твоей грыжи.

— Да ладно, — отмахнулся Сашка, — я повыше там нашёл ещё, они поспособнее, тоньше. Этими надорваться можно.

Он причалил чуть ниже торчавшего из воды дуба. Когда лодка ткнулась в песок, привстал в ней — худой, как весло.

— Надо же, распарило с самого утра, а!

Раскинув руки, потянулся, выдавшая виды тельняшка прилипла к телу, обозначив Сашкины рёбра, отчего он стал похож на забавную пичужку.

— Ты своей тельняшкой всю рыбу распужал, — сказал Александр. — Светлая она.

— Да нет, Шурк, вот смотри!

И он вытащил из-под сиденья на корме схваченного за жабыры поводком большого, с полметра, голавля.

— Стервец, на лягушку попался, я на носу лодки удочку пристроил. А так на подуста сидел с утра раннего. Со своей бутылкой молока к вам можно?

Мог и не спрашивать, тем более уже пригласили. Мазилин в компании — находка.

— А что за рыба — подуст? Я слышал, но не видел, — спросил Разлацкий.

— Я только сейчас узнал, сосед Любаевых, да? — сказал Мазилин.

— Ага, — по-свойски, расслабившись, ответил Евгений.

Глаза Сашки сверкнули. Он прицелился в Разлацкого правым глазом, прикрыв левый. Смешно выпятив нижнюю губу, как это часто делал, когда начинал дурачиться, пояснил:

— Подуст, я извиняюсь, он, как ты: ловкий, прогонистый, мускулистый. Но только по губе верхней ударенный... по сопатке самой, значит.

Александр и Любаев тревожно переглянулись. Разлацкий полулёжа снисходительно снизу вверх смотрел на говорившего. Лицо его было спокойно.

— Ага, — продолжал Мазилин, будто дразня, — ему будто кто хлобыстнул однажды по ней, по сопатке его.

— Сашк, он наших деревенских парней запросто кладёт на лопатки, ты знаешь? — предупредил Любаев.

Но Мазилина, непонятно с чего, понесло:

— И не только парней, Василий, и девок — запросто на лопатки. Вру, конечно, сами они...

— Покажи! — бесстрастно, но внятно сказал Разлацкий.

— Чего? — не понял Мазилин.

— Подуста.

— А-а, подуста, — переспросил, что-то соображая, Сашка, — пойдём к лодке.

«Сейчас подерутся», — спохватился Ковальский, не зная, что делать.

Разлацкий встал и они двинулись было, но чёткий голос Любаева, как тогда, давно, когда однажды Шурка дрался на дороге с Мишкой Лашманкиным, остановил их:

— Евгений, останься, Сашка, тащи своего подуста сюда.

Мазилин стрельнул глазами в Любаева:

— Да ладно тебе: сапоги всмятку.

Когда Мазилин отошёл, Любаев спросил Разлацкого:

— Ты что, тронул бы его? Он же безобиднее мухи. Плюнь и разотри.

— Но жужжит, — засмеялся Евгений. — Не тронул бы. Он чуть не в два раза старше меня. Забавно.

Мазилин задержался у лодки, а Разлацкий, к удивлению Ковальского, сказал вполголоса, только для Любаева:

— За мной следит. Всё видит. Сторожил бы лучше жёнушку свою, Татьяну.

— А что? — нехотя спросил Василий.

— Да трётся около неё этот ваш учительшка, Селедков, прохиндей страшный. И около дома я его видел ночью. Подсказать бы как.

— Да не лезь ты в эти дела.

— ...На, смотри, — спокойно сказал Мазилин и протянул подуста.

Разлацкий принял и стал сосредоточенно рассматривать.

Ковальский поднялся наверх посмотреть лошадь, а Мазилин, не обращая внимания на Разлацкого, проговорил:

— Ты знаешь, Василий, я когда на тебя и Шурку твоего смотрю, вот ей бо... давно хочу сказать, он как твой родной сын — похож очень. Тут какая-то может быть медицинская загадка? Он, может, правда, твоим быть. Наука откроет когда-нибудь.

— Чего, Сашк, городишь-то, — беззлобно отмахнулся Любаев.

Мазилин сморщился и долго стоял с таким лицом. Было непонятно, то ли жалеет Любаева, то ли ему наступили на жало, которым хотел с досады ткнуть в Василия, но не получилось.

Он не простой был, этот Сашка Мазилин...

* * *

Вскоре рыбак уплыл и они начали вытаскивать напиленные короткие, но толстые и тяжёлые брёвна-чушки на высокий берег. В самый разгар работы Евгений тронул молча плечо Ковальского:

— Смотри, кто это?

— Ласка, — вполголоса удивлённо произнёс Александр. — И не боится.

Он попрिдержал меринка за повод, чтобы притих. Любаев

вопросительно глянул на сына, но, увидев шустрого зверька, тоже стал наблюдать. На их глазах к тому месту, где они только что обедали, юркнул удивительно подвижный зверёк.

Ласка на лето поменяла белый цвет своей шубки на коричневый и была теперь на речном песчаном берегу малоприметной. Она обнюхала с интересом объедки от помидор. Они ей не понравились. Легко перескочила на другой край разостланной для обеда мешковины. Затаилась, когда большие существа там, у воды, шумно уронили что-то огромное и тяжёлое на мокрый песок, а потом продолжила осмотр остатков еды. Лизнула белую жидкость, капелькой повисшую из свалившейся набок почти пустой бутылки. Молоко пришлось по вкусу. Но больше капелек не было. Лизнула горлышко бутылки своим остреньким язычком и... рядышком увидела недоеденное куриное яйцо всмятку. Это ей знакомо. Она любила выпивать птичьи яйца. Но тут немножко другое. Попробовала — понравилось, ловко зацепила зубами ломаный край скорлупы и потащила в лопухи, туда, где над головой были щуркины гнёзда. Запасливая дамочка!

— У вас в деревне прямо какой-то открытый зоопарк, всего насмотришься, — позавидовал Разлацкий.

* * *

...Четыре первых бревна чубарый меринок вытянул тяжело, но успешно. Сыпучий песчаный крутой берег плыл под лошадиными копытами. Меринок тянул захваченные кряжи удавкой что было сил. Вожжи, привязанные к гужам, натягивались струной до звона, вот-вот готовые лопнуть. Часто лошадиная сила шла вбок, и тогда тёмная кряжина зарывалась в песок.

Александр помогал меринку, как мог, управляя поводом. Разлацкий подталкивал бревно, не давая ему зарываться. Любаеву с его ногами было просто опасно подходить, он и не мог — склон слишком крут.

Мерин старался изо всех сил, пена повисла на губах и удилищах. Он косил налитым кровью глазом вниз на неподатливые кряжи и недобро ржал. Казалось, недоумевал: было же видно — одной лошадиной силой не осилить затеянное. Но жёсткие команды Любаева подстёгивали его.

На шестой ходке вожжи лопнули, литой кряж пошёл вниз. Встав на попа, он опрокинулся и в один момент оказался у самой воды. Лошадь, с проворностью, похожей на собачью, вытянув шею вдоль кручи, потеряв свою природную осанку, выскочила наверх и скрылась в кустах.

— Шурка, перехвати, иначе убежит на общий двор, — командовал Любаев.

В одних трусах, мокрый и в песке, Александр кинулся наверх. Меринок уже бежал по дороге, не останавливаясь, мелкой трусцой, казалось, не слишком быстро, но, когда Александру всё же удавалось догнать его, делал либо рывок вперёд, либо вбок, и поводья вместе с обрывком вожжей становились недостижимыми. Несколько раз меринок вроде бы спохватывался и останавливался — ему словно становилось стыдно за своё дезертирство. Он стоял и смотрел, но, когда рука Александра уже готова была схватить вожжу, лежавшую на земле, не выдерживал, снова бежал, виновато оглядываясь, не в силах остановиться.

Когда они оказались у крайних домов Утёвки, Александр спохватился, что в одних трусах. Показалось глупым бежать через всё село в таком виде и он остановился. Сообразив, что в любом случае надо будет пройти мимо дома классного руководителя, химички, ещё больше ступешевался.

Он пошёл назад к Самарке.

* * *

...Отца встретил в леске, на полпути к селу.

— Не догнал? — совсем, кажется, без досады спросил Любаев.

— Не дался, хитрый. Карий сознательней, свой.

— Ладно, пойду потихоньку. Отложим до завтра. Вы с дрожек всё спрячьте в кустах и возвращайтесь.

...Александр с Разлацким так и сделали. Пилу закопали в песок, зубьями вниз, чтобы никто не напоролся. Лопату и всё остальное недалеко от пилы схоронили в кустах шиповника — кому взбрѣдет в голову лезть в такую чащобу? И отправились налегке домой.

У Лопушного озера показался на дороге Мазилин. Он был пьяненький.

— Ты как домовый или леший, — приветливо сказал Александр.

— А кто ж я? Может, и леший какой? Кто знает обо всех всё. Немножко принял, ну и что?

— У тебя где зарыто, что ли, было? — добродушно спросил Разлацкий.

— Запасливый лучше богатого, — уклончиво ответил Мазилин.

Они пошли вместе.

Узнав, что случилось, Сашка пожалел и тут же посоветовал:

— Не пугайте в бредень — не пугайте карасиков.

Спутники рассмеялись.

— Во, видите? Не так всё плохо. Я вам скажу, что они, животные, очень часто выделывают неожиданные пакости прямо на ровном месте. Хотите, расскажу историю, короче дорога будет.

— Валяй, — разрешил Разлацкий равнодушно, — ври.

Ковальский подумал, что Мазилин обидится, но тот начал почти патетически:

— У других цельная бадья вранья, а у меня гольная правда, — Передохнул и продолжал: — Приобрёл я, эдак лет пять назад, котёнка. Жёлтенький такой, да. И ласковый вроде. Но стал подрастать и сделался агрессором каким-то. Потом мне сказали, что он такой породы особенной. У бабки Акулины брал его. У неё, по-моему, все породы перемешаны. Но признаки были, точно. Однажды вдоль моего двора две собачищи огромные, правда, молодые, бежали, и он им на дороге попался. Я у ворот стоял. Они на него — он на них! И такую дугу из своей спины изобразил, что враз чуть больше этих собак не стал и зашипел: ну, Змей Горыныч, не меньше. Бляха-муха... Сбердили собаки. Поджали хвосты и в переулок. Я тогда котяру своего зауважал сильно.

Рассказчик затих. Прошли в тишине с десятков шагов и Мазилин продолжил:

— Но к Татьяне моей стал приставать, ага. Меня не трогает, а ей царапает и кусает ноги. Я его начал шлёпать, а он противится. Шипит на меня. Вроде бы и не я в доме хозяин, а он, котяра окаянный. Потом выдумал к нам в постель ложиться, я ещё тогда днём работал. Вечером ложимся спать, кот тут как тут — промеж нас. Ревнует меня к ней. Она его защищает. Ах, нахал! Я его за ухо и на кухню. И так несколько раз. Вроде об-

разумился, не стал лезть. А то ведь спишь, бывало, и боишься ночью его задавить. У себя в постели, как в гостях. Всё вроде у нас дома стало в норме. Только стал я замечать, что по утрам Татьяна моет мои ботинки. Чуть не каждый день. Я не придавал значения, до поры... А потом случай вышел. Надо мне было утром раненько к директору школы явиться. Торопился. Ещё дорогой чувствовал, что какой-то запахок на улице есть, ну, как на ферме какой. Вегер, что ли, думаю, такой ноне, ага... откуда-то несёт... Ну, прибежал я и скорее в учительскую. Директор, может, уже ждёт! А его нет. «Вы присаживайтесь, Александр Иванович, — говорит завуч Валентина Дмитриевна, — подождите, директор сейчас придёт, очевидно». Такая у нас она интеллигентная, пример всем. Ну, я и присел. Сижусь и чувствую, что учительки, которые там были, начали носами кривить. Я сам принялся, комната небольшая, запах тот уличный, что за мной гнался, всю комнату захватил. Чувствую, что-то не то. Чтобы как-то разведать обстановку, говорю: «Воздух какой-то здесь, непонятно...». Все молчат, а этот ехидна, Селедков, физрук, говорит: «Так точно, Мазилин, запахок-с присутствует, а до вас, извините, не было». Ну, я его, конечно, понял, этого стервозу. На улицу выскочил, а запах-то со мной! Едрёнте в копалку — ботинки мои того, разносят аромат. Домой пришёл — всё прояснилось. Татьяна не успела ботинки помыть — мой Тарзан в отместку мне по утрам в них того... писал, ей-бо! А она это знала, но жалела его и каждый раз, чтобы скрыть его проделки, мыла ботинки. Мстил мне, пакостник такой, а она покрывала его, будто и правда между ними чего-то как бы было...

Пришли почти, — Мазилин мотнул рукой в сторону села. И признался, как покаялся: — Грех на душе моей: около Малюгиных колодец старый, я его с кирпичиком сбросил, чтоб не царапался... и всё прочее.

Когда уже в селе шли мимо дома Игольниковых, Мазилин подступил неожиданно в Разлацкому. Пошатываясь, то ли от усталости, то ли от волнения, прошептал, но Александр слышал:

— Ты только учительку не тронь, понял? Валентину Сергеевну. Кружит Вовка над ней на своём самолётике и пусть кружит. Он парень замечательный.

— Это тот, который баянист? — удивился Евгений. — Вот не знал.

— Теперь знай, я тебе говорю... Тоже мне — Жан Марэ.

— Да я...

— Перестань. Лиса и во сне кур считает, — произнёс Сашка, не глядя на Разлацкого.

Александр поразился тому, что услышал. «А она как к этому относится, — первое, что он успел подумать, — что Володя кружит над ней?»

Когда Мазилин свернул к своему дому и Ковальский с Разлацким остались одни, Евгений заметил беззлобно:

— Я уж говорил: промеж Мазилина и его Татьяны ещё один кот объявился, Сашка не знает. Того, усатого, в колодец не спихнёшь.

Ковальский промолчал. Не знал, что сказать.

16

Шуркин дед моторизировался. Сергей привёз ему из Куйбышева мопед, который и стал верным другом Ивана Головачёва, вместо Карего. Давно он уже перестал конюшить, не стало во дворе лошадей, сбруя тоже как-то потихоньку стала исчезать. Разве ж небольшой логунок висел на плетне с Пупчихиной стороны, да старый рыдван, как скелет огромной рыбыны, возвышался над лебедой. Былые силы покидали Ивана Дмитриевича. Не стало прежнего запала. И охоту он уже давно забросил. Осталась одна отрада — рыбалка.

...После того, как уехал в город работать и учиться на вечернем отделении института Сергей, Алексей, старший сын Головачёвых, тоже покинул родителей — женился и перебрался на соседнюю улицу к жене. Даже своё ружьё и рыбацкие снасти унёс на новое место.

Александр все эти перемены переживал тяжело. Порой заботы деда, когда он был конюхом, были тяжелы и для него, внука. Приходилось много работать, но без них жизнь стала беднее. Уклад жизни Головачёвых, даже по сельским меркам, слишком патриархален. Некоторые механизаторы, шоферы позволяли себе не держать коров, а значит, большая часть забот отпадала и для их детей. Сверстники Ковальского зачастую имели больше времени на всё, что связано со школой.

Александр видел и чувствовал, как меняется жизнь села. Он и радовался этому, и печалился. А порой стеснялся своей привязанности к хлопотам Ивана Дмитриевича на земле. Но дедов взгляд на мир, его заботы — всё вошло в кровь и плоть внука. Внезапная измена деда своему укладу была понятна Александру. Жизнь кругом менялась. И сердце Ивана Головачёва стало пошаливать. Всё чаще хватался он за грудь, нередко смотрел грустными глазами поверх головы внука.

Выдeldывать овчины дед Иван стал всё реже и реже. Гости с соседних деревень ещё заезжали по старой привычке к Головачёву, но часто просто переночевать. Шкуры уже не завозили. Многие за бесценок, ругаясь, сдавали их в контору «Заготсырьё».

Долгие зимние вечера уже не коротали за чтением вслух интересных книжек. Иван Дмитриевич всё чаще навелывался теперь к Алексею смотреть телепередачи. В селе уже было с десяток телевизоров.

...К своему удивлению, Александр заметил, что, хотя везде теперь техника, а плетни у Головачёвых стояли аккуратнее и ровнее. Вережки из лыка, которое он драл вместе с дедом около Самарки, держали изгородь крепче и надёжнее, чем совхозная сварка...

Вон Аксютин забор из металлических прутьев, но стоит неровно, всё «пляшет», вернее, пританцовывает, как и сам хозяин забора, спивающийся на глазах Чемоданов. Хороший когда-то был тракторист, а теперь «подай-принеси» на ферме у доярок.

Аксюта Васяева давно «перебабилась». Она теперь Чемоданова. Выходила-то за красивого, ладного парня Андрея Решетова. Да вот какое странное и страшное дело: муж умер у неё на глазах от внезапного кровоизлияния в мозг, слезая с велосипеда. Осталась с маленьким, годовалым Сашкой одна, да ненадолго. Сошлась с Чемодановым Генкой, а у него своих двое желторотых. Жену его и младшего сынишку придавило тракторной тележкой на маёвке два года назад. Всё бы ничего — да попивать начал Чемоданов. Вот и пошло-поехало всё у них с Аксютой через пень-колоду.

Шурке вспомнилось, как старьй дед Пронья на помочах, когда делали саман для избы Любаевых, говорил восхищённо об Аксютке: эта любого в косые лапти обует. А она теперь, чаще за-

думчивая, чем весёлая, тащила на себе трёх ребятишек, а вечно пьяный её теперешний муженёк Чемоданов, совсем ещё молодой парень, с такими же тусклыми, кроличьими глазами, как и у его отца, ошивался около чайной. Аксюту в косые лапти нарядили.

Ковальский никак не мог смириться, глядя на потускневшую теперешнюю Аксюту в засаленной фуфайке, с переменной, произошедшей у него на глазах.

— Тебя не дождалася, Саша, вот и понесло меня, — пошутила она при встрече у колодца, гремя ведрами.

Но в её шутке уже не было озорства и улыбка показалась натуженной, не по-настоящему весёлой, и Александру стало ещё тоскливей. Он давно заметил за собой, что тяжело переживает, трудно расстаётся с тем, что было когда-то с ним, вокруг него. Его память неуспокоенная. Ему хочется, как ребёнку, собрать всех дорогих людей вместе, и чтобы они были рядом, около него, не уходили подольше и были весёлыми.

Но всё куда-то исчезает. В никуда уходит...

Он иногда не понимал себя. В прошлый выходной приезжал дядька Сергей из города. Дядька взяли его с собой на охоту. Со скучившись, от души больше дурачились в Ильмене, чем охотились. Сидели на зелёнькой лужайке, рассказывали истории всякие, небылицы. На вечерней зорьке сшибли всего двух чирков и тому были рады.

...Вроде всё как прежде, но что-то уже не так. То же небо над его головой, так же замороженно Александр смотрел в него, задрал голову. Но на земле... на земле... было уже не так...

* * *

...Когда, возвращаясь с охоты, подошли к пятистеннику Климановых, дядька решили перед тем, как разойтись, покурить.

Стояли около палисадника. В темноте громадой нависала крыша избы. Лампочка на столбе, к которому прислонился Александр, давно не горела. Покуривая, дядька продолжали деловито, как ни в чём не бывало, обсуждать всякие новости. Их тулки мирно стояли у завалинки. Патронгаш с двумя чирками, схваченными удавками за шею, сполз с завалинки и лежал около их ног. Шурке надо бы шагнуть поближе и поднять уток, чтобы не затоптали, но он не мог. Он молча плакал. Его душили слёзы.

«Сейчас договорят и разойдутся, каждый к себе: Сергей — к деду, Алексей — к жене, в новый чужой кирпичный крепкий дом, а он, Александр — к себе домой. И всё. В разные стороны пойдут, а не как раньше — к деду, в одно место... Как одна семья... Одна общая жизнь...» — так думал он, стараясь, чтобы дядя не заметили его слёз — наверняка засмеются.

Выходило, что артельные чтения про Дерсу Узалу, Шерлока Холмса, рисование маслом картин по вечерам в доме Головачёвых, взбалмошно-весёлая игра в лото долгими зимними вечерами, всё то, что неуловимо, но надёжно связывало их, заставляло жить одной жизнью, вдруг враз куда-то исчезло. Бесследно. И как бы незаметно. Как отвалившаяся вешка от большой красно-жёлтой тыквы. И никто будто бы этого и не замечал, а тыква начинала подгнивать...

Многое уходило куда-то. И нельзя было остановить. Всё вроде бы делалось правильно, как должно...

Отлетают же осенние листья и с этим ничего не поделаешь. «А почему они отлетают, листья? — вдруг спросил сам себя Александр. — Почему? Деревья сбрасывают их для чего-то или сами листья покидают ветви — кто из них прав? Где здесь целесообразность? Несправедливо это для кого-то из них или закономерно? — И удивился тому, что путается, очевидно, в простых вещах. — Но почему я путаюсь? Раз это так всё просто?..»

А дядя уже прощались. И в этом для Александра было столько щемящего и безнадёжного... Они первый раз расходились при нём так — по разным избам.

Когда они пошли в разные стороны, Ковальский оттолкнулся спиной от приглушённо гудящего столба и тоже было направился домой. Но вдруг что-то заставило остановиться, он повернулся к тому месту, где только что стояли Сергей с Алексеем, будто отыскивая взглядом кого-то, кто понимает, что произошло сейчас. Но в темноте никого не было. Лишь старая изба Климановых смотрела подслеповато и хмуро. Лунный свет отражался в её окошках, и от этого она казалась сгорбившейся, сиротливой, будто не Шурку, а её оставили одну, предоставив самой себе. А ей ведь ещё стоять и стоять под непогодой на углу порулка. Долго стоять...

* * *

...От собственного бессилья, от неспособности сделать хоть что-то, чтобы окружающие не мыкались от нужды и вечных трудов из-за куска хлеба, Александру становилось порой тоскливо. Почему-то получалось так, что жизнь загоняла в тупик самых хороших, интересных людей. Таких, как Плотникова, Аксюта, и того незнакомого Марфина, о котором рассказывал родственник Мишки Лашманкина.

Сашке Мазилину уже давно всё почти понятно. «Жизнь, она, известное дело, как слепая бодливая корова, пырнёт, того гляди, своим рогом без разбору, — говорил он. — Мне многое видать, в отличие от всех. Я живу около чайной, насмотрелся, наговорился, с кем ни попадя... Мои университеты...»

И хотя Мазилину нельзя вроде было верить, но опять получалось, что он прав.

И почему так: всего за сто километров — в Куйбышеве, в Новокуйбышевске идут стройки, в Новокуйбышевске — все-союзная комсомольская. Всё красиво вокруг, люди красивые. Женщина — директор, Герой Социалистического Труда. Все вершат великие дела, а здесь надрываются, чтобы только прокормить себя. И ни в какую...

«Может, где-то больше справедливости и осмысленности? — думал Александр. — Ведь не везде же так? Должно быть где-то всё разумнее. Надо бы поездить, посмотреть мир».

* * *

«Как знать, погрём, потом там поймём, кто-то вразумит, для чего копошились», — так сказал, смахивая ладонью пот со лба, старый Головачёв, словно отвечая на не заданный вслух внуком вопрос. Ему уже тяжела стала работа, которая раньше была привычной.

Ещё не успели они сбросить на землю и половину воза сухого, в руку толщиной, некленника, заготовленного с прошлой осени и только сейчас, летом, привезённого, а Иван Дмитриевич, усталый уже, присел на крылечко во дворе.

— Ты, Шурка, когда последний раз бывал на Бариновой горе?

— Давно, в прошлом году.

— Вот и я давно, мой мопед в гору не идёт, пробовал. Это не Карий наш... — он негромко засмеялся.

Раньше дед и внук часто и по делу, и просто так поднимались на Баринову гору.

...Стоит только по шаткому деревянному мосту перебраться на правый берег Самарки и взять вправо вдоль реки, как ты попадаешь на песчаную дорогу, поднимающуюся незаметно вверх, на высоту птичьего полёта, над Самаркой к Баринову дому.

У самой Утёвки дорога грунтовая, тёмная от чернозёма — за околицей, ближе к речке — бурая, совсем жёлтая и песчаная — около Самарки и выше её.

Пройдёт совсем немного лет, и почти ко всем сёлам и посёлкам развернувшиеся деловые нефтяники проведут твёрдые дороги. Стрельнёт и от Утёвки до Покровки ровная и красивая асфальтовая лента, а вот посёлок Красная Самарка останется со своими старыми дорогами. Неперспективным оказался он, сбочь от столбовых направлений. И потянулся народ, кто на центральную усадьбу в Утёвку, кто в Покровку, Мало-Малышевку. Да мало ли куда понесёт человека, коль он стал, как верблюжья колючка, сорванная лихим ветром времени? И потихоньку остались в посёлке только старики да старухи...

Надо не ошибиться и не проехать Баринов дом. Самого дома-то давно и нет — только приметы бывшей усадьбы: фундамент, ямы от погребов, заросшие лесной травой, спутанные заросли акации, сирени, черёмухи. И всё это покоится на светлой лесной поляне, обрамлённой слева по ходу березняком, а справа — огромным косогором, спускающимся вниз к самой Самарке. А уж там, за речкой, растянувшейся в истоме кошкой между осинником и тальником, — купола Покровской церкви. Прелесть фразы «с высоты птичьего полёта» Ковальский понял, только стоя на этой радостной возвышенности. Пустельга, коршуны, орланы парили под ногами, внизу, над лентой реки. Здесь и у него расправлялись крылья...

Дорога, ведущая к Баринову дому, Покровская церковь, сам Баринов дом связаны даже геометрически, это Александр обнаружил давно и попытался объяснить Ивану Дмитриевичу.

Вначале, когда они с дедом открыли эту красоту, поднимаясь в гору и наблюдая Самарку и село Покровку с правой руки, Шурка боялся прозевать и проехать дом барина, остававший-

ся слева. Но однажды вдруг понял: не надо крутить головой, а достаточно остановиться на горе строго напротив церкви. Перпендикулярно от неё к дороге катет прямоугольного треугольника длиной километра три укажет на усадьбу Баринаова дома по левую руку. А вот гипотенуза пролегла километров на семь-восемь, начинаясь с Покровской церкви и заканчиваясь на Троицком храме в Утёвке.

Иван Дмитриевич только усмехнулся на это его открытие и ничего не сказал. Но Шурка ликовал: он вывел, как ему казалось, некую таинственную закономерность. Внутри треугольника заключалось так много: Самарка, две церкви, три села, мост. А кроме того, ещё под кручей у моста били родники, не замерзающие даже зимой. Они с дедом, когда ехали мимо, всегда набирали из них воду.

Не попадал в треугольник старый курган, мимо которого Шурка не мог без волнения проезжать, и вот теперь — оживший посёлок Ветлянский с его нефтью. Но в этом была, наверное, своя справедливость, думал Шурка. То, что легло в треугольник, для него стало как бы заповедной землей...

Там, за гипотенузой, проходил старинный солевой тракт. Мало теперь кто помнил, где это, а Шурка знал.

...Дед и внук любили посидеть на горе, особенно вечером в ясную летнюю погоду, когда солнце освещает Покровскую церковь. Молча полюбоваться всем, что было доступно глазу. Панорама — вот слово, которое подходило для названия открывающейся здесь картины.

Было одно местечко на самом верху, где, сидя под развесистым могучим дубом, можно было видеть внизу крутой изгиб Самарки. Речка резко брала вправо. На том берегу обнажались песчаная коса и отмель, где почти всегда плескались утки. Маленький островок, покрытый зеленью, брошенный, словно полушалок, манил к себе уток. Они смешно и суетливо копошились, шли сначала по мелководью, потом по песочку. Некоторые непременно забиралась выше, ближе к зелени.

Иногда кто-нибудь выходил из осинника на том берегу купаться, и тогда утки шумно взлетали. Но не улетали далеко, а садились чуть-чуть поодаль, ниже по течению, где тоже был островок, но гуще поросший ивняком. Сверху им с дедом всё видно.

Весь крутой поворот реки с обеих берегов покрыт густым

лесом. Далее, слева и выше по берегу, шли перелески. Несколько лет подряд на полянке, недалеко от воды, лежало громадное высохшее дерево, с высоты казавшееся большой белой костью, торчащей из песка, как это бывает на кургане.

Песчаное дно Самарки просвечивалось через воду мягким тёплым светом. Лесное разнотравье здесь, на косогоре, прогретое воздухом, благоухало. Стоял гул медоносных пчёл и всякой маленькой беззащитной, такой самостоятельной летающей забавной твари, охочей до сладкого...

Светло-пурпурные цветки буквицы, собранные в метёлочку, повсюду выглядывали из зарослей, обдавая сильным своим духом, и, стоило только попробовать на зуб, сладковато-приторно горчили. Сиреневато-розовые колокольчики вереска, обильные в цвету, манили к себе не только пчёл. Так и хотелось их тронуть рукой — вдруг зазвенят мелким дробным медовым звоном. Пушисто-шершавая душица цвела здесь с июня и чуть ли не до октября. Её цветочки в щитовидных метёлках фиолетово-розовыми мелкими огоньками всегда здесь встречали деда с внуком. Красновато-бурные плоды её тоже хотелось потрогать. Четырёхгранные красноватые стебли с тёмно-зелёными листочками Шурка любил гладить. В зарослях бересклета и чилиги здесь по всему косогору жёлтыми звёздочками соцветий манили к себе рослые ветвистые стебли зверобоя. Его терпкий дух чувствовался, не смешиваясь с бодрящим запахом дубравы. Зверобой здесь рос прямо на обочине дороги, давая пряную приправу к щекочущему ноздри запаху раскалённого за день песка и конского навоза на дороге.

«Интересно, — думал Александр, глядя на могучую крону дуба, — кто изобрёл такое красиво-величественное слово «дубрава»? Всё человечество пользуется им. Но был же человек, который впервые произнёс это гениальное слово. Кто они, где они, такие люди? Прожил уже пятнадцать лет, а на моих глазах никто подобного не сказал. И я ничего не изобрёл такого. Люди другие сейчас? Или надо очень много прожить, чтобы что-то придумать такое?» — подобные раздумья преследовали Ковальского.

...«Здесь, на этом необъятном и светлом просторе, обласканном лёгким, с медовым запахом, ветерком, должны рождаться и расти люди для больших и хороших дел. Люди сильные и

прямодушные», — эта мысль пришла к Александру внезапно, и он взглянул на деда. Иван Дмитриевич сидел молча, лицо его, обычно выразительное, было усталым и взгляд притухшим. «Почему он так захотел в этот раз приехать сюда? Для меня, для себя? Или для нас обоих?»

Александр чувствовал, что спрашивать ни о чём сейчас не надо. И молчал. Он слушал пространство, то, в котором, казалось, растворился сейчас его дед...

Это было прошлым летом, в августе.

«Будет ли ещё такой август?»

...Посидев под дубом, Головачёв с внуком обычно пешком спускались по крутой дорожке вниз. Съезжать на подводе не решались. Да и никто по ней на лошадях не ездил. Вела эта дорога к Самарке. Но им надо было другое. На полпути к реке, там, где стоят огромные неохватные и для троих крупных мужиков две белотелье осины, в тёмном овражке, заросшем длинноствольной, ровной ольхой, бьёт родник. Ведёт к нему узкая малоприметная тропиночка. Вряд ли больше десятка людей знают этот радостный источник. Здесь, сморившись от жары, они пили таинственную воду, сидели в тени. Дед больше молчал. Внук думал. Уже тогда думал над теми вопросами, на которые потом, и повзрослев, не найдёт ответа. И это было не бессилие его. В этом крылась своя правота созданной кем-то такой короткой, как высверк молнии, человеческой жизни.

* * *

Как-то неожиданно быстро женился дядька Сергей. Жена — городская, жила с родителями на улице Венцека, недалеко от площади Революции. Эту площадь Александр смутно помнил.

На свадьбу ездили дед Иван с бабой Груней да брат Алексей. Больше никто. В Утёвку молодые не приезжали. После свадьбы объявился один Сергей. Пробыл полдня и уехал. Перед отъездом оставил Александру адрес родителей жены, где он теперь намеревался жить. Для верности даже нарисовал на половинке листка из ученической тетрадки схему, как добраться от Смьшляевки, если Александр полетит самолётом, до незнакомой улицы Венцека. В Смьшляевке — аэропорт. Александр там тоже никогда не был.

— Приезжай, как только надо будет сдавать экзамены в институт. Я про химико-технологический всё узнаю: где, что и как. Обязательно поступишь! Кого ж тогда брать, если не таких, как ты. А поживёшь первое время у нас, — определил дядька.

17

Разлацкий оказался прав: не укараулил Мазилин свою жену. ...Когда Татьяна поздним вечером несла из колодца с задов ведра с водой, Захар Селедков, крадучись, пробрался через двор к сням и быстро шмыгнул в приоткрытую дверь. Заметила, было, Татьяна чью-то тень во дворе, но подумала, что показалось. Одно ведро поставила у денника на лавку для скотины, а второе понесла в избу. Держа ведро в руке, другой гулко стукнула засовом, закрывая входную дверь на ночь. Захар, забравшись в чулан на кухне, затаился, словно зверь. План был прост. И придумал он его уже давно. «Мышеловка захлопнулась, сама захлопнула, — ликуя и страшась, думал Захар. — Она сама, я её понял вчера у магазина, когда случайно столкнулись, она сама колеблется, я чувствую, меня не проведёшь...»

На кухне тем временем щёлкнул выключатель и свет погас. Но тут же возник вновь, неяркий. Он отметил в своём чулане: «Зажгла в большой комнате, сейчас будет укладываться...».

Когда свет исчез, он осторожно отдёргнул занавеску и, ступая бесшумно в одних шерстяных носках (заранее снял свои жёлтые ботинки), пошёл туда, где только что тихонечко поскрипывала кровать.

— Саш, ты чё, — суматошно выкрикнула Татьяна, забыв, что закрыла дверь изнутри, и вскинулась с кровати, увидев Захара. В первый только миг, кажется, испугалась, но тут же всё поняла. — Подкараулил всё-таки, усатый чёрт.

На её лице уже не было испуга. Была дерзость. И это он сразу заметил.

— Ага, — напористо ответил Захар и тоже, как ему хотелось, посмотрел дерзко. Оцерил, как жеребец, крупные редкие зубы и сказал: — У вас детей нет, может, у нас с тобой получится, — и стал, не спеша, снимать чистенький, не как у Мазилина, пиджак, — хотя зачем они?..

— Пройдоха ты... прилип, как банный лист.

— Пусть он в клубе кино про любовь смотрит, а мы тут с тобой, а? Верно?

— Сашку не тронь, слышишь, — Татьяна зверьком уставилась на него острыми карими глазками. — Весь покалеченный с войны, ему досталось.

— Ладно, не бойся, не трону, — успокоил он её, не в силах оторвать взгляд от дразнящих полных грудей, томящихся под лёгонькой ситцевой ночной рубашкой в горошек. Она их и не торопилась прикрыть хотя бы чем-нибудь...

— Свет потуши, с улицы впрямь, как в кино, — насмешливо сказала Татьяна. Она спокойно сидела на кровати, свесив полные розоватые ноги.

— Ага, — с готовностью повиновался Селедков.

* * *

...С той первой ночи частенько стал Захар захаживать к Татьяне. Тихонечко стукнет в окошко из палисадничка, когда стемнеет, и — был таков! Ловкий, чёрт. А она деловито шла и открывала дверь. И уж непонятно было: боится ли его или сама ждёт не дожждётся этого осторожного стука в окно? Так перевернулось всё в её бабьей натуре...

...Известно давно: страсть и беда часто ходят рядом друг с другом. А чаще всего в обнимку. И правды в страсти не сыскать.

Долго бы безнаказанно ночничал на такой манер Селедков, да заминка вышла — дождался Сашка Мазилин его около двери в своём дворике, когда тот утречком, приморившийся, потихонечку выскользнул от своей зазнобы.

...И черенок-то берёзовый от вил был не ахти какой, но крепче он оказался предплечья Захара. Поторопился он обернуться на тихий свист за спиной. Как по крылу, по приподнятой правой руке приложился Мазилин — и получился прерванный полёт. Перелом, вернее, перешиб обеих костей.

...Но если бы такие меры помогали. А то ведь и после выздоровления Захара жена Мазилина, нетерпеливо вздыхая поздними вечерами, сама ждала тайного стука в окошко чаще, чем блудливая рука Селедкова касалась заветного оконца... Известно же, на всякую беду страху не напасёшься.

...Отлежал положенное, скрыв истинную причину увечья, неказистый с виду Захар, а Мазилин запил, «от невозможностей видеть и быть трезвым около неверной супружницы», — так он говорил себе, а с другими эту тему не обсуждал. И никто не мог понять, на его примере, почему люди так быстро становятся пьяницами.

«Хоть бы белогвардейцы какие или белочехи снасильничали, тогда понятное дело, а тут сама себе любовь неудержимая образовалась. Тьфу ты, загибайте мне морковину-хреновину, не верю в любовь такую! И если, как говорит, уйдёт к нему, всё равно — не верю», — маялся бедный Мазилин.

Захар ничего Татьяне не говорил о Мазилине, не грозил. Наоборот, старался помалкивать. Но злобу затаил крепкую... Не умел прощать.

Хитрый Селедков был даже порой, как сам считал, мудрым. «А мудрый чем отличается от остальных? Известно, чем, — мурлыкал под нос Селедков, поправляя свои большие, будто приклеенные, усы перед зеркалом в учительской. — Мудрый не будет у всех на глазах лезть в драку со своим врагом. Зачем самому погибать салазки? Сделает так, чтобы спокойно сидеть на завалинке, греться на солнышке, а в это время мимо него пронесут гроб с его врагом, вот как... Не я это придумал».

Он по несколько раз в день подходил к зеркалу и разглядывал свои усы. Приглаживал их рукой и бормотал себе...

Селедков любил, чтоб всё было чисто и аккуратно...

18

Александр иногда чувствовал, что он, как щепка, которая вот-вот попадёт или уже попала в огромный водоворот, названия которому не знал. Окружающие об этом внятно не говорили или, поглощённые повседневными заботами, просто не успевали об этом думать. Однажды он уже попадал весной в разлив в седьмом классе на утлой своей плоскодонке в вешнюю Самарку, которая безумно и безудержно понесла его неизвестно куда. И сейчас понимал, лодка его, пока он прикован к своей школе, к одиннадцатому классу, плывёт спокойно себе, как бы по надёжному руслу. Но, как только закончит школу, поток подхватит его. Самое удивительное, он, как и тогда, в то

половодье, сам готов рвануться, по сути, не зная куда. А хватит ли силы рулить самому?.. Этот поток так силён!

Смутил разговор с Тереховым, бывшим главным бухгалтером плодпитомника. Вернее, больше говорил Пётр Ильич, а Александр, как обычно, слушал.

— На земле уже теперь никого не удержишь, либо вглубь её лезут, либо в небо. Ты заметил, Шурка, из деревни большинство норовят в летчики или моряки! Теперь вот в нефтяники ещё, а хлеб? Коммунизм, говорят, это плюс химизация! Хлеб сеять и убирать забыли, кому поручить. Может, марсианам? Всё скудет, землю забываем, это даром не пройдёт нам. Я несколько лет занимался в питомнике, яблони да вишни выращивал, думал, самое красивое и главное делаю! А ведь никому не надо теперь. Только, было, зацвели кругом наши сады, ан нет, перетягивает прогресс в свою сторону — вышками утыкали землю и замозучили. А на сколько этой нефти тут? Кто считал? Когда кончится, кто где работать будет, назад к земле повернутся? А она вся изгажена, разве не так? Да и уметь на ней работать уже не будут. Меня вот не станет, деда твоего и отца не станет. А ты кто будешь тогда? Инженер? Тоже на земле чужак. Рыдванки все погниют, лошадей переведут.. Нельзя от земли отворачиваться. Цивилизация может погибнуть!

Александр не возражал. Не мог возражать этому седому умному с виноватым взглядом человеку. Шурка знал, что Терехов — человек конкретный. Остальные люди всего того, что волновало бухгалтера, казалось, не замечали. События вершились уверенно, как под напором большого, гигантского мотвила. Наивно оборачиваться назад, искать истину в прошлом. Всё рвалось вперёд! Какие там лошади, логунки, рыдваны?! Чудно даже!

Этот разговор Терехов затеял, встретившись с Ковальским случайно около продмага.

— Я — старый уже человек, люблю цифры. Знаешь, сколько было по переписи в тридцать шестом году лошадей в Утёвском районе?

Александр только поёжился от такого вопроса.

— Где я могу это прочесть?

— А я помню: лошадей было 2372 головы, точно помню, не вру. Сейчас же лошадей — с гулькин нос.

— А народу сколько было? — поинтересовался Ковальский.

— Что-то около семнадцати тысяч человек.

— На каждые семь человек — лошадь! — удивился Александр. — Так получается.

— Но это ведь не простая арифметика. Это показатель того, как человек был связан с природой. Он косил, возил сено, ухаживал за землей с помощью лошади. Быт был связан с лошадью и природой. Я до сих пор лошадей люблю до смерти. Зимой запах конского помёта на морозной дороге — как он в нос шибает! С детства вошло всё в меня. Не вытравишь. Я почему тебе это говорю? Ты всё понимаешь. Э-эх, — махнул он рукой, — понимаешь, но всё равно сделаешь по-своему. Сын мой Колька и тот подводником стал, офицер. Сейчас в Баренцевом море плавает.

— Не знаю, — чтобы не обижать старика, сказал Ковальский.

— Ладно-ладно, знаешь! Ну, да ладно, на вас на всех поветрие нашло, вас не переменить. Вас много, а я — один, — Терехов махнул рукой и похромал в сторону Троицкой церкви, домой.

«Кого много? — думал, шагая по пыльной дороге, Ковальский. — Не меня одного ругал и не только моих одноклассников. Он всех сразу, всех нас, сегодня живущих, всё наше поколение имел в виду. Но ведь на лошади теперь далеко не уедешь...»

* * *

...Так получилось, что и мать, и отец после десятого класса звать Шурку стали чаще Сашей. В школе другое дело. Там: или Саша, или Александр. Но дома — это для него было неожиданно. К окончанию школы мать с отцом загорелись сшить ему костюм. Первый в его жизни. Он не просил и не думал о таком.

«Они это делают, поняв, что скоро я уеду из дома, вот и готовят меня. Прав Терехов: всё давно решено. Здесь я не останусь, в каком-то смысле уготованная судьба».

Саша вспомнил слова бабы Груни, сказанные ею вроде бы на ходу, а получалось, будто говорили о чём-то долго и эти слова продолжали прерванный разговор:

— Шура, ты не думай, что выучишься в своём институте и всё сразу хорошо будет у тебя там, в городе. Я не знаю город-

скую жизнь, но ведь и враги будут, и болезни, и глупые люди. Всё будет. Учись быть готовым ко всему, так-то...

«Моя бабушка — стратег, дальше многих думает. Видит мою жизнь через костюмы, отъезды, учёбу в институте, — отметил мысленно Ковальский. — Странно, мне уже шестнадцать лет, а я не знаю, на что потрачу свою жизнь. Неизвестность сама по себе влечёт. Но в конце концов конкретная цель и дело стоят всей жизни. Что лучше вообще: наука или искусство? Не знаю. Но не только хлеб насущный зарабатывать. Этого оскорбительно мало. Я такого не хочу. Надо сделать решительный шаг. Война план покажет...»

Чуть позже снова начинал размышлять: «Конечно, агрономом быть замечательно и красиво, и полезно для всех. Степь, поле — твоё рабочее место. Под открытым небом! И на утёвской земле, что ещё нужно?.. Хотя...»

Через несколько дней Валентина Сергеевна поймала его на школьном дворе и пригласила в класс.

— Ты знаешь что-нибудь о великом французском учёном Берто, химике?

— Нет, не знаю. Был такой?

— Был и, оказывается, ещё в 1897 году такое заявлял!..

Учительница сидела около окна, солнечный свет падал на мягкие каштановые волосы, на руки, тонкие, лёгкие, неприученные совсем к сельскому быту. И она сама светила под этим взглядом нежаркого майского солнца и казалась тоже выпускницей.

— Он ещё тогда говорил, что придёт время, когда исчезнут пастухи и хлебопашцы, а продукты питания будет создавать химия. Не надо ни шахт для добычи каменного угля, ни горной промышленности вообще. Самая главная проблема человечества — что? — спросила она почти весело.

— Сразу не скажешь, — положив руки на парту, как примерный школьник, отвечал Ковальский.

Он сидел на первой парте среднего ряда, около учительского стола и, сам не зная, чему, улыбался. Скорее всего, просто от душевного здоровья.

— С какой точки...

Валентина Сергеевна не дала ему договорить:

— С точки зрения науки, — и, не дожидаясь, продолжила: —

Основная задача науки в том, чтобы найти неистощимые источники энергии — основу жизни человека. К примеру, чтобы использовать внутривоздушное тепло. Он утверждал: достаточно вырыть скважину в четыре-пять тысяч метров глубиной. В этих скважинах вода будет нагреваться и достигать такого давления, что её можно использовать для приведения в движение машин. Земное тепло станет неисчерпаемым источником термоэлектрической энергии. Понятно?

— Да, — ответил Ковальский. — Вполне. Вы будете сейчас убеждать меня пойти на нефтяной факультет в буровики, а вчера только что говорили: надо в нефтехимики. — Он помолчал, потом добавил: — Уже есть буровики, вон — Разлацкий.

Эта фраза её несколько смутила, но она тут же выправились:

— Нет, Саша, я про химию: при наличии такого источника энергии человечеству легко и экономично можно производить химические продукты, где хочешь: в Америке, у нас, в Африке. Днём, ночью, зимой, когда хочешь. Понимаешь, — с пафосом продолжила она, — решать самую важную экономическую задачу: производить продукты питания! Синтез жиров и масел уже осуществлён, синтез сахара и углеводов почти уже, остаётся научиться получать азотосодержащие продукты. Если добудем дешёвую энергию, станет доступным синтез продуктов из углерода, водорода, азота и кислорода.

— Но их же тоже надо получать и много? — сказал Александр, больше думая не о том, что сказал, а о её увлечённости и уверенности, с которой она говорила.

Эта ладненькая, крепенькая, молоденькая женщина умела убеждать. Она и сама знала об этом. У неё уже были опыты. И один из них, увы, для неё печальный. Она первая подтолкнула Алексея писать рассказы, а потом усиленно поддерживала во всех его писательских делах. Там, в комнате общежития на улице Максима Горького в Куйбышеве, они и обсуждали его рассказы.

Писатель из Алексея, кажется, выйдет, а муж — нет. И, скорее всего, по причине его писательства. В нём проснулся другой Алексей, которого она совсем не знала... Очевидно, и он сам не знал.

— Александр! Получать простые элементы системы Менделеева проще: углерод из углекислого газа, водород из воды, а

азот и кислород — из атмосферы. Была бы энергия. «Власть химии безгранична», — это сказал Бертло.

Учительница передвинулась от окна на край парты, бессознательно стараясь быть ближе к собеседнику. Он невольно отметил, когда она слегка наклонилась, в вырезе её белой кофточки волнующую клинообразную ямку между двух точёных холмиков и не без усилия старался больше туда не смотреть.

Гибкая фигура её с развитыми в меру бёдрами, упругой талией и руками тонкими и длинными притягивала к себе взгляд. Заставляла вспоминать об Аксюте. Они были во многом похожи. Но с одной разницей. Аксюта будто вышла из берёзы, которую неслыханно искущённый мастер сработал с любовью на свой деревенский лад топором. А молодую учительницу после этого умельца-волшебника ещё поманежил художник более тонким инструментом. И порода — не берёза, а что-то такое же красивое, тёплое, но не сразу узнаваемое, оттого и притягивающее взгляд.

— Работу, которую делают растения с помощью энергии солнца, скоро осуществит человечество, понимаешь? И откроет новую перспективу: крахмал, сахар, синтетические жиры будут производить наши химические заводы в огромном количестве независимо от дождей, засухи, мороза. В них, этих продуктах, понимаешь, не будет болезнетворных микробов. Никто сейчас не понимает в полной мере и не осознаёт коренного перелома, который может наступить. А ты, Саша? — Валентина Сергеевна в упор посмотрела на своего ученика.

— Я-то, может, и понимаю, тем более, уже решил поступать на химико-технологический, но вы бы попробовали убедить, что химия — это всё! Хотя бы одного Петра Ильича Терехова.

— Бухгалтера питомника?

— Он по призванию агроном. Мечтал Утёвку садами окольцевать.

— Да, замечательный человек, но что он говорит?

— А то, что, если мы уйдём в химию, забросим землю, будет беда. Земля пропадёт.

— Сашенька, не так. Я верю великому французу. А он доказал, что, если землю не использовать для выращивания продуктов сельского хозяйства, она вновь зазеленеет первозданно: покроется травами, цветами, лесами. Это будет огромный сад, орошаемый подземными водами. Сад во многие тысячи раз

больше, красивее и полезнее, чем наш, который мы с тобой, все вместе, сажаем под Ветлянкой. Это революция!

— Когда жил этот Бертло? — спросил раздумчиво Ковальский.

— Во второй половине девятнадцатого века.

— Так давно, а что же ничего не изменилось?

— Ну, как, Саша?! Во-первых, нужен был высокий общий уровень техники — раз. Во-вторых, уже многое есть искусственного. А в-третьих, тормозит инертность нашего мышления.

— Чья инерция? — переспросил Александр.

— Всех нас, человечества всего, — просто ответила Валентина Сергеевна.

Александр удивлённо посмотрел на учительницу.

— Видишь ли, синтезированная пицца — не значит ненатуральная. Она натуральная, ибо «сконструирована» из самых натуральных продуктов. Но люди психологически не готовы...

Открылась дверь и в класс вошёл учитель литературы Лев Николаевич.

— Извините, услышал ваш голос, там директор собирает всех у себя. По-моему, уже все, кроме нас с вами...

— Да-да, идёмте! — она поднялась. — Видишь, какую я тебе дала информацию, сама недавно наткнулась на неё. Её преступно держать в себе. Тем более, я не собственница. Просто информация, — повторила она, — а там, как хочешь. Твои одноклассники давно все определились, кто куда. Ты один остался.

— Один, — согласился Ковальский и спросил почти всерьёз: — Валентина Сергеевна, выходит, самый главный фактор прогресса не дешёвая энергия, а косность человечества в целом, и нас с вами в отдельности?

Но она не стала отвечать. Когда вышли из класса, по коридору за учителями уже шёл посыльный: физрук Селедков, как глухонемой, делал вполне понятные им жесты.

* * *

Чтобы справить Александру костюм, родители решили продать тёлку Зорьку, самую дорогую для Василия Фёдоровича собеседницу во дворе. Разговаривал он только с теми во дворе, кого любил. На остальных покрикивал.

Овец Любаев не любил за то, что противно кричали. Терпел их на калде, куда денешься: шерстяные носки на ребятке будто горели. Не жаловал он и уток за прожорливость. Утки гадили во дворе больше и противнее всех. «Утка — это ходячая прямая труба вдоль земли, с одной стороны — глотка, с другой — выброс», — говорил Василий Фёдорович. И качал головой, сетуя на несовершенство конструкции пернатой твари.

С Зорькой Любаев разговаривал так:

— Ты почему сегодня грустная, невесело выглядишь? Из-за того, что молоко у матери твоей горькое? Глупая, это мы с Сашком проморгали: сено такое накосили напротив Кунаева ключа. Там много польни. Когда делили в артели, мне две таких копейки досталось. Чего теперь нам? А?.. Не серчай на нас.

Он любил ей гладить шею снизу и трогать её маленькие, с огурец-пушленок, рога.

У её матери Жданки сломан левый рог и один сосок недоразвит, не доился. Продать трудно. Кто купит? Отец думал её заменить на Зорьку. Но теперь планы менялись.

— Ничего, — решил он, — пусть ещё Жданка поживёт своё, она ведь хорошо даёт молока пока. А деньги нужны и на костюм, и на всё остальное. Шутка ли, в новую жизнь отправляться в одиночку.

— Ага, — соглашалась Катерина, вздыхая. — Я и не знала, как без Жданки? И по Зорьке жалковать буду, конечно...

— У Синегубого их Звёздочка наглоталась гвоздей с сеном, теперь вот-вот околеть может — беда, а наша-то пока ничего.

— Как же это так? — ахнула мать, — всё каждый раз у них нескладуха. Прошлым летом их корова объелась зерна. Четыре бурёнки из стада сдохли, а Синегубый оказался сметливым: ночью в мазанке, когда Звёздочка стала пухнуть — зерно в животе распарилось и увеличивалось в размерах, поливал почти безостановочно коровёнку холодной водой из колодца, остужал её. Отудобела коровёнка, а нынче вот другое несчастье.

— Шалапутная она у него, вот что, — вынес приговор Василий Фёдорович.

Зорьку продали в один день, лишь вывели на базар. Все знали её по матери Жданке.

И теперь у Александра появился первый в жизни костюм.

Всего-то и было две примерки, а сидел ловко. Когда надел, дома все ахнули.

— Шурка, ты как Тихонов! — засмеялась сестра Люба.

— Ага, — согласился брат Пётр, — нос у него такой же, из-за угла видно.

— Ладно придумывать, — запротестовала мать. — Какой ещё вам Тихонов, Соньки Марлушкиной сын, что ли? Наплетёте мне. Он хоть и учёный-агроном, а, по-моему, неправильный какой-то.

— Да нет, — заливалась смехом Надя, — киноартист Тихонов!

— А какой он из себя? — спросила недоумённо и весело мать.

— Да ну, «Дело было в Пенькове» видела?

— Голова-голова, — вклинился отец, — все кина почти со мной сидишь смотришь, а не знаешь.

— Ты-то ещё, говори, — возразила Катерина, — вспомнила я, вспомнила.

Сказала и засмеялась.

А на другой день, как только Александр пришёл из школы, мать позвала его с отцом в переднюю комнату.

— Сейчас сюрприз будет, — объявила она весело.

В комнате нагнулась и, ловко выдернув из-под кровати, поставила посередине большой зелёный чемодан.

— Ну, как? Хорош?

Ей нравилась покупка, она такую делала впервые.

— Катя, хорош-то хорош, но, наверно, по приметам, ещё экзамены не сдал... рановато.

Шурка посмотрел на мать. Её это не обескуражило.

— Я давно спланировала, себе зарок дала — сюрприз сделать. Шурка у нас (она сказала — «Шурка») ни в какие приметы не укладывается, у него всё по-своему. Всё сдаст и всё сделает, как надо, правда ведь?

Василий Фёдорович смотрел на них и улыбался. И мать улыбалась. Шурка любил их видеть такими, ему всегда от этого становилось светло на душе. И он не думал сейчас о себе, о чемодане, о том, что скоро куда-то поедет. Ему было радостно: у них праздник... Как тогда, давно уже, когда они рыли Шуркин колодец в огороде и ударила сильная родниковая струя всем на радость.

— Шурка, бери нас всех в этот чемодан с собой в город, — сказала вдруг Катерина. — Мы тебя защищать будем.

— И мне лететь с вами? — удивился Василий.

— А что ж, и тебе, — засмеялась Катерина. — Самолёт доставит.

— Надо тогда и корову с собой забрать, кобеля Цыгана, мало ли чего ещё. Избёнку нашу, без неё в городе не проживём. Чтоб взять всё, не хватит никакого чемодана, — подытожил отец. И спросил неожиданно: — Ты что, Сашка, сбердил?

Александр, чтобы не продолжать нелёгкий для всех разговор, прошёл за перегородку в крохотный закуток, служивший им с братом спальней, и оттуда успокоил:

— Всё будет нормально, не я первый.

А про себя подумал: «Я сам — большой зелёный чемодан, в котором уместается очень многое, без чего нельзя никак. И родители мои в нём — самые главные. И Самарка, конечно, и дед с бабой Груней. Всего не перечесать!.. И в нём всё копится и копится. Особенно в последнее время, перед дорогой...»

* * *

...Если взять и пройти пешком вдоль Самарки от Кунаева ключа и до Шума, удивишься: Самарка одна и та же, а везде разная. Ничего как будто примечательного нет. Всё много раз увиденное и услышанное, ан нет: везде своя особенннка! За каждым мыском или плесом — своё. Так и Шуркина жизнь. Ничего необычайного вроде бы она и не имела. Сколько таких ребят родилось и выросло на утёвской земле, сколько их падало с гривастых, горячих коней, расшибая в кровь носы, объезжая строптивых и непокорных. Куда-то все подевались? Утёвка отпускала их. И они, почувствовав свободу, выскакивали на какие-то высокие и невысокие, но далёкие, чужие орбиты. И пропадали. До поры. Время от времени объявлялось страшное.

...«Город жесток, непонятно отчего, к сельским, — думала Катерина, молча раскатывая для лапши тонкие лепёшки. — Летось привезли Женьку Чугуевского, первенького сына подружки Насти Соболевой из города мёртвым. Выбросили городские на каком-то сто шестнадцатом километре на ходу с электрички. И парень-то смирный был. А может, оттого, что смирный, так и получилось? Кто знает, как надо в чужой стороне себя держать? Город он и есть город: кругом чужой народ

и непонятно, у кого что за душой. Как в табуне затопчут, а там ищи-свищи виноватого. И этот дружок его, Коршунов, молчит и всё тут. Знать, и сами, может, виноваты в чём, промашку дали. Простодырые, чего они видали-то, кроме родителей да речки с лесом?»

Она не удержалась и смахнула слезу рукой, тут же, спохватившись, обернулась на Василия. Он возился с сепаратором, придвинувшись к окошку. Не видел.

...Сколько их, деревенских парней, с такими, либо похожими зелёными чемоданами уходили в своё время из села навстречу испытаниям. Но Шурка был своя кровинушка — второй её Шурка. Такой уже взрослый и так похожий на отца своего Станислава. Что делать? Как не тосковать? Она и думать не хотела, что с ним может случиться что-нибудь плохое. Но так всё далеко — не на глазах материнских...

Катерина часто теперь не спала ночами. Жалковала. А так, с виду, была почти как всегда — неунывающая...

19

Александр Ковальский видел только небольшую часть тех изменений, которые пришли в его край с химизацией страны.

Всё более нарастал дефицит инженерно-технических работников химического профиля. Этот кадровый голод почувствовался задолго, поэтому Куйбышевский Совнархоз обратился за помощью к ректорату индустриального института. Химический факультет взялся за переквалификацию старшекурсников, вовлекая в неё и преподавателей, и студентов. На кафедрах органической химии и химической технологии своими силами спешно оборудовали лаборатории по технологии основного органического синтеза и синтетического каучука.

В начале 1959 года, когда девятиклассник Ковальский ещё не ведал вообще о существовании института, группу студентов пятого курса перевели со специальности «Химическая технология», где давали общую химическую подготовку, на специальность «Органический синтез и синтетический каучук», продлив срок обучения на шесть месяцев. Так рождались первые выпускники со специальной подготовкой для производств, дающих стране мономеры для каучука и каучук для автомобиль-

ных шин. Многоголосый нарастающий поток отечественных автомобилей требовал резиновой обуви.

Нелегко было и преподавателям, и студентам, особенно этого, первого выпуска. Сказывался большой разрыв между общей и специальной подготовкой: органическую химию изучали на третьем курсе, а органический синтез — на пятом и шестом. Учебные программы перестраивались на ходу. Читать лекции по специальным предметам приглашали инженеров-производственников, специалистов НИИ и Совнархоза.

Среди первых в Куйбышевской области выпускников новой специальности — будущих технологов органического синтеза — был и Валентин Сафронович Самарин. Высокий, вдумчивый, с рыжей шевелюрой студент с утра до ночи пропадал на монтаже установок и отработке методов анализа. Впоследствии он войдёт в число главных специалистов Куйбышевского завода синтетического спирта, а затем возглавит кафедру общей химической технологии и будет проректором института по учебной работе.

Судьбы Ковальского и Самарина пересекутся совсем скоро, через каких-то три года, после защиты Самариным диплома, и причудливым образом одна повлияет на другую.

Самарин защитился в январе шестидесятого. Выполнил дипломный проект без отрыва от работы в цехе, участвуя в пуске второй очереди первенца большой химии области — завода синтетического спирта. Этот завод выпускал спирт — сырьё для получения резины.

Первую государственную комиссию по новой специальности возглавил директор филиала НИИ синтетических спиртов и органических продуктов Дмитрий Калинин. Того самого филиала, который задумала и всё-таки создала в Новокуйбышевске, в очередной раз предвосхитив события, неутомимая Анна Сергеевна Федотова.

Филиал вскоре станет ведущим в стране по исследованиям производства фенола-ацетона. Когда ещё не было готово его здание, Федотова заботливо «расквартировала» специалистов у себя в центральной заводской лаборатории. Далее её неутомимая энергия выплеснулась ещё плодотворнее. В городе возник научно-исследовательский комплекс: к действующему нефтехимическому заводу и филиалу добавились проектный институт «Гипрокаучук» и опытный завод.

В выделенном когда-то, в начале августа 1930 года, институту четырёхэтажном здании в центре города Куйбышева кипела работа. Теперь здесь был химико-технологический факультет. Это здание было построено ещё в 1912 году в архитектурном стиле модерн и вовсе не походило на институт. От него исходил холодок административных помещений.

...Шурка в один из приездов в госпиталь к отцу в Куйбышев проходил мимо этого здания. Он даже обратил внимание на белую козу в его декоре. Но он тогда не знал, что это герб бывшей Самары. Они шли с матерью из парка имени Горького, где коротали время перед посещением отца, и мысли его были заняты предстоящей встречей. Он и в парке вел себя рассеянно, оживившись один только раз, на радость матери, когда вдруг увидел ряд огромных осин, таких же, как у родника на Бариновой горе, и обрадовался, сияя светлой улыбкой, как при встрече со старыми знакомыми.

Если бы он знал, что через несколько лет будет учиться в этом холодноватом, чопорном с виду здании с каменной козой на фасаде, он бы обязательно, с его-то дотошностью, внимательно всё осмотрел. И к каменной козе присмотрелся бы. Что за коза? И почему взобралась на фасад? Он знал одну такую козу, у Мазилиных. Она всегда забиралась на сарай и, стоя на пологой крыше, внимательно наблюдала за прохожими.

В этом здании под руководством профессора, доктора химических наук Дмитрия Николаевича Андриевского шла активная научно-исследовательская работа.

В 1961 году на кафедре появилась аспирантка Светлана Леванова. И вскоре обрушился целый каскад имён молодых учёных. Защитила кандидатскую диссертацию Леванова. Затем Александр Рожнов, Кабо, чуть позже Шаронов, Чуркин, Липкин, Стулин. Все они были учениками доктора химических наук, профессора Николая Ивановича Путохина — основателя кафедры органического синтеза. Это по его настойчивому ходатайству старинное здание передали студентам. И именно он приложил много сил в далёком 1930 году к созданию в городе химико-технологического института.

Они внесут свой вклад в научное и промышленное развитие

области и подготовку для неё кадров. И не только! Выпускники факультета станут гордостью российской нефтехимии и нефтепереработки.

...Когда Александр Ковальский поступит на химико-технологический факультет индустриального института, там уже будут свои традиции и свои легенды.

20

Захватившая Александра и его одноклассников неуёмная страсть — настольный теннис — не отпускала и после выпускных экзаменов. Наоборот, теперь, не имея возможности играть днём, они пользовались благосклонностью школьного учителя физкультуры — собирались вечерами. Но им не хватало вечеров. И окна школьного спортзала светились иногда за полночь. Физрук покачивал головой:

— Разбаловал я вас, не провалили бы экзамены в институты.

Сегодня они играли особенно жарко, с ними остался худрук Амосов. Он игрок опытный и азартный. Разошлись только в два часа ночи.

Александр спешит домой знакомым тёмным переулком. Впереди, справа от дома Любаевых, ночная Венера источает свой томный свет, мешая его с лунным сиянием и с запахом сирени в палисаднике Климановых. Слева, за огородами, около стадиона, на крыше Ивановых высится длинная труба, сверкая новой белой жёстью. Недалеко от колодца Зининых тускло мерцает рёбрами из ошкуренных ветловых брёвен новенький сруб для бани. Этот сруб стоял сейчас как раз на том месте, где когда-то Ковальский лежал с непослушными ногами, пытаясь доползти до своей сельницы.

...Дойдя до двух брёвен, лежавших поперёк друг друга на дороге (очевидно, пацаны катались на них днём), Ковальский остановился.

Кругом царство тишины и лунного света. Далеко за Красной Самаркой, на той стороне реки, на горе, свет автомобильных фар мелькнул не так ясно, как в осенние ночи. Хотя и нечёткие, но направленные лучи побежали к Утёвке. Как большой жук со светящимися зрачками, вдалеке грузовик пошевелился и затих.

И вновь тишина. И в этой мгlistой тишине Ковальский ус-

льшал сначала какую-то возню в баньке, затем как будто бы там пробежал ёжик... И всё стихло. Но на мгновенье.

Раздался приглушённый женский смех и снова возня... Тишину, разлитую под луной, около баньки легко и нежно начал раздвигать волнами грудной, невыразимо томный женский голос:

— ...а... а... а... а...

Этот голос, похоже, подчинялся непонятно откуда исходящему ритму.

Прошло несколько мгновений, и тот же нежный грудной голос покорил уже не только пространство баньки и около баньки. Звук, расходясь кругами, покинул баньку, где ему стало тесно, и поплыл дальше, к седым вёслам над речкой Утёвочкой.

Сколько так продолжалось, Ковальский не помнил. В первый момент он подумал, что кого-то душат. Александр вскочил с бревна, толкнув его пяткой ботинка и хотел броситься в дверной проём, но вдруг понял, что там происходит. Не решаясь себя обнаружить, замер.

— ...ещё, ещё... мне так хорошо!

— Не могу больше...

Голоса были знакомые.

«Это же Аксюта Васяева и Лашманкин, они же там... — он испугался своей догадки. — Это же Аксюта так...»

Ковальский метнулся в сторону, боясь, что его увидят. В голове стучала мысль: «Ну, Мишка, ладно, он на всё способен, а Аксюта?!».

* * *

Александр долго не мог уснуть у себя в сельнице. Пахло сеном; они с отцом прошлым летом косили его в лесу вдоль Самарки в тальнике, где всегда много земляники. Он прямо из навильников, когда копнили, выбирал целые кисти ягод.

Вспомнился тот летний давний вечер, когда Аксюта и Ганя голые купались на старице, а он случайно оказался рядом. Помнил восторг, который вызвало у него белое, крупное, «булотуршное» тело, излучавшее здоровье и свет. Как она тогда сказала Гане: «А мне бы хоть хроменького, но молоденького бы муженька...». Эти слова звучали в голове отчего-то так отчётливо, как будто сказаны вчера. Помнил он сейчас и тот тёплый парной

воздух над томной водой с лилиями, и белую большую птицу — Аксюту, словно только что опустившуюся на озеро с неба.

«Вот и перебабилась всю теперь», — непонятно для самого себя, то ли осуждая, то ли горюя, подумал Ковальский.

...Спал он без сновидений.

А дня через два, встретившись с Лашманкиным у клуба, спросил, потупясь:

— Это ты был ночью в баньке?

— Какой такой баньке, не знаю? — всегда ко всему готовый, отозвался Мишка.

— Ну, за Зининой избой...

— А, да это ж и не банька, — тянул Лашманкин.

— С Аксютой был? — Ковальский и сам не понимал, почему затеял разговор, его что-то подталкивало.

— Надо же, застучал, Коваль! — белозубо удивился дружок.

— Надо мне было, вы там на всю округу шорох навели... Как ты мог? С Аксютой?

Мишка, сделав губы дудкой, присвистнул протяжно и удивился:

— Ты чё, Коваль? Она ж сама. Жаловалась, что год уже ходит девочкой. Муженёк её в пыль стёрся давно. Теперь спился вот. Не может и всё тут... А ей страдать? — спросил он и сделал из ладони левой руки козырёк над нахальными глазами. — Ей нудно с ним.

— Она так тебе и говорила?

— Конечно, а чего? Дело простое же...

— И давно вы так с ней... вот, — он не хотел говорить грубо, а по-другому не мог, и замолчал.

— Коваль, ну, чё ты? Как следовательно! Хочешь, я тебе такую же найду на Ветлянке, в нашем гараже одна есть...

— Давно? — упавшим голосом переспросил Александр.

Лашманкин ответил:

— Да ещё с маёвки на Самарке, там первый раз чмокнулись... ландыши были, — помолчал и, озорно сверкнув глазами, добавил: — Практику прохожу.

— Чего?

— Практику, понял? Думает, что она у меня первая. В люди меня выводит, — он довольно хохотнул, обнажив ровный ряд мелких зубов.

— Это она тебе так говорит? — резко спросил Александр.

— Нет. Я так думаю.

— Практикант хренов, ты же семью развалишь ей.

— Не-е, наоборот. Укрепляю. Муж Колька не может.. крепить, так я помогаю.

— Но ты же с Зинкой встречаешься?

— Одно другому не мешает. Аксюта знает. Она, Зинка, нетроганная. И Аксюта не велит. Я ей, Аксюте, зарок дал: Зинку не трогать до армии. Зинка мне стихи читает, а я слушаю. Этого, Асадова — скука.

— Ты — артист, Мишка, — проговорил Ковальский, не зная, как вести себя с Лашманкиным. В голове у него была каша. И зарябило в глазах.

А Лашманкин поучал:

— Да ей, бабе, за тридцать лет. С любимым мужиком это дело — как поцеловаться, никаких проблем. Я их знаю.

Он помолчал и, глядя на Александра, не мигая, кто его поймёт — всерьёз или лукавая, сказал:

— Призналась, что ты ей давно нравишься, но она тебя боится. Больно, сказала, ты серьёзный.

Эти Мишкины слова особенно сильно резанули Ковальского. Он зло посмотрел на Мишку. Ему впервые показалось, что дружок его похож лицом на какого-то зверька.

...У Мишки Кирсанова, по уличному — Лашманкина, в последний год стало много друзей-приятелей. Он закончил вечерний десятый класс и работал на Ветлянке автослесарем. Осенью его должны были забрать в армию. Поступать в институт он не намеревался.

Александр шагал вдоль серых штакетин, огораживающих клубный скверик, думал об Аксюте. Из-за угла внезапно появилась возвращавшаяся из магазина Екатерина Ивановна. Он резко нырнул под нависший над забором приземистый карагач. Не хотелось, чтобы она его видела таким. Он чувствовал, что лицо у него ненормальное.

«Красивые Ганя, Аксюта! Красивые, а счастья нет! Аксютин муж дядька Коля — добрый, но беспросветная пьянь». И Ганю видел вчера с приезжим пьяненьким мужиком. Заметил, как гордая, обаятельная Ганя стеснялась своего шумного спутника. «Это — жизнь, — вспомнил он Мишкины слова. —

Жизнь, — повторил Ковальский. — Но почему так несправедлива? Даже к тем, кто ни в чём не виноват?»

Он видел вокруг и раньше много грубого, но случай с Аксютой его выбил из колеи. Потом, чуть позже, подумалось: «Но Аксюта, она тогда, ночью, так смеялась! Тихо и счастливо. И этот её шепоток, на который Мишка глуховато отвечал что-то. И грудной такой голос её...».

21

Подходило время сдавать документы в приёмную комиссию института. Александр не представлял, где он находится, но знал адрес дядьки Сергея. И был уверен, что через него всё и отыщет.

Через два дня, во вторник, прилетал Пудовкин на своём Ан-2, решено было отправляться в Куйбышев с ним.

...Провожать Александра пошли мать и брат Петро. Сёстры были в поле. С отцом, бабой Груней и дедом Иваном он простился у ворот дома. До площадки, где приземлялся самолёт, километра два. Выяснилось, что Ан-2 берёт на борт всего двенадцать человек, а у кассы набралось желающих лететь двадцать. Екатерина Ивановна заволновалась, но Александр оказался как раз двенадцатым, и она успокоилась. А то уж хотела бежать к самолёту просить помощи у родственника.

— У тебя чемодан солидный какой! — удивился Пудовкин, когда началась посадка пассажиров.

Ковальский промолчал, улыбаясь, а Катерина пояснила:

— А зачем маленький-то, туда и костюм можно сложить, и рубашки. Удобнее так.

Чемодан для неё — предмет особой гордости. Дался он не просто. В него вложили часть Зорьки.

Катерина была печальна. Александр это видел и не знал, что делать. Но брат Петро случайно или нарочно — он умел так говорить — «подсуропил»:

— И самолёт Ан-2 зелёный, и чемодан зелёный — получается какой-то зелёный десант, прямо!

Александрю показалось, что сейчас вокруг засмеются, но все заняты собой. Шла посадка. Катерина улыбнулась и погрозила Петру пальцем.

Потом поцеловала Александра поспешно один раз в щёку. Петро ткнул в бок энергично кулаком, и Ковальский шагнул к самолёту.

...Когда самолёт взлетел, всем раздали серенькие бумажные пакетики. Александр удивлённо спросил:

— Что это?

Старушка напротив щепеляво пояснила со знанием дела:

— Гигиенические.

Ковальский не понял. Взял пакет и положил в карман. Понял, для чего эти серенькие штуки, только когда добрую половину пассажиров начала мучить рвота.

...Владимир и на этот раз не изменил себе. Он сделал свои три круга над Утёвкой. Самолёт с первого круга сразу взял в сторону села Покровка, не долетев до леска у Самарки, повернул влево и пошёл вдоль реки. Александр припал к иллюминатору.

Будущим биографам Ковальского, если б он стал, как обещаала Плотникова, знаменитым артистом, было бы удобно и красиво писать: учиться из Утёвки в Куйбышев Александр Станиславович прилетел на самолёте... Звучит! Если не уточнять, конечно, на каком самолёте... И эти гигиенические пакеты...

...Видно в окошко при взлёте и озеро Лещёвое, и Осинное. И даже продолговатое узкое Подстепное, в котором утонул неделю назад Мазилин. Слушок был, что не сам, помогли. «Пил здорово и всегда около воды — мог и сам», — резонно говорили одни, вещи-то все целы. А другие, которые не соглашались с этим, помалкивали...

...«Скоро и Разлацкого в Утёвке не будет, всё-таки решил жениться на Нинке Свечниковой и уехать на Север», — вспомнил Ковальский.

...Синегубый Степан стал почти совсем слепым. И когда в последний раз приходил к отцу Александра — плакал.

Но эти изменения остро Ковальского уже не трогали. Он сам удивился этому.

Новые предстоящие встречи и события надвигались стремительно и он больше думал о них, хотя и не мог знать, что за события и люди будут его вскоре окружать. И на гражданке ли, если всё-таки поступит в институт? Или в армии?

...Увидел он сверху и дом Олечки Козыревой. Но не встре-

пенулось сердце. Спокойно посмотрел на новенькую ограду палисадника, у которого они недавно сидели, на кусты акации и сирени под окнами, на зелёную лужайку у дома с кучей бревен посередине. На брёвнах возились ребятишки, а рядышком на площадке парни резались через сетку в волейбол.

...Вот когда на глаза попался дом Аксюты, он невольно вздрогнул. Аксютя стояла посередине двора, заросшего муравой, с младшим своим, родным сынишкой Шуркой и смотрела в небо — на самолёт! Ему даже показалось, что они встретились взглядами. Она сорвала косынку и помахала ею, высоко подняв оголённую по плечо левую руку. Даже сверху, из самолёта, видно, какая она вся ладная и крепкая. А маленький Шурка её что-то кричал, наверно, громко и весело, махая обеими руками. Александр не мог слышать его голоса.

Ковальский спохватился. Эти свои круги Владимир «нарезал» вокруг школы ради химички Валентины Сергеевны, которая в серединке всего! Где она, школа!

Он тут же её отыскал. Взгляд поймал большое деревянное П-образное здание под шифером в густой зелени клёнов. Край левого крыла золотился под утренним солнцем. Сруб недавно собрали из новых сосновых толстых брёвен, а крыши пока не было... Эти золотистые брёвна они, десятиклассники, привезли в прошлом году из Борска. Везли и знали: строят свою школу!

Успел он напоследок выловить взглядом и дом своего деда. Двор Головачёвых был пустынным.

В огороде мелькнула старая ранетка, которую ещё прошлой осенью дед Иван хотел спилить...

...Но всё под самолётом становилось меньше и меньше. Всё уходило вниз и оставалось позади. Александр будто смотрел в бинокль, только с другой его стороны — уменьшающей.

Круги кончились.

Самолёт набирал высоту...

Книга третъя

СОВМЕЩЕНИЕ

*Верь сам себе,
наперекор Вселенной...*

Р. Киплинг

*В разгорячённой груди —
Разом и жар, и остода.*

С. Куняев

Глава первая

Трудяга-самолётник Ан-2, управляемый двоюродным братом Ковальского Владимиром Пудовкиным, удивительно быстро долетел до аэропорта в Смышляевке.

Сам не зная, почему, Александр не торопился к автобусу. Дождался, когда появится в сереньком здании молодой, но такой основательный его родственник-лётчик.

- Ты ещё не уехал? — удивился подошедший Владимир.
- Да вот... — мялся Ковальский.
- Негде пристроиться жить?
- Есть вроде бы, у дядьки Серёжи.
- Сам найдёшь, как добаться?
- Конечно.

Владимир Пудовкин со своим «кукурузником», на котором летал часто в Утёвку, сейчас был последним, кто соединял Ковальского с его прежней жизнью. Александр вдруг почувствовал себя ступившим на незнакомый материк, который надо непременно освоить. Пролетев всего-то сто километров от села до города, он словно преодолел огромную важную между, разделяющую непостижимо многое!..

...Пудовкин куда-то торопился. Владимир не хотел обидеть Александра, но он уже оказался в своём привычном потоке, властно нёсшем его, счастливчика. И он, улыбчивый, доверяясь этому потоку, верил в себя. Это было видно по всему. Его ладная фигура, розоватые щеки, домашняя уверенность в по-

ведении на лётном поле, в этом помещении, где с ним приветливо здоровались такие же, как он, крепкие парни — всё говорило об основательности, серьёзности того, к чему сумел прикипеть его удачливый двоюродный брат. За ним большое, огромное дело — аэрофлот, которого хватит на всю жизнь, только не ленись — работай.

— Ну, тогда давай, ни пуха тебе! Я ещё тут к начальству должен явиться.

Пудовкин протянул, белозубо улыбаясь, крепкую, как рычаг, руку и так сжал ладонь Александру, что тот изменился в лице. Поняв это по-своему, улыбчиво сказал:

— Ничего-ничего, привыкнешь. Теперь ты сам себе голова! Не забывай о нашем уговоре: ты должен стать инженером, я — пересесть со своего «кукурузника» на реактивные.

— Ещё поступить надо, — сказал Александр, думая совсем о другом.

— Это как минимум, — тоже, очевидно, думая о своём, ответил Пудовкин. — Иду, иду! — быстро отреагировал он на вопросительный взгляд проходившего мимо рослого красивого парня. — Ну, Коваль, расстаёмся на время? Давай! — Он энергично взмахнул рукой и ушёл.

«Пудовкин — фамилия, кажется, не совсем подходящая для лётчика — тяжеловатая. Зато сам Володька — лёгкий, весёлый и надёжный. А Покрышкин, Кожедуб — тоже фамилии какие-то странные для лётчиков... Ладно, надо держать слово: коли он выучится всё-таки летать на реактивных, то я обязательно должен окончить институт. Договор дороже денег».

Ковальский не спеша пошёл к автобусной остановке.

«Я иду, и всем до лампочки, какой ценой достался мне мой зелёный чемодан. Моё приданое, как пошутила мама. Ценой Зорьки — рыжей годовалой телки, которую родители одним махом в первый привод продали на базаре... Я первый в нашем роду еду поступать на дневное отделение института. Первый! Я как бы представитель всех, кто был и есть за моей спиной. Я — посланец тех сельчан-родственников, которые не успели выучиться, погибли на войнах, стали убогими от нужды и изнурительной работы. Не могли окончить даже десять классов. И не по своей воле. Так жизнь складывалась. Предыдущие поколения не могли себе позволить, чтобы дети учились... А мне

выпала карта? Повезло, что у меня такие родители. Самоотверженные. И, если не поступлю, никто слова в упрёк не скажет. Давно все привыкли, что многое недоступно сельским. И не только сельским. Не протиснешься. Кем-то и как-то так определено или так в головах засело: где уж нам, без нас в очередь выстроились не такие, как мы».

— Того это... — задумчиво перед отъездом говорил у калитки Любаевых Синегубый, — не высокогато ли замыслил, вон лучше бы, как Ванька Гладилин, поступал на лётного радиста в училище, сразу тебе и одёжка форменная, и харч — тепло и неголодно. Или хотя бы, как твой дядька Сергей: устроился на работу, а потом — в вечерний. Проще.

Мать с отцом молчали. Александр знал: если согласится, они не будут возражать. Им важнее всего надёжность. Но он не принимал правоту Синегубого. И родители не спешили это делать. Они доверяли ему. Они ждали справедливости. Ведь есть же она где-то, есть! А раз есть, то почему бы ей не показать себя на Шуркиной судьбе?

«Мир должен быть справедливым, — думал Ковальский. — А если так — тогда дело только в тебе самом».

Он верил в себя.

На чём держалась эта вера? Уж не на наивности ли? Но что тогда наивность, коль так толкала она к решительным действиям? И не его одного! Целое поколение вырывалось из деревни, неосознанно подчиняясь внутренним толчкам, преодолевающим, будто сконструированный кем-то и надёжно работающий, разъедающий душу механизм собственной неполноценности.

«Сами себе роль папуасов отводим, ерунда какая».

Александр едко, что на него было не похоже, усмехнулся.

И всё-таки не наивность рождала в нём энергию. Энергия, выработанная надеждой, питала не только Ковальского. Русский человек, как никакой другой, способен брать энергию из надежды. Она позволяет ему думать: завтра жизнь будет лучше. Вот пройдёт пять лет, тогда... Пусть десять... Ведь есть же справедливость на свете, а значит, и жизнь есть более достойная, удачная, счастливая... Надо жить, работать и надеяться...

Он пропустил свою трамвайную остановку. Нужный дом оказался за спиной. Ковальский, не торопясь, ступил на тротуар, осмотрелся. Перекрёсток весь изрезан трамвайными линиями. Непривычно для глаз. Александр постоял, потоптался и, увидев совсем недалеко площадь, невольно рассмеялся.

«И тут надул, — подумал он о своём дружке Мишке Лашманкине. — Вот шельма». Вспомнился хвастливый рассказ Мишки после того, как два года назад тот ездил в Куйбышев и якобы на полном ходу обогнал на своих двоих трамвай. Бегал Мишка и впрямь быстро. Быстрее всех, кого знал Ковальский. Но чтоб обогнать трамвай на полном ходу?

— А чё слабо-то? — уверенно возражал тогда Мишка. — Он, трамвай, знает себе, мчит к Волге под уклон, прям мимо памятника Ленину в кепке, ну, а мне под гору — в самый раз. Только пятки сверкают. Я его ещё на берегу малость потом подождал, трамвай-то. Он запыхался, за мной стараясь поспеть, искры из-под него аж в разные стороны — а всё равно слабо меня обогнать. Я ей фигу на ходу показал — девка за рулём была.

После таких подробностей: Ленин, кепка, Волга, фига, девка за рулём... оставалось Мишке только верить.

А тут оказалось, что и бежать-то мимо памятника Мишка не мог. Рельсы круто поворачивали влево и уклона никакого к Волге с рельсами не было.

Александр захотелось подробнее посмотреть и памятник, и площадь Революции, которую дядька Сергей ему нарисовал на клочке бумаги.

...Он присел на скамеечке под липой. Стоял уже полдень. Необычно пахло нагретым асфальтом. На площадилюдно.

Сидя внутри скверика перед памятником лобастому вождю революции, разглядывал площадь. Она походила на огромную грампластинку. Меньший круг — аккуратненький скверик с памятником в центре, недалеко от которого расположился Ковальский, а больший — тот, который озвучен потоком пёстрых существ: людей и машин. Они слетали с чёрного диска, пропадая в четырёх отрезках улиц, отходящих от «пластинки». Масса людей и машин, попавшая на неё, рождала непривычную для Шуркиного уха городскую мелодию.

Он вообразил памятник, стоявший в самой середине кругов, чем-то вроде оси патефона. Внутренний круг пластинки, в отличие от серого внешнего, был коричневато-красного цвета.

«Если площадь — пластинка, — подумалось Ковальскому, — то я та самая игла на ней, которая снимает эти звуки».

Вспомнился немецкий патефон из детства, привезённый его отцом Василием. И блестящие патефонные иголки.

Патефон Шурка несколько раз из любопытства разбирал. В конце концов он сломался и занемог. Потом замолчал совсем. Иголки куда-то затерялись.

Ковальский сидел на удобной синенькой скамеечке со спинкой, совсем забыв о своём чемодане и о том, что ему надо отыскать дом, в котором проживал дядька Сергей.

...Осмелевшие голуби, сизари, больно какие-то уж гладкие и красивые, проворно бегали в тени лип. Временами голубки, делая замысловатые круги, выскакивали на асфальт к зелёному чемодану. Но быстро опять ныряли в тёмную тень, где тут же попадали под внимание двух самцов, которые, приблизившись к ним, враз приобретали горделиво-галантную осанку. Шейки их с переливающимся дымчато-сизым оттенком становились солиднее, сами самцы — осанистей и подвижней. А самки, в этот момент став заметно элегантней и изящней, семенили в разные стороны. Эта любовная их игра забавляла Ковальского.

...Он посмотрел вверх перед собой, на памятник. «Ленин, если бы был чуть похудее, повыше и не держал руку в кармане, здорово походил бы на моего деда Ивана. Голова в фуражке очень похожа».

...Непроизвольно оглянувшись на шум голубиных крыльев, Ковальский заметил двух подозрительных типов. По всему видно, что их интересовал — и очень — зелёный чемодан.

Александр демонстративно пододвинул чемодан к ногам и в упор взглянул на парней. Те, как призраки, оба в тёмном, в тени широких лип, отшатнулись и пошли по кругу пластинки в разные стороны. Он видел, как один из них, совсем ещё подросток, остановился и, оглянувшись, смотрел на Ковальского, нагло улыбаясь.

«Они что, пасут меня? С моим чемоданом? Уж больно средь бела дня дерзко как-то?»

Александр ещё чуть посидел для порядка, не желая выка-

зывать своего беспокойства, затем встал, чувствуя, что находится под прицелом цепких и безжалостных глаз.

Он пошёл не назад, как ему надо было, а туда, где открывался большой просвет неба. Такое небо могло быть только над Волгой.

* * *

Александр пересёк кольцо площади около углового дома с барельефом совсем ещё молодого Ленина. На стене было начертано, что в 1892–1893 годах в этом здании работал помощником присяжного поверенного самарского окружного суда В. И. Ульянов–Ленин. «Рука не в кармане», — отметил Ковальский. Прошагав ещё чуть, он поставил чемодан на тротуар. Он его не утомил, просто захотелось постоять и посмотреть ещё раз на площадь со стороны.

Когда взялся за ручку чемодана, намереваясь направиться к Волге вниз по крутому спуску, неожиданно услышал:

— Издалека прибыл, землячок?

Он обернулся. И сразу всё понял. Перед ним стояли те двое, что мелькнули на «пластинке» под липами. Ещё двое, ухмыляясь, торчали на проезжей части, чуть отступив от края тротуара.

Позволить себе лишиться чемодана Ковальский не мог. «Да и дурь какая: днём? Они что, полоумные? Я же одному да сворочу голову, раз на то... а потом, — соображал он быстро, — карманики и вот эти — они же, кажется, так грубо не действуют? Что-то не то... Пугают, скорее... черти... Свои дворовые законы тут».

Вопрос задал тот, что всех постарше. Он стоял сбочь тротуара.

Ковальский ответил неопределённо:

— Не очень издалека.

— А надо что здесь?

— Да так, дом ищу один.

— Не этот вот? Приспичило, а? — спросил тот же парень, указывая на табличку у двери в дом.

«Мне ровесник, наверное. Этот у них старшой. Остальные мелкота», — пронеслась мысль.

«Мелкота» прыснула от смеха:

— «Награды» привёз? Тут те подлечат! Ага, — это сказал худой и узкоплечий с большими отвислыми ушами, стоявший слева.

Александр ничего не понял. Только почувствовал, что, если будут бить, этот, узкоплечий, начнёт первым. Жжённый очень.

Он быстро взглянул на табличку и уразумел причину их смеха. Дом необычный. В нём размещался кожно-венерологический диспансер.

— Дураки, — зачем-то, сам не поняв, расслабившись, произнёс Ковальский. И свободно рассмеялся.

И тут услышал то, что мгновенно мобилизовало его.

— На баш! — тихо, но внятно проговорил «старшой», глядя на узкоплечевого.

Это была команда. Ковальский знал такой приём: «на баш» — когда тебя тупо, тараном бьют головой в живот. Но у него был и свой навык. Надо успеть резко отступить от нападающего, когда тот торпедой ринется вперёд. И, сцепив обе руки в общий кулак, как обухом, сверху ударить по шее. Проверено: нападающий не устоит на ногах — уроки Разлацкого, нефтоторгского квартиранта Мани Сисямкиной.

Александр повернулся от стены дома на пол-оборота, чтобы было куда отступить и замер, держа наготове полусогнутые в локтях руки с разжатыми пальцами.

Он увидел усмешку «старшого» и ждал.

...Сзади что-то гулко стукнуло. Ковальский, готовый ко всему, резко обернулся.

Открыв массивную дверь, на улицу из вышеозначенного пикантного заведения вышел розовощёкий, с белыми усиками, плотный, улыбающийся старшина милиции.

Огляделся не спеша и вяло удивился. Обращаясь к «старшому», буднично спросил:

— Маркельгч, ты совсем того, что ли?

— А ты чё, Санёк, пострадал? — «старшой», оказавшийся Маркельгчем, кивнул на вывеску.

— Я те дам: «пострадал». Убирай своих, а этого, с чемоданом, отпусти.

— Да идёт он, пляшет, кому нужен? Пускай гуляет.. до следующего раза... — отвечал Маркельгч. — Верно, ребя? — Он взглянул на своих. Те по-клоунски улыбались.

— Вот-вот, — охотно согласился было старшина, но спохватился. И, почти сделавшись настоящим начальником, сказал: — Я те дам «до следующего раза»... Прекрати, как ты говоришь, свой фокстрот...

...Ковальский к Волге не пошёл, расхотелось.

«Почти как у нас», — думал он, вспомнив сельского милиционера Ваню Антошкина. Тот, когда случалась около клуба драка, всегда приводил «наиважнейший» довод для умиротворения сторон, обычно говоря просительно:

— Ребята, ну, ладно вам, чего вы? Прекратите это дело. А то и вам, и мне достанется.

Странно, но иногда парни, утирая красные сопли, прекращали «это дело».

...Через полчаса Александр добрался до нужного ему дома. Дядька Сергей был ещё на работе.

Он решил идти в институт на следующий день, а пока, поставив чемодан в коридоре, направился искать известное своей необычной архитектурой здание драматического театра.

«Раз Волгу не посмотрел, то хотя бы драмтеатр увижу», — решил он.

Не терпелось узнавать новую жизнь. Да и не хотелось оставаться одному с неработающей дядькиной тещей. Она смотрела на новоявленного родственника колочими глазами. Будто он уже в этом доме жил и крепко набедокурил. И вот опять... явился...

...Такой получился для Ковальского в его первый городской день «фокстрот».

Неласково, выходило, встретил Ковальского город.

А он другого и не ожидал.

* * *

На следующий день Ковальский сдал документы на химико-технологический факультет.

Уже выходя из спортзала, в котором находилась приёмная комиссия, узнал, что конкурс на этот факультет самый большой — среди школьников восемь человек на место. Для тех, кто уже отслужил в армии, — два человека.

Александр вернулся к столу, где главной была видная статная женщина, окружённая деловито копошащимися вокруг

неё помощницами. Хотел забрать документы и передать их на нефтяной факультет, на котором общий конкурс полтора человека на место. Но постоял, потоптался и передумал.

Уточнил, когда первый экзамен, и вышел.

Глава вторая

...Как ни странно, но самым тяжёлым испытанием для Ковальского оказалось сочинение по литературе.

Этот экзамен был последним. Александр, совсем не волнуясь, вошёл в большой тёмный класс и сел во втором ряду у окна во двор. Там, в свежей зелени клёнов, чирикали воробьи. Их голоса доносились сверху. Он поднял голову — над ним висела, скособочившись на одной петле, дряхлая форточная рама без стекла. «Грохнется на голову — нечем будет писать сочинение», — невесело подумал он и чуть отодвинулся от стены.

Дама в комиссии быстро посмотрела на него и отвела взгляд в сторону: приготовилась не замечать, что будет списывать. «Миленькая ты моя, да у меня ни одной шпаргалки по литературе нет, по физике были. Зря стараешься», — пожалел её Ковальский.

Вокруг него шуршало. Парень справа положил на левое колено небольшую записную книжку. Листая, искал неторопливо цитаты, наличие которых решительным образом влияло на выбор темы. Сидел прямо, картинно, выпятив грудь, похожий на большую гордую птицу. Зоркие глаза этой птицы и пальцы левой руки деловито шарили по страницам. Рядом с парнем — девица с красивыми, как у коровы Жданки, глазами и рыжими волосами, собранными в причёску «вшивый домик» — это название он услышал вчера в деканате, не стесняясь, рылась правой полной рукой у себя в юбке у пояса, оголив с синеватым отливом ногу. Никто вокруг, казалось, ничего не видел. Сразу же за «жданкиными глазами» сидела смуглая красивая абитуриенточка. Она беспокойно поворачивалась в обе стороны, выбирая, к кому обратиться. «Если б какая из них сейчас разделась догола, никому бы дела не было, кроме, разве, комиссии, — усмехнулся Ковальский, — настолько все поглощены собой. — Жен-тель-мены, где вы, ах, спасайте дам!» Он сочувственно посмотрел на обеспокоенную смуглянку.

Его личное спокойствие объяснялось просто. Как только

прочёл название темы — «Образы коммунистов в романе Михаила Шолохова «Поднятая целина», так понял: нечего суесться. Материал знал, тему готовил ещё дома.

...За полтора часа он написал четыре страницы и несколько раз проверил текст. Стало скучновато.

«Жданкины глаза» заканчивала третью страницу, положив найденный в своей широкой юбке подсобный материал прямо на парту, под пухлую свою с беленькими пушистыми волосиками руку. «Цапля» — парень справа рядом — сумел выписать все нужные цитаты, и они у него на вполне законном основании теперь лежали аккуратно и открыто сбоку. Он увлёкся и обронил свою записную книжку на пол. Она лежала около, раскрывшись домиком. На неё можно было в любой момент наступить, если надо, ботинком. «Вот бы написать, кто как шпаргалит. Мог бы успеть, ещё почти четыре часа осталось, и — бухнуть в комиссию, анонимно. Они же все бывшие студенты — посмеялись бы вдоволь».

Он встал и понёс своё сочинение комиссии.

— Как, уже? — удивилась дама, которая отметила его в самом начале.

— Да, — спокойно ответил Ковальский.

— Давайте ваш черновик.

— У меня нет черновика.

— Как, нет черновика, чудите?..

— Ну, нету...

Она просмотрела листочки.

— Черновика нет, и такой почерк...

— Какой почерк? — Александр невольно взглянул на свою работу.

Дама не ответила, какой. И так ясно: наклон в обратную сторону.

— Разве таким почерком нельзя писать сочинение? — поинтересовался Ковальский.

Но в комиссии почему-то не были расположены к шуткам.

— Вам всё равно, поступите вы или нет?

Это спросила женщина намного старше и суровее, чем та самая дама.

Ковальский не нашёлся, что ответить. С одной стороны, полная свобода списывания, с другой — такая строгость.

— Мне можно идти? — спросил Ковальский, не зная, как поступить.

— Идите, — последовал совершенно рыхлый, не говорящий ни о чём ответ.

И он вышел. Александр почувствовал себя проигравшим там, где мог с блеском выиграть сражение. Он вдруг почувал страшную опасность. И пожалел, что поторопился, сдав текст. Но дело уже сделано.

Ноги сами понесли к Волге. Он прикинул по памяти, что на пути должен быть парк Горького, в котором они однажды были с матерью. Александр вспомнил, что там стояли огромные осины, и ему захотелось их увидеть.

Он уже знал за собой особенность быстро сходиться — родниться с деревьями. Встретившись даже один раз, привязывался к ним и принимал их в круг своих знакомых. Таких знакомых у него было немало. Особенно вдоль Самарки. Были деревья, о существовании которых знал только он один. И каждый раз, навещаясь к ним, радовался встрече.

...Смутная тревога охватывала его. Гуляла информация, что проходное число баллов на химико-технологическом факультете тринадцать. Он их набрал по профилирующим дисциплинам, получив по химии пятерку, а по математике и физике — четвёрки. Получалось так, что уже как бы поступил! А тут эта литература. Непрофилирующий предмет, а может оказаться решающим, если будет тройка. Или того хуже — «неуд». «Но такое не должно случиться, — напряжённо думал Ковальский. — Что с того, что просидел бы ещё три часа! Ошибок в правописании вроде не должно быть. А содержание? Тоже не мог подкачать... И всё же? Ведь надо же кого-то убрать. На последний экзамен по литературе пришло много абитуриентов. Отсеялась лишь какая-то треть с начала вступительных... Что там будет за отбор?»

Александр шёл по парку, в котором пестрели большими группами люди. Здоровенные мужики играли в шахматы и домино. Средь бела дня. Вот так беспечно. Летом. Такого Ковальский никогда не видел в своём селе. «А как же с работой? Сено, дрова, скотина? Чудак, её здесь нет — такой работы-заботы, — спохватился он. — Деревня ты, деревня». На площадочке, чуть глубже, в тени деревьев, играли на двух столах в теннис.

Он постоял, посмотрел несколько минут и отошёл. Пары играли слабовато: ни подрезки, ни темпа.

Александр спохватился и поднял голову. Большие, огромные деревья стояли ровно в ряд вдоль асфальтированной дорожки. Но то были не осины, а тополя. «Тополя?» — удивился Ковальский. И пошёл вдоль них, от одного к другому. «Я, что же, тогда, пять лет назад, когда был здесь, ошибся? Принял их за осины? Не может быть!» Он медленно шагал, останавливаясь и осматривая каждое дерево. Тополя были без пуха. Пройдя так метров сорок, всё-таки нашёл осину. Она стояла крайней. Рослая и крепкая. Александр подошёл и приложил ладонь к глянцевой тёплой коре. Дерево будто вздрогнуло, как Кариий, к которому он тоже любил так вот — всей ладонью — прикоснуться, к его крутому лошадиному боку, к лоснящейся поддрагивающей коже. Вокруг Карего всегда были слепни да мухи. А здесь по тугой, с крупными наростами, особенно внизу у корневища, коре ползали деловито осы.

«Что они нашли у тебя, ты же горькая?» — подумал Ковальский.

— Крупнотелая и горькая, как утёвская Аксюта, — сказал вслух в задумчивости и остановился, оглядываясь. Показалось, что его слышат.

«О чём ты, голова, думаешь? Об экзаменах надо думать. Влепят «неуд» и — «ты меня провожала в солдаты...»

* * *

...Около воды он разделся. Волга — река широкая, полноводная. Когда сказал про себя «полноводная», почувствовал это слово как бы заново. Лёг на песок. Воды, когда теперь взглянул на реку снизу, стало ещё больше. Необъятная гладь её, казалось, готова была растворить его. Такого ощущения, когда Александр бывал на Самарке, у него не возникало.

«А что же чувствует человек на «море-окияне»? — подумал он. — А казах или туркмен, или «друг степей калмык», добравшись до такой воды? А что испытывают тогда вечно живущие около огромной воды поморы? Все наши чувства, выходит, относительны. И не только те, что связаны с рекой, озером, океаном. А и с лесом... снегом... любовью, ненавистью, радостью,

гордыней... У каждого общее и всё же сугубо своё. И каждый борется за свою долю, то есть за своё право чувствовать так, как чувствует, видеть и знать так, как может видеть и знать... Человек отстаивает право на свою долю. Плохая или хорошая, но она его. И он хочет её испытать. Не просто место под солнцем ищет, а заявляет право на свою долю в этой жизни, которая как-то случилась на земле. — Александр спохватился: — Я забрался куда-то далековато от моей доли, вернее, права на учёбу в институте». Ему показалось, что он вступает в некую дуэль с дамочками, принимавшими у него листочки с сочинением, и начал строчку за строчкой, слово за словом восстанавливать в памяти написанное. Пытался обнаружить возможные ошибки. «Три ошибки и — хана». Сомнительных мест как раз три. «Если бы была бумага, было проще найти возможные ошибки, написав текст», — думал Александр с горечью. И снова начал «читать» своё сочинение.

* * *

...Потянувшись на песке на правом боку, он черпанул левой рукой сыпучий песок и враз сжался от страшной боли. Судорога сковала часть левой ноги: от колена до пальцев. Мышцы так напряглись и стянулись, что, казалось, готовы были лопнуть. Ногу нельзя ни согнуть, ни разогнуть.

«Хорошо ещё, что не в воде», — успокаивал себя Александр.

Проходившая мимо парочка, он и она, увидев неладное, остановилась.

— Послушай, чем-нибудь помочь? — грузноватый парень в широченных чёрных штанах и майке внимательно смотрел на Александра.

— Нет — пройдёт, наверное. Я сам, — срывающимся голосом проговорил Ковальский и махнул рукой. Не хотелось в присутствии женщины выглядеть беспомощным.

Она, такая ладненькая в светло-зелёном закрытом купальнике, стояла рядом. Её ноги Александру казались очень длинными и прямыми. А у парня в чёрных брюках — короткие, с маленькими ступнями. В этом было какое-то несоответствие.

Ковальский махнул ещё раз рукой, прося оставить его в покое. Парочка пошла своей дорогой. Но парень, оглянувшись,

увидел, как Александр вновь задёргался от боли. Сделав пару шагов назад, пробасил:

— Послушай, давай я тебя...

Он не договорил, спутница опередила:

— Женя, ну что ты привязался к пьяному? Он же лько не вяжет, а ты...

Женя с короткими ступнями как-то очень быстро повиновался своей спутнице, у которой были красивые, очень длинные ноги. И они ушли.

Судорога вскоре отпустила... Ковальский осторожно вытянулся на спине, прикрыв лицо от солнца рубашкой.

Он пролежал так недолго. Послышались рядом шаги. Александр привстал.

— Послушай, я узнал тебя, думаю, вдвоём веселей, можно?

Перед ним стоял парень, которого он приметил в числе сдававших экзамены. Постоянно весёлый, сдавал почти на все пятёрки. Без шпаргалок.

— Иннокентий, — протянул руку парень. — Рамазанов.

Александр, встретив узкую крепкую руку в своей, назвал:

— Ковальский, — и, чуть помедлив, добавил: — Александр.

— А я вслед за тобой вышел, вторым. Накатал — и ходу. — Он разделся и сел. Крепкий, поджарый. Разбитной, видно по всему. Наступила пауза.

— Я заметил, ты без шпор сдаёшь? — проговорил Ковальский.

— Ага, — отозвался парень, глядя на проходящий с музыкой вверх по течению белый теплоход.

— И литературу? — уточнил Ковальский.

— А её-то уж со шпаргалками стыдоба сдавать, — уверенно заявил Иннокентий.

— Как, а цитаты?

— Я их сам придумываю, с ходу.

— Как — сам? — не понял Александр.

— Так, сам. Я приём изобрёл. В прошлом году сдавал в радиотехнический, использовал его.

— Тебя отчислили?

— Нет, бросил — неинтересно.

— А на химико-технологическом интересно? — Ковальский повернулся всем корпусом к собеседнику. Он его удивил, пижонится или нет?

— Посмотрим, шуму много. Кругом химия. Похимичим.

— Ну, ты даёшь, — не удержался Ковальский. — Ты на какую тему писал?

— Маяковского.

— И как всё-таки с цитатами?

— Кое-что вспомнил, кое-что моё...

— Например?

— Вот вам, — и он произнёс почти торжественно: — Долорес Ибаррури писала о великом советском поэте: «Феномен Маяковского в том и состоит, что его мощная, исполинская натура художника вибрировала от малейших нюансов, тончайших душевных переживаний, преломляя всё в грандиозную масштабную лирику». Каково, а? — Иннокетний вельможно взглянул на Ковальского. — А главное в том, что всё без ошибок. Где хочу, там запятые и ставлю. Пойди проверь.

— А если всё-таки проверят?

— А что и как проверять-то? Они что, побегут в библиотеку искать труды Долорес Ибаррури? Пусть найдут попробуют и проверят знаки препинания. Кому это надо? А содержание цитаты железное. Верно, ведь?

Ковальский смотрел на нового знакомого, на этого заразного пройдоху и удивлялся.

— А если бы ты писал по Шолохову, что бы придумал?

Рамазанов на минуту прикрыл глаза ладонью.

— А вот вам, пожалте! Константин Симонов сказал: «Это самородок огромной величины. И истинную цену ему определит будущее поколение. Его «Судьба человека» сильнее всего Хемингуэя».

— Ну, ты, хватанул — Хемингуэй! Симонов так мог говорить?

— Да ладно, кто из них сообразит-то? Они столько же читают, сколько и мы с тобой. Или ещё меньше. Учителки же. Из обычных школ...

Он тряхнул лобастой головой с непокорным, вздрагивающим над левым виском чубчиком. Резким рывком встав с песка, пошёл к реке.

— Знаешь, как я придумал эти штуки с цитатами? — крикнул он уже из воды.

— Не, не знаю.

— Когда мой старший брат с друганом своим поспорил на

ящик пива, что напишет в пояснительной записке к дипломному проекту, что у него какой-то там подшипник, он инженер-механик, из берёзы. Так и напишет: «материал — белая берёза», — и никто не заметит. И не заметили. Ящик пива он выиграл. Защитился на «отлично». Не трусь. Институт — это как трамвай: главное вскочить на подножку, а там пять лет, как пять остановок, пролетят — так мой брат говорит, не выпадешь, если не оболтус.

— Но ты же выпал из радиотехнического, — несмело возразил Ковальский.

— Я не знаю, чего хочу! Мне всё охота, неохота пять лет на ненужную мне профессию угробить!

Он присел по подбородок в воду. Охнул громко, поднялся во весь рост и бросил себя, раскинув руки и ноги, в воду. Его долго не было видно, потом бесшумно показался. Виднелась одна голова. Не спеша голова продвинулась метров на двадцать по течению и вновь надолго скрылась.

«Вот нырок-то, — наблюдая за ним, думал Ковальский. — Не простой парень, занятный».

Новый знакомый понравился. И имя его нравилось. Оно завораживало. Иннокентий! Такое не всякому дают.

Глава третья

«Ребя» с площади Революции, которым он попался на глаза в первый день приезда в город, не забыли его. Выследили. Или Александр случайно попался.

Вышли на него с ракетками для настольного тенниса. Вроде бы безобидные штуки, а в умелых руках — чуть ли не сапёрные лопатки.

Ковальский их узнал сразу. И понял: попытаются бить.

Один из них двинулся от угла дома, в котором Александр жил у дядьки. Другой — сзади из ворот тесного проходного двора напротив. Его Ковальский почувствовал за своей спиной и обернулся.

И время-то вроде ещё светлое. И пешеходы на той стороне улицы. Но всё работало чётко. Видно, не впервые.

Тот, который появился спереди, шёл прямо на Ковальского. Это был узкоплечий ушастик.

«Где нож?» — мелькнула мысль. Ковальский искал глазами нож и не находил. Только несерьёзная на вид ракетка. «Тогда у этого, который со спины. Надо стеречь!» Он повернулся и ждал его. За спиной парня замаячила ещё фигура и Ковальский отвлёкся, соображая: это ещё один из них или просто прохожий, а значит его, Ковальского, возможный помощник?

...Ударил, мгновенно приблизившись, тот, который оказался теперь за спиной. Его Ковальский на миг упустил из поля зрения. В последний момент, почувствовав опасность, Ковальский отвернул голову влево. Удар ракеткой пришёлся по касательной выше виска, в густые волосы. Кровь потекла обильно. Он почувствовал сильную боль. Рванулся было за ударившим его. Парень не спеша, натренированно, играючи, как на баскетбольной площадке, сделал выпад влево, ещё влево, потом легко вправо к стене. Мгновение, и налётчики скрылись в тёмном дворе.

Александр дёрнулся было к проёму, но опомнился: «Зачем бежать за ними, когда, может, что-то серьёзное, сильная боль такая...».

Вся левая сторона лица и воротник рубашки в крови. Кровь текла уже и под рубашкой. При тусклом освещении ладонь левой руки, которая тоже была вся красной, казалась безобразной.

«Если серьёзное что-то с головой, привезу свою одностволку и перестреляю их, — лихорадочно, стгоряча думал он. — Уж больно обнаглели. Форс давят. Я же им ничего не сделал».

Александр прислонился к кирпичной стене спиной. Голова кружилась.

— Ты как?

Ковальский вздрогнул. Перед ним мужчина средних лет, крепкий. Коренастый такой.

— Я видел всё, шёл сзади. Хорошо сделал, что не побегал во двор за ними. Там тюкнут из-за угла гирькой или чем-нибудь ещё.

Подошли мужчина и женщина. Кто-то вызвал «скорую». Женщина всё охала да охала. Бестолково кому-то грозила.

В травмпункте выяснилось, что череп у Ковальского цел. Рассечена только кожа. Ему обработали рану и забинтовали голову от виска до подбородка.

Врач собирался звонить в милицию, Ковальский попросил его этого не делать.

— Как так? — удивился тот.

— Да так, лучше не надо.

Он подумал, что на вызов может приехать тот самый бело-брысый старшина милиции, Сашка, похожий на утёвского милиционера Антошкина. Или кто-то из таких же, и всё пойдёт по известному сценарию. Всё без толку. «Через два дня и повязка будет не нужна», — решил Ковальский.

...Городских родственников он упросил домой не сообщать о случившемся: переполошатся зря.

Дядька Сергей всё порывался походить по улицам, посмотреть «этих гадов», но его не пустили.

«Хорошо, что не во время экзаменов», — нашёл для себя утешительную сторону в случившемся Ковальский.

* * *

Через три дня после последнего экзамена обещали вывесить списки поступивших. Оставалось ждать один день.

...Его фамилии в списках не оказалось.

Вообще на букву «К» не значилось никого. «Невезучая, наверное, буква», — уныло думал Александр, отходя в сторону от доски с объявлениями.

...За сочинение он получил «хорошо». И выходило, что Ковальский должен быть принят, у него необходимая сумма баллов — тринадцать. Но оказалось, что проходная сумма равна теперь четырнадцать. Это высокий балл. На других факультетах он оказался значительно ниже и можно было попробовать туда передать документы. Но это уже не химико-технологический. Да и в той суматохе, которая царила в деканатах после экзаменов, вряд ли можно понять, что лучше предпринять. Он решил, что самое лучшее действие пока — полное бездействие.

Ковальский отправился на набережную Волги. Долго неприкаянно болтался там. Когда надоело, пошёл в общежитие. Но и там не нашёл никого из тех, с кем сдавал вместе экзамены, и уехал к дядьке.

Получалось, что Ковальский будто выпал из общего потока. Все куда-то умчались. Он же застрял в какой-то заводи на улице Венцека. А тут ещё образовался после нападения синяк под глазом.

...Его отыскивали через два дня посыльные из деканата. Александру, оказывается, предстояло собеседование.

Когда он вошёл, декан был в кабинете один. «Похож на нашего бывшего директора, ушедшего на пенсию», — отметил Ковальский и от этого ему стало спокойнее. Было любопытно. Он впервые видел живого декана. Не совсем понятно, что это такое — декан. Новые слова притягивали: абитуриент, аудитория. Они ему нравились. Декан — слово звучное.

— Ну, ты чего же четвёрок нахватал и на экзамене по литературе пижонился? — спросил декан буднично. — Мне рассказали наши.

Ковальский молчал. Не знал, как отвечать. Вернее, ответы были. Они сразу возникли у него, привыкшего к анализу. Но какой из них нужен этому седому крупному человеку? И что он хочет от него?

— Да ладно, не напрягайся. Вот скажи: спортом занимаешься? И каким?

Ковальский ответил: штанга — третий разряд, футбол, волейбол — был капитаном, настольный теннис.

— Рисуешь? — мягко перебил декан.

«Если скажу «да», замучают, как в школе, со стенными газетами, оформлением классов, скажу «нет» — вдруг это важно?» Он уже понял, что идут в некотором роде смотрины.

— Немножко, — ответил Александр уклончиво.

— Знаешь, кто нарисовал «Утро стрелецкой казни»? — неожиданно спросил декан и показал на картину, висевшую на стене.

— Суриков, — чувствуя некую неловкость, ответил Ковальский.

— А кто автор картины «Грачи прилетели»?

— Саврасов. Это же всё хрестоматийное, — сказал Александр и умолк. Ему показалось, что он ходит по лезвию ножа. Дерзить глупо. А его «хрестоматийное» может показаться дерзостью.

— Ну-ну, — добродушно сказал собеседник, — ты не обижайся.

Он оглядел Ковальского с ног до головы и многозначительно хмыкнул.

Александр посмотрел на свои ноги, без носков, обутые в летние сандалии, которые все звали «плетёнками», и поджал их под стул. Ему показалось, что декан не одобряет его обуви. «Вот ведь, не оценки могут решить судьбу, а Суриков. Или мои «плетёнки», будь они неладны».

— Понимаешь, разбавить надо, — почти доверительно проговорил декан.

— Не понимаю? — осмелился ответить Ковальский. Он действительно не сообразил: что разбавлять, чем и зачем? И при чём здесь он, Ковальский?

— Четыре группы набрали. И в каждой только по пять-шесть ребят, вот беда: девки всегда лучше учатся, потому и сдают успешно. А кто на заводах работать будет? Она — раз и вышла замуж. И родила. И сидит дома. А химия — производство непрерывное, его не остановишь. Кто работать будет? — произнёс он, глядя на Ковальского, и усмехнулся.

— Разбавлять надо, — согласился Ковальский.

— Вот! Государственную задачу решаем. — Декан засмеялся.

Улыбнулся и Ковальский.

— Но ты смотри, гадкий, кандидатом берём, сверх лимита. По результатам первой сессии решим: будешь дальше учиться или нет. Понял?

— Понял, товарищ декан, — чуть не по-военному ответил Александр. Ему показался ответ сухим и он попытался исправить его: — Понял, товарищ Иван Григорьевич.

— Иван Максимович, — поправил декан. И продолжил строго: — Раз понял, скажи: кто синяк-то тебе посадил под глаз? Не смотришься ты с ним как-то. Несерьёзно, понимаешь? А тебя принимать надо.

— Понимаю, — согласился Ковальский.

— Что понимаешь? Я спрашиваю: кто?

— Долго рассказывать, — замялся Ковальский.

— Иди, — мотнул рукой декан. — Ты мне ещё попадёшься — смотри!

Выйдя из деканата, Александр пожалел, что оказался таким неуклюжим в разговоре. «Подумает, что заискиваю перед начальником, а от меня этого не добьёшься. Тут совсем иное — он должен понять».

На главпочтамте, порывшись в карманах, дал телеграмму родителям. Она получилась, как выкрик: «Ура! Поступил!!!». Александр намеренно поставил жирные восклицательные знаки. Знал, что можно в телеграмме без них. Но это было бы совсем не то. Да и денег у него на эти знаки хватало.

«Сколько же будет снять у меня этот фонарь под глазом? — раздумывал Ковальский, выходя на улицу. — И как от него быстрее избавиться?»

Ему очень не хотелось возвращаться домой в таком виде. Из города в деревню — с синяком?..

Глава четвертая

Хрущевские реформы дотянулись и до высшего образования. Объявили, что 1 сентября первокурсники на три недели едут убирать картошку. А после картошки нефтехимики будут направлены в Тольятти и Новокуйбышевск в филиалы института. Предстояло работать на нефтехимических заводах в цехах, а вечерами учиться. И так — полтора года. И только потом они должны вернуться в Куйбышев на дневное отделение. Но не на второй курс, а на первый.

Такая подготовка специалистов называлась совмещённой. А студентов стали звать соответственно — совмещёнными. Ковальский оказался среди первых таких студентов.

Реформы, получалось, съедали у закончивших одиннадцать классов в шестьдесят втором целых полтора года!

Лишний год Ковальский проучился в средней школе с производственным обучением. В результате получил удостоверение тракториста-машиниста широкого профиля третьего разряда. И три небольших шрама над верхней губой после аварии в степи при учебной езде на тракторе. Но то — мелочи жизни...

Вторая часть реформы — совмещение обучения с работой на нефтехимическом заводе — была значительней. И должна дать многое. Но закончится ли с этим для Ковальского его личное «совмещение»? И завершится ли оно для него в институте? Сколько усилий потребуется, чтобы «совместить» в себе деревенское с городским, неопытность со зрелостью, личное с общественным, веру с безверием? Долго ли пронесёт в себе тягу

к технике, безоговорочную уверенность во всеисилии технического прогресса как всеобщей панацеи?

Всему свой черёд.

Немало предстояло Ковальскому преодолеть не в один год. И не в пять лет. И не без потерь. Хватит ли жизни на остальное? И по плечу ли?

* * *

...Картошка всех сдружила. В далёком татарском селе первокурсники проходили суровую школу чиновничьего равнодушия и безалаберности. Спали на соломе. На необозримых полях не было ни одного нужника. Их заменяли небольшие овражки в конце почти стометровых рядов картофеля.

Ковальскому эти неудобства были знакомы. Вспоминалась посадка яблоневого сада под Нефтегорском. Но там было всё более-менее по-людски. Кругом свои: учителя, работники питомника.

Здесь — совсем иное. Даже земля другая: чернозём, который при морозящем дожде становился вязким, обувка мокрой и тяжёлой... А местное начальство недосыгаемо при любой погоде. Казалось, всё, что касается уборки урожая — дело только приезжих и никого другого...

...А там, где закладывали сад, почва была тёмно-коричневая, песчаная. Податливая и привычная. Да и сажали в бодрые, солнечные дни, рождавшие в душе радость и волнение не на один день...

* * *

Жили совмещённые, вернувшись с картошки, в рабочих общежитиях на красивой и праздничной от обилия молодёжи улице имени Юрия Гагарина. Гуртаев, Ковальский и Иннокентий Рамазанов оказались в одной комнате. Инок — так в группе звали Рамазанова — редко бывал в общежитии. Он оказался женатым и ездил в Куйбышев к своей Ольге, которую никто из группы пока не видел. Гуртаев и Ковальский быстро сдружились, несмотря на разницу в возрасте. Староста группы Гуртаев уже успел и на производстве потрудиться, и в армии отслужить. Это не мешало им быть на равных.

Была ещё одна особенность у комнаты, в которой поселились совмещённые: четвёртым жильцом был весёлый душапарень Михаил Оборин — уже бывалый оператор, родом из села Мало-Мальшевка. Той самой, в которую Шурка с дедом всегда заезжали, когда бывали на сенокосе в тех краях. Оборин знал и лесника Репкова. Рассказывал о нём смешные истории. Общение с земляком, даже самое обычное, согревало душу.

Оборин успел закончить техническое училище, поработать в городе Грозном на химическом заводе. Теперь его пригласили как опытного специалиста в цех получения полиэтилена. Он участвовал в пуске сушильного отделения.

Сразу после знакомства у Оборина возникло неодолимое желание побороть Ковальского. Они сходились несколько раз подряд, но Оборин терпел поражения. И каждый раз деловито, без обиды, пытался понять, почему проиграл. Эта его дошность притягивала. Он громогласно объявил в комнате, что берёт социалистическое обязательство через полгода Ковальского положить на лопатки.

Ковальский пообещал, что будет за него переживать, но не более. Гуртаев взял исполнение обещанного на контроль.

* * *

Куйбышевский завод синтетического спирта, куда прибыла на стажировку группа Ковальского, в Поволжье первенец в новой, мало кому до того ведомой здесь отрасли отечественной промышленности — нефтехимической. Здесь впервые осваивались такие процессы, как органический синтез, полимеризация, гидратация.

Предприятие стало школой подготовки кадров не только для Поволжья, но и всей страны. Здесь совмещённым предстояло освоить профессию аппаратчика нефтехимического производства.

Ковальский попал в цех производства полиэтилена. В тот самый, где был около года назад на экскурсии с группой утёвских школьников.

Цех только что пустили, ещё работали в нём немцы, проводившие шеф-монтаж. Что-то не ладилось. Много было непри-

вычных слов: гранулят, нитка полимеризации, центрифуги, аппараты Наута — и всякого другого.

Он будто оказался посреди муравейника. У каждого здесь — своя роль, свои обязанности. Он же в первые дни был никому не нужен.

Его определили в смену «Б», самую, как он услышал в курилке, крепкую. Александр сидел в операторной и читал инструкции. «Нитку обработки», так называлось его рабочее место, пока ещё не запустили. Таких «ниток» в цехе всего шесть. По одной «нитке» на каждый реактор. Вначале из газа этилена получали раствор полиэтилена и на «нитке» в центрифугах отжимали из него жидкую фазу, получая порошок. Обработка — процесс полуавтоматический. Вокруг световые указатели, блокировки, сигнализация. Рабочий щит — как живой. На нём всё время что-то происходит. «Загрузка», «фильтрация», «подвод ножа», «выгрузка» — эти надписи чередовались: то гасли, то зажигались. Техника — самая передовая. Технология немецкая, оборудование немецкое. Когда Ковальский спросил: «Почему всё немецкое?» — ему снисходительно пояснили: «Так у нас, русских, нет своего — ни того, ни другого».

...Он быстро изучил инструкции и был готов к экзамену, недоумевая, почему заместитель начальника цеха тянет. Наконец и этот рубеж Александр преодолел. Через два месяца с момента появления в цехе ему присвоили третий разряд аппаратчика узла обработки полиэтилена.

Помогало вживаться во все подробности цеховой жизни и то, что в его смене работал Михаил Оборин, охотно дававший необходимые пояснения.

...Открытия преследовали Ковальского на каждом шагу. И не только в технологии. Он совсем случайно в курилке узнал, что у аппаратчика, весельчака Виктора Брусничкина, капитана цеховой сборной по волейболу, отца, попавшего во время войны в плен, сослали в лагеря и он там умер.

— А что же он такой весёлый? — произвольно обронил Ковальский, узнав об этом.

— Чудак ты человек, — ответил ему расторопный Косолапов, которого все звали Медведем и у которого стажировался Ковальский. — Вот если б у тебя такое, ты что, сидел бы всегда как на похоронах? Жизнь-то идёт!

— Да, идёт, — глуховато согласился Ковальский. А про себя подумал: «Мой отец, поляк, может, давно бы уже приехал, да, наверное, не решается...».

Многое теснилось в голове: рассказы об отце, встречи в Утёвке с Кочетком, работавшим с ним в мастерской, советы бывшего директора школы Кузьмы Емельяновича Данилова попробовать найти следы Макридиных.

«Что же делать?» Поразмыслив, решил заняться вначале поиском своей одноклассницы Верочки Рогожинской, перебравшейся так неожиданно вместе с родителями из Утёвки в город. «А потом по ходу дела посмотрим».

...Вернувшись после уборки картошки в город, Ковальский почувствовал заметную перемену. Там Александр выделялся. Это он чувствовал и сам; был и сноровистее, и выносливее многих. Сказывался деревенский навык выполнения изнурительной работы. Он и среди деревенских-то выделялся умелостью — дедова и отцова выучка.

...Те, кого было не видно, не заметно в трудах на поле, кто не торопился или не успевал там, в городе, стали бойчее и увереннее. Убедительнее. И к Ковальскому стали относиться заметно прохладнее. Словно, не сговариваясь, не прощали его превосходства на грязной, вязкой земле с растоптанной ботвой, мокрыми осклизлыми клубнями. Не прощали умения быстро и расторопно уладить самое непростое дело. Будто молча говорили: «Твоё место там, на картошке, почему ты здесь?». Словно брали реванш за своё унижение на колхозной земле. «Отчего это так? — думал он. — Ведь я же начитан, кое-что умею, знаю. И потом, у меня ни к кому нет претензий. У каждого есть право быть самим собой». Но, оказывается, это право ему никто не гарантировал. Это он почувствовал скоро.

* * *

Первая группа вывалилась после вечерних лекций на улицу. Большая часть направилась в общежитие. Человек десять со старостой пошли на площадь к фонтану напротив ресторана «Дружба».

Шли, болтали. Кто о чём. Ковальский молчал. Но, когда Еськов — самарский разбитной парень, заявил, что поймал в

воскресенье на рыбалке голавля в метр длиной, Ковальский со знанием дела высказал сомнение.

— Голавли такие очень редки. Это не голавль, очевидно, был... — сказал и сказал, совсем не желая обидеть говорившего. Разговор-то пустяковый совсем.

— Да ладно! Ты там, в своей Клоповке, в щели запечной сидел, ничего не видел. А туда же... Хвалишь свою деревню, как кулик болото. Мы уже наслушались. И видели на картошке, какая она, деревня ваша.

Не ожидавший такого откровенного наезда, Ковальский в упор взглянул на говорившего. Маленькие карие глазки на упитанном загорелом лице бегали жуликовато. «Да он же наглец, ещё тот наглец», — подумал Александр и поправил с расстановкой:

— В Утёвке, в селе Утёвка...

— В Утёвке, Клоповке — всё одно. «Лапти да лапти, да лапти мои», — вдруг по-скоморошечьи пропел Эдик, выбежав вперёд всех и картинно подбоченясь. Потом задёргал плечами и добавил: — «Валенки ды валенки, ды не подшиты стареньки, ды!». Всё собрал в кучу.

Ковальский понял: это проба. Но такая явная, безоглядная, самоуверенная... Это же тот Эдик из детства его, притеснитель и хам. Как две капли... Даже не верилось, что так можно при девчатах. Примитивно. Слюнявить было нельзя. Он резко метнулся вперёд.

В следующий момент, этого никто не ожидал, его крепкий кулак ловко приложился под глаз смутлого Эдика. Рука сработала, как поршень. Еськов оказался под молоденькой липой, смешно задрал выше головы левую ногу в тёмно-коричневом ботинке.

— Ты что? — староста Гуртаев схватил Ковальского за кисть и попытался заломить руку. Но не тут-то было — Александр, готовый ко всему, вывернулся.

Вскочивший Еськов, с налитыми злобой глазами, как резвый, готовый на всё бульдог, втянув шею, бросился в атаку. Гуртаев сумел схватить его поперёк туловища обеими руками за пояс. Расставив хватом ноги, весь напрягся, еле удерживая.

— Вы, что, чумовые? — взвизгнула Влада Чарушина и загородила Ковальского. Остальные, отступив, сбились в кучку.

— Да я ж его, салагу, я его... — Еськов хотел было заматериться, но не решился.

Пока сдерживался, потерял запал. Староста успел перехватить его ещё крепче.

— Давай-давай, сначала сопли убери красные, служивый, потом драться будешь, — с расстановкой проговорил Ковальский, отстраняя рукой Владу.

Он видел, как обидно Еськову: отслуживший в армии не может поставить на место не служившего! «Мы таких уже видели», — подумал, но не сказал Ковальский. Он вспомнил борьбу молодого, квартировавшего у соседки Любаевых Мани Сисямкиной городского парня из Нефтегорска Разлацкого и дядьки Серёги, в Ваньковом переулке. Тогда Разлацкий, а с ним и город, победили. Но не теперь... Вспомнил и про ракетки на улице Венцека.

Влада всё-таки оттеснила подальше Ковальского, Гуртаев отвёл в сторону Еськова. Двумя группочками они ушли с площади.

* * *

— Ты, что, так всегда поступаешь? — спросила Влада. И, не дождавшись ответа, обронила, как будто себе под ноги. — Ну, прям, дикарь какой-то!

— Нет, не всегда. Когда надо, — спокойно отвечал Александр, осторожно трогая губами кулак. — Долго будет свои «лапти» помнить.

Он понял, что и перед этой горожаночкой Владой надо держать оборону. Дело чести, как перед Эдиком.

— Скажи, когда ты последний раз дрался? — не унималась Влада.

Ковальский помолчал. Проговорил нехотя:

— Этим летом досталось.

— Представляю. Сам поди напросился.

Александр молчал.

— Ты в городе не веди себя так, могут поломать крепко. Я — запанская. Есть такой в Куйбышеве хулиганский район. Видела кое-что.

— И я видел, — ответил Александр.

— Вообще, брось эти привычки деревенские. Иначе уроки тебе будут обеспечены. Этот Эдик из шпаны, видно, — не унилась Влада.

— Кое-какие уроки мне уже преподали, — сказал незлобно Александр, имея на уме схватку Разлацкого с Сергеем в пыльном переулке. — Но я село в обиду не дам.

— Что ты говоришь? — удивлённо воскликнула Влада.

— Народ сельский не дам оскорблять!

— Прям, какой-то Робин Гуд. Ты наивный такой, ей-богу... Тебе либо кости переломают, либо турнут такого из института... — Она сделала паузу, потом добавила: — Подумай, ты же от своей слабости дерёшься.

— Как? — не понял Ковальский.

— Ну, кулаками верх хочешь взять, а есть ведь голова. Можно сказать хлеще, чем ударить. Это у тебя есть? А ты враз как бы признаёшь себя проигравшим — и за это мстишь кулаками. Словами победить слабо?

Ковальского это покорило.

— Таких словами победить можно? Он же прохвост. Видно. — Помолчал и продолжил: — Сравнила тоже. Робин Гуд — головорез. Отрубал головы противников и сажал на кол. Жил в конце тринадцатого века, партизанил против Эдуарда Второго в шервурдском лесу. Масштабы! Король, наверное, тип был ещё тот. Все Эдуарды, которых я знал, — бандиты. Этот Эдуард Второй, наверное, не исключение.

Влада даже остановилась.

— Боже, гремучая смесь какая-то! Дикость. И в то же время — основательность особая. Ты Бог знает кем можешь стать. У тебя неуправляемый, оказывается, характер. Где ты рос?

— Как, разве не слышала, где, вон тот, с разбитой физией, уже объявил: я — из Клоповки.

— Перестань! Нельзя же сразу и меня в лицо кулаком. Или у вас все такие? На картошке были: грязь, неразбериха, всего вдоволь, но драк же не случалось!

— А вот если тебя обозвали какой-нибудь калчужкой?

— А что это такое?

— Не знаю, мама моя так называет чересчур несуразных.

Она оглядела его с ног до головы бесцеремонно, даже насмешливо.

- От тебя шип идёт.
— Что за шип такой?

Влада пояснила:

— Это когда шкворень горячий в воду опускают. Он шипит. Вот и ты здесь стал таким. А на картошке был уравновешенный. Ловкий и отзывчивый. В тебя же там чуть не все наши девчонки влюбились. В грязи, в суматохе выигрываешь, а где всё вроде бы нормально — тебя корёжит. Я не первая заметила. Асфальт под ногами ровный, а тебе на нём непривычно. Спотыкаешься.

Ковальский шёл рядом молча. Влада говорила то, о чём он сам часто размышлял. В душе Александр во многом соглашался с этой миниатюрной, открытой и бойкой горожаночкой. Понимал, что предстояло в институте не только «грызть гранит науки», но и осваивать новый материк — город, быт его. Слишком лихо десантировался он в новую, другую жизнь. Даже вот она, Влада, поучает его. Чувствует своё превосходство.

— Мы пришли.

Он и не заметил, как оказались у женского общежития.

— Пока! Не унывай. Ты у нас в группе родинка на самом видном месте. Заметная. — Влада ничуть не смутилась, сказав это, и, махнув рукой, пошла к подъезду.

«Какая родинка и где?» — смешался Ковальский.

На тёплом асфальте лежали жёлтые листья. Он шёл по тротуару и невесело подводил итог начала своей городской жизни. Поразмыслив, подумал, что, может, она и права, эта запанская девчонка. Ведь Разлацкий, нефтегорский буровик, оказавшись один среди утёвских, не дрался, а его принимали за своего. Не трогали. Он не дрался — боролся. Похожая ситуация. Только тот — горожанин — был в деревне. А он — сельский — попал в город.

«Ладно, буду драться только тогда, когда с кулаками сами полезут, — дал себе слово Александр. — Попробуем другое оружие...

А новый материк, городскую жизнь, надо осваивать. Куда деваться? Да и не только городскую. Просто жизнь — необъятный материк, в нём неделима жизнь — деревенская и городская...»

На другой день, когда пришёл на лекции, выяснилось, что его за драку осуждают не все.

— Здорово ты ему врезал, не ожидал. Я это оценил, — признался Гуртаев.

— Я и тебе хотел врезать, когда ты на меня попёр, — сознался Ковальский.

Староста как-то чудно икнул и разразился смехом. Тихо он смеяться не умел. В аудиторию они вошли, весело улыбаясь.

* * *

...Ковальский, к своему удивлению, оказывается, не знал элементарного: в первый раз в столовой не сразу сообразил, что «гарнир» — всего-навсего каша, картошка, рис, только поданные с чем-нибудь основательным, вроде котлеты, колбасы...

У них в селе, дома, такое слово не было в ходу. А в книгах не попадалось.

...Белые простыни: одна на матрасе, а другая к байковому одеялу вместо какого-то пододеяльника, которого он никогда не видел — приводили в тихое восхищение. Ему нравилось по утрам застилать кровать, оставляя сверху прямоугольнички одеяла, обрамлённые аккуратно свёрнутой вдвое простынёю. У них в доме простыней не было. «В пионерлагере, наверное, были, — рассуждал Александр. Но он никогда там не отдыхал. — Кто же, если уедешь в лагерь, дома дела делать будет? Даже чудно!»

Впитывал всё новое, как губка. Порой было так обидно не знать простых вещей. Хотя и понимал, что это естественно в его положении, но часто чувствовал себя униженным. Как объяснить это горожаночке Владе и другим? Да и надо ли объяснять свои проблемы? Влада совершенно не принимает той половины его натуры, без которой он не Ковальский. Куда ему девать эту половину, если она есть. Эти половины, как сиамские близнецы.

«Развивать и крепить знания, интеллект. Прав, увы, брат Петро, сказавший у самолёта, что я — десант очень зелёного пока цвета. Начиная с моего чемодана... Больше чувствую, чем знаю. Так нельзя в городе».

То, что Влада Чарушина явно к нему равнодушна, Александр узнал, ещё когда они были на уборке картошки. Она сама сказала, что обратила на него внимание во время сочинения на вступительном экзамене.

— А когда оказались в одной группе, то поняла, что пропала.

Её прямота была для него необычна. Ковальский не знал,

что с этим делать. Влада слишком торопилась занять на него какие-то права, на глазах у всех. Это настораживало. А она только смеялась и продолжала вести себя так, что он порой её сторонился. Слишком Чарушина была инициативна и не скрывала ни перед кем своих намерений. Права оказалась бойкая землячка Аксюта: Ковальский был приметный парень.

И влюбчивый.

...Когда он наконец-то добрался до своего общежития, то не пошёл к подъезду, а свернул в скверик напротив, где располагалась школа и за изгородью пошумливали ребятишки. Ему ещё надо было кое-что додумать.

В памяти встали наставления Владимира Пудовкина, которые тот давал ему на Ледянке, убеждая в необходимости учиться дальше. И он усмехнулся про себя: «Вот он — я, частичка будущей интеллектуальной силы России, а многое вижу впервые. В свои-то восемнадцать лет... Ничего себе разгон?!»

* * *

Как всё-таки быстрее узнать городскую жизнь?

Ковальский уже успел записаться в областную библиотеку.

В библиотеке настоящую жизнь не узнаешь. Это Александр понимал. Но там натёкался на такие вещи, которые раздвигали слежавшуюся пластами обыденность.

Накануне, в прошлую субботу, в руки попала книга, ошеломившая его. Широта охвата того, чем сейчас была заполнена его жизнь, явилась неожиданной. Александр отложил книгу. Вышел в город и купил большую общую тетрадь в клетку, решив, что будет заносить туда всё то, что касается будущей профессии.

— Ты сразу в министры, что ли, хочешь, сдай сначала на четвёртый разряд. Торопишься малость, — шутили соседи по комнате.

Это не смущало. Наоборот. Он нашёл источник, который питал его, двигал вперёд.

В тот день, когда он купил общую тетрадь в клетку, в ней появилась первая запись: «Настоящей книгой авторы пытаются восполнить тот пробел по вопросам химии и технологии получения полимеров, который имеется в ряде пособий для учителя». Так сформулировали свой замысел доктор химических

наук, профессор В. Е. Гуль и доктор экономических наук, профессор Н. П. Федоренко в книге «Полимеры».

Первая глава этой бесценной сейчас для Ковальского книги открывалась словами Никиты Сергеевича Хрущёва: «Наш народ гордится успехами в развитии отечественной химической промышленности, которая по существу была заново создана за годы Советской власти. По производству химической продукции Советский Союз занимает первое место в Европе и второе — в мире, а в 1965 году по выпуску важнейших химических продуктов СССР вплотную подойдёт к уровню производства их в США».

Шла осень 1962 года. Цех по производству полиэтилена пущен 14 сентября 1962 года. Всё начиналось на глазах Ковальского.

Александр встал со скамеечки и направился в общежитие.

...В следующий раз он записал в своей тетради: «За семилетие должно быть построено в стране заново или закончено строительство более 140 крупнейших химических предприятий и свыше 130 предприятий должно быть реконструировано... Около половины всех ассигнований на развитие химической промышленности будет направлено на строительство предприятий по производству пластических масс, искусственных и синтетических волокон, синтетического каучука и спирта».

Был упомянут синтетический спирт, и Ковальский понимал, что речь идёт и о заводе, где он работает. Ведь таких заводов в СССР всего три: в Новокуйбышевске, Уфе и Грозном. Он это уже знал от начальника цеха Валентина Сафроновича Самарина.

«Потом покажу школьной «химичке» Валентине Сергеевне. Ей на уроках тоже понадобится», — думал он, делая эти записи.

* * *

В одиночестве Ковальский проявлял удивительную работоспособность. Но стоило ему попасть на глаза Влады, он менялся. Она крепко его размагничивала.

— Ты слишком закомплексован, весь в себе... так сосредоточен, порой желваки ходят ходуном — выдают тебя. Проблемы?.. Ты — то веселый и открытый, то угрюмый, страх какой.

Как с перебитым крылом ходишь. У тебя была неудачная любовь?

При этих её словах он усмехнулся. Уже в который раз подумал: «Разве стану рассказывать, что я с одного материка шагнул на другой. И там, на сельском материке, столько осталось дорогого и неизбежного, что порой бывает неумолимо от одной мысли о неповторимости этого. А может, надо было поступать на нефтяной факультет? Тогда работал бы на земле, а не на этом гладком асфальте, где и люди другие, и я непонятно какой... На земле надо трудиться, вот где моё. Интеллигентом, но на земле...».

Мысль о том, что надо поменять факультет и уйти в нефтяники, чтобы вернуться на землю, ещё несколько дней занимала его. Но потом сошла на нет. Как-то забылась. Много было событий разных, захватывавших новизной, а Ковальский всё же был азартен. И любил конкретное дело! И результат своего дела любил видеть. Это заметили уже и в цехе, где он работал.

Глава пятая

Просматривая месяца через два после начала учёбы расписание занятий в коридоре второго этажа, Ковальский увидел знакомую фамилию. Это было так неожиданно, что он вначале не поверил. Изумлённо прочёл несколько раз и фамилию, и номер аудитории, где Рогожинская А.С. читала будущим механикам начертательную геометрию.

...Рогожинская А.С. оказалась полноватой седой женщиной, улыбающейся и приветливой. Не верилось, что она читает механикам скучнейшую «начерталку».

Александр подошёл к ней сразу после лекции.

— Анастасия Сергеевна, извините, мне по личному вопросу можно? — волнуясь, произнёс Александр.

Она вскинула голову и он увидел... Верочкины глаза: большие, голубые. Только на другом лице, взрослом. Но очень похожем. Эти глаза смотрели приветливой и открытой, чем у Верочки. «Неужели это её мать?»

Александр сейчас должен был задать вопрос, ответ на который для него так много значил. Она смотрела на него знакомым, запавшим в душу с детства взглядом.

— По какому — личному? Передача зачёта? Я вас что-то не помню.

— Нет, — проговорил с расстановкой Ковальский, — я по другому делу.

— Ну, говорите же, я слушаю, — сказала она безо всякого нажима: хотите, мол, говорите, хотите — нет. Но раз уж...

— Вы знали Верочку Рогожинскую? — решил Александр. Тень пробежала по её лицу. Это он заметил.

— Она моя племянница, дочка моего брата.

— Да? — выдохнул Александр.

Он уже понял, что эта женщина напрямую связана с Верочкой. Но всё так неожиданно. И ошеломляюще просто. Ещё одна-две фразы — и всё! Встреча с Верочкой вполне реальна! С Верочкой, о которой так много думал! Которую так ждал! Более того, это он мог сказать себе вполне определённо: предстояла встреча, для которой Александр берёт себя.

— Мне надо бы знать, где она.

— А вы кто?

— Ковальский, — ответил Александр и пояснил: — Вера с родителями жила когда-то в Утёвке, потом уехала. А мы с ней... — он запнулся. — Мы... я учился в одном классе... с ней.

— Я знаю, Верочка вспоминала о вас. Вашу фамилию я помню. И то, как говорила про вас, помню. — Она печально улыбнулась.

— Да?! — невольно вырвалось у Александра.

— Давайте перейдем в пустую аудиторию, здесь шумно, — предложила Анастасия Сергеевна.

— Да, — с готовностью согласился Ковальский.

...Из аудитории он вышел, пошатываясь.

В каком-то вязком тумане светилось в его сознании лицо Верочкиной тётки. И пока спускался по лестнице, слышался издали откуда-то её голос, говоривший одно и то же несколько раз. До боли в голове: утонула... утонула... Всё, услышанное только что, давило, теснилось в голове: «...Влюбилась в него, в Олежку, а он байдарочник, увлёк этим и её. Вера десять классов кончила, не одиннадцать, как вы вот. После первого курса пединститута и выскочила замуж. Олег на электротехническом учился у нас... Она ведь и плавать не умела. Такая домашняя вся... Его отец генералом был. Замес-

титель командующего ПриВО. Перевели в Ленинград. И Вера с ним — туда».

«...Она влюбилась в него... влюбилась в него...» — отдавал ему этими словами в затылок каждый шаг по лестнице. У Александра кружилась голова.

Когда спустился на первый этаж и шёл мимо вахтёра, старенькая Клара Петровна внимательно посмотрела на него и молча покачала головой. Ковальский её не видел. Он никого не видел.

«...Привезли Верочку в цинковом гробу... Я как чувствовала: отговаривала не ходить в этот странный поход, но меня не слушали. Река Белая — тихая, спокойная река, все мне говорили. Вот и тихая. Вода она и есть вода... И речка-то для нас всех оказалась чёрной».

Как оказался на улице, Ковальский не помнил. Лицо всё в слезах. Не знал, что делать, куда идти. Люди серыми картонными силуэтами передвигались вокруг туда-сюда. «Куда они все?» Ноги сами привели его на пустырь за заводским общежитием, где было нечто, похожее на стадион.

Александр присел на скамейку. Всё футбольное поле было перед ним. А он видел сейчас только серое ноябрьское небо. И Верочка в нём ясно виделась ему улыбающейся и безмолвной. Звук голоса не доходил до него. Или его не было — её голоса. А только беззвучно открывающийся странный большой рот..

Ковальский тяжело переносил потери. И знал это. Порой обычное расставание, «пока-пока, до свидания», у автобуса выводило из равновесия. Он сторонился провожаний.

Потери рвали его изнутри на части.

В нём странным образом соединялись стремление держать дистанцию в отношениях с окружающими и эта черта — прикипать накрепко к тем, кто около.

...Резко заболели виски и он почувствовал, что правый глаз не так видит, как обычно. Александр подумал, что виной тому слёзы и промокнул платком. Нет, лучше не стало...

Ковальский никому не сказал о своей трагедии. И кому что скажешь? Не было у него такого человека.

Прошло всего несколько дней, как он узнал о смерти Верочки. За это время Александр резко изменился. Повзрослел и окончательно простился с детством, в котором так много было Верочки.

Чуть позже выяснил у Анастасии Сергеевны, где похоронена Верочка. Оказалось, недалеко от посёлка Кряж, мимо которого часто ездил. Александр решил побывать на кладбище. Взял отгул. На улице у старушки купил букет астр и направился к автобусу. Но передумал. Отошёл в сторону. Сел на скамейку. Почувствовал, что не может ехать. Не хватит сил взглянуть на могилу. В нём всё протестовало против смерти Верочки. Всё его существо сопротивлялось тому, что Верочки нет. Слишком долго ждал встречи с ней. Это ожидание было в нём постоянно. Оно таилось, жило в нём, и Александр всегда это сознавал. И не принимал такой встречи, какой она получалась теперь.

«Лучше б она уехала куда-то насовсем или что-то другое, но только не это. И почему так рано выскочила замуж?.. Она же была небожкой и неторопливой?..»

Букет астр он отдал вахтёрше в общежитии, поставившей его в двухлитровую стеклянную банку с водой на своём столе, около постоянно звонившего телефона.

И пожалел, что так поступил. Каждый раз, проходя мимо вахты, Александр невольно вздрагивал. Но астры быстро завяли. И их не стало... Как и Верочки...

«Живая жизнь обречена на смерть, так просто всё? — думал Ковальский, ещё не веря в то, что отчётливо понял и принял — вот хотя бы цветы эти... — Но как тогда жить: сознание неизбежной смерти не даёт полноценно жить. Как люди соединили в себе несоединимое, несовместимое в своём сознании? Или угроза смерти торопит? Нет, кажется, что нет... Но что же движет всем, коль смерть впереди неминуема?..»

Жизнь и смерть не совмещались в представлении Ковальского в единое, в один поток. Это соединение было для него непостижимо. Как будто и не знал, не ведал этого ранее. И сейчас будто не видел и не знал, что смерть всегда рядом. Рядом с жизнью.

Но это была смерть Верочки. И жизнь была — его.

Александр ещё не начал приходить в себя, а тут новые события. Может, к лучшему? Они уводили от горьких мыслей, возвращали к реальности.

В деканате о случившемся между Ковальским и Эдуардом Еськовым всё-таки узнали. Кто-то постарался.

Ковальского вызвал декан Иван Максимович Калашников. Уже одно то, что его выдёргивали для объяснений из другого города, ничего хорошего не предвещало.

Ковальский рассказал декану по его просьбе, как было, стараясь быть немногословным.

Декан слушал и похмыкивал. Его колючий и цепкий взгляд глубоко посаженных под густыми седыми бровями глаз не позволял расслабляться. Ковальский ёжился. Вылетать из института из-за одной, даже не драки, а так себе, «стычки» — нашёл в разговоре спасительное для себя название случившегося Ковальский — было глупо.

— Не институт же благородных девиц? — сформулировал он вслух отношение к своему поступку и замолчал, размышляя про себя: «Кажется, незаносчиво, но и не раболепно. По-другому нельзя».

Калашников посапывал и тоже молчал. Потом несколько раз, словно механическая игрушка, посмотрел то на Александра, то в окно на голые деревья, на ворон, сбившихся в стаю, как студенты. Заговорил тихо, с явной издёвкой, что не шло ему. Это бросилось в глаза сразу.

— Ну, серьёзный ты парень! Главное — идейный и конкретный. Стиранием граней между городом и деревней можно назвать твои боевые действия. Вполне в духе времени! Р-раз — и кулачищем в морду. Вполне интеллигентно. Не первый раз дерёшься. При поступлении уже приходил с синяками.

— А что оставалось делать? Меня припёрли к стенке, — скорее удивился, чем спросил Ковальский. И совсем было пал духом, увидев, как дёрнулась левая щека Ивана Максимовича.

— Припрёшь тебя, — декан запнулся на миг, подыскивая нужное слово, не нашёл, и махнул рукой: — такого! — Потом, кажется, отыскал: — Хулиган ты, хулиган! А я тебе давал испытательный срок, гадкий. — Он развёл руками: — Как поступать с тобой?

— Но ведь это не относится к учёбе, — упавшим голосом произнёс Александр, боясь, что любое возражение может обрушить хрупкое равновесие. Оно, кажется, ещё сохранялось.

Калашников глядел в окно и качал головой.

— Ты сейчас, Ковальский, как зубчатое колесо в огромной коробке передач. Но у твоего колеса зубцы того... Они пока не совмещаются без скрежета. И замедляется движение, твоё — в первую очередь.

— Как же быть? — произнёс Александр.

— Вот и я говорю: что с тобой делать? Думай и сам! Но бить в лоб — не самое лучшее.

«Они что, с Владой сговорились?» — уныло думал Ковальский.

— В общем-то, — декан непонятно улыбнулся, — ты — совмещённый. Вот и совмещай своё и общее. Тебе чуток потруднее, чем некоторым. Но куда деваться? Припёрло к стенке, как ты говоришь.

Ковальский молчал.

Потом в затянувшейся паузе снова глухо зазвучал его голос. Говорил, будто сам с собой:

— Я иногда чувствую себя рыбой в аквариуме: смотрю на окружающее из него, словно на мерцающий экран телевизора, и досадно становится: жизнь рвётся, кажется, во все стороны, а я застреваю со своими допотопными шестерёнками в этой тесной коробке передач. А всё несётся куда-то.

— У тебя не допотопные шестерёнки. У тебя они свои, собственные, — не спеша произнёс Калашников. Зоркий взгляд его ободрил Александра. — У каждого — свои.

— Как же мне со своими, такими, жить? — не удержался Ковальский.

— Грызи гранит науки. Кулаки побереги. Впереди сессия. Завалишь — шестерёнки твои полетят вдребезги из института. Понял?

Ответа не последовало.

— Что ещё? — сам себя спросил Иван Максимович и ответил: — Как только закончишь учёбу на заводе и переедешь в Куйбышев, приходи на кафедру ко мне. Будешь работать в моей лаборатории. Тебе наукой надо заниматься. Грузить тебя надо делом. Мозги чище будут! Понял?

— Понял, — вяло отозвался Александр.

— Ну, а раз понял — это уже полдела.

...Из деканата Ковальский вышел, криво усмехаясь. «Пронесло, — думал холодно, как не о себе. — Мы шестерёнками должны быть все. Одинаковыми. Тогда — порядок».

* * *

А через неделю после разговора с деканом к ним в общежитие в Новокуйбышевске явился плотный лысеющий крепьш, их «классная дама» — преподаватель Перепитуев Андрей Андреевич. Перепитуев ходил по комнатам, разговаривал с ребятами, с заведующей, с вахтёром. Многозначительно хмыкал и ёжился. Похоже, дали какое-то поручение, а оно ему не очень приятно.

«Неужели его Калашников прислал? Не может быть», — размышлял Ковальский.

Оживился гость, когда увидел двухпудовую гирию в комнате. Умело и спокойно вытолкнул на вытянутую руку двухпудовку над головой пять раз кряду и, довольный, уселся на стул, цепко поглядывая на всех сразу.

— Сащ, — усмехнулся Гуртаев, — покажи, что можем. — И вельможню повёл рукой.

Ковальский уже привык, что на старосту иногда находило. Любил он кураж. То серьёзный очень, а то — словно другой человек.

— Да... — вяло возразил Ковальский. Ему не понравилось предложение старосты. Сидит: то ли разведчик, то ли доносчик? Показывай ему.

— Попробуйте, — согласился вежливо крепьш, с интересом глядя на невысокого подтянутого Александра.

Ковальский выбросил для ровного счёта гирию десять раз и решил, что хватит. Спокойно и аккуратно поставил снаряд под кровать. Гость восхищённо смотрел на Александра.

— Какой же у тебя вес?

— Шестьдесят девять кэгэ, — ответил Александр.

— И давно занимаешься?

— Я не занимаюсь. Гирия по наследству к нам перешла от прежних жильцов.

— Да-а, — сказал удовлетворённо Перепитуев. — Вернётесь на дневное отделение, поведу вас к Синельникову — тренеру по

тяжёлой атлетике. Он — заслуженный мастер спорта. У тебя преотличные данные. Держись за институт.

Когда «классная дама» удалился, Гуртаев произнёс:

— Шэ-пэ!

— Не понял? — произнёс Ковальский.

— «Швой парень», что надо! — пояснил староста.

Глава шестая

...В городе нефтехимиков кипела молодая жизнь. Растущие потребности огромной страны в синтетическом каучуке, сырьевая база, развитая инфраструктура, водная и железнодорожная магистрали позволяли в 1962-м, как раз в год приезда Ковальского в Новокуйбышевск, начать строительство здесь ещё и нефтехимического комбината — одного из самых больших в Европе.

А до этого, в марте 1961 года, всю заработали цехи получения фенола, ацетона и альфа-метилстирола на заводе синтетического спирта, чуть позже ставшего в ряд крупнейших в стране.

Трудно и вообразить, что там, где раскинулись корпуса огромных современных заводов, была когда-то голая степь, а красивый кинотеатр имени XX партсъезда стоит на месте бывшего колхозного полевого стана. Чётко сработал принятый 22 февраля 1952 года Президиумом Верховного Совета РСФСР Указ, гласивший: «Преобразовать рабочий посёлок Ново-Куйбышевский в город областного подчинения, присвоив ему наименование — город Новокуйбышевск».

Тогда сразу же была созвана городская партийная конференция. Первым секретарём городского комитета партии избран Сергей Константинович Корнейчик. Председателем исполкома городского Совета стал Дмитрий Кувшинов, выходец из Утёвки. Ковальский тогда ещё не слышал о своём известном земляке.

Знал Ковальский, что на заводе уже нет директора Анны Сергеевны Федотовой, так поразившей его, когда он со всем классом смотрел здесь большую химию. Поразившей и, может быть, решительно повлиявшей на окончательный выбор профессии.

В октябре того же, 1961 года, когда утёвские ребята побывали на заводе, Анна Сергеевна попрощалась с заводчанами.

Уезжала с горечью в Москву. На прощание передала в заводскую библиотеку все свои книги, накопленные за двенадцать лет (столько она провела в Новокуйбышевске). Двухкомнатную половину коттеджа, в котором жила, оставила семье молодого парня, полностью потерявшего зрение при срыве крыши у щелочной ёмкости...

...Прошло всего десять лет, как вышел Указ о преобразовании посёлка в город, а Новокуйбышевск уже заявлял о себе всю мощь. Стройки предприятий нефтехимии притягивали к себе. Молодёжь, съезжавшаяся со всех концов страны, несла свою особую энергию.

В 1961 году из ста пятидесяти всесоюзных ударных комсомольскихстроек в стране ЦК ВЛКСМ в Куйбышевской области объявил три: Куйбышевский завод синтетического каучука, куда уехала параллельная группа нефтехимиков, 2-ю очередь Куйбышевского завода синтетического спирта, где теперь осваивал рабочие профессии Ковальский, и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий.

Город переполняла молодёжь.

Кто бывал на подобных комсомольских стройках, в городах, ими рождённых, знает, что это такое.

Новокуйбышевск, как большой котёл, бурлил от огромных дел. Жил всю комсомольско-молодёжную жизнью. Была уже построена и пущена 1-я очередь завода синтетического спирта. Стройные кварталы новых домов росли зримо и торжествующе.

Улица Миронова порой становилась такой многолюдной, что было трудно пройти, не задев кого-то локтем. Обилие парней и девчат, наличие «наверху» улицы молодёжных общежитий, а «внизу» — клуба и танцплощадки в парке делало её путепроводом — большим, длинным коридором, который называли «Бродвеем», или «Бродом». Мелькали особой моды рубашки: перекрашенные в чёрный либо ярко-красный цвет китайские сорочки, высокие девичьи причёски, чаще всего под названием «бабетта». Модными были туфельки на «манке», у ребят — на высоком каблуке. Перекрашенные рубашки ничто, если не приподнят воротничок, а на голове отсутствует стрижка «канадка». Осенью ребята щеголяли в светлых фуражках, которые не так легко было приобрести. Зимой — в цигейковых пирожках, боярках. Вошли в моду шалевые воротники.

Чуть ли не эмблемой, конечно, неофициальной, города сделался забавный человек со странной фамилией Доминов. Он появлялся везде. Был вездесущ. Смуглое лицо с бородкой, большая лысеющая голова с внушительным лбом венчали худое узкоплечее тело, облачённое в перекрашенную, чаще в красный цвет, рубашку, надетую на голое тело. Брюки — не иначе, как «дудочки», в обтяжку. Надеть их можно, наверное, только на намыленные ноги. На ногах — внушительные, вернее, даже огромные, на толстой подошве, ботинки.

Голоса Ларисы Мондрус, Майи Кристалинской, Ирины Бржевской и только что объявившегося Муслима Магомаева будоражили молодые сердца.

В декабре в Новокуйбышевск приехал Махмуд Эсамбаев, названный в зарубежной прессе «Колумбом в мире танца». Он уже был известен по картинам «В мире танца» и «Я буду танцевать». Всем хотелось посмотреть на «живую легенду».

Группа Ковальского, те, кто свободен от работы, кто смог подмениться в смене, человек десять, прорвались во Дворец культуры.

Всё было прекрасно. Одно тяготило Александра. В отцовском, великоватом ему полупальто «москвич», тяжёлом, с огромным воротником и большими карманами — он чувствовал себя чудовищем. На фоне франтоватых, разного цвета пальто с цигейковыми и каракулевыми воротниками, шалевыми и обычными, его одежда годна разве для того, чтобы стоять где-нибудь в лютый мороз в валенках около сторожевой будки или ездить за соломой в поле.

Он был бесконечно благодарен отцу, который в последний приезд Александра в Утёвку отдал ему на первую городскую зиму этот, как говорил Василий Любаев, «пинжак». По понятиям отца, полупальто чуть ли не сокровище. И Александр не мог ничего сказать, кроме искреннего «спасибо, пап». Отец не видел, во что одевалась хорошо зарабатыватьвавшая на химических заводах новокуйбышевская молодёжь.

Все бы ничего, да рядом Влада, одетая нарядно и модно. Ковальский чувствовал себя пугалом.

— Ты чего такой кислый был сегодня в ДК? — спросил Гуртаев уже в общежитии.

— А ты видел моё пальто? — ответил вопросом Ковальский.

— И шапку твою видел затрапезную, ну и что?

— Да ничего. Если бы Эсамбаева одеть в моё пальто хоть на полчаса, он бы застрелился. В Куйбышев приезжает Евгений Матвеев, Влада предлагает съездить, а куда я такой?

— Послушай, сходи в ателье, тебе его обрежут, будет лучше. Маркиз — зря скис!

— Не могу, — после короткого раздумья ответил Александр.

— Почему?

— Это пальто моего отца. Он его почти не надевал. Оно у него выходное.

Белёсые брови старосты слегка поднялись. Он энергично почесал всей пятернёй свою рыжую бороду.

— Вот так? Тогда у меня есть другое решение.

— Какое ещё решение?

Гуртаев не ответил.

А через два дня потихоньку ото всех затащил Ковальского в магазин одежды. Там чуть не силой заставил примерять одежду. Они приобрели драповое тёмно-коричневое пальто с шалевым воротником и такого же цвета головной убор: модный «пирожок», смахивающий на солдатскую пилотку. Вся эта красота стоила сто пятнадцать рублей.

— Мы же все начинаем получать нормальные зарплаты аппаратчиков, — пояснил староста. — Я одолжил у работяг в цехе. Отдашь, когда сможешь.

Он стоял у зеркала и улыбался. Улыбались, глядя на них, и молоденькие симпатичные продавщицы, слышавшие разговор покупателей. Смотрели на Гуртаева, как на фокусника.

Полупальто «москвич» и шапку девочки аккуратно завернули и перевязали бечёвкой. Гуртаев всё это забрал, а Ковальского заставил облачиться в новое.

Когда вышли из магазина, довольный староста провозгласил, совсем не обращая внимания на прохожих:

— Ну, вот видишь, ты красив теперь, как Бог!

В уличной толпе враз на это откликнулись.

— Уважаемые товарищи, вы с какого Совнархоза будете? — оглядывая Ковальского, пробасил высокий элегантный мужчина. Он остановился, глядя на узконосые туфли Александра, синие брюки, красный шарф и только что купленные обновки.

«Чего ему ещё надо, шёл бы себе», — сконфузившись, подумал Ковальский.

Но Гуртаева так просто не возьмёшь.

— Естественно, со Средволгхимснаббурмашстрой-комплект-рогаикопыта, а что? — и, довольный, ядрёно рассмеялся.

— А?! — удивился элегантный и поднял вверх руку в красивой коричневой перчатке: — Я рад за вас, ребята!

— От винта! — держал свой фасон рыжебородый староста. Гуртаев мог быть не только строгим старостой...

* * *

...После сдачи на допуск к самостоятельной работе Ковальский стал получать сто рублей в месяц. Это были для него приличные деньги. Уже через три месяца вернул долг.

Так реформа в высшей школе, вменявшая первокурсникам обязательную работу на предприятии, дала возможность Ковальскому, да и всем ребятам-совмещённым, безбедно начать свою студенческую жизнь.

«Хвала таким реформам во веки веков!»

...Бережно упаковав «москвич», Ковальский в один из выходных отвёз его в Утёвку. Этому отцовскому полупальто не было цены.

...Экзамены за первый семестр Александр сдал без троек. Получалось, что выполнил условие, поставленное деканом Калашниковым.

Один Иннокентий Рамазанов получил «неуд» по начертательной геометрии. Но на другой же день у него появилась оценка «хорошо». Он, как фокусник, с удовольствием показывал зачётку, являя пример несгибаемого оптимизма и непотопляемости. Иннокентий к тому же оказался и отчаянным шутником.

Вечер. Улица Миронова. По направлению к общежитию идут Гуртаев, Ковальский и Рамазанов. На противоположной стороне улицы из переулка, метрах в пятидесяти, выходят два молоденьких милиционера. Увидев их, Иннокентий выхватывает из кармана пальто пистолет и, картинно прицелившись, делает два выстрела.

— Братва, тикаем, кто куда! — зверски выпучив глаза, бросает он своим спутникам.

Подъехавший маршрутный автобус остановился и закрыл милиционеров.

...В общежитии Иннокентий появился последним.

— Балда, заскочил в какой-то подвал, все брюки испачкал, — как будто о чём-то обычном поведал он.

— Где пистолет взял? — сурово, по-командирски, спросил староста.

— Где-где, в спортивном магазине, — ответил Инок и ехидно засмеялся. — Обычный стартовый.

— Дурак, — веско сказал Анатолий и на его щеках заиграли желваки, а лицо пошло пятнами. — Я те...

— Интересно было проверить ментов, — пояснил Рамазанов, будто не видя состояния старосты. И добавил, нахально глядя исподлобья: — И вас проверил. Шустрые вы мужики, однако. В разведку с вами ходить можно.

— Обратно дурак, — сказал Гуртаев. — А если б догнали?

— А где доказательство того, что я в них стрелял, а? — Инок смотрел своими круглыми глазами навывкате, не моргая.

— Но они же видели, милиционеры эти.

— А может, я в воздух?! Где пуля-то? Пуля-дура где? Её нет! А мало ли чего кому покажется. Вам вот показалось, вы и дёрнули с улицы. — Рамазанов сделал дурашливое лицо.

— Ну, вы, мужики, даёте, — не выдержал молчавший до сих пор Михаил Оборин. — Не думал, что студенты такие шалопутные. Как вас не загребли? — Отложив газету, приподнялся на кровати. — На танцах в индустриальном техникуме один такой всё ходил и постреливал у себя в кармане пиджака из спортивного пистолета. Примчались менты. Забрали. Долго потом выпутывался. Не знаю, чем кончилось.

— Анатолий, — обратился к старосте Ковальский, — давай ему первое и последнее строгое предупреждение вынесем, чтоб такого не вытворял. Бить будем, если подобное повторит.

— Я — «за», мужики, очень гуманное предложение поступило, — гоготнул Инок и поднял руку.

— Ты вот что, — Гуртаева трудно было сбить с толку, — вали из комнаты. Три дня чтоб глаза мои тебя не видели, понял?

Иннокентий понял. Видел: старосту не остановить. Закипело.

— Хорошо, — чересчур даже покорно согласился Рамазанов. — Пойду к девчонкам в общежитие. Причина есть опять же: начальство велело.

Когда он ушёл, Анатолий сказал нервно:

— Страна ждёт героев, а ей рожают чудаков.

И, собрав грязное белье, отправился вниз, в прачечную.

Глава седьмая

— Ты меня будешь помнить светло и всегда!

— Почему ты так думаешь?

— А ты сам должен догадаться, миленький мой!

— Скажи.

— Я у тебя первая женщина, уже этого достаточно! Я не принесу тебе ни досады, ни хлопот. Я старше на четыре года. У меня семья — всё определено. Никаких посягательств на твою судьбу. Ведь тебе нужна свобода, да?

— Не знаю, — не находил, что ответить, Ковальский.

— Нужна! Зачем тебе жениться сейчас? Надо крылышки обрести. Тогда тебе цены не будет. Всего-то годик, как из дома выпорхнул. Одна зима. — Анна посмотрела на Александра. Обхватив его голову руками, приблизила глаза к глазам. — Не женись, слышишь, лет пять!

— Почему? Так ревнуешь?

— Нет, жалко тебя. Маета сгубит. — Помолчала и призналась: — Сейчас ревную меньше.

— А когда больше?

Она весело рассмеялась.

— А когда ты был влюблён в Растошинскую. Не отказывайся — я видела.

— В Рогожинскую, — поправил он. — Верочку.

— Ну, да, я подзабыла её фамилию, полячку эту, панночку пухленькую. Ты её любил, я знаю... Меня, свою пионервожатую, ты не замечал вовсе. А я терпеливая. Ждала, когда вырастешь.

Они лежали на скошенной, подвяленной траве, дразнившей своим запахом, уставших и счастливых. Луна освещала лица. Освещала осинник чуть слева от них, ленту речки. Всю поляну.

...Стоял конец июля. В траве благоухала спелая земляника.

Запах лесной ягоды, матовый свет, идущий от тела Анны, её слова — пьянили. У него кружилась голова...

«Как я хотела — так и сделала, — лёжа дома у матери в своей маленькой комнатке, думала Анна. — Бог мне судья, если забеременею — буду рожать и это будет моим счастьем. Никто ничего не узнает. Это моя любовь и моя тайна...»

Во дворе пошумливали мать. Разговаривала то ли с курами, то ли с телёнком. Скрипел колодезный журавель.

«Наверное, хохлушка красивая пришла за водой в своей красной кофте. Водичку сейчас понесёт своему любименькому конопатенькому Петру. Счастливая такая!»

Разворачивался в своём нехитром действии новый день. Для кого-то — очередной и обычный, как все. А для неё освещенный улыбкой Ковальского. «Сашенька, Сашенька, исчезну через день потихонечку. Неправду сказала тебе. На день раньше уеду. И тебе, и мне легче будет. Уеду — как задумала», — сказала она вновь себе решительно. Ей хотелось быть решительной. Она такой и была.

Анна медленно погружалась в сон. Обволакивающая тёплая волна откуда-то пришла к ней и она вскоре заснула.

Анна лежала на спине, ровно вытянувшись под сиреневым байковым одеялом. Утренний свет легонько трогал смугловатое лицо с красиво очерченными носом и губами. Лицо само светилось изнутри и давало маленькой комнатке свой свет, спокойный и умиротворённый.

...Анна уехала в Куйбышев, а затем в Пензу, как задумала, не простившись с Ковальским.

Неделю после этого Александр жил в каком-то лихорадочно-возбуждённом состоянии. Для него всё произошло поразительно неожиданно.

...Ковальский всегда примечал Анну на танцах в клубе. Потом узнал, что та приходила в клуб, только, когда там бывал он. И никогда больше. Она редко навещалась из своей Пензы. Впервые Александр проводил её с танцев в прошлом году, в августе, после поступления в институт. Он хорошо помнил тот вечер. Теперь все встречи, все разговоры с ней вспоминались до мельчайших подробностей. Странное чувство охватило его. И тогда, в те мгновения, в которые не принадлежал себе, а растворился в ней, Анне, и теперь — не мог собрать себя по кусочкам.

Те минуты, полчаса, час на берегу Самарки разлили в нём такую всеохватывающую небывалую нежность и доверие к ней, что Александр для Анны мог, наверное, сделать теперь всё! Он как будто с тех самых первых минут, когда случилось всё, уже не распоряжался собой. Анна завладела им полностью, хотя, казалось, и не делала для этого никаких видимых попыток. Ковальский ей принадлежал теперь не только телом. Его сознание готово было соединиться с ней и быть в ней. Это было для него совсем новое состояние: не принадлежать себе и не противиться этому. «Мы ведь раньше были только знакомы. Почему *это* враз накрепко нас соединило? Так всегда бывает?»

* * *

Около года назад, в самый первый их вечер, они шли тёмной сельской улицей и Анна рассказывала о себе:

— Теперь я пензячка. Муж мой — строитель. Выскочила зачем-то. Знала заранее, что не получится у нас. Он настоял. Преподаю литературу в школе. Правда, сейчас — нет. Дочка болеет. А у мужа футбол, хоккей, вечные компании. Я долго терпела, потом стала возражать. Но его не переломишь. Потом у меня появилась новая радость — Лермонтов. Тихая радость.

— Какой Лермонтов? — не поняв сразу, переспросил Александр.

— Михаил Юрьевич, — засмеялась в полутьме Анна. — Великий поэт.

Они обогнули большое круглое озеро Приказное и углубились в еле заметный переулок. Надо было идти на её Дачную улицу, к окраине села.

— Там же, в Тарханах, его усадьба, — продолжала она.

— Разве это не в Тамбовской области?

— Нет, я в селе у родителей мужа сейчас живу с дочкой и вот заразилась донельзя. Глубоко, как я поняла, несчастный он был.

— Кто? — не успевал за Анной Александр.

— Лермонтов, — сказала она просто. — Не путай с моим мужем — он доволен. — Она засмеялась. — Лермонтов человек демонического склада. Кто знает, пережив в себе максимализм с годами и дух отрицания, возмужав, он, может, стал бы вели-

чайшим прозаиком. Мог возвыситься, как горная вершина, опередив Толстого и Достоевского. — И, помолчав, добавила: — Я думала и поняла. Лермонтов очень гордый был. Гордыня его погубила. Гордыня — большой грех. Это верующие знают. И для гениев тоже — вред.

— Поясни, — попросил Ковальский.

— Он признавался, что готов полюбить весь мир, но был не понят и научился ненавидеть. Понимаешь, в этих словах очень многое... Всех сразу легче любить. Ближних — труднее.

Ковальский поразился её мыслям и словам.

— Его жизнь и вообще жизнь в тархановском доме складывалась несчастливо. Постоянные ссоры. Кроткая Мария Михайловна — мать поэта. Вспыльчивый, но добрый отец — Юрий Петрович. И властная бабка Арсеньева. Они не могли долго жить вместе. Мать его умерла. Ей было около двадцати двух лет.

— Ты так всё помнишь? — вновь удивился он.

— Это профессиональное, — ответила Анна сдержанно.

Они прошли самое сумрачное место в переулке, где трудно было видеть друг друга отчётливо. Александр не различал её лица. Из темноты она спросила:

— Стихи почитать? Не школьные... Я помню, ты любил Лермонтова, — и, не дожидаясь ответа, начала:

*Я родину люблю
И больше многих: средь её полей
Есть место, где я горесть начал знать,
Есть место, где я буду отдыхать,
Когда мой прах, смешавшийся с землёй,
Навеки прежний вид оставит свой.*

Это он написал в шестнадцать лет. Представляешь? Он не мог быть другим. Он родился в таких условиях, которые всё предопределили... Люди любят только самих себя. Такова их природа. Его Демон признавался: «Жить для себя, скучать собой». Это говорит о многом.

Ковальский слушал, ошеломлённый, не ожидал в женщине такой глубины и ясности.

Расстались они у калитки легко и непринуждённо. Как давние знакомые.

«В ней что-то есть от Верочки, но она, конечно, другая. В

неё проваливаешься весь куда-то...» — так думал Александр, возвращаясь домой по той же тропиночке вдоль дворов, по которой не раз возвращался из школы с Верочкой. И было это так недавно...

* * *

Потом были ещё встречи с Анной...

...В этот раз они ехали в Утёвку в одном автобусе, так случилось. Когда выходила, шепнула:

— Я приду сегодня в клуб в девять часов, ладно?

Александр с готовностью кивнул головой.

Она радостно улыбнулась, осветив автобус. Ковальский невольно оглянулся на пассажиров.

...Когда после танцев подошли к её дому, было уже за полночь.

— А слабо к Самарке сходить? — сказала она, когда уже тронула рукой калитку. Надо было выбирать: либо присесть на большое высохшее на солнце бревно, лежавшее вдоль всей ограды палисадника, либо, потоптавшись неопределённо, идти домой.

— Нет, не слабо, — отозвался Александр.

Ковальский отчётливо запомнил, как он смутно в тот вечер догадывался, что должно произойти что-то неожиданное. Видел, как засветилось лицо Анны, когда она приблизилась, почувствовал её ближе и томительнее, чем в клубе на танцах. Он потянулся к ней. Она легонько отстранилась:

— Я сейчас. Только на минуточку забегу домой.

Когда Анна вышла, её светлая нейлоновая кофточка в темноте колыхнулась перед самым его лицом. У Ковальского кружилась голова. На пути к речке она всё что-то говорила. Александр слушал... Анна прижалась к его плечу и он не мог сдержаться: осторожно положил руки на её талию.

Они стояли уже на крутом берегу Самарки. Александр крепко, не сознавая того, сжал руки. Анна гибко прогнулась, расправив плечи. Ковальский не заметил, как кофточка растянулась, только почувствовал: словно волна пошла от неё к нему. Его будто облучило. Скосив взгляд вниз, задыхаясь, попытался спросить, словно зафиксировать важное для него сейчас обстоятельство:

— Ты без... — Александр не смел сказать слово «лифчик».

— Это же я для тебя сбегала домой и сняла. Знала, как будет. Потрогай меня, ну... — она подалась к нему.

У Александра стучала кровь в висках, он словно провалился куда-то. И не помнил себя от её смелости.

— Ну, миленький мой... посмотри, какие они у меня!

Подрагивающие от возбуждения руки стали смелее... Губы жадно и неодолимо припали к набухшему, вздёрнутому кверху, смелому соску.

...Мощный природный инстинкт неудержимо толкал к действию. Но Ковальский был совсем неопытен.

— Миленький ты мой, не горячись. Я никуда не денусь. Я помогу тебе...

Её слова горячили ещё сильнее. Александр не помнил себя. Говорить он не мог. Да и не знал ещё, как об этом говорить. Для *этого* у него ещё не было нужных слов.

...Льняные длинные волосы Анны разметались по траве. Грудь, когда она уже нагая лежала перед ним, резко выделялись своей белизной на загорелом теле. Ему слепило глаза!

...Потом, сморившийся, устало ткнувшись носом ей подмышку, услышал:

— Я тебя буду любить всегда... Я знаю, для мужчин это признание — скука. Им через месяц-другой постоянство надоедает. Но ты потерпи, я тебя не обременю. Я — опытная.

— Опытная? — переспросил он вяло.

— Ну, нет, я не так выразилась. Думала об этом много и, кажется, кое-что поняла. — Она повернулась к нему, оторвав лицо от бездонного неба. — Давай, Сашенька, голыми искупаемся! Ночь же! Кто нас видит, а? — Анна встала, подала ему руку, вся светящаяся изнутри, с травинками на бедре. — На ту сторону давай, а? Там мелко и песок, ты знаешь.

Она говорила весело, тоном заговорщицы. Была сейчас совсем не похожа на замужнюю женщину.

...Они потом ещё два раза спускались по крутому берегу голыми к воде. Переплывали к песчаной косе. Там Анна шептала ему горячо в ухо, словно боясь, что её кто-то услышит:

— Миленький ты мой, я так рада, что первая женщина у тебя — я. Я к тебе всегда хотела. Но ты же глупенький ещё был. Теперь вот подрос, — она шаловливо провела рукой по его мок-

рым волосам. — Я тебя мучить не буду. Тебе, миленький, повезло. Я старше тебя. Замужем. У меня всё определено. Ломать себе не буду жизнь. И тебе не буду, — повторялась Анна. — Нам так счастливее будет.

Они, как пьяные, и от быстрого течения, и от бурливших в них чувств, барахтались в воде. Анна обнимала и целовала Александра, как маленького ребёнка. Тёплая вода и лунный тёплый свет, казалось, были только для них. Да, так оно и было! Одни на реке. Ни костерка, ни постороннего человеческого шума вокруг. Только изредка доносился шум с того берега. То ли вышли сомы на ночной промысел — уж больно светла ночь, то ли круча, подмываемая водой, обрушивалась в омут. Речка подступала всё ближе и ближе к одинокой ветле, уже обречённой. Ещё одно половодье — и дерева не станет.

...Теперь, когда Анна внезапно уехала раньше, не попрощавшись, Александр всё думал: «Опытная — это какая?». Нестерпимо хотелось видеть её вновь. Хотелось дотрагиваться до неё ещё и ещё. Не так, как в первый раз, суматошно. По-другому. Как? Он не знал. Но те удивительные мгновенья, когда он принадлежал не себе, а только ей, страстно хотелось вернуть.

...Ковальский стал обдумывать свою поездку в Пензу.

Глава восьмая

Непростое это дело: набивать сетки на барабан центрифуги. Сетки две: одна несущая, другая фильтрующая. Находясь внутри барабана, через какой-то промежуток времени, обычно дней через двадцать, они забиваются полиэтиленовым порошком.

Их-то и надо менять.

Не всем доверяют, не каждый это хорошо умеет делать.

Пробравшись через люк внутрь центрифуги, вначале необходимо, выдёргивая шнуры, которыми в пазах по окружности барабана зацементированы сетки, извлечь их. Затем очистить стенки барабана и поочередно установить новые фильтрующие полотна. Предстоит расстелить сетку, проследив, чтобы края её ложились ровно по пазам с окраин барабана. Потом деревянным молотком и клином, загоняя шнур в пазы, растянуть полотно, как на пятачке.

Вся ситуация сходна с положением белки в колесе. Барабан вращается под ногами работающего, в зависимости от того, с какой скоростью набивается шнур. Аппаратчик при этом согнут под главным валом так, что лишний раз не пошевелиться. А тут ещё неудобный шланговый противогаз, без которого никак не обойтись. Нефтехимия — это не только молекулы в колбах и белые халаты на красивых мальчиках и девочках, это и тяжёлая, порой опасная работа.

...Совмещённикам непросто давалась работа по сменам. Четыре дня работы по восемь часов в дневную смену, четыре в вечернюю и четыре в ночь — таков график. Особенно тяжело переносить подряд четыре смены в ночь. После них следовал один день «отсыпной» и потом — выходной, когда уходили, как правило, на занятия. Меж этих рабочих есть день выходной — его зовут «бешеный» — день перед выходом в ночь. Перед ночной сменой неплохо бы найти часа два, чтобы поспать. Но ведь надо и на лекции, и днём успеть сделать лабораторные работы.

После ночной Ковальский обычно заходил в буфет на первом этаже общежития, съедал наскоро полстакана сметаны с пирожком. Не более, чтобы лучше спать, и часа на три проваливался в сон. Больше себе не позволял. Старался не залёживаться и в свой «отсыпной». Если удавалось вообще не заснуть в этот день, радовался: ещё один день не спячки, а жизни. Был жадный на время. Его не хватало всегда. И тратить на сон? Вынужденная роскошь...

* * *

Сложная техника и технология давались нелегко. Но было интересно постигать новое. В производстве полиэтилена, несмотря на автоматизацию процесса, много и рутинного, и небезопасного для работающих. Кто-то из остряков даже пустил крылатую горькую шутку, гулявшую по всему цеху: «Не было, не было — и вдруг опять...».

На второй «нитке» обработки полиэтилена Вячеславу Шаламову в последнюю ночную смену перебило шибером левую руку чуть ниже локтя.

Александр узнал об этом сразу же. «Нитка» Вячеслава —

соседняя с той, где работал Ковальский. Причины несчастного случая оказались до дикости простыми.

Порошок полиэтилена плохо выгружался из сборника. Открыв шибер с пульта управления и дав задание на «выгрузку», Вячеслав пошёл на нижний этаж к аппарату, чтобы выяснить, в чём дело. Разобрав фланцевое соединение и сняв резиновый компрессор, обнаружил уплотнившийся порошок при открытом шибере. Сунув руку в отверстие, попытался пробить кулаком плотный слой. Нетерпеливый напарник Шаламова сверху, этажом выше, с пульта решил «подёргать» шибер — большую, величиной с суповую тарелку, заслонку в трубе. Вручную переключив несколько раз с «открыто» на «закрыто» и наоборот на пульте, он добился движения заслонки. Всё бы ничего, но заработавший шибер заземил руку Вячеславу.

В справедливости выражения цехового инженера по технике безопасности: «Инструкции по безопасности пишутся кровью», — Александр убеждался лично. И неоднократно.

...Последняя ночная смена. По графику центрифуга на рабочем месте Ковальского должна быть остановлена и подготовлена к вскрытию для ремонта и замены сеток. Всё это проводится в дневную смену. Его же, Ковальского, задача: продуть остановленную центрифугу от остатков паров изопропилового спирта, других углеводородов азотом с выбросом в атмосферу, чтобы не возникло загорания.

Ковальский выполнил всё, как необходимо, за час до окончания своей смены. Когда начал разбалчивать люк-лаз и ослабил несколько гаек, почувствовал резкий запах: центрифуга не была как следует продута. Он подтянул гайки и открыл снова кран на подаче азота.

С напарником достали из стола инструкцию и нашли нужный раздел:

— «...подключенную центрифугу к потоку азота продувать перед вскрытием не менее трёх часов с выбросом газа на воздушную...» — читал вёдливо напарник Терехов. — Ну, мы так и сделали, продували почти пять часов с тобой. Но она не продута? Я полгода на обработке. Раза два мне уже приходилось готовить к ремонту — такого не было.

— Может, давление азота мало либо «воздушка» на выбросе забила? — предположил Александр.

— Да вон манометр: давление обычное, три атмосферы.

Не успели они прийти к какому-либо общему заключению, как появился старший аппаратчик горластый Конюхов.

— Голуби, уже шесть утра, скоро смену сдавать, а вы задание не выполнили. Спали, что ли? По очереди тогда бы уж... Депремирую, к лешему.

— Всё? Или ещё говорить будешь? — спокойно отозвался Терехов. — Начальником-то стал недавно. Горлышка не хватит надолго. Не шинованное.

— Он уже обленился, а ты-то чуть не инженер, совестно ведь... — Конюхов в упор смотрел на Александра.

— Её опасно трогать, — возразил Ковальский. — Может, мы виноваты в чём, но центрифуга не продута.

— А, учёные хреновы. — «Бугор», так звали в сменах всех старших аппаратчиков, махнул рукой: — Точно, депремирую!

Он схватил гаечный ключ и без рукавиц принялся вскрывать люк. Вскоре зачесал затылок.

— Да-а... действительно газит.

— Не горячись, Бугор, — проговорил подошедший Михаил Оборин. — Отравиться можно.

— Да ты ещё тут! Советчик, иди на своё рабочее место, разберёмся.

— Ну-ну, разбирайтесь, только с головой.

— Азот сперва перекрой, начальник! — посоветовал Терехов.

— А-а... ладно, сдавайте по смене, там разберутся! — И «Бугор» побежал на следующую «нитку», руководить.

...Взрыв прозвучал часов в десять утра, когда Александр уже спал. Задрезбуждали стёкла по комнатам. Ковальский в полудрёме подумал: «Опять на полигоне под Чапаевском грохают». Там часто велись подрывные работы.

Когда встал, по общежитию уже гулял слух: на полиэтилене авария, погиб парень. «Мой сменщик Конкин, — ужаснулся Ковальский. — Он, сомнений не может быть. Другой «Бугор» сбил с толку — заставил вскрыть люк у центрифуги».

Вернувшиеся в общежитие с завода ребята из дневной смены подтвердили догадку Ковальского. Взрыв произошёл, когда Конкин залез в центрифугу снимать сетки.

Придя после выходного на свою «нитку», Александр увидел обгорелую краску на центрифуге, закопчённый приборный

щит с разбитыми стёклами. Было горько от того, что всё произошло по глупости.

Он видел, как два раза за его смену на место аварии приходил начальник цеха Самарин. Как он интеллигентно и академично давал пояснения членам комиссии по расследованию. Ковальского никто ни о чём не спрашивал. Очевидно, всё было понятно.

— Всё просто и ясно, — пояснял инженер по технике безопасности, — был бы газ, а искра всегда найдётся.

Комиссия определила, что источником искры явилась обувь Сергея Конкина. Подошвы его ботинок были пробиты железными гвоздями.

На следующий день молодого, только что отслужившего в армии Конкина хоронили. Бездумная послушность стояла ему жизни.

В инструкцию по подготовке центрифуги к ремонту добавили: «продувку азотом вести до отсутствия углеводородов. Результаты анализа вносить в вахтовый журнал». Инструктора по технике безопасности отстранили от должности. И всё.

Несчастные случаи происходили не только с молодыми да горячими.

В дневную смену один из опытных ремонтников провалился внутрь смесителя Наута — большой ёмкости для сбора порошка полиэтилена, которая не была освобождена от продукта, смешанного с циклогексаном — токсичным и ядовитым веществом. Механик цеха Лев Демидов, не желая терять драгоценные секунды, решил не надевать шланговый противогаз. Бросился на вырубку. И сам тут же потерял сознание. Спас их старший мастер по ремонту оборудования энергичный Юрий Купцов.

...Находчивость старшего мастера позволяла отличаться ему во многом. Чуть позже, ведая опытными работами, Юрий Купцов впервые в стране получил промышленные партии высокомолекулярного полиэтилена особого качества.

* * *

— Я не знала, что так получится, больно боялась, что проеду остановку на Гагариной улице. Вот и сидела у окошка автобуса — жевала бумажку какую-то. А они вошли, контролёры: «Ваши билетики?». Я ахнула. Вынула остаток бумажки изо рта — а это

билет. Вернее, что осталось от него. «Я всё, — говорю, — оформила его». — «Как — оформила?» — не понимает проверяющая. «А так, — говорю, — нет его: я билет съела. И смех, и грех!».

Александр вошёл в общежитие в самом начале рассказа. Стоит молча. Слушает. Хотя самого распирает радость: за столом вахтёра сидит мать и весело смеётся. Вахтёр Феня рядом. Банка смородинового варенья открыта. Пьют чай. Несколько жильцов и комендант Серафима Трофимовна стоят тут же.

— Ну, и как, — спрашивает Феня, — дальше?

— Кондуктор вступилась и народ в автобусе. Подтвердили, сказали, что видели, как я билет покупала. А то бы забрали куда, ей-боженьки...

Александр подал знак: кашлянул, так потихонечку, в кулак. Мать тут же повернулась к двери.

— Саша, наконец-то, а мы тут тебя ждём. — Она обвела всех весёлыми глазами. — Мне уже тут сказали, что ты в совете общежития начальник какой-то. И портрет твой на доску почёта собираются повесить. Прямо герой.

— Мам, может, в комнату пойдём?

— Чай допьём и пойдём.

— Э-э, подождите уходить, — возразила комендант Серафима Трофимовна. — У нас не каждый день такие интересные люди бывают. Катерина, — она обратилась к матери Ковальского, как будто знала её всю жизнь, — ты говорила, что две потери приключилось. Вторая какая?

— Какая-какая? — улыбнулась Катерина. — В том же автобусе. Когда сходила со своим багажом, всё мне помогал молодой такой человек. Симпатичный! «Гражданочка, гражданочка, осторожней», — и сам сзади меня за талию поддерживает. Вот, думаю, какие в городе молодые люди культурные. А сошла, стою на остановке, пощупала: батюшки мои, кошелька-то нет моего в кармане. Когда он меня за талию брал, я и прозевала. Туда-сюда по сторонам, а его след простыл.

— Ну, Ковальский, у тебя мать прямо артистка какая-то, — засмеялась комендант. Засмеялись и остальные.

— И много денег-то? — спросила Серафима Трофимовна.

— Да нет, я будто знала, что в городах такие «культурные». В кошелёк положила мелочь. А остальные в платочек и вот — в нагрудный карман.

Вновь раздался весёлый смех. Ковальский заметил, что так непринуждённо и весело на вахте никогда не было. Простодушные матери всех делало домашними, своими.

— Шура, тебя все знают тут и хвалят, молодец, — говорила чуть позже Екатерина Ивановна, расставляя на столе домашние гостинцы. — Я, эта, шла от остановки и заплуталась. А тут просто всё, а теперь и люди все свои. Абнаковенные, как в Утёвке у нас.

Она подошла к кровати и потрогала сверкающие белизной пододеяльник и подушку.

— И так вот у всех тут?

— Конечно, мам. И через десять дней меняют.

— А кто ж вам меняет-то? — она не выдержала и заглянула в шкаф с одеждой.

— Сами ходим к кастелянше — относим и берём чистое.

— А она кто, вот эта, констеляция такая?

— Ну, мам, как кладовщица. У неё всё постельное бельё.

— Любота-то какая, — она присела на краешек стула и положила свои большие тёмные руки на стол. Большой палец её на правой руке, раздвоенный пополам и похожий на клешню, подрагивал.

— Мам, палец до сих пор болит, да?

— Стал беспокойный, а так — нет. Я уж привыкла к нему. После операции-то уж полгода целых прошло. Угораздило меня в клубе, когда мыла пол, на гвоздь напороться... Живёте в тепле. Свет, белая постель — чего ещё надо! Учитесь в институтах! Жизнь-то какая пошла, а? — она всё осматривалась в комнате, всё ей было интересно. — А кто ж с тобой живёт-то? Ещё ведь три кровати?

— Двое таких, как я, учатся в институте. А один — рабочий парень, Михаил Оборин из Мало-Мальшевки.

— Нашей Мало-Мальшевки? — переспросила она. — Надо же! Я ведь там тебя крестила в войну. Пешком с бабой Груней шли в оба конца. А где твои товарищи-то? — безо всякого перехода спросила Катерина. — Покормить бы их, чать голодные.

— Ну, мам, не голодные. А если б ты не приехала?

Она подошла к окну.

— Саш, а почему из форточки мясом каким-то тухлым пахнет? И, когда по улице шла, тоже было. Я тогда подумала, что мне это повержилось.

— Мам, это с завода запах идёт такой. Фенол, ацетон так пахнут.

— А как же вы там работаете? Такие все грамотные и такой вонючий запах. Так всё чистенько, хорошо и — на тебе, криматория какая-то. Мне сказывали об этом. Не верила. Как же так: цельный город нюхает?

— Это, мам, временно. Пока идёт пуск цехов, а потом лучше будет, — поспешил пояснить Ковальский.

Екатерина Ивановна попала в уязвимое место. Он сам думал частенько об этом: «Хорошая зарплата, приличные условия жизни, красивый город — всё здорово. Всё видимо и зримо. Но эта «червоточина жизни» (как Александр её назвал) — загазованность! Дрянной воздух незримо действует и влияет не просто так, а в массовом масштабе. Сразу на целые города: Новокуйбышевск, Чапаевск и другие. Достойный уровень жизни достигается за счёт самой жизни? Насколько всё опасно для человека? Это же кто-то должен оценить? Или эта боязнь — реакция неподготовленных людей, таких, как мама моя. Весь мир не боится отравиться, развивает нефтехимию. Общий гипноз или обоснованная уверенность, что это не страшно?».

Будто угадывая мысли сына, Катерина проговорила со вздохом:

— А как всё вроде хорошо-то. Я заглянула, когда вошла, в буфет у вас. Там такие парнины стоят в очереди. Берут еду в комнаты. И там за столиками, как в столовой, едят. Всё ломится: горы пирожков, рыба жареная, яички. Молоко в таких бутылочках хорошеньких. Газировки сколько хочешь — гора ящичков...

...В каждом крыле этажа по три общественных комнаты: туалет, кухня с двумя газовыми плитами и умывальная с несколькими раковинами. Ковальский всё это показал матери. Она была довольна увиденным.

— Надо же! — она несколько раз открыла-закрыла кран, пробуя рукой то холодную, то горячую воду. Удивлялась: — Какую хочешь, такую и делаешь! Чудеса!

Он посторожил у входа. Она зашла и в туалет. Когда мыла руки, вдруг спохватилась:

— А это? Чай, уж они не соединяются!

— Кто, мам?

— Ну, трубы эти? Из туалета и вот эти? Откуда я мою руки и попила уже.

— Как! — опешил Александр. — Они не могут соединяться: там канализация, а это водопровод.

— А кто вас знает, — вполне серьёзно махнула она рукой. — Понаделали такое, что не разберёшься: вон в буфете красота, а в форточку тухлятиной несёт. Тоже люди делали, как и тут...

Вечером Александр повёл Екатерину Ивановну смотреть город. Шли по улице Миронова и она удивлялась, глядя на толпы людей:

— Шура, я когда ехала к тебе, думала и сейчас вот тоже: это ж сколько вам тут всем надо яиц и молока! Это кто же столько напасётся-то! Вы только едите, а ничего не делаете. Вон, посмотри, сколько народу — тьма! И каждого накормить надо.

— Мы делаем одно, а кто-то — другое, — отвечал сын.

— Чтой-то я не верю, что это так долго продержится, лопнет где-нибудь чего-то — и обвалится всё. Нельзя такие тысячи кормить долго. Где столько продуктов делают? В Утёвке нашей? Покровке, Бариновке? Нет. Оглянись вокруг. Мне непонятно.

...В универмаге повезло. Катерина купила отцу и себе глубокие резиновые галоши. Радовалась вслух. Александр, конфузясь перед молоденькими продавщицами, помалкивал вначале. А мать, нисколько не стесняясь, что её слышат не только продавцы, но и покупатели, со смехом тут же рассказала, как у неё такие же галоши выпросила директорша клуба — уж больно ей понравились.

— Молоденькая такая, как вы вот. Только приехали с мужем из города. Огородик у них — она там одни цветы посадила. Цыплят взяли — они у них околели тут же. Я ей галоши — а она меня на денёк отпустила с работы. Вот и приехала к Саше-то.

Галоши были последними, и девчата охотно пообещали, как будут ещё, отложить для неё. Александр заберёт.

Когда мать с сыном уходили, все продавцы в магазине им улыбались. Екатерина Ивановна быстро становилась своей, ей легко шли навстречу незнакомые люди...

Ужинать зашли в столовую «Весна» наверху улицы Миронова. Она не хотела: «Я столько привезла, посидим в общежитии, ребят покормишь...». Но Александр настоял. Столовая ей

понравилась. Еда — нет. Поковыряв вилкой рагу из баранины, Екатерина Ивановна разочарованно спросила:

— И ты часто ешь эти кости? Тут же нет ни капельки мяса!

Вечером, когда пили чай всей комнатой, пришла Феня и доложила, что комендант распорядилась отдать для ночлега Катерине Ивановне комнату на первом этаже, где обычно селили важных гостей.

На другой день, утром, Александр проводил мать до автовокзала в Куйбышеве. А на обратном пути в Новокуйбышевск вновь и вновь возвращался мысленно к последнему разговору с ней. «Саша, ты своего родного отца ищешь?» — «А что?» — «Кузьма Емельянович Данилов приходил, интересовался. Думал, ты дома. А отец сразу всё понял, о чём разговор. Вспыхнул. Не стал говорить, даже ушёл со двора. Данилов-то старенький уже, не соображает, что делает». — «Я не могу пока ни за что зацепиться. Макридина искал — не нашёл. Куда-то уехал». — «И не надо пока искать-то». — «Почему?» — «Отца пожалей. Попозже, потом как-нибудь, ладно? Не вороши сейчас».

Когда подошли к автобусной остановке, она погладила ему своей шершавой рукой щёку, глаза её были необычно грустные. Александру было непривычно. Мать его так даже маленького не гладила.

...Он поразмыслил и решил пока прекратить всякие попытки искать польского отца Станислава Ковальского.

Целую неделю после отъезда матери Александр был сам не свой. Ему не хватало того, чем обладал до приезда в город. Той жизни не хватало, которая была до института. Что-то оборвалось. И не соединялось...

И, как теперь быть, он не знал.

* * *

Курилка в цехе — особое место. Ковальскому нравится заходить в неё. Но неудобно сидеть просто так, без папиросы. Некурящему не с руки вроде бывать здесь. Александр стал покупать сигареты. Они у него всегда в кармане рабочих брюк. С собой в общежитие не берёт. Да и в курилке часто забывает про них.

В ночную смену в курилке обычно свет потушен. Можно без

курева посидеть, послушать, как травят. В крошечной тьме одни голоса и огоньки папирос.

...Ковальский вошёл и устроился в тёплом уголке недалеко от бойлера с горячей водой. Его «нитка» сегодня на ремонте. Можно расслабиться. За ним следом, знакомо побряхтывая, заглянул сержант-пожарник.

— Опять впотьмах сидите, энергию экономите!

— Кузьмич, не надо — не включай, — прозвучал хрипловатый голос из дальнего угла. — Дай спокойно посидеть.

— Ну-ну, — неопределённо отозвался Кузьмич и присел прямо против Ковальского, — придёт «Бугор», сметёт вас всех с насеста.

Наступила пауза, и незнакомый голос попросил:

— Ты бы поведал что-нибудь, Кузьмич, новенького нам про пожарную вашу жизнь, больно в прошлый раз забавно было.

— Где ж я вам каждый раз весёлых историй наберу. Пока ещё не случилась весёлая. — Прикурил, осветив носатое своё лицо с рыжеватыми усами, делающими его хищным и беспокойным. — Заботка вот тут одна у меня есть: разыскиваю одного полячка.

Ковальский от неожиданности вздрогнул.

— Какого такого полячка? — спросил Витька Белохвостиков, аппаратчик полимеризации. Его Ковальский давно выделил среди других. В нерабочее время он непременно в красной рубашке с погончиками. И всегда громко смеётся в курилке, когда рассказывают смешное.

— А такого. Землячка моего, с одного села. Он поступил в институт дневной, а их прислали к нам на практику. Брательник из дома написал мне.

«Это ж Матвей Кузьмич, как я не узнал в прошлый раз его, двоюродный брат Синегубого», — догадался Ковальский. Но объявиться не спешил, молчал.

— Где-та сдеса работает или на нефтеперерабатывающем, с осени прошлого года, да...

— А как он попал из Польши к вам в село-то? — вяло спросил Белохвостиков.

— Да не он, а в своё время отец его.

— Они, поляки, в войну были и наши, и не наши, — веско сказал Саня Березин и сплюнул смачно, громыхнув ботин-

ком по полупустому бойлеру. — Кто только ни вертится вокруг русских. Немцы вот, поговаривают нам, всучили старый проект по полиэтилену. Оттого и на проектную мощность не выйдем никак. В войну положили сколько наших! А теперь ещё и на нас зарабатывают... А поляки в семнадцатом веке были в Москве. Пировали ясновельможные паны в Кремле. Потом их пригласили в следующем веке, по-моему, и Суворов отличился... — продолжал обнародовать свои познания Березин. — Я вот сейчас гляжу на немцев, которые в цехе работают, и руки иногда чешутся. Он мне, фриц этот, шариковую авторучку давал, я не взял. Вишь, диковинка. Ну, нет пока у нас таких, но мы же не папуасы.

— А я, когда Мюллер вчера на центрифуге наклонился, хотел свиснуть у него шариковую трехцветную авторучку — она торчала у него из кармана штанов, да передумал, — пожаловался Белохвостиков.

— Чё ж ты передумал? — спросил Кузьмич. — Побоялся?

— Да нет, под зад захотелось дать хорошенько, да не решился. Всё перепуталось в голове, ногу уже приготовил. А не решился. Нога затекла — опустил.

Курилка огласилась дружным хохотом. Под шумок Ковальский встал и, боясь, что его узнают, вышел.

«Олухи, с немцами сравнили, не понимают, что ли? Они догадались, что Кузьмич молотил про меня или нет?»

Он пошёл попить молока и встретился с Владой Чарушиной. В её цехе не было раздаточного молочного пункта, она бегала к ним.

— Тебя что-то на занятиях не видно? Мы по тебе соскучились, — непринуждённо объявила она громко, ни на кого не обращая внимания.

— Смены всё как-то меняются. То в одну, то в другую переводят.

— Ты уж как-нибудь приходи, — сказала Чарушина и усмехнулась.

Пухлые яркие губы, казалось, были одни на её лице. Он вспоминал их теперь часто.

На последней вечеринке в женском общежитии она сама увлекла его в соседнюю пустующую комнату, заваленную одеждой, и стала, хмельная, целовать.

Александр не знал, что с этим делать. Особенно теперь, после того, что случилось у него с Анной. Он всё полагал, что то была хмельная блажь Влады. Всё забудется.

А она, как понял Ковальский, не хотела забывать...

Глава девятая

— Послушай, Валентин, как это здорово получилось, что ты оказался на волне большой химии. Такой молодой и уже начальник цеха! Это прекрасно! Перспектива! Дух захватывает, — говорил высокий стройный человек с чёрными большими глазами.

— А что же так долго не ехал в гости? — улыбнувшись, спросил Самарин, в упор глядя на своего бывшего школьного товарища. — Вы, Зацепины, все, как разлетелись после школы, так и не заманишь в родные места.

— Понимаешь, семейные дела у меня непростые. Москва крутит. Есть ещё кое-какие обстоятельства... Москва — не Чапаевск или Новокуйбышевск, — пытался объяснить Зацепин. Он радовался, что всё-таки приехал и прямо на завод.

— Ну так перебирайся к нам, раз говоришь, что вы, художники, идёте в передних рядах борцов за большую химию.

— Так-то оно так, но пока надо быть ближе к столице, пока... а к тебе я буду приезжать. Твой полиэтилен — это то, что надо сейчас и нам. Правление Союза художников РСФСР вместе с Министерством культуры обсуждает вопрос о государственном заказе на создание образцов предметов, изделий из современных, новых синтетических материалов. Потом объявят республиканский конкурс.

— Специально будете создавать предметы быта? Вы, художники? — усомнился начальник цеха.

— Знаешь, у нас в России около десяти тысяч художников. Надо, чтобы ни одна бытовая вещь не шла в народ без того, чтобы прежде над ней не поработал художник.

— Новая кампания? — иронично обронил Самарин.

— Нет же, нет! — горячо возразил гость. — Не кампания, а план творческой деятельности нашего Союза на многие годы. Это раньше говорили, что прикладников не ценят. Сейчас иное время. Художник-прикладник — незаменимая фигура в промышленности, в оформлении быта.

В кабинет, постучавшись, вошла стройная, в опрятной, ладно сидевшей на ней спецовке молодая женщина:

— Валентин Сафронович, на пятнадцать тридцать намечали собрание в смене. Вы просили напомнить...

— Да-да, буду, ещё час почти в запасе...

Когда собеседники вновь остались одни, Зацепин воскликнул:

— Какая женщина, а? Лицо какое!

Самарин удивлённо и насмешливо посмотрел на приятеля.

— Валь, я о чём? Типаж! — поспешил тот с пояснением. И продолжил уже спокойно: — Наше правление организует сейчас творческие командировки на предприятия и стройки большой химии, вроде вашей. На зональных выставках будут экспонироваться портретные галереи «Люди большой химии». Задуманы плакаты, эстампы, рисунки на темы жизни и труда героев химической индустрии. Мы в струе!

— В струе? — переспросил Самарин и иронично, в который уже раз, усмехнулся: — А моя струя — вон, вытащить и закрепить на проектной мощности выпуск полиэтилена. Иначе головы лишат.

— А что? Большие сложности? — тонкие брови художника энергично дёрнулись.

— Как в любом живом деле, есть проблемы, здесь же: новое производство, а технология не отработана.

— А что немцы?

Самарин ответил после паузы:

— Немцы торопятся, и очень. Они не сдадут нам цех, как положено...

— Почему? Так может быть?

— Может. Очень много вращающегося оборудования: газодувки, грануляторы, очистители, расфасовочные машины, насосы, весы. И всё немецкое, западных немцев...

— Ну и что? Они же обязаны сдать!

Начальник цеха продолжал, будто не слышал:

— Чтобы всё работало безотказно, меняют быстро изнашивающиеся детали, хотя они ещё в хорошем состоянии. Но мы так долго не сможем. У нас валюты на запчасти очень мало. Два года назад на электродвигателе главного привода гранулятора выскочил импортный подшипник. Заменяли по каталогу на отечественный. Но он тут же вышел из строя. А их восемь гра-

нуляторов таких... Ну, ладно, подшипники уже везут. Морока и с остальным оборудованием. Чертежей на запасные части немцы не дают. Какие, если и есть, то «слепые». Наши партнёры так хитро внесли погрешности в них, что изготовленные по ним детали непригодны для работы. Мы уже пробовали. Порой среди немцев проскакивают откровенно недружелюбные отношения.

— Даже так? — удивился Зацепин.

— Да, но есть и доброжелательные. Например, Вернер Герман — грамотный специалист, правда, по-русски говорит с трудом. Так вот, он считает, что после отъезда немцев мы года два продержимся, а потом — развал.

— Разве такое возможно? Тогда не надо принимать не достигшее проектной мощности производство. Или я чего-то не понимаю?

— Понимаешь, но не берёшь в учёт одно обстоятельство.

— Поясни.

— Нам надо уложиться в намеченный и записанный в самых верхах срок. А им — как можно быстрее уйти с площадки.

— И так будет?

— Скорее всего.

— А как же?.. Потом-то?..

— На завод приезжал Алексей Николаевич Косыгин. Думаю, скоро дела поправятся. И валюту на запчасти выделяют, и мы кое-что сейчас уже придумали. Потихонечку начинаем готовить свои чертежи на оборудование. Будем сами делать, нашли на стороне заводы-изготовители.

— Ну, это всё притрётся, всё уляжется, — проговорил уверенно Зацепин. — Кто же позволит, начав такую раскрутку, вдруг затормозить объективный процесс: химизацию целой страны? Прорвёмся. После приезда главы правительства сдвиги есть?

— Конечно. Во многом. В том числе, и в строительстве жилья. Он распорядился возвести две пятиэтажки для живущих здесь, на территории завода. Дома уже начали строить.

— Вот видишь! — Художник возбуждённо прошёлся по кабинету. Наткнулся на стул. Кабинет ему был тесен. — Может быть, я не вижу частных, но я вижу целое! Я вижу цель! Какой всплеск развития, а? Не могу привыкнуть. Как это могло произойти!? Не ожидал здесь, в Поволжье!

— Толчок дали решения майского, 58-го года Пленума ЦК

КПСС, — обстоятельно пояснял Самарин. — Его называли у нас пленумом по химии. Намечено создание новых районов химической промышленности. Одним из них должна стать наша область. Планируется ввести в строй целый ряд заводов. В том числе, в Ставрополе и в Новокуйбышевске. Потом пуск последнего агрегата Волжской ГЭС — это тоже способствовало развитию региона. Ты это должен знать, — Самарин посмотрел на товарища и приветливо улыбнулся.

— Да, конечно, — отвечал Зацепин. — Но я, как уехал к тётке в Москву, перестал быть в курсе. А ты в гуще всего этого оказался.

— Когда заходил ко мне, столкнулся у входа с парнем, заметил его?

— Да, обратил внимание, молоденький такой.

— Ковальский — студент вечернего отделения института, вернее, поступил на дневное, а потом вот направили к нам. Таких теперь — сотни. Они, прошедшие полтора года практики на заводе и те молодые рабочие, которым открыли дорогу в институт, будут развивать нашу нефтехимию. Все, кого я знаю, удивительно целеустремлённые ребята. Много и у Ковальского может получиться. Уже освоил два рабочих места, сейчас готовится сдавать экзамен на третьё.

— Послушай, Валентин, — нетерпеливо перебил художник, — ты получил диплом с отличием. Знаю, что тебе предлагали поступить в аспирантуру, а ты отказался, почему? Ты выбрал инженерную работу, считаешь, так правильнее?

— Всё потому, что здесь сейчас интереснее. И я не зря перешёл с фенола на полиэтилен. Это такое глобальное направление — полиэтиленовые пластмассы. А совмещение науки и практики сейчас очень важно. Кафедра «Технология органического синтеза, синтетического каучука и пластмасс» во главе с профессором, доктором химических наук Дмитрием Николаевичем Андриевским очень хороша. Кстати, это — первая кафедра, открытая на химическом факультете. Но здесь, на заводе, короче путь до практического внедрения.

— Ты же так увлечённо работал в науке, в институте?

— Я и сейчас в науке, на заводе.

— По полиэтилену?

— Нет, занимаюсь проблемой получения стирола. Важное направление. Хочу сам внедрить новый процесс. У меня на

кафедре Андриевского есть помощники: Александр Рожнов, Светлана Леванова. У них светлые головы.

— По-моему, мне говорили, ты стал одним из первых совещенников, вроде этого Ковальского.

— Ну, что-то похоже. Неофициально. В 1960 году я, Валентин Кузьмин, Сергей Баранов делали дипломные проекты без отрыва от практики. Мы работали на пуске второй очереди нашего «Синтезспирта». После двухмесячной практики решили не возвращаться в институт и не брать положенных пятнадцати недель для выполнения дипломного проекта. В начале эксперимента руководство факультета пошло на этот шаг. Да, мы были первыми в этом деле. — Самарин вышел из-за стола. Провёл рукой по рыжей шевелюре, задумался, глядя на Зацепина. Сказал с расстановкой: — Работы здесь на всю жизнь, интересной работы! Нефтехимия — промышленность наукоемкая. У меня уже есть кое-какие соображения по одному из процессов. Кажется, может быть значительная вещь. Освоим окончательно мощности, займусь наукой плотно.

— Послушай, нам по тридцать всего! Столько можно сделать! Я известности хочу! Художнику без этого нельзя. — Зацепин поколебался и докончил фразу: — И, конечно, славы хочу — не улыбайся.

— Вот, возьми, прочти, — Самарин протянул газету «Волжский комсомолец». Показал пальцем заметку «Наступление на сроки».

Виталий Иванович прочёл вслух:

— «Новокуйбышевск — город большой химии. Какие подарки готовят молодые строители приближающемуся Пленуму ЦК КПСС? Мы обратились по телефону к секретарю комитета ВЛКСМ треста Владимиру Берлину. «Никогда ещё на Всесоюзных ударных стройках нашего города не было такого трудового подъёма, как в эти дни. Коллектив СУ-6 дал слово закончить строительные работы на пусковом цехе пищевого спирта не к 20 декабря, как предполагалось, а ко дню открытия партийного пленума. Инициатором соревнования за сокращение сроков строительства на этом объекте выступила комсомольско-молодёжная бригада А. Романова».

Когда художник закончил, Самарин посоветовал:

— Вот, возьми и нарисуй одного из наших первенцев, этого Романова, а может, Ковальского. Хочешь, познакомлю? У него

судьба интересная. Кто знает, может, он своим портретом тебя и прославит. А? Приглядишься к нему!.. Там и характер, и мужество просматриваются. Познакомить?

— Конечно, познакомь! Это верно — не газгольдеры и колонны надо изображать, а людей. Постой, — проговорил он безо всякого перехода, — мы что, скоро будем пить ваш спирт? Из нефти который? Тут написано — «пищевой».

— Вполне возможно. Но здесь торопиться нельзя. Это всё непонятно как аукнется, — проговорил задумчиво Самарин.

— Я закурю.

— Валяй.

— Ты так и не научился курить? В таких заботах-то?

— Нет, некогда было.

— В Москве есть завод «Полиэтилен», знаешь?

— Я там был. Хороший завод.

— Да? Так вот, на нём сделали из полиэтилена десятилитровый бочонок для вина. Сверху расписали под деревянную бочку. Понимаешь, попытка стилизации полиэтилена под изделия из дуба антихудожественна. Надо идти к глубокому постижению новых материалов, чтобы выявить особую красоту, свойственную именно пластическим массам. Именно синтетическим материалам, а не подделываться под них.

— Ты нас, производителей, обвиняешь в том, что хотим наделать таких синтетических бочек, наполнить их синтетическим пищевым спиртом и поить народ, да?

— Я понимаю, ты намеренно огрубляешь, но... — Зацепин прошёл по кабинету, поискал взглядом пепельницу. Не найдя её, остановился и убеждённо проговорил: — Пластмассы, синтетика ждут своих поэтов. Влюблены в новые материалы так же, как мастера скульптуры любят мрамор, дерево, гранит, медь, бронзу. Важно для будущего, чтобы в прикладном искусстве появились большие художники. И дело рук человеческих, и сам человек в большой химии — это всё интересно настоящему творцу.

Он замолчал. Молчал и Самарин. Им не о чём спорить. Оба обуреваемы жаждой деятельности. И оба хотели понять глубже то, чем каждый занимался.

— Эта женщина, ну, которая заходила... — начал Зацепин.

— Ирина Гвоздкова, — подсказал Самарин.

— Наверное, интересный человек. Как она попала в цех?

— Когда вышло обращение ЦК комсомола к молодым, с подружкой Любой снялись с насиженных мест и приехали на стройку.

— Характер! Мы, художники, должны активно участвовать в пропаганде решений декабрьского Пленума, разъяснять глубокий смысл и необыкновенную перспективу, которую открывает большая химия перед нашим обществом.

— Ты, Виталий, стал художником и остался комсоргом, — констатировал Самарин.

— Да! — отозвался с готовностью собеседник. — Остался. Но не в этом дело. Дело в том, что искусство не должно быть аполитично. Ведь не зря же партия провозгласила, что коммунизм — это советская власть плюс электрификация и плюс химизация народного хозяйства! Очень верно! Это — прогресс! Это — прорыв! Наша партия поняла, где передовой рубеж преобразований общества.

Начальник цеха, чуть покачивая головой, сказал, очевидно, больше самому себе:

— Каким ты был, таким ты и остался — казак!

— Художник должен быть идейным, — с ходу завёлся Зацепин. — Я не понимаю, почему ты до сих пор не в партии? Тебе надо расти. А если так — то вне рядов партии... сам понимаешь!

Самарин не торопился с ответом. Он был рад видеть своего друга детства. Рад, что тот многого хочет. Будущий народный художник честолюбив. И не скрывает этого. Ему хочется известности. В молодости кто не мечтает стать великим!

— И ещё, Сафроньч: Сергей Эйзенштейн считал, что в точке пересечения природы и индустрии лежит искусство. Он это сказал на докладе в Кембриджском университете. Кажется, ещё в тридцать первом году. Ты понимаешь, в какое время мы с тобой сейчас живём?! И где мне повезло оказаться? В какой точке пересечения! — Он замолчал, но ненадолго. Добавил, как само собой разумеющееся: — Всё пропитано по сути идеологией, партийностью. Как, впрочем, и твоя работа. Согласен?

— С тобой, как и раньше, трудно спорить. Всегда оказываешься прав.

— На моих — пятнадцать десять. Тебя, начальник, ждут.

— Сейчас пойду, давай отмечу пропуск. Сегодня уже не увидимся. Ты когда в белокаменную?

— Через четыре дня. Давай я к тебе послезавтра, в четверг, приеду вечером в Чапаевск, к матери твоей. Часов в восемь вечера. Как раньше, посидим под яблонями. Идёт?

— Идёт.

Когда они вышли из кабинета, внизу, в красном уголке, слышался шум молодых голосов. Дневная смена технологов и механическая служба, очевидно, уже собрались.

— А может, к нам на собрание? — неожиданно для себя предложил Самарин. — Так сказать, искусство в массы, а?

— Да ну, что я там, как... Моё дело — не твоё. Твоё — не моё...

— Ладно, — махнул рукой Самарин. — Увидимся, комсорг.

* * *

Это был первый после их лунной ночи на Самарке приезд Александра к Анне в Пензу. Он долго обдумывал, как организовать всё. Всё оказалось несложным. Сестра Анны, Мария, жила одна. Она-то и уступила им свою комнату. Сама ушла к подруге.

Анна прибегала к нему украдкой несколько раз в эти дни. И этот их заговор, двоих против всех, обжигал его. Он не представлял себе, как может уехать от неё? Как она может остаться одна теперь?

Анна тонко чувствовала его настроение. Это поражало. К нему снова явилось чувство тихого светлого восторга и ликования, которое испытал тогда на реке.

Уже в первый день, когда он едва задумался, Анна спокойно, глядя ему в глаза, спросила:

— Саша, ты о чём размышляешь?

— Да так, — спохватился он. — Не беспокойся.

— Но я вижу. У нас проблемы?

— Нет, не у нас. У меня. Трясина какая-то.

— Ты о чём? — спросила она и придвинулась плотнее к нему, прижавшись щекой к его плечу. Кровать в такт скрипнула. — Мария нам счёт предъявит, если рухнет, — весело рассмеялась Анна.

Ковальский думал, что она забудет о своём вопросе, но Анна вновь проговорила:

— О чём ты, Саша?

— Трясина... — выдохнул вновь Александр.

— Сашенька, непонятно.

— В городе я не свой — деревенский. И так вроде бы наполовину не свой — поляк.

Он не спеша рассказал ей о случае в курилке.

— Саша, ну что ты говоришь? Маленький мой. Это же шелуха! Ты слишком восприимчив. Всё пройдёт.

— Каким образом?

— Надо преодолеть!

— Как?

— Просто. Пройдёт годик, и ты станешь в городе своим. Вся Россия из деревни вышла. Не ты один такой. А сейчас особенно города, как магниты, тянут к себе молодёжь. — Анна продолжала лежать, не двигаясь. — Ты себя русским чувствуешь?

— А кем я себя ещё могу чувствовать? Я не видел ничего другого. Крещён в православной церкви.

— Ну, тогда в чём дело? Ты слишком чувствителен. Я это знаю. Надо быть защищённее.

— Как и чем защищаться? — Александр слегка гладил правой свободной рукой, как ребёнку, её голову. Она покорно не шевелилась. — Я тогда из курилки потихонечку в темноте вышел — и всё. Не знаю, как защищаться активно.

— Сказать, как?

— Скажи, — он приподнялся слегка и недоверчиво посмотрел на неё.

Она ответила:

— У каждого должна быть своя вера, своё дело жизни. Пусть у тебя будет — нефтехимия. Я тебя благословляю! Но этого мало. Ты должен иметь успехи! В учёбе! В работе, в жизни! Должен очень многое в своём деле уметь делать хорошо! Или лучше, чем хорошо! Это панацея от всего. — Анна говорила, а он всё доверчивее глядел на неё. — Ты можешь многое свершить! — Спокойно и просветлённо глядя на него, она продолжала: — Будь уверен в себе. И тогда ты всем докажешь. Но — делами! Докажешь, что ты и деревенский, и городской. Всякий! А что ты русский — само собой видно.

— Аня! — произнёс Ковальский полуслёпотом.

— Да? — с готовностью отозвалась она.

— Ты — моя пионервожатая, да? До сих пор?!

Вместо ответа Анна так крепко (не ожидала сама) схватила его нос двумя своими крепенькими пальцами, что он вскрикнул. Она испугалась и всплеснула руками.

Привстав на коленях и уронив на него свои длинные лёгкие волосы, стала целовать любимое лицо. И всё спрашивала:

— Ты не обиделся, правда? Тебе не очень больно?

А он притворно сердито молчал. Сколько мог.

Потом уже, когда сидели за столом, покрытым красивой розовой скатертью, Анна безо всякого перехода, видно, что она об этом не переставала думать, начала говорить. Ковальский слушал, почти не перебивая, в который раз замороженный уверенностью и убедительностью её слов.

— Вера в нефтехимию, в технический прогресс, где ты больше всего преуспеешь по складу характера, пусть будут твоим стержнем. Осознай важность этого. И берегись безверья! Зацепись за этот якорь! И пусть это станет твоей загадкой для других. Верь в себя — и добьёшься многого. Люди серые от того, что не знают, кто они и чего хотят. А ты — знай! Мой незаметный отец выжил только потому, что у него была своя вера.

Эту несколько загадочную последнюю фразу про отца он не совсем понял.

— Да, мне надо прилично трудиться, — согласился Александр простодушно. — Школа дала мало. То ли от того, что сельская? И на лекциях — рутина. Техническую литературу подбираю самостоятельно, сверх той, что дают в институте. Записался в Публичную городскую библиотеку. Она, конечно, не то, что у нас в Утёвке. У меня в ней голова кругом идёт. Нету системной основы. Не разбираюсь в религиях. Историю знаю плохо. Художественную литературу читаю урывками. Но Лермонтов постоянно теперь со мной.

При этих словах Анна признательно улыбнулась:

— Видишь, какой ты! Впитываешь с ходу.

— Это ты мне такие толчки даёшь. Я до тебя Лермонтова в общем-то не знал. А теперь его «Выхожу один я на дорогу...» всегда пою, как только оказываюсь где-нибудь на просторе, если никого нет рядом.

— Молодец! — обрадовалась она.

— Это от того, что ты правильно понимаешь меня.

— А это от того, что я тебя люблю! — сказала, как выдохну-

ла, Анна. Примолкла и добавила почти шёпотом: — Маленького моего люблю!

Александр молчал. Он вновь растворился в ней. И не хотел сопротивляться этому.

Глава десятая

...В Утёвке жизнь кучерявилась на свой манер. Сисямкина тётя Маня сдалась-таки и разрешила своему квартиранту Разлацкому поставить в большой комнате под образами телевизор: «Теперь куда уж деться, у всех кругом бесы поселились по избам, не схоронишься». Так ещё одна антенна, как большая кочерга, поднялась на Центральной улице села...

Замелькали во дворах красные баллоны с газом. Любаевы тоже оборудовали газовую плиту на кухне, сбочь от печки. Печи пока никто не трогал.

— С газом-то любота, — радовались утёвцы. — А печи пусть себе стоят. Мало ли чего? Ахнет где-нибудь — и нет газа, что тогда?

— Жизнёнка, — как говорил Иван Головачёв, дед Ковальского, — накренилась чуток к лучшему. Полегчало немного.

В короткие приезды домой Ковальский видел эти изменения и радовался.

Но были и грустные события. Их Александр переживал как личные. Не у каждого жизнь кучерявая... Чаще всего о печальном он узнавал из писем матери. Они были написаны неразборчиво. Но несли такой свет и отраду, что у него всегда при чтении увлажнялись глаза.

Вот и сегодня вечером в общежитии его ждал конверт. С волнением он надорвал его и, стоя у окна своей комнаты, достал листок ученической тетрадки в клетку.

«ПИСЬМО ИЗ УТЁВКИ

ЗДРАСТИ НАШ ДОРОГОЙ САША.

ХОТЕЛА ЕХАТ КТИБЕ НЕПОЛУЧИЛАСЬ ВАСИЛИЙ ЗАБОЛЕЛ ГРИБОМ ВОТ ИСТОРИЯ».

Дальше Катерина сообщала, что Иван Зуев умер «В КУЙ-БЫШЕВОМ», что приезжал Серёжа «ХУДОЙ КАК ЖЕРДЬ» и «ЕЩЁ КУРИТ КАК ПАРАВОС И МОЛЧИТ. СОВСЕМ НЕ СМЕЁТЦА КАК РАНЬША, ЗАБОЛЕЕШЬ СМОТРЕТЬ НА ТА-

КОВА ВАШ ГОРОД СИЛЫ СОСЁТ КУДА ЧЕВО ДЕВАТЦА СМОТРИ КАК СЛЕДОВАТ ТАМА».

Таких уже было четыре письма у Ковальского. Это — пятое.

Странное совпадение. От Анны тоже пришли четыре. Он хранил их вместе, эти письма от матери и от Анны. В своём зелёном чемодане.

Каждое письмо Анны начиналось для Александра обжигающей фразой, к которой он не мог привыкнуть. Простенькая фраза притягивала своей искренностью. «Миленький мой Сашенька», — так к нему никто никогда не обращался.

Эти письма похожи были тем, что писали их любящие женщины. Почерк у Анны был мягкий и ласковый. Буквы сплетены в одно кружево. А мать каждую букву в слове писала отдельно. Каждая буква давалась Катерине нелегко. Она призналась однажды: «НАПИСАТ ПИСЬМО ТИБЕ ДОЛЬША КАК НА СИПАРАТОР СХОДИТЬ МОЛОКО ПРОПУСТИТЬ».

Ковальский отвечал матери обстоятельно и терпеливо. Приходилось прибегать к печатным буквам, чтобы, как хотелось ему, мать читала сама.

Когда пишешь печатными, отдельными друг от друга буквами, немислимо ошибаться. Каждое слово значительно и важно. Как проверка самого себя. Александр отправлялся в красный уголок и в уединении, чтобы никто не мешал, писал ответ. Он про себя называл это: «сходить на сепаратор». Ходил Ковальский «на сепаратор», наверное, ещё дольше, чем его мать. Не мог торопиться. Знал, что каждое слово его будет прочитано и обдуманно несколько раз и боялся сфальшивить.

Письма матери и его ответы и вправду, как сепаратор, очищали его. Они и появлялись-то как раз тогда, когда надо было. Катерина как будто каждый раз чувствовала это.

В одном из писем она вдруг стала просить, чтобы он осторожнее переходил улицы и опасался попасть под «ГРАНВАЙ». Ковальский был поражён: за два дня до письма он соскочил с подножки «ГРАНВАЯ» на ходу и неудачно. Замешкавшийся долговязый парень загородил проход и, упустив момент, Александр спрыгнул, когда вагон, после обычного притормаживания на повороте, уже набирал скорость. Упал на колено и до крови рассёк его.

Ушиб был незначительный.

А мать его почувствовала!

В прошлую субботу в читальном зале областной библиотеки Ковальский сделал выписку, которая оказалась очень важной. Она безоговорочно оправдывала его выбор профессии:

«Производство искусственного и синтетического волокна по сравнению с волокнами естественного происхождения требует меньших затрат.

1 т. натурального шёлка стоимостью около 550 тыс. руб. можно заменить синтетическим волокном стоимостью около 50 тыс. руб. за тонну. Костюм из чистошерстяной ткани «люкс», «метро», «ударник» стоит 1900-2000 руб., а из штапельной костюмной ткани 600-700 руб.

Шапка-ушанка из натурального каракуля стоит 367 руб., а из искусственного каракуля около 60 руб.; шуба, пошитая из овчины, стоит около 1600 руб., а шуба, пошитая из искусственного меха, не уступающего по своему внешнему виду и по прочности натуральному меху, будет примерно 1000 руб.; дамское меховое пальто, пошитое из специально обработанной овчины, стоит около 4000 руб., а дамское пальто из искусственного материала будет примерно 1000 руб. Затрата на сырьё, из которого изготавливается искусственный мех, в четыре раза ниже стоимости натурального меха, а срок службы в 4-5 раз дольше.

Цены на натуральные волокна за последние 35-40 лет выросли в 2-3 раза. На искусственный шёлк цена понизилась примерно в 3-4 раза».

«Деду Ивану приеду — покажу, ясно будет, какая у меня в будущем профессия. И разноцветных гранул полиэтилена надо привезти. Никто же не видел никогда такого», — довольный, подумал он.

А вскоре в тетради появилось стихотворение:

*Как намокла рубашка!
Путь просёлком нелёгкий.
За спиною Домашка —
Полчаса до Утёвки.
Путь просёлком нелёгкий,
Да не надо мне лёгких.
Путь один из Утёвки,
Остальные в Утёвку.*

Эти стихи он написал в том же читальном зале неожиданно для самого себя. Вспомнился поэт из Домашки Гриднев: «Мой дом на Каспии стоит», — и захотелось своего. Почему «путь один из Утёвки, остальные в Утёвку»? Он сам отчётливо не понимал. Но это не было позой. Было иное. Предчувствие того, что ничего роднее в жизни уже не будет. Это навсегда.

...В посёлке Кряж есть перекрёсток, на котором стоит с крупными буквами указатель, греющий душу Ковальскому. Там на синей табличке две стрелки. Одна указывает на Москву, другая — на Утёвку. И всё! Каждый раз, собираясь домой, он говорил приятелям-студентам:

— Еду в мою столицу — Утёвку!

* * *

Чаще всего попутки через Кряж шли до Ветлянки или Нефтегорска. В таких случаях Ковальский сходил у поворота на Утёвку и дальше отправлялся пешком. Широкая прямая дорога с лесопосадками по обеим сторонам. Тишина и огромное небо над головой. Он любил этот отрезок пути. Его часто приходилось преодолевать поздним вечером. Либо уже ночью, что ему больше нравилось.

...Александр шёл в сумрачной гулкой тишине, читая на память из «Мцыри» Лермонтова:

*Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод... Знал ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не знал, или забыл,
Как ненавидал и любил;
Как сердце билось живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой...*

Ковальскому ещё перед выпускными экзаменами в школе впервые попался том с поэмами Лермонтова 1828-1841 годов. Теперь же, после разговоров с Анной, он у него под рукой постоянно. Александр большими кусками держал в памяти «Саш-

ку», «Тамбовскую казначейшу», «Мцъри», «Демона». Но читал вслух, только оставаясь в одиночестве. Ему не нужны были слушатели.

Он, как и Лермонтов, готов был воскликнуть: «Я Родину люблю». Настолько было растворено в нём всё то, что окружало его. Когда Александр шёл широкой дорогой к дому, многое вставало перед глазами из того, что было с ним в детстве на этом радостном просторе. Не любить всё это он не мог.

«Такие простые слова: «Я Родину люблю». Просто и ясно так звучат! Их мог сказать спокойно, не оглядываясь на других, великий человек. Свободный ото всего и ото всех, кроме своей любви. Он и Родина. И всё! А мы как в наше время живём? Боимся признаться, что деревенские. Что у нас тоже есть своя родина. И не «малая», как её иногда называют, а общая — огромная Россия...

Мы же не стесняемся признаться в родстве со своей матерью. А тут... Кто же мы тогда? Когда я врезал Еськову, по правде сказать, никто серьёзно меня не понял. Почему это так? Сельские ребята молчат: стыдятся себя? И горожане почему молчат? Дороги ли им городские корни? Держатся ли они за них? Или любовь к селу и любовь к городу, где родился, — это разные, несравнимые вещи? Почему большинство писателей и поэтов из деревень? Вот Лермонтов, он же деревенский! Вырос-то в деревне. С крестьянами. Среди полей и равнин. Засверкал вершиной, словно снежные горы Кавказа. Но он наш, равнинный?! Откуда такая высота и величие? Что же даёт право на свой голос? Если завтра в группе скажу: «Я Родину люблю», — наши оболтусы рассмеются. И не над тем, что присвоил слова великого поэта (они наверняка этого стихотворения не читали). А над другим. А вот, если бы Лермонтов в своём лейб-гвардии гусарском полку приятелям сказал: «Я Родину люблю»? Что бы было? Он не торопился так вести себя. Не ждал от них понимания? Писал стихи с матерными словами, дрался на кулаках и с солдатами, и с офицерами. Двойная жизнь? Скрывал свою такую нежную и огромную любовь? Зачем? Чтоб выжить? Или презирал? Не доверялся никому? Что же, жизнь одно, а литература — другое? Каждое само по себе? Или тут сложнее всё?»

— *Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу
И звезда с звездою говорит,*

— пропел Ковальский и удивился сам себе, как торжественно прозвучало. Показалось, что поэт видит сейчас его, шагающего в ночи и думающего о нём. «Всё ещё до меня давно сказано, узнано, понято, пережито». Становилось жутковато от этого.

...В село Александр входил обычно лёгкой походкой. На душе светло. Это была его дорога.

Даже если попутная машина направлялась в самую Утёвку, всё равно чаще всего выходил на перекрёстке и шёл своей дорогой пешком. Часто под недоумевающими взглядами проезжающих мимо.

Александрю нужна была эта дорога. Она выравнивала кособокость и убирала расстроенность, которые вёз он в себе из города. В его характере было многое от матери. Её сыну требовался выход на светлое, радостное, жизнеутверждающее, уравновешенное. Александр любил улыбку, а не утрюмство. Ему и «Тамбовская казначейша» поэтому нравилась необычайно. Александр и её читал вслух на этом пути. Даже пытался сравнивать Аксюту с Авдотьей Николаевной, нарисованной Тропининым. И находил много сходства. Но не стал бы никому об этом говорить.

* * *

Последние дни часто болела голова. Неделю назад в смену на его «нитке» лопнул резиновый компенсатор, соединяющий два аппарата. При пневмотранспорте порошка трубопроводы вибрируют. Вот эту вибрацию между жёстко установленными аппаратами и гасят резиновые вставки диаметром около сорока сантиметров, закреплённые металлическими хомутами на трубах. Выход из строя компенсатора всегда сопровождается большим выбросом полиэтиленового порошка. Весь пол после этого становится белым, как в первую раннюю порошу. А в воздухе гуляет запах изопропилового спирта и азота.

Ковальский хотел быстро заменить компенсатор и не по-

шёл за противогазом, оставленным на щите управления. То, что азот — веселящий газ, слегка наркотического действия, он знал из инструкции. Но убедился теперь на практике. Действительно — веселящий. Орудя на двухметровой высоте у горловины дышащего газами аппарата, почувствовал, что губы его начинают непроизвольно растягиваться в беспричинной улыбке. Свести их вместе, в нормальное положение, нет никаких сил.

«Вот картинка: сейчас кто-нибудь явится, а я на аппарате сижу с глупейшим лицом. После вся курилка от хохота дрожать будет».

Он не понял, как его сорвало вниз. Очнулся на полу в бело-снежном порошке. Вскочил с первой мыслью: кто-нибудь видел? Нет, в помещении он один. Быстро, как мог, чувствуя, что не в состоянии чётко координировать движения, пошёл к двери на лестничную площадку. Там, на свежем воздухе, отдышался. Не спеша сходил за противогазом. Монтировал компенсатор уже со старшим аппаратчиком.

Они потом докопались до причины аварии, оказавшейся чисто технической. При передавливании азотом содержимого в аппаратах-разлагателях почти одновременно открывались и закрывались спаренные шиберы. Такое недопустимо. Подводила хваленая немецкая техника.

Ковальский никому о своём падении не сказал. Зачем?

...Сейчас, подходя к дому, он не чувствовал никакой боли. Дорога к дому лечила от многого.

Когда вошёл во двор, там никого не было. В открытую дверь сеней виден непривычный замок.

Соскучившийся дворняга Цыган бросился под ноги и не давал пройти к сеням. Тёрся об ноги, заглядывая в глаза. Когда же Александр добрался до сеней, над головой справа на гвозде на большой белой тесёмочке увидел ключ. Его ждали дома постоянно.

* * *

— Саша, я давно тебя всё хочу спросить, да никак не решусь...

Александр сидит за столом, ест кислое молоко с хлебом. Молоко холодное, только что из погреба. Вкусно. Катерина знает,

чем угощать сына. Она стоит у печки, делая вид, будто что-то рассматривает на загниётке.

— Что, мам? — совсем не готовый к серьёзному разговору, спросил сын.

— Ну, вот, сказывают, что ты провожал с танцев какую-то замужнюю женщину...

Александр чувствует, что лицо его начинает гореть. Он понимал: родители всё равно узнают, не утаишь. Мать и отец работают в клубе, там обо всех всё знают. Но прямой вопрос застал врасплох.

Катерина взглянула на сына и сказала, будто подумала вслух:

— Мало девок, что ли? Чужая жена — не твоя жена. Это надо знать.

Вошёл со двора отец. Притулился около рукомойника свой бадик. Взглянув поочерёдно на обоих, обронил:

— Что-то вы притихшие какие? — и загремел соском пустого рукомойника.

Не услышав никакой реакции, зорко посмотрел на сына:

— Случилось что?

Александр ответил не спеша:

— Мать, наверное, считает, что случилось, а я — нет. Ну, не очень случилось... — он не знал, как говорить и что.

— Мать, а мать? — произнёс Василий, наблюдая, как Катерина наливает в кружку шиповный отвар из зелёного прежде, а теперь закопчённого в печке чайника. — Ты, может, скажешь тогда? Я...

Катерина вздохнула. Подняла на уровень груди свои большие не по росту руки, сжав их в один кулак. Не знала, что с ними делать.

— Да мы про Аню Бочарову... — сказала и, спохватившись, понесла кружку воды к рукомойнику, забыв про чай.

«Они и имя, и фамилию знают, — отметил про себя Александр. — И, конечно, знают больше того, что я её просто провожал...»

— Жизнь поломать можешь ей. Ты это понимаешь? — произнёс отец безо всякого нажима. — У неё же дочь, муж...

«Встать и уйти, — мелькнула у Александра мысль. — Ведь я ничего внятного не отвечу, кроме того, что не могу без Анны.

Она имеет надо мной власть, Анна меня удерживает около себя и крепко. Говорить вслух сейчас это — смешно. Я буду выглядеть куклой. Тут словами не объяснить. Мои не знают Анну. Муж её — не знает. Я знаю больше всех, кто она! Какая она!»

— А ты молоденький ещё, — вставила Катерина и примолкла, выжидательно глядя на Василия: говорить ли дальше что или не надо?

Тот, перехватив её взгляд, безмолвствовал. Молчали все. Потом Любаев сказал намеренно буднично:

— Мать, это его мужское дело. Ему подумать надо. — И ушёл в переднюю, вроде бы к динамику, шумевшему на подоконнике голосом Мордасовой, которую Ковальский терпеть не мог.

...Когда Александр отправился во двор, разговор между Катериной и Василием продолжился.

— Дипломат, а дипломат? — войдя в горницу и остановившись около голландки, проговорила Катерина. — Вдруг он загорится жениться на ней?

— Да ладно тебе — жениться... Его силком не женишь, вот увидишь. И у неё муж живой...

— Задурит парню голову — женится. Я видела её: она видная такая. Красивая. И учительница. — Она присела у окошка и вздохнула. — Вот Тамарка Заречнова, какая пригожая! Я наблюдаю за ней. Мне сказывали в клубе: она гонится за ним. Только больно уж робкая такая. А он, наш Саша-то, слепой. Не видит.

— Да, рассказывай кому: слепой, — не согласился Любаев и ядрёно крякнул.

Катерина промолчала. Молчал и Василий Фёдорович. Затянувшаяся пауза тяготила. Первой не выдержала Катерина:

— А ты где так пинжак-то загваздал, весь рукав в глине?

— Откель я знаю.

Голос у мужа был ровный, нетревожный. Она немного успокоилась.

* * *

Александр вышел из сельницы, где спал, и неторопливо направился в огород. Было часа два ночи. До начала выгона коров ещё далеко. Село окутал сон.

Он подошёл к колодцу, громыхнув цепью, достал воды. Раздувая гнилушки, попавшие в бадью, редкими глотками напился.

Ночь стояла светлая.

В Утёвочке-реке в конце огорода виднелся высокий тополь, словно покрашенный белилами. Щемяще поскрипывал журавец.

У соседей Зининых мукнул телёнок. Потом шумно вздохнула корова.

Не выходил из головы дневной разговор с родителями.

«Я не в силах оставить Анну. Нас связывает что-то такое, что сильнее моей воли. Она самоотверженная и преданная. Я не могу её предать. — Мысли переходили от одного к другому. — Но она попала не в те условия. Они её уродуют. Ей, может быть, случилось жить не в то, не в своё время... А наша связь?! И намёка не имеет на плохое... Кто мы друг для друга? Мы ни разу на эту тему не говорили! Любовники? Этого мало. А кто ещё? Друзья? Нелепо. Этого тоже мало для нас. Конечно, я виноват. Создал такой тупик. Анна не при чём. Ищу оправдания своим поступкам. Но их нет. А так хочется оправдать себя. Быть хорошим. Поверить, что даю Анне только радость. Но это ведь, может, и не так. Я многого не знаю. Она одна со своими проблемами. Мы же видимся раз в полгода».

Александр вдруг впервые подумал о том, какие муки она терпит, оставаясь женой своего мужа, и ужаснулся, представив это в подробностях. Мелькнула обнадеживающая мысль: «А может, всё-таки не так! Вдруг для неё я — главная радость в жизни? Тогда как? Люди все разные. Один и тот же поступок может быть злом для одних и добром для других. Так бывает. Так как же сделать, чтобы было *правильно*? Люди поступки других оценивают необъективно. Это известно. И мать с отцом мои далеки от истины. Они не поймут меня. Но я не в обиде. Слава Богу, они, кажется, не знают того, что мы как муж и жена. И я не вижу никого для себя ближе, чем Анна».

Александр думал, что один не спит. Катерине тоже не спалось. Она сидела на кухне и задумчиво, в который раз, перекладывала испечённые с вечера тонкие лепёшки для лапши. Со стороны казалось, что занята неотложным делом. Но в такую рань-то какая нужда?

...Ковальскому вспомнилась притча, рассказанная Анной, когда он приехал к ней в Пензу во второй раз.

Он сумел тогда взять на двое суток номер в гостинице и она со всеми мыслимыми и немыслимыми предосторожностями всего дважды смогла ненадолго вырваться к нему. Какие это были дни! Сколько Александр передумал и перечувствовал!

Тогда Анна сидела в одной ночной рубашке рядом, а Ковальский в полудрёме слушал, не предполагая, что сказанное ею так крепко ему когда-нибудь пригодится.

— Старик и внук-подросток двигались своей дорогой. У них был небольшой ослик, на котором они поочерёдно ехали. Когда ехал старик, а мальчик плёлся следом, прохожие насмехались: «Дряхлый и ненужный старик, жалея себя, губит мальчишку». Слыша такое, старик слез и заставил вместо себя сесть внука. Толпа зашептала: «Здоровый ленивый мальчуган не жалеет дряхлого старика». Мальчишка упросил старика сесть вместе с ним. Возмущение прохожих становится ещё сильнее: «Слабое животное задавили два больших лентяя». Что поделаешь: дед и внук сходят и идут рядом с ослом. Насмешки ещё острее: «Двое ослов, жалея третьего, не берегут себя».

Она не стала комментировать эту притчу. Александр полагал тогда, что Анна говорила и думала о себе. Оказалось, что и о нём — тоже. Выходило и впрямь: нельзя рассчитывать, что окружающие могут объективно воспринимать твои поступки. Объективного восприятия, суждения вообще не может быть. Каждый человек оценивает твоё поведение с позиции своих интересов, исходя из своего миропонимания. Проживает свою жизнь, не понятый другими. И к этому надо быть готовым. И надо уметь прощать другим, ибо субъективность замешана в человеке, это его сущность...

...И неважно, родители это или совершенно чужие люди. Каждый человек — загадка?!

Короткие встречи с Анной давали так много Александру, что остальные знакомства казались удручающе бедными. Ему было скучно с другими. Он не находил того, что было у него с Анной. Как наваждение.

...Утром, пока мать собирала на стол, Александр наспех, боясь забыть, записал карандашом на листочке отрывного ка-

лендаря строчки, сложившиеся ночью в огороде, когда сидел у колодца. Эти строки не давали ему теперь покоя:

*И мне бы жизнь осточертела,
Была никчемной, как и вам,
Когда б меня Любовь и Дело
Не поднимали по утрам.
Они — мой двигатель могучий:
Мои Дела, моя Любовь.
Любое зло, любые тучи
Я с ними одолею вновь.*

Стихотворение это начало у него прорезаться ещё на работе. Первые строки преследовали всю последнюю вечернюю смену. И в общезитии, и после, когда добирался до дома. Потом куда-то делись. И только этой ночью вновь пришли откуда-то и привели с собой остальные, удивившие его.

«Моя Любовь — Анна? Или это всё то, что люблю в жизни? И сама жизнь?..»

— Саша, отец заждался тебя на задах у рыдвана, а ты не ел ещё, живее... Я в рукомойник налила — иди умывайся быстрее.

Он свернул крохотный листок вдвое. Передумав, развернул и написал заглавие: «Мой двигатель».

«Какое-то машинное название, — засомневался он. И сам себе возразил: — Зато точное».

Вернувшись в город, Александр занёс это стихотворение в свою большую тетрадь рядом с заметками о способах получения натурального и синтетического каучуков. Сделал это наспех, торопясь. Совсем не ожидая, что к записям о каучуке потом вернётся всего лишь единственный раз. А это стихотворение будет помнить всегда.

«Научное сообщение о свойствах каучука, способах его получения и применения было сделано де ля Кондамином в 1736 году, участвовавшим в экспедиции Парижской академии наук для измерения дуги меридиана, пересекающего Южную Америку. Примерно тогда же, в 1746 году, были высказаны предположения о возможности применения млечного сока каучуковых деревьев для изготовления в Европе водонепроницаемых тканей и других изделий из каучука... Среди каучуконосов основное практическое значение имеет бразильская гевея, из млечного сока которой получают каучук...»

Эти выписки он сделал из той самой небольшой книжечки В. Е. Гуль и Н. П. Федоренко в розовой обложке под названием «Полимеры», которая совсем ещё недавно так поразила его.

Ковальский первоначально был зачислен по специальности «Высокомолекулярные соединения» — ВМС, но, подумав, перед началом первого курса добился перевода на ТООС — «Технология основного органического синтеза». Ему казалось, что это более широкий профиль. Совмещать учёбу и работу он попал, однако, в цех полиэтилена, то есть всё-таки на производство ВМС.

Его интересовали не только процессы, но и люди! Гуль, Фёдоренко, Макинтош, де ля Кондамин, а потом — Лебедев, Бызов. Кто они? Какими они были и как пришли к тому, что возглавили грандиозное дело создания каучуков и пластмасс?

Он видел разных людей в жизни. Одни умели рубить пятистенники, рыть колодцы. Другие — ремонтировать комбайны, автомашины, шорничать, плотничать. Великие труженики. Но они делали обычное дело. А были ещё люди, стоявшие во главе таких значительных дел, которые глобально влияли на жизнь.

Не правители, не политики — его привлекали к себе люди, умеющие делать конкретное Дело. Обычное и значительное!

...Он теперь получал лично на своей «нитке» до одной тонны полиэтилена в час.

А в соседнем цехе выпускали синтетический спирт, служивший сырьём для получения каучука. Выходило, что и он сумел прикоснуться к значительному Делу.

Они мой двигатель могучий:

Мои Дела, моя Любовь.

«Любовь ко всему вокруг и к Делу своему — тоже, — пытался расшифровать своё стихотворение Ковальский. — Вера в своё Дело, как в религию — вот моё». Он мысленно разговаривал с Анной и с собой.

Его будто кто закодировал этим стихотворением в лунную светлую ночь у колодца, так напоминавшую ту, которую он с Анной провёл на Самарке. О схожести этих ночей, о том, что они непонятно как, но сильно воздействуют на него, он думал часто. В те ночи что-то с ним случилось такое, чего Александр не уловил, не мог уловить, что, может, не дано человеку понять.

Можно только случайно догадаться: ты во власти того, что не зависит от людей. Но воздействует на них сильно. И тогда говорят: он просто такой. Родился таким! «Эти силы могут, наверное, влиять на человека ещё и до его рождения?» — размышлял Александр.

Ковальский часто видел себя со стороны, но и эта способность не позволяла ему понять себя. Понять так, чтобы быть спокойным...

Глава одиннадцатая

В следующий его приезд вечером к Любаевым пришла «химичка» Валентина Сергеевна и попросила Ковальского выступить перед ребятами десятого и одиннадцатого классов. Рассказать об учёбе, о заводе. Александр согласился.

Он заглянул в чулан, достал привезённые в прошлый приезд разноцветные гранулы полиэтилена. Их набралось две пригоршни. И направился в школу.

«Про полиэтилен надо начать с азот, — думал он, — с химии». И тут же пожалел, что нет с собой заветной тетради. Как бы она пригодилась!

Он вспомнил две противоречивые выписки и задумался: как говорить? Выписки, сделанные из разных книг, Ковальский помнил слово в слово.

Одна гласила: «Реакция полимеризации олефинов была открыта А. А. Бутлеровым в 1873 году, изучавшим полимеризацию этилена, пропилена и изобутилена».

А вторая утверждала своё: «Впервые жидкие низкомолекулярные полимеры этилена были получены Густавсоном в 1884 г. при каталитическом воздействии бромистого алюминия».

В институте специальные дисциплины им ещё не преподавали. Спросить было не у кого. Собирался подойти к начальнику цеха Самарину, да всё как-то не получалось.

— Куда ты торопишься? — искренне удивлялись коллеги в цехе, глядя на его большую тетрадь. — Всего знать нельзя.

— Непонятно! Кто же первый? — говорил Ковальский. — По годам понятно, вроде бы, а по сути?

— А какая разница? Смотри за своей центрифугой. Обслуживай объект — это твоя прямая обязанность. Гони продук-

цию. А с реакцией разберутся, кому надо! — так понимал этот вопрос мастер смены Новицкий.

Ковальского это не устраивало.

«Скажу только о Бутлерове, он по годам выходит всё-таки первый», — с этой мыслью он и подошёл к школе.

— Ребята, — начала своё выступление Валентина Сергеевна, — каких-то всего два года назад вот в этом классе нам рассказывали нефтяники о своей работе. О перспективах, возникших в связи с разработкой Кулешовского месторождения нефти в нашем районе. Много нефтяники сделали с тех пор! Одним из слушателей тогда был вот Саша Ковальский, — она показала рукой на Александра. Ребята захлопали в ладоши. Он почувствовал себя артистом-гастролёром — его это покорило.

— Саша поступил, — продолжала «химичка», — на химико-технологический факультет. Он — студент второго курса.

«Да они же знают меня, как облупленного, чего она расписывается?» — поёжился Ковальский.

— Мы как бы сейчас с вами поднимаемся на уровень выше: нефтехимия идёт вслед за нефтедобычей и нефтепереработкой. Эта отрасль более наукоёмкая и ближе к быту человека. Её продукция скоро займёт главенствующую роль в нашей жизни. Ну, может быть, бензин — продукт нефтепереработки — будет с ней соперничать, а так... Да вот Саша вам всё расскажет..

Она жестом пригласила Александра. Ковальский поднялся из-за парты и направился к столу. «Зачем говорит, что я «всё расскажу» — смешно. Я так мало ещё знаю. Ладно, буду больше о полиэтилене».

Он высypал из кармана пиджака гранулы полиэтилена. Разноцветные бусинки заиграли на столе. Синие, оранжевые, белые, чёрные, красные — они оживили просторную плоскость. Александр огляделся. Ребят в классе было человек двадцать. Все заинтересованно и приветливо смотрели на него. Александр был для них и свой, и не свой уже. Из другой, не известной им жизни приехал.

Он говорил спокойно, почти не волнуясь. Слушали внимательно.

Внезапно дверь открылась и вошла Аксюта.

Села на задней парте. Оттуда уже, когда их взгляды встретились, слегка кивнула Ковальскому. Аксюта всё такая же,

как и прежде. Голубая кофточка на груди тесновата. Чувствовалось, что покатые крепкие плечи могли враз затрястись от заливистого смеха. Ей учебный класс не помеха. Если смешно, будет смеяться, как на картофельном поле или при посадке яблонь. Он вспомнил, мать говорила, что Аксюта теперь завхоз в школе. Её все любят. Уважают за расторопность и за то, что ко всему относится по-хозяйски. Как у себя в доме.

«Она сидит, как Мазилин на том памятном вечере с нефтяниками. Сейчас, как школьный сторож, начнёт меня вопросами «щупать», — предположил Александр. — Мне даже интересно, как она это будет делать».

Не успел Ковальский оправиться от появления Аксюты, вошла Тамара Заречнова. Он на какой-то миг растерялся. Сбился. Чтобы не показать этого, стал сгребать ладонями гранулы в середину стола, будто это необходимо для чего-то в дальнейшем разговоре. Когда поднял голову, Тамара уже расположилась во втором ряду слева. Недалеко от него. Видно было, что она заметила его замешательство. Улыбнулась ему открыто. Эта улыбка успокоила. Александр продолжил выступление.

Когда закончил, пошли вопросы. Но все простые и незначительные. Не хватало в классе Мазилина!

И только напоследок Аксюта, как ни странно, без азарта и напора, буднично заговорила:

— Саш, а вот летом нефтяники загадили Самарку — на той стороне вдоль берега вода неделю шла с плёнкой. Блестящая такая. Говорят, за Покровкой где-то, что ли, водозабор у нефтяников сломался или ещё что? Ваш завод ведь тоже, поди, не всегда хорошо работает? Волгу, как Самарку, потихоньку губите? Волга, конечно, не Самарка, но и заводов скоро станет десятки, верно?

Ковальский не хотел сразу соглашаться с тем, что заводы нефтехимии губят Волгу. Но и врать не мог. Он не знал истинной картины. Не было у него такой возможности. На заводе работал аппаратчиком. Конечно, учился в институте, но всё же был рабочим. Александр так и ответил, чувствуя, что несколько теряет свой «авторитет».

— В моём цехе, на моём рабочем месте в Волгу прямых сбросов нет. Может, они где-то там, дальше по технологической цепочке цехов...

...После встречи со старшеклассниками он провожал Тамару. Шли вдоль затравевшего берега озера Шамино и она рассказывала о том, что знала.

Оказывается, Валентина Сергеевна выходит замуж. За писателя из Куйбышева. Дело решённое: уедет из села, как только директор школы найдёт замену. Будущего супруга «химички» Тамара видела.

— Он, когда приезжал в последний раз к ней, выступал в школе. Как ты вот сегодня. Говорил о своих книжках, а всё получалось о себе. Ничего дядька. Но скучновато говорил. Важничал: «...этот образ у меня метафорически достаточно непростой...». Такие слова у него были. Говорят, знаменитость.

— А что-то не было видно физрука? — спросил Ковальский. — Ушёл из школы?

— Тут целая история. Он сошёлся с женой Мазилина, помнишь? Тот, который был сторожем в школе, инвалид.

— Конечно.

— Она стала пить. И так быстро спилась. А он укатил из села.

— Сколько мы не виделись с тобой?

— Почти два года, — сказала Тамара, будто была давно готова к такому вопросу. Уточнила: — Как уехал в Новокуйбышевск, так и пропал. А что?

— Так, — ответил он, слегка волнуясь. — Время как летит!

Не мог Александр с ходу сказать, что она стала такой совсем взрослой и красивой.

Когда подошли к её дому, Тамара, взглянув на него, по-детски призналась:

— Вот бы хоть одним глазком посмотреть на наш сад! Помнишь? Ведь у нас есть сад, который мы посадили. Не забыл?

— Так это ж можно! Вечером на мотоцикле сгоняем, если хочешь.

— Очень-очень хочется, — подтвердила она. — Но на каком мотоцикле?

— У моего отца есть.

— У твоего отца? Как же он ездит?

— Да, вот, приспособился. Руками заводит, руками скорость включает. А ногу прямую приловчился устраивать, сделал скобу специальную.

— А милиция? Его же сразу остановят.

— Василия Любаева все знают. Не останавливают. У него и прав нет, ему их никто не даст. Милиция тоже знает, в курсе. Зелёный свет.

— Но ведь есть же специальные машины для инвалидов, он мог бы получить.

— Нет, ему не положена. Она ему противопоказана медицински — нога и спина не гнутся — какая тут машина?

— А где же взял мотоцикл?

— Собрал из всего, что под рукой. Называется агрегат «Иж-Планета». Там даже, кажется, детали есть от трактора «Беларусь». Отец сделал и коляску к нему. Ему же надо, чтобы устойчивость была. Корпус коляски сварил. Колёса нашёл где-то.

— И мы доедем на таком агрегате до сада?

— Обижаешь! Даже назад вернёмся.

Она весело смеялась, как маленькая. Его это забавляло.

Когда шёл домой, невольно мысленно возвращался к школе, «химичке», к Аксюте. Ковальский видел, как Аксюта бочком вышла из учительской, глянув сразу мельком на него и Тамару — она одобряла молча их сближение. Ковальский не понимал, правильно поступает или нет. Не мог и не торопился разобраться в своих отношениях с Анной, Владой. А тут Тамара, к которой тянуло давно, но рядом с которой робел. Робость и нерешительность были от боязни сделать ей больно.

И ещё одно обстоятельство смутно беспокоило. Русло или поток, в который он попал теперь, нефтехимический поток, проходил как бы мимо и Утёвки, и Нефтегорска, и Куйбышева. Он только частью захватывал их. Целиком же в него попадали со своими химическими заводами Новокуйбышевск, Тольятти, Чапаевск. Поток нёс эти города вместе с населением в особую даль, в особую среду обитания, где так много опасностей для здоровой жизни. Но он об этом ни слова не сказал в школе. Почему?

«Потому, что сам не понимаю масштаба этой опасности. Не могу оценить, а значит, не могу внятно говорить о проблеме. Я только чувствую эту опасность, и всё. Как зверь, чувствую», — оправдывался Александр.

Никто не ведал о сомнениях Ковальского. Тихо ещё звучали и голоса таких, как недавно сгинувший его земляк Мазилин, с первых дней почуявший опасность безоглядного увлечения

химизацией. В сёлах Мазилиных не слышали, в городах — их не видно. Да и странно было бы появление подобных Мазилиных в проектных институтах, научно-исследовательских лабораториях. Там свои планы, свои проекты. Время ещё не пришло. Не проснулись Мазилины в тех, от кого во многом зависело будущее Воды, Воздуха, Земли...

* * *

В сад Александр и Тамара поехали на следующий день. На однообразной степной равнине казалось и намёка не было на то, что искали, — их яблоневого сада.

И когда уже забеспокоились, найдут ли — он открылся им внезапно. Огромная низина распахнулась перед ними ровными рядами деревьев, которые только готовились вовсю выбросить свою зелень. Апрельское солнце подсушивало землю, а дорога была уже пыльной.

Как-то не верилось, что сад — это дремлющее существо, готовое вот-вот ожить многолистно и многошумно — дело рук школьников, которых теперь и не соберёшь вместе, как раньше. Большинство из которых, уже, может, и позабыли о нём.

...Где-то, наверное, километрах в пяти за садом ворочался, как большой зверь, газоперерабатывающий завод. Чуть поодаль от него — новый город Нефтегорск. Город и завод не было слышно. Но их присутствие необъяснимо чувствовалось даже здесь, в саду. В той части, куда они подъехали, не было ограды. Степь и сад были как одно целое.

Тамара Ковальского удивила. Она не забыла, где школьники сажали деревья. Тот участок сада, где впервые заговорили с Ковальским, помнила. Тамара даже нашла антоновку, на которой оставила приметку: на медной проволочке висела голубенькая пуговичка от её кофточки. Она радовалась, как ребёнок. Перламутр чуть потускнел. Медная проволочка — тоже. Но всё держалось крепенько. За четыре прошедших с того времени года яблонька выросла. Проволочка врезалась в кору ветки. Они вместе освободили её от проволочки. По всей округности остался, как от тонкой ножовки, след.

Тамара потрогала легонько кончиками своих длинных подрагивающих пальчиков ранку и прислонилась к ней губами.

Александр стоял с проволочкой в руках рядом с Тамарой. Чувствовал её дыхание. Видел зрачки её глаз, когда она, подняв лицо, взглянула на него.

— Бедненькая моя яблонька...

— А я? — выдохнул он.

— Что — ты?..

Она не договорила. Александр приблизился и так же тихонечко, как она к веточке, приник к её губам. Тамара не отстранилась и не подалась к нему. Между ними были эта раненая веточка и проволочка с застрявшей посерединке пуговичкой.

Она в любой момент могла уйти от поцелуя. Он сознательно давал ей эту возможность. Но она не торопилась уклоняться от его губ. Александр сам чуть отступил и взглянул на неё. Глаза её были закрыты. Он тронул Тамару рукой меж лопаток и она, вся вздрогнув, подалась к нему. Ковальский шагнул за ветку. Их губы вновь встретились. Александр чувствовал, что она вся в его власти. Но не решался идти дальше. Что-то мешало. Сдерживало. «Что мне с этим со всем потом делать?» — колола мысль. Рядом, под яблоней, в соседнем ряду, словно дразня, лежал развалившийся стожок прошлогоднего сена. Ещё одно движение, один шаг.. На какой-то миг отчётливо увидел перед собой лицо Анны. Стало не по себе...

Овладев собой, убрал руки с её спины. Обмякшая, с закрытыми глазами, Тамара осталась стоять одна, потом, словно пробудившись ото сна, сделала полшага в сторону и спросила неожиданно:

— Проволочку с пуговицей мы потеряли?

— Нет, — как ни в чём не бывало ответил Ковальский. — Вот, — и вынул их из кармана пиджака.

— Давай повесим её, только с запасом ещё лет на пять.

— Не хватит длины.

— Ну, тогда насколько хватит. И приедем сюда.

Они стали прикручивать проволочку. Помогая, она слегка касалась пальцев Александра своими и не скрывала нежности, переполнявшей её.

Потом, когда на полдороге домой остановились около небольшого каналчика с водой отдохнуть, Тамара, ополаскивая крепкие смуглые ноги в холодной воде, спокойно, чего Ковальский не ожидал, спросила:

— У тебя были женщины? Много?

— Почему ты так спрашиваешь?

— Можно я промолчу?

— Как хочешь, но какая разница, много или мало? Любой мой ответ можно толковать по-своему.

— А всё же? Если можно, скажи?

Она слегка приподняла юбку, ступая глубже в канальчик, и он, как замороженный, смотрел на обнажающееся тело, которое только что могло быть его. Движения Тамары, игра с холодной водой начинали казаться любовной игрой с ним. «Понимает она или нет, что делает? Я не железный!»

— Скажешь?

— Ну, были. Но не так, как ты, наверное, думаешь.

— А как?

— Я терял голову. Этим и оправдываю то, что потом было...
Всё искренне...

— Ты такой влюбчивый? — удивилась Тамара. — А ведь недоступным кажешься.

Ковальский пожал плечами и промолчал. Лёг на спину и стал смотреть в синее чистое небо. Думал. «А у неё по-настоящему был кто или нет? Она так невинно сейчас со мной говорит. Или это изошрённая игра? Не может быть, чтобы так сильно повзрослела с той поры, когда сажали яблони. Такого или подобного разговора тогда и позже с ней никак не могло быть. А я сам? — прервалась мысль. — Неожиданная связь с Анной сделала меня иным. А Влада? Её то затухающее, то вспыхивающее внимание ко мне — что оно для меня? Где моё настоящее?»

— Эй, ты где? Пора ехать!

Александр взглянул на Тамару. Она всё-таки намочила юбку. И теперь пыталась отжать её то спереди, то сзади. Поворачивалась, словно в медленном танце. Голубые с бархатными ресницами глаза смотрели на него доверчиво и по-детски. Нежно играющий румянец щёк, стройная и гибкая фигура, длинные руки и эти пританцовывающие маленькие ножки с изящно выраженными икрами — всё было как будто где-то уже виденное, зафиксированное памятью... И теперь враз проявлялось так определённо! Это его влекло неодолимо.

«Где и когда со мной так случилось? В какой жизни? — мыс-

ли его путались. — Будто мне это было дано уже когда-то! И теперь всё просит только повторения, а точнее, возвращения к себе. Наваждение! Она меня совсем сбילה с толку... Сейчас встану, и пусть всё случится».

Александр зорко и хищно осмотрелся. Вокруг ни души — голая степь. Казалось, неодолимая сила толкала к ней.

Но он не поднялся и не подошёл.

...Когда ехали домой, она сидела сзади, держась за него обеими руками. На поворотах плотно прижималась. Её грудь обжигала ему лопатки. Она не могла этого не чувствовать. В такие минуты смеялась и Ковальский не мог понять: то ли это игра такая продолжается, то ли действительно ей самой страшно от того, что происходит. И она смехом заглушает свою боязнь...

* * *

У деда Ковальского, Ивана Головачёва, свои вопросы:

— Полиэтилен понятно для чего делают, ты мне прошлый раз разъяснил. А вот спирт синтетический? Цельные заводы работают! Куда его столько? Он же из нефти?

— Вот как раз потому, что из нефтяного сырья, точнее, из газа, он намного дешевле того, который делают из зерна, картофеля или свёклы. В этом его достоинство.

Ковальский сидит за столом около аккуратной стопки газет. Дед лежит на кровати.

— И сколько же он стоит? — допытывается Головачёв.

— Заводские ребята говорят, что цена стакана газировки и стакана спирта одинакова — четыре копейки.

— Ты не путаешь?

— Нет. Огромная экономия зерна и картофеля получается. В год сберегается до тридцати миллионов пудов. Я на заводе читал в газете.

— Тридцать миллионов! — удивился Иван Дмитриевич. Он помолчал, покачал головой. Спросил, не удержавшись: — Ну, сделали спирт, а дальше его куда, раз говорил, что пить нельзя? Или всё-таки в питьё?

— Есть заводы в Ярославле, Ефремове. Они перерабатывают спирт в дивинил. А потом из дивинила делают каучук.

— Каучук? — переспросил Головачёв. — Это что?

— Резина, — поспешил ответить Александр. И добавил: — Из резины понятно, что делают: покрышки и камеры для автомобилей, тракторов и всякой техники.

— Из спирта делают покрышки, — повторил Головачёв. — Сложная штука — химия. И важная, видать. На, вот, — дед Иван протянул газету. — Про твою химию везде пишут. Такие большие дела: ажник трудно представить. Посмотреть охота.

Александр взял газету. Да, на страницах её звучал гул огромной напряжённой жизни, из которой он приехал. Было странно слышать этот гул здесь, в тиши, около кровати деда. Неуютно чувствовать себя раздвоенным.

В газете писали, что первые партии полиэтилена низкого давления, которые так нужны советской промышленности, получили на заводе в сентябре 1962 года. А уже в августе текущего года ввели вторую очередь производства синтетического спирта. Ковальский с интересом воочию наблюдал эти события. Теперь, более того, был их участником.

17 декабря газеты опубликовали приветствие ЦК КПСС и Правительства труженикам первенца большой химии на Средней Волге. За восемь лет и четыре месяца построены и запущены в работу обе очереди предприятия. На стройке трудились порой до девяти тысяч человек.

Ковальский не удержался и, когда вернулся на завод, сходил в заводской музей.

Оказывается, строительство производства полиэтилена началось в апреле 59-го. Масштабы поражали. Строители за время стройки переработали почти треть миллиона кубометров грунта. Чтобы вынутую из котлованов землю перевезти одним рейсом, потребовалось бы триста тысяч МАЗов. Построено около семидесяти восьми тысяч квадратных метров автомобильных дорог и производственных площадок. Смонтировано почти пятьдесят тысяч кубометров бетонных и железобетонных конструкций и шесть тысяч тонн металлоконструкций. Уложено без малого четыреста километров труб и около трехсот семидесяти километров кабелей. Поразил Ковальского и тот факт, что в комплектовании пусковых цехов оборудованием и материалами участвовали пятьдесят шесть совнархозов страны. Новокуйбышевское производство полиэтилена, получалось, строила вся страна.

Закончилась на вечернем отделении последняя зимняя сессия совмещённых химиков-технологов. Их переводили на дневное обучение в Куйбышев.

Вокруг говорили о социалистических обязательствах на 1964 год. Звучали призывы добиваться в шестом году великого семилетия новых успехов в развитии промышленности и сельского хозяйства. Всё ярче и ярче, как утверждалось по радио и в газетах, горели огни всенародного соревнования на берегах Волги и во всей стране.

Минувший год был годом большого строительства. Львиная доля капитальных вложений пошла в химизацию и нефтяную промышленность. Были введены мощности по выпуску фосфорной кислоты, триполифосфата натрия на Ставропольском химическом заводе, активной сажи на Сызранском сажевом. Советский Союз обогнал Соединённые Штаты Америки и вышел на первое место в мире по производству железной руды, угля, кокса, цемента, сборного железобетона, шерстяных тканей!

Новокуйбышевцы брали обязательство выполнить годовой план по нефтехимической продукции к 28 декабря, а план строительства нефтехимических производств — к 25 декабря. Намечалось освоить проектные мощности второй очереди производства синтетического этилового спирта, построить опытно-промышленную установку высокоскоростного пиролиза.

Ковальский, сидя за столом в комнате общежития, читал длинный список социалистических обязательств.

— Новокуйбышевск у нас — прошедший этап. Через неделю нас здесь не будет, — Гуртаев весело взглянул на Ковальского. — Рубеж преодолен!

— Но это надо знать! — откликнулся Александр.

— Да ладно, гляди вперёд, командор! Там столько рифов...

— Михайло! — внушительно обратился Гуртаев к вошедшему Обороину.

— Так точно — я, господин староста! — звонко отозвался тот.

— А ты выполнил свои соцобязательства?

— Не понял?

— Ты обещался побороть Ковальского. Слабо?

— Да я... — голос у Михаила потускнел. — Я...

— Не выполнил. Значит, как только силенку поднакопишь, приезжай к нам.

— Обязательно. Мне без вас скучно будет.

* * *

По поводу рифов староста оказался прав. Он знал, о чём говорил. С переходом на дневное обучение ломался отлаженный ритм жизни: завод — институт. Необходимо было решать вопрос с жильём. Оказалось, что свободных мест в общежитии нет. И надо суметь после рабочей зарплаты прожить на стипендию. Закончилось совмещение учебы и работы на заводе. Продолжалось совмещение других составляющих жизни.

* * *

Комнату Ковальскому и Гуртаеву снять сразу не удалось. Не помогла и записка Михаила Оборина к своей дальней родственнице. Она уже сдала комнату двум студенткам планового института.

Иногородних в их группе было раз-два и обчёлся. Поэтому нашли временный выход. Обосновались, уплотнив в общежитии знакомых ребят. Но комендант пощумливал и вахтёры часто не пускали непрописанных студентов. Приходилось хитрить по-разному. Ковальский брал под мышку буханку хлеба и уверенно шёл мимо вахты. Часто сходило — принимали за своего.

Рамазанов стал жить у родителей жены Ольги. Приятели побывали у него в гостях, в коммунальной квартире.

Комната была небольшая. Но Иноку хватало места: на самой большой стене в натуральную величину он нарисовал рогатую бордовую корову, а напротив, на стене, усечённой шатким шкафом для одежды, — трёх чёрных метровых кошек. Ольга жаловалась, что родители очень протестовали против нововведений зятя, но Иноку надо было засвидетельствовать свою независимость. Это стоило ему полведра краски. Всего-то!

Месяца через два Ковальский и Гуртаев нашли комнату совсем недалеко от института — на улице Челюскинцев. Около «Шанхая» — района с весьма сомнительной репутацией. Хозяева — милые, спокойные люди, тётка Сима и дядя Яша, порт-

ные. Затравевшая по-деревенски улица, водопроводная колонка перед домом и яблоневый садик — в сторонке от шумных улиц, от Ново-Садовой с трамвайной линией и толпами людей. Идиллия. Лучше не бывает. Здесь и предстояло прожить им около года без прописки, на птичьих правах.

Как-то быстро кончились деньги, которые скопились, пока работали на заводе. Чтобы выкрутиться, на Арцыбушевской в ломбард заложили костюмы, совсем ещё недавно купленные в Новокуйбышевске.

Подрядились ремонтировать веранду в домике недалеко от драмтеатра. Заработали денег и выкупили костюмы. Но дали себе слово: без денег не оставаться. Стыд и срам ходить в ломбард.

На поляне Фрунзе в наступившую весну перекопали с десятков дач и стали своими во всей тамошней дачной округе. Студенты просто полюбили дачи. За день можно заработать треть месячной стипендии.

Из четырёх групп набралось до десятка деятельных ребят и удачно сколотили бригаду. Начали с разгрузки вагонов, а вскоре перешли к строительству гаражей. Удалось договориться с кем надо и у них появился на время небольшой подъёмный кран «Пионер». Это организовал Иннокентий. Такого от него никто не ожидал, хотя уже и знали: если за что берется, то обязательно удивит. По-другому ему неинтересно.

* * *

Первая группа нефтехимиков успевала многое. Староста заводной. Его огненная борода примелькалась многим в институте.

Хотя ещё холодновато и Волга не совсем очистилась ото льда, но хорошо готовиться к зачётам на жёлтеньком песочке у воды. На Ново-Садовой вышел из общежития, спустился до улицы Лесной — и ты у реки. Всего-то ходьбы пять минут, не больше.

...Прекрасный апрельский денёк. Солнышко греет так ласково и зазывно, что трудно сидеть в общежитии. Да и зачем, когда есть Волга! Такое солнце! И десяток весёлых беспечных ребят рядом!

Плывут последние небольшие льдины, как обмылки зимы. Ушла суровая старушка! Вода холодная. Те, кто осмелился войти в неё, выскакивают на берег, бодрясь и отфыркиваясь. Долго приходят в себя! А купаться хочется!

Цену такому удовольствию Ковальский понял только после того, когда сам, разбежавшись, нырнул в воду. Сильнейшая боль в коленках. Такая, словно пилят пополам ножовкой. Резь внизу живота — нестерпима. Теперь-то он понял ухмылки тех, кто уже побывал в воде и зазывал остальных на глазах у своих развесёлых подруг, играющих в подкидного, не подозревая, какой пытки подвергают себя их рыцари ради того, чтобы выгладеть молодцами.

Кучка развалившихся на рыженьком песочке студенток оживилась, когда двое цыган, на ходу снимая рубахи, направилась к воде. Один, почти подросток, весело крутился, выдёргивая из штанов подол рубахи. Второй, похоже, его отец, нёс свою красную рубаху в правой руке и она развевалась, как флаг. Он был привлекателен, этот цыган. Большая кудрявая голова и чёрная борода делали его удивительно похожим на основоположника учения о загнивающем капитализме. Крепкий литой торс смугл, будто этот цыган только что прибыл со знойного юга. Красив, как бог, — это можно было сказать и о нём.

Все разом повернулись к нему. Он это принял как должное. Его походка стала ещё пружинистой. И вообще, это была уже не походка, а поступь.

Он, видимо, наблюдал за тем, как ребята купались. Их улыбки и показная бодрость подбили и его на этот мальчишеский, показательный поступок.

Метрах в пяти от девчат цыган стал прямо-таки грациозно, видя, что все любят им, снимать брюки. Один миг — и он оказался... в подштанниках, легко раздувавшихся на легкомысленном весеннем ветерочке. По лицам девчат пробежала было лёгкая усмешка, но его это не смутило. Он был величав и в подштанниках. И твёрдо в это верил.

Будто на показательных соревнованиях, крупными прыжками он вмиг одолел расстояние до воды и метнул послушное тело чуть правее проплывающей льдины.

Девичьи личики, как одно, повернулись туда, где скрылся бронзовый мускулистый слиток.

То, что последовало дальше, ожидать было трудно. Страшная резь от холода в коленях, очевидно, явилась такой пружиной, что она выбросила цыгана из волн на берег. Семена ногами, не успевающими за движениями всего тела, наступая на собственные кальсоны, он выскочил и из них, как выскочил из волжских вод. И устремился в кучку вальяжно лежавших студенток в чём цыганская мама родила. Он ничего не видел. Бордовое лицо его покрывали бурые водоросли. В последний момент, вильнув в сторону, всё-таки миновал их.

Одевался цыган далеко от берега, не глядя в сторону великой русской реки. Столь резкое крушение величия обескуражило всех, кроме Влады. Она одна смеялась, не обращая на остальных никакого внимания.

Александр весь день потом помнил этот случай и всё не мог оценить реакцию Влады. Жаль бедолагу-цыгана. Но ведь и смешное тоже было... «Факт», — как говорил незабвенный шолоховский Давыдов, о котором совсем ещё недавно писал он на вступительных экзаменах. Раскованность Влады нравилась Ковальскому. Это он отмечал не в первый уже раз.

Глава двенадцатая

Всё-таки удивительная пора — студенческие годы! Эти слова тысячи раз произнесены многими, но от этого не становится меньше прелести в студенчестве. Наоборот!

Есть особенно острое ощущение пути в эти годы. Это, может быть, самое важное в жизни чувство. Даже не ощущение пути, а ощущение взлёта — тем, очевидно, и так дороги они. Но эти взлёты порой чередуются с провалами. Правда, в эти годы неудачное часто быстро забывается.

...Ковальский прямо-таки в классической форме споткнулся на сопромате.

Обычно Александр к экзаменам готовился по лекциям. Если их не было, брал у кого-нибудь. И все дела! Под ревнивые взгляды по ним сдавал легко. Если же не было и чужих лекций, делил учебник на равные, по числу дней, отведённых на подготовку к экзамену, части, минус один на повторение и — вперёд... Важно было занять место лицом к стенке в красном уголке общежития. Это — определяющий момент. В одиночку

с карандашом в руке, делая заметки по ходу чтения на бумаге, быстро постигал предмет.

Ковальский давно заметил: как только готовился к экзаменам в компании, коэффициент полезного действия падал в разы. Он не мог отказать и объяснял приятелям материал, который сам уже освоил. Из чувства товарищества не мог вырваться вперёд и ждал отстающих, теряя и форму, и время.

...Материал в этот раз Ковальский учил добросовестно и полагал, что положительная оценка будет в любом случае, ну, а если повезёт чуть-чуть...

Из общежития в Овраге подпольщиков, куда в новое здание недавно вселили химиков-технологов, поехали на экзамен гурьбой, терпеливо дождавшись своего трамвая номер «5». Трамвай под номером «2» сегодня не годился. Суеверие — дело сомнительное и, конечно, пережиток проклятого буржуазного прошлого., но мало ли что?.. «Чем чёрт не шутит, пока декан спит?» В пути Ковальский обнаружил, что забыл зачётку и направился к выходу.

— Сашк, да брось, возвращаться назад — примета перед экзаменом хуже не надо. Мы подтвердим, что ты почти отличник у нас. Не суетись!

Слово старосты — серьёзный аргумент! Александр не стал возражать.

Ковальский не суетился. Он обычно заходил в аудиторию где-то в середине экзаменов. Так ему комфортнее. И в этот раз поступил, как обычно.

— Ваша зачётка, молодой человек, — властная рука молоджавого статного преподавателя Остроградского повисла в воздухе.

— Видите ли, Викентий Леонидович, — начал бодро Александр, — получилось недоразумение — я забыл её в общежитии.

Ковальский совсем не предполагал того, что будет дальше.

— Хитрите, молодой человек. Несите свою зачётку. Всё!

— Да я... это же... — начал Ковальский, вообразив, какой путь надо проделать, чтобы явиться со злополучной зачёткой!

— Никаких разговоров, умники, тоже мне... «забыл»!

Огорошенный Ковальский вышел.

— Первый семестр, он добром не знает никого, кто чего. Всех гребёт под одно, — бормотал вернувшийся после переговоров с

Остроградским Гуртаев. — Надо ехать за зачёткой. Говорил: не надо мыться и бриться перед экзаменом, не слушался...

Ковальский поехал.

Когда возвратился и зашёл в аудиторию, в ней был один Остроградский. Он собирал свои вещи в маленький чёрный чемоданчик. Билеты лежали стопкой на краю стола.

Ковальского странно подташнивало. Обычно с утра в день экзаменов он ритуально съедал полстакана сметаны и ломтик хлеба. Этого хватало. Но сейчас... Уже около часу дня. Полтора часа в трамвае... Перенервничал.

— Садитесь и берите билет, — как ни в чём не бывало произнёс преподаватель, принимая злосчастную зачётку.

Ковальский взял самый верхний билет, почти машинально. Пошёл за парту.

— Да вы садитесь ко мне. Сразу и разберёмся, что к чему, — Остроградский торопился.

«Не ловля блох, куда торопиться?» — чуть не сказал язвительно Ковальский.

Билет не самый сложный. Материал знаком. Но что-то мешало сосредоточиться. Начал Ковальский сбивчиво... Его раздражал почему-то высокий с родинкой лоб Остроградского и его энергичное постукивание кончиками пальцев по столу. Нетерпеливое и бесцеремонное. Хотелось встать и выйти. «Не мужик — павлин какой-то».

— Так, первый вопрос вы явно заваливаете, давайте не будем трогать второй. Начинайте третий: решайте задачку.

Задачка не трудная. Ковальский бодро начал писать.

— Стоп-стоп, мы на практических занятиях так не решали. Вы посещали практику? Я и на лекциях давал свой вариант.

— Да, посещал, — неуверенно ответил Ковальский. Он помнил, что как раз эти занятия пропустил.

— Покажите ваши лекции, — ледяным тоном попросил Остроградский.

— Они в общежитии, — последовал ответ.

— Ну, батенька, вы мне надоели: то зачётки нет, то лекции забыли... Я ставлю вам «неуд»! — он даже, кажется, обрадовался такой оценке. С чего бы?

Первый «неуд». Это как посвящение в настоящие студенты, что там ни говори!

«Говорят, неудачи толкают к философии. А я ничего не хочу, даже думать. Чёрт с ним, с этим сопроматом. И откуда вытаскился этот с родинкой на лбу, он получил от этого какое-то удовольствие. И я ему в этом помог». Размышляя так, Ковальский шагал унылым длинным коридором.

— Здорово, гадкий, на тебе лица нет.

Перед ним стоял декан Калашников.

— Я, Иван Максимович, сопромат завалил, — с ходу проговорил Александр.

— Сейчас вот? Остроградскому?

— Да.

— М-да, дела... — Декан поскрёб указательным пальцем правый висок. Взглянул пристально: — Предмет знаешь?

— Знаю, — ответил Ковальский. А что ему было отвечать: «Не знаю?».

— Тогда, — Калашников глянул на часы, — через полчаса зайди, возьмёшь направление на пересдачу и завтра иди на экзамен — в четвёртой группе он принимает.

— Но я ведь...

— Что? Трусишь? Ты же знаешь?

— Да, но всякое может быть, я же за ночь ничего не успею.

А он с пристрастием...

— И не надо, — азартно не по-стариковски ответил декан. — Валяй! — И добавил своё неизменное: — Гадкий! Смотри, не подведи старика.

Забрав в деканате направление, Ковальский поехал в общежитие. В комнате никого не было. Вышел на улицу, сел в трамвай, с тупым равнодушием отметил: «Номер-то «два». На Куйбышевской взял билет на двухсерийный индийский фильм. Передумал. Выбросил билет и вернулся в общежитие.

Ночь спал крепко. Утром одним из первых вошёл в аудиторию, где маялись жертвы из параллельной четвёртой группы. На этот раз зачётка была при нём. Когда Александр назвал номер билета, Остроградский громко и отчётливо произнёс:

— Клара Петровна, возьмите Ковальского к себе. Мы с ним вчера наговорились. С меня хватит.

«Снова спектакль начинается», — невольно подумал Ковальский.

Ему несказанно повезло с билетом. Он ответил на все вопросы и решил ещё дополнительно три задачи.

— Что там у вас, Клара Петровна? — вновь громко спросил Остроградский.

Все повернули головы в сторону Ковальского. Спектакль продолжался. И его режиссёр, Остроградский, вёл его изящно и непринуждённо.

В притихшей аудитории прозвучал удивлённо-торжественный голос Петроклары (как успели прозвать её на этом потоке):

— Викентий Леонидович, ему надо ставить пятёрку!

— Неужели? — удивился Виклеонидович. — Тогда давайте его мне.

Садясь рядом, Ковальский подумал с усмешкой: «Отвяжется он от меня или в дурь пойдёт, оглобля».

— А решите-ка вы мне вот эту задачку.

К своему удивлению, Ковальский с ходу решил. Замер, глядя, что же дальше. Он не ожидал от себя такой прыти.

А дальше...

— Молодой человек, я вам ставлю пять. И с большим удовольствием! — голос преподавателя звучал внушительно и солидно. Как на конференции.

Остроградский так крупно расписался в зачётке, что заехал сразу на две соседние строки.

Когда Александр пришёл в деканат, Калашников почему-то не удивился пятёрке.

— Я же говорил, чего бояться-то? На пожаре не боялся! А тут Остроградский всего лишь.

Ковальский увидел на столе институтскую газету «Молодой инженер» со статьёй «Мужество».

— Вот ведь о вас, гадких, пишут в газете. Спасли детей, старушку. Сарай не спасли... Но всё равно молодцы!

— Да я случайно оказался рядом, а тут ребята бегут, я тоже... — начал Ковальский.

— Случайно ничего не бывает, понял? Может, ты и пятерку случайно получил, а?

Ковальский оглянулся. В деканате было ещё двое парней. Он помялся и согласился вслух:

— Да.

— Что — «да»? — переспросил Калашников.

— Случайно получил пятёрку.

— Ковальский, слышишь: не порти обедню, понял? — декан смотрел сурово.

— Больше не буду, — отчеканил Ковальский.

— То-то!

Все четверо громко рассмеялись.

Когда на другой день встретил на консультации Владу, она высказалась совсем даже недвусмысленно и громко, не обращая внимания на сухонькую интеллигентную Элеонору Панфиловну — преподавателя этики и эстетики:

— Некому рога обломать этому Остроградскому. Мужиков нет!

Староста Гуртаев посчитал своё присутствие обязывающим внести некоторые коррективы. Тем более, с учётом предмета консультации:

— Я считаю, Влада Феодосьевна, вашу позицию несколько радикальной, видите ли! — и, довольный, громко рассмеялся. Ему этого было вполне достаточно. Красиво же сказал!

А через две недели в институтской газете появилась статья Калашникова, в которой он излагал свои взгляды на совершенствование методики преподавания и приёма экзаменов. Досталось в ней и Остроградскому за эпизод с Ковальским. «Как можно выучить сопромат за одну ночь?» — спрашивал автор. Ковальский чувствовал себя какой-то сомнительной иллюстрацией непонятной игры Калашникова и Остроградского. Оказывается, они были идейными врагами и давно ревностно следили друг за другом.

Этот экзамен по сопромату сблизил Ковальского с деканом. Калашников частенько теперь заводил с ним разговоры, приглашал в деканат.

* * *

Один случай вскоре поразил Александра. Иван Максимович поймал его за руку, когда тот проходил мимо.

— Подожди, Ковальский, проводишь меня домой.

Его спутник, седой узкоплечий старик, вопросительно посмотрел на декана.

— Ничего. Ему можно доверять, ручаюсь.

Между стариками шёл разговор. Станный и неожиданный для студента.

Как он понял потом, эти их беседы были давнишними. Они их начинали внезапно и внезапно обрывали. Это было как бы одним многолетним диалогом. «Но зачем декану надо, чтобы я слышал, о чём они говорят?» — недоумевал Ковальский.

— ...Научно-техническая революция, принесшая человечеству невиданные блага, породит и неожиданные опасности. Ты согласен с этим? — сказал, как продекламировал, узкоплечий попутчик.

— Ну, кто ж будет спорить. Взять проблему загрязнения окружающей среды — она стала глобальной. Выросла опасность деградации биосферы, показав, как всё сущее взаимосвязано на планете.

— А если ещё глубже? — Николай Николаевич Засекин, так звали худенького профессора, испытующе смотрел на своего коллегу.

— Нависшая над нами, — буднично продолжал Калашников, — глобальная ядерная война может одним махом лишить всех людей индивидуальной судьбы. Если хочешь, индивидуальной смерти. В один раз смести с лица земли всё живое.

— И есть ли выход?

Они подошли к скамейке в скверике и присели. Ковальский пристроился рядом. Такими незначительными показались его проблемы по сравнению с тем, о чём говорили эти два интеллигентных старика. Едва услышав разговор, он поразился: профессора говорят в общем-то о том, что они с дедом Иваном не раз обсуждали. Там, на Бариновой горе, глядя сверху вниз на открывающуюся красоту. Обсуждали и в школе. Но не так обнажённо. Не так безоглядно, ясно формулируя мысли. «На то они и ученые — эти два пожилых человека, не зря, очевидно, и не бездумно прожившие свои жизни».

— Есть ли выход? — повторил Засекин. И было видно, что он задаёт вопрос не только приятелю Калашникову, а и себе. И ещё кому-то. Не всему ли человечеству? Торопящемуся, копошащемуся, увязающему, утопающему в ежедневных будничных заботах. Не замечающему, что одновременно с будничным рождается и нечто грандиозное, способное обернуться Апокалипсисом.

— Ты хочешь, чтобы я вот так сразу, как на экзамене по сопромату, дал ответ? — не спеша отозвался декан. — Боюсь, пуговина лопнет. — И он почти весело посмотрел на Ковальского. — Ты же знаешь, породив смятение умов, эти глобальные проблемы заставили одних упорно защищать «справедливость» и «высшую целесообразность» капитализма, иных — пытаться предлагать методы исправления отдельных его недостатков. А третьих — отрицать системы, не совместимые с принципами гуманизма, не способные обеспечивать разумное развитие. Но равнодействующая — одна.

— Я, кажется, нашёл ответ. Сформулировал то, что нужно человечеству, — нетерпеливо, как первокурсник, встрепенулся Николай Николаевич.

— Ну, ты голова тогда... — иронично произнёс Калашников и совсем уж по-стариковски пожевал губами: — Скажи, а то помру и не узнаю.

— Человечество должно трудиться над взаимной ответственностью людей друг перед другом на глобальном человеческом уровне. Вот моя формула.

— Николай, ты всегда был немножко идеалист, — спокойно констатировал Иван Максимович. — Таким и останешься!

— Нет! — горячо возразил Засекин. — Ты же вот постоянно твердишь о совершенствовании форм обучения. Вот тебе моя идеология, я её хорошо обдумал.

— И долго?

— Что — долго? — не понял Засекин.

— Ну, думал?

— Последнее время — постоянно. Понимаешь, пришло время, когда стихийное развитие мировой экономики не рационально. Требуется плановое управление на глобальном уровне. Очевидно, через несколько десятков лет сырьевые ресурсы могут иссякнуть. Нехватка продовольствия приведёт к катастрофе. Прирост населения надо будет поставить под жёсткий контроль. Экономическое развитие свести к простому воспроизводству.

— Ну, ты, конечно, хватанул лишка! Как примирить цели и задачи социалистической экономики и капиталистической? Неуправляемой? Останови их, попробуй, капиталистов! Ты же — экономист и историк, должен понимать! А потом, прекра-

щение экономического роста слаборазвивающихся стран неизбежно приведёт к ещё большей их отсталости. Это дискриминация целых стран, голова учёная...

— Но всё равно, надо развенчать в мировом масштабе иллюзию безудержного роста потребления. Нужна социальная ответственность, понимаешь?

— Ну, батенька, ты опять хватанул через край! Ты предлагаешь употреблять незагорающиеся спички, чтобы не допустить пожара. Так не бывает.

— Может быть, — произнёс Засекин и положил свою большую красную папку на край скамьи, освободив наконец свои руки. — Смотри. Вот — человек, — он сомкнул пальцы обеих своих нервных рук в одну крепенькую конструкцию. — А вокруг него всё. И это всё, что вокруг, зависит от того, что здесь, — он указал взглядом на свою конструкцию, внутрь её. — Чтобы решить всё, о чём мы говорили, надо решить вначале основное. Главная задача нашей эпохи — совершенствование человечеством своего качества. Изменения самосознания архиважны для решения глобальных проблем. Человеческие качества играют здесь решающую роль. Убеждённость и страстность могут творить чудеса.

— Полагаешь, что можно изменить общество путем совершенствования человеческих качеств?

— Да, да и да! — твёрдо ответил Засекин. — Если говорить о том, чем мы с тобой должны заниматься, то надо бы учить строить будущее. Не адаптироваться к уже свершившемуся, не идти по следам, но опережать.

— Николай, ведь это — общие фразы.

— Обижает, дорогой, не общие. Нам вот всем твердили: нужен металл, ракеты, космос... Нам не до души!

— Души? — переспросил Калашников. — Я от тебя таких слов никогда не слышал. Это новое что-то.

— Нет, не новое, я давно об этом думаю. Не говорил только... Мы затёрли от частого употребления понятие «духовно богатая личность», видя в этом только материальную суть. Но человек, я теперь, после многих лет глупостей, ясно понимаю, человек — это неразрывное единство материального, телесного и нематериального — духовного. И духовная часть не существует без материальной. А материальная — без духовной.

— Засекин, ты — дуалист.

— Да, — согласился быстро тот, не намереваясь спорить на эту тему. — Вспомни или послушай Фёдора Тютчева:

*Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.*

А мы с тобой всего лишь частичка природы.

— Послушай, «частичка», нас не загребут с тобой за такие речи? — Иван Максимович красноречиво осмотрелся вокруг.

— За Тютчева? — переспросил Засекин и продолжал убеждённо: — Истину можно познать только в союзе науки и религии. Ещё Эйнштейн говорил: «Наука хромает без религии, а религия слепа без науки». Те богословы, которые занимаются теологическими исследованиями, наверняка поддержат парадигму реализма. — Он замолчал. Побарабанил пальцами по твердой папке, лежавшей теперь у него на коленях. Начал говорить не спеша: — Мне представляется совершенно правомерным, когда в учебных программах будет записано, что их главной задачей является формирование и развитие в учащихся человеческих, душевных качеств или — формирование духовно богатых личностей, то есть личностей, не только обладающих функциональными знаниями, но и высокой нравственностью. — Он промокнул большим сероватым носовым платком заблестевшую лысину и признался: — Первый раз так об этом говорю, но я знаю, мне открылась истина. Путь к нравственности и преобразованию мира идёт через принятие Бога. Мы должны покаяться и вернуться к Богу.

Иван Максимович долго молчал. Потом признался:

— Я тоже думаю примерно о том же, но я так далеко ещё не продвинулся. Препятствует что-то.

— Уж не комсомольское прошлое ли?

— Может быть, может быть... Не одного меня к старости... наворочали по молодости... иконы срывали со стен... материалы рьяные...

— Видишь ли, придёт время, поверь, старина, понятие души будет иметь место в материализме, да-да... он, материализм, без неё не обойдётся. Но это будет без нас уже. Столько ведь надо переосмыслить... Общество не готово, разве что лет через сорок

приблизится... Я написал целый трактат о душе, нравственности и бесовщине, в которую идёт человечество. И не только та его часть, которая живёт в капитализме. Кроме психушки, этот труд мне ничего не обещает. Знаю точно. Но через полстолетия люди поумнеют. Не моя вина, что я уже понял это, беда, скорее...

— Так что же, по-твоему, душа? — Калашников зорко, не стариковски взглянул на Засекина.

— Начнём с того, что психика, или душа, существуют без органического тела. Другими словами, реальные границы психики значительно шире границ организма. Она — неорганическая субстанция человека. С ней и надо работать, если мы хотим преобразовать мир.

— Да, но прежде всего её надо признать, душу-то, а уж потом методологически воздействовать, верно?

— Да, конечно. Тогда только можно сформировать нравственность. При преподавании функциональных дисциплин необходимо особое внимание уделять нравственным основам реализации полученных знаний. Например, разрабатывая технологию, следует учитывать необходимость экологической чистоты последней, создавая конструкцию — её гуманистичность, как части системы человек — машина, и так далее.

Напротив в сереньком здании раскрылась большая широкая дверь и оттуда вышли два офицера — преподаватели военной кафедры. Встали недалеко, шагах в трёх, закурили. Мирно разговаривающие старички на скамейке понимающе переглянулись.

— Пройдёмся, — предложил Засекин.

— Да, — согласился Калашников.

Они втроём направились в сквер театра оперы и балета. Когда пошли по тропиночке вдоль пустых скамеек, Засекин, зная, что его спутник ждёт продолжения разговора, порылся в папке и достал листки, соединённые ржавой скрепкой.

— Нам всем полезно вспомнить хорошо забытое старое. Вот я отпечатал вчера: в Санкт-Петербургском Горном кадетском корпусе, который окончили выдающиеся русские металлурги Павел Петрович Аносов, Павел Матвеевич Обухов, отец великого русского композитора Ильи Петровича Чайковского, в числе обязательных предметов была музыка. В уставе корпуса от 1804 года специально указывалось, я сейчас прочитаю:

«Музыка особенно полезна в том отношении, что по выпуске воспитанников корпуса может приятным образом занимать их в свободное от должности время, особенно в удалённых местах Сибири, куда они службой предначертываются, и может быть, отвлечёт их от вредных занятий, кои в праздности для молодых людей последствиями своими бывают губительны». — Кончив читать, замолчал. Но ненадолго. — Таким образом воспитывали горных инженеров двести лет тому назад. В эстетическом воспитании мне представляется явно недостаточным его ограничение лекционным курсом. Надо обеспечить овладение каким-либо видом искусства: игра на музыкальном инструменте, вокал, серьёзное занятие хореографией, участие в драматических спектаклях под руководством опытных режиссёров. И надо вернуть народ в религию. Христианство в душу должно входить с рождения.

Эти профессора не в первый раз, беседуя, прогуливались по уютному скверу. Бывало, Калашников заходил на кафедру к доктору исторических наук Засекину. И там они подолгу говорили. Частенько выходили на улицу, опасаясь ушей у стен. К чему испытывать судьбу?

И Ковальскому предстояло стать свидетелем продолжения таких разговоров.

Глава тринадцатая

— Нужна революция в образовании, в методах формирования личности. Надо учиться у Христа, — горячо говорил профессор Засекин, понизив голос почти до шепота. Он продолжал неоконченный разговор, который услышал Александр в прошлый раз.

— Но надо так много сломать, чтобы вернуться назад, — сокрушённо подумал вслух Калашников.

— Да, мы не доживём. Может, и дети наши не доживут. Не в этом суть, я уже говорил.

Профессора и Ковальский — вновь в скверике около театра оперы и балета.

— А в чём, — спросил декан, — суть?

— В истине, Иван Максимович, в истине. Мы же с тобой — учёные. Истина — венец всему.

— Может быть, может быть, — не торопился сразу согласиться профессор химии. — Может, смысл в истине. А может, в чём-то в другом. Но сейчас главное не это.

— Мы должны расти как нация на двух заповедях, — нетерпеливо толкал колесо разговора Засекин.

— Каких?

— Они общеизвестны: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Восприятие Христа может быть различным. Я воспринимаю Христа как человека, в которого Бог вселил Свою часть — душу — с информацией о правилах нравственной жизни, тем самым сделал Себе подобным — Богом-Сыном.

Потихоньку они вышли из сквера и оказались у большого памятника человеку, чьё имя носил город. Остановились.

— Вот ты говоришь, что страстный и волевой человек должен преобразовать мир. Ну, не один, а в совокупности, что ли. Вот этот наверняка не верил в Христа.

— А надобно бы верить, — возразил Засекин.

Они направились через площадь к автобусной остановке.

Александр взглянул в упор на шагавшего слева от Калашникова Засекина и встретился с внимательным взглядом усталого и, кажется, больного, человека.

Ковальскому отчего-то стало жаль его.

Засекин заговорил вновь:

— Когда-то Бог создал Вселенную, землю с уникальными условиями для органической жизни. Он создал человека, обладающего телом и душой, способного мыслить и чувствовать, дал ему дар творчества и свободу в выборе поведения. Сделав его тем самым богоподобным, и завещал ему «возделывать землю, из которой он взят».

— А цель человека? Он к чему призван? — отозвался Калашников.

— За человеком осталось одно — строить эту счастливую жизнь.

Ковальский, наконец, осмелился:

— У нас в деревне приятель отца рассказал на сенокосе одну притчу. Можно?

— Конечно, — отозвался Засекин, вскинув голову.

— Однажды один очень верующий человек тонул в реке. Выбившись из сил, стал молить Бога о помощи. Мимо проплывали люди на лодке, они хотели его подобрать и протягивали руки, но он отвечал: «Я так верю в Бога, я знаю, Он не оставит меня в беде, Он спасёт». Лодка уплыла. Человек продолжал тонуть. Появилась вторая лодка. Люди были готовы взять человека к себе, но он заявил, как и прежде: «Я верю, меня спасет Бог. Он меня не оставит!». Вторая лодка тоже уплыла. То же самое было, и когда появилась третья лодка. Человек утонул. — Профессора внимательно слушали студента. — И вот на том свете является человек к Богу и говорит: «Как же так? Ведь я так верил Тебе! Верил, что Ты придёшь мне на помощь. И я вот утонул». — «Но ведь я посылал целых три лодки», — последовал ответ.

Спутники Ковальского переглянулись.

— Кто этот рассказчик? — спросил, останавливаясь, Засекин.

— Конюх. Инвалид войны.

— С этой историей не всё так просто, как-нибудь поговорим, — сказал Засекин и продолжил: — Здесь важно, что, несмотря на воинствующий атеизм, христианство и оглядка на Бога постоянно присутствуют в народе. Это всё не зря. Это всё когда-нибудь да прорастёт. Наперекор всему нынешнему! Ростки сидят в почве и ждут своего часа.

Он замолчал. Ковальский слышал его частое дыхание. Профессор проговорил, как давно для себя сформулированное:

— Удручает детская беспечность обитателей земли. Небрежное отношение к природе — путь к глобальному Апокалипсису. Безоглядное и безрассудное сжигание топлива, загрязнение атмосферы выхлопными газами — это ведь не только дорога к парниковому эффекту. И никто не в силах прекратить это безобразия!

— Николай Николаевич, это уже, кажется, по второму кругу, — улыбнулся Калашников. — Ты в прошлый раз говорил...

— Я слишком долго об этом думал. Закомплексован. Извини, старина, — иронически произнёс Засекин. И снова включил свой невидимый рычаг. — Что ведь досадно?.. И наука не торопится — ведь солнце, воздух, вода таят в себе огромные запасы энергии. — Он всплеснул руками. — Но никому не надо этого!

Никто не занимается получением энергии таким способом. А ведь нефть не на века нам дана, кончится — где другие источники энергии? Жуткий грядёт Апокалипсис. И причина — в нас. Апокалипсис — в нас!

— Ну, может, не только в нас? — казалось, подумал вслух Иван Максимович. — Если брать отдельные факты, можно говорить, не только в нас. За последние четыре миллиона лет в мире многое изменилось. Из юной звезды Солнце переродилось в могучее светило, став на тридцать процентов горячее. Если Земля нагреется в будущем на полтора-три с половиной градуса, будет катастрофа. Льды Арктики и Антарктики, растаяв, поднимут уровень мирового океана на один метр. Южные районы Испании, Франции, Италии, Греции превратятся в пустыни. Но больше всего достанется... России. Растает вечная мерзлота...

— Послушай, может, жители иных миров вразумят нас в последний момент, раз мы такие... — Засекин помолчал и договорил неожиданно: — ...раздолбаи. — Умолк. Потом вновь продолжил: — Существует три трёхмерных мира. В виде, упрощённо, трёхэтажного дома. На первом этаже — наши обезьяноподобные пращуры, снежный человек, например, они существуют благодаря своему атавистическому свойству. Они никогда не умирают на нашей земле. Мы с вами — на втором. Жильцы третьего этажа в своём развитии от нас чрезвычайно далеки, они не могут, прилетев, оставить нам предостережение или практический совет. Они из другого мира. Мы сами обязаны сохранить цивилизацию.

Он так потрянул головой, что сиротливая кучка волос на его яйцеобразной голове поднялась вверх и стала смешно торчать ярко-рыжим гребешком.

Подошёл автобус и Засекин заспешил. Махнул уже из автобуса рукой:

— Максимыч, у меня завтра только у вечерников лекции, так что до послезавтра.

— Ладно.

Когда автобус, поглотив всех с остановки, ушёл, Иван Максимович сказал:

— Боюсь, сумбур теперь в твоей голове. Я поступаю, может, опрометчиво как педагог, но его надо послушать. Непростой человек, он дальше нас многих видит. Хотя это материя та-

кая! — Калашников неопределённо вскинул руку у своего лица и больше ничего не сказал.

Они свернули налево и пошли мимо здания Окружного дома офицеров к своей остановке.

...Когда уже ехали на трамвае, Ковальский — в общежитие, а Калашников — домой (он жил недалеко от студенческого общежития), Александр спросил:

— Иван Максимович, Засекина вы давно знаете?

— Лет пятнадцать. А что, мы оба производим странное впечатление? Я видел, как ты слушал его.

— Нет, — смутился Александр. — Не странное...

— А какое? — засмеялся профессор. — Непривычное?

— Ну... — не сразу нашёлся Ковальский, — может, необычное...

— Его часто заносит от его экономики. Скучно ему. Он ведь и историк ещё. Одно время занимался Тунгусским метеоритом. О Казанцеве, писателе и учёном, слышал?

— Да, Иван Максимович, я в школе даже доклад делал на эту тему. Штудировал всё, что можно было достать в библиотеках — школьной, районной.

— Что ты говоришь! И как?

— Что «как»?

— Ну, вземная цивилизация-то существует?

— Иван Максимович, вы шутите? В трамвае эту тему развивать...

— Да, — хмыкнул профессор. — Ты прав, наверное. — Он помолчал и всё-таки сказал: — А вот Засекин бы нам целую лекцию развернул. На пять остановок. Но он почти ненормальный. А мы с тобой — какие надо. Кстати, та история, которую ты рассказал про тонущего, она про раввина.

Ковальский вновь смутился. Он не понял смысла сказанного, в который раз сожалея, что совсем не знает религии.

— Засекин мог бы стать выдающейся личностью, — проговорил декан.

— В городе уже был один известный Засекин. Воевода. Он, по-моему, Самару построил.

— Да? — удивился профессор. — Хотя я и приезжий, а знать надо бы. — И, чуть помедлив, очень серьёзно добавил: — Но это не он, не Николай Николаевич.

Оба рассмеялись.

Ковальский не ожидал такой прыти и доступности от старого профессора. Спросил, словно извиняясь:

— Засекин серьезно интересовался и Тунгусской катастрофой?

— Он имеет свой оригинальный взгляд и на природу взрыва, прозвучавшего более десяти лет назад в районе Подкаменной Тунгуски. Раз ты занимаешься этой темой, тебе это, наверное, тоже интересно, — проговорил Калашников и, чуть помолчав, добавил: — Хотя, думаю, он не прав. Там много специфического. А он же историк и экономист, а не геофизик, не астрофизик... Но у него довод свой: со стороны всегда видней и, «чтобы дойти до истины — надо совершить ошибку», так он говорит.

— А в чём его теория?

— В тайге упал не гигантский метеорит, а произошёл вулканический выброс агромаднейшего количества природного газа. Он и дал мощностъ взрыва, равную сотням атомных бомб, сброшенных на Хиросиму, — так считает мой друг. В отличие от многих очень умных ученых.

— Но ведь там есть несколько до сих пор не объяснимых фактов...

— Да-да, — кивнул профессор. — Вот приходи ко мне на кафедру, я приглашу Засекина и вы поговорите. Я тут дилетант...

— И вы, я заметил, не торопитесь с ним спорить.

— Я спорил с ним раньше очень много. Он — спорщик ещё тот. Но на его примере понял окончательно, что в споре нельзя одержать верх.

— Как? — удивился Ковальский.

Калашников спокойно пояснил:

— Допустим, вы победили в споре противника. Вернее, заставили почувствовать ваше превосходство. Ну и что? Только разворошили его самолюбие. Ваша победа ему не нужна. Человек не согласится с вашим мнением против своей воли. Такова его природа. Возникает озлобленное неприятие уже не только идеи, но и самого человека. Я на это натыкался уже много раз. По молодости из-за этого терял друзей.

— Так что же делать? — невольно спросил Александр.

— Слушать и пытаться понять противника. Это, кстати, один из признаков интеллигентности. Предоставь противнику в этой

борьбе все преимущества. Люди оценивают твои взгляды и принципы в системе своего миропонимания. И никак иначе.

— В этом есть что-то от пораженчества.

— Поживёшь с моё, увидишь, чего в этом больше, — Калашников улыбался. А глаза его были как обычно — грустные и внимательные.

Когда около рынка прощались, декан сказал:

— Я тебе давно хочу сказать, приглядывался всё. Тебе надо идти в науку. Наука — твоя планида. Поверь старику. — Посмотрел внимательно Ковальскому в глаза и произнёс с расстановкой: — И ещё совет один. Любимое дело, занятие — лучшее лекарство от любовных заморочек. На всю жизнь не мешало бы запомнить.

Александр молчал. Он не совсем понимал, о чём разговор.

— Думай хорошенько. Потом приходи на кафедру. Понял? Потолкуем обстоятельно. Я тебе говорил уже об этом, когда ты на первом курсе был. Но ты не торопишься.

— Хорошо, спасибо, — неуверенно отозвался Ковальский.

Он уже знал, что профессор работал в Ленинграде в лаборатории с изотопами. Там облучился. Семьи у него нет. Усыновил двух ребят, у которых не было родителей. Оба теперь учатся в институте.

«Разве я похож на сироту?» — первое, что подумал Ковальский.

Он пошёл к общежитию через Вшивый рынок — так его называли в округе. Другого названия Ковальский не знал. Пёстрая толпа быстро поглотила его.

Старый профессор постоял на перекрёстке ещё чуток. Посмотрел задумчиво туда, где скрылся его студент, потом не спеша зашагал домой.

...Подходил в это же время к своему дому и его коллега — профессор Засекин.

Он второй день как приехал из командировки и жена наверняка уже дома и нетерпеливо ждала его.

Засекин вступил в брак поздно. Выбрал жену сам. Ему было сорок, ей — двадцать пять. Ядрёное сочетание: глупость и красота — подвели его, как он думал, опытного холостяка. Глупости в ней с годами не убавилось, а вот красота со временем куда-то подевалась.

Она всегда жаждала в постели быть растерзанной, её буйство изматывало. Поначалу думал, что с годами у них возникнет некая гармония... Но... В последние два года, очевидно, сказывались его пятьдесят лет. После бурных ночей, особенно после командировок, он недели две приходил в себя. Работалось вяло. Отдавая свою энергию, Николай Николаевич видел каждый раз унылое однообразие в своих супружеских обязанностях. Всё улетало в пустоту. Здоровье улетало в никуда. Она, разлюбезная жена Ирина Матвеевна, делала его пустышкой... Организм, восстанавливая баланс, истощался. Её энергетика разрушала.

Засекин понимал, что надолго его не хватит. «Либо она заведёт себе любовника, либо получу инфаркт, — думал он, не зная, что хуже. — Не могу же я сам предложить ей любовника?» А она словно не замечала его проблем. Будто намеренно (так ему начинало казаться) загоняла его, заранее завоёвывая себе безусловное право на любовника. Он понял, что её не побороть. «Самка, — уныло думал Засекин. — Было бы какое интересное занятие у неё, дело... глядишь, сгладилось бы...»

До Апокалипсиса мирового было ещё далеко, а тихая, никем не замечаемая личная драма «почти гения» близилась.

Николай Николаевич, кажется, уже догадался, кого она себе наметила. Знать, что у неё будет вообще или есть уже любовник, он приготовился. Но встречаться по пять-шесть раз в неделю с её избранником, этим усатым конкретным «крокодиллом»? Противным томным воздыхателем? Здороваться с ним, пожимая сухую и жёсткую руку, было выше его сил. Засекин убеждал себя, что это не ревность. Оправдывался невнятно перед собой: «Уж больно этот новоиспечённый доктор математики — человек противный».

Профессор уже примеривался, раздумывая, не уйти ли в монахи. Но что-то удерживало.

У Засекиных не было детей. Это угнетало. Он раньше сильно мечтал о сыне.

Его мучили беспечность человечества и глупость собственной жены. «Что, собственно, почти одно и то же», — думал профессор.

Глава четырнадцатая

Они встретились неожиданно почти у самого здания института. Влада стояла одна около киоска «Союзпечать». Александр не видел её. Она окликнула и подошла.

— Ковальский, ты куда это пропал? Всю неделю тебя не было. Говорят, то ли в Пензу ездил, то ли ещё куда?

— Пускай говорят, — уклонился от ответа Александр.

— *В траве сидел кузнечик,
Совсем как человек,
Зелёный, зелёный,
Зелёный такой.*

Ковальский, это про тебя. В травке сидишь. Притаился.

— А ты сама какого цвета? Знаешь?

— Нет, не знаю. Но глаза у меня цвета морской волны.

— Кто определил?

— Многие говорят.

— Слушай больше. Глаза у тебя мышиноного цвета, как и ты сама вся.

Она приотстала и подпихнула его сзади коленом.

— Дикарь! Ты — дикарь! Фу!

— Я знаю, — согласился Ковальский. — Меня это устраивает. Значит, у меня всё впереди. Но при чём тут мой копчик?

— Самовлюблённый самоед — вот кто ты! Гибрид ненормальный. Чудище какое-то ты — вот!

— У тебя, Влада, лексикон небогатый. Не из чего выбирать для меня определения. Подтянись.

Влада выпятила смешно нижнюю влажную губу и пропела:

— *Но вот пришла лягушка,
Прожорливое брюшко,
И съела кузнеца,
И съела кузнеца!*

— Я — костлявый, — только и успел сказать Ковальский, входя в подъезд института.

* * *

...Староста Анатолий Гуртаев втайне считал посещение лекций вовсе не обязательным. Но журнал, чтобы не случилось: наводнение, землетрясение, грипп или желтуха — всегда дол-

жен заполняться вовремя и скрупулёзно. В том смысле, что как надо. А надо было, само собой разумеется, так, чтобы все посещали занятия на сто процентов. А если можно, то и больше, чем на сто.

Раз надо, чего уж там. Родив в институте СТЭМ — студенческий театр эстрадных миниатюр, его группа театр своих действий, так сказать, не перенесла всецело на сцену. Жизнь с её артистизмом, эгоизмом, альтруизмом, фанатизмом, авантюризмом, глупизмом и так далее, со всякими там «измами» продолжала бурлить и в самой группе. Бурлила и была жизнь, как всегда, ключом. И, как это часто бывало и, очевидно, будет — всё по одному и тому же месту. И довольно иногда больно.

— ...Экзамены, конечно, вещь во всех отношениях замечательная, — говорил Гуртаев, прохаживаясь в коридоре около старенького диванчика. — Они высвечивают ту непреложную истину, что на лекции надо ходить. И на лекциях надо записывать, что изрекает уважаемый преподаватель, чтобы, так сказать, потом вернуть ему это сторицей. Воздать должное. Вернуть! Но не просто так, а за приличную оценку. О неприличных оценках мы не говорим.

Староста любил говорить красиво и непонятно. Это было известно с первого курса. И любил жестикулировать. Правая рука его всегда была наготове поднята и её указательный палец готов в любой момент выскочить вверх и принять вид указующего перста или хорошо выпрямленного гвоздя.

— Я за вас за всех на лекциях присутствовать не могу. Поняли? — Он сделал очень серьёзное, как ему казалось, лицо. — Я не о восьми головах... Вот вчера на электротехнике преподаватель спросил студента Ковальского: «Голубчик, я вас в первый раз вижу. Вы откуда? С парашютом спустились? Я уже прочёл пять лекций. Ни на одной вас не было. Я — бывший работник органов, память тренированная. «Неуд» на экзамене я вам гарантирую». Сань, чё ты ответил? — задал староста вполне законный вопрос Ковальскому.

— Он говорил, я молчал.

— Верно, ты молчал. А после лекции он меня пытался на электрический стул посадить за обман в журнале.

— Да ладно, — сказал староста третьей группы Пудель, а по записи в журнале — Аркадий Кокошин. — Я узнавал: он на эк-

заменах двойки не ставит вообще. Пугает только. Это у него метода такая. А лекции у него, конечно, скучные, как чужой сон.

Этот разговор происходит в правом крыле первого этажа общежития института. Всё крыло, несколько комнат, занимают будущие химики-технологи.

Человек пять студентов, устав от подготовки к экзаменам, вышли в коридор. Кто стоит, кто уселся на провалившийся диванчик. Слушают «горлана-главаря» — старосту. Все хорошо знают своего руководителя. Во время экзаменов с ним что-то случается и он начинает «выдавать». Никогда не знаешь, что Гуртаев придумает. Лекционный материал, любой, ему даётся тяжело. Два года в армии, год работы на заводе припорошили те части мозгового аппарата, которые отвечают за школьный курс. Кое-что подзабылось. Этот его драгоценный аппарат иногда начинает трясти. Он взбрыкивает...

— И всё-таки экзамен — стимулирующая вещь, — говорит Анатолий. — Встряхивает весь организм. Настраивает его.

Слушатели — кто курит, кто просто так отдыхает. Некоторые начинают улыбаться. Многие знают: как только наступают экзамены, у старосты начинается, «извините, господа», словесное недержание. Да-да, оно самое. Гуртаев сам знает об этом. Но... удержаться не может...

Зато сколько у старосты достоинств! «Хороший стратег — это умелый тактик», — в группе говорят, что это лозунг Гуртаева. Он многоопытный, даже многоликий, староста первой группы. Этого у него не отнимешь. Многое испытал на себе.

В вестибюле первого этажа шумно. В несколько минут он наполовину заполнился народом, едва включили телевизор. Сегодня «в телеке» КВН — Клуб весёлых и находчивых.

Под этот шумок вошёл в коридор и шагнул к дивану Генка Султанчиков из параллельной группы. В руках у него преогромная штуковина, завёрнутая в простыню.

Гуртаев озабоченно выслушал всё сказанное ему на ухо щеголеватым Султаном и вельможно обронил:

— Ставь, смотреть будем. У нас свой КВН.

В простыне оказалась гипсовая женщина. Без рук и с одной ногой. Метра полтора высотой. Лица всех повернулись к ней.

— Где взял? — деловито осведомился староста.

— В мединституте был у девчат, подвернулась.

Передняя часть тела гипсовой женщины от впадины на груди до низа живота была распахнута и внутренности, расцвеченные разными тонами, доступны для изучения.

— Ну, и куда теперь эту диву девать? — спросил Гуртаев, сам поразившийся удачным каламбуром. — И зачем ты её приволок?

Наступила пауза, затем находчивый Инок, пришедший «стрельнуть» лекции, спросил:

— В семнадцатой Колюнчика Хризантемы нет?

— Нет, — последовал чей-то ответ.

Они с Гуртаевым переглянулись, молча поняв друг друга.

Староста тут же сказал:

— Вот моё ремюзе (он любил так произносить это слово). Мы Колюнчику в постель положим её, бедненькую, замёрзшую и простыночкой прикроем. Он в подпитии придёт.. и к ней, а? Почти Венера!

— Правильно, — согласился Султанчиков и продолжил вполне деловито и озабоченно: — А то ведь так девственником и закончит институт. Варварство какое!

— А вы спросили: она согласна? — поинтересовался кто-то из угла.

Ковальский было засомневался, хотел протестовать против такой затеи, но его единодушно успокоили. Султанчик даже возмутился:

— Шутка классная, ты чё... в духе КВН...

В отличие от старосты, Колюнчик Хризантема, он же Горин Николай, не пропагандировал полезность экзаменов. Он их не то чтобы не любил. Он готов был их, как и лекции, игнорировать. Но!.. Вот именно: куда деваться? Переползал Хризантема из семестра в семестр на троечках благополучно. Деньги ему из дома присылали. Стипендию никогда не получал и не ожидал, что получит. Это обстоятельство давало ему возможность называть её, стипендию, пережитком проклятого прошлого. Почему так? Кто знает? У него никто не уточнял. Почти ежедневно, исключая день экзаменов, Хризантема бывал под парами зелёного змия. С книжкой или лекциями в руках никем и никогда не был замечен. Обычно пропадал где-то на стороне, но ночевал всегда в своей комнате.

Горин заведовал размещавшейся в дальнем углу коридора

радиорубкой. У него была колоссальная коллекция романсов, русских песен. Вертинского он обожал и знал о нём больше всех. К его лёгкому безобидному характеру и мягкой свойской домашней улыбке привыкли все.

— Ничего из этого не получится, — авторитетно заявил Пудель.

— Почему? — тут же спросил нетерпеливый Султанчик.

Пудель пояснил не спеша:

— Видишь ли, дорогой мой, Колюнчик — парень горячий, а она — женщина фригидная, ну, просто каменная! И всё тут. Несовпадение...

Разговорчики в строю прервал Гуртаев.

Всё исполнили, как задумали первоначально.

Колюнчик появился в конце коридора внезапно.

— Отцвели уж давно хризантемы в саду, — пропел он с хрипотцой и слегка пританцовывающей походкой пошёл в комнату.

Женщина, аккуратно уложенная и накрытая простыней, лежала надёжно. Чтобы видней было, дверь открыли. Диван, передвинув, поставили напротив неё.

— Я вас приветствую, господа! — отметил Хризантема сразу всех взмахом еле послушной руки.

Кажется, сегодня он был в пельменной и принял хорошо. Все молчали. Ждали, что будет дальше...

Действия Колюнчика просты и понятны. Ему очень хотелось в постель. Он довольно ловко, не обращая внимания на наблюдателей, восседающих на диване в коридоре (дверь осталась распахнутой, не он же её открывал), разделся до майки и трусов. Его пошатывало. Мотнуло было в сторону, но Хризантема держал контроль над ситуацией. Превозмог. Одолеп. И ринулся, чуть ли не бегом, в кровать. Упал в неё с разбегу. Вскочил. Губа у него была рассечена. Текла кровь. Сдёрнул простыню... Вмиг протрезвев, всё понял. И враз вычислил главного обидчика.

Выскочив в трусах в коридор, он подлетел бабочкой к Гуртаеву.

— Ты — негодяй, а вы... вы... — Хризантема не находил подходящего слова. А драться не умел. Был не способен ударить.

— Они обыкновенные советские граждане, — подсказал староста.

— Вы... вы... дерматиновые граждане — вот вы кто! — Трусы его, светлые с цветочками, что было большой редкостью среди темно-синего сонма этой продукции, сползли в самый низ живота. Он задержал их цепко левой рукой.

— Жеребцы сивые! — выкрикнул Колюнчик и замолчал, оторопел от собственного громкого голоса. Но ему показалось мало сказанного. Он добавил для крепости: — Иноходцы. Над женщиной издеваетесь. Над женщиной! — И, всплеснув руками: — Ну, почему мы, русские, такие, а?

Он не находил слов. Хризантема, оказывается, и ругаться-то не умел, не только драться. Бросившись в комнату, схватил чайник и побежал в одних трусах в другое крыло через вестибюль мимо толпы перед телевизором. Под бодрый голос ведущего Александра Маслякова. Все опешили. Никто из шутников не двинулся с места. Все будто обречённо ждали неотвратимого наказания. И оно наступило! В развешивающихся трусах Хризантема появился с чайником, полным воды.

— Нате вам, нате вам!.. Во времена Куприна я бы вас всех на дуэль вызвал. Было же время... По-человечески хамство можно было наказать...

Он старался каждому из чайника пролить воду на голову, что отчасти удавалось. И, очевидно, это действие ему казалось вершиной наказания.

Оцепенение царило в рядах шутников, все как бы ждали своей очереди молча.

— Я ухожу от вас в радиорубку, — гневно объявил он, когда кончилась вода. Как был, в трусах, вновь устремился в другое крыло коридора.

— Ребята, мы, кажется, того, — неуверенно произнёс Инок.

— Чего — того-то? — Султанчик стоял рядом, потерянно глядя на него.

Все чувствовали неладное. Но до конца то ли не понимали, то ли не могли сформулировать, что происходит.

— Да сволочи мы — вот и всё, — сказал отчаянно Инок. — Завтра надо как-то просить его простить нас, дураков очумелых.

Султанчик поинтересовался:

— Это почему же сволочи, а? Ты не с нами, что ли?

— Потому, что не понимаем, что мы — сволочи, — чеканно отреагировал Иннокентий.

Султанчик дёрнулся к нему, но вдруг, без чьей-либо видимой помощи, в нём что-то сломалось — он обмяк и глухо сказал:

— Ну, вот: шерше ля фам! Старая история. Как всегда. Неужели из-за женщины этой гипсовой или какой, мы так...

Все молчали. То ли выразился Султанчик непонятно, то ли всё понятно было и без него...

...Хризантема, забрав наутро одежду, провёл в своей будке целую неделю. Потом молча, как бы не видя никого, вернулся в комнату. Ночевал в общежитии, но жил где-то на стороне своей загадочной, отдельной жизнью. Как и прежде.

Глава пятнадцатая

— Знаешь, я ничего не имею против сельских ребят. В большинстве они симпатичные парни. Но ты и от них отличаешься.

— Чем же, поведай, — отозвался не без иронии Ковальский.

Александр и Влада на опустевшем пляже почти одни. Ребята из их группы давно ушли в общежитие. Наступил вечер. Тёплый сентябрьский. Не хотелось расходиться. Переговаривались не спеша.

— Например, мыслишь всегда на свой манер.

— Хочешь сказать — по-деревенски, но боишься обидеть?

— Да нет, не по-деревенски, а как-то часто всё «от себя». Всё пропускаешь через себя. Так можно сказать.

— А что здесь плохого? И в чём я виноват?

— А я и не говорю, что это плохо. Может, даже наоборот. Но ты не открытый. Сознательно закрываешься. Ещё меня удивляет, что говоришь чисто и правильно. Этим отличаешься от многих. И фамилия твоя «Ковальский», и твой характер — всё загадка. Ты упёртый! Страсть! С тобой непросто. Ты рассказывал, что кругами ходил вокруг здания драмтеатра, когда приехал в город. Что в школе занимался в драмкружке. Но не хочешь идти в наш студенческий театр миниатюр. Почему? Молчишь?

— Если скажу, обидишься. Потому и молчу. Ты же у них там чуть не звезда.

— Нет скажи, я хочу знать!

— Не понял пока, кем должен быть актёр — скоморохом или жрецом. Но про себя знаю: скоморохом быть не хочу. А вы там все скоморохи. Я не вписываюсь в вашу компанию.

— Сашк! — резко поднявшись с песка, сказала Влада.

— Что?

— Иди ты к чёрту, вот! Больно серьёзный. — И она пригоршнями стала черпать остывающий песок и бросать ему на спину. — Ты так сильно загорел. Где?

— На сенокосе, где же ещё. Не на сцене.

— Будешь меня развлекать или занудство своё нарочно демонстрировать? У нас же студенческий театр. Специфика молодёжная. Понял?

— Ну, да, понял, — протянул Александр и замолчал. И чуть позже добавил: — Актёру сверху что-то дано, а раз сверху, выше — то стыдно размениваться на пустячки.

Она не стала спорить. Надоело, очевидно. Махнула рукой и, притворно сопя, легла на живот, положив лицо на сложенные крест-накрест руки.

— Я на тебя сердита. Понял?

— На сердитых воду возят.

— Кто сказал?

— Моя бабка. Причём, давно ещё, — говоря это, он старался сделать очень серьёзное лицо.

— Кошмар какой-то, — отреагировала Влада, делая ударение в первом слове на «о». — Воспитаннице у вас, сударь!

— Такое вот, куда таперича деватца? — пожаловался он, стараясь как можно правдоподобнее изобразить на лице вселенскую скорбь по поводу такого её заключения.

«Обернётся она ко мне лицом или нет?»

Влада не выдержала и обернулась.

— Там Ефим Кирьянович Григорьев, актёр драматического театра, с нами занимается, понял?

— У тебя имя необычное, — вместо ответа проговорил Александр, наблюдая за тем, как она изящно поправляет причёску.

— А у тебя — фамилия. У нас у обоих часть корней — на загнивающем Западе. Моя бабка была эстонкой... Мы с тобой не тутошние...

Александр смотрел на неё и видел теперь только говорящий рот. Эти пухлые шевелящиеся губы! Они дразнили его. Он отвёл взгляд и прикрыл глаза.

— Ты даже на меня не смотришь! — неподдельно возмутилась она. — Ты же мог бы кое-что в театре перенять, понял?

Александр открыл глаза. Влада подвинулась и теперь сидела напротив так близко, что он видел маленькую родинку на светящейся мочке её левого уха.

— Понял, — отозвался Александр, думая о своём. Потом не спеша добавил, помня о начале разговора: — Понимаешь, всё-таки воспринимать жизнь надо не чужими глазами, а такой, какой ты её видишь. «Своё» даёт человеку свойства, отличающие от толпы. У вас, в вашем театре, толпа кричащих, орущих, обезьянничающих — это уже было в моём сельском клубе.

— Ковальский! Ты — самоед. Ты слишком копаешься. И в себе, и во всём. Зачем тебе это? Это же мука! Ты кто?

— А можно вопрос?

— Конечно!

— Вот почему ты блондинка, а такая, извиняюсь, умная, а?

Вместо ответа она набросилась на него с кулаками. Кулачки у неё были крепенькие и до смешного маленькие. Когда атака захлебнулась, упершись в широкую, крепкую грудь, Ковальский повернулся к ней спиной. Влада, делая обиженный вид, всхлипнула почти натурально и, шумно вздохнув, подвинулась, упершись намеренно плечом в его спину. Александр почувствовал мелкие песчинки, которые она вдавила ему в лопатку.

— Я сотру с тебя эту нарость. Это жуть, а не характер.

Влада ещё придвинулась и всей спиной припечаталась к нему. Ямочкой между лопатками он ощутил застёжку её купальника.

— Но договорить имею право? — попытался он сохранить суверенитет.

— Как подсудимый, последнее слово имеешь. И всё!

— Хорошо. Я, в принципе, думаю, что человек думающий и желающий что-то в жизни сделать, всегда мучается. Копаются в себе. Жизнь сама по себе — мука. Если о чём-то думаешь, ты постоянно вышибаешь из-под себя табуретку.

В следующий момент произошло неожиданное. Влада резко, чего Александр никак от неё не ожидал, повернулась и прижала его спиной к песку. Дурачась, он стал сопротивляться, взяв её за плечи. Вырываясь и желая удержать его на песке, она дёрнулась и... застёжка на купальнике расстегнулась. Купальник упал ему на грудь. Два блеснувших тугих комочка, отмеченных изящными коричневыми сосками, как клювиками, заиграли на свободе. Она ойкнула от неожиданности и по-

далась к Ковальскому, очевидно, инстинктивно желая попасть ими, этими выпорхнувшими из плена созданиями, в чашечки купальника. Но не тут-то было — свобода пленительна! Зачем лишаться её? Влада промахнулась. Одно из этих прекрасных созданий, как белая птичка в гнездо, попала в ямочку на груди Александра. Другая притаилась под мышкой. Он сомкнул свои руки у неё на спине. Влада почти вся лежала на нём. Александр почувствовал, как по её загорелому лёгкому телу пробежала дрожь. Пухлые губы приоткрылись, глаза расплавлены широко, но в них не было испуга. Скорее, удивление и ожидание. Он левой рукой нагнул её красивую голову и поцеловал в давно дразнившие его губы.

Пляж почти безлюден. Те, кто видел их, могли подумать, что это давние любовники.

— ...Поехали ко мне, — шептала она ему в ухо. — Две оставочки на трамвае — и мы у меня.

— А родители... — неуверенно отвечал Ковальский.

— Они за границей... на два года. В Болгарии на стройке. Брат — на севере. Такая география.

— Удобная ты какая, — говорил Александр, пытаясь понять её до конца.

— Конечно, удобная. Но не для всех, — и она стала его жадно целовать.

— Мне губу больно, — взмолился Ковальский. — Пожалей.

— Какой слабак попался, — бесцеремонно заявила она. — А я-то думала...

...Они три дня не ходили на лекции. Александр не появлялся в общежитии.

* * *

Влада удивляла своей активностью. В мыслях, в поступках. Одна черта делала её занудливой. Она тщательно и деловито предохранялась. И требовала от него того же. Больно деловита в постели. «Когда она успела этому обучиться? Или это свойство характера такое, натура?» — думал Ковальский. Он понял, что их связь ненадолго. Ей скоро захочется новой игрушки. Видно же. И не жалел об этом. Александр заранее воспринимал это как некий этап в своих отношениях с женщинами. И

оттого оказался не столь уязвим, как мог бы быть. Смирился уже заранее с таким развитием их отношений. Не соглашался с другим. Не хотел принимать её постоянную установку: быть, как все.

Он видел, что многие неосознанно стремятся, а может, и осознанно, уйти от своего «я». Хотят быть, как все. Раствориться в массе усреднённых и обрести счастье. И мать, и отец часто говорили: «Слава Богу, как у всех» или «Как все, так и мы». И это было важно для них. Его это удручало. И тихо внешне, но непримиримо внутри протестовало его «я».

Александр желал, хотел быть не меньше, чем «как все», но при этом остаться ещё и самим собой. Что это значило, он чётко вслух не сказал бы. Но не хотел менять своё «я» на «как все». За его «я» крылось очень многое. За ним стояла вся его прежняя жизнь. Он не мог её предать, эту жизнь, если б даже захотел. Тогда бы надо было себя сломать напрочь.

Александр радовался успехам артиста Куйбышевского драматического театра Ивана Санникова — крестьянского парня из приволжского села, пробившегося на профессиональную сцену. А он, Ковальский, даже и не попытался этого сделать. А мечтал когда-то.

Артист Санников всей своей фактурой, манерой держаться, играть на сцене был, что называется, свой.

Александр восторгался игрой Гриценко, Плятта, Смоктуновского. И понимал, что отделяет их от Санникова. И в этом «что» содержалось нечто очень существенное. Его надо было преодолеть, покорить, не теряя дарованного от природы.

«Я, получается, тот же Санников, но только не в театре — в жизни. Моя сцена — жизнь, сколько же будет всего у меня такого, что нужно будет превозмочь и побороть. Я выплываю, как в детстве своём, в разлив на плоскодонке в огромный, будоражащий душу простор. Санникову несказанно повезло. У него в помощниках театр, драматурги-классики, актёры. Режиссёр, наконец. Это всё то, что можно назвать опорой, встречным потоком, который позволяет, как Пудовкину его авиация, набирать высоту. А у меня в чём опора? Где встречный поток?»

— Пойдём сегодня на Владимира Ростовцева, — предложила Влада, когда встретила Александра в лаборатории коллоидной химии.

— А кто он такой? Что за зверь? И почему не знаю?

— Гипнотезёр.

— Я недавно был в филармонии, смотрел Вольфа Мессинга.

— А я — нет. Теперь там Ростовцев. Соседи билеты отдали, не могут, а мне хочется. Сегодня в восемнадцать часов. Сходим?

...Места оказались в первом ряду амфитеатра. Многие были похоже на то, что показывал Мессинг.

Ковальскому важно было проверить, поддаётся ли он гипнозу. Влада протестовала. Не хотела, чтобы он вышел на сцену и с ним проделывали, как с куклой, разные штуки. Но ему интересно.

Когда телепат попросил вытянуть сцепленные в кулак руки и, забыв обо всём, слушать только его передаваемые мысленно команды, Ковальский постарался всё точно исполнить. Но ничего не чувствовал. Вдруг одна из сидевших рядом девочек, почти подросток, начала биться, словно от избытка полученной извне энергии, и устремилась с невидящими глазами на сцену. Руки её по-прежнему были сплетены воедино и она, похоже, не могла их высвободить. Бежала, выставив перед собой. Ковальский с выжиданием смотрел на свои — они были безразличны к командам. На сцене набралось человек тридцать.

Ростовцев спокойно объяснил, что волноваться не следует. Вышли самые поддающиеся на контакт. Он выберет половину, а остальных отпустит. Опыты совершенно не опасны для здоровья. Даже наоборот.

— Нинка, дура, куда ты попала, — волновалась, оставшись одна, её подружка.

Между тем, экстрасенс начал работать.

— Вы находитесь, — объявил он стоявшей на сцене пёстрой кучке молодых людей, — на свадьбе. Рассаживайтесь и ведите себя, как всегда в таких случаях. Делайте то, что вам нравится.

Когда «свадебные гости» расселись, возникла забавная картинка. За воображаемым столом царило веселье. Сидевший самым крайним слева парень откашлялся и затянул баском:

*Когда весна придёт, не знаю,
Пройдут дожди... Сойдут снега...
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога.*

Нинка тоже не дремала. Несколько раз приподнялась со стула и, наконец, дотянувшись до середины воображаемого стола, взяла что-то, потом положила в карман кофточка. Она, как после оказалось, складывала про запас шоколадные конфеты. А рядом товарищ лет сорока наливал уже не в первый раз что-то себе, очевидно, в рюмку.

— Что вы делаете? — поинтересовался Ростовцев.

Мужчина с достоинством не спеша пояснил:

— Грешен, люблю коньячок!

Когда «свадьба» закончилась, Ростовцев взял за руки, как маленьких, Нинку и парня, который пел песню, и подвёл почти к самому краю сцены. Пара повиновалась беспрекословно.

— Вы — дети, сидите в песочнице и играете вдвоём в разные игры, — объявил он.

После «свадьбы» в зале наступила, наконец, тишина.

— Как тебя звать, девочка? — ласково обратился Ростовцев к девице.

— Нинка, — отозвалась та покорно.

— Ниноля, играй в песочек.

Парень тем временем, присел. Снял ботинок с ноги и держал его высоко над головой, описывая замысловатые круги.

— Что ты делаешь, мальчик? — участливо поинтересовался у него взрослый дядя-гипнотезер.

— Играю в самолётики. Иду на посадку.

Нина в это время делала в песке норку. Туда должна была прибежать мышка. Так она объяснила.

Ассистентка принесла гипнотезёру что-то в салфетке.

— У меня в руке, — обратился тот к публике, — очищенная картофелина, сейчас мы предложим нашей Ниночке её скушать. Поясню: сырой картофель ничуть не вреден. — Он протянул руку с картофелем девушке. — Ниночка, на, скушай яблочко, мама твоя дала.

— Руки в песочке, я не могу, — резонно возразила она.

— Ничего, ты уже помыла. Видишь, они у тебя сухие.

Та покорно взяла «яблоко» и начала с хрустом есть. «Ябло-

ко» у неё вежливо забрали и Ростовцев отдал его ассистентке. Оставшееся без внимания дитя у песочницы, очевидно, выпало из-под контроля... Чуть подобрав юбочку, Нинуля объявила:

— Мамочка, я хочу пи-пи... писать.

...Когда она вернулась к своей подружке в зал, та, смеясь, поинтересовалась:

— Ладно всё остальное, но картошку сырую зачем есть?

— Какую картошку? — не понимая, переспросила Нина. Лицо её было бледное. Она вяло улыбалась.

Перед антрактом ассистентка объявила, что во втором отделении её шеф будет угадывать задания присутствующих. Необходимо всем желающим приготовить записки с заданиями и сдать в наблюдательную комиссию, которую выберут из числа зрителей. Ковальский загорелся.

— Проверим окончательно, шарлатан он или нет.

— Проверяй, проверяй! Он тебя, как Нинку, опозорит, — хихикнула Влада. — На весь город.

В перерыве на половинке листа из ученической тетради Ковальский написал: «Необходимо пройти к ряду номер 14, место 20 и пригласить на сцену сидящего там молодого человека. На сцене налить из графина полстакана воды и предложить ему выпить. Александр Ковальский».

Он сложил вчетверо листок и сам отнёс в небольшой ящичек, установленный на краю сцены. Ревностно следил, вернувшись на место, как перед началом второго отделения ящичек забрали и передали сидящим за столами на сцене членам комиссии. Его вскрывал грузный мужчина, очевидно, избранный главным.

Пригласить следовало Володю Типтева — земляка Ковальского, выпускника вертолётного училища, с которым он не виделся уже года три. Типтев был одноклассником брата Петра. Его Александр заметил ещё в начале первого отделения. В перерыве специально не подошёл к нему. Эксперимент должен быть абсолютно чист: знать о задании полагалось только комиссии и Ковальскому. Ряд и место узнала Влада.

Уже по тому, как один из членов комиссии принёс и поставил на стол, покрытый красной скатертью, графин с водой и несколько стаканов, Ковальский понял: задание принято. Он внимательно следил за кучкой записок и действиями комиссии. Ничего сомнительного.

«Но зачем столько стаканов? Нужен-то всего один! Очевидно, решили с ходу запутать телепата? Это неплохо», — отметил он.

«Грузный» из комиссии назвал первой фамилию Ковальского и пригласил его на сцену. «Командам сопротивляться. Не поддаваться чужой воле», — так Александр твердил себе, пока шёл, желая проверить и себя, и Ростовцева.

Ростовцев взял Ковальского за запястье левой руки и подвёл к микрофону.

— Сосредоточьтесь на задании! Думайте о задании, — тихо, но чётко несколько раз повторил телепат вслух.

«Не думать, совсем не думать о задании», — мысленно приказывал себе Ковальский, видя, как заволновался около него телепат. Александр решил быть непоколебимым. Телепат совершал какие-то свои еле уловимые движения. Ковальский это чувствовал: рука Ростовцева то ослабевала у него на запястье, то, наоборот, сжимала ещё крепче. Зал настороженно молчал.

— Вы мне мешаєте работать, — шептал телепат, вглядываясь в Ковальского. — Думайте!

Ковальский старался, насколько мог, не думать о задании. Вдруг Ростовцев гневно отбросил руку Ковальского и произнёс громко в микрофон:

— Вы пьяны. С вами нельзя работать!

К такому Ковальский готов не был. Он совершенно естественно возразил. Тоже громко в микрофон:

— Недели две, точно, я не пил спиртного. Даже пива...

В зале зашумели. Прозвучали аплодисменты.

— Ну, хорошо, попробуем ещё! Раз так!

Телепат вновь энергично взял руку Ковальского. Они встретились взглядами. Ковальскому вдруг стало жаль Ростовцева. Ведь он, Ковальский, не выполнял самую первую обязанность индуктора: думать о задании.

«Надо думать, — решил он. — Я уже понял, что никакого обмана нет: я не думаю, он — не принимает сигналы. Или не воспринимает мысли по реакции моей руки. Посмотрим, что будет, если начать думать».

Александр начал твердить про себя: «Ряд четырнадцатый, место двадцатое, вызвать на сцену». Так он скомандовал несколько раз, сосредоточившись только на своих мыслях, не видя никого.

Угадал ли их Ростовцев или поймал, как приёмник радиоволны, но в следующий момент, увлекая Ковальского за собой, устремился в зал.

«Получилось, получилось, — думал Александр, пока они бежали. — То слышит мысли, то — нет. Мой эксперимент удался, он — не шарлатан, он — молодец! А я могу себя контролировать. Ведь только когда мне жаль его стало и я сам сосредоточился на задании, он тогда ожил, этот «человек-приёмник».

Когда они оказались около удивлённого Типтева и телепат замешкался, Ковальский мысленно чётко скомандовал: «На сцену!».

Через несколько мгновений все трое были там.

— Я правильно всё сделал? — спросил Ростовцев Ковальского, приблизившись к микрофону.

— Да, — односложно подтвердил тот.

Раздались аплодисменты. Это кольнуло самолюбие Ковальского. Он поспешил добавить:

— Но не всё задание выполнено.

— Да-да, — согласился быстро телепат и сжал его кисть.

Александр понял, что, очевидно, когда зрители поддерживают сильно Ростовцева, тому работать легче. Видимо, настроение зала влияет на телепата и на него, Ковальского. Не в его пользу. Он решил думать о задании, но намеренно обрывать мысли. «Стакан, вода, стакан, вода», — повторял про себя, намеренно не указывая, что с ним делать, с этим стаканом, дальше.

Телепат начал переставлять стаканы на столе, взяв в руки графин. Видно было, что боится ошибиться. Будто знал, что команду специально не договаривают.

Ростовцев правой рукой держал запястье Ковальского, а левой — графин. Попытался приблизить графин к одному из стаканов, но Ковальский чётко мысленно произнёс: «Не тот стакан».

Тут же последовала реакция. Поразительно! Александр давно уже проникся уважением к Ростовцеву... Он ещё раз скомандовал про себя: «Стакан воды». И телепат вновь засуетился.

Когда он поднёс графин к третьему стакану, Александр сдался: «Налить воды в этот стакан и напоить земляка».

Ростовцев поспешно, будто боялся, что Ковальский передумает, налил воды и протянул стакан Типтеву.

— Пейте! — бодро сказал он.

Типтев принял стакан. Телепат под руку подвёл Ковальского к микрофону и галантно спросил:

— Я всё выполнил правильно? — голос его зазвучал звонко и уверенно. Ростовцев уже не смотрел на Ковальского так пристально, как несколько минут назад.

— Всё точно, — согласился Александр. — Спасибо, — и с удовольствием пожал протянутую ему руку.

Зал аплодировал. Когда аплодисменты затихли, телепат уже в спину уходящему Ковальскому бросил:

— И вы мне не подсказывали, верно? — он снова стал хозяином положения.

Ковальскому показалось это несколько унижающим его в глазах публики. Вернувшись к микрофону, сдержанно, но внятно возразил в зал:

— Ну, как же, конечно, подсказывал!

— Каким образом? — развёл артистично руками Ростовцев.

Выждав паузу, Александр ответил:

— Мысленно, конечно.

Зрители шумно зааплодировали.

Когда он вернулся на место, Влада искренне удивилась:

— Ну, Ковальский, ты действительно артист. Так свободно держишься на сцене! Все только на тебя и смотрели. Охотно верю, что ты был звездой в своём деревенском драмтеатре.

— Где уж нам, — отвечал Ковальский, все ещё думая о чуде, к которому только что прикоснулся.

Когда они выходили из филармонии, некоторые в толпе дружелюбно и одобрительно улыбались Александру. Влада, видя это, забавно посмеивалась.

Уже на улице кто-то легонько тронул его за плечо. Он обернулся.

Перед ним стояла Ирина Гвоздкова. Чуть располневшая, но такая же грациозная и улыбчивая, какой она была, когда работали вместе на заводе.

— Здравствуй, Ковальский!

— Здравствуй, Ирина!

— Смотрела на тебя, когда ты был на сцене. Так повзрослел!

— Ирина, знакомьтесь — Влада.

— Очень приятно. А это мой муж Виталий Зацепин, художник.

«Я его, по-моему, где-то видел, — подумал Александр. — Кажется, на заводе».

— Не обижайтесь. Торопимся. Завтра Виталий рано уезжает. Зональная выставка «Люди большой химии». Знаешь, у него есть картины о нашем цехе, где мы с тобой трудились. И мой портрет. Глядишь, прославимся, — Ирина непринуждённо рассмеелась. — Звоните! — Она назвала номер телефона.

И они пошли к троллейбусной обстановке. Оба стройные и красивые.

В общежитие Влада в этот вечер Ковальского не отпустила.

— Сколько на тебя жадно смотрело, а ты — мой.

Он ночевал у неё.

Глава шестнадцатая

В конце февраля, неделей позже дня рождения Ковальского, к нему в общежитие пришёл дед Иван.

Он приехал из Утёвки к сыну Сергею. Оставил вещи, но, не дождавшись с работы, направился искать внука.

Когда Александра позвали к вахтёру, Иван Дмитриевич сидел на диване в вестибюле и дружелюбно посматривал на студентов, торчавших перед телевизором. Он был в бекеше и белых чёсанках.

Александр не смог бы точно передать то состояние, которое испытал, когда смотрел на деда. Смятение чувств. Скорее всего, так.

Они прошли под весёлыми взглядами ребят в комнату, где её обитатели как раз были в сборе. Вскоре все сидели за столом, баловались чаем. На краю стола лежал большущий кусок свиного солёного сала, в середине стояла трехлитровая банка с яблочным вареньем. Все хвалили и сало, и варенье.

Дед зорко смотрел на друзей Ковальского, и видно было: ему интересна эта совсем другая жизнь. Ребята ему нравились. Это заметно. Но по житейской своей привычке он не доверял с ходу тому, что видел. Надо было взглянуть поближе. Потрогать, понюхать, посмотреть на свет матерьял. А уж потом брать отрез и шить костюм. А тут такое дело: стремительно и смело водоворот жизни выхватил внука и тянул непомерной силой — по новым своим законам — ещё неизвестно куда. Мало ли чего? Где много народу, он согласен с женой Груней, всегда большие безобразия.

Всякие мысли теснились в голове. Потому и приглядывался за столом к каждому.

Но ребята открытые, весёлые. И уважительные. Обращались к нему по имени-отчеству и бекешу его, попросив померить, хвалили искренне. И он успокоился. Ребята как ребята. Одно слово: молодёжь.

А когда успокоился, рассказал анекдот, чего Ковальский никак от него не ожидал. Анекдот был про студента. Про того самого, который писал письмо родителям. Дед Ковальского так это изложил от его имени: «...всё у меня есть тут, деньжата тоже есть. Ничего не надо мне. А если будете посылать мне их, деньги-то, вместе с салом не кладите...».

Анекдот старый, но все дружно смеялись. Ковальский удивлялся деду. Он, оказывается, был ещё и такой.

— Иван Дмитриевич, — степенно обратился к гостю Гуртаев, — вы откуда про студентов анекдот знаете?

Так спросил, больше для разговора. И получил, рыжебородый, своё.

— Э... э... видишь ли, милый ты мой... студенты... они, это, как клопы, ищцо в первую империалистическую были: выдывал на фронте, в окопах. Слышал всякое! Живучи, черти!

Этот ответ подействовал сильнее, чем сам анекдот. Смеялись долго. Усмехался в седые усы и Головачёв.

Примчался дядька Сергей и потащил отца и племянника к себе домой. Они направились к остановке трамвая. Прохожие оглядывались на них. Некоторые с добродушной улыбкой, другие с кривой усмешкой. Последних Ковальский готов был чуть ли не ударить. Он безоглядно любил деда. Но не сочетались, не совмещались дедовы белые чёсанки в галошах и его добротная бекеша с городским укладом. Никак. Это Ковальский видел. А Иван Дмитриевич, казалось, не замечал.

Они шли несколько минут молча. Иван Дмитриевич, явно озабоченный какими-то своими соображениями, приостановился, сосредоточенный в себе, и спросил:

— Сергей, а вот электровоз, он как устроен?

— Да просто. Примерно, как вот этот трамвай.

— Да-а... — неопределённо произнёс Головачёв. — Понятно. Вишь ты, уголёк, значит, не переводит...

Ковальский, проклиная себя за то, что под косыми взгляда-

ми окружающих начинает стесняться деда, его экзотического вида, чувствовал себя то никчёмным щёголем, то гордился дедовым независимым видом. Он, поддерживая в душе простоту и независимость Ивана Головачёва, сам чувствовал себя представителем крепкой и надёжной породы.

Поведение деда было уверенным и прочным. Прочным, как крепко сработанные бекеша и чёсанки. Сохранял выдержку, он был дружелюбен и общителен не по-городскому с посторонними. В разговоре прямодушен. Но впросак не попадал.

* * *

— Ничего из вашего сына не выйдет, — с нескрываемой и непонятной радостью сказала Алевтина Петровна, тёща Сергея, когда они расположились на кухне ужинать.

— Почему же не выйдет? — спокойно возразил Иван Дмитриевич. — Уже вышло: человек кончил институт. Работает на стройке мастером.

— А вот уже и не работает, — вскинулась Алевтина Петровна. — Рассчитали его вчера.

— Как так, Сергей? — удивился Иван Дмитриевич. Дед даже поднялся со стула. — Ты ж недавно только стал мастером. У тебя бригада была.

— Не выдержал я, отец. Тяжело. Не для меня.

— Ты что, работы не осилил? Не поверю я. На тебе пахать да пахать.

— Да не работы, а безделия не выдержал, понимаешь?

— Нет, не понимаю ничего, объясни. — Иван Дмитриевич вновь сел, положив на край стола левую руку.

— Мой предшественник, когда наряды закрывал, всегда объёмы завыщал, приписывал. Так повелось. И все привыкли. Полдня простой, а будь добр, закрывай по полной. И не бояться бездельничать — всё равно, знают, наряд оформят, как надо. Привыкли к припискам.

— Ну, и ты, — Иван Головачёв уже понял, в чём дело, смотрел на Сергея, как на ребёнка, — не смог, да?

— Если бы только это! Тащат всё. В тот день рубероид весь уволокли вдобавок. Стоят мужички в сторонке, поглядывают на меня. Я наряд отказался закрывать. Они подослали девчон-

ку сопливаю, я её погнал назад. Смотрят нагло. Потом одного отрядили ко мне, того как раз, которого я видел, как он рубе-роид воровал. Подошёл и в лоб: «Пиши, начальник, не разводи канитель, а не то сам внакладе останешься. Понял?».

— А что же ты на это?

— Не помню, как получилось, схватил последний рулон рубе-роида, рядом стоял, и по спине нагледцу. Тот спотыкался, спотыкался и мордой прямо к бабёшкам в кружок под ноги.

— Луберолем так и махнул? Ну, сын, ты того... тебя-то не тронули?

— Нет, начальство объявилось: парторг и ещё один там... В самый кон.

— Защитило начальство-то?

— Ага, — усмехнулся Сергей. — Парторгу как раз меня и защищать.

— А что так? Рукоприкладство, конечно, дело плохое. Но ведь за дело? — воодушевился было дед Иван.

— Ага, — вступилась жена Сергея, до того молчавшая. Перебирая в руках концы полотенца, доложила: — Как же! Он и с ним поссориться успел.

Сергей тем временем ушёл в спальню и через некоторое время вернулся с аккордеоном. Прошёл в переднюю, сел на порог. Растянув меха, запел:

*Бывали дни веселья,
Гулял я маладой...*

— Дурашливый он у нас, прости меня Господи, — деланно запричитала тётца Сергея. — С ним не соскучишься. Но и не разбогатеешь.

— А с начальством-то почему не поладил? — выдерживая строгую ноту, спросил старший Головачёв.

— С начальством-то? — переспросил Сергей, положив голову на аккордеон и поглядывая юродиво на всех снизу вверх. — Я в очереди не захотел стоять.

— Скажи толком. Что городить чепуховину, — проявил на явную радость тётце Сергея недовольство Головачёв.

— У них там очередь в партию, понимаешь, у итээр.

— Итээр? А что это за зверь такой? Не слышал.

— Это не зверь, отец, а инженерно-технический работник. Это я и есть, оказывается. Итээр, хотя из крестьян.

— Поясни толком.

— Ну, что объяснять. Он меня всё в партию агитировал вступить. Я обещал подумать. Полгода думал — за это время мастером стал. Пришёл, когда решился. А он говорит: «Понимаешь, пришла разнарядка на одних рабочих пока, а ты у нас инженерно-технический работник. Подождать надо. Ты теперь — интеллигенция». Я не стал ждать. Сказал, что вступать по разнарядке не буду.

— Хорошо, что у моего зятя рубероида тогда не было под рукой, — съязвила Алевтина Петровна.

В ответ зять растянул во весь размах аккордеон и махнул кистью правой руки сразу по всем клавишам.

— Я всё-таки не понимаю: кто такой интеллигент да ещё технический, — рассуждал вслух Иван Головачёв. — Интеллигент — это, по-моему, тот, кто не может гвоздь забить сам, а, Шурка? А тут луберолем по спине. Какая интеллигенция?.. — дед, сощурившись, смотрел на внука и тому показалось, что он полностью на стороне сына. Да вот штука какая, чтобы разлад не случился в семье, надо деду деликатничать. — Тебя уволили? — спросил Головачёв суховато.

— Ага, попросили быстренько по собственному желанию, чтобы скандала не получилось. И огласки. — Сергей поставил свой красивый музыкальный инструмент на порог и бодро, как ни в чём не бывало, сказал: — У меня предложение.

— Нет возражений, — подхватил Александр.

Иван Дмитриевич одобрительно усмехнулся.

— Есть предложение: попить чайку и бай-бай. Утро вечера мудренее. Верно, ведь? Уже десять часов, — продолжил Сергей.

Чуть позже дед и Сергей проводили Александра. Вышли с ним на улицу. До трамвая Александр зашагал один.

Было грустно на душе. Сергей, дед — вот они, казалось бы, рядом. Но уже ощущался разлом. Потеря чего-то целостного и невозвратимого. Как и в тот вечер, когда после охоты два брата, Сергей и Алексей, покурив около чужого палисадника, попрощались и пошли в разные стороны. В разные дома. Тогда Шурка шёл рядом с Сергеем и на глаза наворачивались слёзы. Очень боялся, что Сергей с ним заговорит, а он в ответ разрыдается: рушился дедов дом.

Сейчас никого рядом не было.

Прохожие, попадавшие к нему, торопились по своим делам. Он уже и днём-то привык быть в городской толпе одиноким. А вечером — тем более.

* * *

В одну из встреч с профессором Засекиным, в лаборатории у Калашникова, Ковальский осмелился:

— Николай Николаевич, вот вы в прошлый раз рассказывали об улице Арцыбушевской, бывшей Ильинской. Говорили, что там жили ваши и дед, и прадед. И вы с рожденья в Куйбышеве?

— Да, это мой город — Самара по-старому, от века. В районе Ильинской церкви, около вокзала, когда-то бурно кипела жизнь. И мои прадед, и дед там жили, да... Тут зажиточные купцы Шихобаловы, Чельшевы возводили свои дома. Ну, а рядом — попроще, деревянные с резными наличниками. Отец рассказывал: торговые лавки, баня, всякие мастерские — это дело их рук. — Он присел на стул у окошка, охотно продолжил: — На Ильинской во флигеле дома девяносто пять была первая подпольная типография. А там, где сейчас общежитие медицинского института, располагалась знаменитая самарская тюрьма. Проект сделал архитектор Клейнерман. Губернская тюрьма. Самарские «Кресты» — в плане это здание имеет вид креста. В камере номер сто двадцать пять когда-то сидел Валериан Куйбышев.

— Николай Николаевич, а вот католический храм на улице Фрунзе и кирха на Куйбышевской? Как и кто их строил?

— Ну, это долго рассказывать.

— Николай Николаевич, я составил список мест в Самаре, где должен побывать и побольше узнать... Хотел ещё кое-что у вас спросить подробнее. Можно?

— Конечно, если смогу. А зачем тебе?

— Надо. Это — первый мой город.

— Первый город? — переспросил невольно собеседник. — Ты, что же, их коллекционировать собираешься, города-то?

— У меня своё. Вот католический храм, поляки в Самаре...

— А-а... — неопределённо протянул профессор. — Похвально, похвально... — Потом запнулся. — Ковальский, так у тебя

родители — поляки? Тогда... ты вот что... у меня по вторникам два часа после четырнадцати свободные, заходи на мою кафедру. Знаешь, где она? На втором этаже, справа от лестницы. Вот там и поговорим.

Ковальский несколько раз побывал у профессора, порылся в его записках и кое-что теперь знал о «самарских» поляках.

Оказалось, что история возникновения католицизма в Самаре обязана своим рождением первым поселенцам-полякам — католикам по вероисповеданию.

В конце концов результатом продолжительных войн Российского государства с Речью Посполитой стало Андрусовское перемирие 1667 года, по которому в район Закамской зоны в 1668 году была переведена на поселение «Полоцкая шляхта». Группа состояла из польских дворян (шляхтичей) — 532 человека. Возглавлял её полковник Гаврила Гаславский. Они не захотели служить своему королю и выразили желание переселиться в Россию. В Заволжье выделили земли для усадеб польских шляхтичей. Отведены пашни, луга и леса. Всё это делалось по приказу российского царя.

К середине XIX столетия в Самаре сложилась колония польских католиков. Мятежные выступления в католической Польше, бывшей на тот момент частью Российской империи, пополнили её ряды ссыльными мятежниками. Самарские католики ещё не имели своего храма. Но их влияние на жителей города было сильным.

Самарский купец первой гильдии Аннаев, католик по вероисповеданию, пожертвовал на строительство католического храма необходимые деньги. Проект заказали самарскому архитектору Николаю Николаевичу Еремееву. К 1865 году основное здание было готово. Однако власти не разрешили открыть католическую церковь. Это было своеобразной реакцией на очередные мятежи в Польше. Почти завершённый храм передали лютеранской общине Самары.

Только 26 мая 1887 года, уступая настоятельным требованиям, Министерство внутренних дел разрешило католикам открыть свой молебельный дом на углу улиц, которые теперь называются Красноармейской и Фрунзе, а через некоторое время власти позволили начать строительство нового католического храма на средства общины.

Костёл со стрельчатыми башнями высотой сорок семь метров был возведён в период с 1902 по 1906 год по проекту петербургского архитектора Богдановича, который получил признание как один из лучших в России.

Костёл начал действовать 12 февраля 1906 года. Под сводами его звучал орган, привезённый за большие деньги из Австрии.

При костёле работала начальная польская школа, преобразованная затем в клуб с библиотекой. В нём устраивались литературные вечера и концерты.

В годы Советской власти он был закрыт.. С 1941 года там расположился областной краеведческий музей.

...Далёкую историю профессор знал, но об интернированных поляках во время Второй мировой у него были смутные сведения.

— Знаешь, то ли в Рязани, то ли в Бузулуке формировались дивизии. Они могли стать частями 1-й Польской армии. Но был ли твой отец там? Мог ли быть?

— А как он вообще мог попасть в Советский Союз? — допытывался Ковальский.

— Это и простой, и сложный вопрос. Видишь ли, полякам при наступлении немцев разрешили уходить через границу. А потом их начали кого куда рассредоточивать... Я покопаюсь кое-где. Может, что и прояснится.

* * *

В следующий раз, когда Ковальский пришёл на кафедру к Засекину, тот протянул ему листок с машинописным текстом.

— Вот, специально для тебя нашёл, у меня второй экземпляр есть. Бери с собой. Только особо никому не показывай. Там про площадь Революции...

Александр хотел было спросить об отце, но профессор, догадавшись о его желании, развёл руками:

— Пока ничего. Не торопи!

По дороге в общежитие он прочёл о площади Революции. И узнал много неожиданного.

Оказывается, на Алексеевской площади, как её раньше называли, был единственный в Самаре памятник царю Алексан-

дру П. С идеей сооружения памятника выступил во второй половине 80-х годов XIX века городской голова — Пётр Алабин. Человек необыкновенного гражданского мужества, широкой эрудиции и неукротимой организаторской энергии. С его именем в Самаре связаны строительство драматического театра, Кафедрального собора, развитие публичной библиотеки и расширение краеведческого музея.

Закладка памятника императору-освободителю состоялась 8 июля 1888 года, а 30 августа 1889 года его торжественно открыли. Воздвигнутый по проекту Шервуда, памятник отражал главнейшие направления деятельности царя-реформатора. На массивном пьедестале из красного финского гранита, украшенном бронзовыми венками с царским вензелем, возвышалась бронзовая фигура в общегенеральском сюртуке и фуражке, государь левой рукой опирался на саблю. На обращённой к Волге лицевой стороне был укреплён щит с надписью: «Александру II, Царю-Освободителю. 1889 г.». На противоположной стороне пьедестала располагались щиты с перечислением основных событий и важнейших реформ его эпохи. По углам пьедестала — четыре фигуры — крестьянин, в левой руке которого была хартия с надписью «19 февраля 1861 г.», напоминавшей потомкам об отмене крепостного права; фигура женщины, сбрасывавшей чадру и олицетворявшей присоединение Средней Азии; о покорении Кавказа свидетельствовал черкес, переламывавший шашку о колено; молодая женщина, разрывавшая цепи и попиравшая знамя с полумесяцем, символизировала освобождение Болгарии от турецкого ига.

В двадцатые годы все фигуры демонтировали. На постаменте установили статую вождя мирового пролетариата.

«А мне ещё тогда, в первый раз, когда я увидел памятник, показалось, что пьедестал слишком большой, как будто Ленин на чужой забрался, — вспомнил Ковальский. — Так и есть».

Засекина он зауважал, несмотря на его необычный и колючий характер. Стараясь как можно чаще заглядывать на кафедру, каждый раз узнавал от него что-нибудь новое. И удивлялся: «Станный человек. Когда говорит со мной о прошлом, об истории — спокойный и педантичный, начинает рассуждать с Калашниковым о будущем — становится взъерошенным и категоричным...».

Глава семнадцатая

Утром в вестибюле общежития в кармашке на «К» Александр обнаружил письмо от Анны. Прочёл сразу. Давно Анну не видел и соскучился.

В этом письме, как и в предыдущем, ничего бытового. Только признание в любви и обещание любви. Но странное дело: Ковальский не первый уже раз чувствовал, что не всё так лучезарно и радостно. И именно он, Ковальский — тому причина. Есть какие-то обстоятельства, которые корёжат её жизнь. Но она всё выпрямляет и делает светлым. Долго так не может продолжаться...

Когда Александр думал об Анне, порой чувствовал себя мелким преступником. Чуть не воришкой. Осознавал, что крадёт легко и чудовищно свободно чужую жизнь и её тратит. Чужую, не свою...

Вспомнился случай из детства, когда впервые испытал подобное чувство.

Однажды они с дедом Иваном и бабой Груней приехали косить сено на дальний лесной кордон в Моховом. Дед Иван хорошо знал жившего там лесника. Он-то и пригласил Головачёва к себе, разрешив заготовить на зиму сена. Иван Дмитриевич и Алексей, так звали хозяина, сразу же пошли посмотреть деланку, где была хорошая трава.

Хозяйка большого деревянного дома, выросшего в землю и окружённого березняком и осинником, увела бабу Груню вглубь больших, светлых комнат. Она разговаривала громко на ходу и не переставала, как и её муж, улыбаться. Видно было, что хозяева рады приезду людей. И как не радоваться, если целыми неделями в дом лесника никто не заходит.

Шурка сидел смирно на широком красивом тесовом крыльце и, не находя пока себе серьёзного дела, смотрел вокруг. Не то чтобы скучал, нет. Скоро должно начаться-разворачиваться какое-нибудь действие: либо они будут собираться и поедут дальше, как только дед с лесником вернутся, либо будут располагаться здесь на несколько дней.

Он осматривал, не спеша, двор, который никак не огорожен, а был частью огромного леса и ровной полянки, давшей ему возможность прилепиться ко всему в округе. Дом с тесовой крышей, потемневшей и позеленевшей, как живое существо,

походил на медведя или какое-то другое лесное чудо. Пахло уютно сосновой хвоей. Почти полуденное солнце крепко пригревало. Куры купались в коричнево-жёлтой пыли. Около новенькой баньки и калды Шурке было нормально — до него солнечные лучи не доставали.

Взгляд упал на бельевые верёвки на широкой террасе, куда он не успел подняться, задержавшись на крылечке. На этих верёвках виднелись такие штуки, мимо которых нельзя пройти просто так. Они притягивали к себе. Как мелкие рыбёшки, вывешенные посушиться после засолки, висели прищепки. Алюминиевые... Не деревянные какие, алюминиевые! Самые надёжные и форсные штуки, которыми зацемяляли широченные штанины, вернее, штанину на правой ноге, чтобы её не «забирало» в цепь, когда катаешься на велосипеде. Мечта! В Шуркином пятом классе ни у кого таких не было.

Он не помнил, как поднялся по тесовому крылечку, ступеньки которого были ещё белыми, не затоптанными, и оказался на террасе.

Их было много! Этих красивых прищепок. Он попробовал одну, крайнюю. Пружина упругая, что надо! А челюсти — будь здоров: то место, которым она хватала верёвку, — всё в мелких, но четких зубцах. Как у хищной рыбины или у мелкой ножовки.

Он оглянулся на дверь, на окна — никого не видно. Верёвок две, а прищепок так много, что Шурка не стал считать их. Снял две крайние и быстро сунул в карман брюк. Вообще-то, хватило бы и одной, надо-то всего одну штанину прищемлять. Но мало ли чего? Две взял. Их так много в этом лесу, на кордоне. Кто их считает?..

Не зная, что делать дальше, мучаясь: а вдруг кто-то увидел, как он... украл... украл... — двигался по террасе, заглядывая во двор. На самой вершинке осины стрекотала сорока.

— Сама ты воровка известная, — не выдержал Ковальский.

Ему показалось, что она видела, как он взял прищепки и теперь знает про него все. «Что же я сделал-то. Украл? Или просто взял? Их много. Никому от того, что всего-то двух не стало, погибели не будет! взял и взял. Можно было бы и попросить? И наверняка дали бы! Хозяйка такая молодая, крепкая, в белой чистой кофточке. Добрая — видно сразу».

Когда она их встретила, сказала так ладно:

— Ну, хоть будет с кем пообедать, покормить кого! Мой всё в разъезде. Одной без людей — маята.

— А вы бы ребёночка родили, — сказала баба Груня. — Вот и была бы радость великая.

— Не получилось у меня с первого разу-то, надсадилась. Тут столько делов — выкидьш был...

— Как же ты так, бедненькая...

«Просить прищепки вроде бы неловко. А так брать — значит, своровать. Я своровал, выходит?..»

Шурка бесцельно прошёл с террасы во двор. Отвёл в тенёчек мерина Карего, привязал длинной вожжой к сосенке. И отправился, не зная, зачем, в дом.

Когда Шурка вошёл, женщины сидели в передней. Он было пошёл к ним, но голос хозяйки остановил:

— Там, на столе, я налила в кружке молоко, хлеб рядом под утирником. Пока перекуси, мужики придут — будем обедать.

— Шура, мы тут о своих бабьих делах покалякаем, а ты — сам, — добавила баба Груня.

«Не видели, что я взял прищепки, а то бы разве так разговаривали со мной», — успокоился Шурка.

Он принял для себя, что всё-таки это не кража. Так себе... Просто взял. Но всё равно ему очень не хотелось, чтобы хозяйка заметила пропажу. «Она-то может подумать, что это кража».

Он пил молоко из большой эмалированной кружки, у которой в одном месте с наружной стороны, где дно плавно переходит в стенку, была вмятина. Эмаль отлетела и кружка, если её поставить одной стороной, была очень красивой, ладной, а если другой, когда видна вмятина, уродливой от случайного, может, удара.

Шурка вертел кружку в руках и вдруг решил: «Я, как эта кружка. С одной стороны теперь такой, какой украл, ну, взял чужое. А с другой — какой раньше был».

Он прислушался к ровному голосу хозяйки, доносившемуся из передней, и замер. Сердце его упало.

— Все меньше и меньше их становится, каждый раз, как кто-нибудь приезжает..

«Кого? — оборвалось всё внутри. — Кого меньше?»

— Они, эти прищепки, красивые. Из города Лёша привёз, вот и притягивают..

— Нехорошо-то как брать чужое, — вздохнула баба Груня.

«Они видели, видели! — в ужасе и панике думал лихорадочно Шурка. Забыв про свою большую кружку, сидел, прижатый к столу, сработанному из толстых берёзовых плах с темноватыми коричневыми сучками. — Баба Груня сказала «взял», а не «украл». Это специально так? Конечно! Она же всё всегда понимает. Это она не зря так! А хозяйка как сказала?» Он затаился и слушал.

— Другое дело бы: взяли, а потом вернули — и всё, — четко произнесла хозяйка.

«Видели, видели! — догадался Шурка. — Они и выход из положения подсказывают: незаметно повесить прищепки на место. Знают, что я всё слышу, и делают надо мной опыты. Я, как подопытный мышонок. Сам себя таким сделал».

Ему стало не по себе. Обида и горечь жгли не меньше, чем раскалившиеся, казалось, добела прищепки в правом кармане штанов. Шурка потрогал рукой эти прищепки через ткань. Они и вправду горячие.

«Повесить на место», — было первое нестерпимое желание. Шурка шмыгнул в приоткрытую дверь на террасу, боясь, что вслед раздастся смех.

Он уже вынул прищепки, но подумал, поймав надежду: «А может, не видели, что я взял? Просто хозяйка предполагает? Когда я привязывал Карего, она выходила на террасу и увидела, что стало меньше. И сказала на всякий случай».

Шурка держал прищепки в руке. Оцерившиеся в его ладони своими зубастыми ртами, они, казалось, насмешливо ждали.

Шурка оглянулся на дверь и окна. Никто за ним не наблюдал.

«Если повешу на место, хозяйка, хотя и не видела, как я взял... «взял», — повторил он про себя, он не хотел другого слова, — поймёт, что это я. Сам себя выдам. А если не верну и не «возьму» — тогда совсем другое дело».

Шурка пошёл к своему надёжному другу Карему...

...Он закопал прищепки под сосенкой, дав себе слово, что не возьмёт их никогда.

Его тогда никто не спросил про пропажу. Но Шурка долго про неё помнил. И, когда баба Груня смотрела на него иногда грустными и задумчивыми глазами, ему всё казалось, что она вот-вот спросит об этих проклятых и зубастых прищепках. Они своими зубами вцепились в Шурку надолго...

Мишка Лашманкин, друг детства, оказался прав. Его, Ковальского, вскоре «закрутило». Влюблялся он пылко... и каждый раз ненадолго. И сам смотрел на это с недоумением.

Связь с Анной была единственной из тех, которую не мог прервать. Так ему казалось. Он был ею просто повязан. Попал в сладкий, радостный плен. Надолго ли, он не знал.

А она от него ничего не требовала, не просила ни о чём. Но Александр чувствовал в ней какой-то надрыв. Она отличалась теперь от той Анны, которую узнал тогда, более двух лет назад; стала жёстче, решительней. Но не с ним, а сама по себе. Он это видел. С ним была прежней, непринуждённой. Но иногда казалось, что она выполняет некую свою программу. Будто линию поведения сама себе однажды задала и её изо всех сил придерживается. Но зачем? В ней шла уже другая жизнь, нежели прежде, а вернее, может быть, третья жизнь? Была глубина, которую она скрывала. Он это ощущал. Будто огромная воронка могла вот-вот возникнуть на ровном речном потоке и поглотить очень многое. Но какая воронка и что могло по-серьёзному утрачивать им обоим? Ему? Ковальский терялся в догадках.

«Не муж же опасность? — думал он. — Да, краду что-то у них обоих. У него. Но я давно готов прекратить отношения с ней. И не могу только потому, что она начинает плакать, когда намекаю об этом. Но она и без того прибежала ко мне тайком с печальными глазами... Как случай с прищепками», — размышлял Ковальский.

«У меня, как тогда, эмаль пооблетела. То, что по-первоначалу, надо признаться, было ещё и предметом мужской гордости, теперь — грустная история. Порвать с Анной окончательно? Это для неё, может, самое лучшее. Пусть все прищепки будут на месте».

Зубастые прищепки долго ещё кусали его, часто напоминая о том, что всё-таки он украл. Сейчас происходило что-то похожее. Александр постоянно носил в себе чувство вины перед Анной. Но не мог сформулировать чётко степень этой вины. Как не знал и не понимал, что надо свершить, чтобы было все как надо. Это незнание «как надо» тяготило его.

Александр решил съездить к Анне и попытаться поговорить.

...Он невольно вспомнил Владу и усмехнулся.

В одну из бурных встреч с ней случилось то, что ошеломило его, и он не мог потом найти этому определения.

Александр лежал ничком, распластавшись на кровати. Истома охватила всё тело, от макушки до кончиков пальцев. Чувствовал, что засыпает. Прошло уже более получаса, а Влады всё не было. Преодолевая себя, встал и пошёл к ванной комнате. Лучше бы этого не делать! Когда Ковальский открыл дверь, она сидела голая на краю ванны, широко расставив ноги. Левая рука внизу живота. С закрытыми глазами она билась, словно в его объятиях. Ещё сильнее, чем в его объятиях!

Он растерялся. Задел вешалку и большое полотенце с шумом упало на пол, опрокинув ведро.

Влада открыла глаза и с блаженной ленивой полуулыбкой посмотрела на него. Словно спрашивала, вяло удивившись, одними глазами: кто ты, зачем здесь?

Александр был на грани шока. Не мог ничего сказать. Слова пропали куда-то. Когда оправился, спросил:

— И давно ты этим занимаешься?

— Ну, не с утра же, ты знаешь, — она пришла в себя быстрее, чем он. Подняла с пола полотенце.

— Нет, я вообще? — выдохнул он.

— Так и будем голые стоять? Пойдём в спальню. — Уже прячась под простыню, добавила: — Это мои шалости. Моя тайна.

— Ничего себе, — вырвалось у него. — Шалости! Такое у тебя только со мной?

— Ну, что ты, как танк! Успокойся, я с двенадцати лет это делаю.

Сидя рядом на кровати спиной к ней, Ковальский повёл плечами. Не поворачивая лица, сказал:

— Но ты же только что была со мной? Я тебя не устраиваю? — Последние слова он сказал, делая над собой усилие.

— Ты — молодец, — сказала Влада, нисколько не стесняясь. — Но это даёт мне больше, чем вообще мужчины.

«Вообще мужчины», — эти слова, кажется, добивали его.

— И это правда?

— Ещё какая!

Александр не находил слов. Она же не хотела этого замечать. Как бы спохватившись, попыталась успокоить.

— Этим занимается половина всех женщин, значит, это естественно, успокойся.

— Естественно? — выдохнул Ковальский.

— Ну, да!

— Дикость какая-то, — ёжился он, надевая брюки.

Влада зло смотрела, как он ищет рубашку. Хотел было что-то уточнить, но она опередила:

— Да иди ты! Дикарь, да ещё какой! Не хочу разговаривать, раз не понимаешь.

— Я только хочу...

Она не дала ему договорить:

— Иди к чёрту!

— Ну, раз так, — Ковальский запнулся, не зная, как поступить.

Так ничего и не сказав, заправил рубашку, взял пиджак и вышел в коридор.

Она лежала всё так же, укрывшись до подбородка простыней. Когда услышала, как громыхнула входная дверь, повернулась лицом к стене, словно отгородившись ото всех, и расплакалась.

Ему было трудно представить такое.

Александру казалось, что всё понял про неё. Недели через две после того случая он увидел её с высоким ладным парнем. Влада шагала с ним «под ручку» и что-то щебетала так, как умела только она. До этого её не было на занятиях. «Так же, как у нас с ней тогда», — отметил Ковальский.

Она не очень смутилась, когда увидела его.

— Саша, привет!

Он ответил буднично:

— Привет.

Дня через три перед началом лекции Влада подошла к нему.

— Понимаешь, я влюбилась... это так естественно. А разговор у нас с тобой ещё будет, ладно? Я тебя буду помнить долго.

Она стояла около него улыбающаяся, жизнерадостная. Большие голубые глаза смотрели ясно и, казалось, совсем невинно.

Ему не хотелось с ней говорить. Всё так ясно. Александр демонстративно в такт её слов кивал головой. Когда вошёл преподаватель, Влада и Александр, не сговариваясь, сели отдельно: она впереди около окна, он — сзади через два ряда от неё.

Солнечные лучи касались её красивой причёски. Головка прилежно склонялась над тетрадь, а обращённая к окну завитушка светлых волос, как гирляндочка, беззаботно колыбалась около матовой мочки уха. Эти гирляндочки он любил, балуясь, надевать на мизинец.

Записывать то, что доносилось с кафедры, не хотелось.

Встала перед глазами одна из последних встреч. «Бойся больше всего блондинок, — вспомнил Ковальский, невольно усмехнувшись, нравуочения Влады. — Таких вот, как я».

— А чего вас бояться-то? — просто так, нехотя спросил тогда Александр, запустив всю свою пятерню в её полуразвалившуюся модную «бабетку». Она приподняла голову и волосы упали ему на грудь. Влада стала, дурачась, крутить головой у него под подбородком, не давая как следует дышать.

— Тебе повезло, что я тебе попалась такая.

— Какая — такая?

— Такая вот. Удобная. И есть, где встречаться, и вообще...

— Ты говорила, через десять дней твои родители приезжают и конец нашей свободе.

— Ну, это ещё когда. Хотя: да, у нас ничего не получится серьёзного. Тебя ни за две недели, ни за год не приручишь. Неподдающийся. Из тебя собственности не сделаешь. Ты относишься к той породе мужчин, которых пугает привязанность к одной женщине.

— Ты так уверенно говоришь? Я сам себя толком не знаю, а ты уже... — Александр замолчал, потом добавил, подняв её голову с разлохмаченными волосами со своей груди: — Уже диагнозы ставишь?

— Потому что я блондинка, а значит, чуточку ведьма.

— Кто? — удивился Ковальский. — Ведьма?

— И ещё, я — мощная энергетическая станция. Я это чувствую! Любовь — мощнейшая, самая мощнейшая внутренняя энергия. Я это поняла. Её кто-то закачивает в нас. И мы потом только подчиняемся ей.

— В блондинок больше закачивают? — поинтересовался Александр.

— Блондинки больше ведьмы, вот и всё. Привораживают чаще.

— Как? Ты вообще всерьёз говоришь эти вещи?

— Ещё бы, — ответила Влада и села рядышком на кровати. Начала поправлять рассыпающиеся волосы. Её сверкающая сахарной белизной грудь заслонила на миг всё. Он даже зажмурился.

— Я вот знаю рецепт приворотного зелья, которым отгоняют разлучницу и присушивают суженого, сказать?

— Непременно! Может, сам готовить буду для какой-нибудь, мало ли...

— У мужиков не получится.

— Почему?

— Слушай рецепт. Потом поймёшь. Его знает каждая обманутая женщина. Значит так: в ста граммах сухого вина развести чайную ложку жжёных волос изменника, отжать, настоять при лунном свете, нагреть на поминальной свече, обмазанной интимной женской влагой, и ему, родненькому: пей да люби, кого велено.

— Это всё правда, что ли? — уже всерьёз изумился Александр.

— А ты как, миленький, думал? Ещё случится с тобой и это! Почувствуешь, что против воли любишь.

— Что ж ты мне не подсунула этой штуки, а?

— Я — добрая блондинка. Не хочу тебя мучить. Вы, мужики, почти все устроены разумно. Хочешь есть — вот тебе пища, пить — вот тебе вода. Физиология успокаивается половым актом. Скушал и дальше попрыгал. Я знаю все твои связи, — безо всякого перехода проговорила Влада.

— Что? Неужели всё знаешь про меня? — искренне удивился Ковальский.

— Ну, почти. Я следила, если хочешь. Я такая.

— И надо тебе это?

— Мне — да! Вам, мужикам — нет! Но я не мороженое.

— Не понял.

Она пояснила:

— Многие женщины, как мороженое: вначале холодные, потом сладкие, а уж после — липкие. Я не из таких. Но в нас, женщинах, всего намешано через край. Мы — ведьмы. Мучаемся и мучаем сами. Это нам надо.

...Лекция заканчивалась. Он сунул в сумку нераскрытую тетрадь.

К концу семестра её провожал уже другой парень, такой же высокий и ладный. Футболист. Предыдущий был, кажется, из лёгкой атлетики.

Весь семестр Ковальский хандрил. Неуютные мысли размагничивали: «Если кто-то когда-то и будет судить меня за связь с Владой, мои другие поступки, я не буду оправдываться. Мои амурные дела — моё право. Я непостоянен? Но ведь хочу многое знать! Я ещё до конца не знаю, в чём и когда надо быть постоянным. Хочу пройти через нечто, что укрепит меня, делает опытнее. Хочу знать жизнь! А пока бегаю по её задворкам. Много ли вообще можно познать в мои годы? В студенческие годы? Не тороплюсь ли? Расширить знания можно, путешествуя, занимаясь туризмом. Но странно, я не чувствую большой тяги к путешествиям, перемене мест. Во мне этого нет. Может, не рождается эта страсть, подспудно сдерживаемая сознанием того, что ездить-то не на что. Да и когда? Летом обязательно домой на сенокос к отцу, на заготовку дров, в другое время — учеба. А стоит ли учеба длиной в пять лет того, чтобы в жертву ей приносить очень многое? Этот трамвай, мчащийся пять лет без остановок, хотя уже привычен и освоён, но может выбросить на повороте, не сдай попробуй пару экзаменов вовремя. Многое тогда полетит кувырком. Всё-таки, видимо, всё ещё впереди! Хороша студенческая пора, но что-то есть многообещающее в том времени, когда лопнет верёвочка, которой ты, как телёночек, привязан к кольшкку на полянке, и радиус твоих действий и возможностей равен длине этой самой верёвки.

Или так будет всегда? Наступит иная, не студенческая жизнь и появятся другие верёвочки и другие кольшкки? И ты опять на привязи? Всё относительно? И безысходно? Тогда где выход? И нужен ли он? Сколько надо познавать жизнь? Кто определил? Сколько хочется? Сколько сможешь! Тогда нужно идти в глубину: в истину, в многослойный пирог её...

Почему в институтах не учат философии? Философии жизни. То, что дают, смешно. Все делают вид, что постигают что-то высшее. Высшая школа. Но ведь это не так. Не могу сказать, как должно быть. Но не так. В студенческом научном обществе написал два реферата. И смешно: за один из них получил

первую Всесоюзную премию среди студенческих философских работ. Но я же невежествен в философии, так что же? Другие ещё хуже? Мне «автоматом» после этого поставили «отлично» по философии без экзамена. Нормально?

Если сейчас сравнивать, где получил больше опыта для понимания жизни, уверенно скажу: не в институте. Не в городе. В моём детстве, в деревне. У деда с бабушкой, родителей. Там, где было множество судеб, событий, переживаний. Там получил то, что теперь для меня бесценно и будет долго влиять на мою жизнь... Там — открытое небо. Здесь — аудитории. В идеале это должно бы соединиться, совместиться и дать многое. При моём рационализме, который я в себе культивирую вопреки своей натуре, мог бы кое-что, очевидно, сделать в жизни. Не зря же этот поединок веду в себе.

Счастливы люди, рано понявшие, кто они и для чего созданы, почувствовавшие в себе дар, страсть к чему-то. И я хочу чего-то большего для себя и значительного. Но не знаю, что это? Большое и значительное? Институтские знания — это только как общеобразовательное начало? Или профессия на всю жизнь? Судьба?»

Мысли, мысли — они размагничивали. Порой находила необъяснимая тоска. В такие дни Александр всё делал механически, машинально. Физическое в нём как бы работало, жило, а дух дремал, спрятавшись, затаившись. То ли оберегая, то ли готовя к чему-то новому. Если бы кто знал, что на него находит такое, не поверил бы. Ковальский внешне был энергичен, деятелен и уравновешен. Хотя и нетерпелив, и порой торопился там, где этого делать, может быть, и не следовало. А может, и не так? Он считал себя рациональным, ему хотелось, чтобы так было. Но, выработав со школы привычку часто подавлять в себе эмоциональное, впадал при этом порой в рассудочность и занудливость. Он это и сам чувствовал. Но по-другому уже не мог.

Глава восемнадцатая

Высоко над Самарой, разбросав избы на обрывистом берегу, лежит, как большая кошка, посёлок. Правый берег реки в этих местах крутой и возвышается на высоту птичьего полета. Большой частью он был раньше красно-рыжего цвета и оттого-то сра-

зу не поймёшь, особенно на зорьке, отчего алеет вода в реке: от лучей ли восходящего солнца, многократно отразившихся в густых зарослях краснотала, или от этого удивительного цвета берега.

Посёлок называется Красная Самарка, а вся округа вверх вдоль реки Самары — Баринова гора. Жил здесь когда-то особенный человек, построивший себе дом на красивом высоком месте, как раз напротив Покровской церкви, которая стоит за рекой в селе Покровка. Привёз он, как говорили старые люди, в это облюбованное им место жену-цыганку красоты исключительной. Но цыганка вскоре умерла, умер и барин, так что никто теперь и вспомнить не может, когда это было. Всё кануло в Лету. Осталось одно название.

Правый берег — лесистый. Смешанный лес постепенно переходит в сосновый. Чем выше, тем чаще и чаще появляются сосны. Постепенно всё видимое пространство земное объединяется в сосновые, осиновые, берёзовые колки и перелески, уходя туда, где шумит вековечно реликтовый сосновый бор под Борским. Посёлок лежит на правом берегу. Левый берег — край степи. Лес тонкой лентой вьётся вдоль него, а дальше, за лесом — степная напевная даль.

Вчера, опоздав на рейсовый автобус, который шёл через Кряж, Домашку — в Утёвку, Александр махнул домой на попутке через Мало-Мальшевку. Не раздумывая долго, пешком направился оттуда до Утёвки.

Этой песчаной дорогой они с дедом Иваном ездили не раз, когда косили сено в Моховом. Но это было давно. А теперь пошёл уже третий месяц, как дед Иван сильно заболел. Сдало сердце. К тому же, глаукома делала своё дело — правый глаз уже почти не видел. Внук не мог к этому привыкнуть. Не мог долго оставаться около деда, беспомощно лежащего в передней избе. Спокойствие и сдержанность, с которыми Иван Головачёв принял болезни, его внезапная физическая немощь и, как понимал Александр, обречённость, убивали. Ему трудно было говорить с дедом. Перехватывало горло. Постоянно боялся расплакаться на глазах у больного. Чтобы не разрыдаться, быстро уходил во двор. Там плакал навзрыд, как маленький.

Александр пробовал не заходить к деду, чтобы не расстраивать его, но начинал бояться: вдруг тот подумает, что внук забыл про него. Он не знал, как поступить правильно.

И в силах ли он поступать правильно?

...Александр шёл по песчаной коричневой дороге. Всё знакомо. Недалеко от кургана, который возвышался справа, Шурка когда-то тут почти целый месяц прожил с дедом на бахче в шалаше. Это здесь весёлый охотник Алик, артист из драматического театра, научил по-своему есть арбуз — ложкой, разрезав его напополам.

Недалеко от песчаного оврага, у поворота на Моховое, в тальнике всегда бывали грузди. Однажды они с дедом, возвращаясь с сенокоса, набрали целый фургон. Тогда же Шурка чуть было не поймал хромого, но юркого лисёнка.

Это место с детства завораживало Ковальского.

На кургане «Человечья голова» не раз находили наконечники стрел. Однажды попались бронзовое зеркало и человеческий череп, около которого лежал наконечник копья.

Вспомнилось, как Мишка Лашманкин рассказывал о другом кургане. В нём археологи нашли тело вождя — человека ростом около двух метров. Дно могилы было засыпано слоем охры. Учёные пояснили: охра считалась у древних символом жизни. В правом углу стоял огромный глиняный сосуд. В ногах — медные вещи: два ножа, топор, шило, тесло. Сбоку лежало стилетообразное орудие с железным (очевидно, метеоритным) наконечником. Были и золотые серьги. Учёные позже определили «возраст» захоронения — на рубеже третьего и второго тысячелетий до новой эры. Они с дедом живо это обсуждали. Жутковато представлять жизнь тех тысячелетий. И знать, что ты, возможно, потомок кого-то из тех, кто здесь скакал на коне...

...Когда Александр уже подходил к Крепости (так часто называли посёлок Красная Самарка), захотелось посидеть у Баринаова дома, как это делал не раз с дедом, и полюбоваться красотой речной и лесной дали, уходящей к посёлку Гвардейцы, всем величественным пространством с белоснежными облаками на бездонном, непостижимо близком и таком далёком июльском небе, которое там, вдали, ласкает купол утёвского Троицкого храма. Прямо перед глазами: лёгкий поворот Самары в мягких песчаных берегах. Чуть поодаль — плёс, на котором непременно всегда плещутся на мелководье утки, чаще кряквы. А в середине всего, внизу, сразу за рекой и лесом, в середине белых, жёлтых, коричневых кубиков-домов и все-

возможных построек, освещённый благостным светом, стоит величественный старинный Покровский храм.

Отыскать Баринов дом просто. Поднимаясь по песчаной дороге от Крепости вверх вдоль Самары, надо дойти так, чтобы Покровский храм оказался справа на прямой перпендикулярной линии к дороге, тогда слева в десятке метров — место бывшей усадьбы.

Когда Александр подошёл к Баринову дому, над Покровкой была тень. Он приблизился к зарослям сирени и акации, росших когда-то под чьими-то окнами. Стручки жёлтой акации лопались в сухом сладком воздухе гулко и беззаботно. Как, наверное, и десятки лет назад. Александр потрогал ногой останки кирпичного фундамента, он ещё крепок, не сыпался. Под домом был когда-то погреб либо глубокое подполье. Яма заросла польнью. Ковальский бросил камень, оттуда вылетела бойкая пичужка и скрылась в березняке. И теперь тут чей-то дом и жизнь. Облачко там, высоко наверху, не спеша отошло, и Покровский храм, и всё село осветились. Всё стало сказочно нарядным. Александр пошёл навстречу храму. Пересёк дорогу, сел на правой её обочине и долго сидел, очарованный.

Вспомнил рассказ деда о том, как возникла Покровка.

Не так уж вроде и давно, в начале девятнадцатого века, три брата Топорковы на берегу Самарки построили три бревенчатых дома. Занимались охотой, рыбалкой. Расчищали землю от деревьев для посева хлеба. К ним потянулись другие переселенцы. Когда власти узнали о посёлке, он в силу своей удалённости от городов и больших поселений стал местом для ссыльных. Первыми прибыли ссыльные из Воронежской и Тамбовской губерний.

У Александра был одноклассник Андрей Топорков, который ничего не знал об этом. А дед Ковальского — знал, его это сильно интересовало. Передалось это и внуку.

Чуть левее от Баринова дома, если сидеть лицом к храму, внизу, в сумрачном овраге, прикрытом зарослями высокоствольной ольхи, в окружении четырёх неохватных осин бьёт из земли родничок. Незаметный и нешумный. Не замерзает и зимой этот тихий, но надёжный источник. Его показал Александру Иван Дмитриевич. Они всё собирались выложить его камнями, да вот не успели.

«Надо обязательно сделать, а то заиливаться начал, вода может помутнеть. Этим летом уже не успеть, а вот на следующее — надо», — подумал Ковальский и направился наверх. Темнело. «А стоит ли в темень идти, хотя и всего-то около пяти километров? Может, попроситься на ночлег к леснику Янину?» — размышлял Ковальский.

Усталость от пройденного была, конечно. Но он признался себе, что не хочет уходить сегодня от реки ещё и потому, что радостно продлить состояние, когда каждое движение, слово, а часто и только что родившаяся мысль связаны с дедом.

Ведь это тут однажды произнёс в раздумье Иван Дмитриевич слова, которые в последнее время не давали покоя Александру. Постоянно всплывали в памяти.

Старый Головачёв, как обычно, вначале долго задумчиво глядел на Покровскую церковь, на Самару, нежно проступающую внизу меж зелени нешумных берегов...

— А что, Шурка? Может, всё-таки лучшее дело — украшать землю садами, чем ковырять её буровыми вышками? Не в агрономы ли тебе надо, в садоводы? Помнишь, сад у ИONOва колдодца, в степи под Ветлянкой? Красота какая.

Александр тогда, не задумываясь, ответил:

— Надо ведь кому-то и нефть добывать, верно?

— Надо-то надо, но...

Иван Дмитриевич не договорил. Внук его привык к этому и часто обдумывал то, что дед обычно не договаривал.

* * *

...Янины приняли Ковальского с радостью. На столе быстро появилась алюминиевая чашка с молоком, в неё накрошили, как тогда, когда они приезжали с дедом, холодного, прямо из погреба, рассыпчатого творога. Подали краюху хлеба...

Изда Яниных стоит лицом к реке Самаре и в чём-то имеет сходство с самым молодым её жильцом — Лёнкой. Так же, как и он, по утрам таращит свои глаза-оконца на соседние села Покровку и Утёвку.

Там, вдали, в низине, за полоской леса, дружно дымят проснувшиеся избы и, кажется, будто они столбами дыма держат с багряным отблеском облака. И голубые ставни, и поблёски-

вающие на солнце избы смотрят удивлённо и влюбленно, как и Лёнька.

Утро. Через камышовую крышу погребницы, там, где слой камыша тонок и образовалось отверстие, пробиваются лучи света. Слышно, как воркуют на крыше голуби. Напротив Александра спит Лёнька.

Ковальский давно проснулся, но не встаёт. Обострённый слух отмечает шаркающие шаги во дворе, редкие, с металлическим отзвуком, удары и скрип. Кажется, готовят рыдван. «Надо вставать», — думает он.

Но о них уже вспомнили.

— Лёнька, а, Лёнька, проспипь всё царство небесное.

Это голос Лёнькиной бабки — старухи Яниной. Александр выходит во двор. Старуха стоит посреди двора, созывает и кормит своих кур, шумно и сердито гоня чужих. Свои куры все помечены для отличия красной краской. Сам Янин возится около колёс, смазывая оси дегтём и натягивая тяж.

— Леонид! — голос деда трубный и строгий. — Вставай, проспипь — уедем без тебя.

Лёнька и сам знает, что надо вставать. В такой день стыдно долго спать. А день — замечательный. Сегодня они — дед Янин, Лёнька и Серёга, самый младший из внуков Яниных, — едут на сенокос. От сладкого предчувствия новизны жизни появившийся в дверном проёме Лёнька ещё разок напоследок блаженно потягивается и бодро отзывается:

— Сичас.

Через минуту в голубой майке, в дедовых сандалиях, спутнув по пути забравшегося на соху яркого петуха, направляется к углу погребницы. Приостановившись, щурится на рыжее весёлое солнце. Лучи солнца ласкают ещё незагорелый обнажённый живот. Из подворотни на Лёньку шипит соседский наглый гусак. Но на своего давнишнего заклятого врага Лёнька сейчас не обращает никакого внимания, лишь на всякий случай отодвигается подальше вглубь двора и переводит журчащую струйку на коричневый, опрокинутый вверх дном давно отслуживший таз.

Из избы, где собираются за стол, торопит Лёньку нетерпеливо бабкин голос.

Струя бьёт по тазу и получается звонко — от удовольствия Лёнька потягивается.

— Ах, ты, негодник эдакий, разве нету другого места для этого дела? У меня под тазом творог отжимается, — появившаяся старуха Янина всплёскивает руками.

Лёнька, быстро обежав полукругом бабу, юркает в избу. Там, около деда, уверен, она так сильно ругаться не будет. Гнев понятен: вчера вечером охала она над разорванным марлевым мешочком, в котором отжимался творог, зажатый между двумя сосновыми горбылями. Курица, привязанная за ногу верёвкой к горбылю (эта настырная курица настойчиво желала стать наседкой, за что и была привязана — у бабушки уже две наседки), ухитрилась добраться до творога, разметав его по двору.

— Со скуки, — сказал Серёжа сегодня за столом.

— В отместку, — выдохнул Лёнька и тут же опасливо втянул голову в плечи.

— Нечего было мудрить, как завсегда, накунала бы её в кадкё с водой и — под кошёлку. Всего делов-то... — Дед подмигивает Лёньке.

* * *

...Янины обогнали Ковальского на гулком мосту через Самарку. Лёнька сидел на рыдване, гордо и независимо посматривая по сторонам. Александру показалось, что это не Лёнька сидит на задке рыдвана, а он, Ковальский, едет с дедом на сенокос. Это продолжается его детство. Настолько всё близко и понятно.

Когда Янины выехали на крутой песчаный берег и скрылись в лесу, Александр сел с краю моста на широченную деревянную плаху, опустив ноги чуть не до воды. Наблюдал, как на течении, меж урчащих воронок, быстрые голавли гоняют мелочь.

Глядя на серебристую реку, на её поворот там, ближе к отмели с названием Пески, вспомнил Искровскую купалку. Так называли то место с жёлтым песочком и мелким осинником, где светлой лунной ночью Александр видел Анну такой, какой она потом не была никогда. У него легонько защемило в груди.

...Как много значила в жизни Ковальского эта светоносная река Самара! Так много, что он не мог выразить...

Ковальский, дойдя до озера Дубового, свернул к воде. Захо-

телось пройти вдоль старого русла Самары, от которого остались отметины — озера Дубовое, Бобровое, Латинское, Лещевое, Осиновое.

Давно он здесь не был.

Каждое озеро памятно. У Дубового он часто с ребятами в детстве по весне ловил сусликов. Тут же их и варили в ведре. Пировали после зимы.

Ковальский, к удивлению своему, обнаружил на большой поляне в старнике, тёмной прошлогодней траве, сурчины — небольшие холмики земли, которые сурки, живущие колониями, выбрасывают наружу. Он давно уже не видел этих красивых зверьков в жёлтой одежке, промышлявших обычно по утрам и вечерам на ржаном поле. Теперь вокруг стоял овёс. Он прошёлся по окраине поля в надежде увидеть забавных зверьков, но напрасно.

«То ли овёс не едят, то ли уже солнце жаркое и нежатся в прохладной темноте своих нор? — размышлял он. — Отстал, многое уже воспринимаю как чужак».

Когда добрался до Бобрового, сел отдохнуть напротив лесистого небольшого острова, где обычно в детстве ловили раков. Тут же часто и ночевали.

Вспомнилось, как они ловили однажды краснопёрку. Клевала она неплохо. Часам к двенадцати у каждого рыбака набралось её по полной сумке из кирзы. Сморганные палящим солнцем, сели в кружок под ветлой, прямо напротив острова, и Мазилин рассказывал, как его отец охотился тут недалеко, на широком поле, на дудаков. Ковальский слышал его голос, будто это было вчера:

— Уже ноябрь был, да. Как раз перед праздниками пошёл, значит, родитель мой на охоту. Ну, сюда вот, по озёрам. А морозец, видишь ли, ударил и накануне изморозь была, мокрота. Он их увидал вон около тех осин, на взгорке. Дудаков этих! Они с разбегу всё пытались взлететь — и никак. Крылья подмёрзли. Смехота. По гололёду-то и взлетать, и ходить учились, как заново. Отец изловил их, уставших, четырёх. Ага! Но они тяжёлые, окаянные, тогда он их всех обвязал за шею бечёвкой и, как на поводу, повёл в Утёвку. Такой караван дудаков у него получился.

— Дядь Саш, — решил возразить Толя Плаксин, — это ведь как у барона Мюнхгаузена получается. Ещё сильнее...

Толя не решался обидеть вопросом взрослого, поэтому не договорил. А может, ещё и потому, чтобы не перестал рассказывать. Ловко у Мазилина всё получается. И интересно.

— Не знай там, как у барона, а вот ещё разок мой родитель...

Много слышали эти вётлы, осокори и осины всяких рассказов. Много видели. Они — как живые свидетели. И это Александр чувствовал. Он и с ними готов был поговорить: «Что же я вас подзабыл? Вы, как мои родители, — мой тыл, моя поддержка».

Здесь, около озера Бобровое, над ним, за ним, там, на той стороне, вдалеке, над поднимающимся взгорьем с Баринovým домом были такие чистые белые облака и такое ясное небо, что не хотелось уходить.

* * *

Он лежал на копне золотистой соломы и любовался барашками облаков над Бариновой горой.

Между ним и Бобровым озером на песчаную дорогу выскочил всадник. Колька Яндаев — вечный пастух. Ковальский сразу узнал его. Сколько помнил, никогда не видел его пешком. Казалось, тот родился всадником. Попридержав меринка чуть поодаль от дороги, Яндаев махнул приветливо рукой и хищно улыбнулся. Узкое лицо его с острым носом черно от вечного загара. Эта его улыбка завораживала Ковальского с детства.

Всадник ускакал, а Ковальский подумал, завидуя: «Он, как дитя природы, этот Яндаев. Как часть Бобрового, Бариновой горы, вот этого леса, небес, этого всего зелёного, голубого, золотистого простора. Яндаев, наверное, и не осознаёт, что счастлив этой своей слитностью с природой. Счастлив цельностью, органичной связью со всем родным. Ему не надо другой жизни. Это я стучусь, рвусь в другую, а ему она зачем? Я сейчас между городом и деревней, между всеми и всем. Я прикован к этой земле, а пытаюсь прорваться в другую жизнь. И сколько сейчас таких, как я! Что у нас, у меня, на вооружении? Некая деревенская умелость да житейская хватка, перешедшие от деда, мамы, других родных. А что ещё? Очень мало. А другая жизнь, та, куда рвусь? Это всё-таки что? — И, подумав чуть, попробовал ответить: — По большому счёту — технический прогресс.

Но Засекин говорит, он для человечества — мрак, погибель. Такой прогресс несёт бездуховность, мировые катаклизмы. Если взять это на веру, то я и такие, как я, — связные между одним и другим. Но у этого «другого» нет будущего, если верить Засекину. Кем же будут мои дети? Если будет сын, кем он станет? Он уже будет в той жизни, в которую стремлюсь. Я для него — как некий плацдарм. А ведь будущей жизни может не быть. За пределами тысяч отмеренных сроков? А пока-то? Пока жизнь бурлит, и Засекин ей не указ. Вон Яндаев! Он и десять лет назад скакал по этой земле, диковато вращая белками глаз, и до сих пор мчится по ней, полный уверенности в себе, нисколько не постаревший. Сейчас торопится к своему пёстрому сонному стаду, которое словно сошло с какой-то старинной древней картины, вывешенной в малодоступной кому комнате. Пасётся себе стадо.

Я за последние годы столько увидел и передумал. А что, если дверь в эту изолированную комнату враз расшатается, раскроется и войдёт то, о чём говорит Засекин: хаос и смерть? А мы пасёмся себе. Пока нам хорошо ещё. В нашей беспечности — бессмертие Жизни? Или её катастрофическая уязвимость?

Моему сыну будет легче или труднее? — Александр был уверен, что у него обязательно когда-то появится сын. Ковальский не представлял себя без сына. — Будут у него такие проблемы и мысли, как у меня? Или нет? Если сотрут грани между городом и деревней, например? — продолжал невольно размышлять Ковальский. — Сыну повезёт, конечно, больше оттого, что у него не возникнет проблем с отцом, как у меня. Наверное. А в остальном? Что будет в восьмидесятых, девяностых годах?

Иван Максимович назвал меня растущим интеллигентом в первом поколении. Сын мой будущий — второе поколение. Более удачливое? Более прямолинейное? Оно должно освободиться от многих проблем. Следующее поколение меньше потратит энергии на преодоление многих комплексов и прибавит considerable интеллектуальной силы.

Нет... Не комплексов. Здесь что-то другое... Это...», — подбирая слово, он следил, как Яндаев выгонял пёстрое стадо из ложбинки. Его дворняга-пёс заливисто лаял. Пёстренький бычок, взбурившись весь, пошёл на лающего помощника, будто на корриде. Пёс юркнул за всадника и замолчал. Ковальский,

наблюдая эту сцену, улыбался. — «Во мне мало установившегося. Я пока не состоявшийся. Не состоявшийся кто? По Калашникову, не состоявшийся интеллигент. Но всё должно встать на своё место. Я чувствую в себе огромные силы. И не верю в то, что предрекает Засекин. Это — игра ума. Ума уставшего от жизни человека. Нельзя уставать! Нельзя уставать человечеству в своих надеждах, тогда оно вечно».

Взбодрённый этой мыслью, он встал и пошёл в село.

Когда вновь оглянулся на стадо, Яндаева около него не было. «Нельзя быть подранком. Или — или».

Он вспомнил усмешку Засекина там, в городе, и его слова: «И ваша хвалёная безудержная химизация много беды принесёт, может, больше, чем пользы. Пока не поймут уже после нас, что и здесь, как нигде, нужна мера».

Не спеша отыскал взглядом Яндаева. Тот был много левее на ровной пыльной дороге.

«Яндаев останется всегда Яндаевым. Это я в той жизни, в которую врываюсь, могу затеряться напрочь...»

Мысли не отпускали. Он продолжал смотреть на удаляющегося к горизонту всадника.

«Прошло пять лет, как я уехал учиться, а ничего по большому счёту у таких, как Яндаев, не изменилось за это время. У таких, как Яндаев, у вечного рыбака Мишки Рогожкина, у моих родственников...

...Как рыбачил Рогожкин, так и рыбачит: весь в заботах, мажугах и рыбьей чешуе. Как вязал веники всей семьёй на том берегу Самары у Кривой ветлы, так и продолжает он этот свой старинный промысел, перемещаясь вдоль реки и оставляя на два-три года оголённые поляны для нового поколения таволги и чилиги. В этом, может, и есть его сила? Мировые события, громоздясь, наползают друг на друга, как льдины в половодье на реке, а он вяжет свои веники! И тем силен.

У него свои обороты и свой календарь.

Объявлено, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! Что это значит? Будет ли Яндаев или кто другой так же скакать по степи через двадцать лет? А Рогожкин со своими сыновьями будет ли вязать веники?

Что при всеобщем достатке и благоденствии погонит их горбатиться в пыли и жаре?

Инстинкт? Какой?

И если везде так?

Если не те, кто делает сейчас самую тяжёлую работу, то кто же будет вершить её?

Кто и что даст великую силу провозглашённой программе?

Мы? Я? Моё поколение? Но мы разве готовы на такие грандиозные действия? Мы все готовы?

Технический прогресс? Может быть! А если технический прогресс, благодаря которому должны быть спасены все народы, — всего лишь религия? А за ней — пустота?

Химизация! Её объявили спасителем. Плюс ко всему химизация! Она выручит!?

Но не мало ли этого плюса на всех?

Засекин твердит, что спасение — в улучшении человеческих качеств.

Но только из желания быть хорошим веники вязать не всякий побежит...»

...А Яндаев скакал размеренной рысью к горизонту. Степь, где стремительно двигался всадник, ровная, как неохватных размеров стол, пустынна. Трудно найти глазами удобный и устойчивый ориентир.

Где-то там, в степи, расселись нефтяные качалки. Как большие кузнечики. Эти качалки-кузнечики при мареве жаркой летней порой в мираже превращались в огромных угрюмо шевелящихся драконов, величиной с большие дома. От этого становилось не по себе. Однажды, когда они с бабой Груней возвращались с далёкого полевого стана пешком, эти драконы так напугали её, что она крестилась, как от нечистой силы. Грозил им кулаком. Теперь их стало ещё больше.

Александр долго из-под руки наблюдал за всадником. Пёстрое ленивое стадо стояло в воде в конечке Бобрового озера, а он мчался в степи, в духоте к горизонту. Зачем, куда?

Зарябило в глазах и Александр зажмурился. Потом пошёл по стерне, по золотистому полю, и всё ему казалось, что зря он уходит, что есть какая-то недоговорённость между ним и этим бело-синим, жёлтым простором. Неизречённость вот-вот нарушится. Только задержись ещё немного, только прислушайся, приглядишься. Улови язык, присущий этому вечному и ясному покою, и ты будешь другим. Будешь счастливым.

* * *

В тот же день, вернувшись домой, Ковальский узнал от матери, что Мишка Лашманкин собрался жениться на Олечке Козырновой. Уже подали заявление. Это удивило. Из армии Мишка пришёл вытянувшимся, спортивным и ладным парнем. Пиш мало. И не особо дебоширил, как остальные после демобилизации. А вот номер выкинул. Оказывается, они на протяжении его службы переписывались. В письмах и договорились. Это для Ковальского забавно. Мишка и Козырнова? Два самолюбивых, взбалмошных существа рядом. Олечка, оказывается, держала его на привязи письмами. «Создавала себе запасной вариант, не иначе», — думал Александр. Он знал, что у неё был бурный роман на втором курсе планового института с преподавателем. Знал, что делала аборт.

«По-моему, Мишка лезет в петлю. Куда торопится? Что-то у него впереди?»

* * *

— Петро чтой-та не пишет давно, — жаловалась вечером мать за ужином на своего младшего. — Как уехал, так писал каждый месяц. Теперь замолчал в своём Курске. Беды б какой не было, с аэропланами этими связался.

— Катерина, ну что ты городишь? У него авиационное училище, а не лётное — какие аэропланы? Он в приборах ковыряется. Хотел летать да приземлился быстро, — возражал Василий.

— Всё равно, — продолжала Катерина, занятая своими мыслями. — Давно не было письма. — Она присела к столу. — И ты, Шура, мне только отвечаешь, а так: не напишу я, и ты — молчок.

— Мам, писать-то не о чём.

— Это тебе так кажется, а мы здесь не знаем, что у вас там. Всякое может быть.

— Ладно, мам, исправлюсь, — пообещал Александр, и сам искренне поверив, что будет впредь чаще писать. Больно не хотелось видеть мать печальной.

После того, как брат Петро покинул дом, стало меньше в нём смеха. Петро всегда что-нибудь да «выкусывал» — с ним не соскучишься. Александр и Петро — разные. У Александра нет

того беззаботного озорства, которое сидит в младшем Катери-
нином сыне. Ковальскому иногда казалось: мать грустит ещё и
от того, что он «чересчур» серьёзный, не такой, как Петька.

* * *

Он уезжал в Куйбышев вечерним рейсом в субботу; поездка
к Анне в Пензу не получилась. На военной кафедре что-то из-
менилось и в понедельник ребята их потока отправлялись на
сборы. Надо в восемь утра быть у здания военной кафедры.

— Кто опоздает, тот как дезертир будет строго наказан, —
так объявил майор Федорчук. А Федорчук слов на ветер не
бросал.

Ковальский сильно жалел, что не успел увидеть Анну. Отче-
го-то было тревожно. Очевидно, ещё и поэтому он всю дорогу
так задумчиво смотрел в окно автобуса.

Знать бы ему причину...

В это время Анна тоже вспоминала о нём. Теперь она дума-
ла о Ковальском больше, чем о сыне и дочери. В этом она себе
призналась и не устыдилась.

Сегодня утром, собирая детей, боялась потерять сознание.
Когда вернулась свекровь, провожавшая сына Анны Сашу в
садик, сноха её все ещё сидела в коридоре на стуле, устало по-
ложив руки на колени.

Анна не работала уже около двух месяцев. Страшный диа-
гноз и последовавшее затем лечение лишили её сил. Она пони-
мала, что обречена.

Муж, хотя и прекратил бражничать, но смотрел на неё ма-
леньким хищным зверьком. Нетерпеливо, как ей казалось, ждал
развязки. Но таился и молчал. Чувствовалось, муж догадывает-
ся: она его только терпит, у неё кто-то давно есть. Но кто?

Анна принимала сейчас спокойно его поведение. Не в силах
была и не хотела никого винить ни в чём. Со всеми уже мыс-
ленно простилась.

Хотелось видеть теперь только Сашу... Сашеньку... Нестер-
пимо! И она не знала, что с этим делать.

Несколько раз Анна принималась за письмо Ковальскому.
И бросала. Не хватало слов. На бумаге всё было не так, как она
чувствовала.

Но ей надо было успеть написать. Она дала себе слово сделать это...

Поднявшись со стула, Анна прошла в спальню и легла на кровать. Руки дрожали, на глазах — слёзы. Она лежала вверх лицом. Закрыв глаза, попыталась на время забыться. Надо было набраться сил для письма...

Весь смысл её угасающей жизни свёлся теперь к одному этому письму...

Глава девятнадцатая

Самое яркое событие на четвёртом курсе для многих из потока химиков-технологов — это, конечно, военные сборы.

В первый же день прибывших повели на инструктаж. Капитан медицинской службы изъяснялся незамысловато, но иронично.

— Считайте, господа будущие офицеры, что, прибыв на нашу военную базу, вы попали по меньшей мере в один из курортных городов России. Может, даже в Сочи, хотя и преодолели всего две сотни километров.

— Это же превосходно! Но верится с трудом. Полдня прошло — мы и не заметили прелестей, — пробасил с дальнего ряда скамеек рослый парень с инженерно-технологического факультета. — Может, мы чего не поняли?

— Поймёте, когда придёте ко мне с «наградой».

— Обратного не понял? — парень развёл крепкие руки, потом почесал пятернёй в густой бороде. Она скрывала всё его лицо. Он в ней был, как в засаде. — У нас тут круглые отличники есть, товарищ капитан, может, они раскумекают?

Капитан ответил резонно:

— И вы, и отличники раскумекаете, как вы говорите, сполна, когда приголубите небезызвестную заразу в собственных трусах. Самый незатейливый вариант — лобковая вошь.

Публика разом притихла. Шумок пропал. Не на каждой лекции услышишь такую терминологию. Да и ошеломляюще как-то звучит — просто, без обиняков.

А франтоватый капитан, потом стала известна его фамилия — Суходольский, довольный реакцией слушателей, продолжал рисовать эпическую картину действительности:

— Ситуация с сексуальными инфекциями в населенных пунктах, которые окружают нашу базу, сравнима, думаю, разве что с той, которая сложилась после Первой и Второй мировых войн.

— Ну, товарищ капитан, это вы, наверное, слишком уж — служба такая, да?

Этот парень с инженерно-технологического явно озабочен предметом разговора больше, чем остальные. Или посмелее. Верным, как потом оказалось, было первое. Он попал в число «награждённых» через две недели. А пока? Пока капитан вёл менторским тоном свой инструктаж.

— На нашей базе в цехах около двух сотен женщин. Контингент самый разный. Большая часть — незамужние. Вы представляете, с каким нетерпением они ждут каждый год заезда студентов? — Он выдержал паузу и сам уверенно ответил: — Нет. Не представляете!

— Нет, не представляем, — согласился кто-то из сидевших в углу около дальнего окна. — А то бы...

— Товарищ капитан, да нам таких и задач не ставили, — подключился Рамазанов. — Мы не готовы! — он сокрушённо, сверкнув озорно глазами, начал покачивать головой. И прежде, чем инструктор заговорил, обронил уныло: — Нас семьдесят, а их двести. Это явный перевес противника. Мы не устоим. Нет!

Капитана трудно сбить с толку, он каждый год проводил такие инструктажи. Наслушался всего и насмотрелся, и заранее знал, что говорит зря. Никто его не послушается. Идёт только подогрев. И он, как можно более унылым голосом, исполняя свои служебные обязанности, продолжал:

— К сожалению, глупое и романтическое человечество так и не отучилось ходить «налево». Вы, может быть, не самая худшая часть этого глупого вида популяции. Тем более, ваш юный возраст! Надо учесть ряд обстоятельств: треть из местных женщин больна венерическими заболеваниями... и не лечится. Прийти к врачу с такой болезнью здесь для них хуже смерти. Дичь. Лучше раздарить. — Он внимательно посмотрел через свои массивные в роговой оправе очки на аудиторию. — Презервативов, конечно, у вас с собой нет?

— Ну, откуда, товарищ капитан? Мы думали, что будут ус-

ловия, максимально приближенные к боевым, а тут — Сочи, курорт, — Рамазанов дурашливо смотрел на Суходольского.

— Отставить, — вяло сказал тот, даже не взглянув на говорившего.

Это не остановило Рамазанова:

— Хотя, если хорошенько пошарить, вон Ваня Кутепов, он запасливый, может, где и завалился у него в ботинке.

Иннокентий бесцеремонно указал смешно шевелящимся указательным пальцем на Кутепова. Раздался смех. Многие знали застенчивость Кутепова и его робость в отношениях с представительницами женской половины человечества.

— Нет презервативов, — констатировал капитан. — И тут их нет в радиусе километров двести. Делаем выводы! — призывно повысил он голос.

— Ну, влипли, ну, влипли, — раздалось в рядах. — Необученные!

— И не годные к строевой, — добавил кто-то в рядах.

— Ещё раз отставить! И слушать дальше, — не оценил шутку капитан.

— Нам надо знать конкретно, что делать? — очень серьёзно, очевидно, проникшись важностью темы, спросил парень с бородой.

— До того? Или после? — неожиданно изменил голос и с деланной учтивостью спросил капитан.

— И «до», и «после», — уточнил «борода». — Так сказать, план действий. Он ведь и на «гражданке» пригодится.

— Уже приготовились лечиться?

«Борода» не ответил.

— Если «до того», то надо применять правило «гильотины». Не слышали? — Все молчали. — Это правило звучит так: лучшее средство от перхоти — гильотина.

— Ничего не понял, — первым признался Рамазанов. — Отрубить, что ли, мне его, этого... под топор? Слишком радикально, — заключил он задумчиво. И вполне, казалось, интеллигентно.

Публика молчала. Очевидно, тоже готова была возмутиться. Похоже...

— Зачем же? — тем тоном, которым говорят с не очень смышлёнными людьми, обронил поучительно капитан. — Име-

ется в виду вообще не иметь половой связи. А если иметь, то только со знакомыми, меньше опасности.

— Знакомые не болеют? — удивился долговязый парень у окна.

— А «после»? — кто-то не выдержал из задних рядов.

И «борода» добавил:

— И как узнать, что «наградили»?

— Господа офицеры! — кисло улыбнулся Суходольский, бледное лицо его отчего-то слегка зарумянилось. Казалось, в нём шёл, независимо от темы, от присутствующих и от места действия, диалог с кем-то ещё другим. Не с этими переполненными здоровьем и молодостью ребятами. — Вы комкаете наш разговор, я намеревался вам доложить для вашей пользы всё системно. Ведь это азбука вообще для нормального мужчины. Без всякой пудры. Никто и нигде вам об этом не скажет так обнажённо. Армия многому учит. — Помолчал. Потом, глядя поверх голов, продолжал: — Через три-пять дней после заражения, но иногда бывает запаздывание на две-три недели, появляется жёлто-зеленоватое выделение и ощущение жжения. Если это случилось, можете себя поздравить с «наградой» — это гонорея. Обычно она обнаруживается утром. Здесь она получила своё название: «с добрым утром». Остряки были у нас и до вас. Некоторые уезжали весьма озабоченные. Шутили. Больше — «до того».

Ласковое и неожиданное название «с добрым утром» аудитория отметила общим смехом.

Когда шли в казарму, Инок делился опытом:

— Такие пакостные заразы, как хламидиоз, герпес, даже сифилис, могут передаваться и через поцелуй. И через общее полотенце, общую кружку. Так что это, как рулетка...

— Откуда такие познания? — не удержался Ковальский.

— Да у меня старший брат на Венцека в Куйбышеве работает в венерологическом, медик. Наслушался.

Александр вспомнил про несостоявшуюся драку у здания этого самого диспансера и невольно рассмеялся.

— Ты что, не веришь?

— Да нет, так, о своём вспомнил.

— Что, уже носил «награду»?

— Да иди ты к лешему! Уже надоело.

— Я заметил, ты и в аудитории нос воротил.

— Уж больно откровенно смакует пакости. Непривычно.

— Чудак, это необходимо. А как прошибить наших жеребцов? Издержки есть. Но не будь слишком чистюлей — здесь, в казарме, иначе нельзя. У меня опыт есть. Грубее — доходчивее. А ты предпочитаешь не слышать и не знать о таких вещах.

— Может быть, лучше бы не знать, — неуверенно отозвался Ковальский.

— Ба, посмотрите на него! Тогда ты такой же, как местные девицы, — туземец, да и только!

Шагавший рядом Ваня Кутепов подал голос:

— Я всё понял. Только вот одно слово. Ну, это, неясное совсем...

— Какое слово? — насторожился эстет Иннокентий.

— Ну, похожее на этот, на бюстгальтер, — объяснил простодушный Кутепов.

— Адюльтер, что ли? — спросил Иннокентий и гоготнул в удовольствие.

— Ну, да, — согласился покладисто Кутепов. — Вроде того. — Он не понял, почему все, кто слышал их диалог, разразились хохотом. — Дураки, — на всякий случай отреагировал Ваня. — На вас и обижаться нельзя.

Маленький диалог Кутепова и Иннокентия продолжился в событии, которое произошло через несколько дней. И которое напрочь выветрило из молодых голов будущих потенциальных, скажем так, офицеров фамилию «Кутепов» и закрепило вместо неё простенькую, но ёмкую кличку «Штаны».

* * *

Тот капитан с истовым лицом был прав: студентов здесь ждали. Танцплощадка, оборудованная столь романтично в гуще зелёной рощицы, прямо на пеньках выпиленных берёз, призывно зазвучала в первый же вечер. И совсем недалеко, на территории базы. Это вдохновляло. Побывавшие там рассказывали: девчата красивее, чем в Самаре. Парней местных — раз и обчёлся. А тот капитан, который делал инструктаж, наверное, вывихнутый какой-то. Наговорил с три короба, фантазёр нашёлся!

Пятачок среди берёз, освещённый гирляндами лампочек на деревьях, манил, как на новогодний бал.

Но была одна маленькая сложность: в 22.45 каждый вечер старшина обязан строить все семь десятков молодых «орёликов» в казарме для переключки строго по списку в присутствии старших офицеров. Вечерняя поверка, как кость в горле. Отсутствующего ждало строгое, но справедливое наказание.

Как совместить переключку в 22.45 и окончание танцев в 23.00? А ведь танцы — прелюдия, основное-то после!

Военная смекалка давала несколько возможных решений. Одно из них опробовали с первого вечера. Проще простого. Надо было, если ты знал, что не придёшь в срок, попросить кого-нибудь выкрикнуть, когда назовут твою фамилию, одну только букву: «Я!». Это был приём номер один.

Но этот простой способ требовал чёткости исполнения, отсутствие её в первый же вечер и подвело. Когда прозвучало: «Сидоренко», — откликнулись сразу двое. Перестарались ребята. Офицер чётко знал, что по списку должен быть один Сидоренко, а «раз — два, значит, ни одного нет на месте».

Второй приём понадежней. Надо успеть явиться с танцев к переключке, отметитья и суметь улизнуть назад.

В тот злополучный вечер по команде старшины строились почему-то особенно вяло, не торопясь. Левое крыло шеренги вдруг колыхнулось головами к окну. Ковальский тоже обернулся и увидел большую тень за мутными стёклами окна. Тень махала руками.

— Давай, давай, офицеров ещё нет, успеешь! — зашумели голоса.

Было понятно, что кто-то торопится отметитья на переключке. Вариант номер два в действии!

Непонятное произошло через секунды. Метнувшаяся вдоль стены к входу тень вдруг пропала. Потом откуда-то издалека разнёсся дикий, утробный звук:

— А... а... а...

Первое, что пришло в головы: возвращающегося подкараулили местные (так уже было) и крепко ему наподдали. О, как высоко чувство отзывчивости и готовности прийти на помощь! Особенно, когда «наших бьют». И когда «наших» много.

Стремительной волной ринулись «наши» в узкий проход на

улицу, увлекая за собой из коридора направляющееся в казарму военное начальство. А начальство в этот день было самое высокое: заведующий кафедрой щеголеватый полковник Скворцов и грузный, вальяжный командир базы полковник Подосинкин.

Ковальский оказался не самым проворным. Когда очутился на улице, действие (его можно было считать вполне боевым) разворачивалось прямо за углом казармы. Толпа плотным кольцом окружила яму. Яма оказалась выгребной, да ещё полностью заполненной. Доски в месте пролома быстро растащили по сторонам. На удивление многих, там оказался не кто иной, как Ванечка Кутепов. Открывшиеся амурные возможности на военной базе сильно подогрели его. И никакие предостережения капитана медслужбы не могли охладить взбудораженных желаний. Он, очевидно, решил покончить одним махом со своей невинностью, тяготившей его весьма давно. Поставил себе, так сказать, боевую задачу. Исходя из оперативной обстановки. Риск — благородное дело.

Иван держался стойко. Однокурсники имели возможность видеть, что один из лучших футболистов факультета ещё и пловец. Размеры бывшего общественного туалета давали ему возможность продемонстрировать это.

Командовали операцией по спасению Кутепова, конечно же, высшие чины. А куда им деваться? Экстремальные условия!

Кто-то проворно раздобыл большую жердину. Её подали терпящему бедствие. Всё делалось сосредоточенно и с какой-то прямо-таки военной слаженностью и серьёзностью.

Натуженную обстановку разрядил сам Иван. Когда его, со сиской болтающегося на жердине, вытащили из ямы, он, весь липкий и дрожащий то ли от холода, то ли от возбуждения, очевидно, крепко помня свою цель: вернуться к танцплощадке, рванул первого попавшегося за рукав:

— Послушай, запасные штаны есть? Меня же девка ждёт!

Рукав, за который Кутепов, не глядя, схватился, был частью военного кителя заведующего кафедрой полковника Скворцова.

— Крепко же тебя, голубчик, заклинило, — проговорил удивлённо полковник. И сначала дёрнулись его франтоватые усы, а потом, ощерив смешно рот, он неожиданно басовито хохотнул. Видать, ещё не такое видал.

Это послужило как бы сигналом. Хохот веером прошёлся вокруг ямы. Одни, поджав животы пошли к стене. Другие, не надеясь, что дойдут до неё, сели тут же...

Переключку в тот вечер делать больше не пытались. А Иван Кутепов, с чьей-то лёгкой руки теперь Ваня «Штаны», стал чем-то вроде большого сына маленького полка — самой популярной на всю базу личностью.

* * *

На следующую вечернюю поверку пришёл замполит части Барский и зычно объявил:

— Нужно срочно поднять идейный уровень. Необходима стенная газета. Без неё нельзя. На двух ватманских листах два раза в неделю. Без проволочек. Вы, студенты, народ, того... неглупый. Таков приказ! Понятно объясняю?

Все молчали. Только во втором ряду кто-то согласился:

— Так точно! Студенты — народ неглупый.

— Значит, понятно, — подытожил замполит. — А сейчас, — он сделал весёлое лицо, — кто может рисовать, писать плакатными перьями, сочинять всякие шутки — три шага вперёд!

Рамазанов ткнул локтем Ковальского:

— Выходим!

— Да я же...

— Выходим. Это халява, я чую...

— Что? Нет желающих? — громыхнул подполковник. — Дополняю: кто будет заниматься газетой, а у меня есть план окультурить и площадь на базе, будет частично освобождён от занятий.

— Раз от занятий, то и от экзаменов, понял? — шептал Инок. — Я пошёл.

— Тебе хорошо — у тебя художественное училище.

— Не скулить, — отозвался тот и вышел из строя. За ним последовал и Ковальский.

Когда вышел ещё один парень, подполковник довольно подытожил:

— Вот и ладненько. Трое, как Кукрыниксы! Пока хватит, а там посмотрим.

Итак, тройка засела за газету. Сразу оказалось, что лидер — Инок. Через два дня творение тройки было вывешено в казарме.

Вот где проявилось умение Инока рисовать. Были здесь и стихи. Их писали совместно Ковальский и Михаил Максимов, так звали третьего члена редколлегии. Михаил оказался весёлым парнем. И хотя не умел ни писать, ни рисовать, зато смеялся по любому поводу. Что ни говори — это редкое качество.

Только что сочинённые Ковальским строчки Михаил тут же пропел под гитару на мотив «В жизни раз бывает восемнадцать лет»:

*Дождичком замыло
Почтальона след.
Сердце вновь заныло:
Перевода нет.*

Это исполнение так понравилось подполковнику Барскому, что он тут же предложил провести вечер студенческой песни.

— Втроём и будете петь, ну, чем не «Поющие бобры»?!

Он был, оказывается, поклонником известного трио самодеятельной авторской песни из Куйбышевского авиационного института.

Смотрины первого номера газеты прошли успешно. Когда в казарму вошли перед вечерней поверкой подполковник Барский и майор Федорчук, приехавший с инспекцией от кафедры, все притихли.

Федорчук молодецевато постоял у ватманских листов, повернулся к подполковнику и громко, чтобы все слышали, похвалил газету.

Подполковник, который тоже впервые видел газету, чем-то был явно озабочен. Он взял под руку майора и начал объяснять ему, кивая то на газету, то на выстроившихся будущих офицеров. И вдруг майор начал громко хохотать.

Облегчённо вздохнул разом и весь строй курсантов, переживающих за членов новоявленной редколлегии. Газета называлась весьма невинно, но с учетом местных условий: «С добрым утром!».

Майор Федорчук оказался дипломатом. Уезжая, посоветовал второму номеру газеты придумать новое название.

— Знаете ли, — говорил он, желая выглядеть серьёзным, поводя замысловато пальцем около виска, — надо бы поинтеллектуальнее, но чтобы звучало боевито!

С этого дня Рамако — такой псевдоним, использовав начальные буквы фамилий, взяли себе Рамазанов, Максимов и Ковальский, перестали ходить на «самуху» — самоподготовку к экзаменам. Подполковник Барский заверил, что с экзаменами у них всё будет в порядке. В столовую теперь Рамако шагали в кедах, тогда как все остальные — в сапогах.

Когда же они взялись воплотить давнишнюю голубую мечту замполита: оформить красочно площадь посередине базы, да так, чтобы были стенды о её жизни и большая, в пять метров высотой, фигура вождя мирового пролетариата, — их переселили на житьё в гостиницу.

Фигуру вождя вырезали из одиннадцатимиллиметровой толщины металлического листа. Чтобы не нарушить покраску, потом это штучное изделие несли на руках пятнадцать молодых-пожарников. А дабы пыль не садилась на державный лик, площадь загодя пожарная команда полила водой.

Всеми этими действиями руководил Рамазанов. Барский у него был как бы ординарцем. Такова была сила таланта и творческой фантазии художника. Она покоряла. И не одного подполковника. Замполиту очень хотелось многое успеть, пока такой талантнице, как Инок, на сборах. И он старался. Брюки трещали в шагу. Совсем замотался.

Иногда Инок, явно жалея его, говорил, вращая диковато своими круглыми навькате белками:

— Товарищ подполковник, можно обратиться?

— Конечно, — отвечал тот.

— Извините, у вас ширинка, пардон, расстегнута.

— Опять? — спохватывался не в первый раз тот. И прямо на площади исправлял оплошность.

Инок с серьёзным видом осматривался окрест. В его голове роились идеи.

Порой от причуд Инока у Ковальского начинал болеть живот. Они с Максимовым часто уходили в кусты отсмеяться. А Инок был суров, как Мефистофель.

Вскоре к нему приехала жена Ольга. Барский выделил супругам отдельный номер в гостинице. И строил новые планы. Начал поговаривать, чтобы ребята остались после сборов ещё на пару недель поработать. Рамазанов не торопился соглашаться. Знал себе цену в таких делах.

Глава двадцатая

Когда после сборов Ковальский зашёл в деканат, ему передали письмо.

— От какой-то Ани Бочаровой, — многозначительно улыбнулась вечно околачивающаяся в деканате Алка Смирнова. Пошутила глупо, как могла: — Алименты, поди, требует, недели три уже валяется.

Александр схватил письмо, чуя недоброе. Вышел в коридор и на лестничной площадке, где светлее, надорвал конверт. Развернул листок из ученической тетради в клетку.

Первые же строки обдали горячей волной: «Сашенька, миленький, здравствуй! Буду писать кратко. Сашенька, так распорядилась судьба, что меня скоро не будет. У меня рак лёгких». Он зашатался, словно от сильного удара. Бумага жгла руки: «Сделали химиотерапию, видно, зря только. У меня растёт сын Саша — он твой. Верь мне. Я знаю точно. Ему три года. Я так хотела: взяла всё на себя, тебя берегла и нас с тобой. Да вот жизни мало отведено мне. Я как чувствовала... торопилась... Пишу на адрес деканата, потому что боюсь, как бы письмо моё в общезнании не затерялось. Пишу, а сама всё верю, что ты успеешь приехать, пока жива. Увидеть бы тебя. И боюсь, что ты успеешь — страшно, если увидишь меня такую. Я старухой стала в полгода. Ты — отец моего сына, понимаешь? Прости за всё. Я написала моим родителям в деревню, просила, чтобы Сашу забрали к себе. Они заберут, они меня больше себя любили. Я написала им, что сын твой. Мужу не смогла сказать — тоже оставлю письмо. Живите. Так я хочу, чтобы сын вырос похожим на тебя. Он и сейчас похож, глаза только мои. Прости меня, Сашенька. Я думала жить долго. Я помню историю с твоим родным отцом. Боже мой, неужели с нашим Сашей будет ещё хуже? Без матери будет расти... Не думала об этом раньше... На конверте адрес моей сестры, лучше сначала к ней, меня уже может не быть... Боже мой, как я хочу, чтобы могила моя была в Утёвке, где родилась...».

* * *

Ковальский не успел увидеть Анну. С сестрой её Марией он приехал на кладбище. Около свежего холмика с жестяным памятником и дежурной звёздой, не выдержав, разрыдался.

Слишком много сразу обрушилось на него. Пьяной походкой ушёл в заросли сирени, забыв положить цветы. Опустился на влажную землю и, продолжая всхлипывать, сидел долго, закрыв лицо рукой. Когда убрал руку и взглянул оттуда на ограду, ничего не увидел. Темно в глазах. Ему показалось, что потерял зрение. Вспомнилось, как отказал правый глаз, когда узнал о смерти Верочки...

А сестра Ани терпеливо ждала.

Когда зрение вернулось, Александр встал и неуверенной походкой пошёл к ограде. Женщина отрешённо смотрела поверх могилы. Иконный лик её был нездешним, будто спустилась из-под купола храма и тут, на земле, долго ей тоже не быть. Слово она это знала. И не противилась. Такое смиренное лицо.

— Если поедешь к Саше в деревню, я кое-чего ему соберу из вещей. Сразу-то не взяли, — буднично проговорила Мария.

— Возьму, — ответил он и опять чуть не разрыдался.

«Какие странные и нелепые смерти: Верочки Рогожинской и вот теперь Анечки. Ведь это несправедливо! Будто на них и на мне рок какой... дважды осиротел».

Упоминание о сыне не тронуло. Он видел, чувствовал, знал — только чудовищное отсутствие Ани. И с этим не мог смириться. Поверить в это не мог.

Та бесконечно радостная, прекрасная, одним только им принадлежавшая ночь, поделившая его жизнь на две половины, когда он узнал впервые женщину — Анну, всегда оставалась в нём. Он её всегда помнил. Неотвратимое событие, пришедшее так рано, неожиданно, грубо, своевольно — смерть, так повернула всё! Непонятно, по какому сценарию, по чьей воле. Повернуло к чему-то совершенно новому, прихотливо расставив всё по-своему. И это новое, связывающее и обязывающее, столь весомо! Александр повторял вслух, стоя у ограды:

— Как же так всё случилось, как же... И сын?! Я не готов к этому... Я не могу...

Лицо его воспалилось, руки дрожали.

Спутница печально кивала головой.

— Да-да, понимаю... конечно... Она была моей лучшей подругой в жизни, — не сдержавшись, всхлипнув, сказала Мария. Но тут же постаралась взять себя в руки. — Пойдемте как-нибудь потихоньку к выходу...

У неё язык не поворачивался говорить о случившемся. Им обоим по двадцать с небольшим. Не готовы к тому, что произошло. Они на этом кладбище оказались, как на островке, меж мощных потоков, название которым «Жизнь» и «Смерть». Что малый опыт их? Коль жизни всей не хватает, чтобы постичь то, что вершится под этим синим, бездонным, открытым небом...

Как сквозь сон, слышал Александр бесцветный голос спутницы:

— ...муж её, Евгений, ушёл три дня назад и след простыл. Нигде нет. Как узнал про сына, что не его, запил по-чёрному. Он и раньше подозревал, чувствовал что-то. Она его жалела напоследок-то. Убивалась из-за своей вины перед ним.

«Сначала Верочка Рогожинская, теперь Аня... Почему так жестоко? Разве я в чём виноват? Разве они в чём виноваты? — Его покачивало из стороны в сторону. — Почему так? — В голове шумело. Сильно хотелось пить, броситься на землю и лежать. — Да, я понял, понял... понял запоздало, что чем меньше задумываешься над тем, что и как делаешь, тем легче живётся. Но расплата за подобную беспечность неотвратима, — сбивчиво размышлял Ковальский. — И ещё эта развесёлая жеребятина на сборах. Не к добру веселье оказалось...»

— ...она не жила бездумно, Аня была умница...

Ковальский обернулся — Мария эти слова говорила ему в ответ. Он думал вслух.

«Прости меня, я думала жить долго», — Александр вспомнил эти слова из письма Анны и у него снова потекли слёзы.

Когда шли с кладбища к автобусной остановке, его спутница обронила:

— Мы совершили большой грех. Мы грешны перед Богом. Вот она и расплатилась за нас.

— Что? Какой грех? — глухо отозвался Ковальский.

— Как — какой? — спокойно и отрешённо проговорила Мария. — Аня чужая жена была, а я вам обоим помогала. Жили два раза у меня на квартире. Я тоже виновата.

— Все люди грешны, тогда как же? Дикость какая-то...

— Все люди грешны первородным грехом, а тут совсем другое. По чести надо жить.

— Ты — верующая? — удивился Ковальский.

— Да, — Мария посмотрела на него так, что ему показалось, будто она его мать. И сказала спокойно: — И тебе надо прийти к Богу.

— Что ты говоришь? Люди скоро при коммунизме будут жить, а тут такое... — Ковальский не мог подобрать подходящего слова.

— Люди когда-нибудь поймут, им откроется, что они бездумны. Каждому в свой час.

То, что он услышал от сестры Анны, ошеломило. Когда она стала такой? Год назад видел её. Была как все. Правда, тогда и не разговаривали толком ни о чём. Так, несколько обычных фраз.

— Ты остерегайся мужа Анны, грозился тебя найти. Он дурной иногда бывает. Помни: на тебе грех — ты беззащитен. Чувствую: ещё одна беда на пороге. Он будет мстить.

«Что, мне в Америку, что ли, бежать? — вяло думал Ковальский. — Жизнь Анне испортил, теперь ещё мне грозит?»

— Вот, возьми.

Она достала из сумочки аккуратный свёрток из плотной бумаги.

— Что это?

— Письма Анны тебе. Их там шестнадцать... — Поймав вопросительный взгляд, пояснила: — Писала и не отправляла. Не знаю, почему. Ты поймёшь, может быть.

Ковальский нетвёрдыми руками принял свёрток.

— Что же мне делать? — невольно вырвалось у него.

Александр взглянул в лицо собеседницы. Оно было ясно. Последовал спокойный ответ:

— Надо идти к Богу, идти в церковь. В церкви тоже бывают люди, которые не являются примерами святости. Но и через грешника может действовать благодать Божия. Сила церкви в том, что через неё говорит и действует Сам Бог.

— Скажи, Мария, если ты считаешь, что мы все: и Анна, и ты, и я — совершили грех, то, значит, и сын теперь мой, трёхлетний, уже грешник. На него тоже легло пятно? Отвечает ли сын за грехи отца?

«Неужели сейчас скажет «да», — застучало в голове Ковальского.

— Ты — крещённый?

— Да, в войну ещё.

— Покрестите сына Александра. Нам всем полегчает. И ему — тоже...

...Ковальский не чувствовал большой вины перед мужем Анны. Перед Анной — да, виновен. Если и была вина перед Евгением, то, по его разумению, ничтожная в сравнении с тем, что Анна натерпелась от него. Ковальскому проще судить: он видел одну сторону жизни Анны. Вернее, даже одну грань её. Многие не предполагал. Мог только догадываться.

Он уехал из Пензы, где на кладбище теперь лежала Анна, в тот же день, намереваясь не останавливаться в Куйбышеве, а отправиться к родителям Анны — к сыну.

Надо было продолжать жить с раздражающим душу чувством вины и горечи.

* * *

И в поезде его преследовали слова Марии, сказанные на прощание, когда он уже собрался на вокзал:

— Христиане, чтобы преодолеть страсти и пороки, отрывающие душу от богообщения и порождающие себялюбие и гордыню, должны следовать правилам аскетики — посту, труду, молитве... Людям надо сохранить в душе мир Христов. Надо в повседневной жизни нести окружающим свет Божественной Истины. Этому стоит посвятить всю свою жизнь...

— Анна одобряла то, что ты — верующая? Знала об этом? — спросил тогда Ковальский Марию.

— Анна знала, — спокойно отозвалась Мария.

— И как она к этому относилась?

— Анна была слишком земной, в ней было много чувства, — неторопливо проговорила Мария. — Но она бы обязательно пришла к Богу.

— Почему?

— Я так думаю.

Печальные глаза Марии, пугающие глубиной, смотрели в упор.

Александр чувствовал, что тонет в их глубине, становится маленьким и беспомощным. Виноватым не только в том, что случилось, но и в чём-то ещё. О чём знает и Мария, и он.

Страшно хотелось просить у неё прощения за всё, в чём мог быть виноват. Ковальский чувствовал, что готов признать вину и в том, что он не верит в Бога, а она верит.

Александр не попросил прощения. Молчал. Не знал, как сказать. Ему надо было поразмыслить. По-другому не мог. Но знал: и слова Марии, и её взгляд, и своё чувство вины — надолго, если не навсегда, осядут в сознании.

— Помолился бы в церкви за её душу.

Ковальский вздрогнул, услышав эти слова, не веря, что они предназначены ему.

— Да, помолился бы, и тебе станет легче, — произнося это, Мария смотрела не на него. Скорбное лицо было опущено и глаза закрыты.

«Очевидно, это так, — думал Александр уже в поезде, сидя в общем вагоне, среди пестроты окружающего его люда. — Так... она верит во всё то, что говорит. Мария, Анна — имена-то какие! Мария верит. Но как ей, и тем более мне, соединить эту веру с тем, как люди живут? Как я живу? Ведь я по-другому и не могу? И дорога к Богу всеми забыта. И какая она, эта дорога? И где?»

Вернувшись из села, в общежитии достал свою «производственную» тетрадь, намереваясь занести то, что пережил за эти дни. Долго сидел, задумавшись, глядя на чистый лист. Взял авторучку и написал, как лозунг или итог раздумий, всего два слова: «Надо жить».

Никто не узнает, чего ему стоили эти дни, поездки на могилу Анны и к её родителям. И эти письма Анны, переданные Марией... Он прочитал каждое не один раз. Они были светлые, всепрощающие. В них не было и намека на какую-либо жертвенность... И от этого становилось ещё больней...

И между всем этим светилось лицо сына, впервые увиденного им у стариков Бочаровых. Он не в силах был всё соединить. Чувства дробились. Порой начинал ощущать себя в нескольких лицах...

...Через два дня Александр побывал на кладбище в Воскресенке, у Верочки Рогожинской. Будто в чём-то покаялся и перед ней. Он осознавал себя так, будто входит в новую жизнь. Непростую и нелёгкую. И готовился к ней.

Постоянно слышались слова Марии, сказанные на могиле сестры. Они щемили ему сердце:

— Всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет.

Он не понимал и не принимал, не был готов к этому.

«Почему так должно быть? Почему она так покорно производила это? Я что-то не понял? Или она не договорила?»

Поражало ещё одно обстоятельство: тогда, у Бобрового озера, лёжа на золотистом стоге соломы, Александр думал о будущем. Думал о сыне, который, возможно, когда-нибудь появится на свет. А сын уже родился и рос. И имя у него было — Саша.

Реальная жизнь обгоняла. Он отставал...

Глава двадцать первая

...Темы для дипломного проектирования совмещёнки получали на заводе.

В кабинете, расположенном на втором этаже заводоуправления, напротив диспетчерской, сидят трое: Ковальский, Гуртаев и Султанчиков. Хозяин кабинета — Самарин Валентин Сафронович. Он уже более года как оставил цех по производству полиэтилена, выведенный на проектную мощность, и теперь в должности заместителя главного инженера по науке и новой технике.

— Я тоже когда-то получил задание на проектирование на заводе и скажу: это очень рационально. Вы куда распределились? — спросил Самарин.

— Я и Султанчиков — в Тольятти на «Синтезкаучук», а Ковальский — на саратовский «Нитрон», — ответил солидно за всех староста группы Гуртаев.

— Отчего же в Саратов? — обратился Самарин к Ковальскому. — Вы же работали у нас, на полиэтилене. Я помню — неплохо работали.

— В этом году не было заявок на ваш завод, я взял в Саратов, — пояснил Александр.

— Странно. Ну, ладно, мы ещё вернёмся к этому вопросу. Лучше, если бы вы делали проекты там, где собираетесь работать. Это идеально. — Он посмотрел поочерёдно на каждого цепким взглядом глубоко посаженных, слегка раскосых глаз и успокоил: — Но, ничего, у меня есть темы, которые близки к саратовскому производству и технологии получения каучука.

А вот одна — исключительно хороша! Гидрирование ацетилена. Очень перспективный и нужный процесс. Его на этих заводах нет, но я рекомендую. Очистка сырья, а сырьё — основа всему.

— А какие исходные материалы для проектирования есть? — поинтересовался староста. — Раз установку нигде посмотреть нельзя в натуре.

— Установка есть в Бургасе в Болгарии. Её, конечно, не посетишь, но...

Молчавший Ковальский ясно почувствовал, что сейчас эту тему предложат ему. Он стал усердно смотреть в окно на улицу, стараясь дистанцироваться от завязывающегося разговора.

Но Гуртаев тоже не прост. Быстро сообразив, что к чему, применил испытанное средство:

— Валентин Сафронович, вот Ковальский: он и в студенческом научном обществе, и по всем техническим дисциплинам у него «отл.» — сможет осилить!

— Как, Ковальский? Рискнёте? — улыбнувшись, спросил Самарин.

«Двух рыжих мне не победить», — усмехнулся про себя Ковальский и согласно кивнул головой.

Гуртаев, довольный тем, как ловко перевёл стрелки, ухмылялся. Терebil ярко-рыжую бороду. Еле сдерживался, чтобы не расхохотаться.

Когда темы распределили окончательно, Самарин обратился к Александру:

— Ничего, зато интересно, вот увидите. На кафедре попрошу, чтобы меня назначили вашим руководителем.

— Но с чего начать, если нет даже нормативно-технической документации? — Ковальский пытался с ходу уточнить, во что он попал.

— Для начала позабочусь, чтобы вам выписали пропуск в местные проектный и научно-исследовательский институты. Вы там бывали? — спросил он сразу всех. Никто, разумеется, не бывал. — Вот видите, получите навыки на будущее. Работаете над поиском литературы в институтах. Там исключительные специалисты. Я дам фамилии и позвоню им. Изучите, что есть, потом попытаетесь разработать свою технологическую схему.

Гуртаев и Ковальский переглянулись: «Ничего себе, тема».

Когда студенты вышли, Самарин пробежал взглядом по списку дипломников и отметил мысленно: «Этого Ковальского надо бы взять на завод, он в цехе отличался и пытливостью, и самостоятельностью. К концу практики, помню, сдал на пятый разряд аппаратчика. Допусков на рабочие места имел, кажется, три или четыре. Никто не подгонял. Сам».

Зазвонил телефон. Валентин Сафронович взял трубку.

— Слушаю, Самарин, — напористо сказал он.

Звонил Виктор Сергеевич Степашин, заместитель начальника цеха по производству полиэтилена, где ещё недавно работал Самарин.

— Валентин Сафронович, извините, что внутрицеховыми вопросами отвлекаю, но индекс расплава сел, мы тут головы сломали. Серый полиэтилен пошёл...

— Ничего себе внутрицеховые вопросы! Весь завод залихорадит. Ты у себя?

— Нет, в лаборатории полиэтилена у Пелагейчевой.

Самарин мельком посмотрел на часы.

— У меня всего полчаса есть до совещания у директора, сейчас подъеду. — Он потянулся было положить трубку, но замер. — Алло, алло!

— Да, — прозвучало в трубке.

— Начальник ОТК Николай Иванович Месяцев на месте?

— Должен быть, я с ним по телефону пять минут назад разговаривал.

— Пусть и он подойдёт. Все будьте у Пелагейчевой.

Положив трубку, Валентин Сафронович вернулся к мыслям о Ковальском: «Посмотрим, как будет выполнять дипломное проектирование. Может, его на полиэтилен потом и направить. Человека два-три туда сейчас надо бы, молодых и грамотных. Недоработок масса. Немцы уехали, а мы всё ещё барахтаемся».

Вошла секретарь директора.

— Валентин Сафронович, совещание переносится на четырнадцать с четвертью.

— Что так?

— Его приглашают в горком. Телефонограмма пришла.

— Спасибо. Вызовите мне, пожалуйста, машину.

— Хорошо.

Валентину Сафроновичу Самарину всего-то чуть больше тридцати лет. Самый молодой главный специалист на заводе. Таких обычно не назначают даже начальниками цехов. Он успевает многое. После того, как перешёл в заводоуправление, вокруг него сформировалась целая группа растущих специалистов, знания которых толкали к неординарным решениям. Он умело ими руководил, вернее, координировал действия. Вскоре все увидели, что образовался своеобразный мозговой центр.

Самарин готовился к защите кандидатской диссертации по заводской теме. Своих кандидатов наук на заводе ещё не было. В начале года его утвердили на выпускающей «родной» кафедре в политехническом институте председателем государственной экзаменационной комиссии. Дел хватало.

* * *

— ...Ты зайди к Эрнсту Адлеру, доктору химических наук, — посоветовал Ковальскому во вторую их встречу Самарин, когда они обсуждали тему более конкретно. — Я напишу записку.

— А пропуск?

— Договорюсь.

Ковальский понимал, что повезло с руководителем, — это для него своеобразная, бесценная школа. Такие люди и специалисты, как Самарин, — редкие экземпляры. Айсберги. Но ведь и работу необходимо сделать. Надо будет защищать что-то.

...Султанчиков и Гуртаев уже понабрали кипы бумаг в техническом отделе, в производственном. Посетили действующие установки, мощности которых им предстояло увеличить в проектах. Раздобыли и технологические схемы процессов. А он? Только успел однажды прорваться к своему шефу, который постоянно занят.

Самарин всегда спокоен и уравновешен. Что это? Самонадеянность? Которая для него, Ковальского, может оказаться крахом? Либо что-то истинное? Самое то, что отличает серьёзного специалиста? Ковальский всегда тяготел к результативности. Если она не просматривалась в том, чем занимался, его начинало корёжить...

Эрнст Адлер был первым специалистом такого высокого уровня, вернее, вторым после Самарина, с которым столкнуло

Ковальского дипломное проектирование. Причём, обстоятельства складывались так, что эти люди различных поколений по-разному, но неуклонно шли своими дорогами. По-иному не могло, наверное, и быть с учётом их натур. Но уж больно изобретательна жизнь на многообразии судеб, характеров...

Сын рабочего из Чапаевска, Самарин изумительно аккумуляровал и светлый разум, и академизм мышления, и простоту общения, взяв осознанно и неосознанно всё лучшее у своих прародителей.

И рядом — Ковальский с его беспокойной, пульсирующей внутренней жизнью. Будто изначально чувствовавший, подсудно угадавший своё непростое предназначение, трудную, самостоятельно достигаемую, но плодотворную будущность. В характере которого сейчас переплавлялось и простое, и сложное. И низкое, и высокое. И сельское, и городское. Который внимательно слушает, замечает, изучает, что «кумекают» и Проняй с Синегубым, и учёные Калашников с Засекиным. И который уже догадывается, что жизнь человека — ничто, как тополиный пух в летнюю пору. И в то же время — всё! Жизнь человека на земле — самое важное, самое главное. Всё вокруг — это плоды тысяч, миллионов, миллиардов спрессованных временем жизней. И каждая, как химический атом, электрон имеет своё бессмертное место в большой всеохватывающей формуле, название которой — Жизнь на Земле.

Если бы Ковальский узнал биографию Адлера, он бы не сразу всему поверил. Крепенько зацикленный на себе, на польском своём отце Станиславе Ковальском, он удивился бы судьбе этого учёного-химика. Жизни человека, вовлечённого, как и он, и Самарин, в общий поток, как в некий коридор. И в этом коридоре им довелось встретиться.

Доктор химических наук Эрнст Адлер родился в 1905 году в Австро-Венгрии в городке Солотвино. Его мать, еврейка, окончила в Вене консерваторию по классу фортепьяно. Будущий её муж был на пятнадцать лет старше её. Но не это было препятствием для брака, его национальность — немец. И Максимилиан решился на неслыханное — принял иудейство. В гимназию Эрнст ходил в латанной одежде. Учился на «отлично» и поэтому деньги за его обучение не платили. В 1928 году закончил философский факультет Венского университета. В следующем

поступил на завод инженером-технологом и одновременно занимался диссертацией на кафедре Венского химико-технологического института. Защитил диссертацию в 1931 году и стал доктором философии в области химических наук. Впереди было блестящее будущее.

Всё смешала большая политика. Началось тотальное давление Германии на Австрию. Витали слухи об аншлюсе, присоединении к северному соседу. Доктор Эрнст Адлер слушал даже однажды выступление канцлера Германии Адольфа Гитлера на площади австрийской столицы.

Положение евреев в Германии ухудшалось. Когда Адлера в 1933 году пригласили в Советский Союз консультантом объединения «Союзхимпластмасс», он, поработав некоторое время, решил принять советское гражданство. Мать бежала в Италию. Сестра с мужем уехали сначала в Палестину, а затем перебрались в США.

В 1938 году Адлера отправляют в Челябинскую область и фактически определяют под надзор НКВД. Он работает инженером на одном из небольших механических заводов, преподаёт химию и немецкий язык в средней школе. В июне 41-го, незадолго до начала войны, жена вместе с сыном Эрнстом отправилась в гости к дяде во Львов. С тех пор Адлер своих близких не видел.

В 1944 году его арестовали... за связь с международной буржуазией (мать — в Италии, сестра — в Палестине). Он получил десять лет без права переписки. Попал Адлер в лагерь под Карагандой. Выжил чудом. Доктор наук и профессор работал ассенизатором. В одном лагере с ним находился и знаменитый авиаконструктор Туполев. Ему повезло, вспомнили, что он из тех учёных, кого можно привлечь к созданию взрывчатых веществ. Так он попадает в «шарашку» в Ярославской области. Теперь уже давали работать по специальности и неплохо кормили. В то время рядом находились учёные Удрнс, Кружалов, Сергеев, будущие авторы отечественной, известной во всём мире технологии получения фенола-ацетона.

Когда репрессивная система стала давать послабления, Адлер пасёт коров на одном из островов, расположенных на Ангаре, чуть позже — шьёт ватные штаны в промартели в глухом селе Красноярского края. Когда освободился, приехал в Москву. Друзья помогли с трудоустройством. Но квартирный вопрос?

Ему так хотелось иметь свой угол. И Адлер с женой приехал в Новокуйбышевск. Здесь провёл много лет. Его изобретения были запатентованы в США, Англии, Франции, Норвегии. Некоторые, ещё со времен работы в «шарашке», носили гриф «секретно»

* * *

—...Можно? — Ковальский деликатно костяшками пальцев постучал в светлую приоткрытую дверь заведующего лабораторией.

— Конечно, — отозвались из глубины кабинета.

Александр вошёл и представился. Лысоватый человек встал и протянул руку.

— Да-да, мне передали записку Валентина Сафроновича. Я ему позвонил — сказал, что материала так мало, почти нет. Даже на уровне данных для регламента на проектирование.

Приветливое пожатие руки и не столь радостное известие, которое Ковальский услышал, смешались в одно.

— Вы садитесь.

Ковальский сел на стул около стола.

— Когда-то, я знаю, этим процессом занимался головной институт в Москве. Был регламент производства, кажется, на платиновом катализаторе.

В дверь без стука вошла полненькая брюнетка с яркими губами.

— Эрнст Максимильянович, вы сказали, как только данные будут готовы — несите. Я принесла!

— Аллочка, у меня молодой человек, я, собственно, занят.. А, давайте, — он нетерпеливо посмотрел в протянутый раскрытый журнал. — Мы по-прежнему так небрежно пишем? Я же просил, пожалуйста...

— Я поправляюсь, Эрнст Максимильянович!

— Поправляетесь, оно и заметно.

Полненькая брюнетка, очевидно, поняла двусмысленность своей фразы и сконфузилась, мельком глянув на Ковальского.

— Вы и сегодня, несмотря на мои предупреждения, опоздали на работу на пять минут. В который раз, кстати. Так вот вы поправляетесь? — он говорил спокойно, между делом.

— Ой, вы знаете, я так из-за этого весь день переживаю!

— Ну, что с вами будете делать, идите. Освобожусь — обсудим данные, пригласите Сергея Викторовича. Заодно я вас и отругаю по-настоящему.

Глаза у заведующего лабораторией улыбались, а лицо — строгое. Он кому-то ещё позвонил, поручил посмотреть архивы и они договорились, что Ковальский явится денька через два. Уже когда Александр уходил, Адлер предложил:

— А давайте-ка, я звякну главному инженеру проекта Владимиру Игнатьевичу Филимонову, у них что-то да есть в «Ги-прокаучуке».

Примерно через полчаса Ковальский был уже там.

Вышел Ковальский если не окрылённый, то хотя бы более-менее уверенный. Ему помогли в технологическом отделе найти параметры процесса и тип катализатора. Это уже кое-что.

Он присел на скамейку в садике, примыкавшем к площади, обдумывая ситуацию. Жёг интерес к своему проекту, хотелось быстрее войти в работу. Удивляли окружающие. Интересные люди. Институтское, рутинное, иногда занудливое ученичество, которое он всячески пытался разнообразить работой на кафедрах философии, процессов и аппаратов химической промышленности, выводило на другое качество — на живой поиск, связанный с серьёзными проектами по новым научным направлениям. Взять хотя бы его проект, пусть дипломный.

«Я всё-таки правильно сделал, что в своё время не пошёл работать к Калашникову на кафедру неорганической химии с прицелом на аспирантуру. Это всё-таки не так грандиозно, как может оказаться работа на заводе».

Интерес к науке у него проявился на четвёртом курсе, к концу которого он подготовил большую самостоятельную работу по ректификационным аппаратам на кафедре «Процессы и аппараты». Тогда же получил диплом первой степени во всесоюзном студенческом конкурсе по философии. Ему нравилось заниматься и тем, и другим.

На том же четвёртом курсе забросил окончательно занятия тяжёлой атлетикой. Кандидатам в мастера спорта уже полагалось заниматься через день. Это не для него. Не успевал.

...Вспомнив разговор в кабинете Адлера, полненькую брюнетку, улыбнулся. Ему понравился обаятельный профессор. Умные улыбающиеся глаза выдавали большое жизнелюбие.

Ковальского начинали неудержимо интересовать люди, их судьбы.

...С обратной стороны большой тетради, начальная запись в которой о полиэтилене, около мобилизующего «Надо жить», появилась: «Моя дорога». Александр предполагал завести личный дневник. Но... Дневник намеревался начать уже взрослый человек. Это, наверное, и сберегало пока чистоту первого листа. Дорога этому человеку предстояла непростая. Очевидно, Ковальский сам это чувствовал. Поэтому не спешил.

...Александр захотел побывать в рабочем общежитии на улице Гагарина, где когда-то жил. Интересно встретиться с Михаилом Обориным, с заведующей общежитием, вахтёршей Феней. Помнит ли она его мать? Но никого не застал. Феня сменилась после ночи. Заведующая, как сказали на вахте, уехала на завод.

Он поднялся на третий этаж и постучался в «свою» комнату номер «87».

Дверь открыли не сразу. Чуть позже парень с заспанным лицом пояснил, что Оборин недавно женился и уехал в Новополюцк, там обещали квартиру.

— Я в том же цехе работаю, что и он. Сегодня в ночь. Вот спал перед сменой.

В чистой и опрятной комнате всё знакомо. Даже двухпудовая гиря, и та цела. Стояла около шкафа с одеждой. Он попрощался и вышел. Парню надо отдохнуть.

* * *

Когда уже в Куйбышеве шёл от трамвайной остановки в общежитие, у Вшивого рынка столкнулся с Рамазановым. Иннокентий, прислонившись к углу киоска, ел беляш. Второй, большой и мясистый, он протянул Ковальскому.

— Здорово, Алекс! (Он один так его называл). Сколько же мы не виделись!?

— Больше месяца, — ответил Ковальский. — Ты хвосты-то свои сдал?

— Да, сдал, сдал, — хитровато улыбаясь, ответил тот.

«Ох, и проныра, наверняка схимичил как-нибудь. Это из его репертуара», — подумал Ковальский. Спросил:

— Ты в Куйбышеве живёшь?

— Мне некогда тут бывать. Я таким сейчас делом занят! Давно хотел тебя увидеть и поговорить.

— Говори, раз дело.

— Давай вместе поработаем года три. У нас с тобой такое может получиться! Через год я — точно кандидат наук. А через пару-тройку лет и ты им станешь. Гарантирую. Если будем, конечно, вкалывать. Я сейчас в Казани работаю у Айнштейна Виля Семёновича. Это будущее светило в советской хроматографии. Он уже сейчас доктор наук. В тридцать лет! Возьмёшь у него тему — и сразу за диссертацию.

— Нет, я не готов.

— Почему? — нервно засмеялся Иннокентий. — Неужели из-за Влады? Простить не можешь? У нас и было-то с ней совсем случайно. Потом разбежались сразу. Теперь — просто дружба.

«Наш пострел везде поспел», — кольнуло в самое сердце Ковальскому.

— Я уже тему для дипломного проектирования на заводе получил, — глухо ответил Александр, думая про Владу: «Она и мимо него не прошла? Или врёт?».

— Да брось ты эту тему!

— Нет, мне без денег надоело. Я пойду поработаю. Три года — это много.

— Зря, — вновь нервно усмехнувшись, возразил Иннокентий. — Ты сам её тогда оставил. Ну? А Влада, она...

— Нет, я не готов, — стоял на своём Ковальский.

Они доели беляши и разошлись.

* * *

Давно уже опустела шумная лаборатория неорганической химии в левом крыле института на втором этаже. За столом двое — химик, декан Калашников и профессор Засекин. Калашников выглядит уставшим. Идёт зачётная неделя. Сегодняшний день был крепко загружен. А Засекин, как всегда, напорист:

— И всё-таки я уверен: предкам человека не повезло. Оторвавшись от родных ветвей, они не смогли залезть обратно.

— Да не верю я в Дарвина, человек произошёл не от обезьяны, — отозвался Иван Максимович.

— А от кого?

— Не знаю, — охотно признался химик и, мотнув рукой, чуть было не смахнул колбу с чаем. Подхватил, налил себе и замолчал намеренно равнодушно, глядя в свой стакан. — Послушали бы нас наши студенты, посчитали ненормальными. А ещё — преподаватели.

— Может быть, — вполне миролюбиво согласился Засекин. Но только для того, чтобы не уйти в сторону от такой важной для него мысли. — Почему когда-то произошло, а потом ни одна обезьяна не превратилась в человека, а? Ну... простой же вопрос? Я читал Мечникова: человек мог родиться как необыкновенное дитя человекообразных обезьян, в какой-то свой период, когда с ним шли какие-то изменения, они нарождали своих детей с новыми признаками — наших предков.

— Что? Люди — обезьяньи выродки, что ли? — изумился учёный-химик. — Ты это хочешь сказать?

— Звучит грубо, но по сути верно. Наши предки, первые люди, были «обезьяньи уроды». Это специалисты понимали.

— И что же дальше?

— А дальше всё прискорбно. Предкам нашим пришлось призадуматься. Они научились варить и жарить. Утратили свои мощные челюсти и не могут теперь обходиться без огня. Они многое разучились делать. Очень многое. Какой же это прогресс? Человек представляет собой остановку развития человекообразной обезьяны. А если представить его развитие, нормальное развитие до логического конца, то оно приведёт нас к совершенным разительным формам — к обезьянам.

— Ты всё-таки о чём, Николай? Я же вижу: у тебя главная мысль никак не прорежется.

— Да прорезалась, не волнуйся. Вот она: всё то, что мы изобретали — паровозы, самолёты, всякие механизмы, химия, нефтехимия, вот эти твои колбы, реторты — это всё зигзаг развития. Это всё вовсе и не развитие. Всё, что наизобрёл, придумал человек, — только от того, что он без этого не может. Он утратил возможности, которые были у предков — обезьян. Они обходились — он не может. И моральный урон, понесённый в ходе эволюции, чрезвычайно велик. Ради того, чтобы как-то скомпенсировать его, люди придумали миф о своих необычайных умственных способностях. Глупости всё это.

— Николай Николаевич, ты всерьёз всё это?! Человек — деградированная обезьяна? По-твоему, так? Ужас!

— Я утверждаю, что человек всего лишь путник, заблудившийся на путях эволюции.

— Знаешь, почему у нас нет настоящей научной истории и экономики? — спросил, кисло усмехнувшись, Калашников. И сам ответил: — Потому что умнейшие экономисты и историки вроде тебя занимаются чем угодно, но не историей.

— Да брось ты, Иван Максимович! Истории нет, потому что она перекраивается на потребу, ты знаешь это. Человечество, если не остановится, погубит себя! Я об этом думал. Об этом многие умы думали. Но жизнь человеческая коротка. Голос одного, нескольких человек слаб — человечество не слышит. А люди, понявшие суть, уходят. Приходят другие — и их не слышат. Но это — не до бесконечности. — Он нервно всплеснул руками. — Вот послушай Фёдора Тютчева:

*Когда пройдёт последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!*

Он это написал ещё в 1830 году. Он понял. А обезьяны... Тютчеву открылось. Понимаешь, он гений. Увидел то, что недоступно миллиардам. Мир погубит сам себя, вернее, люди доведут всё до того, что Сам Создатель вынужден будет начать всё сначала, ибо мы вышли из Его повиновения. Он переоценил Свои возможности — мы не такими получились. Ушли в цивилизацию. В войны, в грех — мы не оправдали Его надежды. Создатель удручён. Его опыт не удался. И Он когда-нибудь, а это может произойти скоро, начнёт ставить новый опыт. С чистого листа. Ведь, если восстановить погибшего человека, очень многое, самое главное решится на Земле.

— Николай Николаевич, ты только что говорил, что мы все от обезьян произошли. Да ещё от каких-то больных, — перебил его Иван Максимович. — Теперь — наоборот, я что-то не пойму.

— Да это так — метафора, я хотел сказать, что не туда мы идём. К гибели. Вот и всё, — спокойно пояснил Засекин.

— Ну, ты... Морочишь голову?

Декан давно сел к торцу лабораторного стола и с серым ли-

цом, не глядя на Засекина, слушал его. Голос доходил будто откуда-то издалека. И принадлежал не Засекину, этому лысоватому, с серой бородкой, прокуренному насквозь человеку, а какому-то другому, давно знакомому, но далёкому отсюда и более основательному. И всё, что тот говорил, можно было бы принять за некую истину. Но отодвинутую далеко. Всё могло быть, но через тысячелетия или ещё позже. «Куда торопится Засекин?» — думал Калашников. Повернув лицо к собеседнику, произнёс:

— Николай, у меня после разговоров с тобой в последнее время всё чаще болит голова. Ты полубольной, и меня заразишь. Ты так всё переворачиваешь. Мне такое и такими дозами не под силу. Я карлик перед тобой. Извини. Но я — думающий карлик. И я думаю, что хватит об этом. Это лишает сил делать обычные рутинные дела.

— Ещё Достоевский считал поиск правды главной нашей национальной чертой, — не сдавался Засекин. — Если не будем искать истину и правду, мы уже не русские.

— Хорошо, я готов поверить, что искусство, улучшение человеческих качеств способно преобразовать мир. Хорошо. Пусть так. Но у меня сомнение: без технического прогресса и красота, и искусство не способны этого сделать. Не способны. Хоть убей — не поверю.

— Верь — не верь, а дело обстоит таким образом. Мне дано понять.

— С тобой, как с юродивым, невозможно спорить. Ты вроде во всем прав. Но жизнь состоит не из одних юродивых. И не они её вершат.

Последние слова собеседника не обидели. Даже наоборот, он смотрел сейчас на своего пожилого коллегу-профессора как на первокурсника. Потом сказал тихо и потому ещё более, казалось, убедительно:

— Человек, я понял, совсем маленький винтик в той огромной машине, которую ты называешь прогрессом. И крутится он, винтик этот, вокруг другой персоны — истинного Творца эволюции...

Слышал бы Ковальский их разговор!

Александр и раньше впитывал многое, как губка, но сейчас ему становилось особенно тесно в рамках технических знаний. У него появилось, на первый взгляд, может быть, странное желание: посадить вместе за один стол, на одну лужайку, лучше, в одну лодку и пустить её по течению — Проняя, деда своего Ивана Головачёва, декана Калашникова, профессора Засекина, а вот теперь и Самарина. И послушать, что и как, и о чём они будут беседовать!

Он уже догадывался, что скоро, видимо, начнёт писать. О жизни! Эта догадка обжигала. Мог быть такой замах! Но необходимо крепко знать жизнь! Или её так до конца и не узнаешь? Необъятна! Тогда надо сильно и глубоко чувствовать. И ещё — суметь об этом сказать. Не памятью брать, не знанием, а тем, как это пропущено через тебя. Почувствовать несовершенство, несправедливость мира. Быть как бы в оппозиции к несовершенству, несправедливости мира. Но это уводит от стремления постичь жизнь? «Знать, чтобы забыть, а когда надо — вспомнить» — это для учёного. А для пишущего: знать и постоянно носить в себе, чтобы когда-нибудь высказать максимально приближенно к тому, что чувствовал. Так или нет? Чтобы вырвалась наружу боль...

...В общежитии в своём «кармашке» он обнаружил письмо от матери. Надорвал конверт. Как обычно, мать сообщала обо всём понемножку. Видно было, что скучала. Но домой не просила приехать. Жалела. Не хотела, чтобы маялся в дороге: на улице осенняя слякоть. Писала бесхитростно о домашних делах, о том, что, как только ударят морозы, зарежут поросёнка.

И сразу без перехода: «У ДЕДА НА ВТОРОЙ ГЛАЗ ГЛУКОМА ПИРИШЛА. НЕ ЗНАЙ ПРЯМА ЧЕГО И ДЕЛАТ. ТАКИ ДЕЛА».

В конце приписка, которая, может быть, и стала причиной письма: «ЭТОЙ АСЕНЬЮ ТАК МНОГО ЧТОЙТА СВАДЕБ СЛУЧИЛОСЬ. ТАМАРА ЗАРЕЧНАЯ ТОЖЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ. В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ СВАДЬБА БЫЛА БОЛЬШАЯ. ОТЕЦ ЕЁ УЖ БОЛЬНА ТОРОПИЛ ЗАМУЖ ВЫХОДИТЬ ВИДАТЬ ЧУЯЛ ЧТО ПОМРЁТ СКОРО. ЗА УЧИТЕЛЯ ТОЖА ВЫШЛА. ТИБЕ НЕ ДОЖДАЛАСЬ. ВСЁ ДУМАЛА БУДТЕ ВСТРЕЧАТЦА

СПРАШИВАЛА МИНЯ В КЛУБЕ КУДА ТЫ ПРОПАЛ. ПОТОМ ПЕРЕСТАЛА СПРАШИВАТЬ. ПОНЯЛА ЧОЙТА ПРО ТЕБЯ».

Это сообщение матери не беспокоило. Лицо Александра, когда читал письмо, чуть тронула улыбка.

Порадовался за Лашманкина. «ПЕРВАЯ СВАДЬБА У МИШИ СЛАМАЛАСЬ. ЖЕНИЛСЯ ТЕПЕРЬ ОН НЕ НА КОЗЫРНОЙ А НА ХОРОШАЙ. НЕ ТОЙ С КАТОРАЙ ГУЛЯЛ ДО АРМИИ ОНА НЕ ДОЖДАЛАСЬ ЕГО. УЕХАЛИ КАК ЖЕНИЛСЯ ДАЛЕКО КУДАЙТА ГДЕ ДЕНЬГИ БОЛЬШИЕ ЗАРАБОТАТЬ МОЖНА».

...Чтобы теперь Александр ни делал, он непрестанно думал об Анне.

«Оказывается, с Анной у меня все эти годы была не любовная связь, не любовный роман — это была часть моей судьбы. Моя судьба. Оттого ли, что рос без родного отца и остро чувствую это, появление сына, который теперь без матери, да и без меня, отца, пока — это так теперь всё изменило. Я на многое стал смотреть по-другому. Жизнь не там где-то, впереди, а здесь, сейчас. В нас. Меж нас всех, с нами. Жизнь идёт. Она неистребима. Она чревата грядущим, и надо с ней быть в серьёзных отношениях. Зародилась, закладывается новая судьба. Судьба моего сына! И уже с такими завихрениями... А я иду где-то рядом, параллельно пока и не в силах изменить уже случившееся. Только теперь и в будущем я могу что-то сделать... Но это «что-то» так прихотливо зависит от того, что уже есть... сделано... Как поступать?»

Чуть позже его догнала мысль, которая никогда не приходила, пока не узнал о сыне: «Как странно получается: родился человек, растёт, развивается, а где-то рядом или, наоборот, далеко, а может, и тут, и там подрастают другие люди: одни — его будущие друзья, другие — враги, третьи — просто так, знакомые. Некоторых могло и не быть. Потом всё это переплетается непонятно по каким законам и всплывает из этой мешанины один, два, три человека или события, определяющие очень многое. Как моя встреча с Анной или появление сына. Всё могло быть и не быть вовсе! Кто и как это регулирует? По каким законам должен где-то появиться человек, который принесёт либо горе, либо счастье другому? Как оттеснит всех и станет главным?».

Глава двадцать вторая

Дипломное проектирование Александра вскоре стало двигаться успешно. После нескольких встреч и обсуждений в кабинете у Самарина и на кафедре окончательно сложилась технологическая схема и Ковальский начал изображать её на «миллиметровке». Вместе с чертежами основного оборудования получалось семь ватманских листов.

Он полагал, что на миллиметровой бумаге легче будет чертить. Так и оказалось. Потом он намеревался перевести чертежи на ватман. Делалось это просто: «миллиметровку» надо расстелить на большое толстое стекло, на него положить лист ватмана и подо всё это поместить мощную электрическую лампу. По просвечиваемым линиям перенос проходил легко и быстро. Техника на уровне студенческой фантастики! Такое сооружение называется дралоскоп. Вполне даже научно.

Когда закончил всё на «миллиметровке», захотел прервать «чертёжный марафон» и махнуть домой в село.

Так Ковальский и сделал.

* * *

— Откель ей, жизни-го, лучше быть, коли народ становится всё хуже и хуже, — говорит не спеша Синегубый, продолжая только что начатый разговор.

Он сидит около предбанника в тенёчке. Синегубый приехал на своём меринке, как обычно, запряжённом в зелёный фургон. Привёз мешок дроблёнки. Мешок в баньке, а старики — около неё. Рядышком — водичка колодезная.

Проняй примостился недалеко от Синегубого. Курит. Рядом стоит сумка из кирзы с пустыми бутылками. Он шёл в «магазин», да вот завернул к Любаевым в огород.

— Это к лучшему, что хуже.

— Как так? — переспросил Синегубый.

Проняй, как бы нехотя, отвечал:

— Закон есть такой. Он есть, а делают вид, что его нету, энтова закона... А закон энтот на все случаи. Им любую гайку крутануть можно, как ключом.

— Это какой же такой закон?

Ковальский поблизости. Перебирает хворост. Затеял Васи-

лий Любаев поменять крепкие ещё плетни с правой стороны огорода от Лаптаева переулка на изгородь из кольев и хвороста, связанных проволокой и установленных торчком. Такая намеренно редкая изгородь, с зазорами, не должна была сдерживать весенний поток воды. Плотные сработанные плетни каждую весну взъерепенившаяся речка Утёвочка валила и раскрывала огород одним махом. Вода всё сметала неудержимо. Любаев давно приготовил всё необходимое. Теперь дело за работниками. Василий Фёдорович не стал дожидаться, когда Александр придёт от Бочаровых, куда пошёл повидать своего неожиданного сына, начал один.

...Работников отвлекают. И вернувшийся Шурка, и Любаев то и дело прислушиваются, о чём калякают около баньки.

А там рассуждают о самом главном — об устройстве мира. Никак не меньше! Ласковое солнышко греет старикам старые кости. Летают лёгонькие паутинки. На стадионе пошумливают ребятишки — наверное, урок физкультуры идёт — всё как всегда. Александру это не просто хорошо знакомо, привычно, но отрадно и радостно. Если бы не эти вот постоянные планы отца, был бы Ковальский сейчас на стадионе. Вечное отцовское переделывание уже сделанного, безудержное желание свершить по-другому, лучше и крепче не отпускает.

Александр помнит, как они вдвоём с отцом плели эти плетни, как отец учил его заделывать края, уплотнять вязку. Он так же когда-то научил Александра плести кошёлки. Но теперь кошёлки уже почти нигде нет. Да и плетни — редкость. Надолго не пригодилось Ковальскому такое ремесло. Он догадывается, что отец ещё и из принципа хочет избавиться от плетней. Одно дело — дедовский плетень. А другое — стройная высокая изгородь, какой ни у кого нет.

Любаев направился к мужикам передохнуть, но сначала завернул к колодцу.

— Ну, как там, у Бочаровых? — спросил на ходу у Александра вполголоса. Хотел сказать «как дела у твоего сына», не решился. «У моего внука» мог бы сказать — ещё необычнее. Сказал, как сказалось.

— Да так, ничего, — уклончиво ответил Александр.

— А что смурной такой?

— Муж Анны чуть не погиб.

— Как так? Вот ещё новость, всё в одну кучу.

— По пьянке на мотоцикле под грузовик попал. Одну ногу отняли. Врачи хотят и вторую, он не даёт.

— А с дочкой как же?

— Говорят, его родители уже забрали к себе.

— Беда, уж верно, одна не ходит, — покачал головой отец.

И так, покачивая головой, Любаев подошёл к колодцу. Там нечаянно задел ногой за сумку с пустыми бутылками деда Проняя.

— Не разбей, смотри, мою пушнину, — предупредил тот.

— Какую пушнину? — не понял Василий.

— Ту, что насобирал с утра. Там финансов на три буханки с лишним хлеба.

— Добытчик, — усмехнулся Любаев.

Проняй поёжился при этих словах. Он всегда говорил, что сдаёт только свои. При учёном сыне в городе, как он понимал, собирать и сдавать чужие бутылки несолидно как-то...

— Хочешь, я тебе про твои бутылки анекдот расскажу, внук вчера донимал младший, — продолжил подошедший Минька Горбачёв. — А то ты всё про мировые теории.

— Давай, — согласился Проняй. — Послушаем твой анекдот, коль своих мыслей на пустой желудок не имеешь.

Минька пропустил колючку мимо себя, как бы не понял её. Взглянул на Ковальского, будто только что увидел, и, важничая, спросил:

— Ну, как ты там, в городе-то, обывк? Мать думает о сыне, а он — о дальней дороге. Помни это. Катерина говорила, ты там в совмещённиках ходишь каких-то.

— Пытаюсь, — ответил Александр.

— Давай, не ленися. — И, выдержав паузу, будто вспоминая ненароком обещанное, начал: — Дело было в самолёте, — сказал он так внушительно и деловито, будто и вправду дело это было. — Ну, ходит один мужик по самолёту Ту-134 и собирает пустые бутылки. Лететь далеко, наверное, поиздержался человечишко. Насобирал, навроде тебя, Проняй, цельный рюкзак.

— В самолёте-то целый рюкзак? — засомневался со знанием дела Проняй. — Я вот две улицы обошёл, — забывшись, признался он, — общий двор посетил...

— Не мешай, — урезонил его спокойно Синегубый. — Это ж анекдот. Конец важнее правды в серединке.

— Да и в анекдоте должна правда быть, — вроде тоже резонно возразил Проняй.

Василий глянул пристально на Александра и усмехнулся.

Ковальский поймал этот его взгляд и вздрогнул: «Он их слушает, а думает обо мне, о моих делах. Как совместить это всё: нас с Анной, её смерть, беду её мужа, беспшашного Евгения, и Сашу? Где моя вина, а где чья? И как об этом всем говорить? И надо ли? И как всё совмещается — трагедии, смерти? И вот эта неспешная, монотонная жизнь, которую здесь наблюдаю? Как на другой планете! С другими оборотами. Странно».

— Ну, насобирал цельный мешок, открыл дверцу из самолёта и... вышел — сдавать, значит, направился пушнину, — тянул своё Минька. — А в проходе ещё один мужик с таким же рюкзаком сидит. Как расхохочется. Заливается себе, смеётся. «Чего ты смеёшься? — спрашивает его эта, деваха-то, которая пить подаёт всем. — Ты пошто не пошёл с ним?» — интересуется. А он перестал смеяться и говорит: «Я дурак, что ли? Иттить сдавать, сегодня ж понедельник — магазина на выходном дне — не работает!».

— Самолёт из дурдома летел? — деловито поинтересовался Синегубый.

— Не, зачем? Ты не...

— Тогда — в дурдом, — поправился с серьёзным лицом Синегубый.

Все засмеялись. У Миньки лицо сделалось недовольным. Он не уяснил, над чем смеются. Вроде б как Синегубый перешиб его анекдот? Или, наоборот, крепко подправил? Непонятно. Он так подумал и засмеялся со всеми. На всякий случай.

— Так какой же ты открыл закон универсальный, которым можно любую гайку подтянуть в жизни? — спросил Любаев, когда смех потихоньку затих.

— Закон не я открыл, — начал Проняй. — Законы живут промеж нас. Я не говорю о тех, которые в верхах умные головы придумывают. Эти законы самодельные, они бывают с осечками. А есть такие, которые в землю закопай, а он вылезет, в воду притопи, а он выплывет. Сами рождаются такие законы!

— Это откуда ж у тебя такая уверенность в этом деле? — удивился осторожно Горбачёв.

— А я несколько раз с Граблиным, который из Покровки, разговаривал. У него ума палата, а говорить он — Москва.

— И что же он говорит?

Горбачёв уже «нагрелся», это Проняй видел и не торопился. Знал своё дело. Не одну историю за свой век рассказал. Зачем за бесценок торопиться отдавать товар. Ему красную цену могут дать, коль умеешь.

— Всё дело в двигательной силе, — глубокомысленно изрёк Проняй и потянулся к бадье, стоявшей на скамеечке. Ему и пить-то не очень хотелось, но надо сделать передых. Он это чувствовал.

— Ты, ежели так будешь рассусоливать, — улыбаясь, сказал Синегубый, — кооперацию закроют, как в том самолёте, сдавать некому будет.

— Был один такой, который торопился, да скоро помер. Она, чать, не сгниёт, пушнина-то моя. Вечная материя стекло-то. — Он отошёл от скамейки, сел на прежнее своё место. — Надо сперва понять, из чего состоит эта самая двигательная сила.

— Движущая, — подсказал Александр, севший на порожке предбанника.

— Во, Сашк, молодец. А то я чувствую, какой-то сучок в слове мешает рубанком водить — разгону нет, а теперь всё на месте. Ты и закон знаешь о движущей силе? — вдруг обеспокоенно спросил он.

— Нет, — поторопился ответить Ковальский, делая попытку избежать дедовой ловчей ямы.

На колодезный журавль, на самую его макушку, откуда ни возьмись, спланировав, уселась ворона. Она, наверное, когда летела за банькой, не видела мужиков. Теперь смотрела с верхотуры на них в упор, наклонив голову. Не знала, как поступить: остаться или улететь?

— Я не могу говорить далее, — удручённо сказал Проняй. — Ворона эта простая али агент какой разведки, кто знает? Ведь слушает, потом понесёт, куда надо и не надо. Минь, прогони её!

Минька послушно замахал руками. Ворона не спеша, с достоинством снялась и полетела к высокому тополю: «Чудаки какие, связываться с вами — себе дороже», — говорил её независимый вид.

— Дед, не тяни, говори, а то дело стоит, — подтолкнул Любаев.

И Синегубый было уже встал, собираясь уходить.

— Я, чать, не корова дойная, не торопись, — урезонил слушателей Проняй и нарочито суховато сказал: — Всё дело в кодексе.

— В уголовном? — уточнил Горбачёв.

Синегубый присел на травку.

— Я про кодекс строителя коммунизма говорю!

— Чего? — Синегубый удивлённо посмотрел на Проняя.

Тот растолковал:

— Изворотливость, предприимчивость исчезают. Купцы раньше какие махинации делали! Ум надо иметь! И дела шли в гору. А теперь нас всех власть причесывает одинаково — и никому ничего не надо. НЭП Ленин возродил от безысходности. Он голова был! Мозговитый! Чтоб жилу возродить деловую — возродил частную собственность. Сейчас-то ведь никому ничего не надо. Личной корысти нет — дела нет.

— Проняй, ты контра, что ли? — вяло как-то, для порядка будто, удивился Минька и посмотрел на всех поочерёдно: кто ещё что скажет? Но все молчали.

А Проняй пояснил спокойно:

— По кодексу мы должны быть все, как ангелы. Вот и конец нам будет. Все будем правильные и чистенькие — с голоду помрём. Порок человеческий — движущая сила, — наконец сказал он самое главное. — А порок этот повязан правосудием должен быть. Ограничен только, а не изничтожен.

— Мудрено очень и неподъёмно для ума, — определил Синегубый.

— Да где уж там! А ведь не очень всё тяжело понимать, — усмехнулся Проняй. — Я тоже сначала с Витамином Грабленным спорил, а теперь всё в кишках застряло. Хотя мозги уже не так, как раньше, шевелятся и мысли не сразу высекаются, но кой-чего уяснил. Если все плуты, проходимцы, взяточники пропадут, жизнь станет вялой, не нужны будут суды, не нужны исправительные колонии. Контролёры, проверяющие — не нужны. Все же будут честные? Сколько народу останется без работы: судьи, адвокаты, чиновники разные — усохнут. Честность всеобщая подрубит торговлю. Неинтересно продавать без корысти! Обчество начнет гнить. Граблин уже сказал мне сроки. Все будут честные и... голодные. Без портков.

— Как же, нет корысти? — восторженно воскликнул понурившийся было Миня Горбачёв, обрадовавшийся своей догадке. — Есть корысть, всеобщая!

— Какая? — прицелился в него насмешливым взглядом Проняй. — Не понял.

— Ну, как же, ведь коммунизм строим. Счастье для всех! Вот тебе и корысть, да какая! Общечеловечья для всех! Понял, чем парень девку донял?

Ковальский старался не пропустить ни одного слова. Этот разговор имел для него особый смысл: он помнил рассуждения профессора Засекина. Разговоры с Калашниковым держал в памяти.

«Ведь они говорят об одном и том же: что должно двигать в будущем обществом? Идея Засекина красива: только улучшение человеческих качеств выведет человечество к благоденствию. У Проняй с каким-то покровским Граблиным совсем иное в их самодельной теории. Всё грубее, но живучее: личный интерес толкает человека к свершениям. Скажи-ка это в институте на кафедре?»

А тем временем Проняй продолжал, отмахнувшись, как от мухи, от Мини одной фразой:

— Да ну ты! Коммунизм для всех? Раздухарился. Пупок лопнет, не построишь для всех. Придут оттуда, где его нет, и всех голыми руками придушат — все же ленивые будут, но праведники.

— Проняй, ты промежду нас — Гулливер, — сказал, мелко мигая мутноватыми глазами, Миня.

Он было приосанился, готовясь ещё что-то произнести важное, но вместо этого громко икнул.

— Клыкаю чтой-то с утра, — смешавшись, сказал Миня. Синегубый пришёл на помощь:

— Сходи к Пупчихе, она даст полстакана лекарства.

— У ней давалка отказала, — уныло протянул Горбачёв.

— Чтой-га вдруг?

— Не вдруг, — тянул Миня. — Я ей уже за две бутылки должен. Мараторию объявила. Теперь я в её водах не пловец, а бегун.

— Какой такой бегун? — спросил Синегубый.

— Должок за мной, я и бегаю, — отозвался Миня скучноватым голосом.

И так же скучно замолчал.

— Дед, ты правда — контра, — запоздало вроде бы определился Синегубый. — За капитализм, что ли? За толстосумов разных... этих...

— Опять двадцать пять. Я про Фому, а он — про Ерему. Балагурь почём зря. Эт-т я только недавно кое-что к старости понимать стал. А по молодости я комсомолец был заядлый.

Любаев, взяв охапку хвороста, захромал к городьбе, никак не отреагировав на последние слова Проняя.

«Надо обязательно с Засекиным обсудить проняевскую движущую силу. Что он скажет? Наверное, он тоже думал о личном интересе?» — Александр встал и пошёл к кучке хвороста. Он никак не думал, не мог предположить, что неугомонный в мыслях Засекин совсем недавно в разговоре с Калашниковым вспомнил о нём, Ковальском...

* * *

— Хотим мы с вами, старина, или нет, — говорил Засекин, прохаживаясь на кухне у Калашникова, — но идёт сейчас особенно интенсивно, в связи с индустриализацией и вот теперь химизацией народного хозяйства, становление интеллигенции и интеллектуальной элиты в первом поколении, выходцев из села, из крестьянской среды. Можешь не сомневаться, это действительно целое поколение. Ведь смотри, — он подошёл ближе к окну, с любопытством, вытянув по-птичьи шею, посмотрел на огромное пространство Волги, — вот смотри: к началу Отечественной войны и после её окончания подавляющая часть интеллектуальной элиты нашей, специалисты высшей квалификации — учёные, в том числе доктора наук и академики, инженеры, врачи, педагоги, руководители крупных предприятий, государственные деятели — все были выходцы из крестьянства. Интеллигенты из крестьян.

— Ну, это всё известно, я не возражаю, — проговорил Иван Максимович, разливая чай.

— Да ты слушай, химик, я нашёл силу, которая значительно может повлиять на то, чтобы мы все не вымерли от результатов своих же достижений. Чтобы мир не вымер. Сейчас основная задача человечества — совершенствование своего качества. Я

тебе уже об этом не раз говорил. Трансформация нашей цивилизации и разумное использование её огромного потенциала возможны лишь за счёт соответствующего развития человеческих качеств и их способностей. И я это теперь под некоторым другим углом зрения вижу. Дети крестьян — интеллигенты в первом поколении — духовно связаны со своим деревенским прошлым, с детством и юностью, которые у них прошли в крестьянских семьях. Таков вот твой студент Ковальский. Поверь, на таких, как он, выпала особая миссия. Они не могут, как остальные, безоглядно вредить земле. У них связь с землёй, природой ещё слишком остра и крепка. Пуповиной связаны. Есть надежда на них. На таких людей. Ты заметил, в твоём Ковальском есть врождённая благородная сдержанность? Откуда? Даже интересно. В крови?

Калашников не ответил. Он неопределённо пожал плечами. И улыбнулся себе, вспомнив про драку Александра на первом курсе. Потом сказал, будто разговаривая с собой:

— Что смогут сделать такие, как Ковальский, сейчас или через десять лет? — профессор химии поставил на плиту чайник. Продолжил неспешно: — Неужели можно сделать что-то такое, чтобы все оглянулись на себя, на результаты дел своих и замерли от ужаса? Этого никогда не будет, по-моему.

Брови его поползли вверх и он, откинув голову назад, посмотрел на подошедшего чуть не вплотную Засекина.

— Надо человечеству вбивать в голову, пока оно не поймёт, что существуют пределы всего, что мы расточаем, — невозобновляемые природные ресурсы. Гидросфера и атмосфера ограничены. Ты понимаешь: ограничены! Такие, как Ковальский, быстрее поймут. — Слово «ограничены» Засекин выкрикнул нервно и хрипло. И махнул рукой так, что чуть было не задел приятеля по плечу. — Ведь есть внутренние пределы физических и психических способностей человека. Этого забывать нельзя. Человек станет заложником технического прогресса. Культурный прогресс волочиться будет сзади. И это будет уже и не прогресс. Я начал об этом писать статью.

— Удивишь всех только. А напечатать не дадут.

Собеседник как будто и не слышал последних слов своего товарища:

— Настала острая необходимость поиска путей улучшения

организации мирового сообщества. Надо совершенствовать управление его делами.

— Ты понимаешь, какими ты, Николай Николаевич, глыбами ворочаешь и какая маленькая меж ними песчинка — человек. Вот ты назвал Ковальского. Мне его, беднягу, стало даже жалко, как и любого из нас.

Они долго ещё беседовали.

...Засекин сел к столу, положив свои маленькие нервные руки на скатерть, и стал говорить намного спокойнее. Но вновь встал, подойдя к окну, кулачком левой руки постучал по поверхности подоконника, заволновался. Да так, что ушиб костяшки мизинца. Он поднёс кулак к лицу и стал удивлённо рассматривать, будто увидел впервые.

Так вели диалог эти два человека. То видя только друг друга, то — весь мир сразу.

...Калашников и Засекин сами явились вскоре как бы доказательством (но кому?) того, что цивилизация поедает своих родителей. Мир, конечно, этого не заметил.

Через год ученый-химик умрёт от последствий облучения, которое он получил, работая в Ленинграде. Банально.

А профессор Засекин, чуть позже, полгода спустя после смерти друга, попал под автомобиль. Всю жизнь остерегался машин. Никогда не садился за руль. Обходил их всегда непременно сзади. Не помогло.

* * *

...А «будущий интеллигент в первом поколении», по определению Засекина, Ковальский пока, сидя в огороде у баньки, всё больше молчал. Но подмечал всё зорко и запоминал надолго, если не навсегда.

Пришедшая за водой Маня Сисямкина выплеснула остатки воды из бадьи, громыхнув цепью, уронила её в колодец.

— Я который раз уже смотрю со своего огорода: сидят — балакают. И без бутылки! Вот чудеса.

— Подкинь её нам, будем сидеть, как надо, — Минька здесь в своей стихии. Это не законы обсуждать, как Проняй.

— Бензопилой расхатай осины, которые к воротам волоком привезли, будет, с чем посидеть.

— Мы можем, надо посмотреть. А если вот он подмогнёт, тем более...

— Ну, да, — отвечал Синегубый, повернув лицо к неяркому солнышку. — Своя трава сохнет, а мне чужую косить? У меня у самого два таких осокоря у избы дожидаются.

Миная пошёл смотреть осины. Синегубый и Проняй по тропинке тоже направились к калитке. Ковальский слышал, как Синегубый сказал:

— Удивил ты меня своими законами. А как же тогда Карл Маркс?

Проняй остановился. Вспомнил, что оставил у колодца сумку с «пушиной». Вернулся. Догнал спутника своего уже у калитки и что-то ответил ему. Синегубый посторонился, пропуская Проняю вперёд. Лицо у него было сосредоточенное.

Проняю, как и профессорам Засекину и Калашникову, безразличны были мировые проблемы. Куда от них деться русскому человеку? Любил старик пофилософствовать. Известно: чем меньше знаний, тем эта любовь сильнее.

...Когда Ковальский пришёл с огорода в дом, Катерина спросила, как бы нечаянно, вскользь:

— Саша, а ты знаешь, что Маша Бочарова, сестра Анны, в монашки ушла, в монастырь?

— Как? — удивился Александр. И, чуть помолчав, добавил раздумчиво: — Разве сейчас это делают? Можно?

— Коль ушла, значит, можно.

Тут же вспомнились слова Марии, сказанные словно только сейчас, а не тогда, в Пензе: «Надо нести в повседневной жизни свет божественной истины окружающим... Этому стоит посвящать всю жизнь...».

Ковальский уже не в первый раз вспомнил её карие большие печальные глаза. И лик — суховатый, удлинённый. Увидел обращённый к нему, Ковальскому, её особенный взгляд. «Что же это за женщины такие — Анна и Мария! Что за порода? И откуда у них такая власть надо мной?» Потом, когда мать куда-то вышла, сидя один за столом, он спокойно подумал: «Значит Мария нашла свою дорогу, поняла, какая она и где? Очевидно, уже тогда знала её, когда мы разговаривали у могилы Анны. Смерть сестры — тому толчок. Неужели, говоря это тогда, она думала и обо мне?.. Нет, не может быть. У каждого своя дорога...».

Вернулась мать и Александр спросил:

— Мам, а ты откуда знаешь-то? — он поднял голову и увидел её глаза... И всё понял. — Ты была у них, у Бочаровых?

— Конечно, что ж теперь... жить надо...

— Одна? — спросил, волнуясь.

— Пока одна. Но решили потом пойти и с отцом.

— А они мне не говорили об этом.

— Я... это, — будто не слыша последних слов сына, продолжила Катерина, — как только к ним вошла: батюшки мои, ты маленький, сидишь на полу. Вылитый. Даже зализ, ну, вихорок на правом виске, такой же, как у тебя. Будто телёночек волосяки тронул чуток.

— И как он там? Саша?

— Сидит в передней, крепенький такой. В чистой светленькой рубашонке и вколачивает большущие гвозди молотком в щели между половых досок. Десятка полтора шляпок торчит в линейку, аж до середины избы. Прострочил пол, как на машинке. Три годика — большенький.

— А они, мам, как тебе показались?

— Что — они?.. Дашку-то Романову я ещё в девках знала, — деловая. Федька Леток гнался шибко за ней. И она вроде была не против. Погиб на фронте. Вышла за этого молчальника Бочарова. Он с Поплавского, кажется, посёлка, грамотный — бухгалтер. А в Поплавский вроде бы попал из большого какого города. Отец у него — белый офицер. Погиб.

То, что рассказала мать про Бочарова, удивило Александра. Анна об этом никогда ничего ему не говорила.

— Ганя Мижавова из Тягаловки сказывала мне ещё тогда, что он не отцовскую фамилию носит. Таится, что ли, от властей.

— А к тебе как относятся?

— Вместе хетать будем внучка. Как по-другому? Григорий говорит, что внук для них — радость великая. Они ему там всё разрешают. Не избаловали бы. — Она примолкла, а потом не выдержала: — А я-то? Туда шла: какая-никакая. Как говорить обо всём? О тебе? А оттуда — радёшенька! Внук-то какой, господи! И я — бабкой стала. Невзначай! — Помолчала. Потом добавила: — Судьба-то у вас с сыном какая! Ты — без родного отца, он — без матери. И — оба Сашки. И так похожи! Только у

него глаза не твои, не зелёные, а голубые: то ли от матери, Ани, то ли от деда — отца твоего Станислава!

На следующий день из Утёвки он уехал повеселевший. Казалось, как-то всё потихоньку налаживается на свой лад.

«Почему так? Я ещё и не общался как следует с Сашей, а уже так сильно к нему привязан. Даже готов говорить, что люблю его. Что это? Что-то патологическое? Оттого, что у меня с моими отцами так всё? И хочется, чтобы у него было всё нормально. Или это в природе человеческой так устроено? А может, все идёт от Анны? Не знаю. Но я готов ради сына на многое. Я готов. Заранее», — так думал он теперь.

Мысли об Анне и сыне не оставляли его. И слова матери не оставляли.

— Шура, куда бы ты ни махнул, кем бы ни стал, а главное всего в жизни — дитё своё поднять. Не забывай!..

* * *

...Времени до защиты дипломов оставалось немного. В общегититии кипела работа, у кого лихорадочно, у кого вальяжно, спокойно. В зависимости от темперамента и наличия материала...

Случайно встретив на Ленинградской знакомого, Александр узнал, что Синегубый лежит в больнице. Лечит глаза. Навестил. Приехал притихший... Спасал от невесёлых дум дипломный проект.

* * *

Наступили ноябрьские праздники. Ковальский домой не поехал. За три дня закончил все чертежи и почувствовал, что дела пошли теперь совсем в гору. Защита в конце декабря, а у него уже вчера на две трети составлена пояснительная записка.

На следующей неделе он намеревался заполучить на своих чертежах все необходимые подписи.

Глава двадцать третья

Прошло две недели, прежде чем на давно готовых чертежах появились подписи руководителя проекта. Валентин Сафронович Самарин наконец-то приехал из Москвы. Одобрил не только схемы, но и графику.

Ковальский действительно постарался. Перевод с «миллиметровки» на ватманские листы значительно всё упростил. Нет помарок, переделок. Всё чисто и аккуратно. Кроме того, основные потоки Александр обозначал жирными, утолщёнными линиями, остальные — в зависимости от их специфики и значимости.

Все аппараты, а их на каждом листе набиралось до десятка, он «поднял»: нанёс штриховку так, что они стали объёмными и выделялись на схеме. Вместе с броскими линиями основных потоков они сразу давали представление о процессе. Выглядело это, кроме всего, эстетично. Так никто из дипломников не делал. Роясь в архиве проектного института, Александр обнаружил такое в заграничных записках и взял на заметку.

Когда Самарин подписывал чертежи, в кабинет вошёл кареглазый, также подёргивающий левым плечом, как и четыре года назад, когда Ковальский работал на полиэтилене, Яков Розенберг — теперь уже замначальника производства.

— Я на минутку, Сафроныч, можно?

— Садись, я сейчас.

Но Розенберг не сел. Впился взглядом в ватман, который лежал перед Самариным.

«Этот Яков, — поёжившись, подумал Ковальский, — всегда что-нибудь найдёт. На экзаменах на допуск к самостоятельной работе меня трепал крепко, заставляя составлять материальный баланс чуть ли не всего цеха».

— А почему дипломный проект не по полиэтилену? Зря, что ли, мы всё пересчитали в своё время, — задал Розенберг вопрос сразу обоим.

— Это же гидрирование, Яков, ты знаешь, качество этилена — наше узкое место...

— Да, — то ли соглашаясь, то ли обдумывая что-то, произ-

нёс нараспев Розенберг. И добавил внушительно: — Но чертил не он. Это вообще делал не студент.

— Как? — только и произнёс Ковальский.

— Так. Я был студентом. Второй год рецензирую дипломные. Вижу.

— Ну, Яков, — расхохотался Самарин, глядя на изменившегося в лице Ковальского, — ты парня не обижай. Он наш. Мы его заберём к себе на завод.

Зазвонил телефон. Самарин взял трубку. Звонок был из диспетчерской. Разыскивали Розенберга.

— Садись поближе, — произнёс Самарин, когда вышел Розенберг. — Серьёзный разговор будет.

Ковальский пристроил тубус с чертежами в уголке между стенкой и книжным шкафом. Сел около стола.

— Значит так, когда защита? Какого числа? — И, не дожидаясь ответа, открыл свою записную книжку. — Четыре дня защита идёт. — Двадцать второе, двадцать третье, двадцать четвёртое, двадцать пятое декабря. Так?

— Мой день — двадцать четвёртое.

— Вот. А двадцать шестого приезжай ко мне часиков к одиннадцати на завод. Я буду на месте, здесь.

— Зачем, Валентин Сафронович?

Самарин помедлил чуть и веско сказал:

— Я думаю, тебе надо у нас на заводе начать. Смысла нет ехать в Саратов. Сразу у нас никто ничего обещать тебе не будет. Всё зависит от тебя самого. У тебя родители где?

— Под Нефтегорском живут.

— Ну, да, я помню, но, может, переехали. Зачем тебе Саратов?

— Всё-таки областной центр, — ответил нерешительно Ковальский.

Самарин продолжал, не обращая внимания на последние слова Александра:

— Я уже говорил с главным инженером и директором. Они не против. Но двадцать шестого приезжай. Хотят на тебя посмотреть.

— Так быстро всё?

— Не быстро. Я ищу варианты, как тебя перераспределить. Если вдруг у тебя на нашем заводе по какой-то причине не за-

ладится, тогда есть Тольятти как запасной вариант. Там тоже сейчас серьёзные дела разворачиваются. И, вообще, наша область — простор для нефтехимика. А ты — в Саратов. — Он поправил трубку на телефонном аппарате и с напором продолжал: — А нефтехимический комбинат в нашем Новокуйбышевске? Совсем недавно введён комплекс первой очереди завода по производству дивинила. Это пятьдесят шесть технологических установок и шестьдесят вспомогательных цехов. Построили свой водозабор, свои очистные сооружения. Давай, решайся. Раздумывай, а двадцать шестого — ко мне с решением. Если «да» — идём к директору. — И добавил: — У нас очень хорошие специалисты собрались: один Яков чего стоит, Ахмед Мазгаров в шестом цехе. Думающие все и молодые. С защитой, я думаю, всё будет хорошо. Крепко потрудились. У тебя неплохие знания. — И безо всякого перехода спросил: — Тебе предлагали остаться на кафедре, ты отказался. Почему?

Ковальский ответил так, как было:

— Надоело безденежье. — И, помолчав, добавил: — Решил сделать перерыв.

— Тогда понятно. Может, и правильно. Завод — ещё и большая школа. Ты уже, наверное, почувствовал. Здесь свой ритм. Мощный.

«Может, эта запойная работа над дипломом мне и помогла пережить то, что случилось с Анной и со мной? — так откликнулись последние слова Самарина в сознании Ковальского. — А теперь, когда у меня есть сын, очевидно, и вправду не стоит уезжать в Саратов? Всё-таки здесь ближе...»

* * *

За неделю до защиты Александр поехал в Утёвку. Никто в группе не знал, что у него растёт сын. И в Утёвке из родственников знали, кажется, только мать и отец. Он не скрывал от ребят в группе — просто не видел необходимости говорить.

...К Бочаровым на этот раз он пошёл с матерью и пробыл там весь вечер допоздна.

Предстоящее перераспределение родители одобрили с радостью.

— В Новокуйбышевск я хоть разок-другой в году, а приеду, а в Саратов... такую далицу — ни в жизнь. Разве можно? А в Новокуйбышевске меня знают, — говорила Екатерина Ивановна, когда вернулись домой.

— Ага, — подхватил Василий, — знают. Тот парень, который твой кошелек вытянул, да кондуктор, у которого ты билеты съела. Вот и всё.

— Да будет тебе, — не обижалась Катерина. — У неё их цельная катушка, хватило бы на всех попробовать этих билетов. А вот Феня, вахтёр, мне очень понравилась. Она мне про жизнь свою порассказывала. Ой, какая жизнёнка досталась ей! А бабёнка хорошая.

* * *

Защитился Ковальский на «отлично». И двадцать шестого утром был у Самарина.

Когда они вошли к директору, Ковальский сразу всё вспомнил. Весь разговор в шестьдесят первом году с Анной Сергеевной, тогдашней хозяйкой этого кабинета. Всё было, как и прежде. Только сидел в нём плотный человек с реденькими белыми волосами на крупной голове.

Он кивнул обоим и пригласил за столик около своего большого рабочего, на удивление Ковальского, свободного от бумаг. «Тогда у Федотовой было всё завалено и пепельница полна окурков. Этот толстяк, наверное, и не курит?»

— Вот ты какой! — произнёс директор.

Ковальский не понял, чтобы это значило.

Хозяин кабинета нажал на кнопку и спросил:

— А где там Сабитов и Нарькин?

Слышно было, как секретарь ответила:

— Идут, Александр Алексеевич. Вот в приёмной уже.

Вошли два стройных высоких человека.

— Садитесь, — директор кивнул на дальний стол. — Так какое ваше общее мнение? Берём? Ренат Агнасевич, — обратился он к смуглому, в синем костюме мужчине. — Вы как главный инженер что скажете?

— Мы обсуждали. Берём. Нам нужны специалисты в пиро-

лизные цехи. У него толковая дипломная работа. По нашему заводу.

Ковальский смотрел на директора. На его лбу чудно шевелились длинные морщинки. Он как-то странно морщил лоб, который двигался снизу-вверх, сверху-вниз. Ковальский такое видел впервые. И не понимал: имеет это какое-либо отношение к содержанию разговора или нет? Плохо это или хорошо?

— А на кого будем менять, Пётр Андреевич: в Москве строго за этим следят.

— Есть один — Вячеслав Попов, он меня замучил с откреплением. У него родственники все в Волгоградской области. Просится — я не отпускал. У Попова и письмо есть с Волгоградского НПЗ. Он согласится на Саратов — поближе.

— Так пусть оба пишут заявления. Отпустим одного в Саратов, другого заберём из Саратова. Письмо туда подготовьте, я подпишу. Мне Кторов не откажет. А потом надо будет ехать в Москву, к замминистра Авдеенко.

— Да, Александр Алексеевич, если бумага о согласии на обмен будет, может, всё получится, — проговорил Самарин. — Я у кадровиков в министерстве узнавал.

— Надо, чтобы у парня сохранились права молодого специалиста, мало ли, возьмёт и женится, — напомнил начальник отдела кадров Нарыкин.

— Вот так и пиши, чтобы сохранились, — согласился директор.

В кабинете Самарина Ковальский написал заявление с просьбой о перераспределении и отдал Нарыкину.

— Напишите адрес, где будете, и оставьте у Валентина Сафроновича. Как всё уладится, мы вас найдём, — сказал Нарыкин и ушёл.

Александр стоял у стола Самарина.

— Ковальский, всё! — Самарин, улыбаясь, смотрел на него.

— Всё?! — удивился Александр.

— А что ещё! Отправляйся к родителям. Не меньше месяца эта канитель с Москвой и Саратовом протянется. Отдыхай!

После получения диплома и всех суматошных событий, связанных с массовым отъездом из общежития новоиспечённых молодых инженеров, Ковальский остался в комнате один. И прожил так целую неделю.

Последним перед Александром уехал староста Гуртаев. Была на то своя причина. Вроде бы и не так уж масштабно «обмывали» выпускники дипломы. Но было дело. А потом оказалось, что потерял Гуртаев этот самый предмет обмывания — диплом свой.

«Непросто найти такую пропажу», — к такому малоутешительному выводу пришли искавшие. Но только не староста. Он, на удивление, являл собой образец хладнокровия.

Диплом так и не нашли, хотя старалась вся группа. Принесла его сухонькая старушка. Прямо в деканат, сказав, что обнаружила драгоценнейший документ на набережной Волги. И ушла, благодетельница, не назвавшись.

А у Гуртаева и всех, кто разыскивал бесценный диплом, появился ещё один повод ликовать и произносить тосты.

Задержался Ковальский из-за метелей. Все рейсы автобусов в Утёвку и Нефтегорск отменены. Он дважды ездил в посёлок Кряж, надеясь поймать попутку. Но кто тронется в сумасшедшую январскую пургу?

Когда вернулся после второй неудачи, в коридоре столкнулся с Галей Реутовой из параллельной группы.

— Ты не уехала ещё? — удивился он, глядя в её диковатые, всегда завораживающие глаза.

— Нет, сегодня вечером.

— Ты ведь под Саратов? В Шиханы?

— Да, вместе с Владой. — Галина запнулась. Ковальский видел, она решает: говорить или нет? Решилась. — Влада очень жалеет, что ты перераспределился. Она из-за тебя Шиханы выбрала, потому что ты должен быть в Саратове.

— Да ладно, — махнул рукой Ковальский. — У неё таких, как я...

Того, что услышал от этой обычной молчальницы Реутовой, Александр никак не ожидал:

— Не было у неё никого, кроме тебя, как вы начали дружить.

Эти футболисты-хоккеисты, как манекены. Она тебя дразнила, понял?

— Нет, — досадливо выдохнул Ковальский. — Не верю.

— Не верь — твоё дело. Но я сказала, что знаю. Думай!

— Где она сейчас? — почти машинально спросил Александр.

— Дома, где же ещё? На перепутье трёх дорог. Одна дорога — к тебе. — И она ушла.

Ковальский усмехнулся, направляясь в свою комнату: «Думай, не думай, а всему своё время. У меня сейчас — Анна. И ничего не надо больше. Сейчас, как никогда, Анна постоянно со мной. Я не принадлежу себе».

...А следующим вечером он был в Покровском соборе. В том самом, который построили когда-то самарские купцы Шихобаловы. Он и сам не смог бы объяснить, как решил пойти туда.

Александр несколько раз проходил случайно мимо собора, каждый раз вспоминая слова Марии, произнесённые на могиле Анны: «Помолился бы за её душу».

...Он был первый раз в действующей церкви.

Внутри Покровский храм казался намного больше, чем снаружи. Купол уходил высоко вверх. Ковальский вначале не видел его целиком. Шла служба, и Александр растерялся, не зная, как себя вести. Не решаясь идти вглубь, подошёл туда, где худая седая женщина продавала свечи. Две старушки на его глазах купили по одной и пошли к столу, на котором стояли подсвечники.

— Можно и мне одну? — попросил Ковальский.

— Конечно, — отозвалась старушка, что-то деловито записывая огрызком карандаша в старенькой тетрадке.

Купил и тут же спохватился: «А Саше? Саше поставлю за здоровье».

Купил вторую и спросил, волнуясь:

— Как поставить свечи? Одну — за здоровье, другую — за упокой души?

— Направо — за здоровье. Налево — за упокой, где старушка сидит.

Он подошёл вначале туда, где ставят за упокой, и спохватился: «Я же не умею креститься, напутаю».

Вернулся туда, где покупал свечи, и виновато, конфузясь, попросил:

— Подскажите, как правильно креститься?

— А ты, миленький, пройди вон в притвор, там на стене в рамочке сказано, как вести себя в церкви, как креститься.

— Спасибо.

В притворе висели «Правила благочестивого поведения в храме», он прочёл и подивился тому, как сдержанно и уважительно написано.

В параграфе двадцатом нашёл, и как креститься: «Делаем это так: первые три пальца правой руки соединяем вместе в честь Пресвятой Троицы, два последних — безымянный и мизинец, соединяем, прикладывая к ладони, что означает две природы Христа: Он Бог и Человек. Сложив правильно пальцы, мы полагаем их на лоб, затем на «чрево», потом на правое и левое плечи и только потом совершаем поклон. Крест не только пальцами должно изображать, но должны ему предшествовать сердечное расположение и полная вера».

«И полная вера, и полная вера, — волнами расходилось в голове. — И полная вера».

Александр поставил свечи за упокой души Анны и сыну Саше — за здоровье. И у каждой перекрестился с поклоном, как это понял из «Правил». Свечи горели спокойно и таинственно. Огонь притягивал взгляд. У свечи за здоровье он стоял дольше. Под куполом храма чувствовал, что с ним происходит нечто такое, что рождает в нём новое и глубокое отношение к миру, в котором быть и ему, и его сыну.

Выходил Ковальский из церкви, оглядываясь. Всё казалось, что здесь оставляет то, к чему надо обязательно вернуться. Почти физически чувствовал, что прикоснулся к чему-то огромному и всепокоряющему.

«Если наши институтские деятели узнают, что был в церкви, да ещё молился, наверняка поднимут шум, а может, и из комсомола исключат, — отрешённо подумал он. — Да ведь поздно, я уже не их».

Александр пошёл по улице Льва Толстого к Волге. Хотелось туда, где много воздуха, где нет домов, автомобилей и людей, уподобившихся маленьким копошащимся непонятным существам, оторванным от огромного бездонного неба, кото-

рое многие научились не замечать и которое он чувствовал всегда. А теперь, после того, как побывал в соборе, острее, чем раньше.

Что всё-таки подтолкнуло его к храму? Только ли слова Марии? Что шептали его губы, когда он впервые крестился?

Когда Александр уже почти добрался до Волги, справа из форточки второго этажа крайнего продолговатого дома полилась музыка. Полонез Огинского.

«Странно, будто специально для меня». Александр огляделся вокруг. Прохожих рядом не было. Музыка негромкая, но отчётливо слышимая. Он вспомнил далёкий день в детстве, когда неожиданно узнал, что Верочка Рогожинская, не простившись, уехала. Эти волшебные звуки постоянно жили в нём. Такие же свободные и величественные. Но тогда было просторнее душе. Светлее. И до конца не верилось в потери. Казалось, что впереди будут только встречи.

Странная улыбка тронула его лицо. Он впервые ясно почувствовал возникшее недоверие к жизни. Такое с ним было впервые.

В задумчивости Ковальский медленно направился к реке...

* * *

Влада вошла внезапно. Розовощекая с мороза. И уверенная.

Он сидел на койке, читал газету.

Она в первую же минуту взяла инициативу на себя.

— Нелётная погода? В твоей столице аэропорт не принимает?

Вместо ответа Александр спросил вяло:

— Реутова доложила?

— Так точно, Ковальский, она!

Он встал с кровати.

— Хочешь, поставлю чайник?

— Хочу.

Ковальский отправился в другой конец коридора, на кухню. Проходя мимо вахтёра, заметил понимающую ухмылку.

Когда Александр вернулся, Влада уже сняла пальто, шапку и сидела за столом.

— Вот бирючина! Ты хоть «здравствуй» скажи!

— Здравствуй, Влада, — тут же сказал он без тени иронии и добавил: — Но ведь ты вошла без приветствия?

— Дыхание перехватило.

— Это у тебя-то? — искренне усомнился он.

— Не обольщайся, от мороза, — легонько показала коготки гостя.

И, когда проходил к койке, ловко и порывисто обхватила его обеими руками за талию. Так ловко, будто репетировала.

Ковальский легонько попытался освободиться. Но не тут-то было! Она встала, не отпуская его. Руки её оказались у него под мышками.

— Хочу к тебе. Я всегда хотела иметь от тебя ребёнка. Понятно?

— Ты не в себе? Что ты говоришь? — Александр вновь попытался освободиться.

Влада не отпускала.

— Нет, я знаю, чего хочу и что говорю.

— Но ты всегда так береглась.

— Это когда было? Теперь мы люди самостоятельные.

— Хочешь, чтобы мы поженились? Но я не могу этого сделать теперь. Мне чудно смотреть, как все наши переженились после распределения. Прямо какая-то эпидемия. Кто друг друга целых пять лет не замечал, и те бросились расписываться. Я никого не осуждаю. Просто не могу так.

— Почему ты так говоришь? — Влада наконец-то убрала руки и он подошёл к окну. — Я о женитьбе не сказала ни слова.

Александр молчал.

— У тебя есть женщина? Нет? Я знаю, что сейчас нет! — Она встала рядом, почти вплотную к нему. — Быть без женщины — для тебя просто неестественно. Я же тебя знаю.

— Я гол, как сокол. Ни кола, ни двора, — начал было Ковальский.

— Ты что, поговорки собираешь? О чём ты говоришь? У других, что? Миллионы? Если разъедемся — всё, нам потом не соединиться.

«Не могу же я говорить про Анну, про сына. Не могу. Почему она не уйдёт? — мучался он. — Я же ничего не могу. Мне не

нужно ни женщины, ни жены, ни семьи. Всё это для меня сейчас адское мученье».

Он почувствовал, что сильно заболела голова.

— Послушай, я схожу за чайником, забыл...

По коридору Александр двигался нетвёрдой походкой. Когда вернулся, лицо Влады было злым. Будто на что-то натыкалась, она начала сбивчиво:

— Я поняла: ты болен. Доигрался, верно? Оттого и избегал меня. Тебе надо лечиться, а тут — я, да? Я поняла.

Она закрыла глаза и долго молчала.

«Кино какое-то, вернее, театр, — неприязненно думал Александр. — Неужели не понимает, что это так плоско?»

Ковальский поставил горячий чайник на пол.

— Какая же я дура! Мучилась, переживала, а ты продолжал свои амурные похождения.

— Ты в каком месте и когда переживала?! — не выдержал он. — И с кем? — Последние слова сказал, морщась, как от зубной боли, досадуя на себя, что говорит такое.

— У меня никого не было. Дурачилась. До тебя были, потом — нет.

— Но ведь это неправда! — непроизвольно возразил Александр. И добавил: — Правду ты никогда не скажешь.

Но она не приняла этого.

— Всю правду нельзя сказать даже себе самой.

Он посмотрел на неё недоумённо. Влада ответила на его немой вопрос:

— А ты правду о себе всю можешь рассказать? — она испытующе посмотрела на него.

Ковальский смутился.

Она молча и понимающе усмехнулась.

— Влада, не надо. Давай прекратим разбирательство, — Александр пытался говорить односложно, спокойно, не желая подталкивать разговор дальше. Голос звучал глухо.

Но она не могла успокоиться.

— Эта та Майя с пединститута, да? Я знаю, ты у неё бывал. Она тебе услужила, да?

— Пусть будет она, — не выдержал Ковальский. — Она так она.

Александр сел на кровать. Влада встала. Взяла пальто.

— Я знаю, что к тебе ещё какая-то Оля Козырнова два раза приезжала...

Влада никак не могла попасть в рукав своего красивого зелёного пальто с пышным лисьим воротником. Александр поднялся и помог ей.

У неё были слёзы на глазах. Такой он видел её впервые. Она начала их вытирать кончиком пальчика своей вязаной перчатки, но махнула рукой и зарыдала. Так искренне, что он растерялся. Не знал, что делать. И заколебался: правильно ли поступает?

А она вдруг, решительно шагнув к двери, бросила:

— Ты страшный себялюб, с тобой с ума сойти можно. Я ухожу.

Ответить Александр не успел, да и не был готов.

Когда дверь захлопнулась, вновь сел на кровать.

«Что это было? — вяло подумал он, будто наблюдая всё со стороны. Потом снял ботинки и, не раздеваясь, лёг. Ковальский не чувствовал полной уверенности, что поступил верно, не сказав ей правды. — Но зачем она ей, моя правда, когда всё, случившееся со мной, — это моё? И её ничего в этом нет. Нет, и не могло быть...»

Горела тускло лампочка на потолке. «Как пахнет пустотой. Нет, — мысль его вернулась назад. — Как пахнет одиночеством», — поправил он себя и усомнился: можно ли так думать?

Александр смотрел на серый потолок, голые стены комнаты, самодельные полки над кроватями, на которых прежде всегда лежали книги, шахматы, разная всячина, а теперь ничего не было. Одни стены, как скалы. И ему показалось, что находится не в комнате, а в ущелье, вернее, расселине. Между двух скал — прошлым своим студенческим и будущим.

«Я сейчас завис. Все уже разъехались — карабкаются меж скал. Одни бодро, другие вяло, по необходимости. Но все, цепляясь, карабаясь, выходят из расселины. И в этом для всех — смысл их теперешней жизни?! Каждый надеется, что у него будет своя вершина или хотя бы равнина, но не расселина. И каждый прав».

Мысли начали сбиваться. Он припомнил, что такие же ощущения испытал, когда узнал, что не прошёл по конкурсу в институт.

Александр хотел было встать, чтобы закрыть дверь и лечь спать по-настоящему, но передумал. «Я ж почти один в общезитии, а на этаже точно один, кроме вахтёра». Усталость навалилась неодолимо. Хотелось скорее забыться. Нервы истощились. Свет от лампочки на потолке стал нестерпимо ярким. Он нашарил на столе газету и положил на лицо. Стало спокойнее. Мысли путались, наплывая одна на другую.

Ковальский вспомнил, как лежал на копне соломы у озера Бобрового совсем ещё недавно: «Вот там я, наверное, был близко к тому, чтобы понять, зачем живу. Или хотя бы поверить в то, что знаю, зачем живу. Я, кажется, не живу, а исследую жизнь. Нет, вернее, наблюдаю её. Хорошо это сейчас или плохо? Не знаю. Но кое-что могу попытаться уже сказать.

Этот мир будто специально создан так, что, когда человек только начинает кое-что понимать, жизнь кончается, и накопленные знания, умение уходят чаще всего нереализованными. Каждый сам постигает мир заново, путём собственных ошибок и потерь. Мало кто приобретает опыт на ошибках других. Но ведь это нерационально. Человек растрчивает свой ресурс, а воплотить постигнутое уже не хватает сил, здоровья, времени... Книги, литература — вот костыли, на которые опирается человек в своём познании. Но учишься всё равно не у них, а у самой жизни — тратишь её на постижение истин. А иной человек до определённой поры, а иногда и всю свою жизнь, вовсе не хочет знать никакой истины. Им владеют только страсти...

Большинство людей, за редким исключением, уходит, не привнеся ничего существенного в копилку человечества. Разве что, нарожав детей и этим наметив возможность того, что потомки по-другому, глубже и раньше познают мир. Но дети повторяют те же ошибки: в них заложено природой мощное стремление сначала жить, потом думать о прожитом... Так и идёт всё по кругу. Просто? Сложно? Мудро или глупо? Даже это не дано осознать. Некогда осознать».

Эти путанные рассуждения, кажется, ослабили его совсем. Постепенно нежелание сосредоточиться всё больше овладевало им. Александр, чтобы отвлечься, начал медленно считать до ста.

Уже засыпая, с закрытыми глазами, ясно увидел большой

иконостас и купол Покровского храма. Под куполом храма, где он ставил свечи и впервые перекрестился, было так легко. Как никогда...

* * *

В третий раз ему повезло. У продовольственного магазина стоял грузовик с тентом. Водитель весело подтвердил:

— В Нефтегорск!

Александр с радостью забрался под тент. Весёлость шофёра стала понятна, когда, звякая бутылками, прибежали ещё двое парней. Все трое были пьяны. А трезвый в такую погоду и не решится ехать.

Ковальский добирался до дома почти двое суток. Дороги были занесены снегом. Ночевал в Домашке в училище механизаторов. На лацкане пиджака был прикручен «поплавок» — знак об окончании института. А в чемодане — диплом инженера.

Через неделю после защиты областная газета «Волжская коммуна» напечатала интервью своего корреспондента с деканом Калашниковым и председателем Государственной экзаменационной комиссии Самариным. Ковальский был назван одним из выпускников, подающих большие надежды. Упомянули и Инока — Иннокентия Рамазанова. Тот, как всегда, удивил: защитился с блеском, и комиссия особо отметила неоспоримую научную новизну его работы. Из сноба и циника он вдруг превратился в восходящую звезду науки.

Этот номер газеты лежал у Ковальского в чемодане вместе с дипломом. Лежала там и большая коричневая тетрадь.

В эти дни в ней появилась запись: «Учёный — тот, кто знает очень много из всяких книг; образованный — тот, кто знает всё то, что теперь в ходу между людьми; просвещённый — тот, кто знает, зачем он живёт и что ему нужно делать».

Ковальский размышлял над этими словами: «Очевидно, прав Толстой. И всё-таки я хотел бы быть сразу и тем, и другим, и третьим! Но возможно ли это? А почему нет? Ведь те, кто в жизни немало свершили, сделали — сумели сделать ещё и потому, что рано узнали или поняли: кто они и что надо делать. Они счастливики! А я? Я знаю, что я хочу быть и

учёным, и образованным! Может, это знание и есть мой двигатель? Моя жизнь, моё дело — быть просвещённым учёным. Возможно ли это?».

Не было в чемодане писем Анны. Он хранил их в родительском доме. Они манили к себе.

...Сильно хотелось пить. Общение с пьяными, ночёвка в школе измотали. Грузовик остался у дороги в снегу — опять сбились в метель с трассы. Парни вернулись в школу дожидаться бульдозера, он, по слухам, где-то уже недалеко рассчитал снежные заносы...

Ковальский ушёл в Утёвку пешком.

Глава двадцать четвёртая

...Александр вернулся от Бочаровых поздно вечером.

— Нюра Загвоздкина принесла телеграмму тебе ещё в шесть часов, когда с работы шла, — сказал отец. — Она там, на столе, в передней.

Александр, не раздеваясь, прошёл к столу.

— А ты уже собрался на караул? — спросил он, беря в руки прямоугольник серой бумаги.

— Да, время-то уже одиннадцатый час, пойду, — подтвердил Василий Любаев, а сам всё топтался на кухне.

«Уважаемый Александр Станиславович Вам необходимо срочно явиться на работу Директор», — быстро прочёл Ковальский. Внизу стояла уверенная размашистая подпись.

— Всё верно, пап, надо ехать. Больше месяца ждали.

— Завтра же, с утра, — отозвался Василий Фёдорович, — и поезжай. Это хорошее начало. Не каждого, я понимаю, на работу зовёт сам директор.

Александр понимал, что это не рядовой случай, но всё же сказал:

— Пап, давай поеду с двенадцатичасовым автобусом. Собраться надо. И ты из клуба вернёшься.

— Ну, ладно, маракуйте тут с матерью, что взять, а завтра разберёмся...

Когда пришла от Головачёвых Екатерина Ивановна, сын уже достал чемодан. Тот самый, с которым когда-то отправлялся поступать в институт. Все эти годы он лежал у него то в ра-

бочем общежитии, то в маленькой комнатке, которую снимал с Гуртаевым в Куйбышеве, потом в студенческом общежитии. И всё время под кроватью, отчего заметно постарел.

Мать о телеграмме уже знала. Она прошла и села, как была, в фуфайке и валенках, на диван. Невольно громко вздохнула.

— Мам, — Александр поднял голову от чемодана, — у меня будет всё хорошо.

— Может, чемодан Петра возьмёшь? Он поменьше и поновее. Петро оставил прошлый раз, когда приезжал.

— Нет, мам, этот чемодан у меня как талисман. От бед оберегает.

— Может, тогда не автобусом поедешь, а полетишь на «кукурузнике», раз уж так, — засмеялась Катерина Ивановна, — коль такой суеверный? С зелёным чемоданом, на зелёном самолётике... — Запнулась было, потом добавила почти весело: — И сам зелёненький ещё такой... как в тот, первый раз, когда поступать в институт... — и всхлипнула.

— Ну, мам, ты зря разволновалась... Я ж говорю: всё будет хорошо.

— Старее, видать, сынок, всё мне жалко вас всех. Все разлетаетесь из дома. И себя, и вас жалко... Чего бы тебе врачом или учителем не быть? Жил бы дома, лечил или учил людей. Всем доброе дело. И тут на тебе — завод. Польша твоя... Поосторожнее, попроще будь с людьми. Тебе легче самому будет. Ты нетерпеливый больно, не все ведь такие.

— «Кукурузники» уже не летают к нам. Володя Пудовкин пересел на Ту-154, он в Ульяновске прошлый год переучивался. Теперь летает за границу, Утёвки ему мало стало, — раздумчиво сказал Александр.

— Как и тебе мало, — проговорила Катерина. — Молодые, рвётесь куда-то...

...Ночью Ковальский спал беспокойно. Отчего-то всё ему виделась Верочка Рогожинская. В том светлом пальто и лёгком голубеньком воздушном шарфике, в которых он видел её тогда, после концерта в клубе. В последний раз. То ли это был сон, то ли ему явилось в бессоннице...

Когда складывал в чемодан вещи, споткнулся взглядом о большую царапину через всё зелёное поле крышки. Сразу вспомнилась осенняя ночь, попутка и выскочивший навстречу

«Беларусь». Из кювета вместе с чемоданом его вытащили ученики домашкинской школы механизации. Шофёр погиб. Неделю Ковальский провалялся у приятеля в Домашке, не доехав до дома восемнадцать километров. Когда оправился, уехал назад в город. Не захотел, чтобы мать с отцом расстраивались, глядя, как он хромает. Теперь вот на нём ни следа, а чемодан хранит отметину.

Александр улыбнулся и опустил крышку. Казалось, в комнате с этой минуты не было ничего, кроме этого большого зелёного чемодана, на который потом, чтобы ни делали все: и Ковальский, и Катерина, и вернувшийся из клуба Любаев, — обязательно натыкались взглядами. Будто мать и отец провожали Александра в первый раз.

— Мам, сходи к Бочаровым потом, скажи, что я уехал. Когда можно будет — сразу приеду, ладно? Я бы и сам ходил, да уже не успеваю.

— Ладно, и сама уж думала наведать их вечером, — согласилась Катерина. — Может, и Василия возьму с собой. Пойдёшь со мной, отец? — нарочито будничным голосом спросила она.

— Проводим вот и сходим давай, — отозвался он с готовностью.

...Ковальский уезжал в город по ровной, расчищенной от снега магистрали на рейсовом автобусе. Много изменилось за эти пять лет в районе. А сколько событий ещё впереди! И у Ковальского — тоже...

На спуске, недалеко от села Бариновка, почти перед самым автобусом дорогу перебежал заяц. Ковальский, привстав со своего места, видел, как беляк слева по ходу движения автобуса проворно перескочил через высокие гребешки, образовавшиеся после уборки снега, и скрылся с глаз. Впереди у него было чистое поле.

— Вернуться бы нам: плохая примета, — убеждённо проговорил сидевший за спиной Александра у окна старик с густой тёмной бородой, одетый в потёртый полушубок.

— Всем вернуться? — спросил Александр недоумённо. — Вы верите в приметы?

— А как же не верить? Этот заяц — кому-то знак особый.

— Что же теперь делать и как? — беспечно улыбнувшись, пожал плечами Ковальский.

— Тот-то и оно: как? — произнёс старик. Потом добавил, отчётливо выговаривая: — У каждого свой промысел, но все в одном движении — в общем автобусе. Попробуй, останови!

Он посмотрел на Ковальского зоркими карими глазами.

Александр невольно отметил: «Взгляд такой, как у Засекина. Будто это его глаза смотрят на меня. Странно как... — И чуть позже то ли вспомнил, то ли догадался: — Когда садились в автобус, я его не видел...».

...А старик продолжал пристально смотреть в спину Ковальскому. Будто каким-то образом наперёд знал о нём самое главное. Но сказать не решался...

Содержание

Н. Дорошенко. От издателя	3
Книга первая. ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.....	9
Книга вторая. ЗЕЛЁНЫЙ ЧЕМОДАН.....	155
Книга третья. СОВМЕЩЕНИЕ.....	301

**Малиновский
Александр Станиславович**

**Под открытым небом
том 1**

Подписано в печать 22.08.2006 г. Формат 60x84 $\frac{1}{16}$.
Бумага офсет № 1. Гарнитура Exselsior.
Печать офсетная. Печ. л. 31,1.
Тираж 1000 экз. Цена договорная.

АНО «Редакционно-издательский дом «Российский писатель»
119146 Москва, Комсомольский пр-т, 13, тел. 246-58-43.
E-mail: ano-rospisatel@mtu-net.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов